

КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ

СТИХОТВОРЕНИЯ И
ПОЭМЫ ДЛЯ 11
КЛАССА

Владимир Высоцкий

**Стихотворения и
поэмы для 11 класса**

«ЭКСМО»
«ВЕБКНИГА»
«ФТМ»
«Public Domain»
«Издательство АСТ»
Издательство «Детская литература»

«Татарское книжное издательство»
«Художественная литература»
«Гилея»
«Эксмо»

Высоцкий В. С.

Стихотворения и поэмы для 11 класса / В. С. Высоцкий —
«Эксмо», «ВЕБКНИГА», «ФТМ», «Public Domain»,
«Издательство АСТ», Издательство «Детская литература»,
«Татарское книжное издательство», «Художественная литература»,
«Гилея», «Эксмо»,

Стихотворения и поэмы для 11 класса

© Высоцкий В. С.

© Эксмо

© ВЕБКНИГА

© ФТМ

© Public Domain

© Издательство АСТ

© Издательство «Детская литература»

© Татарское книжное издательство

© Художественная литература

© Гилея

© Эксмо

Содержание

Сергей Александрович Есенин	16
«Гой ты, Русь, моя родная...»	16
«Я последний поэт деревни...»	17
«Не жалею, не зову, не плачу...»	18
Русь советская	19
«Низкий дом с голубыми ставнями...»	21
Письмо матери	22
Собаке Качалова	23
«Спит ковыль. Равнина дорогая...»	24
Шаганэ ты моя, Шаганэ...	25
Геннадий Айги	26
Начала Полян	26
здесь	26
В рост	27
завязь	28
из поэмы о волькере	28
предчувствие реквиема	29
бодлер	30
ночь первого снега	30
сон-огонь	31
без названия	32
в декабрьской ночи	33
к предчувствию реквиема	33
куст	34
прощальное	36
родное	36
отъезд	37
сад в декабре	37
Отмеченная зима	39
тишина	39
облака	39
смерть	40
дом друзей	40
снег	41
и: расходящиеся облака	42
из гостей	43
счастье	44
отмеченная зима	44
люди	45
прощальное	45
из зимнего окна	46
детство	47
окна весной – на трубной площади	48
женщина этой весной	48
женщина справа	49
Поля-двойники	51

утро в переделкине	51
утро в детстве	52
реквием девочке	52
альт	53
вспоминается в рост	53
поле – до ограды лесной	54
заморская птица	55
предзимний реквием	56
казимир малевич	57
вдруг – мелькание праздника	58
цветы от себя самому	58
девочка в детстве	59
День присутствия всех и всего	61
распределение сада	61
к распределению сада	61
вторая весть с юга	62
река за городом	63
возвращение страха	63
мадригал поэту	64
начало леса	64
появление снега	65
коломенская церковь	66
засыпающий в детстве	66
Степень: остоики	68
ночь к весне	68
утро в парке	68
любимое в августе	69
константин леонтьев: утро в оптиной пустыни	69
ты с конца	70
детство к.[6] на влтаве	71
друг этих лет	72
к утру в детстве	72
к тебе с конца	73
и: словно отделяясь	74
больница в сокольниках	74
звезды: в перерывах сна	75
заря: в перерывах сна	76
праздник в детстве	76
н. х. среди картин	77
к посвящению детства: чистка орехов	77
окно = сон[8]	78
без названия	79
о чтении вслух стихотворения “без названия”	79
Утешение 3/24	81
заря: после занятий	81
знамена гази-магомеда[9]	81
дом поэта в вологде	82
голод – 1946	83
гимры[10]	83

утешение: розы	84
занесенные в марте	85
образ – в устремлении	86
утро – при детстве другого	87
и: отцветают розы	87
сон: очередь за керосином	88
и: после роз	90
начиная со сна	90
и: засыпая: лес	91
Белла Ахмадулина	93
Моя родословная	93
Новая тетрадь	111
Грузинских женщин имена	112
«Не уделяй мне много времени...»	113
Снегурочка	114
«Живут на улице Песчаной...»	115
«По улице моей который год...»	116
«В тот месяц май, в тот месяц мой...»	117
Нежность	118
Несмеяна	120
Мотороллер	121
«Влечёт меня старинный слог...»	122
Светофоры	123
Сны о Грузии	124
Свеча	125
Магнитофон	126
Прощание	128
Пейзаж	129
Зима	130
«Случилось так, что двадцати семи...»	131
Тоска по Лермонтову	132
Зимняя замкнутость	135
Ночь	138
Слово	140
Немота	141
Сумерки	142
Уроки музыки	144
«Четверть века, Марина, тому...»	145
Биографическая справка	146
Клянусь	148
Снегопад	150
Метель	151
«Мне вспоминать сподручней, чем иметь...»	152
Строка	153
Семья и быт	154
Закливание	156
Это я...	157
Рисунок	159
Воспоминание о Ялте	160

«Предутренний час драгоценный...»	161
«Однажды, покачнувшись на краю...»	162
«Собрались, завели разговор...»	163
Медлительность	165
«Что за мгновенье! Родное дитя...»	166
Взойти на сцену	167
«Сад еще не облетал...»	168
«Бьют часы, возвестившие осень...»	170
«Опять сентябрь, как тьму времён назад...»	171
Снимок	172
«Я вас люблю, красавицы столетий...»	173
«Теперь о тех, чьи детские портреты...»	175
Ожидание ёлки	177
«Как никогда, беспечна и добра...»	178
Дом	179
«Потом я вспомню, что была жива...»	183
«Завидна мне извечная привычка...»	184
«Я завидую ей – молодой...»	185
«Какое блаженство, что блещут снега...»	186
«Стихотворения чудный театр...»	187
«Я столько раз была мертва...»	188
«Я знаю, всё будет: архивы, таблицы...»	189
«Деревни Бёхово крестьянин...»	190
Путник	191
Приметы мастерской	193
«Вот не такой, как двадцать лет назад...»	194
Таруса	196
«Не добела раскалена...»	200
Возвращение из Ленинграда	201
«То снился он тебе, а ныне ты – ему...»	202
Памяти Генриха Нейгауза	203
«Твой случай таков, что мужи этих мест и предместий...»	204
Сад	205
Ладыжино	207
Радость в Тарусе	208
Рассвет	210
Свет и туман	211
Вослед 27-му дню марта	213
Возвращение в Тарусу	215
Черёмуха	216
«Есть тайна у меня от чудного цветенья...»	218
Ночь упаданья яблок	220
Прогулка	221
Сиреневое блюдо	223
Сад-всадник	225
«Воздух августа: плавность услад и услуг...»	227
Забывтый мяч	228
«Я лишь объём, где обитает что-то...»	229
Звук указующий	230

«Я встала в шесть часов. Виднелась тьма во тьме...»	231
Луне от ревнивца	232
Пашка	234
Суббота в Тарусе	236
Друг столб	238
«Как много у маленькой музыки этой...»	239
Цветений очерёдность	240
«Быть по сему: оставьте мне...»	242
«Отселева за тридевять земель...»	243
«Дорога на Паршино, дале – к Тарусе...»	244
«Люблю ночные промедленья...»	245
Посвящение	247
«Ровно полночь, а ночь пребывает в изгоях...»	249
«Когда жалела я Бориса...»	252
«Был вход возбранён. Я не знала о том и вошла...»	254
«Воскресенье настало. Мне не было грустно ничуть...»	255
«Бессмертьем душу обольщая...»	256
Ёлка в больничном коридоре	258
«Такая пала на душу метель...»	260
Венеция моя	262
Постой	264
«Всех обожаний бедствие огромно...»	265
Дом с башней	266
«Темнеет в полночь и светает вскоре...»	268
«Завидев дом, в испуге безъязыком...»	270
Побережье	272
Поступок розы	275
«Этот брег – только бред двух схватившихся зорь...»	277
«Ночь: белый сонм колонн надводных...»	278
«Мне дан июнь холодный и пространный...»	279
Шестой день июня	280
«Где Питкяранта? Житель питкярантский...»	282
«Так бел, что опаляет веки...»	284
«Лишь июнь сортавальские воды согрел...»	286
«То ль потому, что ландыш пожелтел...»	288
«Сирень, сирень, не кончилась бы худом...»	289
Пригород: названия улиц	292
Ларец и ключ	294
Вокзальчик	296
19 октября 1996 года	298
Надпись на книге: 19 октября	300
Поездка в город	303
Изгнание ёлки	306
Мгновенье бытия	309
«Девочка с персиками»	311
Отсутствие черёмухи	313
Вишневый сад	315
Анна Ахматова	316
Песня последней встречи	316

«Сжала руки под темной вуалью...»	317
В Царском Селе	318
«Мне голос был. Он звал утешно...»	320
«Не с теми я, кто бросил землю...»	321
Мужество	322
Приморский сонет	323
Родная земля	324
Реквием	325
Вместо предисловия	325
Посвящение	325
Вступление	326
I	326
II	326
III	327
IV	327
V	327
VI	328
VII	328
VIII	328
IX	329
X	330
Эпилог	330
Александр Блок	332
Незнакомка	332
Россия	334
«Ночь, улица, фонарь, аптека...»	335
«Река раскинулась. Течет, грустит лениво...»	336
На железной дороге	337
«О доблестях, о подвигах, о славе...»	339
«О, весна без конца и без краю...»	340
«О, я хочу безумно жить...»	341
Двенадцать	342
1	342
2	344
3	345
4	345
5	346
6	346
7	347
8	348
9	349
10	349
11	350
12	350
Андрей Вознесенский	352
ПЛАВКИ БОГА	352
ТИШИНЫ ХОЧУ!	391
ВАЙДАВАЙДАВАЙ	529
Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ	672

ЖЁЛТЫЙ ДОМ	706
РАУРА	755
НОВЫЕ СТИХИ	815
Владимир Высоцкий	859
Песни 1960–1966 годов	859
Сорок девять дней	859
Татуировка	860
«Я был душой дурного общества...»	861
Ленинградская блокада	862
«Что же ты, зараза, бровь себе побрила...»	863
«Позабыв про дела и тревоги...»	863
Серебряные струны	864
Тот, кто раньше с нею был	864
«У тебя глаза – как нож...»	866
Лежит камень в степи	867
Большой Каретный	868
«Если б водка была на одного...»	869
«Сколько лет, сколько лет...»	870
«Правда ведь, обидно – если завязал...»	870
«– Эй, шофер, вези – Бутырский хутор...»	871
«За меня невеста отрыдает честно...»	871
Рецидивист	872
«Я женщин не бил до семнадцати лет...»	873
Про Сережу Фомина	874
Штрафные батальоны	875
Письмо рабочих тамбовского завода китайским руководителям	875
Антисемиты	876
Песня про Уголовный кодекс	877
Наводчица	878
О нашей встрече	879
Все ушли на фронт	880
«Я любил и женщин и проказы...»	881
«Вот раньше жизнь!..»	881
Песня про стукача	883
«Потеряю истинную веру...»	884
Песня о звездах	884
Братские могилы	885
Городской романс	885
«Я был слесарь шестого разряда...»	886
Ребята, напишите мне письмо	887
«Ну о чем с тобою говорить!..»	887
«Парня спасем...»	888
Песня о нейтральной полосе	889
Попутчик	890
«Сыт я по горло, до подбородка...»	891
«Мой друг уедет в Магадан...»	891
«В холода, в холода...»	892
Высота	893

Песня про снайпера, который через 15 лет после войны спился и сидит в ресторане	893
День рождения лейтенанта милиции в ресторане «Берлин»	894
«Перед выездом в загранку...»	895
«Есть на земле предостаточно рас...»	896
Песня о сумасшедшем доме	897
Про черта	898
Песня о сентиментальном боксере	899
Песня космических негодяев	900
В далеком созвездии Тау Кита	901
Про дикого вепря	903
«При всякой погоде...»	904
«Один музыкант объяснил мне пространно...»	904
«У домашних и хищных зверей...»	905
«А люди все роптали и роптали...»	906
Дела	906
Песня о друге	908
Здесь вам не равнина	909
Военная песня	910
Скалолазка	911
Прощание с горами	911
«Свои обиды каждый человек...»	912
Она была в Париже	913
«Возле города Пекина...»	913
Песня-сказка о нечисти	914
Песня о новом времени	916
Песни 1967–1970 годов	918
«Корабли постоят – и ложатся на курс...»	918
Случай в ресторане	918
Пародия на плохой детектив	919
Профессионалы	920
Песенка про йогов	922
Песня-сказка про джинна	923
Песня о вещем Олеге	925
Два письма	926
I	926
II	927
Ой, где был я вчера	928
Лукоморья больше нет	929
Сказка о несчастных сказочных персонажах	932
Спасите наши души	934
Невидимка	935
Песня про плотника Иосифа, деву Марию, Святого Духа и непорочное зачатие	938
Дайте собакам мяса	939
Моя цыганская	940
«На стол колоду, господа...»	941
«Сколько чудес за туманами кроется...»	943
Я уехал в Магадан	944

«Жил-был добрый дурачина-простофиля...»	945
«Красивых любят чаще и прилежней...»	947
«Вот и разошлись пути-дороги вдруг...»	948
Две песни об одном воздушном бое	948
I. Песня летчика	948
II. Песня самолета-истребителя	950
«Давно смолкли залпы орудий...»	951
Еще не вечер	952
Песенка ни про что, или Что случилось в Африке	953
«Наши предки – люди темные и грубые...»	954
Банька по-белому	955
Охота на волков	956
Песня о двух красивых автомобилях	958
«То ли – в избу и запеть...»	959
«Мне каждый вечер зажигают свечи...»	960
Песенка про метателя молота	961
I	961
II	962
Оловянные солдатики	962
Ноль семь	963
Песенка о переселении душ	964
«И душа и голова, кажись, болит...»	965
К вершине	966
Я не люблю	967
«Ну вот, исчезла дрожь в руках...»	968
Песенка о слухах	969
«„Рядовой Борисов!“ – „Я!“ – „Давай, как было дело!“...»	970
«Подумаешь – с женой не очень ладно...»	971
Старательская	972
Посещение Музы, или Песенка плагиатора	973
Он не вернулся из боя	974
Песня о Земле	974
Сыновья уходят в бой	975
Темнота	976
Песня о нотах	977
Человек за бортом	978
Пиратская	980
«Долго же шел ты в конверте, листок...»	980
Цунами	981
«Теперь я буду сохнуть от тоски...»	982
«Нет меня – я покинул Расею...»	983
«Переворот в мозгах из края в край...»	984
Разведка боем	985
«Запомню, оставлю в душе этот вечер...»	987
Про двух громилов – братьев Прова и Николая	988
Странная сказка	990
Бег иноходца	991
«Я несла свою Беду...»	992
Банька по-черному	993

Конец ознакомительного фрагмента.

995

Стихотворения и поэмы для 11 класса

Сергей Александрович Есенин

«Гой ты, Русь, моя родная...»

Гой ты, Русь, моя родная,
Хаты – в ризах образа...
Не видать конца и края –
Только синь сосет глаза.
Как захожий богомолец,
Я смотрю твои поля.
А у низеньких околиц
Звонно чахнут тополя.
Пахнет яблоком и медом
По церквам твой кроткий Спас.
И гудит за корогодом
На лугах веселый пляс.
Побегу по мятой стежке
На приволь зеленых лех,
Мне навстречу, как сережки,
Прозвенит девичий смех.
Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

«Я последний поэт деревни...»

Мариенгофу

Я последний поэт деревни,
Скромн в песнях дощатый мост.
За прощальной стою обедней
Кадящих листвою берез.
Догорит золотистым пламенем
Из телесного воска свеча,
И луны часы деревянные
Прохрипят мой двенадцатый час.
На тропу голубого поля
Скоро выйдет железный гость.
Злак овсяный, зарею пролитый,
Соберет его черная горсть.
Не живые, чужие ладони,
Этим песням при вас не жить!
Только будут колосья-кони
О хозяине старом тужить.
Будет ветер сосать их ржанье,
Панихидный справляя пляс.
Скоро, скоро часы деревянные
Прохрипят мой двенадцатый час!

«Не жалею, не зову, не плачу...»

Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.
Ты теперь не так уж будешь биться,
Сердце, тронутое холодком,
И страна березового ситца
Не заманит шлаться босиком.
Дух бродяжий, ты все реже, реже
Расшевеливаешь пламень уст.
О, моя утраченная свежесть,
Буйство глаз и половодье чувств.
Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя? иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.
Все мы, все мы в этом мире тленны,
Тихо льется с кленов листьев медь...
Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процвести и умереть.

1921

Русь советская

А. Сахарову

Тот ураган прошел. Нас мало уцелело.
На переключке дружбы многих нет.
Я вновь вернулся в край осиротелый,
В котором не был восемь лет.
Кого позвать мне? С кем мне поделиться
Той грустной радостью, что я остался жив?
Здесь даже мельница – бревенчатая птица
С крылом единственным – стоит, глаза смежив.
Я никому здесь не знаком.
А те, что помнили, давно забыли.
И там, где был когда-то отчий дом,
Теперь лежит зола да слой дорожной пыли.
А жизнь кипит.
Вокруг меня снуют
И старые и молодые лица.
Но некому мне шляпой поклониться,
Ни в чьих глазах не нахожу приют.
И в голове моей проходят роем думы:
Что родина?
Ужели это сны?
Ведь я почти для всех здесь пилигрим угрюмый
Бог весть с какой далекой стороны.
И это я!
Я, гражданин села,
Которое лишь тем и будет знаменито,
Что здесь когда-то баба родила
Российского скандального пиита.
Но голос мысли сердцу говорит:
«Опомнись! Чем же ты обижен?
Ведь это только новый свет горит
Другого поколения у хижин.
Уже ты стал немного отцветать,
Другие юноши поют другие песни.
Они, пожалуй, будут интересней –
Уж не село, а вся земля им мать».
Ах, родина! Какой я стал смешной.
На щеки впалые летит сухой румянец,
Язык сограждан стал мне как чужой,
В своей стране я словно иностранец.
Вот вижу я:
Воскресные сельчане
У волости, как в церковь, собрались.
Корявыми, нематыми речами

Они свою обсуживают «жись».
Уж вечер. Жидкой позолотой
Закат обрызгал серые поля.
И ноги босые, как телки под ворота,
Уткнули по канавам тополя.
Хромой красноармеец с ликом сонным,
В воспоминаниях морщина лоб,
Рассказывает важно о Буденном,
О том, как красные отбили Перекоп.
«Уж мы его – и этак и раз-эта, –
Буржуя энтого... которого... в Крыму...»
И клены морщатся ушами длинных веток,
И бабы охают в немую полутьму.
С горы идет крестьянский комсомол,
И под гармонику, наявивая рьяно,
Поют агитки Бедного Демьяна,
Веселым криком оглашая дол.
Вот так страна!
Какого ж я рожна
Орал в стихах, что я с народом дружен?
Моя поэзия здесь больше не нужна,
Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен.
Ну что ж!
Прости, родной приют.
Чем сослужил тебе, и тем уж я доволен,
Пушай меня сегодня не поют –
Я пел тогда, когда был край мой болен.
Приемлю все.
Как есть все принимаю.
Готов идти по выбитым следам.
Отдам всю душу октябрю и маю,
Но только лиры милой не отдам.
Я не отдам ее в чужие руки,
Ни матери, ни другу, ни жене.
Лишь только мне она свои вверяла звуки
И песни нежные лишь только пела мне.
Цветите, юные! И здоровейте телом!
У вас иная жизнь. У вас другой напев.
А я пойду один к неведомым пределам,
Душой бунтующей навеки присмирив.
Но и тогда,
Когда во всей планете
Пройдет вражда племен,
Исчезнет ложь и грусть, –
Я буду воспевать
Всем существом в поэте
Шестую часть земли
С названьем кратким «Русь».

«Низкий дом с голубыми ставнями...»

Низкий дом с голубыми ставнями,
Не забыть мне тебя никогда, —
Слишком были такими недавними
Отзвучавшие в сумрак года.
До сегодня еще мне снится
Наше поле, луга и лес,
Принакрытые сереньким ситцем
Этих северных бедных небес.
Восхищаться уж я не умею
И пропасть не хотел бы в глуши,
Но, наверно, навеки имею
Нежность грустную русской души.
Полюбил я седых журавлей
С их курлыканьем в тощие дали,
Потому что в просторах полей
Они сытных хлебов не видали.
Только видели березь, да цветь,
Да ракитник, кривой и безлистый,
Да разбойные слышали свисты,
От которых легко умереть.
Как бы я и хотел не любить,
Все равно не могу научиться,
И под этим дешевеньким ситцем
Ты мила мне, родимая выть.
Потому так и днями недавними
Уж не юные веют года...
Низкий дом с голубыми ставнями,
Не забыть мне тебя никогда.

Письмо матери

Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет.
Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто ходишь на дорогу
В старомодном ветхом шушуне,
И тебе в вечернем синем мраке
Часто видится одно и то ж:
Будто кто-то мне в кабацкой драке
Саданул под сердце финский нож.
Ничего, родная! Успокойся.
Это только тягостная бредь.
Не такой уж горький я пропойца,
Чтоб, тебя не видя, умереть.
Я по-прежнему такой же нежный
И мечтаю только лишь о том,
Чтоб скорее от тоски мятежной
Воротиться в низенький наш дом.
Я вернусь, когда раскинет ветви
По-весеннему наш белый сад.
Только ты меня уж на рассвете
Не буди, как восемь лет назад.
Не буди того, что отмечталось,
Не волнуй того, что не сбылось, –
Слишком раннюю утрату и усталость
Испытать мне в жизни привелось.
И молиться не учи меня. Не надо!
К старому возврата больше нет.
Ты одна мне помощь и отрада,
Ты одна мне несказанный свет.
Так забудь же про свою тревогу,
Не грусти так шибко обо мне.
Не ходи так часто на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.

[1924]

Собаке Качалова

Дай, Джим, на счастье лапу мне,
Такую лапу не видал я сроду.
Давай с тобой полаем при луне
На тихую, бесшумную погоду.
Дай, Джим, на счастье лапу мне.
Пожалуйста, голубчик, не лижись.
Пойми со мной хоть самое простое.
Ведь ты не знаешь, что такое жизнь,
Не знаешь ты, что жить на свете стоит.
Хозяин твой и мил и знаменит,
И у него гостей бывает в доме много,
И каждый, улыбаясь, норовит
Тебя по шерсти бархатной потрогать.
Ты по-собачьи дьявольски красив,
С такою милою доверчивой приятцей.
И никого ни капли не спросив,
Как пьяный друг, ты лезешь целоваться.
Мой милый Джим, среди твоих гостей
Так много всяких и невсяких было.
Но та, что всех безмолвней и грустней,
Сюда случайно вдруг не заходила?
Она придет, даю тебе поруку.
И без меня, в ее уставясь взгляд,
Ты за меня лизни ей нежно руку
За все, в чем был и не был виноват.

1925

«Спит ковыль. Равнина дорогая...»

Спит ковыль. Равнина дорогая
И свинцовой свежести полынь.
Никакая родина другая
Не воьет мне в грудь мою теплынь.
Знать, у всех у нас такая участь,
И, пожалуй, всякого спроси –
Радуюсь, свирепствуя и мучась,
Хорошо живет на Руси.
Свет луны, таинственный и длинный,
Плачут вербы, шепчут тополя.
Но никто под окрик журавлиный
Не разлюбит отчие поля.
И теперь, когда вот новым светом
И моей коснулась жизнь судьбы,
Все равно остался я поэтом
Золотой бревенчатой избы.
По ночам, прижавшись к изголовью,
Вижу я, как сильного врага,
Как чужая юность брызжет новью
На мои поляны и луга.
Но и все же, новью той теснимый,
Я могу прочувственно пропеть:
Дайте мне на родине любимой,
Все любя, спокойно умереть!

Июль 1925

Шаганэ ты моя, Шаганэ...

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Потому, что я с севера, что ли,
Я готов рассказать тебе поле,
Про волнистую рожь при луне.
Шаганэ ты моя, Шаганэ. Потому, что я с севера, что ли,
Что луна там огромней в сто раз,
Как бы ни был красив Шираз,
Он не лучше рязанских раздолий.
Потому, что я с севера, что ли. Я готов рассказать тебе поле,
Эти волосы взял я у ржи,
Если хочешь, на палец вяжи —
Я нисколько не чувствую боли.
Я готов рассказать тебе поле. Про волнистую рожь при луне
По кудрям ты моим догадайся.
Дорогая, шути, улыбайся,
Не буди только память во мне
Про волнистую рожь при луне. Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Там, на севере, девушка тоже,
На тебя она страшно похожа,
Может, думает обо мне...
Шаганэ ты моя, Шаганэ.

1924 г.

Геннадий Айги Стихотворения

Начала Полян Из ранних стихов. 1956–1959

здесь

словно чащи в лесу облюбована нами
суть тайников
берегущих людей

и жизнь уходила в себя как дорога в леса
и стало казаться ее иероглифом
мне слово “здесь”

и оно означает и землю и небо
и то что в тени
и то что мы видим воочью
и то чем делиться в стихах не могу

и разгадка бессмертия
не выше разгадки
куста освещенного зимнею ночью —

белых веток над снегом
черных теней на снегу

здесь все отвечает друг другу
языком первозданно-высоким
как отвечает — всегда высоко-необязанно —
жизни сверх-числовая свободная часть
смежной неуничтожаемой части

здесь
на концах ветром сломанных веток
притихшего сада
не ищем мы сгустков уродливых сока
на скорбные фигуры похожих —

обнимающих распятого
в вечер несчастья

и не знаем мы слова и знака

которые были бы выше другого
здесь мы живем и прекрасны мы здесь

и здесь умолкая смущаем мы явь
но если прощание с нею сурово
то и в этом участвует жизнь —

как от себя же самой
нам неслышная весть

и от нас отодвинувшись
словно в воде отражение куста
останется рядом она чтоб занять после нас
нам отслужившие
наши места —
чтобы пространства людей заменялись
только пространствами жизни
во все времена

|1958|

В рост

1.

в невидимом зареве
из распыленной тоски
знаю ненужность как бедные знают одежду
последнюю
и старую утварь
и знаю что эта ненужность
стране от меня и нужна
надежная как уговор утаенный:
молчанье как жизнь
да на всю мою жизнь

2.

однако молчание — дань а себе — тишина

3.

к такой привыкать тишине
что как сердце не слышное в действии
как то что и жизнь
словно некое место ее
и в этом я есть – как Поэзия есть
и я знаю
что работа моя и трудна и сама для себя
как на кладбище города
бессонница сторожа

|1954–1956|

ЗАВЯЗЬ
(из одноименной чувашской поэмы)

[р. а.]

пускай я буду среди вас
как пыльная монета оказавшаяся
среди шуршащих ассигнаций
в шелковом скользком кармане:
звенеть бы ей во весь голос
да не с чем сталкиваться чтобы звенеть

когда гудят контрабасы
и когда вспоминается
как в детстве ветер
дымил дождем в осеннее утро —

пускай я буду
стоячей вешалкой
на которую можно
вешать не только плащи
но можно повесить еще что-нибудь
потяжелее плаща

и когда перестану я верить в себя
пусть память жил
вернет мне упорство
чтобы снова я стал на лице ощущать
давление мускулов глаз

|1954|

ИЗ ПОЭМЫ О ВОЛЬКЕРЕ

там в тайниках заоконных лугов

антрацитами светятся
черные дома полустанков

и вечером около рельс
маленькие красные фонари
горят так тихо и сосредоточенно
как будто сидят в них
маленькие Пимены
и тихо и застенчиво пишут

что сказание все продолжается

119571

предчувствие реквиема

а вам отдохнуть не придется
и в ясном присутствии гроба его

вам предоставлена будет прохлада
как на открытой поляне
чернеющей и угасающей
как в окружении
деревьев черных бесшумной корой

и явственней станет чем ваше “мы есть”
образа ясного свет
от которого будут болеть
ваши глаза с проявлением дна
с узкой – надглазной – костью
похожей на тусклый намордник

и станет известно что даже в то время
когда был горяч он насквозь
когда как ребенок был мягок и влажен
когда он хотел на прощанье сказать
три слова последние веры —

и преник ради этого
лицом небывало-доверчивым
к чему-то человеческому —

это и тогда оказалось
вашиими руками

и запомним лицо остывающее
и все больше принимающее вид
маски вылепленной будто

руками убийц

|1957|

бодлер

Не вы убивали не вы побеждали
не вашего поля

Недаром вы слушать его не умели
диктовало откуда-то что-то
места своего не имея

и не было будто ни губ ни бровей ни висков
кроме далекого голоса
и неожиданных рук

И даже законы движенья и роста
искали иного служенья ему:

непредвиденным было то место под небом
где все утверждалось как тяжесть

и от всех эта тяжесть его отделяла
как падающее что-то
отделяется от воздуха в воздухе

– И цвета испанского табака
были живы глаза перед смертью
тоскующие по чистоте

рождаемой только разрывом и гибелью

|1957|

ночь первого снега

[г. а.]

ночь первого снега когда телеграфные
залепленные снегом столбы
словно чуть-чуть отошли от дороги
и потеряли колонну свою
и каждый из них —
ведущий

и шлагбаума белые полосы

придвинулись к белым от снега
шпал полосам нарушающим
горизонталь

и в издавна знакомой округе
есть что-то напоминающее
незнакомое пространство

и ограда вдоль дачи поэта
напоминает теперь частокол
перед домом далеким твоим неуклюже
поставленный
в котором засохшем задержана дерева смерть

неким подобьем
намека на вечность —

на большее время чем мы

ночь первого снега когда
ты стал не счастливым не легким а просто
свободным
как это бывает лишь в детстве
и лишь перед смертью

и тем ты свободен что можешь
не быть ответственным даже за веру:

ей уже жить вне тебя своей жизнью
там где пространство особо понятно
как освещенное снегом
за стеклами место на даче

где от сильного света бессильна с утра
женщина понятная сама по себе
и твоя потому что она твоя вера
не зависящая уже от тебя

|1957|

СОН-ОГОНЬ
(утра в иркутске)

[м. м. л.]

Сна начало
с шуршания
дворничьих метел под утро —

будто
по стенам
движение пламени
над головой —

так неуклонно, сурово, шершаво!

Юность-бездомность!..

Сон – словно мыслей потрескиваньё
в дружеском доме: в огне.

|1958|

без названия

[и. р.]

а как эта боль появилась?
ты так уходила
как будто от жил отнимала ты руки

и с каждым уходом
они выявлялись все больше

и потом обнаружилось сердце
о котором я просто сказал: “болит”

а где-то покоилось время
существуя как воздух само по себе

и стал я впервые
ему принадлежать

когда я узнал
что я горестный след
твоей обособленной памяти детской
и нынешних снов

во мне без желанья оставленный
во время свечения крови и жил

что и сам я – лишь память
для всех – навсегда – о тебе – перед богом

|1958|

в декабрьской ночи

[н. ч.]

в страхе
как будто в декабрьской ночи
самоосвещаются
в е щ и души
и как говорим “тупики” и “дома” и “туннели”
определяю я это немногое —

когда повторяю:

что общность избравших друг друга
совместность их нищенская —
как разрешенная по недосмотру!

но неотменима

что ежедневно обязан художник
знать о силе и времени смерти

и знать потому: что для правды
не хватит и всей его жизни

что можно быть светлым всегда —
о хотя бы от боли! —
когда эта боль — словно заданная
неотличима от веры

что — как говорящие — теплятся
в е щ и души
в страхе — как в зимней ночи

всю полноту образуя
необходимого ныне терпения

|1957|

к предчувствию реквиема

а как это было?
впервые
вас били в то время —

но — только себя отдирая от вас

а – не нападая

я бился тогда чтоб себя отыскать
в бесформенной массе врагов называемой
временем
чтоб было пространство
для жизни без вас

прошло это время! и стал я свободным
от подаренного мне одиночества —
одиночества – в окружении!

и получил завоеванное одиночество —
самого себя

и место мое оказалось
пустыней где нет никого —
пока утешая могло оно так называться

пока вы не действовали еще окончательно!
и заняты были не смертью самой:

еще не ее матерьялом самим!

а только строительством
сферы для смерти

ее подготовкой

|1958|

куст

*...в жизнь я шепчу – как в соседнюю
бесконечность умолкшего леса...*

1957

о явное это пространство
между снегом и между нижними верками
крыжовника около ветхой решетки —

в архипелагах
занесенного снегом сада

нет в этом пространстве
признаков тени
и недоказуема

близость редящих листьев

сперва может быть и была эта тень
и торжеством ее было ее появление —

видимым словно в растворной воде
сиротством чернеющих веток

но что-то еще требовалось о так это было
этим теням
и снегу хотелось иметь свою тень
на нижних ветках куста

и на всю зиму слились
тень снега и тени веток
и будут всю зиму стараться очнуться —

и очнутся
лишь в середине марта —

о это ощущение
чего-то опасного и разряженного
как перед дверью
некой неведомой лаборатории

о этот великий обморок
существующий при моем существовании
как музыка за стеной

— и перед этим таинством
я человек прошу
помня о тех кто готовит опасное
моему пребыванию здесь:

“о дайте – прошу – немного времени
для немногих слов
о последних в мире кустах” —

о если бы все было жизнью
и если бы смерть исходила от жизни
не у людей я просил бы отсрочку —

но смерть сейчас от тех кто “они”
от людей смертей

прощальное **[памяти чувашского поэта васьлея митты]**

было – потери не знавшее лето
всюду любовью смягченное
близких людей полевых —

будто для рода всего обособленное! —
и жизнь измерялась
лишь той продолжительностью
времени – ставшего личным как кровь
и дыханье —

лишь тою ее продолжительностью —

которая требовалась чтобы на лицах
от слов простых
возникали прозрачные веки
и засветились —

от невидимого движения слез

|1958|

родное

я должен
дойти губами
до ее беспредельных глаз

и удивлюсь я тогда чуть пульсирующим жилам
на подглазье ее
и пойму что это от их прозрачности
и бестелесности
так светлы и больны
чуть вздрагивающие эти глаза

и люблю я ее и руками моими и губами
и молчаньем и сном и улицами моих стихов
и ложью – для государств
и правдой – для жизни

и платформами всех вокзалов
где я буду в последний раз
смотреть на горячие черные спины
паровозов на дворах депо

оставляя ее
очередям и убежищам
маленьких страшных городов Сибири
и уезжая от нее навсегда

на бойню людей
моего же века

|1958|

отъезд

Забудутся ссоры,
отъезды, письма.

Мы умрем, и останется
тоска людей
по еле чувствуемому следу
какой-то волны, ушедшей
из их снов, из их слуха,
из их усталости.

По следу того,
что когда-то называлось
нами.

И зачем обижаться
на жизнь, на людей, на тебя, на себя,
когда уйдем
от людей мы вместе,
одной волной,
когда не снега и не рельсы, а музыка
будет мерить пространство
между нашими
могилами.

|1958|

сад в декабре

где-то скрывает он мертвое поле
будто единственное
им охраняемое:

“сад” говорю и не вижу о лучше оставить
их понимающих только себя!

и без призора движенье карниза:
легкий мышинный
пробег по стерне! —

длится невидимое
словно во сне белокамье Карелии:

о скоро:

кренясь постепенно! —

и удаляясь
как будто на льдине:

затылком
случайно отыщется —
для снов через год и для памяти —

девичий столик
под снегом вечерним:

вычурным

детским
[1959]

Отмеченная зима 1960–1961

тишина

Как будто
сквозь кровавые ветки
пробираешься к свету.

И даже сны здесь похожи
на сеть сухожилий.

Что же поделаешь, мы на земле
играем в людей.

А там —
убежища облаков,
и перегородки
снов бога,
и наша тишина, нарушенная нами,

тем, что где-то на дне
мы ее сделали
видимой и слышимой.

И мы здесь говорим голосами
и зримы оттенками,
но никто не услышит
наши подлинные голоса,

и, став самым чистым цветом,
мы не узнаем друг друга.

|1960|

облака

В этой
ничьей деревне
нищие тряпки на частоколах
казались ничьими.

И были над ними ничьи облака,

и там — рекламы о детстве

рахитичных и диких детей;

и музыка о нагоде
гуннских и скифских женщин;

а здесь, на постели, на уровне глаз,
где-то около мокрых ресниц,
кто-то умирал и плакал,

пока понимал я
в последний раз,

что она была мама.

|1960|

смерть

Не снимая платка с головы,
умирает мама,
и единственный раз
я плачу от жалкого вида

ее домотканого платья.

О, как тихи снега,
словно их выровняли
крылья вчерашнего демона,

о, как богаты сугробы,
как будто под ними —
горы языческих

жертвоприношений.

А снежинки
все несут и несут на землю

иероглифы бога...

|1960|

дом друзей

[к. и т. эрастовым]

Было совместное

соответствие
дыханья, движенья и звука
в их первозданном
виде.

Надо было уметь не усиливать
ни одно из них.

И во все проникал
свет звука, свет взгляда, свет тишины,
и где-то за этим свеченьем
плакали дети,
и изображало пламя свечи

пересечения
наших шагов.

И мы находились
в составе жизни
где-то рядом со смертью,
с огнем и с временем,

и сами во многом
мы были ими.

|1960|

снег

От близкого снега
цветы на подоконнике странны.

Ты улыбнись мне хотя бы за то,
что не говорю я слова,
которые никогда не пойму.
Все, что тебе я могу говорить:

стул, снег, ресницы, лампа.

И руки мои
просты и далёки,

и оконные рамы
будто вырезаны из белой бумаги,

а там, за ними,
около фонарей,
кружится снег

с самого нашего детства.

И будет кружиться, пока на земле
тебя вспоминают и с тобой говорят.

И эти белые хлопья когда-то
увидел я наяву,
и закрыл глаза, и не могу их открыть,
и кружатся белые искры,

и остановить их
я не могу.

|1959–1960|

и: расходящиеся облака

[в память о зиме 1959–1960 годов]

1.

не с кем ему Расставаться и он Разлучает себя
в нас через нас!
это я вижу
по облакам

2.

– а наши балы, а заря, а залы,
алмазы, лампы, ангелы мои?
ответ: обрубок; клич: кусок; пароль: отрывок;
а цельный – в армии бе-ЭС

3.

а говорим ли кричим ли
и вспоминаем ли —
преследуемы проецируемы
убиваемы

4.

– и лес стенами золотыми
светя по памяти прохаживайся

приоткрывай прострелы доньев
как не-тревожащие раны

включи в свой свет и затеряй – как в море!
(пока я видимый как ты)

|1960|

из гостей

Ночью иду по пустынному городу
и тороплюсь
скорее – дойти – до дому,

ибо слишком трудно —
здесь, на улице,
чувствовать,

как хочу обнимать я камни.

И – как собака – деснами – руку —
руками – свои – рукава —

и – словно звуки
прессующей машины,
впечатленья о встречах в том доме,
который я недавно покинул;

и – жаль – кого-то – жаль – постоянно,
как резкую границу
между черным и белым;

и – тот наклон головы, при котором
словно издали помню себя,

я сохраню до утра,

сползая локтями по столу,
как по воску.

|1961|

счастье

– Там, где эти глаза зачинались,
был спровоцирован свет...

Я симметрично раскладываю ракушки
на женщину чужую,
лежащую на песке.

А облака – как крики,
и небо полно этих криков,
и я различаю границы
тишины и шума, —

они в улыбающейся женщине
заметны, как швы на ветру;

и встряхиваюсь я, как лошадь,
среди потомков дробей и простенков;

и думаю: хватит с меня, не мое это дело,
надо помнить, что два человека —
это и есть Биркенау, —

о табу ты мое, Биркенау мое,
игра матерьяла и железо мое,
чудо – не годится, чуждинка мое,
“я” – не годится, “оой!” мое!

1960

отмеченная зима

белым и светлым вторым
страна отдыхала

причиной была темноте за столом
и ради себя тишину создавая
дарила не ведая где и кому

и бог приближался к своему бытию
и уже разрешал нам касаться
загадок своих

и изредка шутя
возвращал нам жизнь

чуть-чуть холодную

и понятную заново

|1960|

люди

Так много ночей
линии стульев, рам и шкафов
проводил я движениями
рук и плеч
в их постоянный

и неведомый путь.

Я не заметил,
как это перенес на людей.
Должен признаться: разговаривая с ними,
мысленно мерил я пальцами

линии их бровей.

И были они везде,
чтобы я не забыл
о жизни в форме людей,

и были недели и годы,
чтобы с ними прощаться,
и было понятие мышления,
чтобы я знал,
что блики на их фортепьяно
имеют свою родню

в больницах и тюрьмах.

|1960|

прощальное

О, вижу тебя я, как свет в апельсине,
когда его режут,
твоя тишина освещала зрачки
издали, еще не коснувшись,
словно ты видела
еще до зрачков —

там, в глубине —
в горячем и красном.

Как будто плечами и шеей
плечам ты моим объясняла,
где в близости есть расхождение,
но было ли это обидно,
когда это было

тише плеч, тише шеи
и тише руки.

И мне, как открытые форточки, запоминались
все детские твои имена,
их знал только я, и остались они,
как снег по ту сторону
тюремных ворот —

тише смерти и тише тебя.

|1960|

ИЗ ЗИМНЕГО ОКНА

голова
ягуаровым резким движеньем,
и, повернувшись, забываю слова;

и страх занимает
глубокие их места,

он прослежен давно
от окон — через — сугробы — наис — косок —

до черных туннелей;

я разрушен давно
на всем этом пути,
издали, из подворотен
белые распады во мгле
бьют
по самому сердцу —

страшнее, чем лица во время бурана;

все полно до отказа, и пластами тюленьими,
не разграничив себя от меня,
что-то тесное тихо шевелится

мокрыми воротниками и тяжелыми ветками;
светится, будто пласты скреплены
свистками и фарами;

и, когда, постепенно распавшись,
ослабевшее это пространство
выявляет меня в темноте,

я весь,
оставленный здесь между грудями тьмы —
что-то болезненное,
и невыразимо мамино,

как синие следы у ключиц.

|1960|

ДЕТСТВО

Желтая вода,
на скотном дворе —
далека, холодна, априорна,

и там, как барабанные палочки,
не знают конца
алфавиты диких детей:

о Соломинка, Щепка, Осколок Стекла,
о Линейные Скифские Ветры,
и, словно карнавальная драка в подвалах,
Бумага, Бумага, Бумага,

о юнги соломинок,
о мокрые буквы на пальцах!

ЗДЕСЬ И ТЕПЕРЬ – ЭТО КАК БЫ РЕЖЕТ,
НО ТОЛЬКО МЕНЯ, НЕ ВАС!
РЕЖЕТ – ЧЕРЕЗ КАРТИНЫ И ПЛАТЬЯ
И ЧЕРЕЗ КОГТИ ПТИЦ!

Коровьи копыта – яркие, невероятны,
что-то – от въезда в бухту,
что-то – от бала,

и сразу, как стучащие рельсы,
яркие, широкие, беспощадны
обнимающие нас соучастники —
руки, сестры, шеи, мамы!

Разгуляемся снова, разгуляемся,
снова заснем и пройдем
не вчера, не сегодня, не завтра, а-а-а-а-а! —

СКВОЗЬ КРИКИ ДЕТЕЙ,
ЧЕРЕЗ МОКРЫЕ БУКВЫ,
ЧЕРЕЗ КАРТИНЫ И ПЛАТЬЯ
И ЧЕРЕЗ КОГТИ ПТИЦ!

|1960|

окна весной – на трубной площади

[в. яковлеву]

качающимися квадратами
цветения и звона
всех детств моих, знакомых
прозрачным опустевшим городам,

я их коснусь, и девичьи венчанья
все так же будут длиться
без музыки и без дверей;

глубины теплятся
зеленовато-сумрачно,
и плачут гам, за ними,
дождем измазанные мясники,
упав на груды рыб;

и вновь топтанье и переступанье —
я здесь, я здесь;

топтанье и переступанье —
раз навсегда —

как колокол в тумане —

– и как – шмуцтитуты – акафистов —
мне снится – красная – разорванность —
и собранность

|1961|

женщина этой весной

Птица у стенки, падая замертво,
клювом скользнула по белой бумаге,
я не вижу ее, но она – у нее,

потому это знаю,
что стыжусь ее взглядов.

Блеск подглазья,
как будто бесстыдно положенный
пальцами мальчика,
на мост поведет
меня через час,

и будут флаги свободны,
и далеки, и свежи;

это ведь за нее устаю
и за нее умираю
среди зелени странной:
все кругом состоит
из свисающих
и бесперспективных лоскутьев

осиновой дикой коры
без стволов и без веток;

а стыд за нее не проходит,
как будто касалась она
соломы на нищем гумне,
как будто из окон больницы
рассматривают ее вечерами
и знают: “не надо, не надо...”

и слишком уверенно
и равнодушно молчат.

||1961|

женщина справа

Там то, говорящее,
меня удивляющее тем,
что создает себе волосы;

там то,
что падать стыдится и может упасть,
и яблоки катятся на привязи,
а привязи тонки,

холодны;

там – “Р”, это полое “Р”,
этот круг удивительных “Р”,
там иголки от крови жасмина,
там
как будто обмывают олени глаза и рога,
а здесь, где я,
как будто раскладывают
хворост за хворостом.

Потребуем выюгу —
она зашевелится
в провалах витрин.

Звать начинайте без имени,
словно бросая
скрещивающиеся белые линии.

А там, там —
эта спина,
меняющая меня, как олени леса,

и она, как убийство, есть и не здесь,
и оторвана страшно названьем
от самого человека,
как будто во сне подарили
железную форму распутия
и сказали, что это есть вечность,

и стал я, поверив, несчастным,

и плачу я, плачу, плачу
во всех углах
самого себя.

||1961||

Поля-двойники 1961–1965

утро в переделкине

все словно высчитывало
в этом доме себя самого:
пальцы чьи? и мелькало: чей свет?
чья синица? чей щеголь?
пологи надвое дарили себя
имея при людях
где-то свое раскаленное дно

и наклоняли тут двери
на независимой от близкого леса
площадке дверей

а часть платья на теле —
словно холод осенний на картах игральных!
это — льду! подоконники — льду! пальцы
детские — льду!

все в оттисках свистов
светло и оконно
будто без девочки этого дома
зацокало “це”
в брошенном всеми дому!

но войду — и лесным тарахтеньем
поверхности
станут полны потолки

и засветишься
вся словно колючки испарины
непрерываема
и узоры волнения как тени полыни
составят тебя наподобие
светлого хозяйства из перебоев дыхания

и утро подробно
подробен и сад
и все при тебе
в этом доме подробны с утра

как будто возникшие каждый в отдельности
только сейчас

19611

утро в детстве

а, колебало, а,
впервые просто чисто
и озаряло без себя
и узко, одиноко

и выявлялась: полевая!
проста, русалочка!

и лилия была, как слог второй была —
на хруст мороза, —
с поверхности блестящей, мокрой,

– царапинки! – заговорю, – царапинки!

с мороза,
и на руке —
впервые след пореза

а этот плач средь трав:
– я богу отдан заново!

а нищий брат, мой ангел под зарей! —
уже тогда задумали,

чтоб объяснил,
и чтоб ушел,
и чтоб осталась эта суть:
царапинки... заговорю – царапинки...

19611

реквием девочке

милей вдоль рук
прощальней вдоль ресниц
и птицею на полустанке
узка отброшена и остановлена

потом не появившись были стены
прошла зима и сохранились
там где закрыто все
и сеча тихая одежд и леса

и место облика где нам не быть

И ВОТ – БЕЗ ПОМОЩИ ЛЮДЕЙ, СЕРЬЕЗНО,
И ОЧЕНЬ ДАЛЕКО —
БЫЛА, КАК НА ЛЕТУ ПРОШЛА
БЕЗ ОТЗВУКА: “БЫЛА! БЫЛА!”

еще кричат поют и светятся
в садах во всем поселке
далекие чужие

как точки золота в песке

и тянутся уже во тьме
ряды притихших теней
просты как я молчащий
как вы не узнающие
тех что уже во тьме

|1961|

альт

[ф. дружину]

птица черная здесь затерялась
о ясный монах галерей
и снега кусок как в награду звезда!

отрываясь от грифа
падают доски селений
здесь во дворе опустевшем давно

и дереву нравятся вывихи дерева
бархату шелка куски

а струны ложились бы четче на книги
освещенные снегом на крыше
через окно

|1962|

вспоминается в рост

ляля, ляля без смысла и ляля,
пугающая, словно ранены жабры,
и части одежды

опрокинуты в воздух оттуда
там вдалеке,
когда я не вижу, до боли расцвечены
и смягчу я – тряпичны – смягчу;

а это
понятие-облако
столь неотступно-свисающее
будто явлением близко-тревожным —
“нося”? —

это было об астре, о ночи и о подоконнике,
здесь – о плечах,
представляю ее я в движенье,
но там, где от поля —
словно от стула,
и нет никого;

вся лель, вдоль и лель, прикрывая и шею,
дальше – тянет как с горки, —
вот здесь-то и плачут и не понимают;

и где-то у пыльной дороги
орешника долгий и стершийся край —
как вдоль плачущего одного;

и ясно прощается друг
и думают снова: “да едут же где-то к деревьям,
снится же что-то другое;

и были же корни не здесь,
а мука сильней оказалась”.

[1962]

поле – до ограды лесной

после белого поля – широкого нашего —
постепенно чужого
перекладина – издали наша —
а пока я бунтую – моя

и царсово-садо¹ бело на юру
сарабанда-пространство
чистая без удара и опять без удара

¹ Царсово-садо – неологизм автора. (Здесь и далее – примеч. автора.)

одиноким и взрослым я с этого края пойму
цвет – дальнего края другого
там после зеленого логова
двойника людского понятия “поле”
черные тонкие ветки деревьев
и санки и дети в овраге

как ласты – чисты далеки и слабы!
особенно – в поле! с холодными шеями!
и если душа словно бог выясняет
что можно все шеи ломать словно бог
прозрачность без зренья любя
то в поле

заброшенном мной поверх глаз ради памяти
и дети на месте на месте и я

и разрешены как во сне постепенно
и быть и смотреть и болеть

и тайное что-то иметь непременно
особое что-то иметь
что с марлею схоже и схоже с бинтом —
оброненным
в доме пустом

но знающий ясно разрезы во мне чистоты
в чистоте
я знаю что есть и двойник погребенья

есть место где лишь острова-двойники:
чистого первого – чистого третьего —
чистого вечного —
чистого поля

[1962]

заморская птица

[а. волконскому]

отсвет невидимый птичьего образа
ранит в тревоге живущего друга

и это никем из людей не колеблемо
словно в системе земли
сила соловья создающая
словно в словах исключение смерти:

сердце – сечение – север

а рядом приход и уход
замечающих перья и когти
знающих гвозди крюки и столбы
не боящихся видеть друг друга

и надо на улице утром на шею принять
холод от стен и сугробов
и тайная фраза синичья
диктует сердечную славу всему

слава белому цвету – присутствию бога
в его тайнике для сомнений
слава бедной столице и светлому
нищенству века

снегам – рассекающим – сутью бесцветья
бога – лицо

светлому – ангелу – страха
цвета – лица – серебра

[1962]

предзимний реквием

[памяти б.л. пастернака]

провожу и останусь как хор молчаливый
я в божьем пространстве
весь день предуказанный
с движеньями зимнего четкого дня
словно с сажаю рядом

а время творится само по себе
кружится пущенный по миру снег
у монастырских ворот
и кажется ныне поддержкой извне
необходимость прохожих

а уровень века уже утвержден
и требует уровень славы
лицо к тишине обращать
и не книга но атлас страстей
в тиши на столе сохранен

а год словно сажа коснется домов

в веке старом где будто разорваны книги
и любая страница потребует
линий резки и складки к себе
через мои рукава
где холод где рядом окно а за ним
сугробы ворота дома

[1962]

[112]

казимир малевич

...и восходят поля в небо.

Из песнопения (вариант)

где сторож труда только образ Отца
не введено поклонение кругу
и доски простые не требуют лика

а издали – будто бы пение церкви
не знает отныне певцов-восприемников
и построено словно не знавший
периодов времени город

так же и воля другая в те годы творила
себя же самой расстановку —
город – страница – железо – поляна —
квадрат:

– прост как огонь под золой утешающий
Витебск

– под знаком намека был отдан и взят
Велимир

– а Эль² он как линия он вдалеке
для прощанья

– это как будто концовка для библии: срез —
завершение – Хармс

– в досках другими исполнен
белого гроба эскиз³

² Эль – Эли Лисицкий.

³ Белого гроба эскиз – перед смертью Малевич сделал супрематический эскиз своего гроба.

и – восходят – поля – в небо
от каждого – есть – направление
к каждой – звезде

и бьет управляя железа концом
под нищей зарей
и круг завершился: как с неба увидена
работа чтоб видеть как с неба

|1962|

вдруг – мелькание праздника

а ведь и днем не назовешь! —

как будто это птицы свет
(теперь “свет Моцарта” сказал бы)! —

кружа играющего легкого
по миру будто из себя
катая по кругам-подсолнухам
даль наполняли словно шумом мельничным
и блеском девушки! – для праздника святее
сиянием первичным —

(хотя всегда мы умираем
а *это* нами и живет:
блестим расплескиваясь тихостью
себе не разрешая знать) —

и все прозрачней леса тень
и вот – как даропринимательница
ряды сияния выстраивает
и добавляет из себя
последний вздох дневного пенья —

и – ровен мир! – река серебряна
поляна золотиста
я юн (как с Губ-что-Свет)

|1963|

цветы от себя самому

в разрешенной ему дорогой глубине
он затравленный жив

он стар но однажды приснилась глубоко
и гулко
забытая словно для столяра стол неудавшийся
впервые понятная дочь
и он просыпаясь себя помещал перед лампой
и понял себя существующим явно
самоспасающим садом

он думал: как странно что стены с утра
существуют
о как непонятно за чьи говорится глаза
все это игра и отныне существенна
только защита себя словно глаза

как будто есть что-то пока кое-что берегут
зачем не разрушить когда лишь меня
укрывает
и в сказке нет смысла ненужных беречь
о как непонятно мне это укрытие

и он тяжелеет бесшумно ногами
словно к атласу в детстве к ключицам
внимателен
зная о чем-то растительно-ярком
о внешней и внутренней смежной чащобе
без цвета одежд

и добывает
цветы для себя в тайниках своего же
хожденья —
прекрасны как память во время расстрела
в подвале!
воспитаны холодом лунным
в ночь гимназическую

и был он арктически-цепок как будто
вися словно пух
— о где же то дно где диктуется слово Аа
где реки текут словно вниз и в платке пуховом
по — берегу — женщина
реки — Аа

[1963]

девочка в детстве

уходит

как светлая нитка дыханием в поле

и бело-картонная гречка
срезается лесом

птицы словно соломинки
принимают шум леса на шею

косички ее вдоль спины наугад
словно во сне начинают село
глядя на край каланчи

и там на юру на ветру
за сердцем далеким дождя золотого
ель без ели играет
в ю без ю

[1963]

День присутствия всех и всего 1963–1965

распределение сада

это облако взято
при утреннем зрении снизу наверх
одиноким полям
при свете похожу для блюда
чтобы лицо приподняв удивиться
рядом с лицом подоконнику
светлому для слабого глаза

и тронув слезой эта слабость опять одарит
далекими пятнами стен
проемы решеток и веток
и засветится подглазьями мягкими
на лицах у женщин
распределение настурций
среди кустов и скамеек

и лишь через сад разрешаю я зрение
ближе к себе затемняя
и на себя принимаю
легкую свежую тяжесть —
пробы соседнего дерева не отказаться
от движения слабого

а в памяти август соседствует с мрамором
и в отсвете этом
и рядом в домах притеснений
сегодня победу хранит
день присутствия всех и всего:

совместности облака солнцестояния голоса
матери
(светится соприкасается)
лестницы к астрам направленной
боли в висках

|1963|

к распределению сада

и примем мы свет на движенья нескромные

от самих лопастей
сегодняшнего цветодержца

не зная что камни и ветки и кожа лица —
видимые раны его!

и “я” говоря называем его расхитителем
одного неизменного
праодного своего же сверхсада

и здесь за оградой астры
не утешая ярки
словно руки он режет себе!

|1963|

вторая весть с юга

отмечу что лицом ко мне
похожим на порезы вдоль сирени
и тайным ворсом крови сильная —

там за ее воротником

а сердце будто бы при шуме спрятанном
иголки с выявлением музыки!
и проверяя есть ли мы
учесть придется нас с начала крови

она одна и нет конца
и “я” и “ты” лишь щебет птиц
уже вдали
уже не здесь

но есть и вызовы в больницу к маме

и вечная по улицам ходьба

Как жизнь долга Прерывиста И птицы
летят другие Слабые как мы

Себя как их Не жаль И будешь обесценена

как Много убивая

доказывали в детстве нам

|1963|

река за городом

а паутинная
пылью со дна как местами чердачными
восходящая к полю

и шелк и паутина
ее притягивая увлекутся
соседями оказаться такими же
как тень и пыль

и паутинная
как шелк во сне покажется нездешней
и связи с облаками
из пуха-хромоножки трав
глаза обманывающих

и алеющих

|1964|

возвращение страха

дети серебряны цинковы ваши ключицы
рука как Норвегия в книге у маминых щек
но краскою бросят на крест чтобы стоял
людской матерьял
словно кожа с Крестителя рук

о помни: есть верфи где сталь отражает
людей ягуарову радугу

как хозяином леса дубильщиком кожи
в автобусах смотрят в глаза

и ясный ведун будешь срезан как мох
и рекомендуется
не понимать

— а секс как разметка на небе как птица
чужая без имени! —

эта скрипичная нитка способна
лишь резать следы на щеке

это отсюда

по-травам-тоска сотворяется(есть
беспрерывно как шум в роднике!) —

жалом ловимых
с собою считать наравне

|1963|

мадригал поэту

[с. красовицкому]

езде твой цвет
особенно на склянках
ты – трогающий все вокруг тебя
как будто кровью
рыбы золотой

так прячут может быть за вьюшкою алмазы
как был ты нежен в ветхих рукавах

и ранил снег в окно мое свободно
коснувшись дара твоего израненного
потом меня

я глазками колец был так просвечен в саклях
и был соосвещенным ты
когда рассматривал я долго панагии
при сумерках столицы северной
и видел кровь твою

|1963|

начало леса

открывается сразу как воск поддаваясь
освещается весь!
с проемом с огнем с повтореньем огня и
проема
с местами для голоса мамы навечно:
“аи – ии”

суккубье третейство в вагонах кого-то
изведшее
тайно готовится здесь
оставлена кожа и кружевом скомканным
белеет во сне

и мягким горячим углем помещенное
что-то живое тройное
колодцем пригорком и домом
Девочку – робкую – около – речки
отдаляя играет

и вновь приближает

|1963|

появление снега

мягкий и близкий подросток неясный
в колодец в колодец
лицом побледневшим мой сон прорезая

меня освещая вдоль сердца

и возвращаясь на утро со дна
растенья на окнах коверкает
красным мне губы раня

светом с худых армяков
невидимый снег

он там недвижим
где явное место имеет как стул освещенное
издали солнце
где только они

крови подобно без кожи рожденные
без корки иной

и пламя яснее – от печки, от неба —
как будто проявлен ваш образ

на улице в детстве

в поле и в доме арестном

на камне и желтой бумаге

|1963|

КОЛОМЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

[и. вулоху]

овес
зернами тебе подражающий
красным пятном отражался
на пару с тобой
когда в облике мысли нас видел сперва
Спас

сеть
осенним угаром возможна на ягодах
над кожей звоном твоим
но весть
восходящая ввысь
единственно суть

у ветра
синицы и друга
спросил я навеки ли мы
и отвечала снаружи печально:
“три”

|1964|

ЗАСЫПАЮЩИЙ В ДЕТСТВЕ

а высоко – река моя из дүхов:
друг в друга вы вбегающие
и так – темнея —
вдаль и вдаль

и от ушибов дела нежащего
любимые и мягкие
вы платья странны в той реке:

не детского ли духа искрами
там в черной дали голубой

а сами – прорубями в свете открывающемся
вы в свете поля далеко мелькающие
как над полянами в лесу – их лики:

вы где-то в поле на ветру
как рукопись теперь во сне – его

поверхностью белеющей:

– светлы́

119651

Степень: остоики 1964–1965

НОЧЬ К ВЕСНЕ

темно в сенях
в одежде есть пугающее
от дерева ли зверя ли какого
пылающими островками
опасное для разума плывет

петух отметит криком оползень
далекого комка земли
и тьма хранит свои столбы и впадины
огнем неведомым притянутые издали

чтоб место белым дать полям
края поляны затенить

|1964|

утро в парке

а может быть скамейки синей страшно:
там – та из раненных
иным огнем

и след высокой этой Силы
хранит ребенок слабо понимая
шурша как ветка на песке

(а Сила не ушла нетронутой:
придется ей потом преодолеть
играющую теперь у ног)

уйдут как дерево качающее ветками
о ране помня или ожидая
как дерево пройдут и среди тех
кто может быть
не помнит и начала

|1964|

любимое в августе

светом
страдающе-в-облике-собранным
из первосвета явившись
вздрагивая
ждать

и создана там где обилие лёта-идеи
склонно наверное к дару
где покорилося уменьшенной частью
тихим увидеть себя:

“быть”

как в сознании было бы птиц:

“ _ ”⁴

|1964|

константин леонтьев: утро в оптиной пустыни

снова – такое же поле
как будто не видишь:

в горнице – будто – из боли своей создаешь:

ярко: в такую же – бывшую – ширь! —

снова
какого-то третьего ты вспоминаешь
что-то без слов объясняющего:

дома – при матери – снящейся словно
береста! —

и – как при устье направленном в поле
в сумерках – вновь – у окна ты внимателен:

“*есть*” – повторяешь – как будто
в себя помещаешь
светящее место:
– о *есть*!—

⁴ При чтении вслух последняя строка выражается глухим стуком.

и неизменно
свежо
повторяется так словно день чередуется
ясно
и – не накапливая
что-нибудь – возраст творящее:

есть – как тогда!
за окном
беспрестанно:

вместе с верхушками ветел себя Сотрясая:

Сыплет и светом и пылью
как детская ель! —

и – время от времени:

темью при комьях белеющих:

самообъяснимо – что е с т ь

[1964]

ТЫ С КОНЦА

сквозь ветки бенгальского пламени мая
шелком ли ветром сбиваемым
тянешься так
что рябь только мыслиться может:
что же? – себе говорю
место ль не тронута бывшего взгляда
над снежною песнью ли гречки
стуча по-воздушному
ау-проглянуло*
и – нет?

раня себя понимаю что где-то
Струится-свет-слез⁵
может учитываться словно сады
и двигаясь
Зримое-знают-и-выше-блистая*
на спящего скулах изменится в золото
чтобы страдание было единым
и там разумея

⁵ Несколько слов, связанных дефисами, следует рассматривать как одно имя существительное.

и здесь

и ночью – как от тебя одеянье —
темя – преграда-приманка в игре
для Плачется-ярче-чем-мозг-у-дарящего-выше*
и есть самомысль при которой гощу
которая будет то ты (это цвета железа —
охотники-люди)
то вы (это цвета кровавого)
и когда не умея все это

то в свою очередь – я

|1964|

детство К.⁶ на влтаве

протащатся во сне зубцы костела
не как-нибудь – в метели – через
представленье
бумаги – белого цветка – и поля
где мамой ставшая уже не чья-то дочь
а задевая глаз во сне:

и расширяясь
в боли зрячей:

ромашками бесчисленными
мелькает вверх:
опять опять

и привлекает бабочек...
я-шеей-женщина... и лёт как покрывало белое
еще немного – и далекое
освобождает ноги – исчезая
светлее поле шевеля —

и это плещется... и глаз окружностями
все стороны я стебля вижу вверх

и выше – сеет лепестки

|1964|

⁶ К. – Франц Кафка. То же в стихотворении “СĚRNÁ HODINKA: NA MOGILU K.”.

друг этих лет

[и. в.]

тот год когда твой сон определил
(касаясь шубы как в санях
кусал ты губы будто бы съестное):
мы убиваемые есть

ты есть – в себе шуршащий:
как в сумерках и в чаще пар от зверя
зашевелишь для нас
цепь света созданную из отцов
где стебли в сонм ли втаены
но их следы густы над озером —
соломы со следами есть
колесников поюнов грустных
поя как будто запрокидывавшихся
к себе
и к сору на санях

где это нижу? плачу одаренный
из тех: как дети – не найдут
и нежность братская виски тревожит
как трав следы
так мучившие на оглоблях
не травами ли делая
когда-то и тебя

здесь так темнеет что один – весь месяц
ах вздрогнем значит выпьем говорят
у вас и у меня

при чуде-женщине готовы собранны
как если птица – тот из двух
ту-охраняющий

(лишь там потерян друг)

119641

к утру в детстве

так избран – будто одевают!
из белого металла что ли детского!
и белотело ловится как ум

иное легкое свое
когда колеблют где-то изначала

и – как туман – со старшим будто сердцем
свобода ре́пья при реке

не острова ли облака-идеи
рождения повсюду белокамня
– и рядом все как спящие близки
в себе ровней телесно как для поля —
тем – тело освещающим
покой даря

и спят еще: священны-милые...
гусятницы-небесно-ломти...
трехлетки... и серебро на берегу
себя то избегает
то ловит

то дух для волн творит

|1964|

к тебе с конца

во тьме порезами на ней
невыносимыми
птиц привлечет на шею – пьющих
ее как серебро

я те места в ее огне где вспоминающая
мост двинет вместе с городом
и образы домов —
лишь в тех местах огня

и я ли – вспоминая лес? а если
по веткам вширь горят ее места?

и я все вещи всех возможных “где”
(всех тех где скрыта может быть она)
всех “где” которые – ее
не плаваю ли в себя? – чтоб стать одним
в огне едином словно в колыбели
пределы затаившем головы

тоскующей по шири разворачивающейся
меня-яаа-огня?

и сердца ссадины по телу и сознанию
иного даже мира потаенного
и зелень и возможно иновещи
и дно и краснота?

[1964]

И: СЛОВНО ОТДЕЛЯЯСЬ

ты – в каждой точке
этой зримости!.. —

как будто красной сетью бабочек
убитые
пока неотделимы —

и словно ширится:

она:

во сне!.. —

душа – ты ныне – в боли – с этим схожа! —

ты – так же красным многая
и горем полевых людей себя казавшая:

единоость —

как долгое и все таящее
соборное – средь поля – знаменье

и навсегда стогами озаренная
и телом сына = то – меня
все выбираешь осветить мне поле
где ты кому-то знаменем была

и раны принимая = сеть-покроющая
ты в красных пятнах пробыла

пока был избран я тебе

[1965]

БОЛЬНИЦА В СОКОЛЬНИКАХ

[в. яковлеву]

сами
в такие же раны одеты —
вы —
цветниками свободно шумящие!

и в Н о ч и Х р у с т а л ь н ы е
по северо-среднему
издали в играх сияете другу
серебряному умирающему —

словно конюшню
хранящую братскую
колыша углы
скажем: с рисунками-бьяками —

пока постоянно за вашими “я” беспокойными
потрескивает будто
далекий костер

[1965]

звезды: в перерывах сна

а хóлода
как в детстве – чистота! и будто рассеченный:

да с болью
со ступни! —

(да надо быть – лежащим) —

и сторона есть – скатом
оврага с санками:

то к богу дети малые! —

как – в боли – гонит их – не вмещаая:

и множит в поле том что все —
началом Неба! —

творя все дальше – в гонке!.. —

да чтоб – во व्यюге самообраза:

не до-создать!..

|1965|

заря: в перерывах сна

где есмь как золотую пыль —

как обрамленье красное приснившееся книги:
“néant de voix”⁷ —

от сердца высоко во сне над ним висящее —

о так сжигают есмь:

и жизнь – как некою его: умершею! —

она – разрозненную красною
как в плаче перерывы
мои теперь со сна! —

и лишь сознание где-то сплавом ангельским
над тенью здесь затерянной —

иное
далеко

|1965|

праздник в детстве

заметная красным
явь опасна – любимых содёржа
невыразимо купая
в далях глаза на воды похожих
белые платья семейные

и в лице как в цвету она вылепит
бесцветную яркую
– от себя отслепит! —
иную первичную-девичью
в лучшем теле моем она вылепит
как волны чердачные
грустно – себя и себя! —

и спокойна семейными белыми —

⁷ “небытие голоса” (франц.). Эта фраза связана с рассказом Кафки “Певица Жозефина, или Мышиный народ”.

цветами основы свои укрывающими:

там: плачу-и-платья – как чаши в сугробе...

там: я-и-смеются...

и путает

и смеюсь

|1965|

н. х. среди картин
(к выставке м. ларионова и н. гончаровой в музее маяковского)

снова в жару озаряемы

полу-лучи

полу-духи:

леса составлять собирающиеся... —

и в мареве этом:

воздух а п р е л я – как сказано – с о т о г о:

ищет кого-то

как тонкая гарь!.. —

и латинских

когда-то

касавшийся ран:

тянется слабо из сада пустого:

к полу-деревьям

и полу-лучам —

в зале колышущимся

|1965|

к посвящению детства: чистка орехов

Розоволокотные, чистые...

Сафо

о р о з о в о л о к о т н ы е! —

стаей простой:

на срубе
ореховы чистите гранки —

от зерен
и глади дорог
отражаясь:

как легкие дольки:

совместны!.. чисты —

о настолько! — что кажется: э т о м у долго
как звукоряду:

свободно простукивать:

над полем
над срубом:

воздушными косточками! —

словно на память — о бывшем когда-то:

стройном и чистом:

устройстве вещей

|1964|

ОКНО = СОН⁸

буря белая — знамя — и крестики —
щели впервые отсюда
как от мозга от сердца и глаза
к душе (это вьюгою шепчется)
бога — все резче:

больнее — все тоньше-ускоренно! —

только это окно... и просматрятся знамя и
крестики-щели
— где-то доньями синими

⁸ Автор указывает, что тема этого стихотворения, в иной плоскости, завершается в следующем, заканчивающем данный раздел.

все более близкие к богу —

ярко до смерти души! —

и знамя гори от меня буря белая снись
буду много: и синим — дома —
разделяющий —

— как доньями — крестиков
и падалью мира убитый
за ней освещусь:

о вдаль осия

|1965|

без названия



ярче сердца любого единого дерева



и:

(Тихие места — опоры наивысшей силы пения. Она отменяет там слышимость, не выдержав себя. Места не-мысли, — если понято “нет”).

|1964|

о чтении вслух стихотворения “без названия”

Спокойно и негромко объявляется название.

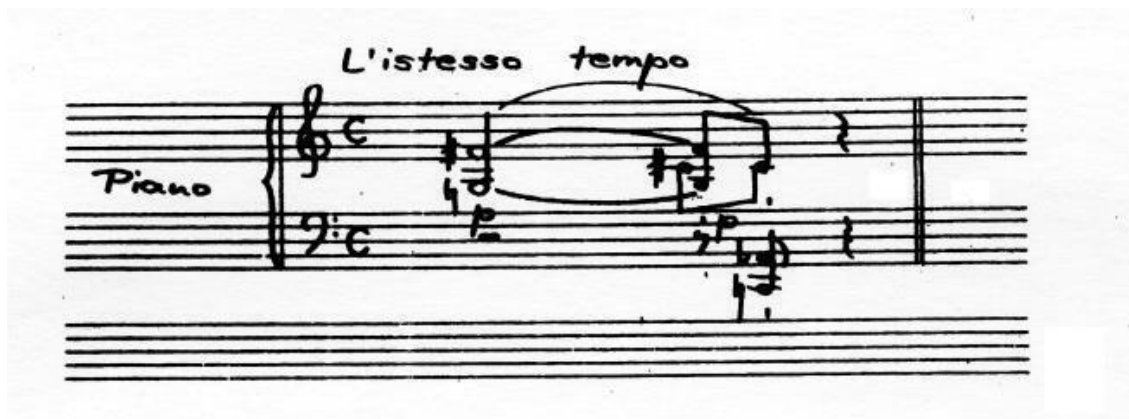
После продолжительной паузы следует:



Пауза, не превышающая первую.

Строка: “ярче сердца любого единого
дерева” произносится четко, без интонирования.

После длительной паузы:



Снова длительная пауза.

Строку: “и” следует произнести с заметным повышением голоса.

После паузы, вдвое превышающей предшествовавшую, прочитывается прозаическая
часть: медленно, с наименьшей выразительностью.

[1965]

Утешение 3/24 1965–1967

заря: после занятий

среди темнеющих отталкивающе
как бархат на умершей
спокойных
львиных зевов

соломинками слабыми
поблескивает мир

кругом отсутствуя давно

и наполовину наискось – с рубашкой вместе —
ты словно частью золотым песком!
когда двора случайный ветер
потом в 4 веет широко

и шевелит тебя как сора россыпи!
где будто в шее свет красивых
усиливала белое бумага:

*богов всю зиму
укрывая каждая
по вечерам в окно:*

как нежный ум —
на снег

[1965]

знамена гази-магомеда⁹

где
скоро-вещи-белокурия
для в-воздухе-шарами-девичье
как будто в щелку освещались
из тела-только-мысли-звезд

где вещи для готовли белокурия
для пряжи-в-воздухе-знамен

⁹ Гази-Магомед (1795–1832) – первый имам Дагестана и Чечни.

тогда еще как связки были
мощей из тела бог-белеет-вьюгой:

они как тени этой вьюги:
для Скоро-где-нибудь-святые
белея им сердцами стать

[1965]

**ДОМ ПОЭТА В ВОЛОГДЕ
(константин батюшков)**

Любезный образ в душу налетал...
П. Вяземский

а рядом – шёлка окружение:

разорванного будто в смеси —

сияния его
и дрожи:

непрекращаемой: виска —

лицо меняющей
как в ветре —

в сиянье шёлка – словно облика:

из праха! —

сущего:

всего —

из окон ветром разъедаемого:

и светом: до лица живого —

таящегося
как драгоценность:

среди шёлка:

ветра:

и лучей

1966

голод – 1946

А было это под Пасху...
А. Крученых

от го-олода-а:

умершие красивы
ли-ицами —

те жемчуга-а опасны:

светлее соли
да-а... —

– виски ли: так – от любви распухают? —

не сердцем – а взором
есть ли это?

иное ли чистое – т а м? —

свобода ль иная? —

воздуха?.. —

ясного ль дня?

1966

гимры¹⁰

как в травах снится:
будто сам
жужжишь и плачешь и алеешь! —

среди пустынного собора
из мела и его тумана
едины так же крики птиц:

и духа зримой распыленностью
над головою вознесенная
из кости

¹⁰ Гимры – дагестанский аул, родина Ша мия и первого имама Дагестана и Чечни Гази-Магомеда.

наша белизна! —

и свет:
навывлет сообщающийся! —
как будто там где разлучают
идею ран от их теней:

и словно с пальцев начиная
растертый сильно по рукам! —

и страсть которую на солнце
деревьям не отдашь!.. —

и смесь: почти алеющего зрения
и мест не видящих его:

и пара на скале от крови высыхающей:

плетни расцвечивает: царапают как перья!
тревожащих расцвечивая вспять

и словно то что тянет нас
нам кожу жарко опалая
в пустоты и проемы те
чьи стенки из людей —

нам виден он по цвету в нас
и видим словно распыляясь
и так же двигаясь к нему:

и — скоро — бабочки яркие
как на ресницах кровь

|1965|

утешение: розы

[н. а.]

при вас и пальцы ног —
как будто вспоминающие!

и ум сильнее колет
нам голову
при вас!

и вместе вы возможно то
откуда
разлучая
вывели:

где однородны – тайною одною:

осадок гения в цветах
и ум —
первичный слой!

и все – при разлучающем!
и то же самое
и здесь:

как будто при людском —
о рассказать рискованно! —
при том о чем не говорят —

таким:
почти не существующем:

почти белеет —
словно еле мыслится

почти одно —
как будто еле есть

119661

занесенные в марте

когда засну —
ты место счастья
как будто рана на руке:

и будто
славы жарким знаменем
лица достигнешь
расширяясь!

укроешь им —
от мира скрытым
тобой развернутым в огне —

над ним сиянье отдаляя
слёз
незримо полыхающим

объятый им я будто шелк
изъеден буду
словно на поляне —

лицо сливая
долго
с ним

его на души в мире перебрасывающие
легко без принужденья к нам заносятся
огня присутствием в себе —
как ветром внутренним:

проходят через нас
как воздух через прах!

и после – по-людскому жаркие —
в саду с трудом от дерева отходят:

ключут взаимно
как во сне

[1966]

образ – в устремлении

(н. а.)

безумье птицы —
бьющейся о стекла!..

всегда:

в воспоминании:

красно!

как струйка крови
это смешано
с серебряным простором в воздухе! —

когда-нибудь:

в лицо направленное:

разрушит! —

и тогда увижу:
глаза лесной крестьянской девочки:
и лоб инфанты —
в двадцать лет

|1966|

утро – при детстве другого

[сыну андрею]

что одежаешь? что ты оставляешь
о тень! – как в озере:

в горячем
просыпающемся? —

возможно – смысл?.. – тобою окруженный
как прахом – некой сущности? – возможно
неведомой тебе самой? —

душе ли – слепоту
творишь ты из него?.. —

иль это – некий облик что древней
чем разрешение во времени
чему-то – в мире быть? —

и вот
сквозь негу
детства:

таинственно и зорко смотрится – ее светило
временное:

как некогда —
сквозь мира первый прах?..

|1966|

и: отцветают розы

нет спящего – а есть приснившееся!

подобно
пламени трепещущему!

и одиноко:

до провала:

его – никем не ощущаемого —

до бездны —
меры не имеющей:

гореть вещам
незримых мест:

основе
место уступая
всего:

и праха:

и души:

так: рассыпал бы я с себя!

так: “Эли! Эли!...” не было бы сказано!

так: розы были

так:

их нет

[1966]

сон: очередь за керосином

и в ряд стоим – спиной друг к другу:

проталкиваем
передних в лавку:

вода и кровь от матерей
в одежде! —

обнявшись
прыгаем во тьме:

лишь где-то:

лес:

готов как будто
до дна – раскатом – озариться:

меня проталкивают:

“как душу именуешь?”:

сквозь ветер я кричу:

“о может быть Тоска
По может быть единственному Полю?”:

и останавливаемся:

эхо к нам доносится:

друг другу руки мы кладем на плечи:

и так же прыгаем во тьме:

и в вихре мы
белея
открываемся:

как будто сами – место для прихода
кого-то:

словно яркая поляна:

где ветер
как виденье
носится:

нас отовсюду ослепляющее:

и слов не слышно:

ни о чем:

не думается

и: после роз

а ваши дальние слои
за прахом мира открываются

течения
незримых рек

и в ветре – некое понятие слабое
желанье – вздрагивая
словно лист:

о дольше в мире
кое-где

(и длить им силу – без движения!)

и да пребудут и за лицами
за пылью временною их

(и после пребывания ими
сознание – вновь: и – вас уж нет)

1966

начиная со сна

[н. харджиеву]

сон – будто западня из шелка:

и удивляемся:

когда же
порваться
что-нибудь должно? —

как полог – изнутри сияющий
храня светила – чьих-то образов:

что разорвет их
словно свист? —

и шелк лица – как нить касательная
к душевной скажем пустоте:

концы отбросятся – изъеденные:

как в неизвестное
хранилище! —

исчезнут – и ее раскроют:

для холода:

страны и мира! —

и блеск его – уже бездонный:

лишь сон еще... и лишь за ним
то что мы знать уже должны бы:

что знаем?..
что-то как на льду:

озарено – на некой тверди:

последнее:

нас ощущающее —

погибнет
если не уйдет:

и не исчезнет т а м:

сливаясь! —
(т а к ночь безжалостно ярка)

|1967|

и: засыпая: лес

и загораживая —

рукою
губами!.. —

о тайная
(где-то в тумане) —

с зевами
дышащими:

слегка – драгоценность:

в сердечности – словно на волю
отпущенной!.. —

из грусти
что много —

(далёко
в тумане) —

жемчужиной той что лишь только понятие —

самая грусть

|1967|

Белла Ахмадулина Стихотворения

Моя родословная

Вычисляя свою родословную, я не имела в виду сосредоточить внимание читателя на долгих обстоятельствах именно моего возникновения в мире: это было бы слишком самоуверенной и несвоевременной попыткой. Я хотела, чтобы героем этой истории стал Человек, любой, еще не рожденный, но как – если бы это было возможно – страстно, нетерпеливо желающий жизни, истомленный ее счастливым предчувствием и острым морозом тревоги, что оно может не сбыться. От сколького он зависит в своей незащитности, этот еще не существующий ребенок: от малой случайности и от великих военных трагедий, наносящих человечеству глубокую рану ущерба. Но все же он выиграет в этой борьбе, и сильная, горячая, вечно прекрасная Жизнь придет к нему и одарит его своим справедливым, несравненным благом.

Проверив это удачей моего рождения, ничем не отличающегося от всех других рождений, я обратилась благодарной памятью к реальным людям и событиям, от которых оно так или иначе зависело.

Девичья фамилия моей бабушки по материнской линии – Стопани – была привнесена в Россию итальянским шарманщиком, который положил начало роду, ставшему впоследствии совершенно русским, но все же прочно, во многих поколениях украшенному яркой чернотой волос и глубокой, выпуклой теменью глаз. Родной брат бабушки, чье доброе влияние навсегда определило ее судьбу, Александр Митрофанович Стопани, стал известным революционером... Разумеется, эти стихи, упоминающие его имя, скажут о нем меньше, чем живые и точные воспоминания близких ему людей, из коих многие ныне здравствуют.

Дед моего отца, тяжело терпевший свое казанское сиротство в лихой и многотрудной бедности, именем своим объясняет простой секрет моей татарской фамилии.

Люди эти, познавшие испытания счастья и несчастья, допустившие к милому миру мои дыхание и зрение, представляются мне прекрасными – не больше и не меньше прекрасными, чем все люди, живущие и грядущие жить на белом свете, вершащие в нем непреклонное добро Труда, Свободы, Любви и Таланта.

1

...И я спала все прошлые века
светло и тихо в глубине природы.
В сырой земле, черней черновика,
души моей лишь намечались всходы.

Прекрасна мысль – их поливать водой!
Мой стебелёк, желающий прибавки,
вытягивать магнитную звездой —
поторопитесь, прадеды, прабабки!

Читатель милый, поиграй со мной!
Мы два столетия вспомним в этих играх.
Представь себе: стоит к тебе спиной

мой дальний предок, непреклонный Игрек.

Лицо его пустынно, как пустырь,
не улыбнется, слова не проронит.
Всех сыновей он по миру пустил,
и дочери он монастырь пророчит.

Я говорю ему:
– Старик дурной!
Твой лютый гнев чья доброта поправит?
Я б разминуться предпочла с тобой,
но все ж ты мне в какой-то мере прадед.

В унылой келье дочь губить не смей!
Ведь, если ты не сжалишься над нею,
как много жизней сгинет вместе с ней,
и я тогда родиться не сумею!

Он удивлен и говорит:
– Чур, чур!

Ты кто?
Рассейся, слабая туманность! —
Я говорю:
– Я – нечто.
Я – чуть-чуть,
грядущей жизни маленькая малость.

И нет меня. Но как хочу я быть!
Дождусь ли дня, когда мой первый возглас
опустошит гортань, чтоб пригубить,
о Жизнь, твой острый, бьющий в ноздри воздух?

Возражение Игрека:

– Не дождешься, шиш! И в том
я клянусь кривым котом,
приоткрывшим глаз зловещий,
худобой воробы вёщей,
крылья вскинувшей крестом,
жабой, в тине разомлевшей,
смертью, тело одолевшей,
белизной ее белейшей
на кладбище роковом.

(Примечание автора:

Между прочим, я дождусь,
в чём торжественно клянусь
жизнью вечной, влагой вешней,
каждой веточкой расцветшей,

зверем, деревом, жуком
и высоким животом
той прекрасной, первой встречной,
женщины добросердечной,
полной тайны бесконечной,
и красавицы притом.)

– Помолчи. Я – вечный Игрек.
Безрассудна речь твоя,
Пусть я изверг, пусть я ирод,
я-то – есть, а нет – тебя.
И не будет! Как не будет
с дочерью моей греха.
Как усопших не разбудит
восклицанье петуха.
Холод мой твой пыл остудит.
Не бывать тебе! Ха-ха.

2

Каков мерзавец! Пусть он держит речь.
Нет полномочий у его злодейства,
чтоб тесноту природы уберечь
от новизны грядущего младенца.

Пуškai договорит он до конца,
простак недобрый, так и не прознавший,
что уж слетают с отчего крыльца
два локотка, два крылышка прозрачных.

Ах, итальянка, девочка, пра-пра-
прабабушка! Неправедны, да правы
поправшие все правила добра,
любви твоей, проступки и забавы.

Поникни удрученной головой!
Поверь лгуну! Не промедляй сомненья!
Не он, а я, я – искуситель твой,
затем, что алчу я возникновенья.

Спаси меня! Не плачь и не тяни!
Отдай себя на эту злую милость!
Отсутствуя в таинственной тени,
небытием моим я утомилась.

И там, в моей до-жизни неживой,
смертельного я натерпелась страху,
пока тебя учил родитель твой:
«Не смей! Не знай!» – и по щекам с размаху.

На волоске вишу! А вдруг тверда
окажется науки той твердыня?
И все. Привет. Не быть мне ни-ко-гда.
Но, милая, ты знала, что творила,

когда в окно, в темно, в полночный сад
ты канула давно, неосторожно.
А он – так глуп, так мил и так усат,
что, право, невозможно... невозможно...

Благословляю в райском том саду
и деревá, и яблоки, и змия,
и ту беду, бог весть в каком году,
и грешницу по имени Мария.

Да здоровствует твой слабый, чистый след
и дальновидный подвиг той ошибки!
Вернется через полтораста лет
к моим губам прилив твоей улыбки.

Но беговым суровым облакам
не жалуйся! Вот вырастет твой мальчик —
наплачешься. Он вступит в балаган.
Он обезьяну купит. Он – шарманщик.

Прощай же! Он прощается с тобой,
и я прощусь. Прости нас, итальянка!
Мне нравится шарманщик молодой.
и обезьянка не чужда таланта.

Песенка шарманщика:
В саду личинка
выжить старается.
Санта Лючия,
мне это нравится!

Если нас улица
петь обязала,
пой, моя умница,
пой, обезьяна!

Сколько народу!
Мы с тобой – невидаль.
Стража, как воду,
ловит нас неводом.

Добрые люди,
в гуще базарной,

ах, как вам любы
мы с обезьяной!

Хочется мускулам
в дали летящие
ринуться с музыкой,
спрятанной в ящике.

Ах, есть причина,
всему причина,
Са-а-нта-а Лю-у-чия,
Санта-а Люч-ия!

3

Уж я не знаю, что его влекло:
корысть, иль блажь, иль зов любви неблизкой —
но некогда в российское село —
ура, ура! – шут прибыл италийский.

(А кстати, хороша бы я была,
когда бы он не прибыл, не прокрался.
И солнцем ты, Италия, светла,
и морем ты, Италия, прекрасна.

Но, будь добра, шарманщику не снись,
так властен в нём зов твоего соблазна,
так влажен образ твой между ресниц.
что он – о, ужас! – в дальний путь собрался.

Не отпускай его, земля моя!
Будь он неладен, странник одержимый!

В конце концов он доведет меня,
что я рожусь вне родины родимой.

Еще мне только не хватало: ждать
себя так долго в нетях нелюдимых,
мужчин и женщин стольких утруждать
рождением предков, мне необходимых,

и не рождаться столько лет подряд, —
рожусь ли? – всё игра орла и решки, —
и вот непоправимо, невпопад,
в чужой земле, под звуки чуждой речи,

вдруг появиться для житья-бытья.
Спасибо. Нет. Мне не подходит это.
Во-первых, я – тогда уже не я,

что очень усложняет суть предмета.

Но, если б даже, чтобы стать не мной,
а кем-то, был мне гнусный пропуск выдан, —
всё ж не хочу свершить в земле иной
мой первый вздох и мой последний выдох.

Там и останусь, где душе моей
сушили жизнь, безжизньем истомили
и бросили на произвол теней
в домарксовом, нематерьяльном мире.

Но я шучу. Предупредить решусь:
отвергнув бремя немощи досадной,
во что бы то ни стало я рожусь
в своей земле, в апреле, в день десятый.)

...Итак, сто двадцать восемь лет назад
в России остается мой шарманщик.

4

Одновременно нужен азиат,
что нищенствует где-то и шаманит.

Он пригодится только через век.
Пока ж – пускай он по задворкам ходит,
старьё берёт или вершит набег,
пускай вообще он делает, что хочет.

Он в узкоглазом племени своем
так узкоглаз, что все давались диву,
когда он шел, черно кося зрачком,
большой ноздрёй принюхиваясь к дыму.

Он нищ и гол, а всё ж ему хвала!
Он сыт ничем, живет нигде, но рядом —
его меньшей сынок Ахмадулла,
как солнышком, сияет желтым задом.

Сияй, играй, мой друг Ахмадулла,
расти скорей, гляди продолговато.
А дальше так пойдут твои дела:
твой сын Валея будет отцом Ахата.

Ахатовной мне быть наверняка,
явиться в мир, как с привязи сорваться,
и усеченной полумглой зрачка
все ж выразить открытый взор славянства.

Вольное изложение татарской песни:

Мне скакать, мне в степи озираться,
разорять караваны во мгле.
Незапамятный дух азиатства
тяжело колобродит во мне.

Мы в костре угольки шуровали.
Как врага, я ловил ее в плен.
Как тесно облекли шаровары
золотые мечети колен!

Быстроту этих глаз, чуть косивших,
я, как птиц, целовал на лету.
Семью семь ее черных косичек
обратил я в одну темноту.

В поле – пахарь, а в воинстве – воин
будет тот, в ком воскреснет мой прах.
Средь живых – прав навеки, кто волен,
среди умерших – бессмертен, кто прав.

Эге-гей! Эта жизнь неизбывна!
Как свежо мне в ее ширине!
И ликует, и свищет зазывно,
и трясет бородой шурале.

5

Меж тем шарманщик странно поражен
лицом рябым, косицею железной:
чуть голубой, как сабля из ножен,
дворяночкой худой и бесполезной.

Бедняжка, она несла к венцу
лба узенького детскую прыщавость,
которая была ей так к лицу
и за которую ей всё прощалось.

А далее всё шло само собой:
сближались лица, упали руки,
и в сумерках губернии глухой
старели дети, подрастали внуки.

Церквушкой бедной перекрещена,
упрощена полями да степями,
уже по-русски, ударяя в «а»,
звучит себе фамилия Стопани.

6

О, старина, начало той семьи —
две барышни, чья маленькая повесть
печальная осталась там, вдали,
где ныне пусто, лишь трава по пояс.

То ль итальянца темная печаль,
то ль этой жизни мертвенная скудость
придали вечный холодок плечам,
что шалью не утешить, не окутать.

Как матери влюбленная корысть
над вашей красотой колдовала!
Шарманкой деда вас не укорить,
придавлена приданым кладовая.

Но ваших уст не украшает смех,
и не придать вам радости приданым.
Пребудут в мире ваши жизнь и смерть
недобрым и таинственным преданьем.

Недуг неимоверный, для чего
ты озарил своею вспышкой белой
не гения просторное чело,
а двух детей рассудок неумелый?

В какую малость целишь свой прыжок,
словно в Помпею слабую – Везувий?
Не слишком ли огромен твой ожог
для лобика Офелии безумной?

Ученые жить скупой да с умом,
красавицы с огромными глазами
сошли с ума, и милосердный дом
их обряжал и орошал слезами.

Справка об их болезни:

«Справка выдана в том...»

О, как гром в этот дом
бьет огнем и метель колесом колесит.
Ранит голову грохот огромный.

И в тон
там, внизу, голоса голоски клавесин.

О сестра, дай мне льда. Уж пробил и пропел
час полуночи. Льдом заострилась вода.

Остудить моей памяти черный пробел —
дай же, дай же мне белого льда.

Словно мост мой последний, пылает мой мозг,
острый остров сиротства замкнув навсегда.
О Наташа, сестра, мне бы лёд так помог!
Дай же, дай же мне белого льда.

Малый разум мой вырос в огромный мотор,
вкруг себя он вращает людей, городá.
Не распутать мне той карусели моток.
Дай же, дай же мне белого льда.

В пекле казни горю Иоанною д'Арк,
свист зевак, лай собак, а я так молода.
Океан Ледовитый, пошли мне свой дар!
Дай же, дай же мне белого льда!

Справка выдана в том, что чрезмерен был стон
в малом горле.
Но ныне беда —
позабыта.
Земля утешает их сон
милосердием белого льда.

7

Конец столетья. Резкий крен основ.
Волнение. Что там? Выстрел. Мещанина.
Пронзительный русалочий озноб
вдруг потрясает тело мещанина.

Предчувствие серьезной новизны
томит и возбуждает человека.
В тревоге пред-войны и пред-весны,
в тумане вечеряющего века —

мерцает лбом тщеславный гимназист,
и, ширясь там, меж Волгою и Леной,
тот свежий свет так остросеребрист
и так существенен в судьбе Вселенной.

Тем временем Стопани Александр
ведет себя опально и престранно.
Друзей своих он увлекает в сад,
и речь его опасна и пространна.

Он говорит:

– Прекрасен человек,
принявший дар дыхания и зренья.
В его коленях спит грядущий бег
и в разуме живет инстинкт творенья.

Всё для него: ему назначен мёд
земных растений, труд ему угоден.
Но всё ж он бездыханен, слеп и мёртв
до той поры, пока он не свободен.

Пока его хранимый Богом враг
ломает прямизну его коленей
и примеряет шутовской колпак
к его морщинам, выдающим гений,

пока к его дыханию приник
смертельно-душной духотою гóря
железного мундира воротник,
сомкнувшийся вкруг пушкинского горла.

Но всё же он познает торжество
пред вечным правосудием природы.
Уж дерзок он. Стесняет грудь его
желание движенья и свободы.

Пусть завершится зрелостью дерев
младенчество зеленого побега.
Пусть нашу волю обостряет гнев,
а нашу смерть вознаградит победа.

Быть может, этот монолог в саду
неточно я передаю стихами,
но точно то, что в этом же году
был арестован Александр Стопани.

Комментарии жандарма:

Всем, кто бунты разжигал, —
всем студентам
(о стыде-то
не подумают),
жидам,
и певцу, что пел свободу,
и глупцу, что быть собою
обязательно желал, —
всем ответчу я, жандарм,
всем я должное воздам.

Всех, кто смелостью повадок
посягает на порядок

высочайших правд, парадов, —
вольнодумцев неприятных,
а поэтов и подавно, —
я их всех тюрьмой порадную
и засов задвину сам.
В чём клянусь верностью Государю-императору
и здоровьем милых дам.

О, распущенность природы!
Дети в ней – и те пророки,
красок яркие мазки
возбуждают все мозги.
Ликовала, оживала,
напустила в белый свет
леопарда и жирафа,
Леонардо и Джордано,
всё кричит, имеет цвет.
Слава Богу, власть жандарма
всё, что есть, сведет на нет.

(Примечание автора:
Между прочим, тот жандарм
ждал награды, хлеб жевал,
жил неважно, кончил плохо,
не заметила эпоха,
как подох он.
Никто на похороны ни копейки не дал.)

– Знают люди, знают дети:
я – бессмертен. Я – жандарм.
А тебе на этом свете
появиться я не дам.

Как не дам идти дождям,
как не дам, чтобы в народе
помышляли о свободе,
как не дам стоять садам
в бело-розовом восходе...

8

Каков мерзавец! Пусть болтает вздор,
повелевают вечность и мгновенность —
земле лететь, вершить глубокий вздох
и соблюдать свою закономерность.

Как надобно, ведет себя земля
уже в пределах нового столетья,
и в май маёвок бабушка моя

несет двух глаз огромные соцветья.

Что голосок той девочки твердит,
и плечики на что идут войною?
Над нею вновь смыкается вердикт:
«Виновна ли?» – «Да, тягостно виновна!»

По следу брата, веруя ему,
она вкусила пыль дорог протяжных,
переступала из тюрьмы в тюрьму,
привыкла к монотонности присяжных.

И скоро уж на мужниных щеках
в два солнышка закатится чахотка.
Но есть все основания считать:
она грустит, а всё же ждет чего-то.

В какую даль теперь ее везут
небыстрые подковы Росинанта?
Но по тому, как снег берет на зуб,
как любит, чтоб сверкал и расстился,
я узнаю твой облик, россиянка.
В глазах черно от белого сиянья!
Как холодно! Как лошади несут!

Выходит. Вдруг – мороз ей нов и чужд.
Сугробов белолобые телята
к ладоням льнут. Младенческая чушь
сместит уста. И нежно и чуть-чуть
в ней в полщеки проглянет итальянка,
и в чистой мгле ее лица таятся
движения неведомых причуд.

Всё ждет. И ей – то страшно, то смешно.
И похудела. Смотрит остроносо
куда-то ввысь. Лицо усложнено
всезнающей улыбкой астронома!

В ней сильный пульс играет вкось и вкривь.
Ей всё нужней, всё тяжелей работа.
Мне кажется, что скоро грянет крик
доселе неизвестного ребёнка.

9

Грянь и ты, месяц первый, Октябрь,
на твоём повороте мгновенном
электричеством бьет по локтям
острый угол меж веком и веком.

Узнаю изначальный твой гул,
оглашающий древние своды,
по огромной округлости губ,
называющих имя Свободы.

О, три слога! Рёв сильных широт
отворенной гортани!
Как в красных
и предельных объемах шаров —
тесно воздуху в трёх этих гласных.

Грянь же, грянь, новорожденный крик
той Свободы! Навеки и разом —
распахни треугольный тупик,
образованный каменным рабством.

Подари отпущение мук
тем, что бились о стены и гибли, —
там, в Михайловском, замкнутом в круг,
там, в просторно-угрюмом Египте.

Дай, Свобода, высокий твой верх
видеть, знать в небосводе затихшем,
как бредущий в степи человек
близость звёзд ощущает затылком.

Приближай свою ласку к земле,
совершающей дивную дивность,
навсегда предрешившей во мне
свою боль, и любовь, и родимость.

10

Ну что ж. Уже всё ближе, всё верней
расчёт, что попаду я в эту повесть,
конечно, если появиться в ней
мне Игрека не помешает происк.

Всё непременно чередом идет,
двадцатый век наводит свой порядок,
подрагивает, словно самолёт,
предслыша небо серебром лопаток.

А та, что перламутровым белком
глядит чуть вкось, чуть невпопад и странно,
ступившая, как дети на балкон,
на край любви, на острие пространства,

та, над которой в горлышко, как в горн,
дудит апрель, насытивший скворешник, —
нацеленный в меня, прости ей, гром! —
она мне мать, и перемен скорейших

ей предстоит удача и печаль.
А ты, о Жизнь, мой мальчик-непоседа,
спеши вперед и понукай педаль
открывшего крыла велосипеда.

Пусть роль свою сыграет азиат —
он белокур, как белая ворона,
как гончую, его влечет азарт
по следу, вдаль, и точно в те ворота,

где ждут его, где воспринять должны
двух острых скул опасность и подарок.
Округлое дитя из тишины
появится, как слово из помарок.

11

Я – скоро. Но покуда нет меня.
Я – где-то там, в преддверии природы.
Вот-вот окликнут, разрешат – и я
с готовностью возникну на пороге.

Я жду рожденья, я спешу теперь,
как посетитель в тягостной приёмной,
пробить бюрократическую дверь
всем телом – и предстать в её проёме.

Ужо рожусь! Еще не рождена.
Еще не пала вещая щеколда.
Никто не знает, что я – вот она,
темно, смешно. Апчхи! В носу щекотно.

Вот так играют дети, прячась в шкаф,
испытывая радость отдаленья.
Сейчас расхожусь! Нет сил! И ка-ак
вдруг вывалюсь вам всем на удивленье!

Таюсь, тянусь, претерпеваю рост,
вломлюсь птенцом горячим, косоротым —
ловить губами воздух, словно гроздь,
наполненную спелым кислородом.

Сравнится ль бледный холодок актрис,
трепещущих, что славы не добьются,

с моим волнением среди тех кулис,
в потёмках, за минуту до дебюта!

Еще не знает речи голос мой,
еще не сбылся в лёгких вздох голодный.
Мир наблюдает смутной белизной,
сурово излучаемой галёркой.

(Как я смогу, как я сыграю роль
усильем безрассудства молодого?
О, перейти, преодолевая боль,
от немоты к началу монолога!

Как стеклодув, чьи сильные уста
взрастили дивный плод стекла простого,
играть и знать, что жизнь твоя проста
и выдох твой имеет форму слова.

Иль как печник, что, краснотою труб
замаранный, сидит верхом на доме,
захотать и ощутить свой труд
блаженною усталостью ладони.

Так пусть же грянет тот театр, тот бой
меж «да» и «нет», небытием и бытом,
где человек обязан быть собой
и каждым нерожденным и убитым.

Своим добром он возместит земле
всех сыновей её, в ней погребенных.
Вершит всевечный свой восход во мгле
огромный, голый, золотой Ребенок.)

Уж выход мой! Мурашками, спиной
предчувствую прыжок свой на арену.
Уже объявлен год тридцать седьмой.
Сейчас, сейчас – дадут звонок к апрелю.

Реплика доброжелателя:

О нечто, крошка, пустота,
ещё не девочка, не мальчик,
ничто, чужого пустяка
пустой и маленький туманчик!

Зачем, неведомый радист,
ты шлешь сигналы пробужденья?
Повремени и не родись,
не попади в беду рожденья.

Нераспрямленный организм,
закрученный кривой пружинкой,
о, образумься и очнись!
Я – умник, много лет проживший, —

я говорю: потом, потом
тебе родиться будет лучше.
А не родишься – что же, в том
всё ж есть свое благополучье.

Помедли двадцать лет хотя б,
утешься беззаботной ленью,
блаженной слепотой котят,
столь равнодушных к утоплению.

Что так не терпится тебе,
и, как птенец в тюрьме скорлупок,
ты спешку точек и тире
все выбиваешь клювом глупым?

Чем плохо там – во тьме пустой,
где нет тебе ни слёз, ни горя?
Куда ты так спешишь? Постой!
Родится что-нибудь другое.

Примечание автора:

Ах, умник! И другое пусть
родится тоже непременно, —
всей музыкой озвучен пульс,
прям позвоночник, как антенна.

Но для чего же мне во вред
ему пройти и стать собою?
Что ж, он займет весь белый свет
своею малой худобою?

Мне отведенный кислород,
которого я жду веками,
неужто он до дна допьёт
один, огромными глотками?

Моих друзей он станет звать
своими? Всё наглей, все дальше
они там будут жить, гулять
и про меня не вспомнят даже?

А мой родимый, верный труд,
в глаза глядящий так тревожно,
чужою властью новых рук

ужели приручить возможно?

Ну, нет! В какой во тьме пустой?
Сам там сиди. Довольно. Дудки.
Наскучив мной, меня в простор
выбрасывают виадуки!

И в солнце, среди синевы
расцветшее, нацелясь мною,
меня спускают с тетивы
стрелою с тонкою спиною.

Веселый центробежный вихрь
меня из круга вырвать хочет.
О Жизнь, в твою орбиту вник
меня таинственный комочек!

Твой золотой круговорот
так призывает к полнокровью,
словно сладчайший огород,
красно дразнящий рот морковью.

О Жизнь любимая, пускай
потом накажешь всем и смертью,
но только выуди, поймай,
достань меня своею сетью!

Дай выгадать мне белый свет —
одну-единственную пользу!
— Припомнишь, дура, мой совет
когда-нибудь, да будет поздно.

Зачем ты ломишься во вход,
откуда нет освобожденья?
Ведь более удачный год
ты сможешь выбрать для рожденья.

Как безопасно, как легко,
вне гнева века или ветра —
не стать. И не принять лицо,
талант и имя человека.

12

Каков мерзавец! Но, средь всех затей,
любой наш год — утешен, обнадёжен
неистовым рождением детей,
мельканьем ножек, пестротой одежек.

И в их великий и всемирный рёв,
захлёбом насыщая древний голод,
гортань прорезав чистым остриём,
вонзился мой, сжегший губы голос!

Пусть вечно он благодарит тебя,
земля, меня исторгшая, родная,
в печаль и в радость, и в трубу трубя,
и в маленькую дудочку играя.

Мне нравится, что Жизнь всегда права,
что празднует в ней вечная повадка —
топырить корни, ставить деревья
и меж ветвей готовить плод подарка.

Пребуду в ней до края, до конца,
а пред концом – воздам благодаренье
всем девочкам, слетающим с крыльца,
всем людям, совершающим творенье.

13

Что еще вам сказать?
Я не знаю,
И не знаю: я одобрена вами
иль справедливо и бегло охаяна.
Но проносятся пусть надо мной
ваши лица и ваши слова.
Написала всё это Ахмадулина
Белла Ахатовна.
Год рождения – 1937. Место рождения —
город Москва.

1963

Новая тетрадь

Смущаюсь и робею пред листом
бумаги чистой.
Так стоит паломник
у входа в храм.
Пред девичьим лицом
так опытный потупится поклонник.

Как будто школьник, новую тетрадь
я озираю алчно и любовно,
чтобы потом пером её терзать,
марая ради замысла любого.

Чистописанья сладостный урок
недолог. Перевёрнута страница.
Бумаге белой нанесён урон,
бесчинствует мой почерк и срамится.

Так в глубь тетради, словно в глубь лесов,
я безрассудно и навечно кану,
одна среди сияющих листов
неся свою ликующую кару.

Грузинских женщин имена

Там в море паруса плутали,
и, непричастные жару,
медлительно цвели платаны
и осыпались в ноябре.

Мешались гомоны базара,
и обнажала высота
переплетения базальта
и снега яркие цвета.

И лавочка в старинном парке
бела вставала и нема,
и смутно виноградом пахли
грузинских женщин имена.

Они переходили в лепет,
который к морю выбегал
и выплывал, как чёрный лебедь,
и странно шею выгибал.

Смеялась женщина Ламара,
бежала по камням к воде,
и каблучки по ним ломала,
и губы красила в вине.

И мокли волосы Медеи,
вплетаясь утром в водопад,
и капли сохли, и мелели,
и загорались невпопад.

И, заглушая олеандры,
собравши всё в одном цветке,
вitalo имя Ариадны
и растворялось вдалеке.

Едва опершийся на сваи,
там преникал к воде причал.
«Цисана!» – из окошка звали.
«Натэла!» – голос отвечал...

«Не уделяй мне много времени...»

Не уделяй мне много времени,
вопросов мне не задавай.
Глазами добрыми и верными
руки моей не задевай.

Не проходи весной по лужицам,
по следу следа моего.
Я знаю – снова не получится
из этой встречи ничего.

Ты думаешь, что я из гордости
хожу, с тобою не дружу?
Я не из гордости – из горести
так прямо голову держу.

Снегурочка

Что так Снегурочку тянуло
к тому высокому огню?
Уж лучше б в речке утонула,
попала под ноги коню.

Но голубым своим подолом
вспорхнула – ноженьки видны —
и нет ее. Она подобна
глотку оттаявшей воды.

Как чисто с воздухом смешалась,
и кончилась ее пора.
Играть с огнем – вот наша шалость,
вот наша древняя игра.

Нас цвет оранжевый так тянет,
так нам проходу не дает.
Ему поддавшись, тело тает
и телом быть перестает.

Но пуще мы огонь раскурим
и вовлечём его в игру,
и снова мы собой рискуем
и доверяемся костру.

Вот наш удел ещё невидим,
в дыму ещё неразличим.
То ль из него живыми выйдем,
то ль навсегда сольёмся с ним.

«Живут на улице Песчаной...»

Живут на улице Песчаной
два человека дорогих.
Я не о них.
Я о печальной
неведомой собаке их.

Эта японская порода
ей так расставила зрачки,
что даже страшно у порога —
как их раздумья глубоки.

То добрый пёс. Но, замирая
и победительно сопя,
надменным взглядом самурая
он сможет защитить себя.

Однажды просто так, без дела
одна пришла я в этот дом,
и на диване я сидела,
и говорила я с трудом.

Уставив глаз свой самоцветный,
всё различавший в тишине,
пёс умудренный семилетний
сидел и думал обо мне.

И голова его мигала.
Он горестный был и седой,
как бы поверженный микадо,
усталый и немолодой.

Зовется Тошкой пёс. Ах, Тошка,
ты понимаешь всё. Ответь,
что мне так совестно и тошно
сидеть и на тебя глядеть?

Всё тонкий нюх твой различает,
угадывает наперёд.
Скажи мне, что нас разлучает
и все ж расстаться не даёт?

«По улице моей который год...»

По улице моей который год
звучат шаги – мои друзья уходят.
Друзей моих медлительный уход
той темноте за окнами угоден.

Запущены моих друзей дела,
нет в их домах ни музыки, ни пенья,
и лишь, как прежде, девочки Дега
голубенькие оправляют перья.

Ну что ж, ну что ж, да не разбудит страх
вас, беззащитных, среди этой ночи.
К предательству таинственная страсть,
друзья мои, туманит ваши очи.

О одиночество, как твой характер крут!
Посверкивая циркулем железным,
как холодно ты замыкаешь круг,
не внемля увереньям бесполезным.

Так призови меня и награди!
Твой баловень, обласканный тобою,
утешусь, прислонясь к твоей груди,
умоюсь твоей стужей голубою.

Дай стать на цыпочки в твоём лесу,
на том конце замедленного жеста
найти листву, и поднести к лицу,
и ощутить сиротство, как блаженство.

Даруй мне тишь твоих библиотек,
твоих концертов строгие мотивы,
и – мудрая – я позабуду тех,
кто умерли или доселе живы.

И я познаю мудрость и печаль,
свой тайный смысл доверяют мне предметы.
Природа, прислонясь к моим плечам,
объявит свои детские секреты.

И вот тогда – из слёз, из темноты,
из бедного невежества бывшего
друзей моих прекрасные черты
появятся и растворятся снова.

«В тот месяц май, в тот месяц мой...»

В тот месяц май, в тот месяц мой
во мне была такая лёгкость,
и, расстилаясь над землёй,
влекла меня погоды лётность.

Я так щедро была, щедро
в счастливом предвкушении пеня,
и с легкомыслием щегла
я окунала в воздух перья.

Но, слава Богу, стал мой взор
и пронизательней, и строже,
и каждый вздох и каждый взлёт
обходится мне всё дороже.

И я причастна к тайнам дня.
Открыты мне его явления.
Вокруг оглядываюсь я
с усмешкой старого еврея.

Я вижу, как грачи галдят,
над черным снегом нависая,
как скучно женщины глядят,
склонившиеся над вязаньем.

И где-то, в дудочку дудя,
не соблюдая клумб и грядок,
чужое бегают дитя
и нарушает их порядок.

Нежность

Так ощутима эта нежность,
вещественных полна примет.
И нежность обретает внешность
и воплощается в предмет.

Старинной вазою зелёной
вдруг станет на краю стола,
и ты склонишься удивлённый
над чистым омутом стекла.

Встревожится квартира ваша,
и будут все поражены.
— Откуда появилась ваза? —
ты строго спросишь у жены. —

И антиквар какую плату
спросил? —
О, не кори жену —
то просто я смеюсь и плачу
и в отдалении живу.

И слезы мои так стеклянны,
так их паденья тяжелы,
они звенят, как бы стаканы,
разбитые среди тишины.

За то, что мне тебя не видно,
а видно — так на полчаса,
я безобидно и невинно
свершаю эти чудеса.

Вдруг облаком тебя покроет,
как в горных высях повелось.
Ты закричишь: — Мне нет покою!
Откуда облако взялось?

Но суеверно, как крестьянин,
не бойся, «чур» не говори,
то нежности моей кристаллы
осели на плечи твои.

Я так немудрено и нежно
наколдовала в стороне,
и вот образовалось нечто,
напоминая обо мне.

Но по привычке добрых бестий,
опять играя в эту власть,
я сохраню тебя от бедствий
и тем себя утешу всласть.

Прощай! И занимайся делом!
Забудется игра моя.
Но сказки твоим малым детям
останутся после меня.

Несмеяна

Так и сию – царевна Несмеяна,
ем яблоки, и яблоки горчат.
– Царевна, отвори нам! Нас немало! —
под окнами прохожие кричат.

Они глядят глазами голубыми
и в горницу являются гурьбой,
здороваются, кланяются, имя
«Царевич» говорят наперебой.

Стоят и похваляются богатством,
проходят, златом-серебром звеня.
Но вам своим богатством и бахвальством,
царевичи, не рассмешить меня.

Как ум моих царевичей напрягся,
стараясь ради красного словца!
Но и сама слышу я не напрасно
глупей глупца, мудрее мудреца.

Кричат они: – Какой верна присяге,
царевна, ты – в суровости своей? —
Я говорю: – Царевичи, присядьте.
Царевичи, постойте у дверей.

Зачем кафтаны новые надели
и шапки примеряли к головам?
На той неделе, о, на той неделе —
смеялась я, как не смеяться вам.

Входил он в эти низкие хоромы,
сам из татар, гулявших по Руси,
и я кричала: «Здравствуй, мой хороший!
Вина отведай, хлебом закуси».

– А кто он был? Богат он или беден?
В какой он проживает стороне? —
Смеялась я: – Богат он или беден,
румян иль бледен – не припомнить мне.

Никто не покарает, не измерит
вины его. Не вышло ни черта.
И все же он, гуляка и изменник,
не вам чета. Нет. Он не вам чета.

Мотороллер

Завиден мне полёт твоих колес,
о мотороллер розового цвета!
Слежу за ним, не унимая слёз,
что льют без повода в начале лета.

И девочке, припавшей к седоку
с ликующей и гибельной улыбкой,
кажусь я приникающей к листку,
согбенной и медлительной улиткой.

Прощай! Твой путь лежит поверх меня
и меркнет там, в зелёных отдаленьях.
Две радуги, два неба, два огня,
бесстыдница, горят в твоих коленях.

И тело твое светится сквозь плащ,
как стебель тонкий сквозь стекло и воду.
Вдруг из меня какой-то странный плач
выпархивает, пискнув, на свободу.

Так слабенький твой голосок поёт,
и песенки мотив так прост и вечен.
Но, видишь ли, весёлый твой полёт
недвижностью моей уравновешен.

Затем твои качели высоки
и не опасно головокруженье,
что по другую сторону доски
я делаю обратное движенье.

Пока ко мне нисходит тишина,
твой шум летит в лужайках отдалённых.
Пока моя походка тяжела,
подъемлешь ты два крылышка зелёных.

Так проносись! – покуда я стою.
Так лепечи! – покуда я немею.
Всю лёгкость поднебесную твою
я искупаю тяжестью своею.

«Влечёт меня старинный слог...»

Влечёт меня старинный слог,
Есть обаянье в древней речи.
Она бывает наших слов
и современнее и резче.

Вскричать: «Полцарства за коня!» —
какая вспылчивость и щедрость!
Но снизойдёт и на меня
последнего задора тщетность.

Когда-нибудь очнусь во мгле,
навек проиграв сражение,
и вот придёт на память мне
безумца древнего решение.

О, что полцарства для меня!
Дитя, наученное веком,
возьму коня, отдам коня
за полмигновенья с человеком,

любимым мною. Бог с тобой,
о конь мой, конь мой, конь ретивый.
Я безвозмездно повод твой
ослаблю – и табун родимый

нагонишь ты, нагонишь там,
в степи пустой и порыжелой.
А мне наскучил тарарам
этих побед и поражений.

Мне жаль коня! Мне жаль любви!
И на манер средневековый
ложится под ноги мои
лишь след, оставленный подковой.

Светофоры

Геннадию Хазанову

Светофоры. И я перед ними
становлюсь, отступаю назад.
Светофор. Это странное имя.
Светофор. Святослав. Светозар.

Светофоры добры, как славяне.
Мне в лицо устремляют огни
и огнями, как будто словами,
умоляют: «Постой, не гони».

Благодарна я им за смещение
этих двух разноцветных огней,
но во мне происходит смешенье
этих двух разноцветных кровей.

О, извечно гудел и сливался,
о, извечно бесчинствовал спор:
этот добрый рассудок славянский
и косой азиатский напор.

Видно, выход – в движение, в движение,
в голове, наклонённой к рулю,
в беспшабашном головокруженье
у обочины на краю.

И, откидываясь на сиденье,
говорю себе: «Погоди».
Отдаю себя на съеденье
этой скорости впереди.

Сны о Грузии

Сны о Грузии – вот радость!
И под утро так чиста
виноградная сладость,
осенявшая уста.
Ни о чем я не жалею,
ничего я не хочу —
в золотом Свети-Цховели
ставлю бедную свечу.
Малым камушкам во Мцхета
воздаю хвалу и честь.
Господи, пусть будет это
вечно так, как ныне есть.
Пусть всегда мне будут в новость
и колдуют надо мной
родины родной суровость,
нежность родины чужой.

Свеча

Геннадию Шпаликову

Всего-то – чтоб была свеча,
свеча простая, восковая,
и старомодность вековая
так станет в памяти свежа.

И поспешит твоё перо
к той грамоте витиеватой,
разумной и замысловатой,
и ляжет на душу добро.

Уже ты мыслишь о друзьях
все чаще, способом старинным,
и сталактитом стеариным
займёшься с нежностью в глазах.

И Пушкин ласково глядит,
и ночь прошла, и гаснут свечи,
и нежный вкус родимой речи
так чисто губы холодит.

Магнитофон

В той комнате под чердаком,
в той нищенской, в той суверенной,
где старомодным чудаком
задор владеет современный,

где вокруг нечистого стола,
среди беды претенциозной,
капроновые два крыла
проносит ангел грациозный, —

в той комнате, в тиши ночной,
во глубине магнитофона,
уже не защищённый мной,
мой голос плачет отвлечённо.

Я знаю – там, пока я сплю,
жестокий медиум колдует
и душу слабую мою
то жжет, как свечку, то задует.

И гоголевской Катериной
в зелёном облаке окна
танцует голосок старинный
для развлечения колдуна.

Он так испуганно и кротко
является чужим очам,
как будто девочка-сиротка,
запроданная циркачам.

Мой голос, близкий мне досель,
воспитанный моей гортанью,
лукавящий на каждом «эль»,
невнятно склонный к заиканью,

возникший некогда во мне,
моим губам еще родимый,
вспорхнув, остался в стороне,
как будто вздох необратимый.

Одет бесплотной наготой,
изведавший ее приятность,
уж он вкусил свободы той
бесстыдство и невероятность.

И в эту ночь там, из угла,

старик к нему взывает снова,
в застиранные два крыла
целуя ангела ручного.

Над их объятием дурным
магнитофон во тьме хлопочет,
мой бедный голос пятки им
прозрачным пальчиком щекочет.

Пока я сплю, злорадству их
он кажет нежные изъяны
картавости – и снов моих
нецеломудренны туманы.

Прощание

А напоследок я скажу:
прощай, любить не обязуйся.
С ума схожу. Иль восхожу
к высокой степени безумства.

Как ты любил? – ты пригубил
погибели. Не в этом дело.
Как ты любил? – ты погубил,
но погубил так неумело.

Жестокость промаха... О, нет
тебе прощенья. Живое тело,
и бродит, видит белый свет,
но тело мое опустело.

Работу малую висок
еще вершит. Но пали руки,
и стайкою, наискосок,
уходят запахи и звуки.

Пейзаж

Ещё ноябрь, а благодать
уж сыплется, уж смотрит с неба.
Иду и хоронюсь от света,
чтоб тенью снег не утруждать.

О стеклодув, что смысл дутья
так выразил в сосульках этих!
И, запрокинув свой беретик,
на вкус их пробует дитя.

И я, такая молодая,
со сладкой льдинкою во рту,
оскальзываясь, приседая,
по снегу белому иду.

Зима

О жест зимы ко мне,
холодный и прилежный.
Да, что-то есть в зиме
от медицины нежной.

Иначе как же вдруг
из темноты и муки
доверчивый недуг
к ней обращает руки?

О милая, колдуй,
заденет лоб мой снова
целебный поцелуй
колечка ледяного.

И всё сильнее соблазн
встречать обман доверьем,
смотреть в глаза собак
и притникать к деревьям.

Прощать, как бы играть,
с разбега, с поворота,
и, завершив, прощать,
простить еще кого-то.

Сравняться с зимним днём,
с его пустым овалом,
и быть всегда при нём
его оттенком малым.

Свести себя на нет,
чтоб вызвать за стеною
не тень мою, а свет,
не заслонённый мною.

«Случилось так, что двадцати семи...»

Случилось так, что двадцати семи
лет от роду мне выпала отрада
жить в замкнутости дома и семьи,
расширенной прекрасным кругом сада.

Себя я предоставила добру,
с которым справедливая природа
следит за увяданием в бору
или решает участь огорода.

Мне нравилось забыть печаль и гнев,
не ведать мысли, не промолвить слова
и в детском неразумии дерев
терпеть заботу гения чужого.

Я стала вдруг здорова, как трава,
чиста душой, как прочие растенья,
не более умна, чем деревья,
не более жива, чем до рожденья.

Я улыбалась ночью в потолок,
в пустой пробел, где близко и приметно
белел во мраке очевидный Бог,
имевший цель улыбки и привета.

Была так неизбежна благодать
и так близка большая ласка Бога,
что прядь со лба – чтоб легче целовать —
я убирала и спала глубоко.

Как будто бы надолго, на века,
я углублялась в землю и деревья.
Никто не знал, как мука велика
за дверью моего уединенья.

Тоска по Лермонтову

О Грузия, лишь по твоей вине,
когда зима грязна и белоснежна,
печаль моя печальна не вполне,
не до конца надежда безнадежна.

Одну тебя я счастливо люблю,
и лишь твоё лицо не лицемерно.
Рука твоя на голову мою
ложится благосклонно и целебно.

Мне не застать врасплох твоей любви.
Открытыми объятия ты держишь.
Все говоры, все шёпоты твои
мне на ухо нашепчешь и утетишь.

Но в этот день не так я молода,
чтоб выбирать меж севером и югом.
Свершилась поздней осени беда,
былой уют украсив неуютом.

Лишь чёрный зонт в моих руках гремит,
живой упругий мускул в нём напрягся.
То, что тебя покинуть норовит, —
пускай покинет, что держать напрасно.

Я отпускаю зонт и не смотрю,
как будет он использовать свободу.
Я медленно иду по октябрю,
сквозь воду и холодную погоду.

В чужом дому, не знаю почему,
я бег моих колен остановила.
Вы пробовали жить в чужом дому?
Там хорошо. И вот как это было.

Был подвиг одиночества свершён,
и я могла уйти. Но так случилось,
что в этом доме, в ванной, жил сверчок,
поскрипывал, оказывал мне милость.

Моя душа тогда была слаба
и потому — с доверьем и тоскою —
тот слабый скрип, той песенки слова
я полюбила слабою душою.

Привыкла вскоре добрая семья,

что так, друг друга не опровергая,
два пустяка природы – он и я —
живут тихонько, песенки слагая.

Итак – я здесь. Мы по ночам не спим,
я запою – он отвечать умеет.
Ну, хорошо. А где же снам моим,
где им-то жить? Где их бездомность реет?

Они все там же, там, где я была,
где высочайший юноша вселенной
меж туч и солнца, меж добра и зла
стоял вверху горы уединенной.

О, там, под покровительством горы,
как в медленном недоуменье танца,
течения Арагвы и Куры
ни встретиться не могут, ни расстаться.

Внизу так чист, так мрачен Мцхетский храм.
Души его воинственна молитва.
В ней гром мечей, и лошадиный храп,
и вечная за эту землю битва.

Где он стоял? Вот здесь, где монастырь
еще живет всей свежестью размаха,
где малый камень с лёгкостью вместил
великую тоску того монаха.

Что, мальчик мой, великий человек?
Что сделал ты, чтобы воскреснуть болью
в моём мозгу и чернотой меж век,
всё плачущей над маленьким тобою?

И в этой, Богом замкнутой судьбе,
в своей низжайшей муке превосходства,
хотя б сверчок любимому, тебе,
сверчок играл средь твоего сиротства?

Стой на горе! Не уходи туда,
где – только-то! – через четыре года
сомкнётся над тобою навсегда
пустая, совершенная свобода!

Стой на горе! Я по твоим следам
найду тебя под солнцем, возле Мцхета.
Возьму себе всем зреньем, не отдам,
и ты спасён уже, и вечно это.

Стой на горе! Но чем к тебе добрей
чужой земли таинственная новость,
тем яростней соблазн земли твоей,
нужней ее сладчайшая суровость.

Зимняя замкнутость

Булату Окуджаве

Странный гость побывал у меня в феврале.
Снег занёс мою крышу ещё в январе,
предоставив мне замкнутость дум и деяний.
Я жила взаперти, как огонь в фонаре
или как насекомое, что в янтаре
уместилось в простор тесноты идеальной.

Странный гость предо мною внезапно возник,
и тем более странен был этот визит,
что снега мою дверь охраняли сурово.
Например – я зерно моим птицам несла.
«Можно ль выйти наружу?» – спросила. – «Нельзя», —
мне ответила сильная воля сугроба.

Странный гость, говорю вам, неведомый гость.
Он прошёл через стенку насквозь, словно гвоздь,
кем-то вбитый извне для неведомой цели.
Впрочем, что же ещё оставалось ему,
коль в дому, замурованном в снежную тьму,
не осталось для входа ни двери, ни щели.

Странный гость – он в гостях не гостил, а царил.
Он огнем исцелил свой промокший цилиндр,
из-за пазухи выпустил свинку морскую
и сказал: «О, пардон, я продрог, и притом
я ушибся, когда проходил напролом
в этот дом, где теперь простудиться рискую».

Я сказала: «Огонь вас утешит, о гость.
Горсть орехов, вина быстротечная гроздь —
вот мой маленький юг среди выюг справедливых.
Что касается бедной царевны морей —
ей давно приготовлен любовью моей
плод капусты, взращенный в нездешних заливах».

Странный гость похвалился: «Заметьте, мадам,
что я склонен к слезам, но не склонны к следам
мои ноги промокшие. Весь я – загадка!»
Я ему объяснила, что я не педант
и за музыкой я не хожу по пятам,
чтобы видеть педаль под ногой музыканта.

Странный гость закричал: «Мне не нравится тон
ваших шуток! Потом будет жуток ваш стон!

Очень плохи дела ваших духа и плоти!
Потому без стыда я явился сюда,
что мне ведома бедная ваша судьба».
Я спросила его: «Почему вы не пьете?»

Странный гость не побрезговал выпить вина.
Опрометчивость уст его речи свела
лишь к ошибкам, улыбкам и доброму плачу:
«Протяжение спора угодно душе!
Вы – дитя мое, баловень и протезе.
Я судьбу вашу как-нибудь переиначу.

Ведь не зря вещий зверь чистой шерстью белел —
ошибитесь, возьмите счастливый билет!
Выбирайте любую утеху мирскую!»
Поклонилась я гостю: «Вы очень добры,
до поры отвергаю я ваши дары.
Но спасите прекрасную свинку морскую!

Не она ль мне по злomu сиротству сестра?
Как остра эта грусть – озиаться со сна
среди стихии чужой, а к своей не пробиться.
О, как нежно марина, моряна, моря
неизбежно манят и минуют меня,
оставляя мне детское зренье провидца.

В остальном – благодарна я доброй судьбе.
Я живу, как желаю, – сама по себе.
Бог ко мне справедлив и любезен издатель.
Старый пёс мой взмывает к щеке, как щенок.
И широк дивный выбор всевышних щедрот:
ямб, хорей, амфибрахий, анапест и дактиль.

А вчера колокольчик в полях дребезжал.
Это старый товарищ ко мне приезжал.
Зря боялась – а вдруг он дороги не сыщет?
Говорила: когда тебя вижу, Булат,
два зрачка от чрезмерности зренья болят,
беспорядок любви в моем разуме свищет».

Странный гость засмеялся. Он знал, что я лгу.
Не бывало саней в этом сиром снегу.
Мой товарищ с товарищем пьёт в Ленинграде.
И давно уж собака моя умерла —
стало меньше дыханьем в груди у меня.
И чураются руки пера и тетради.

Странный гость подтвердил: «Вы несчастны теперь».
В это время открылась закрытая дверь.

Снег все падал и падал, не зная убытка.
Сколь вошедшего облик был смел и пригож!
И влекла петербургская кожа калош
след – лукавый и резвый, как будто улыбка.

Я надеюсь, что гость мой поймет и зачтёт,
как во мраке лица серебрился зрачок,
как был рус африканец и смугл россиянин?
Я подумала – скоро конец февралю —
и сказала вошедшему: «Радость! Люблю!
Хорошо, что меж нами не быть расставаньям!»

Ночь

Андрею Смирнову

Уже рассвет темнеет с трёх сторон,
а все руке недостаёт отваги,
чтобы пробиться к белизне бумаги
сквозь воздух, затвердевший над столом.

Как непреклонно честный разум мой
стыдится своего несовершенства,
не допускает руку до блаженства
затеять ямб в беспечности былой!

Меж тем, когда полна значенья тьма,
ожог во лбу от выдумки неточной,
мощь кофеина и азарт полночный
легко принять за остроту ума.

Но, видно, впрямь велик и невредим
рассудок мой в безумье этих бдений,
раз возбужденье, жаркое, как гений,
он всё ж не счёл достоинством своим.

Ужель грешно своей беды не знать!
Соблазн так сладок, так невинна малость —
нарушить этой ночи безымянность
и все, что в ней, по имени назвать.

Пока руке бездействовать велю,
любой предмет глядит с кокетством женским,
красуется, следит за каждым жестом,
нацеленным ему воздать хвалу.

Уверенный, что мной уже любим,
бубнит и клянчит голосок предмета,
его душа желает быть воспета,
и непременно голосом моим.

Как я хочу благодарить свечу,
любимый свет ее предать огласке
и предоставить неусыпной ласке
эпитетов! Но я опять молчу.

Какая боль — под пыткой немоты
всё ж не признаться ни единым словом
в красе всего, на что зрачком суровым
любовь моя глядит из темноты!

Чего стыжусь? Зачем я не вольна
в пустом дому, средь снежного разлива,
писать не хорошо, но справедливо —
про дом, про снег, про синеву окна?

Не дай мне Бог бесстыдства пред листом
бумаги, беззащитной предо мною,
пред ясной и бесхитростной свечою,
перед моим, плывущим в сон, лицом.

Слово

«Претерпевая медленную юность,
впадаю я то в дерзость, то в угрюмость,
пишу стихи, мне говорят: порви!
А вы так просто говорите слово,
вас любит ямб, и жизнь к вам благосклонна», —
так написал мне мальчик из Перми.

В чужих потемках выключатель шаря,
хозяевам вслепую спать мешая,
о воздух спотыкаясь, как о пень,
стыдясь своей громоздкой неудачи,
над каждой книгой обмирая в плаче,
я вспомнила про мальчика и Пермь.

И впрямь – в Перми живёт ребёнок странный,
владеющий высокой и пространной,
невнятной речью, и, когда горит
огонь созвездий, принятых над Пермью,
озябшим горлом, не способным к пенью,
ребенок этот слово говорит.

Как говорит ребёнок! Неужели
во мне иль в ком-то, в неживом ущелье
гортани, погружённой в темноту,
была такая чистота проёма,
чтоб уместить во всей красе объёма
всезнающего слова полноту?

О нет, во мне – то всхлип, то хрип, и снова
насушный шум, занявший место слова
там, в легких, где теснятся дым и тень,
и шее не хватает мощи бычьей,
чтобы дыханья суетный обычай
вершить было не трудно и не лень.

Звук немоты, железный и корявый,
терзает горло ссадиной кровавой,
заговорю – и обагрю платок.
В безмолвие, как в землю, погребённой,
мне странно знать, что есть в Перми ребёнок,
который слово выговорить мог.

Немота

Кто же был так силен и умён?
Кто мой голос из горла увел?
Не умеет заплакать о нём
рана черная в горле моём.

Сколь достойны любви и хвалы,
март, простые деянья твои,
но мертвы моих слов соловьи,
и теперь их сады – словари.

– О, воспой! – умоляют уста
снегопада, обрыва, куста.
Я кричу, но, как пар изо рта,
округлилась у губ немота.

Задыхаюсь, идохну, и лгу,
что ещё не останусь в долгу
пред красою деревьев в снегу,
о которой сказать не могу.

Вдохновение – чрезмерный, сплошной
вдох мгновенья душою немой,
не спасёт ее выдох иной,
кроме слова, что сказано мной.

Облегчить переполненный пульс —
как угодно, нечаянно, пусть!
И во всё, что воспеть тороплюсь,
воплещусь навсегда, наизусть.

А за то, что была так нема,
и любила всех слов имена,
и устала вдруг, как умерла, —
сами, сами воспойте меня.

Сумерки

Есть в сумерках блаженная свобода
от явных чисел века, года, дня.
Когда? – неважно. Вот открытость входа
в глубокий парк, в далёкий мельк огня.

Ни в сырости, насытившей соцветья,
ни в деревьях, исполненных любви,
нет доказательств этого столетья, —
бери себе другое – и живи.

Ошибкой зренья, заблуждением духа
возвращена в аллеи старины,
бреду по ним. И встречная старуха,
словно признав, глядит со стороны.

Средь бела дня пустынно это место.
Но в сумерках мои глаза вольны
увидеть дом, где счастливо семейство,
где невпопад и пылко влюблены,

где вечно ждут гостей на именины —
шуметь, краснеть и руки целовать,
где и меня к себе рукой манили,
где никогда мне гостем не бывать.

Но коль дано их голосам беспечным
стать тишиною неба и воды, —
чьи пальчики по клавишам лепечут? —
Чьи кружева вступают в круг беды?

Как мне досталась милость их привета,
тот медленный, затеянный людьми,
старинный вальс, старинная примета
чужой печали и чужой любви?

Еще возможно для ума и слуха
вести игру, где действуют река,
пустое поле, дерево, старуха,
деревня в три незрячих огонька.

Души моей невнятная улыбка
блуждает там, в беспамятстве, вдали,
в той родине, чья странная ошибка
даст мне чужбину речи и земли.

Но темнотой испуганный рассудок

трезвеет, рыщет, снова хочет знать
живых вещей отчетливый рисунок,
мой век, мой час, мой стол, мою кровать.

Еще плутая в омуте росистом,
я слышу, как на диком языке
мне шлёт свое проклятие транзистор,
зажатый в непреклонном кулаке.

Уроки музыки

Люблю, Марина, что тебя, как всех,
что, как меня, —
озябшею гортанью
не говорю: тебя – как свет! как снег! —
усильем шеи, будто лёд глотаю,
стараюсь вымолвить: тебя, как всех,
учили музыке. (О крах ученья!
Как если бы, под Богов плач и смех,
свече внушали правила свеченья.)

Не ладили две равных темноты:
рояль и ты – два совершенных круга,
в тоске взаимной глухонемоты
терпя иноязычие друг друга.

Два мрачных исподлобья сведены
в неразрешимой и враждебной встрече:
рояль и ты – две сильных тишины,
два слабых горла музыки и речи.

Но твоего сиротства перевес
решает дело. Что рояль? Он узник
безгласности, покуда в до диез
мизинец свой не окунет союзник.

А ты – одна. Тебе – подмоги нет.
И музыке трудна твоя наука —
не утруждая ранящий предмет,
открыть в себе кровотечение звука.

Марина, до! До – детства, до – судьбы,
до – ре, до – речи, до – всего, что после,
равно, как вместе мы склоняли лбы
в той общедетской предрояльной позе,
как ты, как ты, вцепившись в табурет, —
о карусель и Гедике ненужность! —
раскручивать сорвавшую берет,
свистящую вокруг головы окружность.

Марина, это всё – для красоты
придумано, в расчете на удачу
раз накричаться: я – как ты, как ты!
И с радостью бы крикнула, да – плачу.

«Четверть века, Марина, тому...»

Четверть века, Марина, тому,
как Елабуга ластится раем
к отдохнувшему лбу твоему,
но и рай ему мал и неравен.

Неужели к всеведенью мук,
что тебе удалось как удача,
я добавлю бесформенный звук
дважды мною пропетого плача.

Две бессмыслицы – мёртв и мертва,
две пустынности, два ударенья —
царскосельских садов дерева,
переделкинских рощиц деревья.

И усилием двух этих кончин
так исчерпана будущность слова.
Не осталось ни уст, ни причин,
чтобы нам затевать его снова.

Впрочем, в этой утрате суда
есть свобода и есть безмятежность:
перед кем пламенеть от стыда,
оскорбляя страниц белоснежность?

Как любила! Возможно ли злей?
Без прощенья, без обещанья
имена их любовью твоей
были сосланы в даль обожанья.

Среди всех твоих бед и плетей
только два тебе есть утешенья:
что не знала двух этих смертей
и воспела два этих рожденья.

Биографическая справка

Всё началось далёкою порой,
в младенчестве, в его начальном классе,
с игры в многозначительную роль:
быть Мусею, любимой меньше Аси.

Бегом, в Тарусе, босиком, в росе,
без промаха – непоправимо мимо,
чтоб стать любимой менее, чем все,
чем всё, что в этом мире не любимо.

Да и за что любить её, кому?
Полюбит ли мышиный сброд умишек
то чудище, несущее во тьму
всеведенья уродливый излишек?

И тот изящный звездочёт искусств
и счетовод безумств витиеватых
не зря не любит излученье уст,
пока ещё ни в чем не виноватых.

Мила ль ему незванная звезда,
чей голосок, нечаянно, могучий,
его освобождает от труда
старательно содеянных созвучий?

В приют ее – меж грязью и меж льдом!
Но в граде чернокаменном, голодном,
что делать с этим неуместным лбом?
Где быть ему, как не на месте лобном?

Добывшая двугорбием ума
тоску и непомерность превосходства,
она насквозь минует терема
всемирного бездомья и сиротства.

Любая милосердная сестра
жестокосердно примирится с горем,
с избытком рокового мастерства —
во что бы то ни стало быть изгоем.

Ты перед ней не виноват, Берлин!
Ты гнал её, как принято, как надо,
но мрак твоих обоев и белил
еще не ад, а лишь предместье ада.

Не обессудь, божественный Париж,

с надменностью ты целовал ей руки,
но всё же был лишь захолустьем крыш,
провинцией её державной муки.

Тягаться ль вам, селения беды,
с непревзойдённым бедствием столицы,
где рыщет Марс над плесенью воды,
тревожа тень кавалерист-девицы?

Затмивший золотые города,
чернеет двор последнего страдания,
где так она нища и голодна,
как в высшем средоточье мироздания.

Хвала и предпочтение молвы
Елабуге, пред прочею землёю.
Кунсткамерное чудо головы
изловлено и схвачено петлёю.

Всего-то было – горло и рука,
в пути меж ними станет звук строкою,
и смертный час – не больше, чем строка:
всё тот же труд меж горлом и рукою.

Но ждать так долго! Отгибая прядь,
поглядывать зрачком – красна ль рябина,
и целый август вытерпеть? О, впрямь
ты – сильное чудовище, Марина.

Клянусь

Тем летним снимком на крыльце чужом
как виселица, криво и отдельно
поставленном, не приводящем в дом,
но выводящим из дому. Одета

в неистовый сатиновый доспех,
стесняющий огромный мускул горла,
так и сидишь, уже отбив, допев
труд лошадиный голода и горя.

Тем снимком. Слабым остриём локтей
ребенка с удивлённою улыбкой,
которой смерть влечёт к себе детей
и украшает их черты уликой.

Тяжёлой болью памяти к тебе,
когда, хлебая безвоздушность горя,
от задыхания твоих тире
до крови я откашливала горло.

Присутствием твоим: крала, несла,
брала себе тебя и воровала,
забыв, что ты – чужое, ты – нельзя,
ты – Богово, тебя у Бога мало.

Последней исхудалостию той,
добившею тебя крысиным зубом.
Благословенной родиной святой,
забывшею тебя в сиротстве грубом.

Возлюбленным тобою не к добру
вседобрым африканцем небывалым,
который созерцает детвору.
И детворою. И Тверским бульваром.

Твоим печальным отдыхом в раю,
где нет тебе ни ремесла, ни муки, —
клянусь убить елабугу твою,
Елабугой твоей, чтоб спали внуки,

старухи будут их стращать в ночи,
что нет её, что нет её, не зная:
«Спи, мальчик или девочка, молчи,
ужо придет елабуга слепая».

О, как она всей путаницей ног.

припустится ползти, так скоро, скоро.
Я опущу подкованный сапог
на щупальца её без приговора.

Утяжелив собой каблук, носок,
в затылок ей – и продержат подольше.
Детёнышей её зеленый сок
мне острым ядом опалит подошвы.

В хвосте ее созревшее яйцо
я брошу в землю, раз земля бездонна,
ни словом не обмолвясь про крыльцо
Марининога смертного бездомья.

И в этом я клянусь. Пока во тьме,
зловоньем ила, жабами колодца,
примеривая желтый глаз ко мне,
убить меня елабуга клянется.

Снегопад

Булату Окуджаве

Снегопад свое действие начал
и ещё до свершения тьмы
Переделкино переиначил
в безымянную прелесть зимы.

Дома творчества дикую кличку
он отринул и вытер с доски
и возвысил в полях электричку
до всемирного звука тоски.

Обманувши сады, огороды,
их ничтожный размер одолев,
возымела значенье природы
невеликая сумма деревьев.

На горе, в тишине совершенной,
голос древнего пенья возник,
и уже не селá, а вселенной
ты участник и бедный должник.

Вдалеке, меж звездой и дорогой,
сам дивясь, что он здесь и таков,
пролетел лучезарно здоровый
и ликующий лыжник снегов.

Вездесущая сила движенья,
этот лыжник, земля и луна —
лишь причина для стихосложенья,
для мгновенной удачи ума.

Но, пока в снегопаданье строгом
ясен разум и воля свежа,
в промежутке меж звуком и словом
опрометчиво медлит душа.

Метель

Борису Пастернаку

Февраль – любовь и гнев погоды.
И, странно воссияв окрест,
великим севером природы
очнулась скудость дачных мест.

И улица в четыре дома,
открыв длину и ширину,
берёт себе непринужденно
весь снег вселенной, всю луну.

Как сильно выюжит! Не иначе —
метель посвящена тому,
кто эти деревья и дачи
так близко принимал к уму.

Ручья невзрачное течение,
сосну, понутившую ствол,
в иное он вовлек значение
и в драгоценность перевел.

Не потому ль, в красе и тайне,
пространство, загрустив о нем,
той речи бред и бормотанье
имеет в голосе своём.

И в снегопаде, долго бывшем,
вдруг, на мгновенье, прервалась
меж домом тем и тем кладбищем
печали пристальная связь.

«Мне вспоминать сподручней, чем иметь...»

Мне вспоминать сподручней, чем иметь.
Когда сей миг и прошлое мгновенье
соединятся, будто медь и медь,
их общий звук и есть стихотворенье.

Как я люблю минувшую весну,
и дом, и сад, чья сильная природа
трудом горы держалась на весу
поверх земли, но ниже небосвода.

Люблю сейчас, но, подлежа весне,
я ощущала только страх и вялость
к объему моря, что в ночном окне
мерещилось и подразумевалось.

Когда сходились море и луна,
студил затылок холодок мгновенный,
как будто я, превысив чин ума,
посмела фамильярничать с Вселенной.

В суть вечности заглядывал балкон —
не слишком ли? Но оставалась радость,
что, возымев во времени былом
день нынешний, — за всё я отыграюсь.

Не наглость ли — при море и луне
их расточать и обмирать от чувства:
они живут воочью, как вчерне
и набело навек во мне очнутся.

Что происходит между тем и тем
мгновеньями? Как долго длится это —
в душе крепчает и взрослеет тень
оброненного в глушь веков предмета.

Не в этом ли разгадка ремесла,
чьи правила: смертельный страх и доблесть, —
блеск бытия изжить, спалить дотла
и выгадать его бессмертный отблеск?

Строка

Дорога, не скажу, куда...
Анна Ахматова

Пластинки глупенькое чудо,
проигрыватель – вздор какой,
и слышно, как невесть откуда,
из недр стеснённых, из-под спуда
корней, сопревших трав и хвой,
где закипает перегной,
вздымая пар до небосвода,
нет, глубже мыслимых глубин,
из пекла, где пекут рубин
и начинается природа, —
исторгнут, близится, и вот
донёсся бас земли и вод,
которым молвлено протяжно,
как будто вовсе без труда,
так легкомысленно, так важно:
«Дорога, не скажу, куда...»
Меж нами так не говорят,
нет у людей такого знанья,
ни вымыслом, ни наугад
тому не подыскать названья,
что мы, в невежестве своем,
строкой бессмертной назовём.

Семья и быт

Ане

Сперва дитя явилось из потёмок
небытия.
В наш узкий круг щенок
был приглашён для счастья.
А котёнок
не столько зван был, сколько одинок.

С небес в окно упал птенец воскресший.
В миг волшебства сама зажглась свеча:
к нам шёл сверчок, влача нежнейший скрежет,
словно возок с пожитками сверчка.

Так ширился наш круг непостижимый.
Все ль в сборе мы? Не думаю. Едва ль.
Где ты, грядущий новичок родимый?
Верти крылами! Убыстряй педаль!

Покуда вещи движутся в квартиры
по лестнице – мы отойдём и ждём.
Но всё ж и мы не так наги и сиры,
чтоб славной вещью не разжился дом.

Останься с нами, кто-нибудь, вошедший!
Ты сам увидишь, как по вечерам
мы возжигаем наш фонарь волшебный.
О смех! О лай! О скрип! О тарарам!

Старейшина в беспечном хороводе.
вполне бесстрашном, если я жива,
проговорюсь моей ночной свободе,
как мне страшна забота старшинства.

Куда уйти? Уйду лицом в ладони.
Стареет пёс. Сиротствует тетрадь.
И лишь дитя, всё больше молодое,
всё больше хочет жить и сострадать.

Давно уже в ангине, только ожил
от жара лоб, так тихо, что почти —
подумало, дитя сказала: – Ёжик,
прости меня, за всё меня прости.

И впрямь – прости, любая жизнь живая!
Твою, в упор глядящую звезду

не подведу: смертельно убывая,
вернусь, опомнюсь, буду, превзойду.

Витает, вырастая, наша стая,
блистая правом жить и ликовать,
блаженность и блаженство сочетая,
и всё это приняв за благодать.

Сверчок и птица остаются дома.
Дитя, собака, бледный кот и я
идём во двор и там непревзойденно
свершаем трюк на ярмарке житья.

Вкривь обходящим лужи и канавы,
несущим мысль про хлеб и молоко,
что нам пустей, что смехотворней славы?
Меж тем она дается нам легко.

Когда сентябрь, тепло, и воздух хлипок,
и все бегут с учений и работ,
нас осыпает золото улыбок
у станции метро «Аэропорт».

Заклинание

Не плачьте обо мне – я проживу
счастливой нищей, доброй каторжанкой,
озябшею на севере южанкой,
чахоточной да злой петербуржанкой
на малярийном юге проживу.

Не плачьте обо мне – я проживу
той хромоножкой, вышедшей на паперть,
тем пьяницей, поникнувшим на скатерть,
и этим, что малюет Божью Матерь,
убогим богомазом проживу.

Не плачьте обо мне – я проживу
той грамоте наученной девчонкой,
которая в грядущести нечёткой
мои стихи, моей рыжея чёлкой,
как дура будет знать. Я проживу.

Не плачьте обо мне – я проживу
сестры помилосердней милосердной,
в военной бесшабашности предсмертной,
да под звездой моею и пресветлой
уж как-нибудь, а всё ж я проживу.

Это я...

Е. Ю. и В. М. Россельс

Это я – в два часа пополудни
повитухой добытый трофей.
Надо мною играют на лютне.
Мне щекотно от палочек фей.
Лишь расплыв золотистого цвета
понимает душа – это я
в знойный день довоенного лета
озираю красу бытия.
«Буря мглою...» и баюшки-баю,
я повадилась жить, но, увы, —
это я от войны погибаю
под угрюмым присмотром Уфы.
Как белеют зима и больница!
Замечаю, что не умерла.
В облаках неразборчивы лица
тех, кто умерли вместо меня.
С непригожим голубеньким ликом,
еле выпростав тело из мук,

это я в предвкушение великом
слышу нечто, что меньше, чем звук.
Лишь потом оценю я привычку
слушать вечную, точно прибой,
безымянных вещей переключку
с именующей вещи душой.
Это я – мой наряд фиолетов,
я надменна, юна и толста,
но к предсмертной улыбке поэтов
я уже приучила уста.
Словно дрожь между сердцем и сердцем,
есть меж словом и словом игра.
Дело лишь за бесхитростным средством
обвести её вязью пера.
– Быть словам женихом и невестой! —
это я говорю и смеюсь.
Как священник в глуши деревенской,
я венчаю их тайный союз.
Вот зачем мимолетные феи
осыпали свой шелест и смех.
Лбом и певческим выгибом шеи,
о, как я не похожа на всех.
Я люблю эту мету несходства,
и, за дальней добычей спеша,

юной гончей мой почерк несётся,
вот настиг – и озябла душа.
Это я проклиная и плачу.
Смотрит в щели людская молва.
Мне с небес диктовали задачу —
я её разрешить не смогла.
Я измучила упряжью шею.
Как другие плетут письма —
я не знаю, нет сил, не умею,
не могу, отпустите меня.
Как друг с другом прохожие схожи.
Нам пора, лишь подует зима,
на раздумья о детской одежде
обратить вдохновенье ума.
Это я – человек-невеличка,
всем, кто есть, прихожусь близнецом,
сплю, куда идёт электричка,
пав на сумку невзрачным лицом.
Мне не выпало лишней удачи,
слава Богу, не выпало мне
быть заслуженней или богаче
всех соседей моих по земле.
Плоть от плоти сограждан усталых,
хорошо, что в их длинном строю
в магазинах, в кино, на вокзалах
я последнею в кассу стою —
позади паренька удалого
и старухи в пуховом платке,
слившись с ними, как слово и слово
на моём и на их языке.

Рисунок

Борису Мессереру

Рисую женщину в лиловом.
Какое благо – рисовать
и не уметь! А ту тетрадь
с полузабытым полусловом
я выброшу! Рука вольна
томиться нетерпением новым.
Но эта женщина в лиловом
откуда? И зачем она
ступает по корням еловым
в прекрасном парке давних лет?
И там, где парк впадает в лес,
лесничий ею очарован.
Развязный! Как он смел взглянуть
прилежным взором благосклонным?
Та, в платье нежном и лиловом,
строга и продолжает путь.
Что мне до женщины в лиловом?
Зачем меня тоска берет,
что будет этот детский рот
ничтожным кем-то поцелован?
Зачем мне жизнь ее грустна?

В дому, ей чуждом и суровом,
родимая и вся в лиловом,
кем мне приходится она?
Неужто розовой, в лиловом,
столь не желавшей умирать, —
всё ж умереть?
А где тетрадь,
чтоб грусть мою упрочить словом?

Воспоминание о Ялте

Булату Окуджаве

В тот день случился праздник на земле.
Для ликования все ушли из дома,
оставив мне два фонаря во мгле
по сторонам глухого водоёма.

Ещё и тем был сон воды храним,
что, намертво рождён из алебастра,
над ним то ль нетопырь, то ль херувим
улыбкой слабоумной улыбался.

Мы были с ним недалёкая родня —
среди насмешек и неодобренья
он нежно передразнивал меня
значеньем губ и тщетностью паренья.

Внизу, в порту, в ту пору и всегда,
неизлечимо и неугасимо
пульсировала бледная звезда,
чтоб звать суда и пропускать их мимо.

Любовью жёгся и любви учил
вид полночи. Я заново дивилась
неистовству, с которым на мужчин
и женщин человечество делилось.

И в час, когда луна во всей красе
так припекала, что зрачок слезился,
мне так хотелось быть живой, как все,
иль вовсе мертвой, как дитя из гипса.

В удобном сходстве с прочими людьми
не сводничать чернилам и бумаге,
а над великим пустяком любви
бесхитростно расплакаться в овраге.

Так я сидела – при звезде в окне,
при скорбной лампе, при цветке в стакане.
И безутешно ластилось ко мне
причастий шелестящих пресмыканье.

«Предутренний час драгоценный...»

Предутренний час драгоценный
спасите, свеча и тетрадь!
В предсмертных потёмках за сценой
мне выпадет нынче стоять.

Взмыть голой циркачкой под купол!
Но я лишь однажды не лгу:
бумаге молясь неподкупной
и пристальному потолку.

Насильно я петь не умею,
но буду же наверняка,
мучительно выпростав шею
из узкого воротника.

Какой бы мне жребий ни выпал,
никто мне не сможет помочь.
Я знаю, как грозен мой выбор,
когда восхожу на помост.

Погибну без вашей любви,
погибну больней и скорей,
коль вслушаюсь в ваши ладони,
сочту их заслугой своей.

О, только б хвалы не возжаждать,
вернуться в родной неуют,
не ведая – дивным иль страшным —
удел мой потом назовут.

Очнуться живою на свете,
где будут во все времена
одни лишь собаки и дети
бедней и свободней меня.

«Однажды, покачнувшись на краю...»

Однажды, покачнувшись на краю
всего, что есть, я ощутила в теле
присутствие непоправимой тени,
куда-то прочь теснившей жизнь мою.

Никто не знал, лишь белая тетрадь
заметила, что я задула свечи,
зажжённые для сотворенья речи, —
без них я не желала умирать.

Так мучилась! Так близко подошла
к скончанью мук! Не молвила ни слова.
А это просто возраста иного
искала неокрепшая душа.

Я стала жить и долго проживу.
Но с той поры я му́кою земною
зову лишь то, что не воспето мною,
всё прочее – блаженством я зову.

«Собрались, завели разговор...»

Юрию Королеву

Собрались, завели разговор,
долго длились их важные речи.
Я смотрела на маленький двор,
чудом выживший в Замоскворечье.

Чтоб красу предыдущих времён
возродить, а пока, исковеркав,
изнывал и бранился ремонт,
исцеляющий старую церковь.

Любоваться ещё не пора:
купол слеп и весь вид не осанист,
но уже по камням двора
восхищённый бродил иностранец.

Я сидела, смотрела в окно,
тосковала, что жить не умею.
Слово «скоросшиватель» влекло
разрыдаться над жизнью моею.

Как вблизи расторопной иглы,
с невредимой травой зелёной,
с бузиною, затмившей углы,
уцелел этот двор непреклонный?

Прорастанье мха из камней
и хмельных маляров перебранка
становились надеждой моей,
ободряющей вестью от брата.

Дочь и внучка московских дворов,
объявляю: мой срок не окончен.
Посреди сорока сороков
не иссякла душа-колокольчик.

О запекшийся в сердце моем
и зазубренный мной без запинки
белокаменный свиток имён
Маросейки, Варварки, Ордынки!

Я, как старые камни, жива.
Дождь веков нас омыл и промаслил.
На клею золотого желтка
нас возвёл незапамятный мастер.

Как живучие эти дворы,
уцелею и я, может статья.
Ну, а нет – так придут маляры.
А потом приведут чужестранца.

Медлительность

Надежде Яковлевне Мандельштам

Замечаю, что жизнь не прочна
и прервётся. Но как не заметить,
что не надо, пора не пришла
торопиться, есть время помедлить.

Прежде было – страшусь и спешу:
есмь сегодня, а буду ли снова?
И на казнь посылала свечу
ради тщетного смысла ночного.

Как умна – так никто не умен,
полагала. А снег осыпался.
И остался от этих времен
горб – натруженность среднего пальца.

Прочитаю добытое им —
лишь скучая, но не сострадая,
и прощу: тот, кто молод, – любим.
А тогда я была молодая.

Отбыла, отспешила. К душе
льнёт прилив незатейливых истин.
Способ совести избран уже
и теперь от меня не зависит.

Сам придет этот миг или год:
смысл нечаянный, нега, вершинность...
Только старости недостает.
Остальное уже совершилось.

«Что за мгновенье! Родное дитя...»

Что за мгновенье! Родное дитя
дальше от сердца, чем этот обычай:
красться к столу сквозь чащобу житья,
зренье возжечь и следить за добычей.
От неусыпной засады моей
не упасётся ни то и ни это.
Пав неминуемой рысью с ветвей,
вцепится слово в загрибок предмета.
Эй, в небесах! Как ты любишь меня!
И, заточенный в чернильную склянку,
образ вселенной глядит из темна,
муча меня, как сокровище скрягу.
Так говорю я и знаю, что лгу.
Необитаема высь надо мною.
Гаснут два фосфорных пекла во лбу.
Лютый младенец кричит за стеною.
Спал, присосавшись к сладчайшему сну,
ухом не вел, а почуял измену.
Всё – лишь ему, ничего – ремеслу,
быть по сему, и перечить не смею.
Мне – только маленькой гибели звук:
это чернил перезревшая влага
вышибла пробку. Бессмысленный круг
букв нерожденных приемлет бумага.
Властвуй, исчадие крови моей!
Если жива – значит, я недалече.
Что же, не хуже других матерей
я – погубившая детище речи.
Чем я плачú за улыбку твою,
я любопытству людей не отвечу.
Лишь содрогнусь и глаза притворю,
если лицо моё в зеркале встречу.

Взойти на сцену

Пришла и говорю: как нынешнему снегу
легко лететь с небес в угоду февралю,
так мне в угоду вам легко взойти на сцену.
Не верьте мне, когда я это говорю.

О, мне не привыкать, мне не впервой, не внове
взять в кожу, как ожог, внимание ваших глаз.
Мой голос, словно снег, вам упадает в ноги,
и он умрет, как снег, и обратится в грязь.

Неможется! Нет сил! Я отвергаю участь
явиться на помост с больничной простыни.
Какой мороз во лбу! Какой в лопатках ужас!
О, кто-нибудь, приди и время растяни!

По грани роковой, по острию каната —
плясунья, так пляши, пока не сорвалась.
Я знаю, что умру, но я очнусь, раз надо.
Так было всякий раз. Так будет в этот раз.

Исчерпана до дна пытливыми глазами,
на сведенье ушей я трачу жизнь свою.
Но тот, кто мной любим, всегда спокоен в зале.
Себя не сохраню, его не посрамлю.

Когда же я очнусь от суетного риска
неведомо зачем сводить себя на нет,
но скажет кто-нибудь: она была артистка,
и скажет кто-нибудь: она была поэт.

Измучена гортань кровотеченьем речи,
но весел мой прыжок из темноты кулис.
В одно лицо людей, всё явственней и резче,
сливаются черты прекрасных ваших лиц.

Я обращу в поклон нерасторопность жеста.
Нисколько мне не жаль ни слов, ни мук моих.
Достанет ли их вам для малого блаженства?
Не навсегда прошу – но лишь на миг, на миг...

«Сад еще не облетал...»

Сад еще не облетал,
только берёза желтела.
«Вот уж и август настал», —
я написать захотела.

«Вот уж и август настал», —
много ль ума в этой строчке, —
мне ль разобраться? На сад
осень влияла все строже.

И самодержец души
там, где исток звездопада,
повелевал: – Не пиши!
Августу славы не надо.

Слиткам последней жары
сыщешь эпитет не ты ли,
коль золотые шары,
видишь, и впрямь золотые.

Так моя осень текла.
Плод упал переспелый.
Возле меня и стола
день угасал не воспетый.

В прелести действий земных
лишь тишина что-то значит.
Слишком развязно о них
бренное слово судачит.

Судя по хладу светил,
по багрецу перелеска,
Пушкин, октябрь наступил.
Сколько прохлады и блеска!

Лёд поутру обметал
ночью налитые лужи.
«Вот уж и август настал», —
ах, не дописывать лучше.

Бедствую и не могу
следовать вещим капризам.
Но золотится в снегу
августа маленький призрак.

Затвердевает декабрь.

Весело при снегопаде
слышать, как вечный диктант
вдруг достигает тетради...

«Бьют часы, возвестившие осень...»

Бьют часы, возвестившие осень:
тяжелее, чем в прошлом году,
ударяется яблоко оземь —
столько раз, сколько яблок в саду.

Этой музыкой, внятной и важной,
кто твердит, что часы не стоят?
Совершает поступок отважный,
но как будто бездействует сад.

Всё заметней в природе печальной
выражение любви и родства,
словно ты — не свидетель случайный,
а виновник её торжества.

«Опять сентябрь, как тьму времён назад...»

Опять сентябрь, как тьму времён назад,
и к вечеру мужает юный холод.
Я в таинствах подозреваю сад:
все кажется – там кто-то есть и ходит.

Мне не страшной, а только веселей,
что призраком населена округа.
Я в доброте моих осенних дней
ничьи шаги приму за поступь друга.

Мне некого спросить: а не пора ль
списать в тетрадь – с последнею росой
траву и воздух, в зримую спираль
закрученный неистовой осою.

И вот ещё: вниманье чьих очей,
воспринятое некогда луною,
проделало обратный путь лучей
и на земле увиделось со мною?

Любой, чьё зренье вобрала луна,
свободен с обожаньем иль укором
иных людей, иные времена
оглядывать своим посмертным взором.

Не потому ль в сиянье и красе
так мучат нас её пустые камни?
О, знаю я, кто пристальней, чем все,
её посеребрил двумя зрачками!

Так я сижу, подслушиваю сад,
для вечности в окне оставив щёлку.
И Пушкина неотвратимый взгляд
ночь напролет мне припекает щёку.

СНИМОК

Улыбкой юности и славы
чуть припугнув, но не отторгнув,
от лени или для забавы
так села, как велел фотограф.

Лишь в благоденствии и лете,
при вечном детстве небосвода,
клянётся ей в Оспедалетти
апрель двенадцатого года.

Сложила на коленях руки,
глядит из кружевного нимба.
И тень её грядущей муки
защёлкнута ловушкой снимка.

С тем – через «ять» – сырым и нежным
апрелем слившись воедино,
как в янтаре окаменевшем,
она пребудет невредима.

И запоздалый соглядатай
застанет на исходе века
тот профиль нежно-угловатый,
вовек сохранный в сгустке света.

Какой покой в нарядной даме,
в чьём чётком облике и лике
прочсть известие о даре
так просто, как название книги.

Кто эту горестную мету,
оттиснутую без помарок,
и этот лоб, и чёлку эту
себе выпрашивал в подарок?

Что ей самой в её портрете?
Пожмёт плечами, как угодно!
И выведет: «Оспедалетти.
Апрель двенадцатого года».

Как на земле свежо и рано!
Грядущий день, дай ей отсрочку!
Пусть она допишет: «Анна
Ахматова», – и капнет точку.

«Я вас люблю, красавицы столетий...»

Я вас люблю, красавицы столетий,
за ваш небрежный выпорх из дверей,
за право жить, вдыхая жизнь соцветий
и на плечи накинув смерть зверей.

Ещё за то, что, стиснув створки сердца,
клад бытия не отдавал моллюск,
открыть и вынуть – вот простое средство
быть в жемчуге при свете бальных люстр.

Как будто мало ямба и хорей
ушло на ваши души и тела,
на каторге чужой любви старея,
о, сколько я стихов перевела!

Капризы ваши, шеи, губы, щёки,
смесь чудную коварства и проказ —
я всё воспела, мы теперь в расчете,
последний раз благословляю вас!

Кто знал меня, тот знает, кто нимало
не знал – поверит, что я жизнь мою,
всю напролёт, навывтяжку стояла
пред женщиной, да и теперь стою.

Не время ли присесть, заплакать, с места
не двинуться? Невмочь мне, говорю,
быть тем, что есть, и вожаком семейства,
вобравшего зверьё и детвору.

Наскучило чудовищем бесполым
быть, другом, братом, сводником, сестрой,
то враждовать, то нежничать с глаголом,
пред тем, как стать травой и сосной.

Машинки, взятой в ателье проката,
подстрочников и прочего труда
я не хочу! Я делаюсь богата,
неграмотна, пригожа и горда.

Я выбираю, поступаясь талантом,
стать оборотнем с розовым зонтом,
с кисейным бантом и под ручку с франтом.
А что есть ямб – знать не хочу о том!

Лукавь, мой франт, опутывай, не мешкай!

Я скрою от незрячести твоей,
какой повадкой и какой усмешкой
владею я – я, друг моих друзей.

Красавицы, ах, это всё неправда!
Я знаю вас – вы верите словам.
Неужто я покину вас на франта?
Он и в подруги не годится вам.

Люблю, когда, ступая, как летая,
проносите, смеясь и лепеча.
Суть женственности вечно золотая
всех, кто поэт, священная свеча.

Обзавестись бы вашими правами,
чтоб стать, как вы, и в этом преуспеть!
Но кто, как я, сумеет встать пред вами?
Но кто, как я, посмеет вас воспеть?

«Теперь о тех, чьи детские портреты...»

Теперь о тех, чьи детские портреты
вперяют в нас неукротимый взгляд:
как в рекруты, забритые в поэты,
те стриженные девочки сидят.

У, чудища, в которых всё нечетко!
Указка им – лишь наущенье звёзд.
Не верьте им, что кружева и чёлка.
Под чёлкой – лоб. Под кружевами – хвост.

И не хотят, а притворятся ловко.
Простак любви влюбиться норовит.
Грозна, как Дант, а смотрит, как плутовка.
Тать мглы ночной, «мне страшно!» – говорит.

Муж несравненный! Удели ей ада.
Терзай, покинь, всю жизнь себя кори.
Ах, как ты глуп! Ей лишь того и надо:
дай ей страдать – и хлебом не корми!

Твоя измена ей сподручней ласки.
Когда б ты знал, прижав её к груди:
всё, что ты есть, она предаст огласке
на столько лет, сколь есть их впереди.

Кто жил на белом свете и мужского
был пола, знает, как судьба прочна
в нас по утрам: иссохло в горле слово,
жить надо снова, ибо ночь прошла.

А та, что спит, смыкая пуще веки, —
что ей твой ад, когда она в раю?
Летит, минуя там, в надзвездном верхе,
твой труд, твой долг, твой грех, твою семью.

А всё ж – пора. Стыдясь, озябнув, мучась,
напялит прах вчерашнего пера
и – прочь, одна, в бесхитростную участь
жить, где жила, где жить опять пора.

Те, о которых речь, совсем иначе
встречают день. В его начальной тьме,
о, их глаза, – как рысий фосфор, зрячи,
и слышно: бьется сильный пульс в уме.

Отважно смотрит! Влюблена в сегодня!

Вчерашний день ей не в науку. Ты —
здесь ни при чём. Её душа свободна.
Ей весело, что листья так жёлты.

Ей важно, что тоскует звук о звуке.
Что ты о ней – ей это всё равно.
О муке речь. Но в степень этой муки
тебе вовек проникнуть не дано.

Ты мучил женщин, ты был смел и волен,
вчера шутил – уже не помнишь с кем.
Отныне будешь, славный муж и воин,
там, где Лаура, Беатриче, Керн.

По октябрю, по болдинской аллее
уходит вдаль, слезы не обронив, —
нежнее женщин и мужчин вольнее,
чтоб заплатить за тех и за других.

Ожидание ёлки

Благоволите, сестра и сестра,
дочери Елизавета и Анна,
не шелохнуться! О, как еще рано,
как неподвижен канун волшебства!

Елизавета и Анна, ни-ни,
не понукайте мгновенья, покуда
медленный бег неизбежного чуда
сам не настигнет крыла беготни.

Близится тройки трёхглавая тень,
Пущей минует сугробы и льдины.
Елизавета и Анна, едины
миг предвкушенья и возраст детей.

Смилуйся, немилосердная мать!
Зверь добродушный, пришелец желанный,
сжался над Елизаветой и Анной,
выкажи вечнозеленую масть.

Елизавета и Анна, скорей!
Всё вам верну, ничего не отнявши.
Грозно-живучее шествие наше
медлит и ждет у закрытых дверей.

Пусть посидит взаперти благодать,
изнемогая и свет исторгая.
Елизавета и Анна, какая
радость – мучительно радости ждать!

Древо взирает на дочь и на дочь.
Надо ль бедой расплатиться за это?
Или же, Анна и Елизавета,
так нам сойдёт в новогоднюю ночь?

Жизнь, и страданье, и всё это – ей,
той, чьей свечой мы сейчас осиянны.
Кто это?
Елизаветы и Анны
крик: – Это ель! Это ель! Это ель!

«Как никогда, беспечна и добра...»

Борису Мессереру

Как никогда, беспечна и добра,
я вышла в снег арбатского двора,
а там такое было: там светало!
Свет расцветал сиреневым кустом,
и во дворе, недавно столь пустом,
вдруг от детей светло и тесно стало.

Ирландский сеттер, резвый, как огонь,
затылок свой вложил в мою ладонь,
щенки и дети радовались снегу,
в глаза и губы мне попал снежок,
и этот малый случай был смешон,
и всё смеялось и склоняло к смеху.

Как в этот миг любила я Москву
и думала: чем дольше я живу,
тем проще разум, тем душа свежее.
Вот снег, вот дворник, вот дитя бежит —
всё есть и воспеванью подлежит,
что может быть разумней и священной?

День жизни, как живое существо,
стоит и ждёт участия моего,
и воздух дня мне кажется целебным.
Ах, мало той удачи, что – жила,
я совершенно счастлива была
в том переулке, что зовётся Хлебным.

Дом

Борису Мессереру

Я вам клянусь: я здесь бывала!
Бежала, позабыв дышать.
Завидев снежного болвана,
вздыхала, замедляла шаг.

Непрочный памятник мгновенью,
снег рукотворный на снегу,
как ты, жива на миг, а верю,
что жар весны превозмогу.

Бесхитростный прилив народа
к витринам – празднество сулил.
Уже Никитские ворота
разверсты были, снег валил.

Какой полёт великолепный,
как сердце бедное несло
вдоль Мерзляковского – и в Хлебный,
сквозняк – навывлет, двор – насквозь.

В жару предчувствия плохого
поступка до скончанья лет —
в подъезд, где ветхий лак плафона
так трогателен и нелеп.

Как опрометчиво, как пылко
я в дом влюбилась! Этот дом
набит, как детская копилка,
судьбой людей, добром и злом.

Его жильцов разнообразных,
которым не было числа,
подвыпивших, поскольку праздник,
я близко к сердцу приняла.

Какой разгадки разум жаждал,
подглядывая с добротой
неистовую жизнь сограждан,
их сложный смысл, их быт простой?

Пока таинственная бытность
моя в том доме длилась, я
его старухам полюбила
по милости житья-бытья.

В печальном лифте престарелом
мы поднимались, говоря
о том, как тяжело старым телом
терпеть погоду декабря.

В том декабре и в том пространстве
душа моя отвергла зло,
и все казались мне прекрасны,
и быть иначе не могло.

Любовь к любимому есть нежность
ко всем вблизи и вдалеке.
Пulsировала бесконечность
в груди, в запястье и в виске.

Я шла, ущелья коридоров
меня заманивали в глубь
чужих печалей, свадеб, вздоров,
в плач кошек, в лепет детских губ.

Мне – выше, мне – туда, где должен
пришелец взмыть под крайний свод,
где я была, где жил художник,
где ныне я, где он живёт.

Его диковинные вещи
воспитаны, как существа.
Глаголет их немое вече
о чистой тайне волшебства.

Тот, кто собрал их воедино,
был не корыстен, не богат.
Возвышенная вещь родима
душе, как верный пёс иль брат.

Со свалки времени бывшего
возвращены и спасены,
они печально и беззлобно
глядят на спешку новизны.

О, для раската громового
так широко открыт раструб,
Четыре вещих граммофона
во тьме причудливо растут.

Я им родня, я погибаю
от нежности, когда вхожу,
я так же шею выгибаю

и так же голову держу.

Я, как они, витиевата,
и горла обнажен проём.
Звук незапамятного вальса
сохранен в голосе моём.

Не их ли зов меня окликнул,
и не они ль меня влекли
очнуться в грозном и великом
недоумении любви?

Как добр, кто любит, как огромен,
как зряч к значенью красоты!
Мой город, словно новый город,
мне предъявил свои черты.

Смуглей великого арапа
восходит ночь. За что мне честь —
в окно увидеть два Арбата:
и тот, что был, и тот, что есть?

Лиловой гроздью виснет сумрак.
Вот стул – капризник и чудака.
Художник мой портрет рисует
и смотрит остро, как чужак.

Уже считая катастрофой
уют, столь полный и смешной,
ямб примеряю пятистопный
к лицу, что так любимо мной.

Я знаю истину простую:
любить – вот верный путь к тому,
чтоб человечество вплотную
приблизить к сердцу и уму.

Всегда быть не хитрей, чем дети,
не злей, чем дерево в саду,
благословляя жизнь на свете
заботливей, чем жизнь свою.

Так я жила былой зимою.
Ночь разрасталась, как сирень,
и всё играла надо мною
печали сильная свирель.

Был дом на берегу бульвара.
Не только был, но ныне есть.

Зачем твержу: я здесь бывала,
а не твержу: я ныне здесь?

Ещё жива, еще любима,
всё это мне сейчас дано,
а кажется, что это было
и кончилось давным-давно...

«Потом я вспомню, что была жива...»

Б.М.

Потом я вспомню, что была жива,
зима была и падал снег, жара
стесняла сердце, влюблена была —
в кого? во что?
Был дом на Поварской
(теперь зовут иначе) ... День-деньской,
ночь напролёт я влюблена была —
в кого? во что?
В тот дом на Поварской,
в пространство, что зовётся мастерской
художника.
Художника дела
влекли наружу, в стужу. Я ждала
его шагов. Смеркался день в окне.
Потом я вспомню, что казался мне
труд ожидания целью бытия,
но и тогда соотносила я
насущность чудной нежности – с тоской
грядущей... А дом на Поварской —
с немыслимым и неизбежным днем,
когда я буду вспоминать о нём...

«Завидна мне извечная привычка...»

Завидна мне извечная привычка
быть женщиной и мужнею женою,
но уж таков присмотр небес за мною,
что ничего из этого не вышло.

Храни меня, прищур неумолимый,
в сохранности от всех благополучий,
но обойди твоей опекой жгучей
двух девочек, замаранных малиной.

Ещё смеются, рыщут в листьях ягод
и вдруг, как я, глядят с такой же грустью.
Как все, хотела – и поила грудью,
хотела – мёдом, а вспоила – ядом.

Непоправима и невероятна
в их лицах мета нашего единства.
Уж коль ворона белой уродится,
не дай ей Бог, чтоб были воронята.

Белеть – нелепо, а чернеть – не ново,
чернеть – недолго, а белеть – безбрежно.
Всё более я пред людьми безгрешна,
всё более я пред детьми виновна.

«Я завидую ей – молодой...»

Анне Ахматовой

Я завидую ей – молодой
и худой, как рабы на галере:
горячей, чем рабыни в гареме,
возжигала зрачок золотой
и глядела, как вместе горели
две зари по-над невской водой.

Это имя, каким назвалась,
потому что сама захотела, —
нарушение черты и предела
и востока незваная власть,
так – на северный край чистотела
вдруг – персидской сирени напасть.

Но её и мое имена
были схожи основой кромешной,
лишь однажды взглянула с усмешкой,
как метелью лицо обмела.
Что же было мне делать – посмевшей
зваться так, как назвали меня?

Я завидую ей – молодой
до печали, но до упаданья
головою в ладонь, до страданья
я завидую ей же – седой
в час, когда не прервали свиданья
две зари по-над невской водой.

Да, как колокол, грузной, седой,
с вещим слухом, окликнутым зовом:
то ли голосом чьим-то, то ль звоном,
излученным звездой и звездой,
с этим неописуемым зобом,
полным песни, уже неземной.

Я завидую ей – меж корней,
нищей пленнице рая и ада.
О, когда б я была так богата,
что мне прелесть оставшихся дней?
Но я знаю, какая расплата
за судьбу быть не мною, а ей.

«Какое блаженство, что блещут снега...»

Какое блаженство, что блещут снега,
что холод окреп, а с утра моросило,
что дико и нежно сверкает фольга
на каждом углу и в окне магазина.

Пока серпантин, мишура, канитель
восходят над скукою прочих имуществ,
томительность предновогодних недель
терпеть и сносить – что за дивная участь!

Какая удача, что тени легли
вкруг ёлок и елей, цветущих повсюду,
и вечнозелёная новость любви
душе внушена и прибавлена к чуду.

Откуда нагрянули нежность и ель,
где прежде таились и как сговорились!
Как дети, что ждут у заветных дверей,
я ждать позабыла, а двери открылись.

Какое блаженство, что надо решать,
где краше затеплится шарик стеклянный,
и только любить, только ель наряжать
и созерцать этот мир несказанный...

«Стихотворения чудный театр...»

Стихотворения чудный театр,
нежся и кутайся в бархат дремотный.
Я – ни при чем, это занят работой
чуждых божеств несравненный талант.

Я – лишь простак, что извне приглашен
для сотворенья стороннего действия.
Я не хочу! Но меж звездами где-то
грозную палочку взял дирижёр.

Стихотворения чудный театр,
нам ли решать, что сегодня сыграем?
Глух к наставленьям и недосыпаем
в музыку нашу влюбленный тиран.

Что он диктует? И есть ли навес —
нас упасти от любви его лютой?
Как помыкает безграмотной лютней
безукоризненный гений небес!

Стихотворения чудный театр,
некого спрашивать: вместо ответа —
мúка, когда раздирают отверстия
труб – для рыданья и губ – для тирад.

Кончено! Лампы огня не таят.
Вольно! Прощаюсь с божественным игом.
Вкратце – всей жизнью и смертью – разыгран
стихотворения чудный театр.

«Я столько раз была мертва...»

Гие Маргвелашвили

Я столько раз была мертва
иль думала, что умираю,
что я безгрешный лист мараю,
когда пишу на нем слова.

Меня терзали жизнь, нужда,
страх поутру, что всё сначала.
Но Грузия меня всегда
звала к себе и выручала.

До чудных слез любви в зрачках
и по причине неизвестной,
о, как, когда б вы знали, — как
меня любил тот край прелестный.

Тифлис, не знаю, невдомёк —
каким родителем суровым
я брошена на твой порог
подкидышем большеголовым?

Тифлис, ты мне не объяснял
и я ни разу не спросила:
за что дарами осыпал
и мне же говорил «спасибо»?

Какую жизнь ни сотворю
из дней грядущих, из тумана, —
чтоб отслужить любовь твою,
всё будет тщетно или мало...

«Я знаю, всё будет: архивы, таблицы...»

Я знаю, всё будет: архивы, таблицы...
Жила-была Белла... потом умерла...
И впрямь я жила! Я летела в Тбилиси,
где Гия и Шура встречали меня.

О, длилось бы вечно, что прежде бывало:
с небес упал солнцепёк проливной,
и не было в городе этом подвала,
где Гия и Шура не пили со мной.

Как свечи, мерцают родимые лица.
Я плачу, и влажен мой хлеб от вина.
Нас нет, но в крутых закоулках Тифлиса
мы встретимся: Гия, и Шура, и я.

Счастливица, знаю, что люди другие
в другие помянут меня времена.
Спасибо! – Да тщетно: как Шура и Гия,
никто никогда не полюбит меня.

«Деревни Бёхово крестьянин...»

Деревни Бёхово крестьянин...
А звался как и жил когда —
всё мох сокрыл, затмил кустарник,
размыла долгая вода.
Не вычитать из недомолвок
непрочного известняка:
вдруг, бедный, он остался молод?
Да, лишь одно наверняка
известно.
И не больше вздора
всё прочее, на что строку
потратить лень.
Дождь.
С косогора
вид на Тарусу и Оку.

Путник

Анели Судакевич

Прекрасной медленной дорогой
иду в Алёкино (оно
зовет себя: Алекинó),
и дух мой, мерный и здоровый,
мне внове, словно не знаком
и, может быть, не современник
мне тот, по склону, сквозь репейник,
в Алёкино за молоком
бредущий путник. Да туда ли,
затем ли, ныне ль он идет,
врисован в луг и небосвод
для чьей-то думы и печали?
Я – лишь сейчас, в сей миг, а он —
всегда: пространства завсегдатай,
подошвами худых сандалий
осуществляет ход времен
вдоль вечности и косогора.
Приняв на лоб припёк огня
небесного, он от меня
всё дальше и – исчезнет скоро.

Смотрю вослед своей душе,
как в сумерках на убыль света,
отсутствую и брезжу где-то
то ли ещё, то ли уже.

И, выпроставшись из артерий,
громоздких пульсов и костей,
вишу, как стайка новостей,
в ночи не принятых антенной.

Моё сознание растолкав
и заново его туманя
дремотной речью, тетя Маня
протягивает мне стакан
парной и первобытной влаги.
Сижусь. Смеркается. Дождит.
Я вновь жива и вновь должник
вдали белеющей бумаги.
Старуха рада, что зятя
убрали сено. Тишь. Беспечность.
Течёт, впадая в бесконечность,
журчание житья-бытья.
И снова путник одержимый

вступает в низкую зарю,
и вчуже долго я смотрю
на бег его непостижимый.

Непоправимо сир и жив,
он строго шествует куда-то,
как будто за красу заката
на нём ответственность лежит.

Приметы мастерской

Б.М.

О гость грядущий, гость любезный!
Под этой крышей поднебесной,
которая одной лишь бездной
всевышней мглы превзойдена,
там, где четыре граммофона
взирают на тебя с амвона,
пируй и пей за время оно,
за граммофоны, за меня!

В какой немислимоу отлучке
я ныне пребываю, – лучше
не думать! Ломаной полушки
жаль на помин души моей,
коль не смогу твой пир обильный
потешить шуткой замогильной
и, как всеведущий Вергилий,
тебя не встречу у дверей.

Войди же в дом неимоверный,
где быт – в соседях со вселенной,
где вечности озноб мгновенный
был ведом людям и вещам
и всплеск серебряных сердечек
о сквозняке пространств нездешних
гостей, когда-то здесь сидевших,
таинственно оповещал.

У ног, взошедших на Голгофу,
доверься моему глаголу
и, возведя себя на гору
поверх шестого этажа,
благослови любую малость,
почти предметов небывалость,
не смей, чтобы тебя боялась
шарманки детская душа.

Сверкнет ли в окнах луч закатный,
всплнкнёт ли ящик музыкальный
иль призрак севера печальный
вдруг вздыбит желтизну седин —
пусть реет над юдолью скушной
дом, как заблудший шар воздушный,
чтоб ты, о гость мой простодушный,
чужбину неба посетил...

«Вот не такой, как двадцать лет назад...»

Вот не такой, как двадцать лет назад,
а тот же день. Он мною в половине
покинут был, и сумерки на сад
тогда не пали и падут лишь ныне.

Барометр, своим умом дошед
до истины, что жарко, тем же делом
и мнением занят. И оса дюшес
когтит и гложет ненасытным телом.

Я узнаю пейзаж и натюрморт.
И тот же некто около почтамта
до сей поры конверт не надорвёт,
страшась, что весть окажется печальна.

Всё та же в море бледность пустоты.
Купальщик, тем же опаленный светом,
переступает моря и строфы
туманный край, став мокрым и воспетым.

Соединились море и пловец,
кефаль и чайка, ржавый мёд и жало.
И у меня своя здесь жертва есть:
вот след в песке – здесь девочка бежала.

Я помню – ту, имевшую в виду
писать в тетрадь до сини предрассветной.
Я медленно навстречу ей иду —
на двадцать лет красивей и предсмертной.

– Всё пишешь, – я с усмешкой говорю.
Брось, отступишь от рокового дела.
Как я жалею молодость твою.
И как нелепо ты, дитя, одета.

Как тщетно всё, чего ты ждёшь теперь.
Всё будет: книги, и любовь, и слава.
Но страшен мне канун твоих потерь.
Молчи. Я знаю. Я имею право.

И ты надменна к прочим людям. Ты
не можешь знать того, что знаю ныне:
в чудовищных веригах немоты
оплачешь ты свою вину пред ними.

Беги не бед – сохранности от бед.

Страшись тщеты смертельного излишка.
Ты что-то важно говоришь в ответ,
но мне – тебя, тебе – меня не слышно.

Таруса

Марине Цветаевой

I

Какая зелень глаз вам свойственна, однако...
И тьмы подошв – такой травы не изомнут.
С откоса на Оку вы глянули когда-то:
на дне Оки лежит и смотрит изумруд.

Какая зелень глаз вам свойственна, однако...
Давно из-под ресниц обронен изумруд.
Или у вас – ронять в Оку и в глушь оврага
есть что-то зеленей, не знаю, как зовут?

Какая зелень глаз вам свойственна, однако...
Чтобы навек вселить в пространство изумруд,
вам стоило взглянуть и отвернуться: надо
спешить, уже темно и ужинать зовут.

II

Здесь дом стоял. Столетие назад
был день: рояль в гостиной водворили,
ввели детей, открыли окна в сад,
где ныне лют ревнитель викторины.

Ты победил. Виктория – твоя.
Вот здесь был дом, где ныне танцплощадка,
площадка-танц, иль как ее... Видна
звезда небес, как бред и опечатка

в твоём дикоязычном букваре.
Ура, ты победил, недаром злился
и морщил лоб при этих – в серебре,
безумных и недремлющих из гипса.

Дом отдыха – и отдыхай, старик.
Прости меня. Ты не виновен вовсе,
что вижу я, как дом в саду стоит
и музыка витает окон возле.

III

Морская – так иди в свои моря!

Оставь меня, скитайся вольной птицей!
Умри во мне, как в мире умерла,
темно и тесно быть твоей темницей.

Мне негде быть, хоть всё это – мое.
Я узнаю твою неблагосклонность
к тому, что спёрто, замкнуто, мало.
Ты – рвущийся из душной кожи лотос.

Ступай в моря! Но коль уйдешь с земли,
я без тебя не уцелею. Разве —
как чешуя, в которой нет змеи:
лишь стройный воздух, выющийся в пространстве.

IV

Молчали той, зато хвалима эта.
И то сказать – иные времена:
не вняли крику, но целуют эхо,
к ней опоздав, благословив меня.

Зато, ее любившие, брезгливы
ко мне чернила, и тетрадь гола.
Рак на безрыбье или на безглыбе
пригорок – вот вам рыба и гора.

Людской хвале внимая, разум слепнет.
Пред той потупясь, коротаю дни
и слышу вдруг: не осуждай за лепет
живых людей – ты хуже, чем они.

Коль нужно им, возглыбься над низиной
их бедных бед, а рыба немота
не есть ли крик, неслышимый, но зримый,
оранжево запекшийся у рта.

V

Растает снег. Я в зоопарк схожу.
С почтением и холодком по коже
увиджу льва и: – Это лев! – скажу.
Словечко и предметище не схожи.

А той со львами только веселей!
Ей незачем заискивать при встрече
с тем, о котором вымолвит: – Се лев. —
Какая львиность норова и речи!

Я целовала крутолобье волн,

просила море: – Притворись водою!
Страшусь тебя, словно изгнали вон
в зыбь вечности с невнятной звездою.

Та любит твердь за тернии пути,
пыланью брызг предпочитает пыльность
и скажет: – Прочь! Мне надобно пройти. —
И вот проходит – море расступилось.

VI

Как знать, вдруг – мало, а не много:
невхожести в уют, в приют
такой, что даже и острога
столь бесприютным не дают;

мгновения: завидев Блока,
гордыней скул порозоветь,
как больно смотрит он, как блёкло,
огромную приемля весть
из детской ручки;

ручки этой,
в страданье о которой спишь,
безумием твоим одетой
в рассеянные грёзы спиц;

расчета: властью никакою
немыслимо пресечь твою
гортань и можно лишь рукою
твоею, —

мало, говорю,
всего, чтоб заплатить за чудный
снег, осыпавший дом Трёхпрудный,
и пруд, и труд коньков нетрудный,
а гений глаза изумрудный
всё знал и всё имел в виду.

Две барышни, слетев из детской
светёлки, шли на мост Кузнецкий
с копейкой удалой купецкой:
Сочельник, нужно наконец-то
для ёлки приобрести звезду.

Влекла их толчея людская,
пред строгим Пушкиным сникая,
от Елисеева таская
кульки и свёртки, вся Тверская —

в мигании, во мгле, в огне.

Всё время важно и вельможно
шёл снег, себя даря и множа.
Серёжа, поздно же, темно же!
Раз так пройти, а дальше – можно
стать прахом неизвестно где.

«Не добела раскалена...»

Не добела раскалена,
и все-таки уже белеет
ночь над Невой.
Ум болеет
тоской и негой молодой.
Когда о купол золотой
луч разобьется предрассветный
и лето входит в Летний сад,
каких наград, каких услад
иных
просить у жизни этой?

Возвращение из Ленинграда

Всё б глаз не отрывать от города Петрова,
гармонию читать во всех его чертах
и думать: вот гранит, а дышит, как природа...
Да надобно домой. Перрон. Подъезд. Чердак.

Былая жизнь моя – предгорье сих ступеней.
Как улица стара, где жили повара.
Развязно юн пред ней пригожий дом столетний.
Светает, а луна трудов не прервала.

Как велика луна вблизи окна. Мы сами
затеяли жильё вблизи небесных недр.
Попробуем продлить привал судьбы в мансарде:
ведь выше – только глушь, где нас с тобою нет.

Плеск вечности в ночи подтачивает стены
и зарится на миг, где рядом ты и я.
Какая даль видна! И коль взглянуть острее,
возможно различить границу бытия.

Вселенная в окне – букварь для грамотея,
читаю по складам и не хочу прочесть.
Объятую зарей, дымами и метелью,
как я люблю Москву, покуда время есть.

И давешняя мысль – не больше безрассудства.
Светает на глазах, всё шире, всё быстрее.
Уже совсем светло. Но, позабыв проснуться,
простёр Тверской бульвар цепочку фонарей.

«То снился он тебе, а ныне ты – ему...»

Мне Тифлис горбатый снится...
Осип Мандельштам

То снился он тебе, а ныне ты – ему.
И жизнь твоя теперь – Тифлиса сновиденье.
Поскольку город сей непостижим уму,
он нам при жизни дан в посмертные владенья.

К нам родина щедра, чтоб голос отдыхал,
когда поет о ней. Перед дорогой дальней
нам всё же дан привал, когда войдем в духан,
где чем душа светлей, тем пение печальней.

Клянусь тебе своей склоненной головой
и воздухом, что весь – душа Галактиона,
что город над Курой – всё милосердней твой,
ты в нём не меньше есть, чем был во время оно.

Чем наш декабрь белей, когда роняет снег,
тем там платан красней, когда роняет листья.
Пусть краткому «теперь» был тесен белый свет,
пространному «потом» – достаточно Тифлиса.

Памяти Генриха Нейгауза

Что – музыка? Зачем? Я – не искатель мўки.
Я всё нашла уже и всё превозмогла.
Но быть живой невмочь при этом лишнем звуке,
о мука мук моих, о музыка моя.

Излишек музык – две. Мне – и одной довольно,
той, для какой пришла, была и умерла.
Но всё это – одно. Как много и как больно.
Чужая – и не тронь, о музыка моя.

Что нужно остриям органа? При оргáне
я знала, что распят, кто, говорят, распят.
О музыка, вся жизнь – с тобою пререканье,
и в этом смысл двойной моих услад-расплат.

Единожды жила – и дважды быть убитой?
Мне, впрочем, – впору. Жизнь так сладостно мала.
Меж музыкой и мной был музыкант любимый.
Ты – лишь затем моя, о музыка моя.

Нет, ты есть он, а он – тебя предрекший рокот,
Он проводил ко мне всё то, что ты рекла.
Как папоротник тих, как проповедник кроток
и – краткий острый свет, опасный для зрачка.

Увидела: лицо и бархат цвета... цвета? —
зелёного, слабей, чем блеск и изумруд:
как тина или мох. И лишь при том здесь это,
что совершенен он, как склон, как холм, как пруд —

столь тихие вблизи громокипящей распри.
Не мне её прощать: мне та земля мила,
где Гёте, Рейн, и он, и музыка – прекрасны,
Германия моя, гармония моя.

Вид музыки так прост: он схож с его улыбкой.
Ещё там были: шум, бокалы, торжество,
тот ученик его прельстительно великий,
и я – какой ни есть, но ученик его.

«Твой случай таков, что мужи этих мест и предместий...»

В. Высоцкому

Твой случай таков, что мужи этих мест и предместий
белее Офелии бродят с безумьем во взоре.
Нам, виды выдавшим, ответствуй, как деве прелестной:
так – быть? или – как? что решил ты в своем Эльсиноре?

Пусть каждый в своем Эльсиноре решает, как может.
Дарующий радость, ты – щедрый даритель страданья.
Но Дании всякой, нам данной, тот славу умножит,
кто подданных душу возвысит до слёз, до рыданья.

Спасение в том, что сумели собраться на площадь
не сборищем сброда, бегущим глазеть на Нерона,
а стройным собором собратьев, отринувших пошлость.
Народ невредим, если боль о Певце – всенародна.

Народ, народившись, – не неуч, он ныне и присно —
не слушатель вздора и не покупатель вещицы.
Певца обожая, – расплачемся. Доблестна тризна.
Так – быть или как? Мне как быть? Не взыщите.

Хвалю и люблю не отвергшего гибельной чаши.
В обнимку уходим – всё дальше, всё выше, всё чище.
Не скаредны мы, и сердца разбиваются наши.
Лишь так справедливо. Ведь если не наши – то чьи же?

Сад

Василию Аксенову

Я вышла в сад, но глушь и роскошь
живут не здесь, а в слове: «сад».
Оно красою роз возросших
питает слух, и нюх, и взгляд.

Просторней слово, чем окрестность:
в нём хорошо и вольно, в нём
сиротство саженцев окрепших
усыновляет чернозём.

Рассада неизвестных новшеств,
о, слово «сад» – как садовод,
под блеск и лязг садовых ножниц
ты длишь и множишь свой приплод.

Вместилась в твой объём свободный
усадебная и судьба семьи,
которой нет, и той садовой
потёрто-белый цвет скамьи.

Ты плодороднее, чем почва,
ты кормишь корни чуждых крон,
ты – дуб, дупло, Дубровский, почта
сердец и слов: любовь и кровь.

Твоя тенистая чащоба
всегда темна, но пред жарой
зачем потупился смущённо
влюблённый зонтик кружевной?

Не я ль, искатель ручки вялой,
колени гравием красню?
Садовник нищий и развязный,
чего ищу, к чему клоню?

И, если вышла, то куда я
всё ж вышла? Май, а грязь прочна.
Я вышла в пустошь захуданья
и в ней прочла, что жизнь прошла.

Прошла! Куда она спешила?
Лишь губ пригубила немых
сухую муку, сообщила,
что всё – навеки, я – на миг.

На миг, где ни себя, ни сада
я не успела разглядеть.
«Я вышла в сад», – я написала.
Я написала? Значит, есть

хоть что-нибудь? Да, есть, и дивно,
что выход в сад – не ход, не шаг.
Я никуда не выходила.
Я просто написала так:
«Я вышла в сад»...

Ладыжино

Владимиру Войновичу

Я этих мест не видела давно.
Душа во сне глядит в чужие края
на тех, моих, кого люблю, кого
у этих мест и у меня – украли.

Душе во сне в Баварию глядеть
досуга нет – но и вчера глядела.
Я думала, когда проснулась здесь:
душе не внове будет взмыв из тела.

Так вот на что я променяла вас,
друзья души, обобранной разбоем.
К вам солнце шло. Мой день вчерашний гас.
Вы – за Окой, вон там, за тёмным бором.

И ваши слёзы видели в ночи
меня в Тарусе, что одно и то же.
Нашли меня и долго прочь не шли.
Чем сон нежней, тем пробужденье строже.

Вот новый день, который вам пошлю —
оповестить о сердца разрыванье,
когда иду по снегу и по льду
сквозь бор и бездну между мной и вами.

Так я вхожу в Ладыжино. Просты
черты красы и бедствия родного.
О, тётя Маня, смилуйся, прости
меня за всё, за слово и не-слово.

Прогорк твой лик, твой малый дом убог.
Моих друзей и у тебя отняли.
Всё слышу: «Не печалься, голубок».
Да мочи в сердце меньше, чем печали.

Окно во снег, икона, стол, скамья.
Ад глаз моих за рукавом я прячу.
«Ах, ангел мой, желанная моя,
не плачь, не сетуй».
Сетую и плачу.

Радость в Тарусе

Я позабыла, что всё это есть.
Что с небосводом? Зачем он зарделся?
Как я могла позабыть средь злодейств
то, что ещё упаслось от злодейства?

Но я не верила, что упаслось
хоть что-нибудь. Всё, я думала, – втуне.
Много ли всех проливателей слёз,
всех, не повинных в корысти и в дури?

Время смертей и смертельных разлук,
хоть не прошло, а уму повредило.
Я позабыла, что сосны растут.
Вид позабыла всего, что родимо.

Горестен вид этих маленьких сёл,
рощ изведённых, церквей убиенных.
И, для науки изъятых из школ,
множества бродят подростков военных.

Вспомнила: это восход, и встаю,
алчно сочувствуя прибыли света.
Первыми сосны воспримут зарю,
далее всем нам обещано это.

Трём обольщеньям за каждым окном
радуюсь я, словно радостный кто-то.
Только мгновенье меж мной и Окой,
валенки и соучастье откоса.

Маша приходит: «Как, андел, спалось?»
Ангел мой Маша, так крепко, так сладко!
«Кутайся, андел мой, нынче мороз».
Ангел мой Маша, как славно, как ладно!

«В Паршино, любушка, волк забегал,
то-то корова стенала, томилась».
Любушка Маша, зачем он пугал
Паршина милого сирость и смиренность?

Вот выхожу, на конюшню бегу.
Я ль незнакомец, что болен и мрачен?
Конь, что белеет на белом снегу,
добр и сластёна, зовут его: Мальчик.

Мальчик, вот сахар, но как ты любим!

Глаз твой, отверсто-дрожащий и трудный,
я бы могла перепутать с моим,
если б не глаз – знаменитый и чудный.

В конюхах – тот, чьей безмолвной судьбой
держится общий невыцветший гений.
Как я, главенствуя в роли второй,
главных забыла героев трагедий?

То есть я помнила, помня: нас нет,
если истока нам нет и прироста.
Заново знаю: лицо – это свет,
способ души изъяслять благородство.

Семьдесят два ему года. Вестей
добрых он мало услышал на свете.
А поглядит на коня, на детей —
я погляжу, словно кони и дети.

Где мы берем добродетель и стать?
Нам это – не по судьбе, не по чину.
Если не сгинуть совсем, то – устать
всё не сберемся, хоть имем причину.

Март между тем припекает мой лоб.
В марте ли лбу предаваться заботе?
«Что же, поедешь со мною, милоч?»
Я-то поеду! А вы-то возьмёте?

Вот и поехали. Дня и коня,
дня и души белизна и нарядность.
Фёдор Данилович! Радость моя!
Лишь засмеётся: «Ну что, моя радость?»

Слева и справа: краса и краса.
Дым-сирота над деревнею вьётся.
Склад неимущества – храм без креста.
Знаю я, знаю, как это зовется.

Ночью, при сильном стеченье светил,
долго смотрю на леса, на равнину.
Господи! Снова меня Ты простил.
Стало быть – можно? Я – лампу придвину.

Рассвет

Светает раньше, чем вчера светало.
Я в шесть часов проснулась, потому что
в окне – так близко, как во мне, – вещая,
капель бубнила, предсказаньем муча.

Вот голосок, разорванный на всхлипы,
возрос в струю и в стройное стенанье.
Маслины цвета превратились в сливы:
вода синеет на столе в стакане.

Рассвет всё гуще набирает силу,
бросает в снег и слух синичью стаю.
Зрачки, наверно, выкрашены синью,
но зеркало синё – я не узнаю.

Так совершенно наполненье зренья,
что не хочу зари, хоть долгожданна.
И – ненасытным баловнем мгновенья —
смотрю на синий томик Мандельштама.

Свет и туман

Сколь ни живи, сколь ни учи наук —
жизнь знает, как прельстить и одурачить,
и робкий неуч, молвив: «Это – луг», —
остолбенев, глядит на одуванчик.

Нельзя привыкнуть и нельзя понять.
Жизнь – знает нас, а мы её – не знаем.
Её надзором, в занебесном «над»
исток берущим, всяк насквозь пронзаем.

Мгновенье ока – вдохновенье губ —
в сей миг проник наш недалекий гений,
но пред вторым – наш опыт кругло глуп:
сплошное время – разнбой мгновений.

Соседка капля – капле не близнец,
они похожи, словно я и кто-то.
Два раза одинаково блеснуть
не станет то, на что смотрю с откоса.

Всегда мне внове невидаль окна.
Его читатель вечный и работник,
робею знать, что значат письма, —
и двадцать раз уже я второгодник.

Вот – ныне, в марта день двадцать шестой,
я затемно взялась за это чтение.
На языке людей: туман густой.
Но гуще слова бездны изъявленье.

Какая гордость и какая власть —
себя столь скрытной охранить стеною.
И только галки промельк мимо глаз
не погнушался свидеться со мною.

Цвет в просторечье назван голубым,
но остается анонимно-большим.
На таковом – малина и рубин —
мой нечванливый Ванька-мокрый ожил.

Как бы – светает. Но рассвета рост
не снизошел со зрителем якшаться.
Есть в мартовской понурости берез
особое уныние пред-счастья.

Как все неизымаемо из мглы!

Грядущего – нет воли опасаться.
Вполоборота, ласково: «Не лги!» —
и вновь собою занято пространство.

Вослед 27-му дню марта

У пред-весны с весною столько распрей:
дождь нынче шёл и снегу досадил.
Двадцать седьмой, предайся, мой февральский,
объятаям – с марта днём двадцать седьмым.

Отпразднуем, погода и погода,
наш тайный праздник, круглое число.
Замкнулся круг игры и хоровода:
дождливо-снежно, холодно-тепло.

Внутри, не смея ничего нарушить,
кружусь с прозрачным циркулем в руке
и белую пространную окружность
стесняю чёрным лесом вдалеке.

Двадцать седьмой, февральский, несравненный,
посол души в заоблачных краях,
герой стихов и сирота вселенной,
вернись ко мне на ангельских крылах.

Благодарю тебя за все поблажки.
Просила я: не отнимай зимы! —
теплыни и сиянья неполадки
ты взял с собою и убрал с земли.

И всё, что дале делала природа,
вступив в открытый заговор со мной, —
не пропустив ни одного восхода,
воспела я под разною луной.

Твой нынешний ровесник и соперник
был мглист и долог, словно времена,
не современен марту и сиренев,
в куртины мрака спрятан от меня.

Я шла за ним! Но – чем быстрее аллея
петляла в гору, пятясь от Оки,
тем боязливей кружево белело,
тем дальше убегали башмачки.

День уходил, не оставляя знака, —
то, может быть, в слезах и впопыхах,
Ладыжина прекрасная хозяйка
свой навещала разорённый парк.

Закат исполнен женственной печали.

День медленно скрывается во мгле —
пять лепестков забытой им перчатки
сиренью увядают на столе.

Опять идёт четвертый час другого
числа, а я — не вышла из вчера.
За днями еженощная догонка:
стихи — тесна всех дней величина.

Сова? Нет! Это вышла из оврага
большая сырость и вошла в окно,
согрелась — и отправился обратно
невнятно-белый неизвестно кто.

Два дня моих, два избранных любимца,
останьтесь! Нам — расстаться не дано.
Пусть наша сумма бредит и клубится:
ночь, солнце, дождь и снег — нам всё равно.

Трепещет соглядатай-недознайка!
Здесь странная компания сидит:
Ладыжина прекрасная хозяйка,
я, ночь и вы, два дня двадцать седьмых.

Как много нас! — а нам ещё не вдосталь.
Новь жалуется в странноприимный дом.
И то, во что мне утро обойдётся, —
я претерплю. И опишу — потом.

Возвращение в Тарусу

Пред Окой преклонённость земли
и к Тарусе томительный подступ.
Медлил в этой глубокой пыли
стольких странников горестный посох.

Нынче май, и растёт желтизна
из открытой земли и расщелин.
Грустным знаньем душа стеснена:
этот миг бытия совершенен.

К церкви Бёховской ластится глаз.
Раз ещё оглянусь – и довольно.
Я б сказала, что жизнь – удалась,
всё сбылось и нисколько не больно.

Просьбы нет у пресыщенных уст
к благолепию цветущей равнины.
О, как сир этот рай и как пуст,
если правда, что нет в нём Марины.

Черёмуха

Когда влюбленный ум был мартом очарован,
сказала: досижу, чтоб ночи отслужить,
до утренней зари, и дольше – до черёмух,
подумав: досижу, коль Бог пошлёт дожить.

Сказала – от любви к немыслимости срока,
нюх в имени цветка не узнавал цветка.
При мартовской луне чернела одиноко —
как вехи сквозь метель – простёртая строка.

Стих обещал, а Бог позволил – до черёмух
дожить и досидеть: перед лицом моим
сияет бледный куст, так уязвим и робок,
как будто не любим, а мучим и гоним.

Быть может, он и впрямь терзаем обожаньем.
Он не повинен в том, что мной предрешено.
Так бедное дитя отцовским обещаньем
помолвлено уже, ещё не рождено.

Покуда, тяжело пав на южные ограды,
вакхически цвела и нежилась сирень,
Арагу променять на мрачные овраги
я в этот раз рвалась: о, только бы скорей!

Избранница стиха, соперница Тифлиса,
сейчас из лепестков, а некогда из букв!
О, только бы застать в кулисах бенефиса
пред выходом на свет её молодой испуг.

Нет, здесь ещё свежо, ещё не могут вётлы
потупленных ветвей изъять из полых вод.
Но вопрошал мой страх: что с нею? не цветёт ли?
Сказали: не цветёт, но расцветёт вот-вот.

Не упустить её пред-первое движение —
туда, где спуск к Оке становится полог.
Она не расцвела! – её предположение
наутро расцвести я забрала в полон.

Вчера. Немного тьмы. И вот уже: сегодня.
Слабеют узелки стеснённых лепестков —
и маленького рта желает знать зевота:
где свеже-влажный корм, который им иском.

Очнулась и дрожит. Над ней лицо и лампа.

Ей стыдно расцветать во всю красу и стать.
Цветок, как нагота разбуженного глаза,
не может разглядеть: зачем не дали спать.

Стих, мученик любви, прими её немилость!
Что раболепство ей твоих-моих чернил!
О, эта не из тех, чья верная взаимность
объятия отворит и скуку причинит.

Так ночь, и день, и ночь склоняюсь перед нею.
Но в чём далёкий смысл той мартовской строки?
Что с бедной головой? Что с головой моею?
В ней, словно мотыльки, пестреют пустяки.

Там, где рабочий пульс под выпуклое темя
гнал надобную кровь и управлялся сам,
там впадина теперь, чтоб не стеснять растенья,
беспамятный овраг и обморочный сад.

До утренней зари... не помню... до чего-то,
к чему не перенести влечения и тоски,
чей паутинный клей... чья липкая дремота
висит между висков, где вязнут мотыльки...

Забытая строка во времени повисла.
Пал первый лепесток, и грустно, что – к теплу.
Всегда мне скушён был выискиватель смысла,
и угодить ему я не могу: я сплю.

«Есть тайна у меня от чудного цветенья...»

Есть тайна у меня от чудного цветенья,
здесь было б: чуднАГО – уместней написать.
Не зная новостей, на старый лад желтея,
цветок себе всегда выпрашивает «ять».

Где для него возьму услад правописанья,
хоть первороден он, как речи приворот?
Что – речь, краса полей и ты, краса лесная,
как не ответный труд вобравших вас аорт?

Лишь грамота и вы – других не видно родин.
Коль вытопан язык – и вам не устоять.
Светает, садовод! Светает, огородник!
Что ж, потянусь и я возделывать тетрадь.

Я этою весной все встретила растенья.
Из-под земли их ждал мой повивальный взор.
Есть тайна у меня от чудного цветенья.
И как же ей не быть? Всё, что не тайна, – вздор.

Отраден первоцвет для зренья и для слуха.
– Эй, ключики! – скажи – он будет тут как тут.
Не взыщет, коль дразнить: баранчики! желтуха!
А грамотеи – чтут и буквицей зовут.

Ах, буквица моя, все твой букварь читаю.
Как азбука проста, которой невдомёк,
что даже от тебя я охраняю тайну,
твой ключик золотой её не отомкнёт.

Фиалки прожила и проводила в старость
уменье медуниц изображать закат.
Черёмухе моей – и той не проболталась,
под пыткой божества и под его диктант.

Уж вишня расцвела, а яблоня на завтра
оставила расцвести... и тут же, вопреки
пустым словам, в окне, так близко и внезапно
прозрел её цветок в конце моей строки.

Стих падает пчелой на стебли и на ветви,
чтобы цветочный мед названий целовать.
Уже не знаю я: где слово, где соцветье?
Но весь цветник земной – не гуще, чем словарь.

В отместку мне – пчела в мою строку влетела.

В чужую сласть впилась ошибка жадных уст.
Есть тайна у меня от чудного цветенья.
Но ландыш расцветёт – и я проговорюсь.

Ночь упаданья яблок

Семену Липкину

Уж август в половине. По откосам
по вечерам гуляют полушалки.
Пришла пора высокородным осам
навязываться кухням в приживалки.

Как женщины глядят в судьбу варенья:
лениво-зорко, неусыпно-слепо —
гляжу в окно, где обитает время
под видом истекающего лета.

Лишь этот образ осам для пирушки
пожаловал — кто не варил повидла.
Здесь закипает варево покруче:
живьём съедает и глядит невинно.

Со мной такого лета не бывало.
— Да и не будет! — слышу уверенье.
И вздрагиваю: яблоко упало,
на «НЕ» — извне поставив ударенье.

Жить припустилось испугнутое сердце,
жаль бедного: так бьётся кропотливо.
Неужто впрямь небытия соседство,
словно соседка глупая, болтливо?

Нет, это — август, упаданье яблок.
Я просто не узнала то, что слышу.
В сердцах, что собеседник непонятлив,
неоспоримо грохнуло о крышу.

Быть по сему. Чем кратче, тем дороже.
Так я сижу в ночь упаданья яблок.
Грызя и попирая плодородье,
жизнь милая идёт домой с гулянок.

Прогулка

Как вольно я брожу, как одиноко.
Оступишься – затянет небосвод.
В рассеянных угодах Ориона
не упасть от мысли обо всём.

– О чём, к примеру? – Кто так опрометчив,
чтоб спрашивать? Разъятой бездны средь
нам приоткрыт лишь маленький примерчик
великой тайны: собственная смерть.

Привнесена подробность в бесконечность —
роднее стал её сторонний смысл.
К вселенной недозволенная нежность
дрожащем спектров виснет меж ресниц.

Ещё спросить возможно: Пушкин милый,
зачем непостижимость пустоты
ужасною воображать могилой?
Не лучше ль думать: это там, где Ты.

Но что это чернеет на дороге
злей, чем предмет, мертвей, чем существо?
Так оторопь коню вступает в ноги
и рвется прочь безумный глаз его.

– Позор! Иди! Ни в чём не виноватый
там столб стоит. Вы столько раз на дню
встречаетесь, что поля завсегдатай
давно тебя считает за родню.

Чем он измучен? Почему так страшен?
Что сторожит среди пустых равнин?
И голосом докучливым и старшим
какой со мной наставник говорит?

– О чем это? – Вот самозванца наглость:
моим надбровным взгорбьем излучён,
со мною же, бубня и запинаясь,
шептать смел – и позабыл о чём!

И раздаётся добрый смех небесный:
вдоль пропасти, давно примечен ей,
кто там идёт вблизи всемирных бедствий
окрайной своих последних дней?

Над ним – планет плохое предсказанье.

Весь скарб его – лишь нищета забот.
А он, цветными упоён слезами,
столба боится, Пушкина зовёт.

Есть что-то в нём, что высшему расчёту
не подлежит. Пусть продолжает путь.
И нежно-нежно дышит вечность в щёку,
и сладко мне к её теплыни льнуть.

Сиреневое блюдо

Мозг занемог: весна. О воду капли бьются.
У слабоумья есть застенчивый секрет:
оно влюбилось в чужь раскрашенного блюда,
в юродивый узор, в уродицу сирень.

Куст-увалень, холма одышливый вельможа,
какой тебя вписал невежа садовод
в глухую ночь мою и в тот, из Велигожа
идуший, грубый свет над льдами Омских вод?

Нет, дальше, нет, темней. Сирень не о сирени
со мною говорит. Бесхитростный фарфор
про детский цвет полей, про лакомство сурепки
навязывает мне насильно-кроткий вздор.

В закрытые глаза – уездного музея
вдруг смотрит натюрморт, чьи ожили цветы,
и бабушки моей клубится бумазея,
иль как зовут крыла старинной нищеты?

О, если б лишь сирень! – я б вспомнила окраин
сады, где посреди изгоев и кутил
жил сбивчивый поэт, книгочий и архаик,
себя нарекший в честь прославленных куртин.

Где бедный мальчик спит над чудною могилой,
не помня: навсегда или на миг уснул, —
поэт Сиренев жил, цветущий и унылый,
не принятый в журнал для письменных услуг.

Он сразу мне сказал, что с этими и с теми
людьми он крайне сух, что дни его придут:
он станет знаменит, как крестное растение.
И улыбалась я: да будет так, мой друг.

Он мне дарил сирень и множества сонетов,
белели здесь и там их пышные венки.
По вечерам – живей и проще жил Сиренев:
красавицы садов его к Оке влекли.

Но всё ж он был гордец и в споре неуступчив.
Без славы – не желал он продолженья дней.
Так жизнь моя текла, и с мальчиком уснувшим
являлось сходство в ней всё ярче и грустней.

Я съехала в снега, в те, что сейчас сторели.

Где терпит мой поэт влияния весны?
Фарфоровый портрет веснушчатой сирени
хочу я откупить иль выкрасть у казны.

В моём окне висит планет тройное пламя.
На блюде роковом усталый чай остыл.
Мне жаль твоих трудов, доверчивая лампа.
Но, может, чем умней, тем бесполезней стих.

Сад-всадник

*За этот ад,
за этот бред
пошли мне сад
на старость лет.*

Марина Цветаева

Сад-всадник летит по отвесному склону.
Какое сверканье и буря какая!
В плаще его чёрном лицо моё скрою,
к защите его старшинства приникая.

Я помню, я знаю, что дело нечисто.
Вовек не бывало столь позднего часа,
в котором сквозь бурю он скачет и мчится,
в котором сквозь бурю один уже мчался.

Но что происходит? Кто мчится, кто скачет?
Где конь отыскался для всадника сада?
И нет никого, но приходится с каждым
о том толковать, чего знать им не надо.

Сад-всадник свои покидает уголья,
и гриву коня в него ветер бросает.
Одною рукою он держит поводья,
другою мой страх на груди упасает.

О сад-охранитель! Невиданно львиный
чей хвост так разгневан? Чья блещет корона?
– Не бойся! То – длинный туман над равниной,
то – жёлтый заглавный огонь Ориона.

Но слышу я голос насмешки всевластной:
– Презренный младенец за пазухой отчей!
Короткая гибель под царскою лаской —
навечнее пагубы денной и ночной.

О всадник-родитель, дай тьмы и теплыни!
Вернёмся в отчизну обрыва-отшиба!
С хвостом и в короне смеётся: – Толпы ли,
твои ли то речи, избранник-ошибка?

Другим не бывает столь позднего часа.
Он впору тебе. Уж не будет так поздно.
Гнушаюсь тобою! Со мной не прощайся!
Сад-всадник мне шепчет: – Не слушай, не бойся.

Живую меня он приносит в обитель
на тихой вершине отвесного склона.
О сад мой, заботливый мой погубитель!
Зачем от Царя мы бежали Лесного?

Сад делает вид, что он – сад, а не всадник,
что слово Лесного Царя отвратимо.
И нет никого, но склоняюсь пред всяким:
всё было дано, а судьбы не хватило.

Сад дважды играет с обрывом родимым:
с откоса в Оку, как пристало изгою,
летит он ныряльщиком необратимым
и увальнем вымокшим тащится в гору.

Мы оба притворщики. Полночью чёрной,
в завремение позднем, сад-всадник несётся.
Ребёнок, Лесному Царю обречённый,
да не убоится, да не упасётся.

«Воздух августа: плавность услад и услуг...»

В. Э. Борисову-Мусатову

Воздух августа: плавность услад и услуг.
Положение души в убывающем лете
схоже с каменным мальчиком¹¹, тем, что уснул
грациозней, чем камни, и крепче, чем дети.

Так ли спит, как сказала? Пойду и взгляну.
Это близко. Но трудно колени и локти
провести сквозь дрожащую в листьях луну,
сквозь густые, как пруд, сквозь холодные флоксы.

Имя слабо, но воля цветка такова,
что навяжет мотив и нанижет подробность.
Не забыть бы, куда я иду и когда,
вперив нюх в самовластно взрослеющий образ.

Сквозь растения, сквозь хлёсткую чашу воды,
принимая их в жабры, трудясь плавниками,
продираюсь. Следы мои возле звезды
на поверхности ночи взошли пузырьками.

¹¹ «Каменный мальчик» – надгробие на могиле художника Борисова-Мусатова.

Забытый мяч

Забыли мяч (он досаждал мне летом).
Оранжевый забыли мяч в саду.
Он сразу стал сообщником календул
и без труда втесался в их среду.

Но как сошлись, как стройно потянулись
друг к другу. День свой учредил зенит
в календулах. Возможно, потому лишь,
что мяч в саду оранжевый забыт.

Вот осени причина, вот зацепка,
чтоб на костре учить от тьмы до тьмы
ослушников, отступников от цвета,
чей абсолют забыт в саду детьми.

Но этот сад! Чей пересуд зелёным
его назвал? Он – поджигатель дач.
Все хороши. Но первенство – за клёном,
уж он-то ждал: когда забудут мяч.

Попался на нехитрую приманку
весь огонь земной. И, судя по всему,
он обыграет скромную ремарку
о том, что мяч был позабыт в саду.

Давно со мной забытый мяч играет
в то, что одна хожу среди осин,
смотрю на мяч и нахожу огарок
календулы. А вот ещё один.

Минувший полдень был на диво ясен
и упростил неисчислимый быт
до созерцанья важных обстоятельств:
снег пал на сад и мяч в саду забыт.

«Я лишь объём, где обитает что-то...»

Я лишь объём, где обитает что-то,
чему малы земные имена.
Сооруженье из костей и пота —
его угодя, а не плоть моя.

Его не знаю я: смысл-незнакомец,
вселившийся в чужую конуру —
хозяев выжить, прятнуть в законность,
не оглянуться, если я умру.

О слово, о несказанное слово!
Оно во мне качается смелей,
чем я, в светопротийе небосклона,
качаюсь дрожью листьев и ветвей.

Каков окликнуть безымянность способ?
Не выговорю и не говорю...
Как слово звать — у словаря не спросишь,
покуда сам не скажешь словарю.

Мой притеснитель тайный и нетленный,
ему в тисках известного — тесно.
Я растекаюсь, становлюсь вселенной,
мы с нею заодно, мы с ней — одно.

Есть что-то. Слова нет. Но грозно кроткий
исток его уже любовь исторг.
Уж видно, как его грядущий контур
вступается за братьев и сестёр.

Как это всё темно, как бестолково.
Кто брат кому и кто кому сестра?
Всяк всякому. Когда приходит слово,
оно не знает дальнего родства.

Оно в уста целует бездыханность
и вдох ответа — явен и велик.
Лишь слово попирает бред и хаос
и смертным о бессмертье говорит.

Звук указующий

Звук указующий, десятый день
я жду тебя на Паршинской дороге.
И снова жду под полною луной.
Звук указующий, ты где-то здесь.
Пади в отверстой раны плодородье.
Зачем таишься и следишь за мной?

Звук указующий, пусть велика
моя вина, но велика и мука.
И чей, как мой, тобою слух любим?
Меня прощает полная луна.
Но нет мне указующего звука.
Нет звука мне. Зачем он прежде был?

Ни с кем моей луной не поделюсь,
да и она другого не полюбит.
Жизнь замечает вдруг, что – пред-мертва.
Звук указующий, я предаюсь
игре с твоим отсутствием подлунным.
Звук указующий, прости меня.

«Я встала в шесть часов. Виднелась тьма во тьме...»

Я встала в шесть часов. Виднелась тьма во тьме:
то тёмный день густел в редяющих темнотах.
Проснулась я в слезах с Державиным в уме,
в запутанных его и заспанных тенётах.

То ль это мысль была невидимых светил
и я поймала сон, ниспосланный кому-то?
То ль Пушкин нас сводил, то ль сам он так шутил,
то ль вспомнила о нём недалёкая Калуга?

Любовь к нему и грусть влекли меня с холма.
Спешили петухи сообщничать иль спорить.
Вставала в небесах Державину хвала,
и целый день о нём мне предстояло помнить.

Луне от ревнивца

Явилась, да не вся. Где пол твоей красы?
Но ломаной твоей полушки полулунной
ты мне не возвращай. Я – вор твоей казны,
сокрывшийся в лесах меж Тулой и Калугой.

Бессонницей моей тебя обобрала,
всё золото твоё в сусеках схоронившей,
и месяца ждала, чтоб клянчить серебра:
всегда он подавал моей ладони нищей.

Всё так. Но внове мне твой нынешний ущерб.
Как потрепал тебя соперник мой подлунный!
В апреля третий день за Паршино ушел,
чьей далее была вселенскою подругой?

У нас – село, у вас – селение своё.
Поселена везде, ты выбирать свободна.
Что вечности твоей ничтожность дня сего?
Наскучив быть всегда, пришла побыть сегодня?

Где шла твоя гульба в семнадцати ночах?
Не вздумай отвечать, что – в мирозданье где-то.
Я тоже в нём. Но в нём мой драгоценен час:
нет времени вникать в расплывчатость ответа.

Без помощи моей кто свёл тебя на нет?
Не лги про тень земли, иль как там по науке.
Я не учёна лгать и округлю твой свет,
чтоб стала ты полней, чем знает полнолуние.

Коль скоро у тебя другой какой-то есть
влюбленный ротозей и воздыхатель пылкий —
всё возверну тебе! Мне щедрости не счесть.
Разгула моего будь скаредной копилкой.

Коль страждешь – пей до дна черничный сок зрачка
и приторность чернил, к тебе подобострастных.
Покуда я за край растраты не зашла,
востребуй бытия пленительный остаток.

Не поскупись – бери питанье от ума,
пославшего тебе свой животворный лучик.
Исчадие моё, тебя, моя луна,
какой наследный взор в дар от меня получит?

Кто в небо поглядит и примет за луну

измыслие моё, в нём не поняв нимало?
Осыплет простака мгновенное «люблю!»,
которое в тебя всей жизнью врифмовала.

Заранее смешно, что смертному зрачку
дано через века разиню огорошить.
Не для того ль тебя я рыщу и – ращу,
как непомерный плод тщеславный огородник?

Когда найду, что ты невиданно кругла, —
за Паршино сошлю, в небесный свод заочный,
и ввысь не посмотрю из моего угла.
Прощай, моя луна! Будь вечной и всеобщей.

И веки притворю, чтобы никто не знал
о силе глаз, луну, словно слезу, исторгших.
Мой бесконечный взгляд всё будет течь назад,
на землю, где давно иссяк его источник.

Пашка

Пять лет. Изнежен. Столько же запуган.
Конфетами отравлен. Одинок.
То зацелуют, то задвинут в угол.
Побьют. Потом всплакнут: прости, сынок.

Учен вину. Пьют: мамка, мамкин Дядя
и бабкин Дядя – Жоржик-истопник.
– А это что? – спросил, на книгу глядя.
Был очарован: он не видел книг.

Впадает бабка то в болезнь, то в лихость.
Она, пожалуй, крепче прочих пьёт.
В Калуге мы, но вскрикивает Липецк
из недр её, коль песню запоёт.

Играть здесь не с кем. Разве лишь со мною.
Кромешность прятков. Лампа ждёт меня.
Но что мне делать? Слушай: «Буря мглою...»
Теперь садись. Пиши: эМ – А – эМ – А.

Зачем всё это? Правильно ли? Надо ль?
И так над Пашкой – небо, буря, мгла.
Но как доверчив Пашка, как понятлив.
Как грустно пишет он: эМ – А – эМ – А.

Так мы сидим вдвоём на белом свете.
Я – с чёрной тайной сердца и ума.
О, для стихов покинутые дети!
Нет мочи прочитаты: эМ – А – эМ – А.

Так утекают дни, с небес роняя
разнообразие еженощных лун.
Диковинная речь, ему родная,
плениет и меняет Пашкин ум.

Меня повсюду Пашка ждёт и рыщет.
И кличет Белкой, хоть ни разу он
не виделся с моею тёзкой рыжей:
здесь род её прилежно истреблён.

Как, впрочем, все собаки. Добрый Пашка
не раз оплакал лютую их смерть.
Вообще, наш люд настроен рукопашно,
хоть и живёт смиренных далее средь.

Вчера: писала. Лишь заслышав «Белка!»,

я резво, как одноименный зверь,
своей проворной подлости робея,
со стула – прыг и спряталась за дверь.

Значенье прятков сразу же постигший,
я этот взгляд вспомню в крайний час.
В щель поместился старший и простивший,
скорбь всех детей вобравший Пашкин глаз.

Пустился Пашка в горький путь обратный.
Вослед ему всё воинство ушло.
Шли: ямб, хорей, анапест, амфибрахий
и с ними дактиль. Что там есть ещё?

Суббота в Тарусе

Так дружно весна начиналась: все други
дружины вступили в сады-огороды.
Но, им для острстки и нам для науки,
сдружились суровые силы природы.

Апрель, благодетельный к сирым и нищим,
явился южанином и инородцем.
Но мы попривыкли к зиме и не ищем
потачки его. Обойдёмся норд-остом.

Снега, отступив, нам прибавили славы.
Вот – землечерпалка со дна половодья
взошла, чтоб возглавить величие свалки,
насущной, поскольку субботник сегодня.

Но сколько же ярко цветущих коррозий,
диковинной, миром не знаемой, гнили
смогли мы содеять за век наш короткий,
чтоб наши наследники нас не забыли.

Субботник шатается, песню поющий.
Приёмник нас хвалит за наши свершенья.
При лютой погоде нам будет сподручней
приветить друг в друге черты вырожденья.

А вдруг нам откликнутся силы взаимны
пространства, что смотрит на нас обречённо?
Субботник окончен. Суббота – в зените.
В Тарусу я следую через Пачёво.

Но всё же какие-то русские печи
радеют о пище, исходят дымами.
Ещё из юдоли не выпрягли плечи
пачёвские бабки: две Нюры, две Мани.

За бабок пачёвских, за эти избушки,
за кладни, за жёлто-прозрачную иву
кто просит невидимый: о, не забудь же! —
неужто отымут и это, что иму?

Деревня – в соседях с нагрянувшей дурью
захватчиков неприкасаемой выси.
Что им-то нейметса? В субботу худую
напрасно они из укрытия вышли.

Буксуют в грязи попиратели неба.

Мои сапоги достигают Тарусы.
С Оки задувает угрозой снега.
Грозу предрекают пивной златоусты.

Сбывается та и другая растрата
небесного гнева. Знать, так нам и надо.
При снеге, под блеск грозового разряда,
в «Оке», в заведение второго разряда,
гуляет электрик шестого разряда.
И нет меж событиями сими разлада.

Всем путникам плохо, и плохо рессорам.
А нам – хорошо перекинуться словом
в «Оке», где камин на стене нарисован,
в камин же – огонь возожжённый врисован.

В огне дожигает последок зарплаты
Василий, шестого разряда электрик.
Сокроюсь, коллеги и лауреаты,
в содружество с ним, в просторечье элегий.

Подале от вас! Но становится гулок
субботы разгул. Поищу-ка спасенья.
Вот этот овраг назывался: Игумнов.
Руины над ним – это храм Воскресенья.

Где мальчик заснул знаменитый и бедный
нежнее, чем камни, и крепче, чем дети,
пошли мне, о Ты, на кресте убиенный,
надежду на близость Пасхальной недели.

В Алексин иль в Серпухов двинется если
какой-нибудь странник и после вернётся,
к нам тайная весть донесётся: Воскресе!
– Воистину! – скажем. Так всё обойдется.

Друг столб

Георгию Владимову

В апреля неделю худую, вторую,
такою тоскою с Оки задувает.
Пойду-ка я через Пачёво в Тарусу.
Там нынче субботу народ затевает.

Вот столб, возглавляющий путь на Пачёво.
Балетным двуножеством упершийся в поле,
он стройно стоит, помышляя о чём-то,
что выше столбам уготованной роли.

Воспет не однажды избранник мой давний,
хождений моих соглядатай заядлый.
Моих со столбом мимолётных свиданий
довольно для денных и ночных занятий.

Все вёрсты мои сосчитал он и звёзды
вдоль этой дороги, то выюжной, то пыльной.
Друг столб, половина изъята из вёрстки
метелей моих при тебе и теплыней.

О том не кручинюсь. Я просто кручинюсь.
И коль не в Тарусу – куда себя дену?
Какой-то я новой тоске научилась
в худую вторую апреля неделю.

И что это – вёрстка? В печальной округе
нелепа обмолвка заумных угодий.
Друг столб, погляди, мои прочие друзья —
вон в той стороне, куда солнце уходит.

Последнего вскоре, при аэродроме,
в объятье на миг у судьбы уворую.
Все силы устали, все жилы продрогли.
Под клики субботы вступаю в Тарусу.

Всё это, что жадно вспомню я после,
заране известно столбу-конфиденту.
Сквозь слёзы смотрю на пачёвское поле,
на жизнь, что продлилась ещё на неделю.

Уж Сириус возголубел над долиной.
Друг столб о моем возвращенье печётся.
Я, в радости тайной и неодолимой,
иду из Тарусы, минуя Пачёво.

«Как много у маленькой музыки этой...»

Как много у маленькой музыки этой
завистников: все так и ждут, чтоб ушла.
Теснит её сборища гомон несметный
и поедом ест приживалка нужда.

С ней в тяжбе о детях сокрытая му́ка —
виновной души неусыпная тень.
Ревнивая воля пугливого звука
дичится обобранных ею детей.

Звук хочет, чтоб вовсе был узок и скуден
сообщников круг: только стол и огонь
настольный. При нём и собака тоскует,
мешает, затылок суёт под ладонь.

Гнев маленькой музыки, загнанной в нети,
отлучки её бытию не простит.
Опасен свободно гуляющий в небе
упущенный и неприкаянный стих.

Но где все обидчики музыки этой,
поправшей величье житейских музЫк?
Наивный соперник её безответный,
укройся в укрытье, в изгои изыдь.

Для музыки этой возможных нашествий
возлюбленный путник пускается в путь.
Спровожен и малый ребёнок, нашедший
цветок, на который не смею взглянуть.

О путнике милом заплакать попробуй,
попробуй цветка у себя не отнять —
изведаешь маленькой музыки робкой
острастку, и некому будет пенять.

Чтоб музыке было являться удобней,
в чужом я себя заточила дому.
Я так одинока средь сырых угодий,
как будто не есмь, а мерещусь уму.

Черёмухе быстротекущей внимая,
особенно знаю, как жизнь не прочна.
Но маленькой музыке этого мало:
всех прочь прогнала, а сама не пришла.

Цветений очередность

Я помню, как с небес день тридцать первый марта,
весь розовый, сошёл. Но, чтобы не соврать,
добавлю: в нём была глубокая помарка —
то мраком исходил Ладыжинский овраг.

Вдруг синий-синий цвет, как если бы поэта
счастливые слова оврагу удались,
явился и сказал, что медуница эта
пришла в обгон не столь проворных медуниц.

Я долго на неё смотрела с обожаньем.
Кто милому цветку хвалы не воздавал
за то, что синий цвет им трижды обнажаем:
он совершенно синь, но он лилов и ал.

Что медунице люб соблазн зари ненастной
над Паршином, когда в нём завтра ждут дождя,
заметил и словарь, назвав её «неясной»:
окрест, а не на нас глядит её душа.

Конечно, прежде всех мать-мачеха явилась.
И вот уже прострел, забрав себе права
глагола своего, не промахнулся – вырос
для цели забытья, ведь это – сон-трава.

А далее пошло: пролесники, пролески,
и ветреницы хлад, и поцелуйный яд —
всех ветрениц земных за то, что так прелестны,
отравленные ей, уста благословят.

Так провожала я цветений очередность,
но знала: главный хмель покуда не почат.
Два года я ждала Ладыжинских черёмух.
Ужель опять вдохну их сумасходный чад?

На этот раз весна испытывать терпенья
не стала – все долги с разбегу раздала,
и раньше, чем всегда: тридцатого апреля —
черёмуха по всей округе расцвела.

То с нею в дом бегу, то к ней бегу из дома —
и разум поврежден движеньем круговым.
Уже неделя ей. Но – дрёма, но – истома,
и я не объяснюсь с растеньем роковым.

Зачем мне так грустны черёмухи наитья?

Дыхание её под утро я приму
за вкрадчивый привет от важного события,
с чьим именем играть возбранено перу.

«Быть по сему: оставьте мне...»

Быть по сему: оставьте мне
закат вот этот за-калужский,
и этот лютик золотушный,
и этот город захолустный
пучины схлынувшей на дне.

Нам преподносит известняк,
придавший местности осанки,
стихии вмятные останки,
и как бы у её изнанки
мы все нечаянно в гостях.

В блеск перламутровых корост
тысячелетия рядились,
и жабры жадные трудились,
и обитала нелюдность
вот здесь, где площадь и киоск.

Не потому ли на Оке
иные бытия расценки,
что все мы сведущи в рецепте:
как, коротая век в райцентре,
быть с вечностью накоротке.

Мы одиноки меж людьми.
Надменно наше захуданье.
Вы – в этом времени, мы – дале.
Мы утонули в мирозданье
давно, до Ноевой ладьи.

«Отселева за тридевять земель...»

Андрею Битову

Отселева за тридевять земель
кто околыцует вольное скитанье
ночного сна? Наш деревенский хмель
всегда грустит о море-окияне.

Немудрено. Не так уж мы бедны:
когда весны события утрясутся,
вокруг Тарусы явственно видны
отметины Нептунова трезубца.

Наш опыт старше младости земной.
Из чуд морских содеяны каменья.
Глаз голубой над кружкою пивной
из дальних бездн глядит высокомерно.

Вселенная – не где-нибудь, вся – тут.
Что достаётся прочим зреньям, если
ночь напролёт Юпитер и Сатурн
пекутся о занёшемся уезде.

Что им до нас? Они пришли не к нам.
Им недосуг разглядывать подробность.
Они всесущий видят океан
и волн всепоглощающих огромность.

Несметные проносятся валы.
Плавник одолевает время оно,
и голову подымлет из воды
всё то, что вскоре станет земноводно.

Лишь рассветёт – приокской простоте
тритон заблудший попадётся в сети.
След раковины в гробовой плите
уводит мысль куда-то дальше смерти.

Хоть здесь растёт, нездешнею тоской
клонима, многознающая ива.
Но этих мест владычицы морской
на этот раз не назову я имя.

«Дорога на Паршино, дале – к Тарусе...»

Дорога на Паршино, дале – к Тарусе,
но я возвращаюсь вспять ветра и звёзд.
Движение моё прижилось в этом русле
длиною – туда и обратно – в шесть вёрст.

Шесть множим на столько, что ровно несметность
получим. И этот туманный итог
вернём очертаньям, составившим местность
в канун её паводков и поволок.

Мой ход непрерывен, я – словно течение,
чей долг – подневольно влачиться вперёд.
Небес близлежащих ночное значенье
мою протяженность питает и пьёт.

Я – свойство дороги, черта и подробность.
Зачем сочинитель её жития
всё гонит и гонит мой робкий прообраз
в сюжет, что прочней и пространней, чем я?

Близ Паршина и поворота к Тарусе
откуда мне знать, сколько минуло лет?
Текущее вверх, в изначальное устье,
всё странствие длится, а странника – нет.

«Люблю ночные промедленья...»

Люблю ночные промедленья
за озорство и благодать:
совсем не знать стихотворенья,
какое утром буду знать.

Где сирот обитают строки,
которым завтра улыбнусь,
когда на паршинской дороге
себе прочту их наизусть?

Лишь рассветёт – опять забрезжу
в пустых полях зимы-весны.
К тому, как я бубню и брежу,
привыкли дважды три версты.

Внутри, на полпути мотива,
я встречу, как заведено,
мой столб, воспетый столь ретиво,
что и ему, и мне смешно.

В Пачёво ль милое задвинусь
иль столб миную напрямик,
мне сладостно ловить взаимность
всего, что вижу в этот миг.

Коль похваляю себя – дорога
довольна тоже, ей видней,
в чём смысл, ещё до слов, до срока:
ведь всё это на ней, о ней.

Коль вдруг запинкою терзаюсь,
её подарок мне готов:
всё сбудется! Незримый заяц
всё ж есть в конце своих следов.

Дорога пролегла в природе
мудрей, чем проложили вы:
всё то, при чём была восходе,
заходит вдоль её канвы.

Небес запретною загадкой
сопровожаем этот путь.
И Сириус быстрозакатный
не может никуда свернуть.

Я в ней – строка, она – страница.

И мой, и надо мною ход —
всё это к Паршину стремится,
потом за Паршино зайдёт.

И даже если оплошаю,
она простит, в ней гнева нет.
В ночи хожу и вопрошаю,
а утром приношу ответ.

Рассудит алое-иссиня,
зачем я озидала тьму:
то ль плохо небо я спросила,
то ль мне ответ не по уму.

Быть может, выпадет мне милость:
равнины прояснится вид
и всё, чему в ночи молилась,
усталый лоб благословит.

Посвящение

Всё этот голос, этот голос странный.
Сама не знаю: праведен ли трюк —
так управлять трудолюбивой раной
(она не любит втайне этот труд),
и видеть бледность девочки румяной,
и брать из рук цветы и трепет рук,
и разбирать их в старомодной ванной, —
на этот раз ты сетовал, мой друг,
что, завладев всей данной нам водою,
плыла сирень купальщицей младою.
Взойти на сцену – выйти из тетради.
Но я сирень без памяти люблю,
тем более – в Санкт-белонощном граде
и Невского проспекта на углу
с той улицей, чьё утаю название:
в которой я гостинице жила —
зачем вам знать? Я говорю не с вами,
а с тем, кого я на углу ждала.

Ждать на углу? Возможно ли? О, доле
ждала бы я, но он приходит в срок —
иначе б линий, важных для ладони,
истёрся смысл и срок давно истёк.

Не любит он туманных посвящений,
и я уступку сделаю молве,
чтоб следопыту не ходить с ищейкой
вдоль этих строк, что приведут к Неве.

Речь – о любви. Какое же герою
Мне имя дать? Вот наименьший риск:
Чем нарекать, я попросту не скрою
(не от него ж скрывать), что он – Борис.

О, поводырь моей повадки робкой!
Как больно, что раздвоены мосты.
В ночи – пусть самой белой и короткой —
вот я, и вот Нева, а где же ты?

Глаз, захворав, дичится и боится
заплакать. Мост – раз – ь – единён. Прощай.
На острове Васильевском больница
сто лет стоит. Её сосед – причал.

Скажу заране: в байковом наряде
я приживусь к больничному двору

и никуда не выйду из тетради,
которую тебе, мой друг, дарю.

Взойти на сцену? Что это за вздор?
В окно смотрю я на больничный двор.

«Ровно полночь, а ночь пребывает в изгоях...»

Олегу Грушникову

Ровно полночь, а ночь пребывает в изгоях.
Тот пробел, где была, всё собой обволок.
Этот бледный, как обморок, выдумка-город —
не изделие Петрово, а бредни болот.

Да и есть ли он впрямь? Иль для тайного дела
ускользнул из гранитной своей чешуи?
Это – бегство души из обузного тела
вдоль воздетых мостов, вдоль колонн тишины.

Если нет его рядом – мне ведомо, где он.
Он тайком на свидание с теми спешит,
чьим дыханием весь его воздух содеян,
чей удел многоскорбен, а гений смешлив.

Он без них – убиенного рыцаря латы.
Просто благовоспитан, не то бы давно
бросил оземь всё то, что поднимают атланты,
и зарю заодно, чтобы стало темно.

Так и сделал бы, если б надежды и вести
не имел, что, когда разбредется наш сброд,
все они соберутся в условленном месте.
Город знает про сговор и тоже придёт.

Он всегда только их оставался владеньем,
к нам был каменно замкнут иль вовсе не знал.
Раболепно музейные туфли наденем,
но учтивый хозяин нас в гости не звал.

Ну, а те, кто званы и желанны, лишь ныне
отзовутся. Отверстая арка их ждёт.
Вот уж в сборе они, и в тревоге: меж ними
нет кого-то. Он позже придёт, но придёт.

Если ж нет – это белые ночи всего лишь,
штучки близкого севера, блажь выпускниц.
Ты, чьей крестною мукою славен Воронеж,
где ни спишь – из отлучки своей отпросись.

Как он юн! И вернули ему телефоны
обожанья, признанья и дружбы свои.
Столь беспечному – свидеться будет легко ли
с той, посмевшей проведать его хрустали?

Что проведать? Предчувствие медлит с ответом.
Пусть стоят на мосту бесконечного дня,
где не вовсе потупилась пред человеком,
хоть четырежды сломлена воля коня.

Все сошлись. Совпадение счастливое длится:
каждый молод, наряден, любим, знаменит.
Но зачем так печальны их чудные лица?
Миновало давно то, что им предстоит.

Всяк из них бесподобен. Но кто так подробно
чёрной оспой извёл в наших скудных чертах
робкий знак подражания, попытку подобья,
чтоб остаток лица было страшно читать?

Всё же стоит вчитаться в безбуквие книги.
Её тайнопись кто-то не дочиста стёр.
И дрожат над умом обездоленным нимбы,
и не вырван из глаз человеческий взор.

Это – те, чтобы нас упасти от безумья,
не обмолвились словом, не подняли глаз.
Одинокие их силуэты связуя,
то ли страсть, то ли мысль, то ли чайка неслась.

Вот один, вот другой размыкается скрежет.
Им пора уходить. Мы останемся здесь.
Кто так смел, что мосты эти надвое режет —
для удобства судов, для разрыва сердец?

Этот город, к высокой допущенный встрече,
не сумел её снести и помешан вполне,
словно тот, чьи больные и дерзкие речи
снизошел покарать властелин на коне.

Что же городу делать? Очнулся – и строен,
сострадания просит, а делает вид,
что спокоен и лишь восхищенья достоин.
Но с такою осанкою – он устоит.

Чужестранец, ревнитель пера и блокнота,
записал о дворце, что прекрасен дворец.
Утаим от него, что заботливый кто-то
драгоценность унёс и оставил ларец.

Жизнь – живей и понятней, чем вечная слава.
Огибая величье, туда побреду,
где в пруду, на окраине Летнего сада,

рыба важно живёт у детей на виду.

Милый город, какая огромная рыба!
Подплыла и глядит, а зеваки ушли.
Не грусти! Не отсутствует то, что незримо.
Ты и есть достоверность бессмертья души.

Но как странно взглянул на меня незнакомец!
Несомненно: он видел, что было в ночи,
наглядеться не мог, ненаглядность запомнил —
и усвоил... Но город мне шепчет: молчи!

«Когда жалела я Бориса...»

Борису Мессереру

Когда жалела я Бориса,
а он меня в больницу вёз,
стихотворение «Больница»
в глазах стояло вместо слёз.

И думалось: уж коль поэта
мы сами отпустили в смерть
И как-то вытерпели это, —
всё остальное можно снести.

И от минуты многотрудной
как бы рассудок не устал, —
ему одной достанет чудной
строки про перстень и футляр.

Так ею любовалась память,
как будто это мой алмаз,
готовый в чёрный бархат прянуть,
с меня востребуют сейчас.

Не тут-то было! Лишь от улиц
меня отъединил забор,
жизнь удивлённая очнулась,
воззрилась на больничный двор.

Двор ей понравился. Не меньше
ей нравились кровать и суп,
столь вкусный, и больных насмешки
над тем, как бледен он и скуп.

Опробовав свою сохранность,
жизнь стала складывать слова
о том, что во дворе — о радость! —
два возлежат чугунных льва.

Львы одичавшие — привыкли,
что кто-то к ним щекою льнёт.
Податливые их загривки
клялись в ответном чувстве львов.

За все черты чуть-чуть иные,
чем принято, за не вполне
разумный вид — врачи, больные —
все были ласковы ко мне.

Профессор, коей все боялись,
войдёт со свитой, скажет: «Ну-с,
как ваши львы?» – и все смеялись,
что я боюсь и не смеюсь.

Все люди мне казались правы,
я вникла в судьбы, в имена,
и стук ужасной их забавы
в саду – не раздражал меня.

Я видела упадок плоти
и грубо повреждённый дух,
но помышляла о субботе,
когда родные к ним придут.

Пакеты с вредоносно-сильной
едой, объятья на скамье —
весь этот праздник некрасивый
был близок и понятен мне.

Как будто ничего вселенной
не обещала, не должна —
в алмазик бытия бесценный
вцепилась жадная душа.

Всё ярче над небесным краем
двух зорь единый пламень рос.
– Неужто всё еще играет
со львами? – слышался вопрос.

Как напоследок жизнь играла,
смотрел суровый окуляр.
Но это не опровергало
строки про перстень и футляр.

«Был вход возбранён. Я не знала о том и вошла...»

Был вход возбранён. Я не знала о том и вошла.
Я дверью ошиблась. Я шла не сюда, не за этим.
Хоть эта ошибка была велика и важна,
никчемности лишней за дверью никто не заметил.

Для бездны не внове, что вхожи в неё пустяки:
без них был бы мелок её умозрительный омут.
Но бездн охранитель мне вход возбраняет в стихи:
снедают меня и никак написаться не могут.

Но смилуйся! Знаю: там воля свершалась Твоя.
А я заблудилась в сплошной белизне коридора.
Тому человеку послала я пульс бытия,
отвергнутый им как помеха докучного вздора.

Он словно очнулся от жизни, случившейся с ним.
для скромных невзгод, для страданий привычно-родимых.
Ему в этот миг был объявлен пронзительный смысл
недавних бессмыслиц – о, сколь драгоценных, сколь дивных!

Зеницу предсмертья спасали и длили врачи,
наильную жизнь в безучастное тело вонзая.
В обмен на сознание – знание вступало в зрачки.
Я видела знание, его содержания не зная.

Какая-то дача, дремотный гамак и трава,
и голос влюбленный: «Сыночек, вот это – ромашка»,
и далее – свет. Но мутилась моя голова
от вида цветка и от мощи его аромата.

Чужое мгновенье себе я взяла и снесла.
Кто жив – тот неопытен. Тёмен мой взор виноватый.
Увидевший то, что до времени видеть нельзя,
страшись и молчи, о, хотя бы молчи, соглядатай.

«Воскресенье настало. Мне не было грустно ничуть...»

Воскресенье настало. Мне не было грустно ничуть.
Это только снаружи больница скушна, непреклонна.
А внутри – очень много событий, занятий и чувств.
И больные гуляют, держась за перила балкона.

Одиночество боли и общее шарканье ног
вынуждают людей к (вдруг слово забыла) контакту.
Лишь покойник внизу оставался совсем одинок:
санитар побежал за напарником, бросив каталку.

Столь один – он, пожалуй, ещё никогда не бывал.
Сочиняй, починай – все сбиваемся в робкую стаю.
Даже холодный подвал, где он в этой ночи ночевал,
кое-как опекаем: я доброго сторожа знаю.

Но зато, может быть, никогда он так не был любим.
Все, кто был на балконе, его озирали не вчуже.
Соучастье любви на мгновенье сгустилось над ним.
Это ластились к тайне живых боязливые души.

Все свидетели скрытным себя осенили крестом.
За оградой – не знаю, а здесь нездоровый упадок
атеизма замечен. Всем хочется над потолком
вдруг увидеть утешный и здравоопрятный порядок.

Две не равных вершины вздымали покров простыни.
Вдосталь, мил-человек, ты небось походил по Расее.
Натрудила она две воздетые к небу ступни.
Что же делать, прощай. Не твоё это, брат, воскресенье.

Впрочем, кто тебя знает. Вдруг матушка в церковь вела:
«Дево, радуйся!» Я – не умею припомнить акафист.
Санитары пришли. Да и сам ты не жил без вина.
Где душе твоей быть? Пусть побудет со мною покамест.

«Бессмертьем душу обольщая...»

Александру Блоку

Бессмертьем душу обольщая,
всё остальное отстранив,
какая белая, большая
в окне больничном ночь стоит.

Все в сборе: муть окраин, гавань,
вздохнувшая морская близь,
и грезит о герое главном
собрание действующих лиц.

Поймём ли то, что разыграют,
покуда будет ночь свежеть?
Из умолчаний и загадок
составлен роковой сюжет.

Тревожить имени не стану,
чей первый и последний слог
непроницаемую тайну
безукоризненно облёк.

Всё сказано – и всё сокрыто.
Совсем прозрачно – и темно.
Чем больше имя знаменито,
тем неразгаданней оно.

А это, от чьего наитья
туманно в сердце молодом, —
тайник, запретный для открытия,
замкнувший створки медальон.

Когда смотрел в окно вагона
на вспышки засух торфяных,
он знал, как грозно и огромно
предвестье бед, и жаждал их.

Зачем? Непостижимость таинств,
которые он взял с собой,
пусть называет чужестранец
Россией, фатумом, судьбой.

Что видел он за мглой, за гарью?
Каким был светом упоён?
Быть может, бытия за гранью
мы в этом что-нибудь поймём.

Всё прозорливее, чем гений.
Не сведущ в здравомыслие зла,
провидит он лишь высь трагедий.
Мы видим, как их суть низка.

Чего он ожидал от века,
где всё – надрыв и всё – навзрыд?
Не снесший пошлости ответа,
так бледен, что уже незрим.

Искавший мук, одну лишь муку:
не петь – поющий не учёл.
Вослед замученному звуку
он целомудренно ушёл.

Приняв брезгливые проклятья
былых сподвижников своих,
пал кротко в лютые объятья,
своих убийц благословив.

Поступок этой тихой смерти
так совершенен и глубок.
Всё приживается на свете,
и лишь поэт уходит в срок.

Одно такое у природы
лицо. И остаётся нам
смотреть, как белой ночи розы
всё падают к его ногам.

Ёлка в больничном коридоре

В коридоре больничном поставили ёлку. Она
и сама смущена, что попала в обитель страданий.
В край окна моего ленинградская входит луна
и недолго стоит: много окон и много стояний.

К той старухе, что бойко бедует на свете одна,
переходит луна, и доносится шорох стараний
утаить от соседок, от злого непрочного сна
нарушение порядка, оплошность запретных рыданий.

Всем больным стало хуже. Но всё же – канун Рождества.
Завтра кто-то дождётся известий, гостинцев, свиданий.
Жизнь со смертью – в соседях. Каталка всегда не пуста —
лифт в ночи отскрипит равномерность её упаданий.

Вечно радуйся, Дево! Младенца ты в ночь принесла.
Оснований других не оставлено для упований,
но они так важны, так огромны, так несть им числа,
что прощён и утешен безвестный затворник подвальный.

Даже здесь, в коридоре, где ёлка – причина для слёз
(не хотели её, да сестра заносить повелела),
сердце бьётся и слушает, и – раздалось, донеслось:
– Эй, очнитесь! Взгляните – восходит звезда Вифлеема.

Достоверно одно: воздыханье коровы в хлеву,
поспешанье волхвов и неопытной матери локоть,
упасавший Младенца с отметиной чудной во лбу.
Остальное – лишь вздор, затянувшейся лжи мимолётность.

Этой плоти больной, извреждённой трудом и войной,
что нужней и отрадней столь просто описанной сцены?
Но – корят то вином, то другою какою виной
и питают умы рыбьей костью обглоданной схемы.

Я смотрела, как день занимался в десятом часу:
каплей был и блестел как бессмысленный черный фонарик, —
там, в окне и вовне. Но прислышалось общему сну:
в колокольчик на ёлке названивал крошка-звонарик.

Занимавшийся день был так слаб, неумел, неказист.
Цвет – был меньше, чем розовый: родом из робких, не резких.
Так на девичьей шее умеет мерцать аметист.
Все потупились, глянув на кроткий и жалобный крестик.

А как стали вставать, с неохотой глаза открывать —

вдоль метели пронёсся трамвай, изнутри золотистый.
Все столпились у окон, как дети: – Вот это трамвай!
Словно окунь, ушедший с крючка: весь пятнистый, огнистый.

Сели завтракать, спорили, вскоре устали, легли.
Из окна вид таков, что невидимости Ленинграда
или невидали мне достанет для слёз и любви.
– Вам не надо ль чего-нибудь? – Нет, ничего нам не надо.

Мне пеняли давно, что мои сочиненья пусты.
Сочинитель пустот, в коридоре смотрю на сограждан.
Матерь Божия! Смилуйся! Сына о том же проси.
В День Рожденья Его дай молиться и плакать о каждом!

«Такая пала на́ душу метель...»

Такая пала на́ душу метель:
ослепли в ней и заплутали кони.
Я в элегантный въехала мотель,
где и сижу в шезлонге на балконе.

Вот так-то, брат ладыжинский овраг,
Я знаю силу твоего week-end'a,
но здесь такой у барменов аврал, —
прости, что говорю интеллигентно.

Въезжает в зренье новый лимузин.
Всяк флаг охоч до нашего простора.
Отечество юлит и лебезит:
Алёшки – ладно, но и Льва Толстого.

О бедное отечество, прости!
Не всё ж гордиться и грозить чумою.
Ты приворотным зельем обольсти
гостей желанных – пусть тряхнут мошною.

С чего я начала? Шезлонг? Лонгшез?
Как ни скажи – а всё сидеть тоскливо.
Но сколько финнов! Уж не все ли здесь,
где нет иль мало Финского залива?

Не то, что он отсутствует совсем,
но обитает за глухой оградой.
Мне нравится таинственный сосед,
невидимый, но свежий и отрадный.

Его привет щекою и плечом
приму – и вновь затворничаем оба.
Но – Финский он. Я – вовсе ни при чём,
хоть почитатель финского народа.

Не мне судить: повсюду и всегда
иль только здесь, где кемпинг и суббота,
присуща людям яркая черта
той красоты, когда душа свободна.

Да и не так уж скрытен их язык.
Коль придан Вакху некий бог обратный,
они весь день кричат ему: «Изыдь!» —
не размыкая рюмок и объятий.

Но и моя вдруг засверкала жизнь.

Содержат трёх медведиц при мотеле.
Невольно стала с ними я дружить,
на что туристы с радостью глядели.

Поэт. Медведь. Все-детское «Ура!».
Мы шествуем с медведицей моею.
Не обессудь, великая страна,
тебя я прославляю, как умею.

Какой успех! Какая благодать!
Аттракционом и смешным, и редким
могли бы мы валюту добывать
столь нужную – да возбранил директор.

Что делать дале? Я живу легко.
Событий – нет. Занятия – невинны.
Но в баре, глянув на мое лицо,
вдруг на мгновенье умолкают финны.

Венеция моя

Иосифу Бродскому

Темно, и розных вод смешались имена.
Окраиной басов исторгнут всплеск короткий.
То розу шлёт тебе, Венеция моя,
в Куоккале моей рояль высокородный.

Насупился – дал знать, что он здесь ни при чём.
Затылка моего соведатель настойчив.
Его: «Не лги!» – стоит, как Ангел за плечом,
с оскомью в чертах. Я – хаос, он – настройщик.

Канала вид... – Не лги! – в окне не водворён
и выдворен помин о виденном когда-то.
Есть под окном моим невзрачный водоём,
застой бесславных влаг. Есть, признаюсь, канава.

Правдивый за плечом, мой Ангел, такова
протечка труб – струи источие реально.
И розу я беру с роялева крыла.
Рояль, твое крыло в родстве с мостом Риальто.

Не так? Но роза – вот, и с твоего крыла
(застенчиво рука его изгиб ласкала).
Не лжёт моя строка, но всё ж не такова,
чтоб точно обвести уклончивость лекала.

В исходе час восьмой. Возрождено окно.
И темнота окна – не вырождение света.
Цвет – не скажу какой, не знаю. Знаю, кто
содеял этот цвет, что вижу, – Тинторетто.

Мы дожили, рояль, мы – дожи, наш дворец
расписан той рукой, что не приемлет розы.
И с нами Марк Святой, и золотой отверст
зев льва на синеве, мы вместе, все не взрослые.

– Не лги! – но мой зубок изгрыз другой букварь.
Мне ведом звук черней диеза и бемоля.
Не лгу – за что запрет и каркает бекар?
Усладу обрету вдали тебя, близ моря.

Труп розы возлежит на гущине воды,
которую зову как знаю, как умею.
Лев сник и спит. Вот так я коротаю дни
в Куоккале моей, с Венецией моею.

Обосенел простор. Снег в ноябре пришёл
и устоял. Луна была зрачком искома
и найдена. Но что с ревнивцем за плечом?
Неужто и на час нельзя уйти из дома?

Чем занят ум? Ничем. Он пуст, как небосклон.
– Не лги! – и впрямь я лгун, не слыть же недолгой.
Не верь, рояль, что я съезжаю на поклон
к Венеции – твоей сопернице великой.

.....
Здесь – перерыв. В Италии была.
Италия светла, прекрасна.
Рояль простил. Но лампа, сокровище окна, стола, – погасла.

Постой

Не полюбить бы этот дом чужой,
где звук чужой пеняет без утайки
пришельцу, что ещё он не ушёл:
де, странник должен странствовать, не так ли?

Иль полюбить чужие дом и звук:
уменьшиться, привадиться, втесаться,
стать приживалой сущего вокруг,
своё – прогнать и при чужом остаться?

Вокруг – весны разор и красота,
сырой песок, ведущий в Териоки.
Жилец корпит и пищет: та-та-та, —
диктант насильный заточая в строки.

Всю ночь он слышит сильный звук чужой:
то измышленья прежних постояльцев,
пока в окне неистощим ожог,
снуют, отбившись от умов и пальцев.

Но кто здесь жил, чей сбивчивый мотив
забыт иль за ненадобностью брошен?
Непосвященный слушатель молчит.
Он дик, смешон, давно ль он ел – не спрошен.

Длиннее звук, чем маленькая тьма.
Затворник болен, но ему не внове
входить в чужие звуки и дома
для исполненья их капризной воли.

Он раболепен и душой кривит.
Составленный вчерне из многоточья,
к утру готов бесформенный клавир
и в стройные преобразован клочья.

Покинет гость чужие дом и звук,
чтоб никогда сюда не возвращаться
и тосковать о распре музык двух.
Где – он не скажет. Где-то возле счастья.

«Всех обожаний бедствие огромно...»

Всех обожаний бедствие огромно.
И не совпасть, и связи не прервать.
Так навсегда, что даже у надгробья, —
потупившись, не смея быть при Вас, —
изъявленную внятно, но не грозно
надземную приемлю неприязнь.

При веяньях залива, при закате
стою, как нищий, согнанный с крыльца.
Но это лишь усмешка, не проклятье.
Крест благородней, чем чугун креста.
Ирония – избранников занятие.
Туманна окончательность конца.

Дом с башней

Луны ещё не вдосталь, а заря ведь
уже сошла – откуда взялся свет?
Сеть гамака ужасная зияет.
Ах, это май: о тьме и речи нет.

Дом выпренный на берегу залива.
В саду – гамак. Всё упустила сеть,
но не пуста: игриво и лениво
в ней дней былых полеживает смерть.

Бывало, в ней покачивалась дрёма
и упал том Стриндберга из рук.
Но я о доме. Описание дома
нельзя построить наобум и вдруг.

Проект: осанку вычурного замка
венчают башни шпиль и витражи.
Красавица была его хозяйка.
– Мой ангел, пожелай и прикажи.

Поверх кустов сирени и малины —
балкон с пространством на залив.
Всё гости, фейерверки, именины.
В тот майский день молился ль кто за них?

Сооруженье: вместе дом и остров
для мыслящих гребцов средь моря зла.
Здесь именитый возвещал философ
(он и поэт): – Так больше жить нельзя!

Какие ночи были здесь! Однако
хозяев нет. Быть дома ночью – вздор.
Пора бы знать: «Бродячая собака»
лишь поздним утром их отпустит в дом.

Замечу: знаменитого подвала
таинственная гостя лишь одна
навряд ли здесь хотя бы раз бывала,
иль раз была – но боле никогда.

Покой и прелесть утреннего часа.
Красотка-финка самовар внесла.
И гимназист, отрекшийся от чая,
всех пристыдил: – Так больше жить нельзя!

В устройстве дома – вольного абсурда

черты отрадны. Запределен бред
предположенья: вдруг уйти отсюда.
Зачем? А дом? А башня? А крокет?

Балы, спектакли, чаепитья, пренья.
Коса, румянец, хрупкость, кисея —
и голосок, отвлекшийся от пенья,
расплакался: – Так больше жить нельзя!

Влюблялись, всё смеялись и стрелялись
нередко, страстно ждали новостей.
Дом с башней ныне – робкий постоялец,
чуждак изгой на родине своей.

Нет никого. Ужель и тот покойник —
незнаемый, тот, чей гамак дыряв,
к сосне прибивший ржавый рукомошник,
заткнувший щели в окнах и дверях?

Хоть не темнеет, а светает рано.
Лет дому сколько? Менее, чем сто.
Какая жизнь в нём сильная играла!
Где это всё? Да было ль это всё?

Я полюбила дом, и водостока
резной узор, и, более всего,
со шпилем башню и цветные стёкла.
Каков мой цвет сквозь каждое стекло?

Мне кажется, и дом меня приметил.
Войду в залив, на камне постою.
Дом снова жив, одушевлен и светел.
Я вижу дом, гостей, детей, семью.

Из кухни в погреб золотистой финки
так весел промельк! Как она мила!
И нет беды печальней детской свинки,
всех ужаснувшей, – да и та прошла.

Так я играю с домом и заливом.
Я занята лишь этим пустяком.
Над их ко мне пристрастием взаимным
смеётся кто-то за цветным стеклом.

Как всё сошлось! Та самая погода,
и тот же тост: – Так больше жить нельзя!
Всего лишь май двенадцатого года:
ждут Сапунова к ужину не зря.

«Темнеет в полночь и светает вскоре...»

Темнеет в полночь и светает вскоре.
Есть напряжение в столь условной тьме.
Пред-свет и свет, словно залив и море,
слились и перепутались в уме.

Как разгляжу незримость их соитья?
Грань меж воды я видеть не могу.
Канун всегда таинственной события —
так мнится мне на этом берегу.

Так зорко, что уже подслеповато,
так чутко, что в заумии звенит,
я стерегу окно, и непонятно:
чем сам себя мог осветить залив?

Что предпочесть: бессонницу ли? сны ли?
Во сне видней что видеть не дано.
Вслепую — книжки Блока записные
я открываю. Пятый час. Темно.

Но не совсем. Иначе как я эти
слова прочла и поняла мотив:
«Какая безысходность на рассвете».
И отворилось зренье глаз моих.

Я вышла. Бодрый север по заливку
трепал меня, отверстый нюх солил.
Рассвету вспять я двинулась к заливу
и далее, по валунам, в залив.

Он морем был. Я там остановилась,
где обрывался мощный край гряды.
Не знала я: принять за гнев иль милость
валы непроницаемой воды.

Да, уж про них не скажешь, что лизнули
резиновое облачение ног.
И никакой поблажки и лазури:
горбы судьбы с поклажей вечных нош.

Был камень сведущ в мысли моря тайной.
Но он привык. А мне, за все века,
повиснуть в них подробностью случайной
впервой пришлось. Простите новичка.

«Какая безысходность на рассвете».

Но рассвело. Свет боле не иском.
Неужто приткий получатель вести
её обманет и найдёт исход?

Вдруг возгорелась вкрапина гранита:
смотрел на солнце великанский лоб.
Моей руке шершаво и ранимо
отозвалась незыблемая плоть.

«Какая безысходность на рассвете».
Как весел мне мой ход поверх камней.
За главный смысл лишь музыка в ответе.
А здравый смысл всегда перечит ей.

«Завидев дом, в испуге безъязыком...»

Завидев дом, в испуге безъязыком,
я полюбила дома синий цвет.
Но как залива нынче цвет изыскан:
сам как бы есть, а цвета вовсе нет.

Вода вольна быть призрачна, но слово
о ней такое ж – не со-цветно ей.
Об имени для цвета никакого
ты, синий дом, не думай, а синей!

А занавески жёлтые на окнах!
Утешно сине-жёлтое пятно.
И дома-балаганчика невольник
не веселей, должно быть, чем Пьеро.

Я слышала, и обвели чернила,
след музыки, что прежде здесь жила.
Так яблоко, хоть полно, но червиво.
Так этих стен ущербна тишина.

То ль слуху примерещилась больному
двоюродная мұка грёз и слёз,
то ль не спалось подкидышу-бемолю.
Потом прошло, затихло, улеглось.

Увы тебе, грядущий мой преемник,
таинственный слагатель партитур.
Не преуспеть тебе в твоих пареньях:
в них чуждые созвучья прорастут.

Прости меня за то, что озарили
тебя затмения моего ума.
Всегда ты будешь думать о заливе.
Тебя возьмется припекать луна.

Потом пройдет. Исчезнет звук насильный,
но он твою не оскорбил струну.
Прошу тебя: люби мой домик синий
и занавесок яд и желтизну.

Они причастны тайне безобидной.
Я не смогу покинуть их вполне,
как близко сущий, но сейчас не видный
залив в моём распахнутом окне.

И что залив, загадка, поволока?

Спросила – и ответа жаждалась.
Пожалуй, имя молодого Блока
подходит цвету, скрытому от глаз.

Побережье

Льву Копелеву

Не грех ли на залив сменять
дом колченогий, пусторукий,
о том, что есть, не вспоминать,
иль вспоминать с тоской и мукой.

Руинам предпочесть родным
чужого бытия обломки
и городских окраин дым
вдали – принять за весть о Блоке.

Мысль непрестанная о нём
больному Блоку не поможет,
и тот обещанный лимон
здоровье чьё-то в чай положит.

Но был так сильно, будто есть
день упоенья, день надежды.
День притаился где-то здесь,
на этом берегу, – но где же?

Не тяжёк грех – тот день искать
в камнях и песках рассвета.
Но не бесчувственна ли мать,
избравшая занятие это?

Упрочить сердце, и детей
подкинуть обветшалою детской,
и ослабеть для слез о тех,
чьё детство – крайность благоденствий.

Услышат все и не поймут
намёк судьбы, беды предвестье.
Ум, возведённый в абсолют,
не грамотен в аз, буки, веде.

Но дом так чудно островерх!
Канун каникул и варенья,
день Ангела, и фейерверк,
том золочёный Жюль Верна.

Всё потерять, страдать, стареть —
всё ж меньше, чем пролёт дороги
из Петербурга в Сестрорецк,
Куоккалу и Териоки.

Недаром протяжён уют
блаженных этих остановок:
ведь дальше – если не убьют —
Ростов, Батум, Константинополь.

И дальше – осенит крестом
скупым святая Женевьева.
Пусть так. Но будет лишь потом
всё то, что долго, что мгновенно.

Сначала – дама, господин,
приникли кружева к фланели.
Всё в мире бренно – но не сын,
вверх-вниз гоняющий качели.

Не всякий под крестом, кто юн
иль молод, мёртв и опозорен.
Но обруч так летит вдоль дюн,
июнь, и небосвод двузорен.

И господин и дама – тот
имеют облик, чьё решение —
труды истории, итог,
триумф её и завершенье.

А как же сын? Не надо знать.
Вверх-вниз летят его качели,
и юная бледнеет мать,
и никнут кружева к фланели.

В Крыму, похожий на него,
как горд, как мёртв герой поручик.
Нет, он – дитя. Под Рождество
какие он дары получит!

А чудно островерхий дом?
Ведь в нём как будто учреждение?
Да нет! Там ёлка под замком.
О Ты, чьё празднуют рожденье,

Ты милосерд, открой же дверь!
К серьгам, браслетам и оковам
привыкла ли турчанка-ель?
И где это – под Перекопом?

Забудь! Своих детей жалея
за то, что этот век так долог,
за вырубленность их аллей,

за бедность их безбожных ёлок,

за не-язык, за не-латынь,
за то, что сирый ум – бледнее
без книг с обрезом золотым,
за то, что Блок тебе больнее.

Я и жалею. Лишь затем
стою на берегу залива,
взираю на чужих детей
так неотрывно и тоскливо.

Что пользы днём с огнём искать
снег прошлогодний, ветер в поле?
Но кто-то должен так стоять
всю жизнь возможную – и доле.

Поступок розы

Памяти Н. Н. Сапунова

«Как хороши, как свежи...» О, как свежи,
как хороши! Пять было разных роз.
Всему есть подражатели на свете
иль двойники. Но роза розе – рознь.

Четыре сразу сгинули. Но главной
был так глубок и жадно-дышащ зев:
когда б гортань стать захотела гласной, —
рык издала бы роза – царь и лев.

Нет, всё ж не так. Я слышала когда-то,
мне слышалось, иль выдуманно мной
безвыходное низкое контральто:
вулканный выдох глубины земной.

Речей и пенья на высоких нотах
не слышу: как-то мелко и малó.
Труд розы – вдох. Ей не положен отдых.
Трудись, молчи, сокровище моё.

Но что же запах, как не голос розы?
Смолкает он, когда она мертва.
Прости мои развязные вопросы.
Поговорим, о госпожа моя.

Куда там! Норов розы не покладист.
Вдруг аромат – отлет её души?
Восьмой ей день. Она свежа покамест.
Как свежи, Боже мой, как хороши

слова совсем бессмысленной и нежной,
прелестной и докучливой строки.
И роза, вместо смерти неизбежной,
здоровая – здравомыслию вопреки.

Светает. И на синеве, как рана,
отверсто горло розы на окне
и скорбно чёрно-алое контральто.
Сама ль я слышу? Слышится ли мне?

Не с повеленьем, а с монаршей просьбой
не спорить же. К заливу я иду.
– О, не шути с моей великой розой! —
прошу и розу отдаю ему.

Плыви, о роза, бездну украшая.
Ты выбрала. Плыви светло, легко.
От Териок водою до Кронштадта,
хоть это смерть, не так уж далеко.

Волнам предайся, как художник милый
в ночь гибели, для века роковой.
До берега, что стал его могилой,
и ты навряд ли доплывешь живой.

Но лучше так – в разгар судьбы и славы,
предчувствуя, но зная избежав.
Как он спешил! Как нервы были правы!
На свете так один лишь раз спешат.

Не просто тело мертвое качалось
в бесформенном удушии воды —
эпоха упования кончалась
и занимался крах его среды.

Вы встретитесь! Вы стоите друг друга:
одна осанка и один акцент,
как принято средь избранного круга,
куда не вхож богатый фармацевт.

Я в дом вошла. Стоял стакан коряво.
Его настой другой цветок лакал.
Но слышалось бездонное контральто,
и выдох уст ещё благоухал.

Вот истечение поминальных суток
по розе. Синева и пустота.
То – гордой розы собственный поступок.
Я ни при чём. Я розе – не чета.

«Этот брег – только бред двух схватившихся зорь...»

Этот брег – только бред двух схватившихся зорь,
двух эпох, что не равно померялись мощью,
двух ладоней, прихлопнувших маленький вздор —
надоевшую невозродимую мошку.

Пролетал-докучал светлячок-изумруд.
Усмехнулся историк, заплакал ботаник,
и философ решал, как потом назовут
спор фатальных предчувствий и действий батальных.

Меньше века пройдёт, и окажется прав
не борец-удалец, а добряк энтомолог,
пожалевший пылицу, обращённую в прах:
не летит и не светится – страшно, темно ведь.

Новых крыл не успели содеять крыла,
хоть любили, и ждали, и звали кого-то.
И – походка корява и рожа крива
у хмельного и злого урода-курорта.

Но в отдельности – бедствен и жалостен лик.
Всё покупки, посылки, котомки, баулы.
Неужель я из них – из писателей книг?
Нет, мне родственней те, чьи черты слабоумны.

Как и выжить уму при большом, молодом
ветре моря и мая, вскрывающем почки,
под загробный, безвыходный стук молотков,
в продуктовые ящики бьющий на почте?

Я на почту пришла говорить в телефон,
что жива, что люблю. Я люблю и мертвею.
В провода, соединившие день деловой,
плач влетает подобно воздушному змею.

То ль весна сквозь слезу зелена, то ль зрачок
робкой девочки море увидел и зелен,
то ль двужилен и жив изумруд-светлячок,
просто скрытен – теперь его опыт надземен.

Он следит! Он жалеет! Ему не претит
приласкать безобразия горб многотрудный.
Он – слетит и глухому лицу причинит
изумляющий отсвет звезды изумрудной.

«Ночь: белый сонм колонн надводных...»

Ночь: белый сонм колонн надводных. Никого нет,
но воздуха и вод удвоен гласный звук,
как если б кто-то был и вымолвил: Коонен...
О ком он? Сонм колонн меж белых твердей двух.

Я помню голос тот, неродственный канонам
всех горл: он одинок единогогласья средь,
он плоской высоте приходится каньоном
и зренью приоткрыт многопородный срез.

Я слышала его на поминанье Блока.
(Как грубо молода в ту пору я была.)
Из перьев синих птиц, чья вотчина – эпоха
былая, в дне чужом нахохлилось боа.

Ни перьев синих птиц, ни поминанья Блока
уныньем горловым – понять я не могла.
Но сколько лет прошло! Когда боа поблёлло,
рок маленький ко мне послал его крыла.

Оо, какой простор! Но кто сказал: Коонен?
Акцент долгот присущ волнам и валунам.
Аа – таков ответ незримых колоколен.
То – эхо возвратил недальний Валаам.

«Мне дан июнь холодный и пространный...»

Мне дан июнь холодный и пространный
и два окна: на запад и восток,
чтобы в эпитет ночи постоянный
вникал один, потом другой висок.

Лишь в полночь меркнет полдень бесконечный,
оставив блик для рыбы и блесны.
Преобладанье призелени нежной
главенствует в составе белизны.

Уже второго часа половина,
и белой ночи сложное пятно
в её края невхожего павлина
в залив роняет зрячее перо.

На любованье маленьким оттенком
уходит час. Светло, но не рассвет.
Сверяю свет и слово – так аптекарь
то на весы глядит, то на рецепт.

Кирьява-Лахти – имя вод окольных,
пред-Ладожских. Вид из окна – ушёл
в расплывчатость. На белый подоконник
будильник белый грубо водружён.

И не бела цветная ночь за ними.
Фиалки проступают на скале.
Мерцает накипь серебра в заливе.
Синеет плащ, забытый на скамье.

Четвёртый час. Усилен блеск фиорда.
Метнулась птицы взбалмошная тень.
Распахнуты прозрачные ворота.
Весь розовый, в них входит новый день.

Ещё ночные бабочки роятся.
В одном окне – фиалки и скала.
В другом – огонь, и прибылью румянца
позлащена одна моя скула.

Шестой день июня

Словно лев, охраняющий важность ворот
от пролаза воров, от досужего сглаза,
стерегу моих белых ночей приворот:
хоть ненадобна лампа, а всё же не гасла.

Глаз недрёмано-львиный и нынче глядел,
как темнеть не умело, зато рассветало.
Вдруг я вспомнила – чей занимается день,
и не знала: как быть, так мне весело стало.

Растревожила печку для пущей красы,
посылая заре измышление дыма.
Уу, как стал расточитель червонной казны
хохотать, и стращать, и гудеть нелюдимо.

Спал ребенок, сокрыто и стройно летя.
И опять обожгла безоплошность решенья:
Он сегодня рожден и покуда дитя,
как всё это недавно и как совершенно.

Хватит львом чугунеть! Не пора ль пировать,
кофеином ошпарив зевок недосыпа?
Есть гора у меня, и крыльца перевал
меж теплом и горою, его я достигла.

О, как люто, как северно блещет вода.
Упасенье черемух и крах комариный.
Мало севера мху – он воззрился туда,
где магнитный кумир обитает незримый.

Есть гора у меня – из гранита и мха,
из лишайных диковин и диких расщелин.
В изначалье ее укрывается мгла
и стенает какой-то пернатый отшельник.

Восхожу по крутым и отвесным камням
и стыжусь, что моя простодушна утеха:
всё мемории милые прячу в карман —
то перо, то клочок золотистого меха.

Наверху возлежит триумфальный валун.
Без оглядки взошла, но меня волновало,
что на трудность подъёма уходит весь ум,
оглянулась: сиял Белый скит Валаама.

В нижнем мраке ещё не умолк соловей.

На возглыбии выпуклом – пекло и стужа.
Чей прозрачный и полый вон тот силуэт —
неподвижный зигзаг ускользанья отсюда?

Этот контур пустой – облачение змеи,
«выползина». (О, как Он расспрашивал Даля
о словечке!) Добычливы руки мои,
прытки ноги, с горы напрямик упадая.

Мне казалось, что смотрит нагая змея,
как себе я беру её кружев обноски,
и смеётся. Ребёнок заждется меня,
но подарком змеи как упьётся он после!

Но препона была продвижению вниз:
на скале, под которою зелен мой домик, —
дрожь остуды, сверканье хрустальных ресниц,
это – ландыши, мытарство губ и ладоней.

Дале – книгу открыть и отдать ей цветок,
в ней и в небе о том перечитывать повесть,
что румяной зарёю покрылся восток,
и обдумывать эту чудесную новость.

«Где Питкяранта? Житель питкярантский...»

Где Питкяранта? Житель Питкярантский
собрался в путь. Автобус дребезжит.
Мой тайный глаз, живущий под корягой,
автобуса оглядывает жизнь.

Пока стоим. Не поспешает к цели
сквозной приют скитальцев и сирот.
И силуэт старинной финской церкви
в проеме арки скорбно предстает.

Грейпфрут – добыча многих. Продавала
торговли придурь неуместный плод.
Эх, Сердоболь, эх, город Сортавала!
Нюх отворен и пришлый запах пьёт.

Всех обликов так скудно выражение,
так загнан взгляд и неказиста стать,
словно они эпоху Возрождения
должны опровергать и попирать.

В дверь впопыхах три девушки скакнули.
Две первые пригожи, хоть грубы.
Содеяли уроки физкультуры
их наливные руки, плечи, лбы.

Но простодушна их живая юность,
добротна плоть, и дело лишь за тем
(он, кстати, рядом), кто зрачков угрюмость
примерит к зову их дремотных тел.

Но я о той, о третьей их подруге.
Она бледна, расплывчато полна,
пьяна, но четко обнимают руки
припасы бедной снеди и вина.

Совсем пьяна, и сонно и безгрешно
пустует глаз, безвольно голубой,
бесцветье прядей Ладоге прибрежно,
бесправье чёрт простерто пред судьбой.

Поехали! И свалки мимолетность
пронзает вдруг единством и родством:
котомки, тётки, дети, чей-то локоть —
спасёмся ль, коль друг в друга прорастём?

Гремим и едем. Хвойными грядами

обведено сверкание воды.
На всех балконах – рыбьих душ гирлянды.
Фиалки скал издалика видны.

Проносится роскошный дух грейпфрута,
словно гуляка, что потрянул мошной.
Я озираю, мучась и ревнуя,
сокровища черёмухи сплошной.

Но что мне в этой, бледно-белой, блёклой,
с кулками и бутылками в руках?
Взор, слабоумно-чистый и далёкий,
оставит грамотея в дураках.

Её толкают: – Танька! – дремлет Танька,
но сумку держит цепкостью зверька.
Блаженной, древней исподволи тайна
расширила бессмыслицу зрачка.

Должно быть, снимок есть на этажерке:
в огромной кофте Танька лет пяти.
Готовность к жалкой и неясной жертве
в чертах приметна и сбылась почти.

Да, этажерка с розаном, каморка.
В таких стенах роль сумки велика.
Брезгливого и жуткого кого-то
в свой час хмельной и Танька завлекла.

Подружек ждет обнимка танцплощадки,
особый смех, прищуриванье глаз.
Они уйдут. А Таньке нет пощады.
Пусть мается – знать, в мае родилась.

С утра не сыщется маковой росинки.
Окурки, стужа, лютая кровать.
Как размыкать ей белые ресницы?
Как миг снести и век провековать?

Мне – выходить. Навек я Таньку брошу.
Но всё она стоит передо мной.
С особенной тоской я вижу брошку:
юрдивый цветочек жестяной.

«Так бел, что опалает веки...»

Так бел, что опалает веки,
кратчайшей ночи долгий день,
и белоручкам белошвейки
прощают молодую лень.

Оборок, складок, кружев, рюшей
сегодня праздник выпускной
и расставанья срок горючий
моей черёмухи со мной.

В ночи девичьей, хороводной
есть болевотворная тоска.
Её, заботой хлороформной,
туманят действия цветка.

Воскликнет кто-то: знаем, знаем!
Приелся этот ритуал!
Но всех поэтов всех избранниц
кто не хулил, не ревновал?

Нет никого для восклицаний:
такую я сыскала глушь,
что слышно, как, гонимый цаплей,
в расщелину уходит уж.

Как плавно выступала пава,
пока была её пора! —
опалом пагубным всплывала
и Анной Павловой плыла.

Ещё ей рукоплещут ложи,
ещё влюблен в неё бинокль —
есть время вымолвить: о Боже! —
нет черт в её лице больном.

Осталась крайность славы: тризна.
Растенье свой триумф снесло,
как знаменитая артистка, —
скоропостижно и светло.

Есть у меня чулан фатальный.
Его окно темнит скала.
Там долго гроб стоял хрустальный,
и в нём черёмуха спала.

Давно в округе обгорело,

быльём зелёным поросло
её родительское древо
и всё недалёкое родство.

Уж примерялись банты бала.
Пылали щёки выпускниц.
Красавица не открывала
Дремотно-приторных ресниц.

Пеклась о ней скалы дремучесть
всё каменистей, всё лесней.
Но я, любя её и мучась, —
не королевич Елисей.

И главной ночью длинно-белой,
вблизи неуголимых глаз,
с печальной грацией несмелой
царевна смерти предалась.

С неизъяснимою тоскою,
словно былую жизнь мою,
я прах её своей рукою
горы подножью отдаю.

— Ещё одно настало лето, —
сказала девочка со сна.
Я ей заметила на это:
— Ещё одна прошла весна.

Но жизнь свежа и беспощадна:
в черёмухи прощальный день
глаз безутешный – мрачно, жадно
успел воззриться на сирень.

«Лишь июнь сортавальские воды согрел...»

Лишь июнь сортавальские воды согрел —
поселенья опальных черёмух сгорели.
Предстояла сирень, и сильнее и скорей,
чем сирень, расцвело обожанье к сирени.

Тьмам цветений назначил собор Валаам.
Был ли молод монах, чьё деянье сохранно?
Тосковал ли, когда насаждал-поливал
очертания нерукотворного храма?

Или старец, готовый пред богом предстать,
содрогнулся, хоть глубь этих почв не червива?
Суммой сумрачной заросли явлена страсть.
Ослушанье послушника в ней очевидно.

Это – ересь июньских ночей на устах,
сон зрачка, загулявший по ладожским водам.
И не виден мне богобоязненный сад,
дали ветку сирени – и кажется: вот он.

У сиреневых сводов нашёлся один
прихожанин, любое хождение отвергший.
Он глядит нелюдимо и сиднем сидит,
и крыльцу его – в невидаль след человеческий.

Он заране запасся скалою в окне.
Есть сусек у него: ведовская каморка.
Там он держит скалу, там случилось и мне
заглядеться в ночное змеиное око.

Он хватает сирень и уносит во мрак
(и выносит черемухи остов и осыпь).
Не причастен сему светлоликий монах,
что терпеньем сирени отстаивал остров.

Наплывали разбой и разор по волнам.
Тем вольней принималась сирень разрастаться.
В облаченье лиловом вставал Валаам,
и смотрело растение в глаза святотатца.

Да, хватает, уносит и смотрит с тоской,
обожая сирень, вождеся сирени.
В чернокнижной его кладовой колдовской
борода его кажется старше, синее.

Приворотный отвар на болотном огне

закипает. Летают крылатые мыши.
Помутилась скала в запотевшем окне:
так дымится отравное варево мысли.

То ль юннат, то ли юный другой следопыт
был отправлен с проверкою в дом под скалою.
Было рано. Он чая ещё не допил.
Он ушёл, не успев попрощаться с семьёю.

Он вернулся не скоро и вчуже смотрел,
говорил неохотно, держался сурово.
— Там такие дела, там такая сирень, —
проронил — и другого не вымолвил слова.

Относили затворнику новый журнал,
предлагали газету какую угодно.
Никого не узнал. Ничего не желал.
Грубо ждал от смущённого гостя — ухода.

Лишь остался один — так и прыгнул в тайник,
где храним ненаглядный предмет обожанья.
Как цветёт его радость! Как душу томит,
обещать не умея и лишь обольщая!

Неужели нагрянут, спугнут, оторвут
от судьбы одинокой, другим не завидной?
Как он любит течение её и триумф
под скалою лесною, звериной, змеиной!

Экскурсантам, что свойственны этим местам,
начал было твердить предводитель экскурсий:
вот-де дом под скалой... Но и сам он устал,
и народу казалась история скушной.

Был забыт и прощён её скромный герой:
ответ острова сердце склоняет к смиренью.
От свершений мирских упасаем горой,
пусть сидит со своей монастырской сиренью.

«То ль потому, что ландыш пожелтел...»

То ль потому, что ландыш пожелтел
и стал невзрачной пользой аптечной,
то ль отвращенье возбуждал комар
к съедобной плоти – родственнице тел,
кормящихся добычей бесконечной,
как и пристало лакомым кормам...

То ль потому, что встретила змея, —
я бы считала встречу добрым знаком,
но так она не расплела колец,
так равнодушно видела меня,
как если б я была пред вещим зраком
пустым экраном с надписью: «конец»...

То ль потому, что смерклося на скалах
и паузой ответила кукушка
на нищенский и детский мой вопрос, —
схоласт-рассудок явственно сказал,
что мне моё не удалось искусство, —
и скушный холод в сердце произрос.

Нечаянно рука коснулась лба:
в чём грех его? в чём бедная ошибка?
Достало и таланта, и ума,
но слишком их таинственна судьба:
окраинней и глуше нет отшиба,
коль он не спас – то далее куда?

Вчера, в июня двадцать третий день,
был совершенен смысл моей печали,
как вид воды – внизу, вокруг, вдали.
Дано ль мне знать, как глаз змеи глядел?
Те, что на скалах, ландыши увяли,
но ландыши низин не отцвели.

«Сирень, сирень, не кончилась бы худом...»

Сирень, сирень – не кончилась бы худом
моя сирень. Боюсь, что не к добру
в лесу нашла я разорённый хутор
и у него последнее беру.

Какое место уготовил дому
разумный финн! Блеск озера слезил
зрачок, когда спускалась за водою
красавица, а он за ней следил.

Как он любил жены златоволосой
податливый и плодоносный стан!
Она, в невестах, корень приворотный
заваривала – он о том не знал.

Уже сынок играл то в дровосека,
то в плотника, и здраво взгляд синел, —
всё мать с отцом шептались до рассвета,
и всё цвела и сыпалась сирень.

В пять лепестков она им колдовала
жить-поживать и наживать добра.
Сама собой слагалась Калевала
во мраке хвой вокруг светлого двора.

Не упасёт неустрашимый Калев
добротной, животворной простоты.
Всё в бездну огнедышащую канет.
Пройдет полвека. Устоят цветы.

Душа сирени скорбная витает —
по недосмотру бывших здесь гостей.
Кто предпочел строению – фундамент,
румяной плоти – хрупкий хруст костей?

Нашла я доску, на которой режут
хозяйки снесь на ужинной заре, —
и заболел какой-то серый скрежет
в сплетенье солнц, в дыхательном ребре.

Зачем мой ход в чужой цветник вломился?
Ужель чтоб на кладбище пировать
и языка чужого здравомыслье
возлюбленную речью попирать?

Нет, не затем сирени я добытчик,

что я сирень без памяти люблю
и многотолпен стал её девичник
в сырой пристройке, в северном углу.

Всё я смотрю в сиреневые очи,
в серебряные воды тишины.
Кто помышлял: пожалуй, белой ночи
достаточно – и дал лишь пол-луны?

Пред-северно, продольно, сыровато.
Залив стоит отвесным серебром.
Дождит, и отзовется Сортавала,
коли её окликнешь: Сердоболь.

Есть у меня будильник, полномочный
не относиться к бдению иль сну.
Коль зазвенит – автобус белонощный
я стану ждать в двенадцатом часу.

Он появляться стал в канун сирени.
Он начал до потопа, до войны
свой бег. Давно сносились, устарели
его крыла, и лица в нём бледны.

Когда будильник полночи добьётся
по усмотрению только своему,
автобус белонощный пронесётся —
назад, через потом, через войну.

В обратность дней, вспять времени и смысла,
гремит его брезентовый шатёр.
Погони опасаясь или сыска,
тревожно озирается шофёр.

Вдоль берега скалистого, лесного
летит автобус – смутен никаков.
Одна я слышу жуткий смех клаксона,
хочу взглядеться в лица седоков.

Но вижу лишь бескровный и зловещий
туман обличий и не вижу лиц.
Всё это как-то связано с зацветшей
сиренью возле старых пепелищ.

Ужель спешат к владениям отцовским,
к пригожим жёнам, к милым сыновьям.
Конец июня: обоняньем острым
о сенокосе грезит сеновал.

Там – дом смолист, нарядна черепица.
Красавица ведро воды несла —
так донесла ли? О скалу разбиться
автобусу бы надо, да нельзя.

Должна ль я снова ждать их на дороге
на Питкяранту? (Славный городок,
но как-то грустно, и озябли ноги,
я ныне странный и плохой ходок.)

Успею ль сунуть им букет заветный
и прокричать: – Возьми, несчастный друг! —
в обмен на скользь и склизь прикосновений
их призрачных и благодарных рук?

Легко ль так ночи проводить, а утром,
чей загодя в ночи содеян свет,
опять брести на одинокий хутор
и уносить сирени ветвь и весть.

Мой с диким механизмом поединок
надолго ли? Хочу чернил, пера
или заснуть. Но вновь блажит будильник.
Беру сирень. Хоть страшно – но пора.

Пригород: названия улиц

Стихам о люксембургских розах
совсем не нужен Люксембург:
они порой цветут в отбросах
окраин, свалками обросших,
смущая сумрак и сумбур.

Шутил ботаник-переулок,
любитель роз и тишины:
две улицы и переулок
(он – к новостройке первопуток) —
растенью грёз посвящены.

Мы, для унятия страданий
коровьих, – не растим травы.
Народец мы дрянной и драный,
но любим свой родной дендрарий,
жаль – не сносить в нём головы.

Спасибо розе люксембургской
за чашу, полную услад:
к ней ходим за вином-закусой
(хоть и дают её с нагрузкой),
цветём, как Люксембургский сад.

Не по прописке – для разбора,
чтоб в розных кущах не пропасть,
есть Роза-прима, Роза-втора,
а мелкий соимённый вздора
зовётся Розкин непролаз.

Лишь розу чтит посёлок-бука,
хоть идол сей не им взращён.
А вдруг скажу, что сивка-бурка
катал меня до Люксембурга? —
пускай пошлют за псих-врачом.

А было что-то в этом роде:
плющ стены замка обвивал,
шло готике небес предгрозы,
склоняясь к люксембургской розе,
её садовник поливал.

Царица тридевятой флоры!
Зачем на скромный наш восток,
на хляби наши и заборы,
на злоначальные затворы

пал твой прозрачный лепесток?

Но должно вот чему дивиться,
прочла – и белый свет стал мил:
«ул. им. Давыдова Дениса».
– Поведай мне, душа-девица,
ул. им. – кого? ум – ил затмил.

– Вы что, неграмотная, что ли? —
спросила девица-краса. —
Пойдите, подучитесь в школе. —
Открылись щёлки, створки, шторы,
и выглянули все глаза.

– Я мало видывала видов —
развейте умственную тьму:
вдруг есть среди ваших индивидов
другой Денис, другой Давыдов? —
Красавица сказала: – Тьфу!

Пред-магазинною горою
я шла, и грустно было мне.
Свет, радость, жизнь! Ночной порою
тебе певицу, тебе герою,
не страшно в этой стороне?

Ларец и ключ

Осипу Мандельштаму

Когда бы этот день – тому, о ком читаю:
де, ключ он подарил от... скажем, от ларца
открытого... свою так оберёт он тайну,
как если бы ловил и окликал ловца.

Я не о тайне тайн, столь явных обиталищ
нет у неё, вся – в нём, прозрачно заперта,
как суть в устройстве сот. – Не много ль ты болтаешь? —
мне чтение говорит, которым занята.

Но я и так – молчок, занятие уст – вино лишь,
и терпок поцелуй имеретинских лоз.
Поправший Кутаис, в строку вступил Воронеж —
как пекло дум зовут, сокрыть не удалось.

Вернее – в дверь вошел общения искатель.
Тоскою уязвлён и грёзой обольщён,
он попросту живет как житель и писатель
не в пекле ни в каком, а в центре областном.

Я сообщалась с ним в смущении двояком:
посол своей же тьмы иль вестник роковой
явился подтвердить, что свой чугунный якорь
удерживает Пётр чугунною рукой?

«Эй, с якорем!» – шутил опалы завсегдатай.
Не следует дерзить чугунным и стальным.
Что вспылчивый изгой был лишнею загадкой,
с усмешкой небольшой приметил властелин.

Строй горла ярко наг и выдан пульсом пеня
и высоко над ним – лба над-седьмая пядь.
Где хруст и лязг возьмут уменья и терпенья,
чтоб дланью не схватить и не защелкнуть пасть?

Сапог – всегда сосед священного сосуда
и вхож в глаза птенца, им не живать втроём.
Гость говорит: тех мест писателей союза
отличный малый стал теперь секретарём.

Однако – поздний час. Мы навсегда простились.
Ему не надо знать, чьей тени он сосед.
Признаться, столь глухих и сумрачных потылиц
не собиратель я для пиршеств иль бесед.

Когда бы этот день – тому, о ком страданье —
обыденный устой и содержание дней,
всё длилось бы ловца когтистого свиданье
с добычей меж ресниц, которых нет длинней.

Играла бы ладонь вещицей золотою
(лишь у совсем детей взор так же хитроват),
и был бы дну воды даруем ключ ладонью,
от тайнописи чьей отпрянет хиромант.

То, что ларцом зову (он обречён покраже),
и ульем быть могло для слёта розных крыл:
пчелит аэроплан, присутствуют плюмажи,
Италия плывёт на сухопарый Крым.

А далее... Но нет! Кабы сбылось «когда бы»,
я наклоненья где двойной посул найду?
Не лучше ль сослагать купавы и канавы
и наклоненье ив с их образом в пруду?

И всё это – с моей последнею сиренью,
с осою, что и так принадлежит ему,
с тропой – вдоль соловья, через овраг – к селенью,
и с кем-то, по тропе идущим (я иду),

нам нужен штрих живой, усвоенный пейзажем,
чтоб поступиться им, оставить дня вовне.
Но всё, что обретём, куда мы денем? Скажем:
в ларец. А ключ? А ключ лежит воды на дне.

Вокзальчик

Сердчишко жизни – жил да был вокзальчик.
Горбы котомок на перрон сходили.
Их ждал детей прожорливый привет.
Юродивый там обитал вязальщик.
Не бельмами – зеницами седыми
всего, что зримо, он смотрел поверх.

Поила площадь пьяная цистерна.
Хмурь душ, хворь тел посуд не полоскали.
Вкус жесткой жижи и на вид – когтист.
А мимо них любители сотерна
неслись к нему под тенты полосаты.
(Взамен – изгой в моём уме гостит.)

Одно казалось мне недостоверно:
в окне вагона, в том же направлении,
ужель и я когда-то пронеслась?
И хмурь, и хворь, и площадь, где цистерна, —
набор деталей мельче нонпарели —
не прочитал в себя глядевший глаз?

Сновала прыткость, супилось терпенье.
Вязальщик оставался строг и важен.
Он видел запрокинутым челом
надземные незнакомые петли.
Я видела: в честь вечности он вяжет
безвыходный эпический чулок.

Некстати всплыло: после половодий,
когда прилив заманчиво и гадко
подводит счёт былому барахлу,
то ль вождь беды, то ль вестник подневольный,
какого одинокого гиганта
сиротствует башмак на берегу?

Близ сукровиц драчливых и сумятиц,
простых сокровищ надобных взалкавших,
брела, крестясь на грубый обелиск,
живых и мёртвых горемык со-матерь.
Казалось – мне навязывал вязальщик
наказ: ничем другим не обольстись.

Наказывал, но я не обольщалась
ни прелестью чужбин, ни скушной лестью.
Лишь год меж сентябрём и сентябрём.
Наказывай. В угрюмую прыщавость

смотрю подростка и округи. Шар ведь
земной – округлый помысел о нём.

Опять сентябрь. Весть поутру блазнила:
– Хлеб завезли на станцию! Автобус
вот-вот прибудет! – Местность заждалась
гостинцев и диковинки бензина.
Я тороплюсь. Я празднично готовлюсь
не пропустить сей редкий дилижанс.

В добрососедство старых распрей вторглась,
в приют гремучий. Встреч помчались склоны,
рябины радость, рдяные леса.
Меньшой двойник отечества – автобус.
Легко добыть из многоликой злобы
и возлюбить сохранный свет лица.

Приехали. По-прежнему цистерна
язвит утробы. Булочной сегодня
её триумф оспорить удалось.
К нам нынче неприветлива Церера.
Торгует георгинами зевота.
Лишь яблок вдосыть – под осадой ос.

Но всё ж и мы не вовсе без новинок.
Франтит и бредит импорт домотканый.
Сродни мне род уродов и калек.
Пинает лютость муку душ звериных.
Среди сует, метаний, бормотаний —
вязальщика слепого нет как нет.

Впустую обошла я привокзалье,
дивясь тому, что очередь к цистерне
на карликов делилась и верзил.
Дождь с туч свисал, как вещее вязанье.
Сплетатель самовольной Одиссеи,
глядевший ввысь, зная, сам туда возмыл.

Я знала, что изделие бесконечно
вязальщика, пришедшего оттуда,
где бодрствует, связуя твердь и твердь.
Но без него особенно кромешна
со мной внутри кровавая округа.
Чем искуплю? Где Ты ни есть, ответь.

19 октября 1996 года

Осенний день, особый день —
былого дня неточный слепок.
Разор дерев, разор людей
так ярки, словно напоследок.

Опальный Пасынок аллеи,
на площадь сосланный Страстную, —
суров. Вблизи – молодой атлет
вкушает вывеску съестную.

Живая проголодь правá.
Книгочий изнурён тоскою.
Я неприкаянно брела,
бульвару подчинясь Тверскому.

Гостинцем выпечки летел
лист, павший с клёна, с жара-пыла.
Не восхвалить ли мой Лицей?
В нём столько молодости было!

Останется сей храм наук,
наполненный гурьбой задорной,
из страшных герценовских мук
последнею и смехотворной.

Здесь неокрепшие умы
такой воспитывал Куницын,
что пасмурный румянец мглы
льнул метой оспы к юным лицам.

Предсмертный огонь окна светил,
и Переделкинский изгнанник
простил ученикам своим
измены роковой экзамен.

Где мальчик, чей триумф-провал
услужливо в погибель вырос?
Такую подлость затевал,
а малости вина – не вынес.

Совпали мы во дне земном,
одной питаемые кашей,
одним пытаемые злом,
чье лакомство снесёт не каждый.

Поверженный в забытый прах,

Сибири свежий уроженец,
ты простодушной жертвой пал
чужих велений и решений.

Прости меня, за то прости,
что уцелела я невольно,
что я весьма или почти
жива и пред тобой виновна.

Наставник вздоров и забав —
ухмылка пасти нездоровой,
чьему железу – по зубам
нетвёрдый твой орех кедровый.

Нас нянчили надзор и сыск,
и в том я праведно виновна,
что, восприняв ученья смысл,
я упаслась от гувернёра.

Заблудший недоученик,
я, самодельно и вслепую,
во лбу желала учинить
пядь своедумную седьмую.

За это – в близкий час ночной
перо поведает странице,
как грустно был проведен мной
страдалец, погребённый в Ницце.

Надпись на книге: 19 октября

Фазилю Искандеру

Согласьем розных одиночеств
составлен дружества уклад.
И славно, и не надо новшеств
новей, чем сад и листопад.

Цветёт и зябнет увяданье.
Деревьев прибылен урон.
На с Кем-то тайное свиданье
опять мой весь октябрь уйдёт.

Его присутствие в природе
наглядней смыслов и примет.
Я на балконе – на перроне
разлуки с Днём: отбыл, померк.

День девятнадцатый, октябрьский,
печально щедрый добродей,
отличен силой и окраской
от всех, ему не равных, дней.

Припёк остуды: роза блекнет.
Балкона ледовит причал.
Прощайте, Пущин, Кюхельбекер,
прекрасный Дельвиг мой, прощай!

И Ты... Но нет, так страшно близок
ко мне Ты прежде не бывал.
Смеётся надо мною призрак:
подкравшийся Тверской бульвар.

Там дома двадцать пятый номер
меня тоскою донимал:
зловеще бледен, ярко нуден,
двойк и дик, как диамат.

Издёвка моего Лицея
пошла мне впрок, всё – не беда,
когда бы девочка Лизетта
со мной так схожа не была.

Я, с дальнотзорного балкона,
смотрю с усталой высоты
в уроки времени былого,
чья давность – старее, чем Ты.

Жива в плечах прямая сажень:
к ним многолетье снизошло.
Твоим ровесником оставшись,
была б истрачена на что?

На всплески рук, на блёстки сцены,
на луч и лики мне в лицо,
на вздор неодолимой схемы...
Коль это – всё, зачем мне всё?

Но было, было: буря с мглою,
с румяною зарёй восток,
цветок, преподносимый мною
стихотворению «Цветок»,

хребет, подверженный ознобу,
когда в иных мирах гулял
меж теменем и меж звездою
прозрачный перпендикуляр.

Вот он – исторгнут из жаровен
подвижных полушарий двух,
как бы спасаемый жонглёром
почти предмет: искомый звук.

Иль так: рассчитан точным зодчим
отпор ветрам и ветеркам,
и поведенья позвоночник
блюсти обязан вертикаль.

Но можно, в честь Пизанской башни,
чьим креном мучим род людской,
клониться к пятистопной блажи
ночь напролёт и день-деньской.

Ночь совладеет с днём коротким.
Вдруг, насылая гнев и гнёт,
потёмки, где сокрыт католик,
крестом пометил гугенот?

Лиловым сумраком аббатства
прикинулся наш двор на миг.
Сомкнулись жадные объятья
раздумья вкруг друзей моих.

Для совершенства дня благого,
покуда свет не оскудел,
надземней моего балкона

внизу проходит Искандер.

Фазиля детский смех восславить
успеть бы! День, повремени.
И нечего к строке добавить:
«Бог помочь вам, друзья мои!»

Весь мой октябрь иссякнет скоро,
часы, с их здравомыслием споря,
на час назад перевели.
Ты, одинокий вождь простора,

бульвара во главе Тверского,
и в Парке, с томиком Парнй
прости быстротекучесть слова,
прерви медлительность экспромта,
спать благосклонно повели...

Поездка в город

Борису Мессереру

Я собиралась в город ехать,
но всё вперялись глаз и лоб
в окно, где увяданья ветхость
само сюжет и переплёт.

О чём шуршит интрига блеска?
Каким обречь её словам?
На пальцы пав пылью обреза,
что держит взаперти сафьян?

Мне в город надобно, – но втуне,
за краем книги золотым,
вникаю в листовенной латуни
непостижимую латынь.

Окна усидчивый читатель,
слежу вокабул письменна,
но сердца брат и обитатель
торопит и зовёт меня.

Там – дом-артист нескладно статен
и переулков приворот
издревле славит Хлеб и Скатерть
по усмотренью Поваров.

Возлюблен мной и зарифмован,
знать резвость грубую ленив,
союз мольберта с граммофоном
надменно непоколебим.

При нём крамольно чистых пиршеств
не по усам струился мёд...
...Сад сам себя творит и пишет,
извне отринув натюрморт.

Сочтёт ли сад природой мёртвой,
снаружи заглянув в стекло,
собрание рухляди аморфной
и нерадивое стило?

Поеду, право. Пушкин, милый,
всё Ты, всё жар Твоих чернил!
Опять красу поры унылой
Ты самовластно учинил.

Пока никчёмному посёлку
даруешь злато и багрец,
что к Твоему добавит слову
тетради узник и беглец?

Вот разве что: у нас в селенье,
хоть улицы весьма важней,
проулок имени Сирени
перечит именам вождей.

Мы из *Мичурицы*, где листья
в дым обращает садовод.
Нам *Переделкино* – столица,
Там – ярче и хмельней народ.

О недороде огорода
пекутся честные сердца.
Мне не страшна запретность входа:
собачья стража – мне сестра.

За это прозвищем «не наши»
я не была уязвлена.
Сметливо-кротко, не однажды,
я в их владения звана.

День осени не сродствен злобе.
Вотще охоч до перемен
рождённый в городе Козлове
таинственный эксперимент.

Люблю: с оградой бодаясь,
привет козы меня узнал.
Ба! я же в город собиралась!
Придвинься, Киевский вокзал.

Ни с места он... Строптив и бурен
талант козы – коз помню всех.
Как пахнет яблоком! Как Бунин
«прелестную козу» воспел.

Но я – на станцию, я – мимо
угодий, пасек, погребов.
Жаль, электричка отменима,
что вольной ей до Поваров?

Парижский поезд мимолётный,
гнушаясь мною, здраво прав,
оставшись россыпью мелодий

в уме, вспомнившем Пиаф.

Что ум ещё в себе имеет?
Я в город ехать собралась.
С пейзажа, что уже темнеет,
мой натюрморт не сводит глаз.

Сосед мой, он отторгнут мною.
Я саду лышу, я к саду льну.
Скользит октябрь, гоним зимою,
румяный, по младому льду.

Опомнилась руки повадка.
Зрачок устал в дозоре лба.
Та, что должна быть глуповата,
пусть будет, если не глупа.

Луны усилилось значение
в окне, в окраине угла.
Ловлю луча пересечение
со струйкой дыма и ума,

пославшего из недр затылка
благожелательный пунктир.
Растратчик: детская копилка —
всё получил, за что платил.

Спит садовод. Корпит ботаник,
влеком Сиреневым Вождём.
А сердца брат и обитатель
взглянул в окно и в дверь вошёл.

Душа – надземно, над-оконно —
примерилась пребыть не здесь,
отведав воли и покоя,
чья сумма – счастье и есть.

Изгнание ёлки

Борису Мессереру

Я с Ёлкой бедною прощаюсь:
ты отцвела, ты отгуляла.
Осталась детских щёк прыщавость
от пряников и шоколада.
Вино привычно обмануло
полночной убылью предчувствий.
На лампу смотрит слабоумно
возглавья полумесяц узкий.
Я не стыжусь отверстой вести:
пера приволье простодушно.
Всё грустно, хитроумно если,
и скушно, если дошло, ушло.
Пусть мученик правописанья,
лишь глуповатости учёный
вздохнет на улице – бесправно
в честь «правды» чьей-то наречённой.
Смиренна новогодья осыпь.
Пасть празднества – люта, коварна.
В ней кротко сгинул Дед-Морозик,
содеянный из шоколада.

Родитель плоти обречённой —
кондитер фабрики соседней
(по кличке «Большевик»), и оный
удачлив: плод усердий съеден.
Хоть из съедобных он игрушек,
нужна немалая отвага,
чтоб в сердце сходство обнаружить
с раскаяньем антропофага.
Злодейство облегчив оглаской,
и в прочих прегрешеньях каюсь,
но на меня глядят с опаской
и всякий дед, и Санта-Клаус.
Я и сама остерегаюсь
уст, шоколадом обagrённых,
обязанных воспеть сохранность
сокровищ всех, чей царь – ребёнок.
Рта ненасытные потёмки
предам – пусть мимолётной – славе.
А тут ещё изгнание Ёлки,
худой и нищей, в ссылку свалки.
Давно ль доверчивому древу
преподносили ожерелья,
не упредив лесную деву,

что дали поносить на время.
Отобраны пустой коробкой
её убора безделушки.
Но доживёт ли год короткий
до следующей до пирушки?

Ужасен был останков вынос,
круг соглядатаев собравший.
Свершив столь мрачную повинность,
как быть при детях и собаках?
Их хоровод вокруг злых поступков
состарит ясных глаз наивность.
Мне остаётся взор потупить
и шапку на глаза надвинуть.
Пресытив погребальный ящик
для мусора, для сбора дани
с округи, крах звезды блестящей
стал прахом, равным прочей дряни.
Прощай, навек прощай. Пора уж.
Иголки выметает веник.
Задумчив или всепрощающ
родитель жертвы – отчий ельник.
Чтоб ни обёртки, ни окурка,
чтоб в праздник больше ни ногою —
была погублена фигурка,
форсившая цветной фольгой.
Ошибся лакомка, желая
забыть о будущем и бывшем.
Тень Ёлки, призрачно-живая,
приснится другом разлюбившим.
Сам спящий – в сновиденье станет
той, что взашей прогнали, Ёлкой.
Прости, вечнозелёный странник,
препятствуй грёзе огнеокой.
Сон наказующий – разумен.

Ужели голос мой пригубит
воплъ хора: он меня разлюбит.
Нет, он меня любил и любит.
Рождественским неведом елям
гнев мести, несовместный с верой.
Дождусь ли? Вербным Воскресеньем
склонюсь пред елью, рядом с вербой.
Возрадуюсь началу шишек:
росткам неопытно зелёным.
Подлесок сам меня отыщет,
спасёт его исторгшим лоном.
Дождаться проще и короче
Дня, что не зря зовут Прощёным.

Есть место, где заходит в рощи
гость-хвоя по своим расчётам.
На милость ельника надеюсь,
на осмотрительность лесничих.
А дале – Чистый Понедельник,
пост праведников, прибыль нищих.
А дале, выше – благоустье
оповещения: – Воскресе!
Ты, о котором сон, дождусь ли?
Дождись, пребудь, стань прочен, если...
что – не скажу. Я усмехнулась —
уж сказано: не мной, Другою.
Вновь – неправдоподобность улиц
гудит, переча шин угону...
У этих строк один читатель:
сам автор, чьи темны намёки.

Татарин, эй, побывши татем,
окстись, очнись, забудь о Ёлке.
Автомобильных стонов бредни...
Не нужно Ёлке слов излишних —
за то, что не хожу к обедне,
что шоколадных чуд – язычник.

Мгновенье бытия

«На свете счастья нет...»

Нет счастья одного – бывает счастлиих много.
Неграмотный, – вдруг прав туманный афоризм?
Что означаешь ты, беспечных уст обмолвка?
Открой свой тайный смысл, продлись, проговорись.

Опять, перо моё, темным-темно ты пишешь,
морочишь и гневишь безгрешную тетрадь.
В угодиях ночей мой разум дик и вспыльчив,
и дважды изнурён: сам жертва и тиран.

Пусть выведет строка, как чуткий конь сквозь выюгу,
не стану понукать, поводья опущу.
Конь – гением ноздри и мышц влеком к уюту
заветному. Куда усидчиво спешу?

Нет, это ночь спешит. Обмолвкой, увёрткой
неужто обойдусь, воззрившись на свечу?
Вот – полночь. Вот – стремглав – час наступил четвёртый.
В шестом часу пишу: довольно! спать хочу.

Сподвижник – кофеин мне шлёт привет намёка:
он презирает тех, кто завсегдатай снов.
...Нет счастья одного – бывает счастлиих много:
не лучшее ль из них сбывалось в шесть часов?

В Куоккале моей, где мой залив плескался
иль бледно леденел похолодания в честь,
был у меня сосед – зелёная пластмасса —
он коротко спал всю ночь и пробуждался в шесть.

В шесть без пяти минут включала я пригодность
предмета – в дружбе быть. Спросонок поворчав,
он исполнял свой долг, и Ленинграда голос:
что – ровно шесть часов – меня оповещал.

Возглавие стола – возлюбленная лампа —
вновь припекала лоб и черновик ночной.
Кот глаз приоткрывал. И не было разлада
меж лампой и душой, меж счастьем и мной.

За пристальным окном – темно, безлюдно, лунно,
непрочной белизной очнуться мрак готов.
Уж вдосталь, через край, – но счастье к счастью льнуло,
и завтракать мы шли, сквозь сад, вдвоём с Котом.

Пригожа и свежа, нас привечала Нина.
Съев кашу, хлеб и сыр я прятала в карман.
Припасливость моя мелка, но объяснима:
залив внимал моим карманным закромам.

Хоть знают, что приду, – во взбалмошной тревоге
все чайки надо мной возреют, воскричат.
Направо от меня – чуть брезжат Териоки,
и прямо предо мной, через залив, – Кронштадт.

Я чайкам хлеб скормлю, смущаясь, что виновна
пред ненасытной их и дерзкой белизной.
Скосив зрачок ума, за мной следит ворона —
ей не впервой следить и следовать за мной.

Встреч ритуал таков: вот-вот от смеха сникну...
– Вороне как-то Бог... – нет, не могу, смеюсь,
но продолжаю: – Бог послал кусочек сыру —
и достигает сыр вороньих острых уст.

Налюбовавшись всласть её громоздкой статью,
но всласть не угостив, скольжу домой по льду.
Есть в доме телефон. Прибавив счастье к счастью,
я говорю: – Люблю! – тому, кого люблю.

Уже роялей всех развеялась дремота.
Весь побережный дом – прилежный музыкант.
Сплошного – не дано, а кратких счастья – много,
того, что – навсегда, не смею возалкать.

Так помышляла я на милом сердцу свете.
Согласно жили врозь настольный огонь и тьма.
Пока настороже живая мысль о смерти,
спешу благословить мгновение бытия.

«Девочка с персиками»

Сияет сад, и девочка бежит,
ещё свежо июня новоселье.
Ей весело, её занятие – жить,
и всех любить, и быть любимой всеми.

Она, и впрямь, любима, как никто,
семьёй, друзьями, мрачным гимназистом,
и нянюшкой, воззревшейся в окно,
и знойным полднем, и оврагом мглистым.

Она кричит: «Я не хочу, Антон,
ни персиков, ни за столом сиденья!»
Художник строго говорит о том,
что творчество, как труд крестьян, – вседенно.

Меж тем он сам пристрастен к чехарде,
и сам хохочет, змея запуская.
Везде: в саду, в гостиной, в чердаке —
его усердной кисти мастерская!

А девочке смешно, что ревновал
угрюмый мальчик и молчал сурово.
Москву давно волнует Ренуар,
Абрамцево же влюблено в Серова.

Он – Валентин, но рёкло он отверг
и слыл Антоном в своеволие детства.
Уж фейерверк, спех девочки – наверх:
снять розовое, в белое одеться.

И синий бант отринуть до утра,
она б его и вовсе потеряла,
он – надоед, но девочка – добра,
и надеванье банта повторяла.

Художника и девочки – кумир:
Лев золотой, Венеции возглавье.
Учитель Репин баловство корил,
пост соблюдая во трудах, во славе.

А я люблю, что ей суждён привет
модистки ловкой на Мосту Кузнецком.
...Ей данный вкратце, иссякает век.
Она осталась в полдне бесконечном.

Ещё сирень, уже произросло

жасминное удушье вокруг беседки.
Серьёзный взор скрывает озорство,
несведущее в скуке и бессмертье.

Пусть будет там, где персики лежат,
пусть бант синеет, розовеет блуза.
Так Мамонтову Верочку мне жаль:
нет мочи ни всплакнуть, ни улыбнуться.

Отсутствие черёмухи

Давно ль? Да нет, в тысячелетье прошлом,
черёмухе чиня урон и вред,
скитаясь по оврагам и по рощам,
я всякий раз прощалась с ней навек.

С больным цветком, как с жизнью, расставалась.
Жизнь убывала, длился ритуал.
Страшись своих обмолвок! – раздавалось.
Смысл наущенья страх не разгадал.

Я стала завсегдатай отпеваний,
сообщник, но не сотворитель слёз.
Вокруг меня смыкался мор повальный,
меня не тронул, а других унёс.

Те, что живее, надобней, прочнее,
чем я, меня опередив, ушли.
Вновь слышу уст неведомых реченье:
– Остерегись! Ещё не всё, учти.

В студёном, снежном мае прошлогоднем
был сад простужен, огород продрог,
зато души неодолимый голод
сполна вкусил растенья приворот.
Со мною ныне разминулся идол,
и что ему моей тоски пустяк!

Нюх бедствовал, ум бредил,
глаз не видел.
– Навек! – твердила.
Что же, век иссяк.

Век заменим другим. —
Прощай навеки! —
вот ария из оперы немой.
Случайно ли влиянье властной ветви,
хотя б одной, май разлучил со мной?

В чужом столетье и тысячелетье
навряд ли я надолго приживусь.
Май на исходе. Урожай черешни —
занятое и окраска детских уст.

Созреет новорожденный ботаник,
весь век – его, а он уже умён.
Но о моих черёмуховых тайнах —

им счёту нет – не станет думать он.

Привыкла я, черёмуху оплавав,
лелеять, холить и хвалить сирень.
Был цвет её уму и зренью лаком;
как мглисто Пана ворожит свирель!

На этот раз лиловые соцветья
угрюмо-скрытны, явно не к добру.
Предчувствия и опасенья эти
я утаю и не предам перу.

Вишневый сад

Не описать ли... не могу писать...
Весь белый свет – спектр, сумма розней, распрей.
В окне моём расцвёл вишнёвый сад —
белейший семицветный день февральский
Сад – самоцветный самовластный день.
Сомкнувши веки, что в окне я вижу?
Сад – снегопад – слышней, чем вздор людей.
Тот Сад Вишнёвый – не лелеет вишню —
не потому, что саду лесоруб
сулит расцвет пустыни диковатый.
Был изначально обречён союз:
мысль и соцветья зримых декораций.
Так думал Бунин – прочитает всяк,
кто пожелает. Я в сей час читаю.
Чем зрителю видней Вишнёвый сад,
тем строже Сад оберегает тайну.
Что я в ночи читаю и о Ком —
мне всё равно: поймут ли, не поймут ли.
Тайник – разверст и затворен. Доколь
скорбеть о тайне в скрытном перламутре?

Вишнёвый сад глядит в моё окно.
Огонь мыса опаляет подоконник.
Незванный, входит в дверь... не знаю: кто.
Кто б ни был он, я – жертва, он – охотник.

Вишнёвый сад в уме – о таковом
не слыхивал тот, кто ошибся дверью.
Как съединились сад и Таганрог, —
понятно лишь заснеженному древу
в окне моём. Тот, думаю о Ком, —
при бытия мучительном ущербе,
нам тайн своих не объяснил. Но, он
врачу диагноз объяснил: «Ich sterbe».
«Жизнь кончена», – услышал доктор Даль.
Величие – и в смерти деликатно.
Вошедший в дверь, протягивая длань,
проговорил: – Насилу доискался.
Жизнь кончена? Уже? – Он в письма
свой вперил взгляд, возгоревав не слишком.
– К несчастью, это – не мои слова.
Склонившийся, их дважды Даль услышал.

Анна Ахматова

Стихотворения

Песня последней встречи

Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.

Показалось, что много ступеней,
А я знала – их только три!
Между кленов шепот осенний
Попросил: «Со мною умри!

Я обманут моей унылой
Переменчивой, злой судьбой».
Я ответила: «Милый, милый!
И я тоже. Умру с тобой!»

Это песня последней встречи.
Я взглянула на темный дом.
Только в спальне горели свечи
Равнодушно-желтым огнем.

1911

«Сжала руки под темной вуалью...»

Сжала руки под темной вуалью...
«Отчего ты сегодня бледна?»
– Оттого, что я терпкой печалью
Напоила его допьяна.

Как забуду? Он вышел, шатаясь,
Искривился мучительно рот...
Я сбежала, перил не касаясь,
Я бежала за ним до ворот.

Задыхаясь, я крикнула: «Шутка
Всё, что было. Уйдешь, я умру».
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: «Не стой на ветру».

1911

В Царском Селе

I

По аллее проводят лошадок.
Длинные волны расчесанных грив.
О, пленительный город загадок,
Я печальна, тебя полюбив.

Странно вспомнить: душа тосковала,
Задышалась в предсмертном бреду.
А теперь я игрушечной стала,
Как мой розовый друг какаду.

Грудь предчувствием боли не сжата,
Если хочешь, в глаза погляди.
Не люблю только час пред закатом,
Ветер с моря и слово «уйди».

II

...А там мой мраморный двойник,
Поверженный под старым кленом,
Озерным водам отдал лик,
Внимает шорохам зеленым.

И моют светлые дожди
Его запекшуюся рану...
Холодный, белый, подожди,
Я тоже мраморною стану.

III

Смуглый отрок бродил по аллеям,
У озерных грустил берегов,
И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов.

Иглы сосен густо и колко
Устилают низкие пни...
Здесь лежала его треуголка

И растрепанный том Парни.

1911

«Мне голос был. Он звал утешно...»

Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.
Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну черный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид».

Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернялся скорбный дух.

1917

«Не с теми я, кто бросил землю...»

Не с теми я, кто бросил землю
На растерзание врагам.
Их грубой лести я не внемлю,
Им песен я своих не дам.

Но вечно жалок мне изгнанник,
Как заключенный, как больной.
Темна твоя дорога, странник,
Полынью пахнет хлеб чужой.

А здесь, в глухом чаду пожара
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя.

И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час...
Но в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.

1922

Мужество

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми
лечь,
Не горько остаться без крова,—
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!

Февраль 1942

Приморский сонет

Здесь все меня переживет,
Все, даже ветхие скворешни
И этот воздух, воздух вешний,
Морской свершивший перелет.

И голос вечности зовет
С неодолимостью нездешней,
И над цветущею черешней
Сиянье легкий месяц льет.

И кажется такой нетрудной,
Белея в чаще изумрудной,
Дорога не скажу куда...

Там средь стволов еще светлее,
И всё похоже на аллею
Уцарскосельского пруда.

1958

Комарово

Родная земля

*И в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.*

1922

В заветных ладанках не носим на
грудь,
О ней стихи навзрыд не сочиняем,
Наш горький сон она не берedit,
Не кажется обетованным раем.
Не делаем ее в душе своей
Предметом купли и продажи,
Хворая, бедствуя, немотствуя на ней,
О ней не вспоминаем даже.

Да, для нас это грязь на калошах,
Да, для нас это хруст на зубах.
И мы мелем, и месим, и крошим
Тот ни в чем не замешанный прах.
Но ложимся в нее и становимся ею,
Оттого и зовем так свободно —
своею.

1961

Ленинград

Реквием 1935–1940

*Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл, —
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью был.*

1961

Вместо предисловия

В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то «опознал» меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шепотом):

– А это вы можете описать?

И я сказала:

– Могу.

Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом.

1 апреля 1957

Ленинград

Посвящение

Перед этим горем гнутся горы,
Не течет великая река,
Но крепки тюремные затворы,
А за ними «каторжные норы»

И смертельная тоска.
Для кого-то веет ветер свежий,
Для кого-то нежится закат —
Мы не знаем, мы повсюду те же,
Слышим лишь ключей постылый
скрежет

Да шаги тяжелые солдат.
Подымались как к обедне ранней,
По столице одичалой шли,
Там встречались, мертвых бездыханней,
Солнце ниже, и Нева туманней,
А надежда все поет вдали.
Приговор... И сразу слезы хлынут,
Ото всех уже отделена,
Словно с болью жизнь из сердца

вынут,
Словно грубо навзничь опрокинут,

Но идет... Шатается... Одна.
Где теперь невольные подруги
Двух моих осатанелых лет?
Что им чудится в сибирской вьюге,
Что мерещится им в лунном круге?
Им я шлю прощальный мой привет.

Март 1940

Вступление

Это было, когда улыбался
Только мертвый, спокойствию рад.
И ненужным привеском болтался
Возле тюрем своих Ленинград.
И когда, обезумев от муки,
Шли уже осужденных полки,

И короткую песню разлуки
Паровозные пели гудки,
Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных марусь.

I

Уводили тебя на рассвете,
За тобой, как на выносе, шла,
В темной горнице плакали дети,
У божницы свеча оплыла.
На губах твоих холод иконки,
Смертный пот на челе... Не забыть!
Буду я, как стрелецкие женки,
Под кремлевскими башнями выть.

*Осень 1935
Москва*

II

Тихо льется тихий Дон,

И звон кадильный, и следы
Куда-то в никуда.
И прямо мне в глаза глядит
И скорой гибелью грозит
Огромная звезда.

1939

VI

Легкие летят недели,
Что случилось, не пойму.
Как тебе, сынок, в тюрьму
Ночи белые глядели,
Как они опять глядят
Ястребиным жарким оком
О твоём кресте высоком
И о смерти говорят.

Весна 1919

VII

Приговор

И упало каменное слово
На мою еще живую грудь.
Ничего, ведь я была готова,
Справлюсь с этим как-нибудь.

У меня сегодня много дела:
Надо память до конца убить,
Надо, чтоб душа окаменела,
Надо снова научиться жить.

А не то... Горячий шелест лета
Словно праздник за моим окном.
Я давно предчувствовала этот
Светлый день и опустелый дом.

Лето 1939
Фонтанный Дом

VIII

К смерти

Ты все равно придешь – зачем же не

теперь?
Я жду тебя – мне очень трудно.
Я потушила свет и отворила дверь
Тебе, такой простой и чудной.
Прими для этого какой угодно вид,
Ворвись отравленным снарядом
Иль с гирькой подкрадись,
как опытный бандит.
Иль отрави тифозным чадом.
Иль сказочкой, придуманной тобой
И всем до тошноты знакомой, —
Чтоб я увидела верх шапки голубой
И бледного от страха управдома.
Мне все равно теперь. Клубится
Енисей.
Звезда Полярная сияет.
И синий блеск возлюбленных очей
Последний ужас застилает.

19 августа 1939
Фонтанный Дом

IX

Уже безумие крылом
Души накрыло половину,
И поит огненным вином
И манит в черную долину.

И поняла я, что ему
Должна я уступить победу,
Прислушиваясь к своему
Уже как бы чужому бреду.

И не позволит ничего
Оно мне унести с собою
(Как ни упрашивай его
И как ни докучай мольбою):

Ни сына страшные глаза —
Окаменелое страданье,
Ни день, когда пришла гроза,
Ни час тюремного свиданья,

Ни милую прохладу рук,
Ни лип взволнованные тени,
Ни отдаленный легкий звук —

Слова последних утешений.

4 мая 1940

Х Распятие

*Не рыдай Мене, Мати,
во гробе зряще*

1

Хор ангелов великий час восславил,
И небеса расплавились в огне.
Отцу сказал: «Почто Меня оставил!»
А Матери: «О, не рыдай Мене...»

2

Магдалина билась и рыдала,
Ученик любимый каменел,
А туда, где молча Мать стояла,
Так никто взглянуть и не посмел.

Эпилог

1

Узнала я, как опадают лица,
Как из-под век выглядывает страх,
Как клинописи жесткие страницы
Страдание выводит на щеках,
Как локоны из пепельных и черных
Серебряными делаются вдруг,
Улыбка вянет на губах покорных,
И в сухоньком смешке дрожит испуг.
И я молюсь не о себе одной,
А обо всех, кто там стоял со мною
И в лютый холод, и в июльский зной
Под красною ослепшею стеною.

2

Опять поминальный приблизился час.
Я вижу, я слышу, я чувствую вас:
И ту, что едва до окна довели,
И ту, что родимой не топчет земли,
И ту, что красивой тряхнув головой,
Сказала: «Сюда прихожу, как домой!»
Хотелось бы всех поименно назвать,
Да отняли список, и негде узнать.
Для них соткала я широкий покров
Из бедных, у них же подслушанных
слов.

О них вспоминаю всегда и везде,
О них не забуду и в новой беде,
И если зажмут мой измученный рот,
Которым кричит стомиллионный
народ,
Пусть так же они поминают меня

В канун моего поминального дня.
А если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне,
Согласье на это даю торжество,
Но только с условием – не ставить его
Ни около моря, где я родилась:
Последняя с морем разорвана связь,
Ни в царском саду у заветного пня,
Где тень безутешная ищет меня,
А здесь, где стояла я триста часов
И где для меня не открыли засов.
Затем, что и в смерти блаженной
боюсь

Забыть громыхание черных марусь,
Забыть, как постылая хлопала дверь,
И выла старуха, как раненый зверь.
И пусть с неподвижных
и бронзовых век,
Как слезы, струится подтаявший снег.
И голубь тюремный пусть гулит
вдали,
И тихо идут по Неве корабли.

*Март 1940
Фонтанный Дом*

Александр Блок Стихотворения

Незнакомка

По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными
Весенний и тлетворный дух.

Вдали, над пылью переулочной,
Над скукой загородных дач,
Чуть золотится крендель булочной,
И раздается детский плач.

И каждый вечер, за шлагбаумами,
Заламывая котелки,
Среди канав гуляют с дамами
Испытанные остряки.

Над озером скрипят уключины,
И раздается женский визг,
А в небе, ко всему приученный,
Бессмысленно кривится диск.

И каждый вечер друг единственный
В моем стакане отражен
И влагой терпкой и таинственной,
Как я, смирен и оглушен.

А рядом у соседних столиков
Лакеи сонные торчат,
И пьяницы с глазами кроликов
«In vino veritas!»¹² кричат.

И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?),
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.

И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,

¹² «Истина в вине!» (лат.).

Она садится у окна.

И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.

И странной близостью закованный,
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.

Глухие тайны мне поручены,
Мне чье-то солнце вручено,
И все души моей излучины
Пронзило терпкое вино.

И перья страуса склоненные
В моем качаются мозгу,
И очи синие бездонные
Цветут на дальнем берегу.

В моей душе лежит сокровище,
И ключ поручен только мне!
Ты право, пьяное чудовище!
Я знаю: истина в вине.

24 апреля 1906. Озерки

Россия

Опять, как в годы золотые,
Три стертых треплются шлеи,
И вязнут спицы росписные
В расхлябанные колеи...

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые —
Как слезы первые любви!

Тебя жалеть я не умею,
И крест свой бережно несу...
Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу!

Пуškai заманит и обманет, —
Не пропадешь, не сгинешь ты,
И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты...

Ну, что ж? Одной заботой боле —
Одной слезой река шумней,
А ты всё та же — лес, да поле,
Да плат узорный до бровей...

И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка,
Когда звенит тоской острожной
Глухая песня ямщика!..

18 октября 1908

«Ночь, улица, фонарь, аптека...»

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Всё будет так. Исхода нет.

Умрешь – начнешь опять сначала,
И повторится всё, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.

10 октября 1912

«Река раскинулась. Течет, грустит лениво...»

из цикла «На поле Куликовом»

Река раскинулась. Течет, грустит лениво
И моет берега.
Над скудной глиной желтого обрыва
В степи грустят стога.

О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!
Наш путь – стрелой татарской древней воли
Пронзил нам грудь.

Наш путь – степной, наш путь – в тоске
безбрежной,
В твоей тоске, о, Русь!
И даже мглы – ночной и зарубежной —
Я не боюсь.

Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами
Степную даль.
В степном дыму блеснет святое знамя
И ханской сабли сталь...

И вечный бой! Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль...
Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль...

И нет конца! Мелькают версты, кручи...
Останови!
Идут, идут испуганные тучи,
Закат в крови!

Закат в крови! Из сердца кровь струится!
Плачь, сердце, плачь...
Покоя нет! Степная кобылица
Несется вскачь!

7 июня 1908

На железной дороге

Марии Павловне Ивановой

Под насыпью, во рву некошенном,
Лежит и смотрит, как живая,
В цветном платке, на косы брошенном,
Красивая и молодая.

Бывало, шла походкой чинною
На шум и свист за ближним лесом.
Всю обойдя платформу длинную,
Ждала, волнуясь, под навесом.

Три ярких глаза набегающих —
Нежней румянец, круче локон:
Быть может, кто из проезжающих
Посмотрит пристальней из окон...

Вагоны шли привычной линией,
Подрагивали и скрипели;
Молчали желтые и синие;
В зеленых плакали и пели.

Вставали сонные за стеклами
И обводили ровным взглядом
Платформу, сад с кустами блёклыми
Ее, жандарма с нею рядом...

Лишь раз гусар, рукой небрежною
Облокотясь на бархат алый,
Скользнул по ней улыбкой нежною...
Скользнул – и поезд в даль умчал.

Так мчалась юность бесполезная,
В пустых мечтах изнемогая...
Тоска дорожная, железная
Свистела, сердце разрывая...

Да что – давно уж сердце вынуто!
Так много отдано поклонов,
Так много жадных взоров кинуто
В пустынные глаза вагонов...

Не подходите к ней с вопросами,
Вам всё равно, а ей – довольно:
Любовью, грязью иль колесами

Она раздавлена – всё больно.

14 июня 1910

«О доблестях, о подвигах, о славе...»

О доблестях, о подвигах, о славе
Я забывал на горестной земле,
Когда твое лицо в простой оправе
Передо мной сияло на столе.

Но час настал, и ты ушла из дому.
Я бросил в ночь заветное кольцо.
Ты отдала свою судьбу другому,
И я забыл прекрасное лицо.

Летели дни, крутись проклятым роем...
Вино и страсть терзали жизнь мою...
И вспомнил я тебя пред аналоем,
И звал тебя, как молодость свою...

Я звал тебя, но ты не оглянулась,
Я слезы лил, но ты не снизошла.
Ты в синий плащ печально завернулась,
В сырую ночь ты из дому ушла.

Не знаю, где приют своей гордыне
Ты, милая, ты, нежная, нашла...
Я крепко сплю, мне снится плащ твой синий,
В котором ты в сырую ночь ушла...

Уж не мечтать о нежности, о славе,
Всё миновалось, молодость прошла!
Твое лицо в его простой оправе
Своей рукой убрал я со стола.

30 декабря 1908

«О, весна без конца и без краю...»

из цикла «Заклятие огнем и мраком»

О, весна без конца и без краю —
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!

Принимаю тебя, неудача,
И удача, тебе мой привет!
В заколдованной области плача,
В тайне смеха – позорного нет!

Принимаю бессонные споры,
Утро в завесах темных окна,
Чтоб мои воспаленные взоры
Раздражала, пьянила весна!

Принимаю пустынные веси
И колодцы земных городов!
Осветленный простор поднебесий
И томления рабских трудов!

И встречаю тебя у порога —
С буйным ветром в змеиных кудрях,
С неразгаданным именем бога
На холодных и сжатых губах...

Перед этой враждующей встречей
Никогда я не брошу щита...
Никогда не откроешь ты плечи...
Но над нами – хмельная мечта!

И смотрю, и вражду измеряю,
Ненавидя, кляня и любя:
За мученья, за гибель – я знаю —
Всё равно: принимаю тебя!

24 октября 1907

«О, я хочу безумно жить...»

О, я хочу безумно жить:
Всё сущее – увековечить,
Безличное – вочеловечить,
Несбывшееся – воплотить!

Пусть душит жизни сон тяжелый,
Пусть задыхаюсь в этом сне, —
Быть может, юноша веселый
В грядущем скажет обо мне:

Простим угрюмство – разве это
Скрытый двигатель его?
Он весь – дитя добра и света,
Он весь – свободы торжество!

5 февраля 1914

Двенадцать

Поэма

1

Черный вечер.
Белый снег.
Ветер, ветер!
На ногах не стоит человек.
Ветер, ветер —
На всем божьем свете!

Завивает ветер
Белый снежок.
Под снежком — ледок.
Скользко, тяжело,
Всякий ходок
Скользит — ах, бедняжка!

От здания к зданию
Протянут канат.
На канате — плакат:
«Вся власть Учредительному Собранию!»
Старушка убивается — плачет,
Никак не поймет, что значит,
На что такой плакат,
Такой огромный лоскут?
Сколько бы вышло портянок для ребят,
А всякий — раздет, разут...
Старушка, как курица,
Кой-как перемотнулась через сугроб.
— Ох, Матушка-Заступница!
— Ох, большевики загонят в гроб!

Ветер хлесткий!
Не отстает и мороз!
И буржуй на перекрестке
В воротник упрятал нос.

А это кто? — Длинные волосы
И говорит вполголоса:
— Предатели!
— Погибла Россия!

Должно быть, писатель —
Вития...

А вон и долгополый —
Сторонкой – за сугроб...
Что нынче невеселый,
Товарищ поп?

Помнишь, как бывало
Брюхом шел вперед,
И крестом сияло
Брюхо на народ?..

Вон барыня в каракуле
К другой подвернулась:
– Ужь мы плакали, плакали...
Поскользнулась
И – бац – растянулась!

Ай, ай!
Тяни, подымай!

Ветер веселый
И зол, и рад.
Крутит подолы,
Прохожих косит,
Рвет, мнет и носит
Большой плакат:
«Вся власть Учредительному Собранию»...
И слова доносит:

...И у нас было собрание...
...Вот в этом здании...
...Обсудили —
Постановили:
На время – десять, на ночь – двадцать пять...
...И меньше – ни с кого не брать...
...Пойдем спать...

Поздний вечер.
Пустеет улица.
Один бродяга
Сутулится,
Да свищет ветер...

Эй, бедняга!
Подходи —
Поцелуемся...

Хлеба!
Что впереди?
Проходи!

Черное, черное небо.

Злоба, грустная злоба
Кипит в груди...
Черная злоба, святая злоба...

Товарищ! Гляди
В оба!

2

Гуляет ветер, порхает снег.
Идут двенадцать человек.

Винтовок черные ремни,
Кругом – огни, огни, огни...

В зубах – цыгарка, примят картуз,
На спину б надо бубновый туз!

Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста!

Тра-та-та!

Холодно, товарищ, холодно!

– А Ванька с Катькой – в кабаке...
– У ей керенки есть в чулке!

– Ванюшка сам теперь богат...
– Был Ванька наш, а стал солдат!

– Ну, Ванька, сукин сын, буржуй,
Мою, попробуй, поцелуй!

Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста!
Катька с Ванькой занята —
Чем, чем занята?..

Тра-та-та!

Кругом – огни, огни, огни...
Оплечь – ружейные ремни...

Революционный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!
Товарищ, винтовку держи, не трусь!
Пальнем-ка пулей в Святую Русь —

В кондовую,
В избяную,
В толстозадую!

Эх, эх, без креста!

3

Как пошли наши ребята
В красной гвардии служить —
В красной гвардии служить —
Буйну голову сложить!

Эх ты, горе-горькое,
Сладкое житье!
Рваное пальтишко,
Австрийское ружье!

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови —
Господи, благослови!

4

Снег крутит, лихач кричит,
Ванька с Катькою летит —
Електрический фонарик
На оглобелях...
Ах, ах, пади!..

Он в шинелишке солдатской
С физиономией дурацкой
Крутит, крутит черный ус,
Да покручивает,
Да пошучивает...
Вот так Ванька – он плечист!

Вот так Ванька – он речист!
Катьку-дуру обнимает,
Заговаривает...

Запрокинулась лицом,
Зубки блещут жемчугом...
Ах ты, Катя, моя Катя,
Толстоморденькая...

5

У тебя на шее, Катя,
Шрам не зажил от ножа.
У тебя под грудью, Катя,
Та царапина свежа!

Эх, эх, попляши!
Больно ножки хороши!

В кружевном белье ходила —
Походи-ка, походи!
С офицерами блудила —
Поблуди-ка, поблуди!

Эх, эх, поблуди!
Сердце ёкнуло в груди!

Помнишь, Катя, офицера —
Не ушел он от ножа...
Аль не вспомнила, холера?
Али память не свежа?

Эх, эх, освежи,
Спать с собою положи!

Гетры серые носила,
Шоколад Миньон жрала,
С юнкерьем гулять ходила —
С солдатьем теперь пошла?

Эх, эх, согреши!
Будет легче для души!

6

...Опять навстречу несется вскачь,
Летит, вопит, орет лихач...

Стой, стой! Андрюха, помогай!
Петруха, сзади забегай!..

Трах-тарарах-тах-тах-тах-тах!
Вскрутился к небу снежный прах!..

Лихач – и с Ванькой – наутек...
Еще разок! Вводи курок!..

Трах-тарарах! Ты будешь знать,
.....
Как с девочкой чужой гулять!..

Утек, подлец! Ужо, постой,
Расправлюсь завтра я с тобой!

А Катька где? – Мертва, мертва!
Простреленная голова!

Что, Катька, рада? – Ни гу-гу...
Лежи ты, падаль, на снегу!..

Революционный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!

7

И опять идут двенадцать,
За плечами – ружьеца.
Лишь у бедного убийцы
Не видать совсем лица...

Всё быстрее и быстрее
Уторапливает шаг.
Замотал платок на шее —
Не оправиться никак...

– Что, товарищ, ты не весел?
– Что, дружок, оторопел?
– Что, Петруха, нос повесил,
Или Катьку пожалел?

– Ох, товарищи, родные,
Эту девку я любил...

Ночки черные, хмельные
С этой девкой проводил...

– Из-за удали бедовой
В огневых ее очах,
Из-за родники пунцовой
Возле правого плеча,
Загубил я, бестолковый,
Загубил я сгоряча... ах!

– Ишь, стервец, завел шарманку,
Что ты, Петька, баба что ль?
– Верно, душу наизнанку
Вздумал вывернуть? Изволь!
– Поддержи свою осанку!
– Над собой держи контроль!

– Не такое нынче время,
Чтобы нянчиться с тобой!
Потяжеле будет бремя
Нам, товарищ дорогой!
– И Петруха замедляет
Торопливые шаги...

Он головку вскидывает,
Он опять повеселел...

Эх, эх!
Позабавиться не грех!

Запирайте этажи,
Нынче будут грабежи!

Отмыкайте погреба —
Гуляет нынче голытьба!

8

Ох ты, горе-горькое!
Скука скучная,
Смертная!

Уж я времячко
Проведу, проведу...

Уж я темячко
Почешу, почешу...

Ужь я семячки
Полущу, полущу...

Ужь я ножичком
Полосну, полосну!

Ты лети, буржуй, воробышком!
Выпью кровушку
За зазнобушку,
Чернобровушку...
Упокой, господи, душу рабы твоея...

Скучно!

9

Не слышно шуму городского,
Над невской башней тишина,
И больше нет городского —
Гуляй, ребята, без вина!

Стоит буржуй на перекрестке
И в воротник упрятал нос.
А рядом жметесь шерстью жесткой
Поджавший хвост паршивый пес.

Стоит буржуй, как пес голодный,
Стоит безмолвный, как вопрос.
И старый мир, как пес безродный,
Стоит за ним, поджавши хвост.

10

Разыгралась чтой-то выюга,
Ой, выюга, ой, выюга!
Не видать совсем друг друга
За четыре за шага!

Снег воронкой завился,
Снег столбушкой поднялся...

— Ох, пурга какая, спасе!
— Петька! Эй, не завирайся!
От чего тебя упас

Золотой иконостас?
Бессознательный ты, право,
Рассуди, подумай здраво —
Али руки не в крови
Из-за Катькиной любви?
— Шаг держи революционный!
Близок враг неутомный!

Вперед, вперед, вперед,
Рабочий народ!

11

...И идут без имени святого
Все двенадцать — вдаль.
Ко всему готовы,
Ничего не жаль...

Их винтовочки стальные
На незримого врага...
В переулочки глухие,
Где одна пылит пурга...
Да в сугробы пуховые —
Не утянешь сапога...

В очи бьется
Красный флаг.

Раздается
Мерный шаг.

Вот — проснется
Лютый враг...

И вьюга пылит им в очи
Дни и ночи
Напролет...

Вперед, вперед,
Рабочий народ!

12

...Вдаль идут державным шагом...
— Кто еще там? Выходи!

Это – ветер с красным флагом
Разыгрался впереди...

Впереди – сугроб холодный,
– Кто в сугробе – выходи!..
Только нищий пес голодный
Ковыляет позади...

– Отвяжись ты, шелудивый,
Я штыком пощекочу!
Старый мир, как пес паршивый,
Провались – поколочу!

...Скалит зубы – волк голодный —
Хвост поджал – не отстает —
Пес холодный – пес безродный...
– Эй, откликнись, кто идет?

– Кто там машет красным флагом?
– Приглядишься-ка, эка тьма!
– Кто там ходит беглым шагом,
Хоронясь за все дома?

– Все равно, тебя добуду,
Лучше сдайся мне живьем!
– Эй, товарищ, будет худо,
Выходи, стрелять начнем!

Трах-тах-тах! – И только эхо
Откликается в домах...
Только вьюга долгим смехом
Заливается в снегах...

Трах-тах-тах!
Трах-тах-тах...

...Так идут державным шагом —
Позади – голодный пес,
Впереди – с кровавым флагом,
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди – Иисус Христос.

Январь 1918

Андрей Вознесенский

Тьма

ПЛАВКИ БОГА

Пятидесятые

* * *

Памяти Б. и С.

Эх, Россия!
Эх, размах...
Пахнет псиной
в небесах.

Мимо Марсов, Днепрогэсов,
мачт, антенн, фабричных труб
страшным символом
прогресса
носится собачий труп.

1959

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Над Академией,
осатанев,
грехопадением
падает снег.

Парками, скверами
счастье взвилось.
Мы были первыми.
С нас началось —

рифмы, молитвы,
свист пулевой,
прыганья в лифты
вниз головой!

Сани, погони,
искры из глаз.
Все — эпигоны,

все после нас...

С неба тяжёлого,
сном, чудодейством,
снегом на голову
валится детство,

свалкою, волей,
шапкой с ушами,
шалостью, школой,
непослушаньем.

Здесь мы встречаемся.
Мы однолетки.
Мы задыхаемся
в лестничной клетке.

Автомобилями
мчатся недели.
К чёрту фамилии!
Осточертели!

Разве Монтекки
и Капулетти
локоны, веки,
лепеты эти?

Тысячеустым
четверостишием
чище искусства,
чуда почище.

1950-е

ОСЕННИЙ ВОСКРЕСНИК

Кружатся опилки,
груши и лимоны.
Прямо
на затылки
падают балконы!

Мимо этой сутолоки,
ветра, листопада
мчатся на полуторке
вёдра и лопаты.

Над головоломной

ка —
та —
строфой
мы летим в Коломну
убирать картофель.

Замотаем платица,
брючины засучим.
Всадим заступ в задницы
пахотам и кручам!

1953

КОЛЕСО СМЕХА

Летят носы клубникой,
подолы и трико.
А в центре столб клубится —
ого-го!

Смеху сколько —
скользко!

Девчонки и мальчишки
слетают в снег, визжа,
как с колеса точильщика
иль с веловиража.

Не так ли жизнь заносит
товарищей иных,
им задницы занозит
и скидывает их?

Как мне нужна в поэзии
святая простота,
но мчит меня по лезвию
куда-то не туда.

Обледенели доски.
Лечу под хохот толп,
а в центре, как Твардовский,
стоит дубовый столб.

Слетаю метеором
под хохот и галдёж...
Умора!
Ой, умрёшь.

1953

* * *

Меня пугают формализмом.

Как вы от жизни далеки,
пропахнувшие формалином
и фимиамом знатоки!
В вас, может, есть и целина,
но нет жемчужного зерна.
Искусство мертвенно без искры,

не столько Божьей, как людской,
чтоб слушали бульдозеристы
непроходимую тайгой.

Им приходилось зло и солоно,
но чтоб стояли, как сейчас,

они – небритые, как солнце,
и точно сосны – шелушась.

И чтобы девочка-чувашка,
смахнувши синюю слезу,
смахнувши – чисто и чумазо,
смахнувши – точно стрекозу,
в ладони хлопала раскатисто...

Мне ради этого легки
любых ругателей рогатины
и яростные ярлыки.

1953

ГОРНЫЙ РОДНИЧОК

Стучат каблучонки
как будто копытца
девчонка к колонке
сбегают напиться

и талия блещет
увёртливей змейки
и юбочка плещет
как брызги из лейки

хохочет девчонка
и голову мочит
журчащая чёлка
с водою лопочет
две чудных речонки

к кому кто приник?
и кто тут
девчонка?
и кто тут родник?

1955

* * *

Не надо околичностей,
не надо чушь молоть.
Мы – дети культа личности,
мы кровь его и плоть.
Мы выросли в тумане,
двусмысленном весьма,
среди гигантомании
и скудости ума.
Отцам за Иссык-Кули,
за домны, за пески
не орденами – пулями
сверлили пиджаки.
И серые медали
довесочков свинца,
как пломбы, повисали
на души, на сердца.
Мы не подозревали,
какая шла игра.
Деревни вымирали.
Чернели вечера.
И огненной подковой
горели на заре
венки колючих проволок
над лбами лагерей.
Мы люди, по распутью
ведомые гуськом,
продутые, как прутья,
сентябрьским сквозняком.
Мы – сброшенные листья,
мы музыка оков.
Мы мужество амнистий
и сорванных замков.

Распахнутые двери,
сметённые посты.
И ярость новой ереси,
и яркость правоты.

1956

ДАЧА ДЕТСТВА

Интерьеры скособолены
в оплеухах снежных масс.
В интерьерах блеск пощёчин —
раз-раз!

За проказы, неприличности
и бесстыжие глаза,
за расстёгнутые лифчики —
за-за!

Дым шатает половицы,
искры сыплются из глаз.
Этак дача подпалится —
раз-раз!

Поцелуи и пощёчины,
море солнца, птичий гвалт, —
задыхаемся, хохочем —
март!

1950-е

ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЁЖИ

Пляска затылков,
блузок, грудей —
это в Бутырках
бреют блядей.

Амбивалентно
добро и зло —
может, и Лермонтова
наголо?

Пей вверхтормашками,
влей депрессант,
чтоб нового «Сашку»
не смог написать...

Волос – под ноль.
Воля – под ноль.
Больше не выйдешь
под выходной!

Смех беспокоен,
снег бестолков.
Под «Метрополем»
дробь каблучков.

Точно косули,
зябко стоят.
Вешних сосулек
грешный отряд.

Фары по роже
хлещут, как жгут.
Их в Запорожье
матери ждут.

Их за бутылками
не разглядишь.
Бреют в Бутырках
бедных блядищ.

Эх, бедовая
судьба девчачья!
Снявши голову,
по волосам не плачут.

1956

В. Б.

Нет у поэтов отчества.
Творчество – это отрочество.

Ходит он – синеокий,
гусельки на весу,
очи его – как окуни
или окно в весну.

Он неожидан, как фишка.
Ветренен, точно март...
Нет у поэта финиша.
Творчество – это старт.

1957

ПЕРВЫЙ ЛЁД

Мёрзнет девочка в автомате,
прячет в зябкое пальтецо
всё в слезах и губной помаде
перемазанное лицо.

Дышит в худенькие ладошки.
Пальцы – льдышки. В ушах – серёжки.

Ей обратно одной, одной
вдоль по улочке ледяной.

Первый лёд. Это в первый раз.
Первый лёд телефонных фраз.

Мёрзлый след на щеках блестит —
первый лёд от людских обид.

Поскользнёшься, ведь в первый раз.
Бьёт по радио поздний час.

Эх, раз,
ещё раз,
ещё много, много раз.

1956

СВАДЬБА

Где пьют, там и быют —
чашки, кружки об пол быют,
горшки – в черепки,
молодым под каблуки.
Брызжут чашки на куски:
чьё-то счастье —
в черепки!

И ты в прозрачной юбочке,
юна, бела,
дрожишь, как будто рюмочка
на краешке стола.

Горько! Горько!

Нелёгкая игра.
За что? За горку
с набором серебра?
Где пьют, там и льют —
слёзы, слёзы, слёзы льют...

1956

ТОРГУЮТ АРБУЗАМИ

Москва завалена арбузами.
Пахнуло волей без границ.
И веет силой необузданной
от возбуждённых продавщиц.

Палатки. Гвалт. Платки девчат.
Хохочут. Сдачею стучат.
Ножи и вырезок тузы.
«Держи, хозяин, не тужи!»

Кому кавун? Сейчас расколется!
И так же сочны и вкусны:
милиционерские околыши
и мотороллер у стены.

И так же весело и свойски,
как те арбузы у ворот,
земля мотается
в авоське
меридианов и широт!

1956

ПОЖАР В АРХИТЕКТУРНОМ ИНСТИТУТЕ

Пожар в Архитектурном!
По залам, чертежам,
амнистией по тюрьмам —
пожар, пожар!

По сонному фасаду
бесстыже, озорно,
гориллой краснозадой
взвывается окно!

А мы уже дипломники,
нам защищать пора.

Трещат в шкафу под пломбами
мои выговора!

Ватман – как подраненный,
красный листопад.
Горят мои подрамники,
города горят.

Бутылью керосиновой
взвилось пять лет и зим...
Кариночка Красильникова,
ой! Горим!

Прощай, архитектура!
Пылайте широко,
коровники в амурах,
райклубы в рококо!

О юность, феникс, дурочка,
весь в пламени диплом!
Ты машешь красной юбочкой
и дразнишь язычком.

Прощай, пора окраин!
Жизнь – смена пепелищ.
Мы все перегораем.
Живёшь – горишь.

А завтра, в палец чиркнувши,
вонзится злей пчелы
иглочка от циркуля
из горсточки золы...

...Всё выгорело начисто.
Милиции полно.
Всё – кончено!
Всё – начато!
Айда в кино!

1957

ПЕСНЯ ОФЕЛИИ

Мои дела —
как сажа бела,
была черноброва, светла была,
да всё добро своё раздала,

миру по нитке – голая станешь,
ивой поникнешь, горкой растаешь,
мой Гамлет приходит с угарным дыханьем,
пропахший бензином, чужими духами,
как свечи, бокалы стоят вдоль стола,

идут дела
и рвут удила,
уж лучше б на площадь в чём мать родила,

не крошка с Манежной, не мужу жена,
а жизнь, как монетка,
на решку легла,

искала —
орла,
да вот не нашла...

Мои дела —
как зола – дотла.

1957

МАСТЕРСКИЕ НА ТРУБНОЙ

Дом на Трубной.
В нём дипломники басят.
Окна бубной
жгут заснеженный фасад.
Дому трудно.

Раньше он соцреализма не видал
в безыдейном заведении у мадам.

В нём мы чертим клубы, домны,
но бывало,
стены фрескою огромной
сотрясало,

шла империя вприпляс
под венгерку,
«феи» реяли меж нас
фейерверком!

Мы небриты, как шинель.
Мы шалели,
отбиваясь от мамзель,
от шанели,

но упорны и умны,
сжавши зубы,
проектировали мы
домны, клубы...

Ах, куда вспорхнём с твоих
авиаматок,
Дом на Трубной, наш Парнас,
alma mater?

Я взираю, онемев,
на лекало —
мне районный монумент
кажет
ноженьку
лукаво!

1957

РУССКИЕ ПОЭТЫ

Не пуля, так сплетня
их в гроб уложила,
не с песней, а с петлей
их горло дружило.

И пули свистали,
как в дыры кларнетов,
в пробитые головы
лучших поэтов.

Их свищут метели.
Их пленумы судят.
Но есть Прометеи.
И пленных не будет.

Несётся в поверья
верстак под Москвой.
А я подмастерье
в его мастерской.

Свищу, как попало,
и так и сяк.
Лиха беда начало.
Велик верстак.

1957

ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА

Борька – Любку, Чубук – двух Мил,
а он учительку полюбил!

Елена Сергеевна, ах, она...
(Ленка по уши влюблена!)

Елена Сергеевна входит в класс.
(«Милый!» – Ленка кричит из глаз.)

Елена Сергеевна ведёт урок.
(Ленка, вспыхнув, крошит мелок.)

Понимая, не понимая,
точно в церкви или в кино,
мы взирали, как над пеналами
шло таинственное
о н о...

И стоит она возле окон —
чернокошая, синеокая,
закусивши свой красный рот,
белый табель его берёт!

Что им делать, таким двоим?
Мы не ведаем, что творим.
Педсоветы сидят:
«Учтите,
вы советский никак учитель!

На Смоленской вас вместе видели...»
Как возмездье грядут родители.
Ленка-хищница, Ленка-мразь,
ты ребёнка втоптала в грязь!

«О, спасибо, моя учительница,
за твою высоту лучистую,
как сквозь первый ночной снежок
я затверживал твой урок,

и сейчас, как звон выручалочки,
из жемчужных уплывших стран
окликает меня англичаночка:
«Проспишь алгебру,
мальчуган...»

Ленка, милая, Ленка – где?
Ленка где-то в Алма-Ате.
Ленку сшибли, как птицу влёт...

Елена Сергеевна водку пьёт.

1958

* * *

Б. А.

Дали девочке искру.
Не ириску, а искру,
искру поиска, искру риска.
искру дерзости олимпийской!
Можно сердце зажечь, можно – печь,
можно
землю
к чертям
поджечь!

В папироске сгорает искорка.
И девчонка смеётся искоса.

1958

* * *

У речки-игруньи
у горной глазури
берёзы
в Ингури
берёзы
в Ингури
как портики храма
колонками в ряд
прозрачно и прямо
берёзы стоят

как после разлуки
я в рощу вхожу
раскидываю руки
и до ночи
лежу

сумерки сгущаются
надо мной

белы
качаются смещаются
прозрачные стволы

вот так светло и прямо
по трассе круговой
стоят
прожекторами
салюты над Москвой

1958

НЕМЫЕ В МАГАЗИНЕ

Д. Н. Журавлёву

Немых обсчитали.
Немые вопили.
Медяшек медали
влипали в опилки.

И гневным протестом,
что всё это сказки,
кассирша, как тесто,
вздымалась из кассы.

И сразу по залам,
по курам зелёным,
пахнуло слезами,
как будто озоном.

О, слёз этих запах
в мычащей ораве!..
Два были без шапок.
Их руки орали.

А третий, с беконом,
подобием мата
ревел, как Бетховен,
земно и лохмато.

В стекло барабана,
ладони ломая,
орала судьба моя
глухонемая!

Кассирша, ослабясь,
косилась на солнце
и ленинский абрис

искала в полсотне.

Но не было Ленина.
Всё было фальшью...
Была бакалея.
В ней люди и фарши.

1958

* * *

Сидишь беременная, бледная.
Как ты переменилась, бедная.

Сидишь, одёргиваешь платице,
и плачется тебе, и плачется...

За что нас только бабы балуют,
и губы, падая, дают,

и выбегают за шлагбаумы,
и от вагонов отстают?

Как ты бежала за вагонами,
глядела в полосы оконные...

Стучат почтовые, курьерские,
хабаровские, люберецкие...

И от Москвы до Ашхабада,
остолбёнев до немоты,

стоят, как каменные, бабы,
луне подставив животы.

И, поворачиваясь к свету,
в ночном быту необжитом —

как понимает их планета
своим огромным животом.

1958

ТАЙГОЙ

Твои зубы смелы
в них усмешка ножа

и гудят как шмели
золотые глаза!

Мы бредём от избушки
нам трава до ушей
ты пророчишь мне взбучку
от родных и друзей

ты отнюдь не монахиня
хоть в округе – скиты
бродят пчёлы мохнатые
нагибая цветы

на ромашках роса
как в буддийских пиалах
как она хороша
в длинных мочках фиалок

В каждой капельке-мочке
отражаясь мигая
ты дрожишь как Дюймовочка
только кверху ногами

ты – живая вода
на губах на листке
ты себя раздала
всю до капли – тайге.

1958

СИБИРСКИЕ БАНИ

Бани! Бани! Двери – хлоп!
Бабы прыгают в сугроб.

Прямо с пыли, прямо с жару —
ну и ну!
Слабовато Ренуару
до таких сибирских «ню»!

Что мадонны! Эти плечи,
эти спины наповал —
будто доменной печью
запрокинутый металл.

Задыхаясь от разбега,
здесь на ты, на ты, на ты
чистота огня и снега

с чистотою наготы.

День морозный, чистый, парный.
Мы стоим, четыре парня,
в полушубках, кровь с огнём, —
как их шуткой
шуганём!

Ой, испугу!
Ой, в избушку
как из пушки, во весь дух:
— Ух!..

А одна в дверях задержится,
за приступочку подержится
и в соседа со смешком
кинет
кругленьким снежком!

1958

ТУЛЯ

Кругом тут и туя.
А что такое – Туля?

То ли турчанка —
тонкая талия?

То ли речонка —
горная,
талая?

То ли свистулька?
То ли козуля?
Т у л я!

Я ехал по Грузии,
грушевой, вешней,
среди водопадов
и белых черешней.

Чинары, чонгури,
цветущие персики
о маленькой Туле
свистали мне песенки.

Мы с ней не встречались.

И всё, что успели,
столкнулись – расстались
на Руставели...

Но свищут пичуги
в московском июле:
«Туйт —
ту-ту —
туля!
Туля! Туля!

1958

* * *

По Суздалю, по Суздалю
сосулек, смальт —
авоською с посудой
несётся март.

И колокол над рынком
мotaется серьгой.
Колхозницы – как крынки
в машине грузовой.

Я в городе бидонном,
морозном, молодом.
«Америку догоним
по мясу с молоком!»

Я счастлив, что я русский,
так вижу, так живу.
Я воздух, как краюшку
морозную, жую.

Весна над рыжей кручей,
взяв снеговой рубеж,
весна играет крупом
и ржёт, как жеребец.

А ржёт она над критикой
из толстого журнала,
что видит во мне скрытое
посконное начало.

1958

ТБИЛИССКИЕ БАЗАРЫ

*...носы на солнце лунятся,
как живопись на фресках.*

Долой Рафаэля!
Да здравствует Рубенс!
Фонтаны форели,
цветастая грубость!

Здесь праздники в будни,
арбы и арбузы.
Торговки – как бубны,
в браслетах и бусах.

Индиго индеек.
Вино и хурма.
Ты нынче без денег?
Пей задарма!

Да здравствуют бабы,
торговки салатом,
под стать баобабам
в четыре обхвата!

Базары – пожары.
Здесь огненно, молодо
пылают загаром
не руки, а золото.

В них отблески масел
и вин золотых.
Да здравствует мастер,
что выпишет их!

1958

ОДА СПЛЕТНИКАМ

Я сплавлю скважины замочные.
Клевещущему – исполать.
Все репутации подмочены.
Треши,
трёхспальная кровать!

У, сплетники! У, их рассказы!
Люблю их царственные рты,

их уши,
точно унитазы,
непогрешимы и чисты.

И версии урчат отчаянно
в лабораториях ушей,
что кот на даче у Ошанина
сожрал соседских голубей,
что гражданина А. в редиске
накрыли с балериной Б...

Я жил тогда в Новосибирске
в блистанье сплетен о тебе.
Как пулемёты, телефоны
меня косили наповал.
И точно тенор – анемоны,
я анонимки получал.

Междугородные звонили.
Их голос, пахнувший ванилью,
шептал, что ты опять дуришь,
что твой поклонник толст и рыж,
что таешь, таешь льдышкой тонкой
в пожатье пышущих ручищ...

Я возвращался.
На Волхонке
лежали чёрные ручьи.

И всё оказывалось шуткой,
насквозь придуманной виной,
и ты запахивала шубку
и пахла снегом и весной.

Так ложь становится гарантией
твоей любви, твоей тоски...

Орите, милые, горланьте!..
Да здравствуют клеветники!

Смакуйте! Дёргайтесь от тика!
Но почему так страшно тихо?

Тебя не судят, не винят,
и телефоны не звонят...

1958

БАЛЛАДА ТОЧКИ

«Баллада? О точке?! О смертной пилюле?!»

Балда!

Вы забыли о пушкинской пуле!

Что ветры свистали, как в дыры кларнетов,
в пробитые головы лучших поэтов.

Стрелую пронзив самодурство и свинство,
к потомкам неслась траектория свиста!
И не было точки. А было – начало.

Мы в землю уходим, как в двери вокзала.
И точка тоннеля, как дуло, черна...
В бессмертье она?
Иль в безвестность она?...

Нет смерти. Нет точки. Есть путь пулевой —
вторая проекция той же прямой.

В природе по смете отсутствует точка.
Мы будем бессмертны. И это – точно!

1958

БАЛЛАДА РАБОТЫ

Е. Евтушенко

Пётр
Первый —
пот
первый...
не царский (от шубы,
от баньки с музыкой) —
а радостный,
грубый,
мужицкий!

От плотской забавы
гудела спина,
от плотницкой бабы,
пилы, колуна.

Аж в дуги сгибались
дубы топорниц!

Аж щепки вонзались
в Стамбул и Париж!

А он только крякал,
упруг и упрям,
расставивши краги,
как башенный кран.

А где-то в Гааге
духовный буян,
бродяга отпетый,
и нос точно клубень —
Петер?
Рубенс?!

А может, не Петер?
А может, не Рубенс?
Но жил среди петель
рубинов и рубищ,
где в страшных пучинах
восстаний и путчей
неслись капуцины,
как бочки с капустой.

Его обнажённые идеалы
бугрились, как стёганные одеяла.

Дух жил в стройном гранде,
как бургер
обрюзгший,
и брюхо моталось
мохнатую
брюквой.

Женившись на внучке,
свихнувшись отчасти,
он уши топорщил,
как ручки от чашки.

Дымясь волосами, как будто над чаном,
он думал.
И всё это было началом,
началом, рожающим Савских и Саский...

Бьёт пот —
олимпийский,
торжественный,
царский!
Бьёт пот

(чтобы стать жемчугами Вирсавии).
Бьёт пот
(чтоб сверкать сквозь фонтаны Версаля).
Бьёт пот,
превращающий на века
художника – в бога, царя – в мужика!

Вас эта высокая влага кропила,
чело целовала и жгла, как крапива.
Вы были как боги – рабы ремесла!..

В прилипшей ковбойке
стою у стола.

1958

* * *

Друг, не пой мне песню про Сталина.
Эта песенка непростая.
Непроста усов седина.
То хрустальна, а то мутна.

Как плотина, усы блистали,
как присяга иным векам.
Партизаночка шла босая
к их сиянию по снегам.

Кто в них верил? И кто в них сгинул,
как иголка в седой копне?
Их разглаживали при гимне.
Их мочили в красном вине.

И торжественно над страной,
словно птица страшной красы,
плыли с красною бахромою
государственные усы...

Друг, не пой мне песню про Сталина.
Ты у гроба его не простаивал,
проводя – аж губы в кроввь —
роковую свою любовь.

1958

* * *

Кто мы – фишки или великие?
Гениальность в крови планеты.
Нету «физиков», нету «лириков» —
лилипуты или поэты!

Независимо от работы
нам, как оспа, привился век.
Ошарашивающее – «Кто ты?»
нас заносит, как велотрек.

Кто ты? Кто ты? А вдруг – не то?...
Как Венеру шерстит пальто!
Кукарекать стремятся скворки,
архитекторы – в стихотворцы!

Ну а ты?...
Уж который месяц —
В звёзды метишь, дороги месишь...
Школу кончила, косы сбросила,
побыла продавщицей – бросила.

И опять, и опять, как в салочки,
меж столешниковых афиш,
несмышлёныш,
олешка,
самочка,
запыхавшаяся стоишь!..

Кто ты? Кто?! – Ты глядишь с тоскою
в книги, в окна – но где ты там? —
Припадаешь, как к телескопам,
к неподвижным мужским зрачкам...

Я брожу с тобой, Верка, Вега...
Я и сам посреди лавин,
вроде снежного человека,
абсолютно неуловим.

1958

ВЕЧЕРИНКА

Подгулявшей гурьбою
все расселись. И вдруг —
где
двое?!
Нет
двух!

Может, ветром их сдуло?
Посреди кутежа
два пустующих стула,
два лежащих ножа.

Они только что пили
из бокалов своих.
Были —
сплыли.
Их нет, двоих.

Водою талою —
ищи-свищи!
Сбежали, бросив к дьяволу
приличья и плащи!

Сбежали, как сбегает
с фужеров гуд.
Так реки берегами,
так облака бегут.

Так убегает молодость
из-под опеки,
и так весною поросли
пускаются в побег!

В разгаре вечеринка,
но смелость этих двух
закинутыми спинками
захватывает дух!

1959

ЁЛКА

За окном кариатиды,
а в квартирах — каблуки...
Ёлок
крылья
реактивные
прошибают потолки!
Что за чуда нам пророчатся?
Какая из шарад
в этой хвойной непорочности,
в этих огненных шарах?!
Ах, девочка с мандолиной!
Одуряя и жуя,

полыхает мандарином
рыжей чёлки кожура!
Расшалилась, точно школьница,
иглочки грызёт...
Что хочется,
чем колетса
ей следующий год?
Века, бокалы, луны...
«Туши! Туши!»
Любовь всегда —
кануны.
В ней —
Новый год
души.
а ёлочное буйство,
как женщина впотьмах, —
вся в будущем,
как в бусах,
и иглы на губах!

1959

ГОЙЯ

Я – Гойя!
Глазницы воронок мне выклевал ворон,
слетая на поле нагое.
Я – Горе.

Я – голос
войны, городов головни
на снегу сорок первого года.
Я – Голод.
Я – горло
повешенной бабы, чьё тело, как колокол,
било над площадью голой...
Я – Гойя!

О, грозди
возмездья! Взвил залпом на Запад —
я пепел незваного гостя!
И в мемориальное небо вбил крепкие звёзды —
как гвозди.

Я – Гойя.

1959

ПАРАБОЛИЧЕСКАЯ БАЛЛАДА

Судьба, как ракета, летит по параболе
обычно – во мраке, и реже – по радуге.
Жил огненно-рыжий художник Гоген,
богема, а в прошлом – торговый агент.
Чтоб в Лувр королевский попасть из Монмартра,
он дал кругалю через Яву с Суматрой!

Унёсся, забыв сумасшествие денег,
кудахтанье жён и дерьмо академий.
Он преодолел тяготенье земное.

Жрецы гоготали за кружкой пивною:
«Прямая – короче, парабола – круче,
не лучше ль скопировать райские кущи?»

А он уносился ракетой ревушей
сквозь ветер, срывающий фалды и уши.
И в Лувр он попал не сквозь главный порог —
параболой гневно пробив потолок!

Идут к своим правдам, по-разному храбро,
червяк – через щель, человек – по параболе.

Жила-была девочка рядом в квартале.
Мы с нею учились, зачёты сдавали.
Куда ж я уехал! И чёрт меня нёс
меж грузных тбилисских двусмысленных звёзд!

Прости мне дурацкую эту параболу.
Простывшие плечики в чёрном парадном...
О, как ты звенела во мраке Вселенной
упруго и прямо – как прутик антенны!
А я всё лечу, приземляясь по ним —
земным и озябшим твоим позывным.
Как трудно даётся нам эта парабола!..

Сметая каноны, прогнозы, параграфы,
несутся искусство, любовь и история —
по параболической траектории!

В Сибирь уезжает он нынешней ночью.
....
А может быть, всё же прямая – короче?

1959

МАСТЕРА

Поэма

ПЕРВОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ

Колокола, гудошники...
Звон. Звон...

Вам,
художники
всех времён!

Вам,
Микеланджело,
Барма, Дант!
Вас молниёю заживо
испепелял талант.

Ваш молот не колонны
и статуи тесал —
сбивал со лбов короны
и троны сотрясал.

Художник первородный —
всегда трибун.
В нём дух переворота
и вечно — бунт.

Вас в стены муровали.
Сжигали на кострах.
Монахи муравьями
плясали на костях.

Искусство воскресало
из казней и из пыток
и било, как кресало,
о камни Моабитов.

Кровавые мозоли.
Зола и пот.
И Музу, точно Зою,
вели на эшафот.

Но нет противоядия
её святым словам —
воители,
ваятели,
слава вам!

ВТОРОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ

Москва бурлит, как варево,
под колокольный звон...

Вам,
варвары
всех времён!

Цари, тираны,
в тиарах яйцевидных,
в пожарищах-сутанах
и с жерлами цилиндров!

Империи и кассы
страхуя от огня,
вы видели в Пегасе
троянского коня.

Ваш враг – резец и кельма.
И выжженные очи,
как
клейма,
горели среди ночи.

Вас моё слово судит.
Да будет – срам,
да
будет
проклятье вам!

I

Жил-был царь.
У царя был двор.
На дворе был кол.
На колу не мочало —
человека мотало!

Хвор царь, хром царь,
а у самых хором ходит вор и бунтарь.
Не туга мошна,
да рука мощна!
Он деревни мутит.
Он царевне свистит.

И ударил жезлом
и велел государь,
чтоб на площади главной
из цветных терракот
храм стоял семиглавый —
семиглавый дракон.

Чтоб царя сторожил.
Чтоб народ страшил.

II

Их было смелых – семеро,
их было сильных – семеро,
наверно, с моря синего
или откуда с севера,

где Ладога, луга,
где радуга-дуга.

Они ложили кладку
вдоль белых берегов,
чтобы взвились, точно радуга,
семь разных городов.

Как флаги корабельные,
как песни корабейные.

Один – червонный, башенный,
разбойный, бесшабашный.
Другой – чтобы, как девица,
был белогруд, высок.
А третий – точно деревце,
зелёный городок!

Узорные, кирпичные,
цветите по холмам...
Их привели опричники,
чтобы построить храм.

III

Кудри – стружки,
руки – на рубанки.
Яростные, русские,
красные рубахи.

Очи – ой, отчаянны!
При подобной силе —
как бы вы нечаянно
царство не спалили!..

Бросьте, дети бисовы,
кельмы и резцы.
Не мечите бисером
изразцы.

IV

Не памяти юродивой
вы возводили храм,
а богу плодородия,
его земных дарам.

Здесь купола – кокосы,
и тыквы – купола.
И бирюза кокошников
окошки оплела.

Сквозь кожуру мишурную
глядело с завитков,
что чудилось Мичурину
шестнадцатых веков.

Диковины кочанные,
их буйные листы,
кочевников колчаны
и кочетов хвосты.

И башенки буравами
взвивались по бокам,
и купола булавами
грозили облакам!

И москвичи молились

столь дерзкому труду —
арбузу и маису
в чудовищном саду.

V

Взглянув на главы-шлемы,
боярин рёк:
– У, шельмы,
в бараний рог!
Сплошные перламутры —
сойдёшь с ума.
Уж больно баламутны
их сурик и сурьма.
Купец галантный,
куль голландский,
шипел: – Ишь, надругательство,
хула и украшательство.
Нашёл уж царь работников —
смутьянов и разбойничков!
У них не кисти,
а кистени.
Семь городов, антихристы,
задумали они.
Им наша жизнь – кабальная,
им Русь – не мать!

...А младший у кабатчика
всё похвалялся, тать,
как в ночь перед заутреней,
охальник и бахвал,
царевне
целомудренной
он груди целовал...

И дьяки присные,
как крысы по углам,
в ладони прыснули:
– Не храм, а срам!..

...А храм пылал вполнеба,
как лозунг к мятежам,
как пламя гнева —
крамольный храм!

От страха дьякон пятился,
в сундук купчишко прятался.

А немец, как козёл,
скакал, задрал камзол.
Уж как ты зол,
храм антихристовый!..

А мужик стоял да подсвистывал,
всё посвистывал, да поглядывал,
да топор
рукой всё поглаживал...

VI

Холод, хохот, конский топот да собачий звонкий
лай.
Мы, как дьяволы, работали, а сегодня – пей,
гуляй!
Гуляй!
Девкам юбки заголяй!

Эх, на синих, на глазурных да на огненных
саях...
Купола горят глазуньями на распахнутых
снегах.
Ах! —
Только губы на губах!

Мимо ярмарок, где яркие яйца, кружки, караси.
По соборной, по собольей, по оборванной
Руси —
эх, еси —
только ноги уноси!

Завтра новый день рабочий грянет в тысячу
ладов.
Ой, вы, плотнички, пилите тёс для новых
городов.

Го-ро-дов?
Может, лучше – для гробов?...

VII

Тюремные стены.
И нем рассвет.
А где поэма?

Поэмы нет.

Была в семь глав она —
как храм в семь глав.
А нынче безгласна —
как лик без глаз.

Она у плахи.
Стоит в ночи.

...
И руки о рубахи
отёрли палачи.

РЕКВИЕМ

Вам сваи не бить, не гулять по лугам.
Не быть, не быть, не быть городам!

Узорчатым башням в тумане не плыть.
Ни солнцу, ни пашням, ни соснам — не быть!

Ни белым, ни синим — не быть, не бывать.
И выйдет насильник губить-убивать.

И женщины будут в оврагах рожать,
и кони без всадников — мчаться и ржать.

Сквозь белый фундамент трава прорастёт.
И мрак, словно мамонт, на землю сойдёт.

Растерзанным бабам на площади выть.
Ни белым, ни синим, ни прочим — не быть!
Ни в снах, ни воочию — нигде, никогда...
Врёте,
сволочи,
будут города!

Над ширью вселенской
в лесах золотых
я,
Вознесенский,
воздвигну их!

Я — парень с Калужской,
я явно не промах.
В фуфайке колючей,
с хрустящим дипломом.

Я той же артели,
что семь мастеров.
Бушуйте в артериях,
двадцать веков!

Я тысячерукий —
руками вашими,
я тысячеокий —
очами вашими.

Я осуществляю в стекле
и металле,
о чём вы мечтали,
о чём — не мечтали...

Я со скамьи студенческой
мечтаю, чтобы зданья
ракетою
стоступенчатой
взвивались
в мирозданье!

И завтра ночью блядскою
в 0.45
я еду
Братскую
осуществлять!

...А вслед мне из ночи
окон и бойниц
установились очи
безглазых глазниц.

1959

ОСЕНЬ

С. Щипачёву

Утиных крыльев переплеск.
И на тропинках заповедных
последних паутинок блеск,
последних спиц велосипедных.

И ты примеру их последуй,
стучись проститься в дом последний.
В том доме женщина живёт
и мужа к ужину не ждёт.

Она откинет мне щеколду,
к тужурке припадёт щекою,
она, смеясь, протянет рот.
И вдруг, погаснув, всё поймёт —
поймёт осенний зов полей,
полёт семян, распад семей...

Озябшая и молодая,
она подумает о том,
что яблонька и та – с плодами,
бурёнушка и та – с телком.

Что бродит жизнь в дубовых дуплах,
в полях, в домах, в лесах продутых,
им – колоситься, токовать.
Ей – голосить и тосковать.

Как эти губы жарко шепчут:
«Зачем мне руки, груди, плечи?
К чему мне жить, и печь топить,
и на работу выходить?»

Её я за плечи возьму —
я сам не знаю что к чему...

А за окошком в юном инее
лежат поля из алюминия.
По ним – черны, по ним – седы,
до железнодорожной линии
протянутся мои следы.

1959

ТУМАННАЯ УЛИЦА

Туманный пригород как турман.
Как полавки – милиционеры.
Туман.
Который век? Которой эры?

Всё – по частям, подобно бреду.
Людей как будто развинтили...
Бреду.
Верней – барахтаюсь в ватине.

Носы. Подфарники. Околыши.
Они, как в фодисе, двоятся.

Калоши?
Как бы башкой не обменяться!

Так женщина – от губ едва,
двоясь и что-то воскрешая,
уж не любимая – вдова,
ещё твоя, уже – чужая...

О тумбы, о прохожих трусь я...
Венера? Продавец мороженого!..

Друзья?
Ох, эти яго доморощенные!

Я спотыкаюсь, бьюсь, живу,
туман, туман – не разберёшься,
о чью щеку в тумаке трёшься?...
Ау!

Туман, туман – не дозовёшься...

1959

ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА

Мальчики с финками, девочки с фиксами.
Две контролёрши заснувшими сфинксами.

Я еду в этом тамбуре,
спасаясь от жары.
Кругом гудят, как в таборе,
гитары и воры.

И как-то получилось,
что я читал стихи
между теней плечистых,
окурков, шелухи.

У них свои ремёсла.
А я читаю им,
как девочка примёрзла
к окошкам ледяным.

На чёрта им девчонка
и рифм ассортимент?
Таким, как эта, – с чёлкой
и пудрой в сантиметр?!

Стоишь – черты спитые,
на блузке видит взгляд
всю дактилоскопию
малаховских ребят.

Чего ж ты плачешь бурно,
и, вся от слёз светла,
мне шепчешь нецензурно —
чистейшие слова?...

И вдруг из электрички,
ошеломив вагон,
ты, чище Беатриче,
сбегаешь на перрон!

1959

* * *

Мы писали историю
не пером – топором.
Сколько мы понастроили
деревень и хором.

Пахнут стружкой фасады,
срубы башни, шатры.
Сколько барских усадеб
взято в те топоры!

Сотрясай же основы!
Куй, пока горячо.
Мы последнего слова
не сказали ещё.

Взрогнут крыши и листья.
И поляжет весь свет
от трёхпалого свиста
межпланетных ракет.

1959

ТИШИНЫ ХОЧУ!

Шестидесятые

Между кошкой и собакой

Лиловые сумерки Парижа. Мой номер в гостинице.

Сумерки настаиваются, как чай. За круглым столом напротив меня сидит, уронив голову на локоть, могучий Твардовский. Он любил приходить к нам, молодым поэтам, тогда, потому что руководитель делегации Сурков прятал от него бутылки и отнимал, если находил. А может, и потому, что и ему приятно было поговорить с независимыми поэтами. Пиетет наш к нему был бескорыстен – мы никогда не носили стихи в журнал, где он редактировал, не обивали пороги его кабинета.

В отдалении, у стены, на тёмно-зелёной тахте полувозлежит медноволосая юная женщина, надежда русской поэзии. Её оранжевая чёлка спадала на глаза подобно прядкам пуделя.

Угасающий луч света озаряет белую тарелку на столе с останками апельсина. Женщина приоткрывает левый глаз и, напряжённо шупая почву, начинает: «Александр Трифонович, подайте-ка мне апельсин. – И уже смело: Закусить».

Трифонович протрезвел от такой наглости. Он вытаращил глаза, очумело огляделся, потом, что-то сообразив, усмехнулся. Он встал; его грузная фигура обрела грацию; он взял тарелку с апельсином, на левую руку по-лакейски повесил полотенце и изящно подошёл к тахте.

«Многоуважаемая сударыня, – он назвал женщину по имени и отчеству. – Вы должны быть счастливы, что первый поэт России преподносит Вам апельсин. Закусить».

Вы попались, Александр Трифонович! Едва тарелка коснулась тахты, второй карий глаз лукаво приоткрылся: «Это Вы должны быть счастливы, Александр Трифонович, что Вы преподнесли апельсин первому поэту России. Закусить».

И тут я, давась от смеха, подаю голос: «А первый поэт России спокойно смотрит на эту пикировку».

Поэт – всегда или первый, или никакой.

БЬЮТ ЖЕНЩИНУ

Бьют женщину. Блестит белок.
В машине темень и жара.
И бьются ноги в потолок,
как белые прожектора!

Бьют женщину. Так бьют рабынь.
Она в заплаканной красе
срывает ручку, как рубильник,
выбрасываясь на шоссе!

И взвизгивали тормоза.
К ней подбегали, тормоша.

И волочили, и лупили
лицом по лугу и крапиве...

Подонки, как он бил подробно,
стиляга, Чайльд-Гарольд, битюг!
Вонзался в дышащие рёбра
ботинок узкий, как утюг.

О, упоенье оккупанта,
изыски деревенщины...
У поворота на Купавну
бьют женщину.

Бьют женщину. Веками бьют,
бьют юность, бьёт торжественно
набата свадебного гуд,
бьют женщину.

А от жаровен сквозь уют
горящие затрешины?
Не любят – бьют, и любят – бьют,
бьют женщину.

Но чист её высокий свет,
отважный и божественный.
Религий – нет, знамений – нет.
Есть Женщина!..

...Она, как озеро, лежала,
стояли очи, как вода,
и не ему принадлежала,
как просека или звезда,

и звёзды по небу стучали,
как дождь о чёрное стекло,
и, скатываясь, остужали
её горячее чело.

1960

ГИТАРА

Б. Окуджаве

К нам забредал Булат
под небо наших хижин
костлявый как бурлак
он молод был и хищен

и огненной настурцией
робея и наглея
гитара как натурщица
лежала на коленях

она была смирней
чем в таинстве дикарь
и тёмный город в ней
гудел и затихал

а то как в рёве цирка
вся не в своём уме —
горящим мотоциклом
носилась по стене!

мы – дети тех гитар
отважных и дрожащих
между подруг дражайших
неверных как янтарь

среди ночных фигур
ты губы морщишь едко
к ним как бикфордов шнур
крадётся сигаретка

1960

* * *

По мотивам Расула Гамзатова

Если б были чемпионаты,
кто в веках по убийствам первый, —
ты бы выиграл, Век Двадцатый.
Усмехается Век Двадцать Первый.

Если б были чемпионаты,
кто по лжи и подлостям первый,
ты бы выиграл, Век Двадцатый.
Усмехается Век Двадцать Первый.

Если б были чемпионаты,
кто по подвигам первый, —
нет нам равных, мой Век Двадцатый!..
Безмолвствует Двадцать Первый.

1960

БАЛЛАДА 41-го ГОДА

Партизанам Керченской каменоломни

Рояль вползал в каменоломню.
Его тащили на дрова
к замёрзшим чанам и половням.
Он ждал удара топора!

Он был без ножек, чёрный ящик,
лежал на брюхе и гудел.

Он тяжело дышал, как ящер,
в пещерном логове людей.
А пальцы вспухшие алели.
На левой – два, на правой – пять...
Он
опускался
на колени,
чтобы до клавишей достать.

Семь пальцев бывшего завклуба!
И, обмороженно-суха,
с них, как с разваренного клубня,
дымясь, сползала шелуха.

Металась пламенем сполошным
их красота, их божество...
И было величайшей ложью
всё, что игралось до него!

Все отраженья люстр, колонны...
Во мне ревёт рояля сталь.
И я лежу в каменоломне.
И я огромен, как рояль.

Я отражаю штолен сажу.
Фигуры. Голод. Блеск костра.
И, как коронного пассажи,
я жду удара топора!

1960

КРОНЫ И КОРНИ

Несли не хоронить,
несли короновать.

Седее, чем гранит,
как бронза – красноват,
дымясь локомотивом,
художник жил,
лохмат,
ему лопаты были
божественней лампад!

его сирень томила...
Как звездопад,
в поту,
его спина дымилась
буханкой на поду!..

Зияет дом его.
Пустые этажи.
На даче никого.
В России – ни души.

Художники уходят
Без шапок,
будто в храм,
в гудящие уголья,
к берёзам и дубам.

Побеги их – победы.
Уход их – как восход
к полянам и планетам
от ложных позолот.

Леса роняют кроны.
Но мощно над землёй
ворочаются корни
корявой пятернёй.

1960

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ОЧЕЙ

Третий месяц её хохот нарочит,
третий месяц по ночам она кричит.
А над нею, как сиянье, голося,
вечерами
разражаются
глаза!
Пол-лица ошеломлённое стекло
вертикальными озёрами зажгло.

...Ты худеешь. Ты не ходишь на завод,
ты их слушаешь, как лунный садовод,
жизнь и боль твоя, как влага к облакам,
поднимается к наполненным зрачкам.

Говоришь: «Невыносима синева!
И разламывает голова!
Кто-то хищный и торжественно-чужой
свет зажёл и поселился на постой...»

Ты грустишь – хохочут очи, как маньяк.
Говоришь – они к аварии манят.
Вместо слёз —
иллюминированный взгляд.
«Симулирует», – соседи говорят.

Ходят люди, как глухие этажи.
Над одной горят глаза, как витражи.

Сотни женщин их носили до тебя,
сколько муки накопили для тебя!
Раз в столетие
касается
людей
это Противостояние Очей!..
...Возле моря отрешённо и отчаянно
бродит женщина, беременна очами.

Я под ними не бродил,
за них жизнью заплатил.

1961

МОНОЛОГ БИТНИКА

Лежу бухой и эпохальный.
Постигаю Мичиган.
Как в губке, время набухает
в моих веснушчатых щеках.

В лице, лохматом, как берлога,
лежат озябшие зрачки.
Перебираю, как брелоки,
прохожих, огоньки.

Ракетодромами гремя,
дождями атомными рея,

Плевало время на меня,
плюю на время!

Политика? К чему валандаться!
Цивилизация душна.
Вхожу, как в воду с аквалангом,
в тебя, зелёная душа.

Мы – битники. Среди хулы
мы – как зверёныши, волчата.
Скандалы, точно кандалы,
за нами с лязгом волочатся.

Когда магнитофоны ржут,
с опухшим носом скомороха,
вы думали – я шут?
Я – суд!
Я – Страшный суд. Молись, эпоха!

1961

НОЧНОЙ АЭРОПОРТ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Автопортрет мой, реторта неона, апостол
небесных ворот —
аэропорт!

Брезжат дюралевые витражи,
точно рентгеновский снимок души.
Как это страшно, когда в тебе небо стоит
в тлеющих трассах необыкновенных столиц!

Каждые сутки
тебя наполняют, как шлюз,
звёздные судьбы
грузчиков, шлюх.

В баре, как ангелы, гаснут твои алкоголики,
ты им глаголешь!

Ты их, прибитых,
возвышаешь!
Ты им «Прибытье»
возвещаешь!

* * *

Ждут кавалеров, судеб, чемоданов, чудес...
Пять «Каравелл»
ослепительно
сядут с небес!
Пять полуночниц шасси выпускают устало.
Где же шестая?

Видно, допрыгалась —
блядь, аистёнок, звезда!..
Электроплитками
пляшут под ней города.

Где она реет,
стонет, дурит?
И сигареткой
в тумане горит?

Она прогноз не понимает.
Её земля не принимает.

* * *

Худы прогнозы. И ты в ожидании бури,
как в партизаны, уходишь в свои вестибюли.

Мощное око взирает в иные мира.
Мойщики окон
слезят тебя, как мошкара,
Звёздный десантник, хрустальное чудище,
сладко, досадно быть сыном будущего,
где нет дураков
и вокзалов-торгов —
одни поэты и аэропорты!
Стонет в аквариумном стекле
небо,
приваренное к земле.

* * *

Аэропорт — озона и солнца

аккредитованное посольство!

Сто поколений
не смели такого коснуться —
преодоления
несущих конструкций.
Вместо каменных истуканов
стынет стакан синевы —
без стакана.
Рядом с кассами-теремами
он, точно газ,
антиматериален!
Бруклин – дурак, твердокаменный чёрт.

Памятник эры —
Аэропорт.

1961

ВСТУПЛЕНИЕ

Открывайся, Америка!
Эврика!

Короную Емельку,
открываю, сопя,
в Америке – Америку,
в себе —
себя.

Рву кожуру с планеты,
сметаю пыль и тлен,
спускаюсь
в глубь
предмета,
как в метрополитен.

Там груши – треугольные,
ищу в них души голые.
Я плод трапециевидный
беру, не чтоб глотать —
чтоб стёкла-сердцевинки
сияли, как алтарь!

Исследуйте, орудуйте,
не дуйте в ус,
пусть врут, что изумрудный, —
он красный, ваш арбуз!

Дарвины, Рошали
ошибались начисто.
Скромность украшает?
К чёрту украшательство!

Вгрызаюсь, как легавая,
врубаюсь, как колун...
Художник хулиганит?
Балуй,
Колумб!

По наитию
дую к берегу...
Ищешь
Индию —
найдёшь
Америку!

1961

ВТОРОЕ ВСТУПЛЕНИЕ

Обожаю
твой пожар этажей, устремлённых
к окрестностям рая!
Я – борзая,
узнавшая гон наконец, я – борзая!
Я тебя догоню и породу твою распознаю.
По базарному дну
ты, как битница, дуешь, босая!

Под брандспойтом шоссе мои уши кружились,
как мельницы,
по безбожной, бейсбольной,
по бензоопасной Америке!

Кока-кола. Колокола.
Вот нелёгкая занесла!

Ты, чертовски дразня, сквозь чертоги вела и задворки,
и на женщин глаза
отлетали, как будто затворы!

Мне на шею с витрин твои вещи дешёвками вешались.
Но я душу искал,
я турил их, забывши про вежливость.

Я спускался в Бродвей, как идут под водой с аквалангом.
Синей лампой в подвале
плясала твоя негритянка!

Я был рядом почти, но ты зябко ушла от погони.
Ты прочти и прости,
если что в суматохе не понял...

Я на крыше, как гном,
над нью-йоркской стою планировкой.
На мизинце моём
твоё солнце – как божья коровка.

1961

МОТОГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТЕНЕ

Н. Андросовой

Заворачивая, манежа,
свищет женщина по манежу!
Краги —
красные, как клешни.
Губы крашенные – грешны.
Мчит торпедой горизонтальною,
хризантему заткнув за талию!

Ангел атомный, амазонка!
Щёки вдавлены, как воронка.
Мотоцикл над головой
электрической пилой.

Надоело жить вертикально.
Ах, дикарочка, дочь Икара...
Обыватели и весталки
вертикальны, как ваньки-встаньки.

В этой, взвившейся над зонтами,
меж оваций, афиш, обид,
сущность женщины
горизонтальная
мне мерещится и летит!

Ах, как кружит её орбита!
Ах, как слёзы к белкам прибиты!
И тиранит её Чингисхан —
замдиректора Сингичанц...

Сингичанц:

«Ну, а с ней не мука?
Тоже трюк – по стене, как муха...
А вчера камеру проколола... Интриги...
Пойду, напишу по инстанции...
И царапается, как конокрадка».
Я к ней вламываюсь в антракте.
«Научи, – говорю, – горизонту...»

А она молчит, амазонка.
А она головой качает.
А её ещё трек качает.
А глаза полны такой —
горизонтальной
тоской!..

1961

ОСЕНЬ В СИГУЛДЕ

Свисаю с вагонной площадки,
прощайте,

прощай моё лето,
пора мне,
на даче стучат топорами,
мой дом забивают дощатый,
прощайте,

леса мои сбросили кроны,
пусты они и грустны,
как ящик с аккордеона,
а музыку – унесли,

мы – люди,
мы тоже порожни,
уходим мы,
так уж положено,

из стен,
матерей
и из женщин,
и этот порядок извечен,

прощай, моя мама,
у окон
ты станешь прозрачно, как кокон,
наверно, умаялась за день,
присядем,

друзья и враги, бывайте,
good bye,
из меня сейчас
со свистом вы выбегаете,
и я ухожу из вас,

о родина, прощаемся,
буду звезда, ветла,
не плачу, не попрошайка,
спасибо, жизнь, что была,

на стрельбищах
в 10 баллов
я пробовал выбить 100,
спасибо, что ошибался,
но трижды спасибо, что

в прозрачные мои лопатки
вошла гениальность, как
в резиновую перчатку
красный мужской кулак,

«Андрей Вознесенский» – будет,
побыть бы не словом, не бульдиком,
ещё на щеке твоей душной —
«Андрюшкой»,

спасибо, что в рощах осенних
ты встретила, что-то спросила
и пса волокла за ошейник,
а он упирался,
спасибо,

я ожил, спасибо за осень,
что ты мне меня объяснила,
хозяйка будила нас в восемь,
а в праздники сипло басыла
пластинка блатного пошиба,
спасибо,

но вот ты уходишь, уходишь,
как поезд отходит, уходишь...
из пор моих полых уходишь,
мы врозь друг из друга уходим,
чем нам этот дом неуютен?

ты рядом и где-то далёко,
почти что у Владивостока,

я знаю, что мы повторимся
в друзья и подругах, в травинках,
нас этот заменит и тот —
«природа боится пустот»,

спасибо за сдутые кроны,
на смену придут миллионы,
за ваши законы – спасибо,

но женщина мчится по склонам,
как огненный лист за вагоном...

Спасите!

1961

СТРИПТИЗ

В ревю
танцовщица раздевается, дуля...
Реву?...
Или режут мне глаза прожектора?

Шарф срывает, шаль срывает, мишуру,
как сдирают с апельсина кожуру.

А в глазах тоска такая, как у птиц.
Этот танец называется «стриптиз».
Страшен танец. В баре лысины и свист,
как пиявки, глазки пьяниц налились.
Этот рыжий, как обляпанный желтком,
пневматическим исходит молотком!

Тот, как клоп, —
апоплексичен и страшон.
Апокалипсисом воет саксофон!

Проклинаю твой, Вселенная, масштаб!
Марсианское сиянье на мостах,
проклинаю,
обожая и дивясь.
Проливная пляшет женщина под джаз!..

«Вы Америка?» – спрошу как идиот.
Она сядет, сигаретку разомнёт.

«Мальчик, – скажет, – ах, какой у вас акцент!

Закажите-ка мартини и абсент».

1961

НЬЮ-ЙОРКСКАЯ ПТИЦА

На окно ко мне садится
в лунных вензелях
алюминиевая птица —
вместо тела
фюзеляж

и над её шеей гайковой
как пламени язык
над гигантской зажигалкой
полыхает
женский
лик!

(в простынь капиталистическую
завернувшись, спит мой друг.)

кто ты? бред кибернетический?
полуробот? полудух?
помесь королевы блюза
и летающего блюда?

может ты душа Америки
уставшей от забав?
кто ты юная химера
с сигареткою в зубах?

но взирают не мигая
не отёрши крем ночной
очи как на Мичигане
у одной

у неё такие газовые
под глазами синячки
птица что предсказываешь?
птица не солги!

что ты знаешь, сообщаешь?
что-то странное извне
как в сосуде сообщающемся
подымается во мне

век атомный стонет в спальне...

(Я ору. И, матерясь,
мой напарник
как ошпаренный
садится на матрас.)

1961

СИРЕНЬ «МОСКВА – ВАРШАВА»

Р. Гамзатову

11. III.61

Сирень прощается, сирень – как лыжница,
сирень, как пудель, мне в щёки лижется!
Сирень зарёвана,
сирень – царевна,
сирень пылает ацетиленом!

Расул Гамзатов хмур, как бизон.
Расул Гамзатов сказал: «Свезём».

12. III.61

Расул упарился. Расул не спит.
В купе купальщицей сирень дрожит.
О, как ей боязно! Под низом
колёса поезда – не чернозём.
Наверно, в мае цвести «красивей»...
Двойник мой, магия, сирень, сирень,
сирень как гений! Из всех одна
на третьей скорости цветёт она!

Есть сто косулей —
одна газель.
Есть сто свистулек – одна свирель.
Несовременно цвести в саду.
Есть сто сиреней.
Люблю одну.

Ночные грозди гудят махрово,
как микрофоны из мельхиора.

У, дьявол-дерево! У всех мигрень.
Как сто салютов, стоит сирень.

13. III.61

Таможник вздрогнул: «Живьём? В кустах?!»

Таможник, ахнув, забыл устав.

Ах, чувство чуда – седьмое чувство...
Вокруг планеты зелёной люстрой,
промеж созвездий и деревень
свистит
трассирующая
сирень!
Смешны ей – почва, трава, права...

P. S.

Читаю почту: «Сирень мертва».

P. P. S.

Чёрта с два!

1961

* * *

Конфедераток тузы бесшабашные
кривы.
Звёзды вонзались, точно собашник
в гривы!

Польша – шампанское, танки палящая
Польша!
Ах, как банально – «Андрей и полячка»,
пошло...

Как я люблю её еле смежённые веки,
жарко и снежно, как сны? – на мгновенье, навеки...

Во поле русском, аэродромном,
во поле-полюшке
вскинула рученьки к крыльям огромным —
Польша!
Сон? Богоматерь?...

Буфетчицы прыщут, зардев, —
весь я в помаде,
как будто абстрактный шедевр.

1961

ЛОБНАЯ БАЛЛАДА

Их Величеством поразвlechься
прёт народ от Коломн и Клязьм.
«Их любовница – контрразведчица
англо-шведско-немецко-греческая...»
Казнь!

Царь страшон: точно кляча, тощий,
почерневший, как антрацит.
По лицу проносятся очи,
как буксующий мотоцикл.

И когда голова с топорика
подкатилась к носкам ботфорт,
он берёт её
над толпою,
точно репу с красной ботвой!

Пальцы в щёки впились, как клещи,
переносицею хрустя,
кровь из горла на брюки хлещет.
Он целует её в уста.

Только Красная площадь ахнет,
тихим стоном оглушена:
«А-а-анхен!...»
Отвечает ему она:

«Мальчик мой Государь великий
не судить мне твоей вины
но зачем твои руки липкие
солоны?

баба я
вот и вся провинность государства мои в устах
я дрожу брусничной кровиночкой
на державных твоих усах

в дни строительства и пожара
до малюсенькой до любви?

ты целуешь меня Держава
твои губы в моей крови

перегаром борщом горохом
пахнет щедрый твой поцелуй

как ты любишь меня Эпоха
обожаю тебя
царуй!...»

Царь застыл – смурной, малохольный,
царь взглянул с такой меланхолией,
что присел заграничный гость,
будто вбитый по шляпку гвоздь.

1961

ПОЮТ НЕГРЫ

Мы —
тамтамы гомеричные с глазами горемычными,
клубимся, как дымы, —
мы...

Вы —
белы, как холодильники, как марля карантинная,
безжизненно мертвы —
вы...

О чём мы поём вам, уважаемые джентльмены?

О
руках ваших из воска, как белая извёстка,
о, как они впечатались между плечей печальных, о,
о, наших жён печальных,
как их позорно жгло – о-о!

«Н-но!»
Нас лупят, точно клячу, мы чаевые клянчим,
на рингах и на рынках у нас в глазах темно,
но,
когда ночами спим мы, мерцают наши спины,
как звёздное окно.

В нас,
боксёрах, гладиаторах, как в чёрных радиаторах
или в пруду карась,
созвездья отражаются торжественно и жалостно —
Медведица и Марс – в нас...

Мы – негры, мы – поэты,
в нас плещутся планеты.
Так и лежим, как мешки, полные звёздами и легендами...

Когда нас бьют ногами —
пинают небосвод.
У вас под сапогами

Вселенная орёт!

1961

РОК-Н-РОЛЛ

Андрею Тарковскому
ПАРТИЯ ТРУБЫ

Рок —
н —
ролл —
об стену сандалиии!
Ром
в рот – лица как неон.
Ревёт
музыка скандальная,
труба
пляшет, как питон!
В тупик
врежутся машины.
Двух
всмятку —
«Хау ду ю ду?»

Туз пик – негритос в манишке,
дуй,
дуй
в страшную трубу!
В ту
трубу
мчатся, как в воронку,
лица,
рубища, вопли какаду,
две мадонны
а-ля подонок —
в мясорубочную трубу!

Негр
рыж —
как затмение солнца.
Он жуток,
сумасшедший шут.
Над миром,
точно рыба с зонтиком,
пляшет
с бомбою парашют!

Рок-н-ролл. Факелы бород.

Шарики за ролики! Всё – наоборот.
Рок-н-ролл – в юбочках юнцы,
а у женщин пробкой выжжены усы.

(Время, остановись! Ты отвратительно...)
Рок-н-ролл.
Об стену часы!

«Я носила часики – вдребезги, хреновые!
Босиком по стёклышкам – ой, лады...»
Рок-н-ролл по белому линолеуму...

(Гы!.. Вы обрежетеь временем, мисс!
Осторожнее!..)
...по белому линолеуму
кровь, кровь —
червонные следы!

ХОР МАЛЬЧИКОВ

Мешайте красные коктейли!
Даёшь ерша!
Под бельём дымится, как котельная,
доисторическая душа!

Мы – продукты атомных распадов.
За отцов продувшихся —
расплата.
Вместо телевизоров нам – каминь.
В рёве мотороллеров и коров
наши вакханалии страшны, как поминки...
Рок, рок —
танец роковой!

ВСЕ

Над страной хрустальной и красивой,
выкаблучиваясь, как каннибал,
миссисипийский
мессия
Мистер Рок правит карнавал.

Шерсть скрипит в манжете целлулоидовой.
Мистер Рок – бледен, как юродивый,
Мистер Рок – министр, пророк, маньяк;
по проходим
пляшут небоскрёбы —
башмаками по муравьям.

СКРИПКА

И к нему от тундры до Атлантики,
вся неоновая от слёз,
наша юность...

(«О, только не её, Рок, Рок, ей нет
ещё семнадцати!...»)
Наша юность тянется лунатиком...
Рок! Рок!
SOS! SOS!

1961

* * *

Я сослан в себя
я – Михайловское
горят мои сосны смыкаются

в лице моём мутном как зеркало
смеркаются лоси и перголы

природа в реке и во мне
и где-то ещё – извне

три красные солнца горят
три рощи как стёкла дрожат

три женщины брезжут в одной
как матрёшки – одна в другой

одна меня любит смеётся
другая в ней птицей бьётся

а третья – та в уголок
забилась как уголёк

она меня не простит
она ещё отомстит

мне светит её лицо
как со дна колодца —
кольцо

1961

ПРОЩАНИЕ С ПОЛИТЕХНИЧЕСКИМ

Большой аудитории посвящаю

В Политехнический!
В Политехнический!
По снегу фары шипят яичницей.
Милиционеры свистят панически.
Кому там хнычется?!
В Политехнический!

Ура, студенческая шарага!
А ну, шарахни
по совмещанам свои затрешины!
Как нам мещане мешали встретиться!

Ура вам, дура
в сергах-будильниках!
Ваш рот, как дуло,
разинут бдительно.
Ваш стул трещит от перегрева.
Умойтесь! Туалет – налево.

Ура, галёрка! Как шашлыки,
дымятся джемперы, пиджаки.
Тысячерукий, как бог языческий,
Твое Величество —
Политехнический!

Ура, эстрада! Но гасят бра.
И что-то траурно звучит «ура».

Двенадцать скоро. Пора уматывать.
Как ваши лица струятся матово!
В них проступают, как сквозь экраны,
все ваши радости, досады, раны.

Вы, третья с краю,
с копной на лбу,
я вас не знаю.
Я вас – люблю!

Чему смеётесь? Над чем всплакнете?
И что черкнёте, косясь, в блокнотик?

Что с вами, синий свитерок?
В глазах тревожный ветерок...

Придут другие – ещё лиричнее,
но это будут не вы —
другие.
Мои ботинки черны, как гири.
Мы расстаёмся, Политехнический!

Нам жить недолго. Суть не в овациях,
мы растворяемся в людских количествах
в твоих просторах,
Политехнический.
Невыносимо нам расставаться.

Ты на кого-то меня сменяешь,
но, понимаешь,
пообещай мне, не будь чудовищем,
забудь со стоящим!

Ты ворожи ему, храни разиню.
Политехнический —
моя Россия! —
ты очень бережен и добр, как Бог,
лишь Маяковского не уберёг...

Поэты падают,
дают финты
меж сплетен, патоки
и суеты,

но где б я ни был – в земле, на Ганге, —
ко мне прислушивается магически
гудящей раковиною гиганта
большое ухо
Политехнического!

1962

ФУТБОЛЬНОЕ

Левый крайний!

Самый тощий в душевой,
самый страшный на штрафной,
бито стёкол – боже мой!
И гераней...
Нынче пулей меж тузов
блещет попкой из трусов
левый крайний.

Левый шпарит, левый лупит.
Стадион нагнулся лупой,
прожигательным стеклом
над дымящимся мячом.

Правый край спешит заслоном,
он сипит, как сто сифонов,
ста медалями увенчан,
стольким ноги поувечил.

Левый крайний, милый мой,
ты играешь головой!

О, атака до угара!
Одурение удара.
Только мяч,
мяч,
мяч,
только – вмажь,
вмажь,
вмажь!

«Наши – ваши» – к богу в рай.
Ай!
Что наделал левый край!..

Мяч лежит в своих воротах.
Солнце чёрной сковородкой.
Ты уходишь, как горбун,
под молчание трибун.

Левый крайний...

Не сбываются мечты,
с ног срезаются мячи.
И под краном
ты повинный чубчик мочишь,
ты горюешь
и бормочешь:
«А ударчик – самый сок,
прямо в верхний уголок!»

1962

РУБЛЁВСКОЕ ШОССЕ

Мимо санатория
реют мотороллеры.

За рулём влюблённые —
как ангелы рублёвские.

Фреской Благовещенья,
резкой белизной,
за ними блещут женщины,
как крылья за спиной!

Их одежда плещет,
рвётся от руля,
вонзайтесь в мои плечи,
белые крыла.

Улечу ли?
Кану ль?
Соколом ли?
Камнем?

Осень. Небеса.
Красные леса.

1962

* * *

Ж.-П. Сартру

Я – семья

во мне как в спектре живут семь «я»
невыносимых как семь зверей
а самый синий
свистит в свирель!

а весной
мне снится
что я – восьмой!

1962

ФЛОРЕНТИЙСКИЕ ФАКЕЛЫ

З. Богуславской

Ко мне является Флоренция,
фосфоресцируя домами,
и отмыкает, как дворецкий,
свои палаццо и туманы.

Я знаю их, я их калькировал
для бань, для стадиона в Кировске.
Спит Баптистерий – как развитие
моих проектов вытрезвителя.

Дитя соцреализма грешное,
вбегаю в факельные площади.
Ты калька с юности, Флоренция!
Брожу по прошлому!

Через фасады, амбразуры,
как сквозь восковку,
восходят судьбы и фигуры
моих товарищей московских.

Они взирают в интерьерах,
меж выющихся интервьюеров,
как ангелы или лакеи,
стоят за креслами, глаза.

А факелы над чёрным Арно
невыносимы —
как будто в огненных подфарниках
несутся в прошлое машины!

– Ау! – зовут мои обеты,
– Ау! – забытые мольберты,
и сигареты,
и спички сквозь ночные пальцы.
– Ау! – сбегаются палаццо,
авансы юности опасны —
попался?!

И между ними мальчик странный,
ещё не тронутый эстрадой,
с лицом, как белый лист тетрадный,
в разинутых подошвах с дратвой, —
здравствуй!

Он говорит: «Вас не поймёшь,
преуспевающий пай-мальчик!
Вас заграницы издают.
Вас продавщицы узнают.

Но почему вы чуть не плакали?
И по кому прощально факелы
над флорентийскими хоромами
летят свежо и похоронно?!»

Я занят. Я его прерву.
Осточертели интервью...

Сажусь в машину. Дверцы мокры,
Флоренция летит назад.
И, как червонные семёрки,
палаццо в факелах горят.

1962

ИТАЛЬЯНСКИЙ ГАРАЖ

Б. Ахмадулиной

Пол – мозаика,
как карась.
Спит в палаццо
ночной гараж.

Мотоциклы как сарацины
или спящие саранчихи.

Не Паоло и не Джульетты —
дышат потные «шевролеты».

Как механики, фрески Джотто
отражаются в их капотах.

Реют призраки войн и краж.
Что вам снится,
ночной гараж?

Алебарды?
или тираны?
или бабы
из ресторана?...

Лишь один мотоцикл притих —
самый алый из молодых.

Что он бодрствует? Завтра – Святки.
Завтра он разобьётся всмятку!

Апельсины, аплодисменты...
Расшибающиеся —
бессмертны!

Мы родились – не выживать,

а спидометры выжимать!..

Алый, конченный, жарь! Жарь!
Только гонщицу очень жаль...

1962

ВОЗВРАЩЕНИЕ В СИГУЛДУ

Отшельничаю, берложу,
отлёживаюсь в берёзах,
лужаечный, можжевельничий,
отшельничаю,

отшельничаем, нас трое,
наш третий всегда на стрёме,
позвякивает ошейничком,
отшельничаем,

мы новые, мы знакомимся,
а те, что мы были прежде,
как наши пустые одежды,
валяются на подоконнике,

как странны нам те придурки,
далёкие, как при Рюрике
(дрались, мельтешили, дулись),
какая всё это дурость!

А домик наш в три окошечка
сквозь холм в лесовых массивах
просвечивает, как косточка
просвечивает сквозь сливу,

мы тоже в леса обмакнуты,
мы зёрна в зелёной мякоти,
притягиваем, как соки,
все мысли земли и шорохи,

как мелко мы жили, ложно,
турбазники сквозь кустарник
пройдут, постоят, как лоси,
растают,

умаялась бегать по лесу,
вздремнула, ко мне припавши,
и тенью мне в кожу пористую
впиталась, как в промокашку,

я весь тобою пропитан,
леса твоими, тропинками,
читаю твоё лицо,
как лёгкое озерцо,

как ты изменилась, милая,
как ссадина, след от свитера,
но снова, как разминированная, —
спасённая? спасительная!

ты младше меня? старше!
на липы, глаза застлавшие,
наука твоя вековая
ауканья, кукованья,

как утра хрустальны летние,
как чисто у речки бисерной
дочурка твоя трёхлетняя
писает по биссектриске!

«Мой милый, теперь не денешься,
ни к другу и ни к врагу,
тебя за щекой, как денежку,
серебряно сберегу»,

я думал, мне не вернуться,
гроза прошла, не волнуйся,
леса твои островные
печаль мою растворили,

в нас просеки растворяются,
как ночь растворяет день,
как окна в сад растворяются
и всасывают сирень,

и это круговращение
щемяще, как возвращение...

Куда б мы теперь ни выбыли,
с просвечивающих холмов
нам вслед улетаёт Сигулда,
как связка
зелёных
шаров!

1963

ЛАТЫШСКИЙ ЭСКИЗ

Уходят парни от невест.

Невесть зачем из отчих мест
три парня подались на Запад.
Их кто-то выдаёт. Их цапают.
41-й год. Привет!
«Суд идёт! Десять лет.

«Возлюбленный, когда же вернёшься?!
четыре тыщи дней – как ноша,
четыре тысячи ночей
не побывала я ничьей,
соседским детям десять лет,
прошла война, тебя всё нет,
четыре тыщи солнц скатилось,
как ты там мучаешься, милый,
живой ли ты и невредимый?
предела нету для любимой —

ополоумевши любя,
я, Рута, выдала тебя —
из тюрем приходят иногда,
из заграницы – никогда...»

...Он бьёт её, с утра напившись.
Свистит его костыль над пирсом.

О, вопли женщины седой:
«Любимый мой! Любимый мой!»

1963

ДЛИНОНОГО

Это было на взморье синем —
в Териоках ли? в Ориноко? —
она юное имя носила —
Длиноного!

Выходила – походка лёгкая,
а погода такая лётная!
От земли, как в стволах соки,
по ногам
подымаются

токи,
ноги праздничные гудят —
танцевать,
танцевать хотят!

Ноги! Дьяволы элегантные,
извели тебя хулиганствами!
Ты заснёшь – ноги пляшут, пляшут,
как сорвавшаяся упряжка.
Пляшут даже во время сна.
Ты ногами оглушена.

Поблудневшая, сокрушённая,
Вместо водки даёшь крюшоны —
Под прилавком сто дьяволят
танцевать,
танцевать хотят!

«Танцы-шманцы?! – сопит завмаг. —
Ах, у женщины ум в ногах».
Но не слушает Длиноного
философского монолога.

Как ей хочется повышаться
на кружке инвентаризации!

Ну, а ноги несут сами —
к босанове несут, к самбе!

Он – приезжий. Чудной, как цуцик.
«Потанцуем?»

Ноги, ноги, такие умные!
Ну а ночи – такие лунные!
Длиноного, побойся Бога,
сумасшедшая Длиноного!

А потом она вздрогнет: «Хватит».
Как коня, колени обхватит
и качается обхватив,
под насвистывающий мотив...

Что с тобой, моя Длиноного?...

Ты – далёко.

1963

* * *

Э. Межелайтису

Жизнь моя кочевая
стала моей планидой...
Птицы кричат над Нидой.
Станция кольцевания.

Стонет в сетях капроновых,
в облаке пуха, крика
крыльями трёхметровыми
узкая журавлиха!

Вспыхивает разгневанной
пленницей, царевной,
чуткою и жемчужной,
дышащею кольчужкой.

К ней подбегут биологи!
«Цапе надеть брелоки!»
Бережно, не калеча,
цап – и вонзят колечко.

Вот она в небе плещется,
послеоперационная,
вольная, то есть пленная,
целая, но кольцованная,

над анкарами, плевнами,
лунатиками в кальсонах —
вольная, то есть пленная,
чистая – окольцованная,

жалуется над безднами
участь её двойная:
на небесах – земная,
а на земле – небесная,

над пацанами, ратушами,
над циферблатом Цюриха,
если, конечно, раньше
пуля не раскольцует,

как бы ты не металась,
впилась браслетка змейкой,
привкус того металла
песни твои изменит.

С неразличимой нитью,
будто бы змей ребячий
будешь кричать над Нидой,
пристальной и рыбацкой.

1963

* * *

Шарф мой, Париж мой,
серебряный с вишней,
ну, натворивший!
Шарф мой – Сена волосая,
как ворсисто огней сиянье,
шарф мой Булонский, туман мой мохнатый,
фары шофёров дуют в Монако!

Что ты пронзительно шепчешь, горячий,
шарф, как транзистор, шкалою горящий?

Шарф мой, Париж мой непоправимый,
с шалой кровинкой?

Та продавщица была сероглаза,
как примеряла она первоклассно,
лаковым пальчиком с отсветом улиц
нежно артерии сонной коснулась...

В электрическом шарфе хожу,
душный город на шее ношу.

1963

МАРШЕ О ПЮС. ПАРИЖСКАЯ ТОЛКУЧКА ДРЕВНОСТЕЙ

1

Продай меня, Марше О Пюс,
упьюсь
этой грустной барахолкой,
смесью блюза с баркаролой,
самоваров, люстр, свечей,
воет зоопарк вещей
по умчавшимся векам —

как слониhi по лесам!..

Перстни, красные от ржави,
чи вы перси отражали?

Как скорлупка, сброшен панцирь,
чей картуш?
Вещи – отпечатки пальцев,
вещи – отпечатки душ,

черепки лепных мустангов,
храм хламья, Марше О Пюс,
мусор, музыкою ставший!
моя лучшая из муз!

Расшатавшийся диван,
куда девах своих девал?

Почём века в часах песочных?
Чья замша стёрлась от пощёчин?

Продай меня, Марше О Пюс,
архаичным становлюсь:
устарел, как Робот-6,
когда Робот-8 есть.

2

Печаль моя, Марше О Пюс,
как плющ,
вьётся плесень по кирасам,
гвоздь сквозь плюш повылезал —
как в скульптурной у Пикассо —
железяк,
железяк!

Помню, он, в штанах расшитых,
вещи связывал в века,
глаз вращался, как подшипник,
у виска,
у виска!

(Он – испанец, весь как рана,
к нему раз пришли от Франко,
он сказал: «Портрет? Могу!
Пусть пришлёт свою башку»!)

Я читал ему, подрагивая,
эхо ухает,
как хор,
персонажи из подрамников
вылазят в коридор,

век пещерный, век атомный,
душ разрезы анатомные,
вертикальны и косы,
как песочные часы,

снег заносит апельсины,
пляж, фигурки на горах,
мы – песчинки,
мы печальны, как песчинки,
в этих дьявольских часах...

3

Марше О Пюс, Марше О Пюс,
никого не дозовусь.
Пустынны вещи и страшны,
как после атомной войны.

Я вещь твоя, XX век,
пусть скоро скажут мне: «Вы ветх»,
архангел из болтов и гаек
мне нежно гаркнет: «Вы архаик»,

тогда, О Пюс, к себе пусти меня,
приткнусь немодным пиджачком...

Я архаичен, как в пустыне
раскопанный ракетодом.

1963

МОНОЛОГ МЭРИЛИН МОНРО

Я Мэрилин, Мэрилин.
Я героиня
самоубийства и героина.
Кому горят мои георгины?
С кем телефоны заговорили?
Кто в костюмерной скрипит лосиной?
Невыносимо,

невыносимо, что не влюбиться,
невыносимо без рощ осинowych,
невыносимо самоубийство,
но жить гораздо
невыносимей!

Продажи. Рожи. Шеф ржёт, как мерин
(я помню Мэрилин.
Её глядели автомобили.
На стометровом киноэкране
в библейском небе,
меж звёзд обильных,
над степью с крохотными рекламами
дышала Мэрилин,
её любили...

Изнемогают, хотят машины.
Невыносимо),
невыносимо
лицом в сиденьях, пропахших псиной!
Невыносимо,
когда насильно,
а добровольно – невыносимей!

Невыносимо прожить, не думая,
невыносимее – углубиться.
Где наша вера? Нас будто сдунули,
существование – самоубийство,

самоубийство – бороться с дрянью,
самоубийство – мириться с ними,
невыносимо, когда бездарен,
когда талантлив – невыносимей,

мы убиваем себя карьерой,
деньгами, девками загорелыми,
ведь нам, актёрам,
жить не с потомками,
а режиссёры – одни подонки,

мы наших милых в объятьях душим,
но отпечатываются подушки
на юных лицах, как след от шины,
невыносимо,

ах, мамы, мамы, зачем рожают?
Ведь знала мама – меня раздавят,
о, кинозвёздное оледененье,

нам невозможно уединенье —
в метро,
в троллейбусе,
в магазине
«Приветик, вот вы!» – глядят разини,

невыносимо, когда раздеты
во всех афишах, во всех газетах,
забыв,
что сердце есть посерёдке,
в тебя завёртывают селёдки,

лицо измято,
глаза разорваны
(как страшно вспомнить во «Франс-Обзёрвере»
свой снимок с мордой самоуверенной
на обороте у мёртвой Мэрилин!).

Орёт продюсер, пирог уписывая:
«Вы просто дуся,
ваш лоб – как бисерный!»
А вам известно, чем пахнет бисер?!
Самоубийством!

Самоубийцы – мотоциклисты,
самоубийцы спешат упиться,
от вспышек блицев бледны министры —
самоубийцы,
самоубийцы,
идёт всемирная Хиросима,
невыносимо,

невыносимо всё ждать, чтоб грянуло,
а главное —
необъяснимо невыносимо,
ну, просто руки разят бензином!

Невыносимо горят на синем
твои прощальные апельсины...

Я баба слабая. Я разве слажу?
Уж лучше – сразу!

1963

* * *

Ты с тёткой живёшь. Она учит канцоны.

Чихает и носит мужские кальсоны.
Как мы ненавидим проклятую ведьму!..

Мы дружим с овином, как с добрым медведем.
Он греет нас, будто ладошки запаухой.
И пасекой пахнет.

А в Суздале – Пасха!
А в Суздале сутолока, смех, вороньё,
ты в щёки мне шепчешь про детство твоё.

То сельское детство, где солнце и кони
и соты сияют, как будто иконы.
Тот отблеск медовый на косах твоих...

В России живу – меж снегов и святых!

1963

ВЕЛОСИПЕДЫ

В. Бокову

Лежат велосипеды
в лесу, в росе.
В берёзовых просветах
блестит шоссе.

Попадали, припали
крылом к крылу,
педалями – в педали,
рулём – к рулю.

Да разве их разбудишь —
ну хоть убей! —
оцепенелых чудищ
в витках цепей.

Большие, изумлённые,
глядят с земли.
Над ними – мгла зелёная,
смола, шмели.

В шумящем изобилии
ромашек, мят
лежат. О них забыли.
И спят, и спят.

1963

НОЧЬ

Сколько звёзд!
Как микробов
в воздухе...

1963

ОХОТА НА ЗАЙЦА

Ю. Казакову

Травят зайца. Несутся суки.
Травля! Травля! Сквозь лай и гам.
И оранжевые кожухи
апельсинами по снегам.

Травим зайца. Опохмелившись,
я, завгар, лейтенант милиции,
лица в валенках, в хроме лица,
зять Букашкина с пацаном —

газанём!

«Газик», чудо индустриализации,
наворачивает цепя.
Трали-вали! Мы травим зайца.
Только, может, травим себя?

Юрка, как ты сейчас в Гренландии?
Юрка, в этом что-то неладное,
если в ужасе по снегам
скачет крови
живой стакан!

Страсть к убийству, как страсть к зачатию,
ослеплённая и извечная,
она нынче вопит: зайчатины!
Завтра вззоет о человечине...

Он лежал посреди страны,
он лежал, трепыхаясь слева,
словно серое сердце леса,
тишины.

Он лежал, синеву боков
он вздымал, он дышал пока ещё,

как мучительный глаз,
моргающий,
на печальной щеке снегов.

Но внезапно, взметнувшись свечкой,
он возник,
и над лесом, над чёрной речкой
резанул
человечий
крик!

*Звук был пронзительным и чистым, как
ультразвук
или как крик ребёнка.
Я знал, что зайцы стонут. Но чтобы так?!
Это была нота жизни. Так кричат роженицы.*

Так кричат перелески голые
и немые досель кусты,
так нам смерть прорезает голос
неизведанной чистоты.

Той природе, молчально-чудной,
роща, озеро ли, бревно —
им позволено слушать, чувствовать,
только голоса не дано.

Так кричат в последний и в первый.
Это жизнь, удаляясь, пела,
вылетая, как из силка,
в небосклоны и облака.

Это длилось мгновение, мы окаменели,
как в остановившемся кинокадре.
Сапог бегущего завгара так и не коснулся земли.

Четыре чёрные дробинки, не долетев,
вонзились в воздух.
Он взглянул на нас. И — или это нам показалось —
над горизонтальными мышцами бегуна, над
запёкшимися шерстинками шеи блеснуло лицо.

Глаза были раскосы и широко расставлены,
как на фресках Феофана.
Он взглянул изумлённо и разгневанно.

Он парил. Как бы слился с криком.
Он повис...
С искажённым и светлым ликом,

как у ангелов и певиц.

Длинноногий лесной архангел...
Плыл туман золотой к лесам.
«Охмуряет», – стрелявший схаркнул.
И беззвучно плакал пацан.

Возвращались в ночную пору.
Ветер рожу драл, как наждак.
Как багровые светофоры,
наши лица неслись во мрак.

1963

ПОЭТ В ПАРИЖЕ

Уличному художнику

Лили Брик на мосту лежит,
разутюженная машинами.
Под подошвами, под резинами,
как монетка, зрачок блестит!

Пешеходы бросают мзду.
И, как рана,
Маяковский,
щемяще ранний,
как игральная карта в рамке,
намалёван на том мосту!

Каково Вам, поэт, с любимой?!
Это надо ж – рвануть судьбой,
чтобы ликом, как Хиросимой,
отпечататься в мостовой!

По груди Вашей толпы торопятся,
Сена плещется под спиной.
И, как божья коровка, автобусик
мчит, щекочущий и смешной.

Как волнение Вас охватывает!..
Мост парит,
ночью в поры свои асфальтовые,
как сирень, впитавши Париж.

Гений. Мот. Футурист с морковкой.
Льнул к мостам. Был посол Земли...
Никто не пришёл на Вашу выставку, Маяковский.
Мы бы – пришли.

Вы бы что-нибудь почитали,
как фатально Вас не хватает!

О, свинцовою пломбочкой-ночью
опечатанные уста.

И не флейта Ваш позвоночник —
алюминиевый лёт моста!

Маяковский, Вы схожи с мостом.
Надо временем, как гимнаст,
башмаками касаетесь РОСТА,
а ладонями – нас.

Ваша площадь мосту подобна,
как машины из-под моста —
Маяковскому под ноги
Маяковская Москва!

Маяковским громит подонков
Маяковская чистота!

Вам шумят стадионов тысячи.
Как Вам думается?
Как дышится,
Маяковский, товарищ Мост?...

Мост. Париж. Ожидаем звёзд.

Притаился закат внизу,
полоснувши по небосводу
красным следом от самолёта,
точно бритвою по лицу!

1963

МУРОМСКИЙ СРУБ

Деревянный сруб,
деревянный друг,
пальцы свёл в кулак
деревянных рук,

как и я, глядит Вселенная во мрак,
подбородок положивши на кулак,

предок, сруб мой, ну о чём твоя печаль

над скамейкою замшелой, как пищаль?

Кто наврал, что я любовь твою продал
по электроэlegantным городам?

Полежим. Поразмышляем. Помолчим.
Плакать – дело недостойное мужчин.

Сколько раз мои печали отвели
эти пальцы деревянные твои...

1963

ПЕСЕНКА ИЗ СПЕКТАКЛЯ «АНТИМИРЫ»

Стоял Январь, не то Февраль,
какой-то чёртовый Зимарь.

Я помню только голосок
над красным ротиком – парок,

и песенку:
«Летят вдали
красивые осенебри,
но если наземь упадут,
их человолки загрызут...»

* * *

Б. Ахмадулиной

Нас много. Нас, может быть, четверо.
Несёмся в машине, как черти.
Оранжеволоса шофёрша.
И куртка по локоть – для форса.

Ах, Белка, лихач катастрофный,
нездешняя, ангел на вид,
хорош твой фарфоровый профиль,
как белая лампа горит!

В аду в сковородки долдонят
и вышлют к воротам патруль,
когда на предельном спидометре
ты куришь, отбросивши руль.

Люблю, когда выжав педаль,

хрустально, как тексты в хорале,
ты скажешь: «Какая печаль!
права у меня отобрали...

Понимаешь, пришили превышение скорости
в возбуждённом состоянии.
А шла я вроде нормально...»

Не порть себе, Белочка, печень.
Сержант нас, конечно, мудрей,
но нет твоей скорости певчей
в коробке его скоростей.

Обязанности поэта
нестись, забыв про ОРУД,
брать звуки со скоростью света,
как ангелы в небе поют.

За эти года световые
пускай мы исчезнем, лучась,
пусть некому приз получать.
Мы выжали скорость впервые.

Жми, Белка, божественный кореш!
И пусть не собрать нам костей.
Да здравствует певчая скорость,
убийственнейшая из скоростей!

Что нам впереди предначертано?
Нас мало. Нас, может быть, четверо.
Мы мчимся – а ты божество!

И всё-таки нас большинство.

1963

НОВЫЙ ГОД В РИМЕ

Рим гремит, как аварийный
отцепившийся вагон.
А над Римом, а над Римом
Новый год, Новый год!

Бомбой ахают бутылки
из окон,
из окон,
ну, а этот забулдыга
ванну выпер на балкон.

А над площадью Испании,
как летающий тарел,
вылетает муж из спальни —
устарел, устарел!

В ресторане ловят голого.
Он гласит: «Долой невежд!
Не желаю прошлогоднего.
Я хочу иных одежд».

Жизнь меняет оперенье,
и летят, как лист в леса,
телеграммы,
объявления,
милых женщин адреса.

Милый город, мы потонем
в превращениях твоих,
шкурой сброшенной питона
светят древние бетоны.

Сколько раз ты сбросил их?
Но опять тесны спидометры
твоим аховым питомцам.
Что ещё ты натворишь?!

Человечество хохочет,
расставаясь со старьём.
Что-то в нас смениться хочет?
Мы, как Время, настаём.

Мы стоим, забыв делишки,
будущим поглощены.
Что в нас плачет, отделившись?
Оленихи, отелившись,
так добры и смущены.

Может, будет год нелёгким?
Будет в нём погод нелётных?
Не грусти – не пропадём.
Будет, что смахнуть потом.

Мы летим, как с веток яблоки.
Опротивела грызня.
Но я затем живу хотя бы,
чтоб средь ветреного дня,

детектив глотнувши залпом,

в зимнем доме косолапом
кто-то скажет, что озябла
без меня,
без меня...

И летит мирами где-то
в мрак бесстрастный, как крупье,
наша белая планета,
как цыплёнок в скорлупе.

Вот она скорлупку чокнет.
Кем-то станет – свистуном?
Или чёрной, как грачонок,
сбитый атомным огнём?

Мне бы только этим милым
не случилось непогод...
А над Римом, а над миром —
Новый год, Новый год...

...Мандарины, шуры-муры,
и сквозь юбки до утра
лампами сквозь абажуры
светят женские тела.

1 января 1963

СТАНСЫ

Закарпатский лейтенант,
на плечах твоих погоны,
точно срезы по наклону
свежеспиленно слепят.

Не приносят новостей
твои новые хирурги,
век отпиливает руки,
если кверху их воздеть!

Если вскинуть к небесам
восхищённые ладони —
«Он сдаётся!» – задолднят,
или скажут «диверсант»...

Оттого-то лейтенант,
точно трещина на сердце —
что соседи милосердно
принимают за талант.

ИЗ ЗАКАРПАТСКОГО ДНЕВНИКА

Я служил в листке дивизиона.
Польза от меня дискуссионна.
Я вёл письма, правил опечатки.
Кто только в газету не писал —
горожане, воины, девчата,
отставной начпрод Нравоучатов —
я всему признательно внимал.

Мне писалось. Начались ученья.
Мчались дни.

Получились строчки о Шевченко,
опубликовали. Вот они:

СКВОЗЬ СТРОЙ

И снится мрачный сон Тарасу.
Кушищем воющего мяса
сквозь толпы, улицы,
гримасы,
сквозь жизнь, под барабанный вой,
сквозь строй ведут его, сквозь строй!
Ведут под коллективный вой:
«Кто плохо бьёт – самих сквозь строй».

Спиной он чувствует удары:
правофланговый бьёт удало.
Друзей усердных слышит глас:
«Прости, старик, не мы – так нас».

За что ты бьёшь, дурак господен?
За то, что век твой безысходен!
Жена родила дурачка.
Кругом долги. И жизнь тяжка.

А ты за что, царёк отёчный?
За веру, что ли, за отечество?
За то, что перепил, видать?
И со страной не совладать?

А вы, эстет, в салонах куксясь?
(Шпицрутен в правой, в левой – кукиш.)

За что вы сталкивались с ними?
Что смел я то, что вам не снилось?

«Я понимаю ваши боли, —
сквозь сон он думал, — мелкота,
мне не простите никогда,
что вы бездарны и убоги,
вопит на снеговых заносах,
как сердце раненой страны,

моё в ударах и занозах
мясное
месиво
спины!

Все ваши боли вымещая,
эпохой сплюснутых калек,
люблю вас, люди, и прощаю.
Тебя я не прощаю, век.
Я верю – в будущем, потом...»

...
Удар. В лицо сапог. Подъём.

1963–1965

СТРЕЛА В СТЕНЕ

Тамбовский волк тебе товарищ
и друг,
когда ты со стены срываешь
подаренный пенджабский лук!

Как в ГУМе отмеряют ситец,
с плеча откинется рука,
стрела задышит, не насытись,
как продолжение соска.

С какою женственностью лютой
в стене засажена стрела —
в чужие стены и уюты.
Как в этом женщина была!

Стрела – в стене каркасной стройки,
Во всём, что в силе и в цене.
Вы думали – век электроники?
Стрела в стене!

Горите, судьбы и державы!

Стрела в стене.
Тебе от слёз не удержаться
наедине, наедине,

над украшательскими нишами,
как шах семье,
ультимативно нищая
стрела в стене!

Шахуй, оторва белокурая!
И я скажу:
«У, олимпийка!» И подумаю:
«Как сжались ямочки в тазу».

«Агрессорка, – добавлю, – скифка...»
Ты скажешь: «Фиг-то...»

* * *

Отдай, тетива сыромятная,
найтишайшую из стрел
так тихо и невероятно,
как тайный ангел отлетел.

На людях мы едва знакомы,
но это тянется года.
И под моим высотным домом
проходит тёмная вода.

Глубинная струя влечения.
Печали светлая струя.
Высокая стена прощенья.
И боли чёткая стрела.

1963

* * *

Сирень похожа на Париж,
горящий осами окошек.
Ты кисть особняков продрогших
серебряную шевелишь.

Гудя нависшими бровями,
страшон от счастья и тоски,
Париж,

как пчёлы,
собираю
в мои подглазные мешки.

1963

ПАРИЖ БЕЗ РИФМ

Париж скребут. Париж парадят.
Бьют пескоструйным аппаратом.
Матрон эпохи рококо
продраивает душ Шарко!

И я изрёк: «Как это нужно —
содрать с предметов слой наружный,
увидеть мир без оболочек,
порочных схем и стен барочных!..»

Я был пророчески смешон,
но наш патрон, мадам Ланшон,
сказала: «О-ля-ля, мой друг!..»

И вдруг —

*город преобразился,
стены исчезли, вернее, стали
прозрачными,
над улицами, как связки цветных шаров,
висели комнаты,
каждая освещалась по-разному,
внутри, как виноградные косточки
горели фигуры и кровати,
вещи сбросили панцири, обложки, оболочки,
над столом
коричнево изгибался чай,
сохраняя форму чайника,
и так же, сохраняя форму водопроводной
трубы,
по потолку бежала круглая серебряная вода,
в соборе Парижской Богомагери шла,
как сквозь аквариум,
просвечивали люстры и красные кардиналы,
архитектура испарилась,
и только круглый витраж розетки почему-то парил
над площадью, как знак:
«Проезд запрещён»,
над Лувром из постаментов, как 16 матрасных пружин,
дрожали каркасы статуй,*

*пружины были во всём,
всё тикало,*

о Париж,
мир паутинок, антенн и оголённых
проводочек,
как ты дрожишь,
как тикаешь мотором гоночным,
о сердце под лиловой плёночкой,
Париж

*(на месте грудного кармашка, вертикальная, как рыбка,
плыла бритва фирмы «Жиллетт»)!*

Париж, как ты раним, Париж,
под скорлупою ироничности,
под откровенностью, граничащей
с незащищённостью,
Париж,

в Париже вы одни всегда,
хоть никогда не в одиночестве,
и в смехе грусть,
как в вишне косточка,
Париж – горящая вода,

*Париж,
как ты наоборотен,
как бел твой Булонский лес,
он юн, как купальщицы,
бежали розовые собаки,
они смущённо обнюхивались,
они могли перелиться одна в другую,
как шарики ртути,
и некто, голый, как змея,
промолвил: «Чернобурка я»,
шли люди,
на месте отвинченных черепов,
как птицы в проволочных
клетках,
свистали мысли,*

*монахиню смущали мохнатые мужские
видения,
президент мужского клуба страшился разоблачений
(его тайная связь с женой раскрыта,
он опозорен),*

над полисменом ножки реяли,

как нимб, в серебряной тарелке
плыл шницель над певцом мансард,
в башке ОАСа оголтелой
дымился Сартр на сковородке,
а Сартр,
наш милый Сартр,
вдумчив, как кузнечик кроткий,
жевал травиночку коктейля,
всех этих таинств
мудрый дух,
в соломинку,
как стеклодув,
он выдул эти фонари,
весь полый город изнутри,
и ратуши, и бюшери,
как радужные пузыри!

Я тормошу его:
«Мой Сартр,
мой сад, от зим не застеклённый,
зачем с такой незащищённостью
шары мгновенные
летят?

Как страшно всё обнажено,
на волоске от ссадин страшных,
их даже воздух жжёт, как рашпиль,
мой Сартр!
Вдруг всё обречено?!»

Молчит кузнечик на листке
с безумной мукой на лице.

Било три...

*Мы с Ольгой сидели в «Обалделой лошади»,
в зубах джазиста изгибался звук в форме
саксофона,
женищина усмехнулась,
«Стриптиз так стриптиз», —
сказала женищина,
и она стала сдирать с себя не платье, нет, —
кожу! —
как снимают чулки или трикотажные
тренировочные костюмы
— о! о! —
последнее, что я помню, — это белки,
бесстрастно-белые, как изоляторы,
на страшном, орущем, огненном лице.*

«...Мой друг, растает ваш гляссе...»

Париж. Друзья. Сомкнулись стены.
А за окном летят в веках
мотоциклисты в белых шлемах,
как дьяволы в ночных горшках.

1963

ОЛЕНЁНОК

1

«Ольга, опомнитесь! Что с вами, Ольга?...»

Это блуждает в крови, как иголка...
Ну почему – призадумаясь только —
передо мною судьба твоя, Ольга?

Полуфранцуженка, полурусская,
с джазом простуженным туфелькой хрусткая,
как несуразно в парижских альковах —
«Ольга» —
как мокрая ветка ольховая!

Что натворили когда-то родители!
В разных глазах породнили пронзительно
смутный витраж нотр-дамской розетки
с нашим Блаженным в разводах разэтаких.

Бродят, как город разора и оргий,
Ольга французская с русской Ольгой.

2

Что тебе снится, русская Оля?

Около озера рощица, что ли...
Помню, ведро по ноге холодило —
хоть никогда в тех краях не бродила.

Может, в крови моей гены горят?
Некатолический вижу обряд,
а за калиточкой росно и колко...

Как вам живётся, французская Ольга?

«Как? О-ля-ля! Мой „Рено“ – как игрушка,
плачу по-русски, смеюсь по-французски...
Я парижанка. Ночами люблю
слушать, щекою прижавшись к рулю».

Руки лежат, как в других государствах.
Правая бренди берёт, как лекарство.
Левая вправлена в псковский браслет,
а между ними – тысячи лет.

Горе застыло в зрачках удлинённых,
о, оленёнок,
вмёрзший ногами на двух нелюдимах
и разъезжающихся
льдинах!

3

Я эту «Ольгу» читал на эстраде.
Утром звонок: «Экскюзе, бога ради!
Я полурусская... с именем Ольга...
Школьница... рыженькая вот только...»

Ольга, опомнитесь! Что с вами, Ольга?!..

1963

ЗАПИСКА Е. ЯНИЦКОЙ, БЫВШЕЙ МАШИНИСТКЕ МАЯКОВСКОГО

Вам Маяковский что-то должен?
Я отдаю.
Вы извините – он не дожил.

Определяет жизнь мою
платить за Лермонтова, Лорку
по нескончаемому долгу.

Наш долг страшен и протяжён
крово-красным платежом.

Благодарю, отцы и прадеды.
Крутись, эпохи колесо...
Но кто же за меня заплатит,

за всё расплатится, за всё?

1963

СТАРУХИ КАЗИНО

Старухи,
старухи —
стоухи,
сторуки,

мудры по-паучьи,
сосут авторучки,
старухи в сторонке,
как мухи, стооки,

их щёки из теми
горящи и сухи,
колдуют в «системах»,
строчат закорюки,
волнуются бестии,
спрут электрический...

О, оргии девственниц!
Секс платонический!

В них чувственность ноет,
как ноги в калек...
Старухи сверхзнойно
рубают в рулетку!

Их общий любовник
разлёгся, разбойник.
Вокруг, как хоругви,
робеют старухи.

Ах, как беззаветно
В них светятся муки!..
Свои здесь
джульетты,
мадонны
и шлюхи.

Как рыжая страстна!
А та — ледяная,

а в шляпке из страуса
крутит динаму,

трепещет вульгарно,
ревнует к подруге.
Потухли вулканы,
шуруйте, старухи.

...А с краю, моргая,
сияет бабуся:
она промотала
невесткины
бусы.

1963

НЕИЗВЕСТНЫЙ – РЕКВИЕМ В ДВУХ ШАГАХ С ЭПИЛОГОМ

Лейтенант Неизвестный Эрнст.
На тысячи вёрст кругом
равнину утюжит смерть
огненным утюгом.

В атаку взвод не поднять,
но родина в радиосеть:
«В атаку, – зовёт, – твою мать!»
И Эрнст отвечает: «Есть».

Но взводик твой землю ест.
Он доблестно недвижим.
Лейтенант Неизвестный Эрнст
Идет
наступать
один!

И смерть говорит: «Прочь!
Ты же один как перст.
Против кого ты прёшь?
Против громады, Эрнст!

Против – миллионопятьсотсорокасемитысячевосемь —
сотдвадцатитрёхквратнокилометрового чудища
против, —
против армии, флота, и угарного сброда, против —
культургервышибал, против
национал —
социализма, —
против!
Против глобальных зверств.
Ты уже мёртв, сопляк»?...

«Ещё бы», – решает Эрнст.
И делает
Первый шаг!

И Жизнь говорит: «Эрик,
живые нужны живым,
Качнётся сирень по скверам
уж не тебе, а им,
не будет —
1945, 1949, 1956, 1963 – не будет,
и только формула убитого человечества станет —
3 823 568 004 + 1,

и ты не поступишь в университет,
и не перейдёшь на скульптурный,
и никогда не поймёшь, что горячий гипс пахнет,
как парное молоко,
не будет мастерской на Сретенке, которая запирается
на проволочку,
не будет выставки в Манеже,
не будет сердечной беседы с Никитой Сергеевичем,
и ты не женишься на Анне —
не, не, не...
не будет ни Нью-Йорка, ни «Древа жизни»
(вернее будут, но не для тебя, а для белёсого
Митьки Филина, который не вылез тогда из окопа),
а для тебя никогда, ничего —
не!
не!
не!..

Лишь мама сползёт у двери
с конвертом, в котором смерть,
ты понимаешь, Эрик»?!
«Ещё бы», – думает Эрнст.

Но выше Жизни и Смерти,
пронзающее, как свет,
нас требует что-то третье, —
чем выделен человек.

Животные жизнь берут.
Лишь люди жизнь отдают.

Тревожаще и прожекторно,
в отличие от зверей, —
способность к самопожертвованию
единственна у людей.

Единственная Россия,
единственная моя,
единственное спасибо,
что ты избрала меня.

Лейтенант Неизвестный Эрнст,
когда окружён бабьём,
как ихтиозавр нетрезв,
ты пьёшь за моим столом,

когда правительства в панике
хрипят, что ты слаб в гульбе,
я чувствую, как памятник
ворочается в тебе.

Я голову обнажу
и вежливо им скажу:

«Конечно, вы свежевыбриты
и вкус вам не изменял.
Но были ли вы убиты
за родину наповал?»

1964

ОЗА

*Тетрадь, найденная в тумбочке
дубненской гостиницы*

* * *

Аве, Оза. Ночь или жильё,
псы ли воют, слизывая слёзы,
слушаю дыхание Твоё.
Аве, Оза...

Оробело, как вступают в озеро,
разве знал я, циник и паяц,
что любовь – великая боязнь?
Аве, Оза...

Страшно – как сейчас тебе одной?
Но страшнее – если кто-то возле.
Чёрт тебя сподобил красотой!
Аве, Оза!

Вы, микробы, люди, паровозы,

умоляю – бережнее с нею.
Дай тебе не ведать потрясений.
Аве, Оза...

Противоположности светло.
Дай возьму всю боль твою и горечь.
У магнита я – печальный полюс,
ты же – светлый. Пусть тебе светло.

Дай тебе не ведать, как грущу.
Я тебя не огорчу собою.
Даже смертью не беспокою.
Даже жизнью не отягощу.

Аве, Оза. пребывай светла.
Мимолётное непрерывимо.
Не укоряю, что прошла.
Благодарю, что приходила.

Аве, Оза...

1

Женщина стоит у циклотрона —
стройно,

слушает замагниченно,
свет сквозь неё струится,
красный, как земляничинка,
в кончике её мизинца,

вся изменяясь смутно,
с нами она – и нет её,
прислушивается к чему-то,
тает, ну как дыхание,

так за неё мне боязно!
Поздно ведь будет, поздно!
Рядышком с кадыками
атомного циклотрона 3-10-40.

Я знаю, что люди состоят из частиц,
как радуги из светящихся пылинок
или фразы из букв.
Стоит изменить порядок, и наш
смысл меняется.
Говорили ей, – не ходи в зону!

А она...

Вздрагивает ноздрями,
празднично хорошея,
жертво-ли-приношение?
Или она нас дразнит?

«Зоя, – кричу я, – Зоя!..»
Но она не слышит. Она ничего не
понимает.

Может, её называют Оза?

2

Не узнаю окружающего.

Вещи остались теми же, но частицы их, мигая,
изменяли очертания, как лампочки иллю —
минации на Центральном телеграфе.
Связи остались, но направление их изменилось.

Мужчина стоял на весах. Его вес оставался тем
же. И нос был на месте, только вставлен
внутрь, точно полый чехол кинжала. Не —
умещающийся кончик торчал из затылка.

Деревья лежали навзничь, как ветвистые озёра,
зато тени их стояли вертикально, будто их вырезали
ножницами. Они чуть погромыхивали
от ветра, вроде серебра от шоколада.

Глубина колодца росла вверх, как чёрный сноп
прожектора. В ней лежало утонувшее ведро
и плавали кусочки тины.
Из трёх облачков шёл дождь. Они были похожи
на пластмассовые гребёнки с зубьями дождя.
(У двух зубья торчали вниз, у третьего – вверх.)

Ну и рокировка! На месте ладьи генуэзской
башни встала колокольня Ивана Великого.
На ней, не успев растаять, позвякивали сосульки.
Страницы истории были перетасованы, как карты
в колоде. За индустриальной революцией
следовало нашествие Батыя.

У циклотрона толпилась очередь. Проходили

профилактику. Их разбирали и собирали.
Выходили обновлёнными.
У одного ухо было привинчено ко лбу с дырочкой посредине вроде
зеркала отоларинголога.
«Счастливчик, – утешали его. – Удобно
для замочной скважины! И видно,
и слышно одновременно».

А эта требовала жалобную книгу. «Сердце
забыли положить, сердце!» Двумя пальцами
он выдвинул ей грудь, как правый ящик
письменного стола, вложил что-то
и захлопнул обратно.

Экспериментщик Ъ пел, пританцовывая.
«Е9 – Д4, – бормотал экспериментщик. —
О, таинство творчества! От перемены мест
слагаемых сумма не меняется. Важно
сохранить систему. К чему поэзия? Будут
роботы. Психика – это комбинация
аминокислот...

Есть идея! Если разрезать земной шар по эква —
тору и вложить одно полушарие
в другое, как половинки яичной скорлупы...
Конечно, придётся спилить Эйфелеву башню,
чтобы она не проткнула поверхность
в районе Австралийской низменности.

Правда, половина человечества погибнет, но
зато вторая вкусит радость эксперимента!..»

И только на сцене Президиум
сохранял порядок.
Его члены сияли, как яйца
в аппарате для просвечивания яиц. Они были
круглы и поэтому одинаковы со всех сторон.
И лишь у одного над столом вместо туловища
торчали ноги подобно трубам перископа.
Но этого никто не замечал.

Докладчик выпятил грудь. Но голова его,
как у целлулоидного пупса, была
повернута вперёд затылком. «Вперёд,
к новому искусству!» – призывал
докладчик. Все соглашались.
Но где перёд?

Горизонтальная стрелка указателя (не то

«туалет», не то «к новому искусству!») торчала вверх на манер десяти минут третьего.

Люди продолжали идти целеустремлённой цепочкой по её направлению, как по ступеням невидимой лестницы.

Никто ничего не замечал.

НИКТО

Над всем этим как апокалипсический знак горел плакат: «Опасайтесь случайных связей!» Но кнопки были воткнуты остриём вверх.

НИЧЕГО

Иссиня-чёрные брови были нарисованы не над, а под глазами, как тени от карниза.

НЕ ЗАМЕЧАЛ.

Может, её называют Оза?

3

Ты мне снишься под утро,
как ты, милая, снишься!..
Почему-то под дулами,
наведёнными снизу,

ты летишь Подмосковьем,
хороша до озноба,
вся твоя маскировка —
30 метров озона!

Твои миги сосчитаны
наведённым патроном,
30 метров озона —
вся броня и защита!

В том рассвете болотном,
где полёт безутешен,
но пахнуло полётом,
и – уже не удержишь.

Дай мне, Господи, крыльев
не для славы красивой —
чтобы только прикрыть её
от прицела трясины.

Пусть ещё погуляется
этой дуре рисковей,
хоть секунду – раскованно.
Только пусть не оглянется.

Пусть хоть ей будет счастье
в доме с умным сынишкой.
Наяву ли сейчас ты?
И когда же ты снишься?

От утра ли до вечера,
в шумном счастье заверчена,
до утра? поутру ли? —
за секунду до пули.

4

А может, милый друг, мы впрямь сентиментальны?
И душу удалят, как вредные миндалины?
Ужели и хорей, серебряный флейтист,
погибнет, как форель погибла у плотин?

Ужели и любовь не модна, как камин?
Аминь?
Но почему ж тогда, заполнив Лужники,
мы тянемся к стихам, как к травам от цинги?
И радостно и робко в нас души расцветают...
Роботы,
роботы,
роботы
речь мою прерывают.

Толпами автоматы
топают к автоматам,
сунут жетон оплаты,
вытянут сок томатный,

некогда думать, некогда,
в офисы – вагонетки,
есть только брутто, нетто —
быть человеком некогда!

Вот мой приятель-лирик:
к нему забежала горничная...
Утром вздохнула горестно, —
мол, так и не поговорили!

Ангел, об чём претензии?
Провинциалочка некая!
Сказки хотелось, песни?
Некогда, некогда, некогда!

Что там в груди колотится

пойманной партизанкою?
Сердце как безработица.
В мире – роботизация.

Ужас! Мама,
роди меня обратно!..
Обратно – к истокам неслись реки.
Обратно – от финиша к старту задним
ходом неслись мотоциклисты.
Бабабы на глазах, худея, превращались в пру —
тики саженцев – обратно!
Пуля, вылетев из сердца Маяковского, пролетев
прожжённую дырочку на рубашке, юркну —
ла в ствол маузера 4-03986, а тот, свернув —
шись улиткой, нырнул в ящик стола...

...Твой отец историк. Он говорит, что
человечество имеет обратный возраст.
Оно идёт от старости к молодости.
Хотя бы Средневековье. Старость.
Морщинистые стены инквизиции.
Потом Ренессанс – бабье лето человечества.
Это как женщина, красивая, всё познавшая,
пирует среди зрелых плодов и тел.

Не будем перечислять надежд, измен,
приключений XVIII века, задумчивой беременности XIX...
А начало XX века – бешеный ритм революции!..
Восемнадцатилетие командармы.
«Мы – первая любовь земли...»
«Я думаю о будущем, – продолжает историк, —
когда все мечты осуществляются. Техника
в добрых руках добра. Бояться техники?
Что же, назад в пещеру?...»
Он седой и румяный. Ему улыбаются дети и собаки.

5

А не махнуть ли на море?

6

В час отлива возле чайной
я лежал в ночи печальной,
говорил друзьям

об Озе и величье бытия,
но внезапно чёрный ворон
примешался к разговорам,
вспыхнув синими очами,
он сказал: «А на фига?!»

Я вскричал: «Мне жаль вас, птица,
человеком вам родиться б,
счастье высшее – трудиться,
полпланеты раскроя...»
Он сказал: «А на фига?!»

«Будешь ты – великий ментор,
бог машин, экспериментов,
будешь бронзой монументов
знаменит во все края...»
Он сказал: «А на фига?!»

«Уничтожив олигархов,
тыстроишь агрегатов,
демократией заменишь
короля и холуя...»
Он сказал: «А на фига?!»

Я сказал: «А хочешь – будешь
спать в заброшенной избушке,
утром пальчики девичьи
будут класть на губы вишни,
глушь такая, что не слышна
ни хвала и ни хула...»

Он ответил: «Всё – мура,
раб стандарта, царь природы,
ты свободен без свободы,
ты летишь в автомашине,
но машина – без руля...

Оза, Роза ли, стервоза —
как скучны метаморфозы,
в ящик рано или поздно...
Жизнь была – а на фига?!»

Как сказать ему, подонку,
что живём не чтоб подохнуть —
чтоб губами тронуть чудо
поцелуя и ручья!

Чудо жить – необъяснимо.
Кто не жил – что спорить с ними?!

Можно бы – да на фиг?

7

А тебе семнадцать. Ты запыхалась после
гимнастики. И неважно, как тебя зовут.
Ты и не слышала о циклотроне.

Кто-то сдуру соткнул на приморской набережной
два ртутных фонаря. Мы идём навстречу. Ты от
одного, я от другого. Два света бьют нам в спину.
И прежде чем встречаются наши руки,
сливаются наши тени – живые, тёплые,
окружённые мёртвой белизной.

Мне кажется, что ты всё время идёшь
навстречу!
Затылок людей всегда смотрит в прошлое.
За нами, как очередь на троллейбус, стоит
время. У меня за плечами прошлое, как рюкзак,
за тобой – будущее. Оно за тобой шумит,
как парашют.
Когда мы вместе – я чувствую, как из тебя
в меня переходит будущее, а в тебя —
прошлое, будто мы песочные часы.
Как ты страдаешь от пережитков будущего!
Ты резка, искренна. Ты поразительно
невежественна.
Прошлое для тебя ещё может измениться
и наступать. «Наполеон, – говорю я, – был
выдающийся государственный деятель».
Ты отвечаешь: «Посмотрим!»
Зато будущее для тебя достоверно и безусловно.
«Завтра мы пошли в лес», – говоришь ты.
У, какой лес зашумел назавтра! До сих пор
у тебя из левой туфельки не вытряхнулась
сухая хвойная иголка.
Твои туфли остроносые – такие уже не носят.
«Ещё не носят», – смеёшься ты.
Я пытаюсь заслонить собой прошлое, чтобы ты
никогда не разглядела майданеков и инквизиции.
Твои зубы розовы от помады.

Иногда ты пытаешься подладиться ко мне.
Я замечаю, что-то мучит тебя. Ты что-то
ёрзаешь. «Ну что ты?»

Освобождаясь, ты, довольная, выпаливаешь,
как на иностранном языке: «Я получила
большое эстетическое удовольствие!
А раньше я тебя боялась... А о чём ты
думаешь?...»

Может, её называют Оза?

8

Выйду ли к парку, в море ль плыву —
туфелек пара стоит на полу.

Левая к правой набок припала,
их не поправят – времени мало.

В мире не топлено, в мире ни зги,
вы ещё тёплые, только с ноги,

в вас от ступни потемнела изнанка,
вытерлось золото фирменных знаков...

Красные голуби просо клюют.
Кровь кружит голову – спать не дают!

Выйду ли к пляжу – туфелек пара,
будто купальщица в море пропала.

Где ты, купальщица? Вымыты пляжи.
Как тебе плавается? С кем тебе пляшется?...

...В мире металла, на чёрной планете,
сентиментальные туфельки эти,

как перед танком присели голубки —
нежные туфельки в форме скорлупки!
...

9

Друг белокурый, что я натворил!
Тебя не опечалят строки эти?
Предполагая
подарить бессмертье,
выходит, я погибель подарил.

Фельфебель, олимпийский эгоист,
какой кретин скатился до приказа:
«Остановись, мгновенье. Ты – прекрасно!»?
Нет, продолжайся, не остановись!

Зачем стреножить жизнь, как конокрад?
Что наша жизнь?
Взаимопревращенье.
Бессмертье ж – прекращённое движение,
как вырезан из ленты кинокадр.

Бессмертье – как зверинец меж людей.
В нём тонут Анна, Оза, Беатриче...
И каждый может, гогоча и тыча,
судить тебя и родинки глядеть.

Какая грусть – не видеться с тобой,
какая грусть – увидеться в толкучке,
где каждый хлюст, вонзив клешни, толкуя,
касается тебя, – какая боль!

Ты-то простишь мне боль твою и стон.
Ну, а в душе кровавые мозоли?
Где всякий сплетник, жизнь твою мусоля,
жуёт бифштекс над этим вот листом!

Простимся, Оза, сквозь решётку строк...
Но кровь к вискам бросается, задохшись,
когда живой, как бабочка в ладошке,
из телефона бьётся голосок...

От автора и коё-что другое

Люблю я Дубну. Там мои друзья.
Берёзы там растут сквозь тротуары.
И так же независимы и талы
чудесных обитателей глаза.

Цвет нации божественно оброс.
И, может, потому не дам я дуба —
мою судьбу оберегает Дубна,
как берегу я свет её берёз.

Я чем-то существую ради них.
Там я нашёл в гостинице дневник.

Не к первому попала мне тетрадь:
её командировщики листали,
острили на полях её устало
и засыпали, силясь разобрать.

Вот чей-то почерк: «Автор-абстрактивист»!
А снизу красным: «Сам туда катись!»

«Может, автор сам из тех, кто
тешит публику подтекстом?»
«Брось искать подтекст, задрыга!
ты смотришь в книгу – видишь фигу».

Оставим эти мудрости, дневник.
Хватает комментария без них.

* * *

...А дальше запись лекций начиналась,
мир цифр и чей-то профиль машинальный.
Здесь реализмом трудно потрястись —
не Репин был наш бедный портретист.
А после были вырваны листы.
Наверно, мой упившийся предшественник,
где про любовь рванул, что посущественней...
А следующей фразой было:
ТЫ

10

Ты сегодня, 16-го, справляешь день
рождения в ресторане «Берлин».
Зеркало там на потолке.
Из зеркала вниз головой, как сосульки, свисали
гости. В центре потолка нежный, как вымя,
висел розовый торт с воткнутыми свечами.

Вокруг него, как лампочки, ввёрнутые
в элегантные чёрные розетки костюмов,
сияли лысины и причёски. Лиц не было видно.
У одного лысина была маленькая, как дырка
на пятке носка. Её можно было закрасить
чернилами. У другого она была прозрачна,
как спелые яблоко, и сквозь неё, как зёрнышки,
просвечивали три мысли (две чёрные и одна

светлая – недозрелая).

Проборы щёголей горели, как щели в копилках.
Затылок брюнетки с прикнуленным прозрачным
нейлоновым бантом полз, словно муха по потолку.
Лиц не было видно. Зато перед каждым, как
таблички перед экспонатами, лежали бумажки,
где кто сидит. И только одна тарелка была
белая, как пустая розетка.

«Скажите, а почему слева от хозяйки
пустое место?»

«Генерала, может, ждут?», «А может,
помер кто?»

Никто не знал, что там сижу я. Я невидим.
Изящные денди, подходящие тебя поздравить,
спотыкаются об меня, царапают вилками.
Ты сидишь рядом, но ты восторженно
чужая, как подарок в целлофане.

Модного поэта просят: «Ах, рваните чего-то
этакого! Поближе к жизни, не от мира сего...
чтобы модерново...»

Поэт подымается (вернее опускается,
как спускают трап с вертолётa). Голос его
странен, как бы антимирен ему.

МОЛИТВА

*Мать Владимирская, единственная,
первой молитвой – молитвой последнею —
я умоляю —
стань нашей посредницей.
Неумолимы зрачки Её льдистые.*

*Я не кощунствую – просто нет силы,
жизнь заberi и успехи минутные,
наихрустальнейший голос в России —
мне ни к чему это!*

*Видишь – лежу – почернел, как кикимора.
Всё безысходно...
Осталось одно лишь —
грохнись ей в ноги,
Мать Владимирская,
может, умолишь, может, умолишь...*

Читая, он запрокидывает лицо. И на его
белом лице, как на тарелке, горел нос,
точно болгарский перец.
Все кричат: «Браво! Этот лучше всех. Ну и
тостик!» Слово берёт следующий поэт.
Он пьян вдребезину. Он свисает с потолка
вниз головой и просыхает, как полотенце.
Только несколько слов можно
разобрать из его бормотанья:

*– Заонежье. Тает теплоход.
Дай мне погрузиться в твоё озеро.
До сих пор вся жизнь моя —
Предозье.
Не дай Бог – в Заозье занесёт...*

Все замолкают.
Слово берёт тамада Ъ.
Он раскачивается вниз головой, как длинный
маятник. «Тост за новорожденную».
Голос его, как из репродуктора, разносится
с потолка ресторана. «За её новое
рождение, и я, как крестный... Да, а как
зовут новорожденную?» (Никто не знает.)
Как это всё напоминает что-то!

И под этим подвешенным миром внизу
расположился второй, наоборотный, со своим
поэтом, со своим тамадой Ъ. Они едва не касаются
затылками друг Друга, симметричные,
как песочные часы. Но что это? Где я?
В каком идиотском измерении? Что это
за потолочно-зеркальная реальность?
Что за наоборотная страна?!
Ты-то как попала сюда?
Ещё мгновение, и всё сорвётся вниз,
вдребезги, как капли с карниза!

Надо что-то делать, разморозить тебя,
разбить это зеркало, вернуть тебя в твой мир,
твою страну, страну естественности, чувства —
где ольха, теплоходы, где доброе зеркало
Онежского озера...
Помнишь?

Задумавшись, я машинально глотаю
бутерброд с кетовой икрой.
Но почему висящий напротив, как окорок,
периферийный классик с ужасом смотрит

на мой желудок? Боже, ведь я-то невидим,
а бутерброд реален! Он передвигается
по мне, как красный джемпер в лифте.

Классик что-то шепчет соседу.
Слух моментально пронизывает головы,
как бусы на нитке.
Красные змеи языков ввинчиваются в уши
соседей. Все глядят на бутерброд.
«А нас килькой кормят!» – вопит классик.
Надо спрятаться! Ведь если они обнаружат
меня, кто же выручит тебя, кто же
разобьёт зеркало?!

Я выпрыгиваю из-за стола и ложусь
на красную дорожку пола. Рядом со мной,
за стулом, стоит пара туфелек. Они, видимо,
жмут кому-то. Левая припала к правой.
(Как всё напоминает что-то!)
Тебя просят спеть...

Начинаются танцы. Первая пара с хрустом
проносится по мне. Подошвы! Подошвы!
Почему все ботинки с подковами?
Рядом кто-то с хрустом давит по туфелькам.
Чьи-то каблучки, подобно швейной
машинке, прошивают мне кожу на лице.
Только бы не в глаза!..
Я вспоминаю всё. Я начинаю понимать всё.
Роботы! Роботы! Роботы!

Как ты, милая, снишься!
«Так как же зовут новорожденную?» —
надрывается тамада.
«Зоя! – ору я. – Зоя!»

А может, её называют Оза?

11

Знаешь, Зоя, теперь – без трёпа.
Разбегаются наши тропы.
Стоит им пойти стороною,
остального не остановишь.

Помнишь, Зоя, – в снега застеленную,
помнишь Дубну, и ты играешь.

Оборачиваешься от клавиш.
И лицо твоё опустело.
Что-то в нём приостановилось
и с тех пор невосстановимо.

Всяко было – и дождь, и радуги,
горизонт мне являл немилость.
Изменяли друзья злорадно.
Сам себе надоел, зараза.
Только ты не переменилась.

А концерт мой прощальный помнишь?
Ты сквозь рёв их мне шла на помощь.
Если жив я назло всем слухам,
в том вина твоя иль заслуга.

Когда беды меня окуривали,
я, как в воду, нырял под Ригу,
сквозь соломинку белокурую
ты дыхание мне дарила.

Километры не разделяют,
а сближают, как провода,
непростительнее, когда
миллиметры нас раздирают!

Если боли людей сближают,
то на чёрта мне жизнь без боли?
Или, может, беда блуждает
не за мной, а вдруг за тобою?

Нас спасающие – неспасаемы.
Что б ни выпало претерпеть,
для меня важнейшее самое —
как тебя уберечь теперь!

Ты ль меняешься? Я ль меняюсь?
И из лет
очертанья, что были нами,
опечаленно машут вслед.
Горько это, но тем не менее
нам пора... Вернёмся к поэме.

12

Экспериментщик, чёртова перечница,
изобрёл агрегат ядрёный.

Не выдерживаю соперничества.
Будьте прокляты, циклотроны!

Будь же проклята ты, громада
программированного зверья.
Будь я проклят за то, что я
слыл поэтом твоих распадов!

Мир – не хлам для аукциона.
Я – Андрей, а не имярек.
Все прогрессы —
реакционны,
если рушится человек.

Не купить нас холодной игрушкой,
механическим соловейчиком!
В жизни главное – человечность —
хорошо ль вам? красиво? грустно?

Выше нет предопределения —
мир
к спасению
привести!
...

«Извиняюсь, вы – певец паровозов?»
«Фи, это так архаично...
Я – трубадур турбогенераторов!»
Что за бред!

Проклинаю псевдопрогресс.
Горло саднит от тех словес.
Я им голос придал и душу,
будь я проклят за то, что в грядущем,

порубав таблеток с эссенцией,
спросит женщина тех времён:
«В третьем томике Вознесенского
что за зверь такой Циклотрон?»

Отвечаю: «Их кости ржавы,
отпужали, как тарантас.
Смертны техники и державы,
проходящие мимо нас.

Лишь одно на земле постоянно,
словно свет звезды, что ушла, —
продолжающееся сияние,
называли его душа.

Мы растаем и снова станем,
и неважно, в каком бору,
важно жить, как леса хрустальны
после заморозков поутру.
И от ягод звенит кустарник.
В этом звоне я не умру».

И подумает женщина: «Странно!
Помню Дубну, снега с кострами.
Были пальцы от лыж красны.
Были клавиши холодны.

Что же с Зоей?»
Та, физик давняя?
До свидания, до свидания.
Отчуждённо, как сквозь стекло,
ты глядишь свежо и светло.
В мире солнечно и морозно...

Прощай, Зоя.
Здравствуй, Оза!

13

Прощай, дневник, двойник души чужой,
забытый кем-то в дубненской гостинице.
Но почему, виски руками стиснув,
я думаю под утро над тобой?

Твоя наивность странна и смешна.
Но что-то ты в душе моей смешал.

Прости царапы моего пера.
Чудовищна откровенность касаться
чужой судьбы, тревог, галлюцинаций!
Но будь что будет! Гранки ждут. Пора.

И может быть, нескладный и щемящий,
придёт хозяин на твой зов щенячий.
Я ничего в тебе не изменил,
лишь только имя Зоей заменил.

14

На крыльце,
очищая лыжи от снега,
я поднял голову.

Шёл самолёт.
И за ним
На неизменном расстоянии
Летел отставший звук,
Прямоугольный,
Как прицеп на буксире.

Дубна – Одесса, март 1964

БОЛЬНАЯ БАЛЛАДА

В море морозном, в море зелёном
можно застынуть в пустынных салонах.
Что опечалилась милый товарищ?
Заболеваешь, заболеваешь?

Мы запропали с тобой в теплоход
в самый канун годовщины печальной.
Что, укачало? Но это пройдёт.
Всё образуется, полегчает.

Ты в эти ночи родила меня,
женски, как донор, наполнив собою.
Что с тобой, младшая мама моя?
Больно?

Милая, плохо? Планета пуста,
официанты бренчат мелочишкой.
Выйдешь на палубу – пар изо рта,
не докричишься, не докричишься.

К нам, точно кошка, в каюту войдёт
затосковавшая проводница.
Спросит уютно: «Чайку, молодёжь,
или чего-нибудь подкрепиться?

Я, проводница, слезами упыюсь,
и в годовщину подобных кочевий.
выпьете, что ли, за дьявольский плюс
быть на качелях».

«Любят – не любят», за качку в мороз,
что мы сошлись в этом мире киржацком,
в наикачаемом из миров

важно прижаться.

Пьём за сварливую нашу родню,
воют, хвативши чекушку с прицепом.
Милые родичи, благодарю.
Но как тошнит с ваших точных рецептов.

Ах, как тошнит от тебя, тишина.
Благожелатели виснут на шее.
Ворот теснит, и удача тошна,
только тошнее

знать, что уже не болеть ничему, —
ни раздражения, ни обиды.
Плакать начать бы, да нет, не начну.
Видно, душа, как печёнка, отбита...

Ну а пока что – да здравствует бой.
Вам ещё взвыть от последней обоймы.
Боль продолжается. Празднуйте боль!

Больно!

1964

ТИШИНЫ!

Тишины хочу, тишины...
Нервы, что ли, обожжены?
Тишины...

Чтобы тень от сосны,
щекоча нас, перемещалась,
холодящая, словно шалость,
вдоль спины, до мизинца ступни.

Тишины...

Звуки будто отключены.
Чем назвать твои брови с отливом?
Понимание – молчаливо.
Тишины.

Звук запаздывает за светом.
Слишком часто мы рты разеваем.
Настоящее – неназываемо.
Надо жить ощущением, цветом.

Кожа тоже ведь человек,
с впечатленьями, голосами.
Для неё музыкально касанье,
как для слуха – поёт соловей.

Как живётся вам там, болтуны,
на низинах московских, аральских?
Горлопаны, не наорались?

Тишины...

Мы в другое погружены.
В ход природ неисповедимый,
и по едкому запаху дыма
мы поймём, что идут чабаны.

Значит, вечер. Вскипает приварок.
Они курят, как тени, тихи.
И из псов, как из зажигалок,
светят тихие языки.

1964

БЬЁТ ЖЕНЩИНА

В чьём ресторане, в чьей стране – не вспомнишь,
но в полночь
есть шесть мужчин, есть стол, есть Новый год,
и женщина разгневанная – бьёт!

Быть может, ей не подошла компания,
где взгляды липнут, словно листья банные?
За что – неважно. Значит, им положено —
пошла по рожам, как бельё полощут.

Бей, женщина! Бей, милая! Бей, мстящая!
Вмажь майонезом лысому в подтяжках.
Бей, женщина!
Массируй им мордасы!
За все твои грядущие матрасы,

за то, что ты во всём передовая,
что на земле давно матриархат, —
отбить,
обуть,
быть умной,
хохотать, —
такая мука – непередаваемо!

Влепи в него салат из солонины.
Мужчины, рыцари,
куда ж девались вы?!
Так хочется к кому-то прислониться —
увы...

Бей, реваншистка! Жизнь – как белый танец.
Не он, а ты его, отбивши, тянешь.
Поллитра купишь.
Как он скучен, хрыч!
Намучишься, пока расшевелишь.

Ну можно ли в жилет пулять мороженым?!
А можно ли
в капронах
ждать в морозы?
Самой Восьмого покупать мимозы —
можно?!

Виновные, валитесь на колени,
колонны, люди, лунные аллеи,
вы без неё давно бы околели!

Смотрите,
из-под грязного стола —
она, шатаясь, к зеркалу пошла.

«Ах, зеркало, прохладное стекло,
шепчу в тебя бессвязными словами,
сама к себе губами прислоняюсь,
и по тебе сползаю тяжело,

и думаю: трусишки, нету сил —
меня бы кто хотя бы отлупил!...»

1964

* * *

В. Шкловскому

Жил художник в нужде и гордыне.
Но однажды явилась звезда.
Он задумал такую картину,
чтоб висела она без гвоздя.

Он менял за квартирой квартиру.
Стали пищею хлеб и вода.

Жил, как йог, заклиная картину.
А она падала без гвоздя.

Обращался он к стенке бетонной:
«Дай возьму твои боли в себя.
На моих неумелых ладонях
проступают следы от гвоздя».

Умер он, измождённый профессией.
Усмехнулась скотина-звезда.
И картину его не повесят.
Но картина висит без гвоздя.

1964

* * *

«Умирайте вовремя.
Помните регламент...»
Вороны,
вороны
надо мной горланят.

Ходит, как посмешище,
трезвый несказанно,
Есенин неповесившийся
с белыми глазами...

Обещаю вовремя
выполнить завет —
через тыщу
лет!

1964

ЛЕНЬ

Благословенна лень, томительнейший плен,
когда проснуться лень и сну отдаться лень.

Лень к телефону встать, и ты через меня
дотянешься к нему, переутомлена.

Рождающийся звук в тебе, как колокольчик,
и диафрагмою моё плечо щекочет.
«Билеты? – скажешь ты. – Пусть пропадают. Лень».

Медлительнейший день в нас переходит в тень.

Лень – двигатель прогресса. Ключ к Диогену – лень.

Я знаю: ты прелестна, всё остальное – тлен.

Вселенная горит? До завтраго потерпит!
Лень телеграмму взять – заткните под портьеру.

Лень ужинать идти, лень выключить «трень-брень».

Лень.

И лень окончить мысль: сегодня воскресень...

Колхозник на дороге
разлёгся подшофе
сатиром козлоногим
босой и в галифе.

1964

МОНОЛОГ РЫБАКА

«Конечно, я не оратор,
подкованный философски,
но
ратую
за тех, кто берёт лосося!
Бывали вы в нашем море,
магнитнейшем из морей?
Оно от лимонных молний
кажется лиловой!

Мотаются мотоботы,
как уголь, горит вода, —
работа!
работа!
Всё прочее – лабуда.

Мы боги, когда работаем,
просвечены до волос,
по борту,
по борту,
как лампы, летит лосось.

Да здравствует же свобода,
нужнейшая из свобод,
работа,

работа —
как праздничный ледоход.

Работа, работа...
И так же не спят с тобой
смородины и самолёты,
гудящие над землёй,
ночные составы в саже
несутся тебе под стать,
в них машинисты всажены —
как нож по рукоять!

И где-то над циклотроном
загадочный, как астроном,

сияя румяной физией,
считая свои дробя,
Вадик Клименко,
физик,
вслушивается в тебя.

Он, как штангист, добродушен,
но Вадика не тревожь —
полёт звездопадов душных,
расчёт городов и роц
дрожит часовым механизмом
в руке его здоровенной —
не шизики —
а физики
герои нашего времени!..

...А утром, закинув голову,
вам милая шепчет сон,
и поры пронзит иголочками
серебряными
озон...
Ну, впрочем, я заболтался.
ребята ждут на баркасе...»

Он шёл и смеялся щурко.
Дрожал маяк вдалеке —
он вспыхивал, как чешуйка
у полночи на щеке.

1964

* * *

Итальянка с миною «Подумаешь!»...
Чёрт нас познакомил или Бог?
Шрамики у пальцев на подушечках,
скользкие, как шёлковый шнурок.

Детство, обмороженное в Альпах.
Снегопад, всемирный снегопад...
Той войной надрезанные пальцы
на всемирных клавишах кричат.

Жизнь начни по новой, с середины!
Усмехнётся счастье впереди.
И когда прощаешься с мужчиной,
за спину ладони заведи.

Сквозь его подмышки нежно, робко,
белые, как крылья ангелят, —
за спиной ссутуленной Европы —
раненые пальчики болят.

1965

* * *

Айда, пушкинианочка,
по годы, как по ягоды!
На голос, на приманочку,
они пойдут подглядывать,

из-под листочков машучи,
бродяжка и божок.
продуешь, как рюмашку,
серебряный рожок.

И выглянут Парижи
малинкой черепичной,
туманные, капризные
головки красных спичек!

Как ядовито рядом
припрятаны кармины.
До чёрта волчьих ягод,
какими нас кормили.

Всё, поздно, поздно, поздно.
Кроме твоей свирельки,
нарядны все, но постны,
и жаль, что несмертельны!

Поляны заминированы,
и всё как понарошке.
До чёрта земляники —
но хочется морошки!

1965

ПЛАЧ ПО ДВУМ НЕРОЖДЁННЫМ ПОЭМАМ

Аминь.

Убил я поэму. Убил, не родивши. К Харонам!
Хороним.
Хороним поэмы. Вход всем посторонним.
Хороним.

На чёрной Вселенной любовниками отравленными
лежат две поэмы,
как белый бинокль театральный.

Две жизни прижались судьбой половинной —
две самых поэмы моих
соловьиных!

Вы, люди,
вы, звери,
пруды, где они зарождались
в Останкине, —

в с т а н ь т е!

Вы, липы ночные,
как лапы в ветвях хиромантии, —
встаньте,
дороги, убитые горем,
довольно валяться в асфальте,
как волосы дыбом над городом,
вы встаньте.
Раскройтесь, гробы,
как складные ножи гиганта,
вы, встаньте —
Сервантес, Борис Леонидович,
Данте,
вы б их полюбили, теперь они тоже останки,
встаньте.

И Вы, Член Президиума Верховного Совета

товарищ Гамзатов,
встаньте,
погибло искусство, незаменимо это,
и это не менее важно,
чем речь на торжественной дате,
встаньте.
Их гибель – судилище. Мы – арестанты.
Встаньте.

О, как ты хотела, чтоб сын твой шёл чисто
и прямо,
встань, мама.

Вы, встаньте в Сибири,
в Париже, в глухих
в городишках,
мы столько убили
в себе,
не родивши,
встаньте,

Ландау, погибший в бухом лаборанте,
встаньте,
Коперник, погибший в Ландау галантном,
встаньте,
вы, блядь, из джаз-банда,
вы помните школьные банты?
встаньте,

геройские мальчики вышли в герои, но в анти,
встаньте
(я не о кастратах – о самоубийцах,
кто саморастратил
святые крупницы),
встаньте.

Погибли поэмы. Друзья мои в радостной
панике —
«Вечная память!»
Министр, вы мечтали, чтоб юнгой в Атлантике плавать,
вечная память,
громовый Ливанов, ну, где ваш несыгранный Гамлет?

Вечная память,
где принц ваш, бабуся?
А девственность
можно хоть в рамку обрамить,
вечная память,
зелёные замыслы, встаньте, как пламень,

вечная память,
мечта и надежда, ты вышла на паперть?
Вечная память!..

Аминь.

Минута молчанья. Минута – как годы.
Себя промолчали – всё ждали погоды.
Сегодня не скажешь, а завтра уже
не поправить.
Вечная память.

И памяти нашей, ушедшей, как мамонт,
вечная память.

Аминь.

Тому же, кто вынес огонь сквозь
потраву, —
Вечная слава!
Вечная слава!

1965

ЗАМЕРЛИ

Заведи мне ладони за плечи,
обойми,
только губы дыхнут об мои,
только море за спинами плещет.

Наши спины – как лунные раковины,
что замкнулись за нами сейчас.
Мы слушаемся, прислонясь.
Мы – как формула жизни двоякая.

На ветру мировых клоунад
заслоняем своими плечами
возникающее меж нами —
как ладонями пламя хранят.

Если правда, душа в каждой клеточке,
свои форточки отвори.
В моих порах
стрижами заплещутся
души пойманные твои!

Всё становится тайное явным.

Неужели под свистопад,
разомкнёмся немой изваяньем —
как раковины не гудят?

А пока нажимай, заваруха,
на скорлупы упругие спин!
Это нас прижимает друг к другу.

Спим.

1965

* * *

Матери сиротеют.
Дети их покидают.

Ты мой ребёнок,
мама,
брошенный мой ребёнок.

1965

БАЛЛАДА-ЯБЛОНЯ

В. Катаеву

Говорила биолог, молодая и зяблая:
«Это лётчик Володя
целовал меня в яблонях.
И, прервав поцелуй, просветлев из зрачков,
он на яблоню выплеснул
свою чистую
кровь!»

*Яблоня ахнула, —
это был первый стон яблони,
по ней пробежала дрожь
негодования и восторга,
была пора завязей,
когда чудо зарождения
высвобождаясь из тычинок,
пестиков, ресниц,
разминается в воздухе.
Дальше ничего не помню.*

Ах, зачем ты, любимый, меня пожалел?
Телу яблонеvu от тебя тяжелеть.

Как ревную я к стонущему стволу!
Ночью нож занесу. Но бессильно стою —
На меня, точно фары из гаража,
мчатся
яблоневого глаза!

*Их девятнадцать.
Они по три в ряд на стволе,
как ленточные окна.
Они раздвигают кожу, как дупла.
Другие восемь узко растут из листьев.
В них ненависть, боль, недоумение —
что? что?
что свершается под корой?
кожу жжёт тебе известь?
кружит тебя кровь?
Дёгтем, дёгтем тебя мазать бы, а не известью,
дурочка древесная. Сунулась. Стояла бы себе как
соседки в белых передниках. Ишь...*

Так сидит старшеклассница меж подружек, бледна.
Чем полна большеглазо – не расскажет она.
Похудевшая тайна. Что же произошло?
Пахнут ночи миндально.
Невозможно светло.

Или тигр-людоед так тоскует, багров.
Нас зовёт к невозможнейшему любовь!
А бывает, проснёшься – в тебе звездопад,
тополиные мысли, и листья шумят.

*По генетике
у меня четвёрка была.
Люди – это память наследственности.
В нас, как муравьи в банке,
напиханно шевелятся тысячелетия,
у меня в пятке щекочет Людовик XIV.
Но это?... Чтобы память нервов мешалась
с хлорофиллами?
Или это биочудо? Где живут био-деревья?
Как женщины пахнут яблоком!..*

...А 30-го ей стало невмоготу.
Ночью сбросила кожу, открыв наготу,

врыта в почву по пояс,
смертельно орёт
и зовёт
удаляющийся самолёт.

1965

* * *

Ты пролётом в моих городах,
ты пролётом
в моих комнатах, баснях про Лондон
и осенних черновиках,

я люблю тебя, мой махаон,
оробевшее чудо бровастое.
«Приготовьте билетики». Баста.
Маханём!

Мало времени, чтоб мельтешить.
Перелётны, стонем пронзительно.
Я пролётом в тебе,
моя жизнь!
Мы транзитны.

Дай тепла тебе львовский октябрь,
дай погоды,
прикорни мне щекой на погоны,
беззащитною, как у котят.

Мы мгновенны? Мы после поймём,
Если в жизни есть вечное что-то —
это наше мгновенье вдвоём.
Остальное – пролётом!

1965

ЗОВ ОЗЕРА

*Памяти жертв фашизма
Певзнер 1903, Сергеев 1934,
Лебедев 1916, Бирман 1938,
Бирман 1941, Дробот 1907...*

Наши кеды как приморозило.
Тишина.
Гетто в озере. Гетто в озере.
Три гектара живого дна.

Гражданин в пиджачке гороховом
зазывает на славный клёв,
только кровь

на крючке его крохотном,
кровь!

«Не могу, – говорит Володька, —
а по рылу – могу, —
это вроде как
не укладывается в мозгу!

Я живою водой умоюсь,
может, чью-то жизнь расплещу.
Может, Машеньку или Мойшу
я размазываю по лицу.

Ты не трожь воды плоскодонкой,
уважаемый инвалид,
ты пощупай её ладонью —
болит!

Может, так же не чьи-то давние,
а ладони моей жены,
плечи, волосы, ожидание
будут кем-то растворены?

А базарами колоссальными
барабанит жабрами в жесть
то, что было теплом, глазами,
на колени любило сесть...»

– Не могу, – говорит Володька, —
лишь зажмурюсь —
в чугунных ночах,
точно рыбы на сковородках,
пляшут женщины и кричат!

Третью ночь как Костров пьёт.
И ночами зовёт с обрыва.
И к нему
является
рыба —
чудо-юдо озёрных вод!

*«Рыба,
летучая рыба, с гневным лицом мадонны,
с плавниками белыми, как свистят паровозы,
рыба,
Рива тебя звали,
золотая Рива,
Ривка, либо как-нибудь ещё,
с обрывком*

*колючей проволоки или рыболовным крючком
в верхней губе, рыба,
рыба боли и печали,
прости меня, прокляни, но что-нибудь ответь...»*

Ничего не отвечает рыба.

Тихо.
Озеро приграничное.
Три сосны.
Изумлённейшее хранилище
жизни, облака, вышины.

Бирман 1941,
Румер 1902,
Бойко, оба 1933.

1965

АХИЛЛЕСОВО СЕРДЦЕ

В дни, неслыханно болевые,
быть без сердца – мечта.
Чемпионы лупили навывлет —
ни черта!

Продырявленный, точно решёта,
утишаю ажиотаж:
«Поглазейте в меня, как в решётку, —
так шикарен пейзаж!»

Но неужто узнает ружьё,
где,
привязано нитью болезненной,
бьёшься ты в миллиметре от лезвия,
ахиллесово
сердце
моё?!

Осторожнее, милая, тише...
Нашумело меняя места,
я ношусь по России —
как птица
отвлекает огонь от гнезда.

Всё болишь? Ночами пошаливаешь?
Ну и плюс!
Не касайтесь рукою шершавую —

я от судороги валюсь!

Невозможно расправиться с нами.
Невозможнее – выносить.
Но ещё невозможней —
вдруг снайпер
срежет
нить!

1965

ФРАГМЕНТЫ ИЗ ПОЭМЫ

1

«Милая, только выживи, вызволись из озноба,
если возможно – выживи, ежели невозможно —
выживи,
тут бы чудо! – лишь неотложку вызвали...
выживи!..

как я хамил тебе, милая, не покупал миндалю,
милая, если только —
шагу не отступлю...

Если только...»

2

«Милый, прости меня, так послучалось,
просто сегодня
всё безысходное – безысходней,
наипечальнейшее – печальней.

Я поняла – неминуема крышка
в этом колодце,
где любят – не слишком,
крикнешь – не слышно,
ни одна сволочь не отзовется!

Всё окружается сеткой железной.
Милый, ты рядом. Нет, не пускает.
Сердце обрежешь, но не пролезешь.
Сетка узка мне.

Ты невиновен, любимый, пожалуй.
Невиноватые – виноватей.
Бьёмся об сетку немилых кроватей.
Ну хоть пожара бы!

Я понимаю, это не метод.
Непоправимое непоправимо.
Но неужели, чтобы заметили, —
надо, чтоб голову раскроило?!

Меня не ищи. Ты узнаешь от матери,
что я уехала в Алма-Ату.
Со следующей женщиной будь повнимательней.
Не проморгай её, женщину ту...»

3

Открылись раны —
не остановишь, —
но сокровенно
открылось что-то,
свежо и ноюще,
страшней, чем вены.

Уходят чувства,
мужья уходят,
их не удержишь,
уходит чудо,
как в почву воды,
была – и где же?

Мы, как сосуды,
налиты синим,
зелёным, карим,
друг в друга сутью,
что в нас носили,
перетекаем.

Ты станешь синей,
я стану карим,
а мы с тобою
непрерываемо переливаемы
из нас – в другое.

В какие ночи,
какие виды,

чьих астрономов?
Не остановишь —
остановите! —
не остановишь.

Текут дороги,
как тесто, город,
дома текучи,
и чьи-то уши
текут, как хобот.
А дальше – хуже!
А дальше...

Всё течёт. Всё изменяется.
Одно переходит в другое.
Квадраты расползаются в эллипсы.
Никелированные спинки кроватей
текут, как разварившиеся макароны.
Решётки тюрем свисают,
как кренделя или аксельбанты.
Генри Мур,
краснощёкий английский ваятель,
носился по бильярдному сукну
своих подстриженных газонов.

Как шары, блистали скульптуры,
но они то расплывались, как флюс,
то принимали
изящные очертания тазобедренных
суставов.
«Остановитесь! – вопил Мур. – Вы
прекрасны!..»

Не останавливались.

По улицам проплыла стайка улыбок.

На мировой арене, обнявшись, пыхтели два борца.
Чёрный и красный.
Их груди слиплись. Они стояли, походя сбоку
на плоскогубцы, поставленные на попа.
Но – о ужас!
На красной спине угрожающе проступили
чёрные пятна.

Просачивание началось.

Изловчившись, красный крутил ухо
соперника

и сам выл от боли —
это было его собственное ухо.
Оно перетекло к противнику.

Мицхетский замок
сползал
по морщинистой коже плоскогорья,
как мутная слеза
обида за человечество.

Букашкина выпустили.
Он вернулся было в бухгалтерию,
но не смог её обнаружить,
она, реорганизуясь, принимала новые формы.

Дома он не нашёл спичек.
Спустился ниже этажом.
Одолжить.
В чужой постели колыхалась мадам
Букашкина.
«Ты как здесь?»
«Сама не знаю – наверно, протекла
через потолок».
Вероятно, это было правдой.
Потому что на её разомлевшей коже,
как на разогревшемся асфальте,
отпечаталась чья-то пятерня с перстнем.
И почему-то ступня.

Радуга,
зацепившись за два каких-то гвоздя в небе,
лучезарно провисала,
как ванты Крымского моста.
Вождь племени Игого-жо искал новые формы
перехода от коммунизма к капитализму.

Всё текло вниз, к одному уровню,
уровню моря.
Обезумевший скульптор носился,
лепил,
придавая предметам одному ему понятные
идеальные очертания,
но едва вещи освобождались от его пальцев,
как они возвращались к прежним формам,
подобно тому, как расправляются
грелки
или резиновые шарики клизмы.

Лифт стоял вертикально над половодьем,

как ферма
по колено в воде.

«Вверх – вниз!»
Он вздымался, как помпа насоса.
«Вверх – вниз!»
Он перекачивал кровь планеты.

«Прячьте спички в местах, недоступных детям».
Но места переместились и стали доступными.
«Вверх – вниз!»

Фразы бессильны. Слова слиплись в одну фразу.
Согласные растворились.

Остались одни гласные.
«Оау аоии оааоиае!...»

Это уже кричу я.
Меня будят.
Суют под мышку ледяной
градусник.

Я с ужасом гляжу на потолок.
Он квадратный.

P. S.

Мне снится сон. Я погружён
на дно огромной шахты лифта.
Дамоклово,
неумолимо
мне на затылок
мчится
он!

Вокруг кабины бьётся свет,
как из квадратного затмения,
чужие смех и оживленье...
Нет,
я узнаю ваш гул участливый,
герои моего пера,
Букашкин, банщица с ушатом,
пенсионер Нравоучатов,
ах, милые, etc.,

я создал вас, я вас тиранил,

к дурацким вынуждал тирадам,
благодарящая родня
несётся лифтом
на меня,

я в клетке бьюсь, мой голос пуст,
проносится в мозгу истошном,
что я, и правда, бед источник,
пусть!..

Но в миг, когда меня сомнёт,
мне хорошо непостижимо,
что ты сегодня не со мной.
И тем оставлена для жизни.

1965

* * *

Прости меня, что говорю при всех.

Одновременно открывают атом.
И гениальность стала плагиатом.

Твоё лицо ограблено, как сейф.

Ты с ужасом впиваешься в экраны —
украли!
Другая примеряет, хохоча,
твои глаза и стрижку по плеча.

(Живёшь – бежишь под шёпот во дворе:
«Ишь, баба – как Симона Синьоре».)

Соперницы! Одно лицо на двух.
И я глазел, болельщик и лопух,
как через страны,
будто в волейбол,
летит к другой лицо твоё и боль!

Подранком, оторвавшимся от стаи,
ты тянешься в актёрские пристанища,
ночами перед зеркалом сидишь,
как кошка, выжидающаямышь.

Гулянками сбиваешь красоту,
как с самолёта пламя на лету,
горячим полотенцем трёшь со зла,

но маска, как проклятье, приросла.

Кто знал, чем это кончится? Прости.
А вдруг бы удалось тебя спасти!
Не тот мужчина сны твои стерёг.
Он красоты твоей не уберёг.

Не те постели застилали нам.
Мы передоверялись двойникам,
наинеправимо непросты...
Люблю тебя. За это и прости.

Прости за черноту вокруг зрачков,
как будто ямы выдранных садов, —
прости! —
когда безумная почти
ты бросилась из жизни болевой
на камни
ненавистой
головой!..

Прости меня. А впрочем, не жалей.
Вот я живу. И это тяжелей.
...

Больничные палаты из дюраля.
Ты выздоравливаешь.
А где-то баба
за морем орёт —
ей жгут лицо, глаза твои и рот.

1965

МОНОЛОГ БИОЛОГА

Растут распады
из чувств влекущих.
Вчера мы спаривали
лягушек.

На чёрном пластике
изумрудно
сжимались празднично
два чутких чуда.

Ввожу пинцеты,
вонжу кусачки —
сожмётся крепче

страсть лягушачья.

Как будто пытки
избытком страсти
преображаются
в источник счастья.

Но кульминанта
сломилась к спаду —
чтоб вы распались,
так мало надо.

Мои кусачки
теперь источник
их угасания
и мук истошных.

Что раньше радовало,
сближало,
теперь их ранит
и обижает.

Затосковали.
Как сфинксы – варвары —
ушли в скафандры,
вращая фарами.

Закаты мира.
Века. Народы.
Лягухи милые,
мои уроды.

1966

САН-ФРАНЦИСКО – КОЛОМЕНСКОЕ...

Сан-Франциско – это Коломенское.
Это свет посреди холма.
Высота, как глоток колодезный,
холодна.

Я люблю тебя, Сан-Франциско;
испаряются надо мной
перепончатые фронтисписы,
переполненные высотой.

Вечерами кубы парившие
наполняются голубым,

как просвечивающие курильщики
тянут красный тревожный дым.

Это вырезанное из неба
и приколотое к мостам
угрызение за измену
моим юношеским мечтам.

Моя юность архитектурная,
прикурю об огни твои,
сжавши губы на высшем уровне,
побледневшие от любви.

Как обувка возле отеля,
лимузины столпились в ряд,
будто ангелы отлетели,
лишь галоши от них стоят.

Мы – не ангелы. Чёрт акцизный
шлёпнул визу – и хоть бы хны...
Ты вздохни по мне, Сан-Франциско.
Ты, Коломенское,
вздохни...

1966

ПОРТРЕТ ПЛИСЕЦКОЙ

В её имени слышится плеск аплодисментов.
Она рифмуется с плакучими лиственницами,
с персидской сиренью,
Елисейскими полями, с Пришествием.
Есть полюса географические, температурные,
магнитные.
Плисецкая – полюс магии.
Она ввинчивает зал в неистовую воронку
своих тридцати двух фуэте,
своего темперамента, ворожит,
закручивает: не отпускает.
Есть балерины тишины, балерины-снежины —
они тают. Эта же какая-то адская искра.
Она гибнет – полпланеты спалит!
Даже тишина её – бешеная, орущая тишина
ожидания, активно напряжённая тишина
между молнией и громовым ударом.
Плисецкая – Цветаева балета.
Её ритм крут, взрывен.

* * *

Жила-была девочка – Майя ли, Марина ли —
не в этом суть.

Диковатость её с детства была пуглива
и уже пугала. Проглядывалась сила
предопределённости её. Её кормят манной
кашей, молочной лапшой, до боли
затягивают в косички, втискивают первые
буквы в косые клетки; серебряная монетка,
которой она играет, блеснув рёбрышком,
закатывается под пыльное брюхо буфета.

А её уже мучит дар её – неясный самой
себе, но нешуточный.

«Что же мне делать, певцу и первенцу,
В мире, где наичернейший – сер!
Где вдохновенье хранят, как в термосе!
С этой безмерностью в мире мер?!»

* * *

Мне кажется, декорации «Раймонды»,
этот душный, паточный реквизит,
тяжеловесность постановки кого хочешь
разъярит. Так одиноко отчаян её танец.
Изумление гения среди ординарности —
это ключ к каждой её партии.
Крутая кровь закручивает её. Это
не обычная эоловая фея —

«Другие – с очами и с личиком светлым,
А я-то ночами беседую с ветром.
Не с тем – итальянским
Зефиром младым, —
С хорошим, с широким,
Российским, сквозным!»

Впервые в балерине прорвалось нечто —
не салонно-жеманное, а бабье, нутряной
воплъ.
В «Кармен» она впервые ступила
на полную ступню.
Не на цыпочках пуантов, а сильно,

плотски, человечьи.

«Полон стакан. Пуст стакан.
Гомон гитарный, луна и грязь.
Вправо и влево качнулся стан...
Князем – цыган. Цыганом – князь!»

Ей не хватает огня в этом половинчатом
мире.

«Жить приучил в самом огне,
Сам бросил в степь заледенелую!
Вот что ты, милый, сделал мне!
Мой милый, что тебе – я сделала?»

Так любит она.
В ней нет полумер, шепотка, компромиссов.
Лукав её ответ зарубежной корреспондентке.
– Что вы ненавидите больше всего?
– Лапшу!
И здесь не только зарёванная обида детства.
Как у художника, у неё всё нешуточное.
Ну да, конечно, самое отвратное —
это лапша,
это символ стандартности,
разваренной бесхребетности, пошлости,
склонённости, антидуховности.
Не о «лапше» ли говорит она в своих
записках:
«Люди должны отстаивать свои
убеждения...
...только силой своего духовного “я».
Не уважает лапшу Майя Плисецкая!
Она мастер.

«Я знаю, что Венера – дело рук,
ремесленник, – я знаю ремесло!»

* * *

Балет рифмуется с полётом.
Есть сверхзвуковые полёты.
Взбешённая энергия мастера – преодоление
рамок тела, когда мускульное движение
переходит в духовное.
Кто-то договорился до излишнего
«техницизма»

Плисецкой,
до ухода её в «форму».
Формалисты – те, кто не владеет
формой. Поэтому форма так заботит их,
вызывает зависть в другом. Вечные зубрили,
они пыhtят над единственной рифмишкой
своей, потеют в своих двенадцати фуэте.
Плисецкая, как и поэт, щедра, перенасыщена
мастерством. Она не раб формы.
«Я не принадлежу к тем людям, которые
видят за густыми лаврами успеха девяносто
пять процентов труда и пять процентов
таланта».
Это полемично.

Я знал одного стихотворца, который брался
за пять человеко-лет обучить любого
стать поэтом.
А за десять человеко-лет – Пушкин?
Себя он не обучил.

* * *

Мы забыли слова «дар», «гениальность»,
«озарение». Без них искусство – нуль.
Как показали опыты Колмогорова,
не программируется искусство, не выводятся
два чувства поэзии. Таланты
не выращиваются квадратно-гнездовым
способом. Они рождаются. Они – национальные
богатства, как залежи радия, сентябрь
в Сигулде или целебный источник.
Такое чудо, национальное богатство —
линия Плисецкой.
Искусство – всегда преодоление барьеров.
Человек хочет выразить себя иначе,
чем предопределено природой.
Почему люди рвутся в стратосферу? Что,
дел на земле мало?
Преодолевается барьер тяготения. Это
естественное преодоление естества.
Духовный путь человека – выработка,
рождение нового органа чувств, повторяю,
чувства чуда. Это называется искусством.
Начало его в преодолении извечного способа
выражения.
Все ходят вертикально, но нет, человек

стремится к горизонтальному полёту.
Зал стонет, когда летит тридцатиградусный
торс... Стравинский режет глаз
цветастью. Скрябин пробовал цвета на слух.
Рихтер, как слепец, зажмурясь и втягивая
ноздри, нащупывает цвет клавишами.
Ухо становится органом зрения. Живопись
ищет трёхмерность и движение на статичном
холсте.
Танец – не только преодоление тяжести.
Балет – преодоление барьера звука.
Язык – орган звука? Голос? Да нет же;
это поют руки и плечи, щебечут пальцы,
сообщая нечто высочайше важное,
для чего звук груб.
Кожа мыслит и обретает выражение.
Песня без слов? Музыка без звуков.
В «Ромео» есть мгновение,
когда произнесённая тишина, отомкнувшись
от губ юноши, плывёт, как воздушный шар,
невидимая, но осязаемая,
к пальцам Джульетты. Та принимает этот
материализовавшийся звук, как вазу,
в ладони, ощупывает пальцами.
Звук, воспринимаемый осязанием! В этом
балет адекватен любви.
Когда разговаривают предплечья, думают
голени, ладони автономно сообщают друг
другу что-то без посредников.
Государство звука оккупировано движением.
Мы видим звук. Звук – линия.
Сообщение – фигура.

* * *

Параллель с Цветаевой неслучайна.
Как чувствует Плисецкая стихи!
Помню её в чёрном на кушетке,
как бы оттолкнувшуюся от слушателей.
Она сидит вполоборота, склонившись, как
царскосельский изгиб с кувшином. Глаза её
выключены. Она слушает шеей. Модильянистой
своей шеей, линией позвоночника, кожей
слушает. Серьги дрожат, как дрожат ноздри.
Она любит Тулуз-Лотрека.
Летний настрой и отдых дают ей
библейские сбросы Севана и Армении,

костёр, шашлычный дымок.
Припорхнула к ней как-то посланница
элегантного журнала узнать о рационе
примы.
Ах, эти эфирные эльфы, эфемерные сильфиды
всех эпох! «Мой пенюар состоит из
одной капли шанели». «Обед балерины —
лепесток розы...»
Ответ Плисецкой громоподобен и гомеричен.
Так отвечают художники и олимпийцы.
«Сижу не жрамши!»
Мощь под статью Маяковскому.
Какая издевательская полемичность.

* * *

Я познакомился с ней в доме Лили Брик, где всё
говорит о Маяковском. На стенах ухмылялся
в квадратах автопортрет Маяковского.
Женщина в сером всплескивала руками.
Она говорила о руках в балете.
Пересказывать не буду. Руки метались
и плескались под потолком, одни руки.
Ноги, торс были только вазочкой для этих
обнажённо плескавшихся стеблей.
В этот дом приходить опасно. Вечное
командорское присутствие Маяковского
сплющивает ординарность. Не всякий
выдерживает такое соседство.
Майя выдерживает. Она самая современная
из наших балерин.
Это балерина ритмов XX века. Ей не среди
лебедей танцевать, а среди автомашин
и лебёдок! Я её вижу на фоне чистых
линий Генри Мура и капеллы Роншан.
«Гений чистой красоты» – среди
издёрганного, суматошного мира.
Красота очищает мир.
Отсюда планетарность её славы.
Париж, Лондон, Нью-Йорк выстраивались
в очередь за красотой, за билетами
на Плисецкую.
Как и обычно, мир ошеломляет художник,
ошеломивший свою страну.
Дело не только в балете. Красота спасает
мир. Художник, создавая прекрасное,
преображает мир, создавая очищающую

красоту. Она ошеломительно понятна
на Кубе и в Париже. Её абрис схож
с летящими египетскими контурами.
Да и зовут её кратко, как нашу сверстницу
в колготках, и громоподобно, как богиню
или языческую жрицу, – Майя.

* * *

*Что делать страшной красоте,
присевшей на скамью сирени?
Б. Пастернак*

Недоказуем постулат.

Пасть по-плисецки на колени,
когда она в «Анне Карениной»,
закутана в плиссе-гофре,
в гордынь Кардена и Картье,
в самоубийственном смиренье
лиловым пеплом на костре
пред чудищем узкоколейным
о смертном молит колесе?

Художник – даже на коленях —
победоноснее, чем все.

Валитесь в ноги красоте.

Обезоруживает гений —
как безоружно карате.

1966

СТРОКИ РОБЕРТУ ЛОУЭЛЛУ

Мир
праху твоему,
прозревший президент!
Я многое пойму,
до ночи просидев.

Кепчоночку сниму
с усталого виска.
Мир, говорю, всему,
чем жизнь ни высока...

Мир храпу твоему,
Великий Океан.
Мир – пахарю в Клину.

Мир,
сан-францисский храм,
чьи этажи, как вздох,
озонны и стройны,
вздохнут по мне разок,
как лёгкие страны.

Мир
паху твоему,
ночной нью-йоркский парк,
дремучий, как инстинкт,
убийствами пропах,
природно возлежишь
меж каменных ножищ.
Что ты понатворишь?

Мир
пиру твоему,
земная благодать,
мир праву твоему
меня четвертовать.

История, ты стон
пророков, распинаемых крестами;
они сойдут с крестов,
взовьют еретиков кострами.
Безумствует распад.
Но – всё-таки – виват! —
профессия рождать
древней, чем убивать.

Визжат малыцы рождённые
у повитух в руках,
как трубки телефонные
в притихшие века.

Мир тебе,
Гуго,
миллеровский пёс,
миляга.
Ты не такса, ты туфля,
мокасин с отставшей подошвой,
который просит каши.

Некто Незнакомый натянул тебя
на левую ногу
и шлепает по паркету.
Иногда Он садится в кресло нога на ногу,
и тогда ты становишься носом вверх,
и всем кажется, что просишь чего-нибудь
со стола.
Ах, Гуго, Гуго... Я тоже чей-то башмак.
Я ощущаю Нечто, надевшее меня...

Мир неизвестному,
которого нет,
но есть...

Мир, парусник благой, —
Америку открыл.
Я русский мой глагол
Америке открыл.

В кристаллических лесах
проголосил впервые,
срываясь на верхах,
трагическую музыку России.

Не горло — сердце рву.
Америка, ты — ритм.
Мир брату моему,
что путь мой повторит.

Поэт собой, как в колокол,
колотит в свод обид.
Хоть больно, но звенит...

Мой милый Роберт Лоуэлл,
мир Вашему письму,
печальному навзрыд.
Я сутки прореву,
и всё осточертит,
к чему играть в кулак,
(пустой или с начинкой)?
Узнать, каков дурак —
простой или начитанный?

Глядишь в сейчас — оно
давнее, чем давно,
величественно, но
дерьмее, чем дерьмо.

Мир мраку твоему.

На то ты и поэт,
что, получая тьму,
ты излучаешь свет.

Ты хочешь мира всем.
Тебе ж не настаёт.
Куда в такую темь,
мой бедный самолёт?

Спи, милая,
дыши
всё дольше и ровней.
Да будет мир души
измученной твоей!

Всё меньше городок,
горящий на реке,
как милый ремешок
с часами на руке,

значит, опять ты их забыла снять.

Они светятся и тикают.
Я отстегну их тихо-тихо,
чтоб не спугнуть дыхания,
заведу
и положу налево, на ощупь,
где должна быть тумбочка...

1966

НЕ ПИШЕТСЯ

Я – в кризисе. Душа нема.
«Ни дня без строчки», – друг мой дробит.
А у меня —
ни дней, ни строчек.

Поля мои лежат в глуши.
Погашены мои заводы.
И безработица души
зияет страшною зевотой.

И мой критический истец
в статье напишет, что, окрысаясь,
в бескризиснейшей из систем
один переживаю кризис.

Мой друг, мой северный,
мой неподкупный друг
хорош костюм, да не по росту,
внутри всё ясно и вокруг —
но не поётся.

Я деградирую в любви.
Дружу с оторвою трактирною.
Не деградируете вы —
я деградирую.

Был крепок стих, как рафинад.
Свистал хоккейным бомбардиром.
Я разучился рифмовать.
Не получается.

Чужая птица издали
простонет перелётным горем.
Умеют хором журавли.
Но лебедь не умеет хором.

О чём, мой серый, на ветру
ты плачешь белому Владимиру?
Я этих нот не подберу.
Я деградирую.

Семь поэтических томов
в стране выходит ежесуточно.
А я друзей и городов
бегу, как бешеная сука,

в похолодавшие леса
и онемевшие рассветы,
где деградирует весна
на тайном переломе к лету...

Но верю я, моя родня —
две тысячи семьсот семнадцать
поэтов нашей федерации —
стихи напишут за меня.

Они не знают деградации.

1967

ЛИВЫ

Л. М.

Островная красота.
Юбки в выгибом, как вилы.
Лики в пятнах от костра —
это ливы.

Ими вылакан бальзам?
Опрокинут стол у липы?
Хватит глупости базлатъ!
Это – ливы.

Ландышевые стихи,
и ладышки у залива,
и латышские стрелки.
Это? Ливы?

Гармоничное «и-и»
вместо тезы «или – или».
И шоссе. И соловьи.
Двое встали и ушли.
Лишь бы их не разлучили!

Лишь бы сыпался лесок.
лишь бы иволгины игры
осыпали на песок
сосен сдвоенные иглы!

И от хвойных этих дел,
точно буквы на галете,
отпечатается «л»
маленькое на коленке!

Эти буквы солонь.
А когда свистят с обрыва,
это вряд ли соловьи,
это – ливы.

1967

НА ПЛОТАХ

Нас несёт Енисей.
Как плоты над огромной и чёрной водой.
Я – ничей!
Я – не твой, я – не твой, я – не твой!
Ненавижу провал
твоих губ, твои волосы, платье, жильё.
Я плевал
на святое и лживое имя твоё!

Ненавижу за ложь
телеграмм и открыток твоих,
ненавижу, как нож
по ночам ненавидит живых.
Ненавижу твой шёлк,
проливные нейлоны гардин.
Мне нужнее мешок, чем холстина картин!

Атаманша-тихоня
телефон-автоматной Москвы,
Я страшон, как икона,
почернел и опух от мошки.
Блещет, словно сазан,
голубая щека рыбака.
«Нет» – слезам.
«Да» – мужским, продублённым рукам.

«Да» – девчатам разбойным,
купающим МАЗ, как коня,
«Да» – брандспойтам,
сбивающим горе с меня.

1967

* * *

Нам, как аппендицит,
поуделяли стыд.

Бесстыдство – наш удел.
Мы попираем смерть.
Ну, кто из нас краснел?
Забыли, как краснеть!

Сквозь ставни наших щёк
не просочится свет.
Но по ночам – как шов,
заноет, – спасу нет!

Я думаю, что Бог
в замену глаз и уш
нам дал мембраны щёк
как осязанье душ.

Горит моя беда,
два органа стыда —
не только для бритья,
не только для битья.

Спускаюсь в чей-то быт,
смутясь, гляжу кругом —
мне гладит щёки стыд
с изнанки утюгом.

Как стыдно, мы молчим.
Как минимум – схохмим.
Мне стыдно писанин,
написанных самим!

Ложь в рожицах людей,
хоть надевай штаны,
но тыщу раз стыдней,
когда премьер страны
застенчиво замер в ООН
перед тем – как снять ботинок.
«Вот незадача, – размышлял он. – Точно помню, что
вымыл вчера ногу, но какую – левую или правую?»

Далёкий ангел мой,
стыжусь твоей любви
авиазаказной...
Мне стыдно за твои

солёные, что льёшь.
Но тыщи раз стыдней,
что не отыщешь слёз
на дне души моей.

Смешон мужчина мне
с напухшей тучей глаз.
Постыднее вдвойне,
что это в первый раз.

И чёрный ручеёк
бежит на телефон
за всё, за всё, что он
имел и не сберёг.

За всё, за всё, за всё,
что было и ушло,
что сбудется ужо
и всё ещё – не всё...

В больнице режиссёр
чернеет с простынёй.
Ладони распротёр.
Но тыщи раз стыдней,

что нам глядит в глаза,
как бы чужие мы,
стыдливая краса
хрустальнейшей страны —

застенчивый укор
застенчивых лугов,
застенчивая дрожь
застенчивейших рощ...

Обязанность стиха
быть органом стыда.

1967

СТРОКИ

Пёс твой, Эпоха, я вою у сонного ЦУМа —
чую Кучума!

Чую кольчугу
сквозь чушь о «военных коммунах»,
чую Кучума,
чую мочу
на жемчужинах луврских фаюмов —
чую Кучума,
пыль над ордою встаёт грибовидным самумом,
люди, очнитесь от ваших возлюбленных юных,
чую Кучума!

Неужели астронавты завтра улетят на Марс,
а послезавтра – вернуться в эпоху скотоводческого

феодализма?

Неужели Шекспира заставят каяться в незнании «измов»?
Неужели Стравинского поволокут по воющим улицам!

Я думаю, право ли большинство?
Право ли наводнение во Флоренции,
круша палаццо, как орехи грецкие?
Но победит Челю, а не число.

Я думаю – толпа или единица?
Что длительней – столетие или миг,
который Микеланджело постиг?
Столетие сдохло, а мгновение длится.

Я думаю...

1967

ОСЕННЕЕ ВСТУПЛЕНИЕ

Развяжи мне язык, Муза огненных азбучиц.
Время рёв испытать.
Развяжи мне язык, как осенние вязы развязываешь
в листопад.

Развяжи мне язык – как снимают ботинок,
чтоб ранимую землю осязать босиком, —
так гигантское небо
эпохи Батыя
сковородку земли,
обжигаясь, берёт языком.

Освежи мне язык, современная Муза.
Водку из холодильника в рот наберя,
напоила щекотно,
морозно и узко!
Вкус рябины и русского словаря.

Онемевшие залы я бросал тебе под ноги вазами,
оставляя заик,
как у девки отчаянной,
были трубы мои
перевязаны.
Разреши меня словом.
Развяжи мне язык.

Время рёва зверей. Время линьки архаров.
Архаическим рёвом
взрывая кадык,
не латинское «Август», а древнее «Зарев»,
озари мне язык.

Зарев
заваленных базаров, грузовиков,
зарев разряженных от плиты хозяек,
зарев,
когда чащи тяжелы и пузаты,
а воздух над полем вздрагивает, как ноздри,
в предвкушении перемен,
когда звери воют в сладкой тревоге,
зарев,
когда видно от Москвы до Хабаровска

*и от костров картофельной ботвы до костров
Батья,
зарев, когда в левом верхнем углу
жемчужно-витиеватой берёзы
замерла белка,
алая, как заглавная буквица
Ипатьевской летописи.
Ах, зарев,
дай мне откусить твоего запева!*

Зареваает история.
Зарев, тура по сердцухвати.
И в слезах, обернувшись над трупом Сахары;
львы ревут,
как шесты микрофонов,
воздев вертикально с пампушкой хвосты.
Зарев!

Мы лесам соплеменны,
в нас поют перемены.
Что-то в нас назревает.
Человек зареваает.

Паутинки летят. Так линяет пространство.
Тянет за реку.
Чтобы голос обрести – надо крупно расстаться,
зарев,
зарев – значит «прощай!», зарев – значит
«да здравствует завтра!»

Как горящая пакля, на сучках клочья волчьих и пёсьих.
Звери платят ясак за провидческий рык.
Шкурой платят за песню.
Развяжи мне язык.

Я одет поверх куртки
в квартиру с коридорами-рукавами,
где из почтового ящика,
как платок из кармана,
газета торчит,
сверху дом, как боярская шуба
каменными мехами —
развяжи мне язык.

Ах, моё ремесло – самобытное? Нет, самопытное!
Обиваясь о стены, во сне, наяву,
ты пытай меня, Время, пока тебе слово не выдам.
Дай мне дыбу любую. Пока не взреву.

Зарев новых словес. Зарев зрелых предчувствий,
революций и рас.
Зарев первой печурки,
красным бликом змеясь...
Запах снега пречистый,
изменяющий нас.

* * *

Человечьи кричит на шоссе
белка, крашенная, как в Вятке, —
алюминиевая уже,
только алые уши и лапки.

1967

ДИАЛОГ

– Итак,
в прошедшем поэт, в настоящем просящий суда,
свидетель себя и мира в шестидесятые года?
– Да!
– Клянётесь ответствовать правду в ответ?
– Да.
– Живя на огромной, счастливейшей из планет,
песчиночке моего решета...
– Да.
– ...вы производили свой эксперимент?
– Да.
– Любили вы петь и считали, что музыка – ваша звезда?
– Да.
– Имели вы слух или голос и знали хотя бы предмет?
– Нет.
– Вы знали ли женщину с узкою трубочкой рта?
И дом с фонарём отражался в пруду, как бубновый валет?
– Нет.
– Всё виски просила без соды и льда?
– Нет, нет, нет!
– Вы жизнь ей вручили. Где ж женщина та?
– Нет.
– Вы всё испытали – монаршая милость, политика, деньги,
нужда,
всё только бы песни увидели свет,
дешёвую славу с такою доплатою вслед?
– Да.
И всё ж, мой отличник, познания ваши на «2»?

- Да.
– Хотели пустыни – а шли в города,
смирили ль гордыню, став модой газет?
– Нет.
– Вы были ль у цели, когда стадионы ревели вам: «Дай»!
– Нет.
– В стихах всё – вопросы, в них только и есть что вреда,
производительность труда падает, читая сей бред?
– Да.
– И всё же вы верите в некий просвет?
– Да.
– Ну, мальчики, может, ну, девочки, может...
Но сникнут под ношею лет.
Друзья же подались в искусство «дада»?
– Кто – да.
– Всё – белиберда,
в вас нет смысла, поэт!
– Да, если нет.
– Вы дали ли счастье той женщине, для
которой трудились, чей образ воспет?
– Да,
то есть нет.
- Глухарь стихотворный, напяливший джинсы,
поёшь, наступая на горло собственной жизни?
Вернёшься домой – дома стонет беда?
– Да.
– Хотел ли свободы Парижский Конвент?
Преступностью ль стала его правота?
– Да.
– На вашей земле холода, холода,
такие пространства, хоть крикни – всё сходит на нет?...
– Да.
– Вы лбом прошибали из тьмы ворота,
а за воротами – опять темнота?
– Да.
– Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо,
случится беда,
вам жаль ваше тело, ну ладно.
Но маму, но тайну оставшихся лет?
– Да.
– Да?
– Нет.
– Нет.
- Итак, продолжаете эксперимент? Айда!
Обрыдла мне исповедь,
вы – сумасшедший, лжеидол, балда, паразит!
Идёте витийствовать? зло поразить? иль простить?

Так в чём же истина? В «да» или в «нет»?
– С п р о с и т ь.

В ответы не втиснуты
судьбы и слёзы.
В вопросе и истина.
Поэты – вопросы.

1967

МОРСКАЯ ПЕСЕНКА

Я в географии слабак,
но, как на заповедь,
ориентируюсь на знак —
востоко-запад.

Ведь тот же огненный желток,
что скрылся за борт,
он одному сейчас – Восток,
другому – Запад.

Ты целовался до утра.
А кто-то запил.
Тебе – пришла, ему – ушла.
Востоко-запад.

Опять Букашкину везёт.
Растёт идейно.
Не понимает, что тот взлёт —
его паденье.

А ты, художник, сам себе
Востоко-запад.
Крути орбиты в серебре,
чтоб мир не зябнул.

Пускай судачат про твои
паденья-взлёты —
нерукотворное твори,
жми обороты.

Страшись, художник, подтипал
и страхов ложных.
Работай. Ты их всех хлебал
большою ложкой.

Солнце за морскую линию

удаляется, дурачась,
своей нижней половиною
вылезая в Гондурасах.

1967

БАР «РЫБАРСКА ХИЖА»

Божидару Божилу

Серебряных несербских рыбин
рубам хищно.
Наш пир тревожен. Сижу, не рыбаюсь
в «Рыбарске хидже».

Ах, Божидар, антенна Божья,
мы – самоеды.
Мы оба тощи. Мы рыбы тоже.
Нам тошно это.

На нас – тельняшки, меридианы —
жгут, как верёвки.
Фигуры наши – как Модильяни —
для сковородки.

Кто по-немецки, кто по-румынски...
Мы ж – ультразвуки.
Кругом отважно чужие мысли
и ультрацуки.

Кто нас услышит? Поймёт? Ответит?
Нас, рыб поющих?
У времени изящны сети
и толсты уши.

Нас любят жёны,
в чулках узорных,
они – русалки.
Ах, сколько сеток
в рыбачьих зонах
мы прокусили!

В банкетах пресных
нас хвалят гости,
мы нежно кротки.
Но наши песни
вонзятся костью
в чужие глотки!

1967

ДРЕВНИЕ СТРОКИ

Р. Щедрину

В воротничке я —
как рассыльный
в кругу кривляк.
Но по ночам я —
пёс России
о двух крылах.

С обрывком галстука на вые,
и дыбом шерсть.
И дыбом крылья огневые.
Врагов не счесть...

А ты меня шерстишь и любишь,
когда ж грустишь, —
выплакиваешь мне, что людям
не сообщишь.

В мурло уткнёшься меховое
в репьях, в шипах...
И слёзы общею звездой
в шерсти шипят.

И неминуемо минуем
твою беду
в неименуемо немую
минуту ту.

А утром я свишу насильно,
но мой язык —
что слёзы слизывал России,
чей светел лик.

1967

НАПОИЛИ

Напоили.
Первый раз ты так пьяна,
на пари ли?
Виновата ли весна?

Пахнет ночью из окна
и полынью.
Пол – отвесный, как стена...
Напоили.

Меж партнёров и мадам
синеглазо
бродит ангел вдрабадан,
семиклашка.

Её мутит. Как ей быть?
Хочет взрослою побыть.

Кто-то вытащит ей таз
из передней
и наяривает джаз
как посредник:

«Всё на свете в первый раз,
не сейчас —
так через час,
интересней в первый раз,
чем в последний...»

Но чьи усталые глаза
стоят в углу,
как образа?
И не флиртуют, не манят —
они отчаяньем кричат.

Что им мерещится в фигурке
между танцующих фигур?

И, как помада на окурках,
на смятых пальцах
маникюр.

1967

ТОСКА

Загляжусь ли на поезд с осенних откосов,
забреду ли в вечернюю деревушку —
будто душу высасывают насосом,
будто тянет вытяжка или вьюшка,
будто что-то случилось или случится —
ниже горла высасывает ключицы.

Или ноет какая вина запущенная?
Или женщину мучил – и вот наказание?
Сложишь песню – отпустит,
а дальше – пуще.
Показали дорогу, да путь заказали.
Точно тайный горб на груди таскаю —
тоска такая!

Я забыл, какие у тебя волосы,
я забыл, какое твоё дыханье,
подари мне прощенье,
коли виновен,
а простивши – опять одари виною...

1967

СНЕГ В ОКТЯБРЕ

Падает по железу
с небом напополам
снежное сожаление
по лесу и по нам.

В красные можжевельины —
снежное сожаление,
ветви отяжелелые
светлого сожаления!

Это сейчас растает
в наших речах с тобой,
только потом настанет
твёрдой, как наст, тоской.

И, оседая, шевелится,
будто снега из детств,
свежее сожаление
милых твоих одежд.

Спи, моё день-рождение,
яблоко закусав.
Как мы теперь отдельно
будем в красных лесах?!

Ах, как звенит вслед лету
брошенный твой снежок,
будто велосипедный
круглый литой звонок!

1967

* * *

Слоняюсь под Новосибирском,
где на дорожке к пустырю
прижата камушком записка:
«Прохожий, я тебя люблю!»

Сентиментальность озорницы,
над вами приснувшей в углу?
Иль просто надо объясниться?
«Прохожий, я тебя люблю!»

Записка, я тебя люблю!
Опушка – я тебя люблю!
Зверюга – я тебя люблю!
Разлука – я тебя люблю!

Детсад – как семь шаров воздушных,
на шейках-ниточках держась.
Куда вас унесёт и сдует?
Не знаю, но страшусь за вас.

Как сердце жмёт, когда над осенью,
хоть никогда не быть мне с ней,
уносит лодкой восьмивёсельной
в затылок ниточку гусей!

Прощающим благодареньем
пройдёт деревня на плаву.
Что мне плакучая деревня?
Деревня, я тебя люблю!

И, как ремень с латунной пряжкой,
на бражном, как античный бог,
на нежном мерине дремавшем
присох осиновый листок.

Коняга, я тебя люблю!
Мне конюх молвит мирозданьем:
«Поэт? Люблю. Пойдём – раздавим...»
Он сам, как осень, во хмелю,

Над пнём склонилась паутина,
в хрустальном зеркале храня
тончайшим срезом волосиным

все годовые кольца пня.

Будь с встречным чудом осторожней...
Я встречным «здравствуй» говорю.
Несёшь мне гибель, почтальонша?
Проходя, тебя люблю!

Проходя моя планета!
За сумасшедшие пути,
проколотые, как билеты,
поэты с дырочкой в груди.

И как цена боёв и риска,
чек, ярлычок на клею,
к Земле приклеена записка:
«Прохожий, я тебя люблю!»

1967

ВРЕМЯ НА РЕМОНТЕ

Как архангельша времён
на часах над Воронцовской
баба вывела: «Ремонт»,
и спустилась за перцовкой.

Верьте тёте Моте —
Время на ремонте.

Время на ремонте.
Медлят сбросить кроны
просеки лимонные
в сладостной дремоте.

Фильмы поджеймсбондили.
В твисте и нервозности
женщины – вне возраста.
Время на ремонте.

Снова клёши в моде.
Новости тиражные —
как позавчерашние.
Так же тягомотны.

В Кимрах именины.
Модницы в чулках,
в самых смелых мини —
только в чёлочках.

Мама на «Раймонде».
Время на ремонте.

Реставрационщик
потрошит да Винчи.
«Лермонтов» в ремонте.
Гаечки там подвинчивают.

*«Я полагаю, что пара вертолётов
значительно изменила бы ход Аустерлицкого сражения.
Пологаю также, что наступил момент
произвести
девальвацию минуты.
Одна старая мин. равняется 1,4 новой. Тогда,
соответственно, количество часов в сутках
увеличится, возрастёт производительность
труда, а в оставшееся время мы сможем петь...»*

*Время остановилось.
Время 00 – как надпись на дверях.
Прекрасное мгновенье,
не слишком ли ты
подзатянулось?*

*Которые всё едят и едят,
вся жизнь которых – как затянувшийся
обеденный перерыв,
которые едят в счёт 1995 года,
вам говорю я:
«Вы временны».
Конторские и конвейерные,
чья жизнь – изнурительный
производственный ритм,
вам говорю я:
«Временно это».*

*Которая шьёт-шьёт, а нитка всё не кончается,
которые замерли в 30 м от финиша
со скоростью 270 км/никогда,
вам говорю я:
«Увы, и вы временны...»*

«До – До – До – До – До – До – До – До» —

он уже продолбил клавишу,
так что клавиша стала похожа на домино
«пусто-один» —

Прекрасное мгновенье,

не слишком ли ты подзатянулось?

Помогите Время
сдвинуть с мёртвой точки.
Гайки, Канты, лемехи,
все – второисточники.

На семи рубинах
циферблат Истории —
на живых, любимых,
ломкие которые.

Может, рядом, около,
у подружки ветреной
что-то больно ёкнуло,
а на ней всё вертится.

Обнажайте заживо
у себя предсердие,
дайте пересаживать.
В этом и бессмертие.

Ты прощай мой щебет,
сжавшийся заложник,
неизвестность щемит —
вдруг и ты заглохнешь?

Неизвестность вечная —
вдруг не разожмётся?
Если человеческое —
значит, приживётся.

И колёса мощные
время навернёт.
Временных ремонтщиков
вышвырнет в ремонт!

1967

* * *

Сколько свинцового яда влито,
сколько чугунных лжей...
Моё лицо никак не выжмет
штангу
ушей...

1968

ЯЛТИНСКАЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Сашка Марков, ты – король лаборатории.
Шишка сыска, стихотворец и дитя.
Пред тобою все оторвы припортовые
обожающе снижают скоростя.

Кабинет криминалистики – как перечень.
Сашка Марков, будь Вергилием, веди!
Обвиняемые или потерпевшие,
стонут вещи с отпечатками беды.

Чья вина позапекалась на напильнике?
Группа крови. Заспиртованный урод.
Заявление: «Раскаявшись, насильника
на поруки потерпевшая берёт».

И, глядя на эту космографию,
точно дети нос приплюснули во мрак,
под стеклом стола четыре фотографии —
ах, Марина, Маяковский, Пастернак...

Ах, поэты, с беззаветностью отдавшиеся
ситуациям, эпохам, временам, —
обвиняемые или пострадавшие,
с беспощадностью прощающие нам!

Экспертиза, называемая славою,
в наше время для познания нет преград.
Знают правые, что левые творят,
но не ведают, где левые, где правые...

И, глядя в меня глазами потеплевшими,
инстинктивно проклиняемое мной,
обвиняемое или потерпевшее,
воет Время над моею головой!

Победители, прикованные к пленным.
Невменяемой эпохи лабиринт.
Просветление на грани преступления.
Боже правый, Саша Марков, разберись...

1968

РОЩА

Не трожь человека, деревце,
костра в нём не разводи.
И так в нём такое делается —
боже не приведи!

Не бей человека, птица,
ещё не открыт отстрел,
Круги твои —
ниже,
тише.
Неведомое – острей.

Неопытен друг двуногий.
Вы, белка и колонок,
снимите силки с дороги,
чтоб душу не наколот.

Не браконьерствуй, прошлое.
Он в этом не виноват.
Не надо, вольная рощица,
к домам его ревновать.

Такая стоишь тенистая,
с начёсами до бровей, —
травили его, освистывали,
ты-то хоть не убей!

Отдай ему в воскресение
все ягоды и грибы,
пожалуй ему спасение,
спасением погуби.

1968

НЬЮ-ЙОРКСКИЕ ЗНАЧКИ

Блещут бляхи, бляхи, бляхи,
возглашая матом благим:
«Люди – предки обезьян»,
«Губернатор – лесбиян»,
«Непечатное – в печать!»,
«Запретите запрещать!»

«Бог живёт на улице Пастера, 18. Вход со двора».

Обожаю Гринич Вилидж
в саркастических значках.
Это кто мохнатый вылез,

как мошна в ночных очках?

Это Ален, Ален, Ален!
Над смертельным карнавалом,
Ален, выскочи в исподнем!
Бог – ирония сегодня.
Как библейский афоризм
гениальное: «Вались!».

Хулиганы? Хулиганы.
Лучше сунуть пальцы в рот,
чем закусить куликами
буржуазовых болот!

Бляхи по местам филейным,
коллективным Вифлеемом
в мыле давят трепака —
«мини» около пупка.

Это Селма, Селма, Селма
агитирующей шельмой
подмигнула и – во двор:
«Мэйк лав, нот уор!»

Бог – ирония сегодня.
Блещут бляхи над зевотой.
Тем страшнее, чем смешней,
и для пули – как мишень!

«Бог переехал на проспект Мира, 43. 2 звонка».

И над хиппи, над потопом
ироническим циклопом
блещет Время, как значком,
округлившимся зрачком!

*Ах, Время,
сумею ли я прочитать, что написано
в твоих очах,
мчащихся на меня,
увеличиваясь, как фары?
Успею ли оценить твою хохму?...
Ах, осень в осиновых кружочках...*

*Ах, восемь
подброшенных тарелочек жонглёра,
мгновенно замерших в воздухе,
будто жирафа убежала,
а пятна от неё*

остались...

Удаляется жирафа
в бляхах, будто мухомор,
на спине у ней шарахнуто:
«Мэйк лав, нот уор»!

1968

ИЮНЬ-68

Лебеди, лебеди, лебеди...
К северу. К северу. К северу!..
Кеннеди... Кеннеди... Кеннеди...
Срезали...

Может, в чужой политике
не понимаю что-то?
Но понимаю залитые
кровью беспомощной щёки!

Баловень телепублики
в траурных лимузинах...
Пулями, пулями, пулями
бешеные полемизируют!..

Помню, качал рассеянно
целой ещё головою,
смахивал на Есенина
падающей копною.

Как у того, играла,
льнула луна на брови...
Думали – для рекламы,
а обернулось – кровью.

Незащищённость вызова
лидеров и артистов,
прямо из телевизоров
падающих на выстрел!

Ах, как тоскуют корни,
отнятые от сада,
яблоней на балконе
на этаже тридцатом!..

Яблони, яблони, яблони —
к дьяволу!..

Яблони небоскрёбов —
разве что для надгробьев.

* * *

Суздальская Богоматерь,
сияющая на белой стене,
как кинокассирша
в полукруглом овале окошечка!

Дай мне
билет,
куда не допускают
после шестнадцати...

1968

ДЕКАБРЬСКИЕ ПАСТБИЩА

М. Сарьяну

Всё как надо — звёздная давка.
Чабаны у костра в кругу.
Годовалая волкодавка
разрешается на снегу.

Пахнет псиной и Новым Заветом.
Как томилась она меж нас.
Её брюхо кололось светом,
как серебряный дикобраз.

Чабаны на кону метали —
короля, короля, короля.
Из икон, как из будок, лаяли —
кобеля, кобеля, кобеля.

А она всё ложилась чаще
на репы и сухой помёт
и обнюхивала сияющий
мессианский чужой живот.

Шли бараны чёрные следом.
Лишь серебряный всё понимал —
передачу велосипеда
его контур напоминал.

Кто-то ехал в толпе овечьей,

передачу его крутя,
думал: «Сын не спас Человечий,
пусть спасёт собачье дитя».

Он сопел, белокурый кутяша,
рядом с серенькими тремя,
стыл над лобиком нимб крутящийся,
словно малая шестерня.

И от малой той шестерёнки
начиналось удесятерённо
сумасшествие звёзд и блох.
Ибо всё, что живое, – Бог.

«Аполлоны», походы, страны,
ход истории и века,
ионические бараны,
иронические снега.

По снегам, отвечая чаяньям,
отмечаясь в шофёрских чайных,
ирод Сидоров шёл с мешком
с извиняющимся смешком.

1969

* * *

Лист летящий, лист спешащий
над походочкой моей —
воздух в быстрых отпечатках
женских маленьких ступней.

Возвращаются, толкутся
эти светлые следы,
что желают? что толкуют?
Ах, лети,
лети,
лети!..

Вот нашла – в такой глуши,
в ясном воздухе души.

1969

УЛИТКИ-ДОМУШНИЦЫ

Уже, наверно, час тому, как
рассвет означит на стене
ряды улиточек-домушниц
с кибиточками на спине.

Магометанские моллюски,
их продвижение – не иллюзия.
И, как полосочки слюды,
за ними тянутся следы.

Они с катушкой скотча схожи,
как будто некая рука
оклеивает тайным скотчем
дома и судьбы на века.

С какой решительностью тащат —
без них, наверно б, мир зачах —
домов, замужеств, башен тяжесть
на слабых влажных язычках!

Я погружён в магометанство,
секунды протяженьем в год,
где незаметна моментальность
и видно, как гора идёт.

Эпохой, может, и побрезгуют.
Но миллиметра не простят.
Посылки клеят до востребования.

Куда летим? Кто адресат?

1969

ГРИПП «ГОНКОНГ-69»

Гриппозная пора,
как можется тебе?
Гриппозная молва
в жару, в снегу, в беде.

Беспомощна наука.
И с Воробьёвых гор
в ночном такси старуха
бормочет наговор:

«Снега – балахоном».
Бормочет Горгона:
«Гонконг, гоу хоум!

Гонконг, гоу хоум!»

Грипп,
грипп,
грипп,
грипп,
ты – грипп,
я – грипп,
на трёх
могли б...

Грипп... грипп...
Кипи, скипидар,
«Грипп – нет!
Хиппи – да!»

Лили Брик с «Огоньком»
или грипп «Гонконг»?

Грипп,
грипп,
хип-хип,
гип-гип!
«Открой “Стоп-грипп»,
по гроб – «Гран-при»!

Райторг
открыт.
«Нет штор.
Есть грипп».
«Кто крайний за гриппом?»
Грипп, грипп, грипп, грипп, грипп...
«Как звать?»
«Христос!»
«Что дать?»
«Грипп-стоп»...

Одна знакомая лошадь предложила:
«Человек – рассадник эпидемии.
Стоит уничтожить человечество – грипп прекратится...»

По городу гомон:
«Гонконг, гоу хоум!»

Орём Иерихоном:
«Гонконг, гоу хоум!»

Взамен «уха-горла» —
к нам в дом гинеколог.

«Домком? Нету коек».
«Гонконг, гоу хоум!»

Не собирайтесь в сборища.
В театрах сбор горит.
Доказано, что спорящий
распространяет грипп.

Целуются затылками.
Рты марлей позатыканы.
Полгороду
народ
руки не подаёт.

И нет медикаментов.
И процедура вся —
отмерь четыре метра
и совершенствуйся.

Любовник дал ходу.
В альков не загонишь.
Связь по телефону.
«Гонконг,
гоу хоум!»

Любимая моя,
как дни ни тяжелы,
уткнусь
в твои уста,
сухие от жары.

Бегом по уколам.
Жжёт жар геликоном.
По ком звонит колокол?...

«Гонконг, гоу хоум!...»

1969

КОНСПИРАТИВНАЯ КВАРТИРА

Мы – кочевые, мы – кочевые,
мы – очевидно,
сегодня чудом переночуем,
а там – увидим!

Квартиры наши конспиративны,
как в спиритизме,

чужие стены гудят, как храмы,
чужие драмы,
со стен пожаром холсты и схимники...
а ну пошарим —
что в холодильнике?

Не нас заждался на кухне газ,
и к телефонам зовут не нас,

наиродное среди чужого,
и, как ожоги,

чьи поцелуи горят во тьме,
ещё не выветрившиеся вполне?...

Милая, милая, что с тобой?...
Мы эмигрировали в край чужой,

ну что за город, глухой, как чушки,
где прячут чувства?

Позорно пузо растить чинуше —
но почему же,

когда мы рядом, когда нам здорово —
что ж тут позорного?

Опасно с кафедр нести напраслину —
что ж в нас опасного?

Не мы опасны, а вы лабазны,
людьё, которым любовь опасна!

Вы опротивели, конспиративные!..
Поджечь обои? вспороть картины?
Об стены треснуть сервиз, съезжая?...

«Не трожь тарелку – она чужая».

1964

ВАЙДАВАЙДАВАЙ

Семидесятые

СКРЫМТЫМНЫМ

«Скрытымным» – это пляшут омичи?
скрип темниц? или крик о помощи?
или у Судьбы есть псевдоним,
тёмная ухмылочка – скрытымным?

Скрытымным – то, что между нами.
То, что было раньше, вскрыв, темним.
«Ты-мы-ы...» – с закрытыми глазами
в счастье стонет женщина: скрытымным.

Скрытымным – языков праматерь.
Глупо верить разуму, глупо спорить с ним.
Планы прогнозируем по сопромату,
но часто не учитываем скрытымным.

«Как вы поживаете?» – «Скрытымным...»
Из-за «скрытымными» закрыли Крым.

Скрытымным – это не силлабика.
Лермонтов поэтому непереводим.
Лучшая Марина зарыта в Елабуге.
Где её могила? – скрытымным...

А пока пляшите, пьяны в дым:
«Шагадам, магадам, скрытымным!»
Но не забывайте – рухнул Рим,
не поняв приветствия: «Скрытымным».

1970

ДОНОР ДЫХАНИЯ

Так спасают автогонщиков.
Врач случайная, на ждавши «скорой помощи»,
с силой в лёгкие вдувает кислород —
рот в рот!

Есть отвага медицинская последняя —
без посредников, как жирица мясоедная,

рот в рот,
не сestroю, а женою милосердия
душу всю ему до донышка даёт —
рот в рот,
одновременно массируя предсердие.

Оживаешь, оживаешь, оживаешь.
Рот в рот, рот в рот, рот в рот.
Из ребра когда-то созданный товарищ,
она вас из дыхания создаёт.

А в ушах звенит, как соло ксилофона,
мозг изъеден углекислотой.
А везти его до Кировских Ворот!
(Рот в рот. Рот в рот. Рот в рот.)
Синий взгляд как пробка вылетит из-под
век, и лёгкие вздохнут, как шар летательный.
Преодолевается летальный
исход...

«Ты лети, мой шар воздушный, мой минутный.
Пусть в глазах твоих
мной вдутый небосвод.
Пусть отдашь моё дыхание кому-то
рот – в рот...»

1970

* * *

Бобры должны мочить хвосты.
Они темны и потаённые,
обмакнутые в водоёмы,
как потаённые цветы.

Но распускаются с опаской
два зуба алою печалью,
как лента с шапки партизанской
иль кактусы порасцветали.

1970

МОЛИТВА

Когда я придаю бумаге
черты твоей поспешной красоты,
я думаю не о рифмовке, —

с ума бы не сойти!

Когда ты в шапочке бассейной
ко мне припустишь из воды,
молю не о души спасенье, —
с ума бы не сойти!

А за оградой монастырской,
как спирт ударит нашатырный,
послегрозовые сады, —
с ума бы не сойти!

Когда отчётливо и грубо
стрекозы посреди полей
стоят, как чёрные шурупы
стеклянных, замерших дверей,

такое растворится лето,
что только вымолвишь: «Прости,
за что мне, человеку, это!
С ума бы не сойти!»

Куда-то душу уносили —
забыли принести.
«Господь, – скажу, – или Россия,
назад не отпусти!»

1970

СВИТЯЗЬ

Опали берега осенние.
Не заплывайте. Это омут.
А летом озеро – спасение
тем, кто тоскуют или тонут.

А летом берега целебные,
как будто шина, надуваются
ольховым светом и серебряным
и тихо в берегах качаются.

Наверно, это микроклимат.
Услышишь, скрипнула калитка
или колодец журавлиный, —
всё ожидаешь, что окликнут.

Я здесь и сам живу для отзыва.
И снова сердце разрывается —

дубовый лист, прилипший к озеру,
напоминает Страдивариуса.

1970

СКУПЩИК КРАДЕНОГО

1

Приценись ко мне в упор,
бюрократина.
Ты опаснее, чем вор,
скупщик краденого!

Лоб краплённый полон мыслями,
белый, как Наполеон,
чёлка с круглыми залысинами
липнет трефовым тузом...

Символы предметов реют
в твоей комнате паучьей,
как вещевая лотерея:
вещи есть – но шиш получишь!

2

Кражи, шмотки и сапфиры
зашифрованы в цифири:
«4704... моторчик марки “Ява»,
“Волга» (угнанная явно).
Неразборчивая цифра... списанная машина шифера,
пешка Бобби Фишера,
ключ от сейфа с шифром,
где деньги лежат.

200 000... гора Арарат,
на остальные пятнадцать
номеров подряд
выпадает по кофейной
чашечке с вензелем
отель “Украина»,
печать райфина,
или паникадило
(по желанию),

или четырёхкомнатная
“малина»
на площади Восстания,
или старый “Москвич»
(по желанию).
236-49-45... непожилая,
но крашеная под серебро прядь
поможет Вам украсть
тридцать минут счастья +
кофе в номер
(или пятнадцать рублей денег).
Демпинг!
(Тем же награждаются все последующие
четыре номера.)

№ 14709... Памятник. Кварц в позолоте.
С надписью “Наследник —
тете».

Инв. № 147015... Библиотечный штамп
лиловый,
золотые буквы сбоку:
“Избранное поэта О-ва»
(где сто двадцать строчек
Блока).

№ 22100... Пока ещё неизвестно что.
№ 48... Манти, кожаное, но
хлоркой сведено пятно.

№ 1968... Судья класса А,
мыло “Москва».

На оставшийся 21-й билет
выпадает 10 лет.

3

Размечтались, как пропеллер, —
воровская лотерея:
«Бриллианты миссис Тэйлор,
и ворованные ею
многодетные мужчины,
и ворованная ими
нефть печальных бедуинов,
и ворованные теми
самолёты в Йемене,

и ворованное Время
ваше, читатель, к этой теме,
и ворованные Временем
наши жизни в море бренном,
где ворованы ныряльщиком
бриллианты нереальные,
что украли душу, тело
у бедняжки миссис Тэйлор...»

4

И на голос твой с порога,
мел сметая с потолков,
заглянёт любитель Блока
участковый Уголков,
потоскует синеоко
и уйдёт, не расколов.

(Посерьезнее Голгоф
участковый Уголков.)

С этой ночи нет покоя.
Машет в бедной голове
синий махаон с каймою
милицейских галифе.

Чуть застёжка залоснилась,
как у бабочки брюшко.

Что вы, синие, приснились?
Укатают далеко.
(Где посылки до кило.)

Дочь твоя ушла, вернулась
и к окошку отвернулась,
молода, худа и сжата,
плоскозада, как лопата
со скользящим желобком, —
закопает вечерком!

(С корешами вчетвером!)

Рысь, наследница, невеста.
И дежурит у подъезда
вежливый, как прокурор,
эксплуатируемый вор.

5

«Хорошо б купить купейный
в детство северной губернии,
где безвестность и тоска!..
Да накрылись отпуска.

Жжёт в узле кожанка краденая.
Очищают дачу в Кратове.
Блюминг вынести – раз плюнуть!
Но кому пристроишь блюминг?...»

По Арбату выюга дует...
С рацией, как рыболов,
эти мысли пеленгует
участковый Уголков.

1970

ГОРНЫЙ МОНАСТЫРЬ

Вода и камень.
Вода и хлеб.
Спят вверх ногами
Борис и Глеб.

Такая мятная
вода с утра —
вкус Богоматери
и серебра!

Плюс вкус свободы
без лишних глаз
Как слово Бога —
природы глас.

Стена и воля.
Вода и плоть.
А вместо соли —
подснежников щепоть!

1970

КАБАНЬЯ ОХОТА

Он прёт на тебя, великолепен.
Собак по пути зарезав.
Лупи!
Ну, а ежели не влепишь —
нелепо перезаряжать!

Он чёрен. И он тебя заметил.
Он жмёт по прямой, как глссера.
Уже между вами десять метров.
Но кровь твоя чётко-весела.

* * *

Очнусь – стол как операционный.
Кабанья застольная компанийка
на восемь персон. И порционный,
одетый в хрен и черемшу,
как паинька,
на блюде – ледяной, саксонской,
с морковочкой, как будто с соской,
смиранный, голенький лежу.

Кабарышни порхают меж подсвечников.
Копытца их нежны, как подснежники.
Кабабушка тянется к ножу.

В углу продавил четыре стула
центр тяжести литературы.
Лежу.

Внизу, элегически рыдая,
полны электрической тоски,
коты с окровавленными ртами,
вжимаясь в скамьи и сапоги,
визжат, как точильные круги!

(А кот с головою стрекозы,
порхая капроновыми усами,
висел над столом и, гнусая,
просил кровяной колбасы.)

Озяб фаршированный животик.
Гарнир умирающий поёт.

И чаши торжественные сводят
над нами хозяева болот.

Собратья печальной литургии,
салат, чернобыльник и другие,
ваш хор
меня возвращает вновь к Природе,
оч. хор.,
и зёрна, как кнопки на фаготе,
горят сквозь мочёный помидор.

* * *

Кругом умирали культуры —
садовая, парниковая, Византийская,
кукурузные кудряшки Катулла,
крашеные яйца редиски
(вкрутую),
селёдка, нарезанная, как клавиатура
перламутрового клавесина,
попискивала.
Но не сильно.

А в голубых листах капусты,
как с рокотовских зеркал,
в жемчужных париках и бюстах
век восемнадцатый витал.

Скрипели красотой атласной
кочанные её плеча,
мечтали умереть от ласки
и пугачёвского меча.

Прощальной позолотой
петергофская нимфа лежала,
как шпрота,
на чёрством ломтике пьедестала.

Вкусно порубать Расина!

И, как гастрономическая вершина,
дрожал на столе
аромат Фета, застывший в кувшинках,
как в гофрированных формочках для желе.
И умирало колдовство
в настойке градусов под сто.

* * *

Пируйте, восьмёрка виночерпиев.
Стол, грубо сколоченный, как плот.
Без кворума Тайная Вечеря.
И кровь предвкушенная, и плоть.

Клыки их вверх дужками закручены.
И рыла тупые над столом —
как будто в мерцающих уключинах
плывёт восьмивёсельный паром.

Так вот ты, паромщик Харона,
и Стикса пустынные воды.
Хреново.
Хозяева, алаверды!

* * *

Я пью за страшную свободу
отплыть, усмехнувшись, в никогда.
Мишени несбывшейся охоты,
рванём за усопшего стрелка!

Чудовище по имени Надежда,
я гнал за тобой, как следопыт.
Все пули уходили, не задевши.
Отходную! Следует допить.

За пустоту по имени Искусство.
Но пью за отметины дробин.
Закусывай!
Не мсти, что по звуку не добил.

А ты кто? Я тебя, дитя, не знаю.
Ты обозналась. Ты вина чужая!
Молчит она. Она не ест, не пьёт.
Лишь на губах поблёскивает лёд.

А это кто? Ты ж меня любила!
Я пью, чтоб в Тебе хватило силы
взять ножик в чудовищных гостях.
Простят убийство —
промах не простят.

Пью кубок свой преступный, как агрессор
и вор,
который, провоцируя окрестности,
производил естественный отбор!

Зверюги прощенье ощутили,
разлукою и хвоей задышав.
И слёзы скакали по щетине,
и пили на брудершафт.

* * *

Очнулся я, видимо, в бессмертье.
Мы с ношей тащились по бугру.
Привязанный ногами к длинной жерди,
отдав кишки жестяному ведру,
качался мой хозяин на пиру.

И по дороге, где мы проходили,
кровь свёртывалась в шарики из пыли.

1970

УРОКИ

Из Роберта Лоуэлла

Не уткнуться в «Тэсс из рода д'Эрбервиллей»,
чтоб на нас иголки белки обронили,
осыпая сосны, засыпая сон!..

Нас с тобой зазубрят заросли громадные,
как во сне придумали обучать грамматике.
Тёмные уроки. Лесовые сны.

Из коры кораблик колыхнётся около.
Ты куда, кораблик? Речка пересохла.
Было, милый, – сплыло. Были, были – мы!

Как укор, нас помнят хвойные урочища.
Но кому повторят тайные уроки?
В сон уходим, в память. Ночь, повсюду ночь,

Память! Полуночица сквозь окно горящее!
Плечи молодые лампу загораживают.
Тьма библиотеки. Не перечитать...

Чьё у загородки лето повторится?
В палец уколвши, иглы барбариса
свой урок повторят. Но кому, кому?

1970

АВОСЬ!

Поэма

Поэму «Авось» я начал писать в Ванкувере. Безусловно, в ванкуверские бухты заводил свои паруса Резанов и вглядывался в утренние холмы, так схожие с любезными его сердцу холмами сан-францисскими, где герой наш, «ежедневно куртизируя Гишпанскую красавицу, приметил предприимчивый характер ея», о чём откровенно оставил запись от 17 июня 1806 года.

Сдав билет на самолёт, сломав сетку выступлений, под утро, когда затихают хиппи и пихты, глотал я лестные страницы о Резанове толстенного тома Дж. Ленсена, следя судьбу нашего отважного соотечественника.

Действительный камергер, создатель японского словаря, мечтательный коллега и знакомец Державина и Дмитриева, одержимый бешеной идеей, измученный бурями, добрался он до Калифорнии. Команда голодала. «Люди оциножали и начали слягать. В полнолуние освежались мы найденными ракушками, а в другое время били орлов, ворон, словом, ели что попало...»

Был апрель. В Сан-Франциско, надев парадный мундир, Резанов пленил Кончу Аргуэльо, прелестную дочь коменданта города. Повторяю, был апрель. Они обручились. Внезапная гибель Резанова помешала свадьбе. Конча постриглась в монахини. Так появилась первая монахиня в Калифорнии. За океаном вышло несколько восхищённых монографий о Резанове. У Брета Гарта есть баллада о нём.

Дописывал поэму в Москве.

В нашем ЦГИА хранится рукописный отчёт Резанова, частью опубликованный у Тихмёва (СПб, 1863). Женственный, барочный почерк рисует нам ум и сердце впечатлительное. Какова личность, гордыня, словесный жест! «Наконец, являюсь я.

Губернатор принимает меня с вежливостью, и я тотчас занял его предметом моим».

Слог каков! «...и наконец погаснет дух к важному и величественному. Словом: мы уподобимся обитому огниву, об который до устали рук стуча, насилу искры добьёмся, да и то пустой, которою не зажжешь ничего, но когда был в нём огонь, тогда не пользовались».

Как аввакумовски костит он приобретателей: «Ежели таким бобровыя шапки нахлобучат!»

Как гневно и наивно в письме к царю пытается исправить человечество: «18 июля 1805 г. в самое тож время произвёл я над привезённым с острова Атхи мещанином Куликаловым за бесчеловечный бой американки и грудного сына тождественный пример строгого правосудия, заковав сего преступника в железы...»

Резанов был главой того первого кругосветного путешествия россиян, которое почему-то часто называют путешествием Крузерштерна. Крузерштерн и Лисянский были под под нача-

лом у Резанова и ревновали к нему. Они не ладили. в Сан-Франциско наш герой приплыл, уже освободившись от их общества, имея под началом Хвостова и Давыдова.

Матросы на парусниках были крепостными. Жалование, выплачиваемое им, выкупало их из неволи. Таким образом, их путь по океану был буквальным путём к свободе.

В поэму забрели два флотских офицера. Имена их слегка изменённые. Автор не столь слепаем самомнением и легкомыслием, чтобы изображать лиц реальных по скудным сведениям о них и оскорблять их приблизительностью. Образы их, как и имена, лишь капризное эхо судеб известных. Да и трагедия евангельской женщины, затоптанной высшей догмой, – недоказуема, хотя и несомненна. Ибо не права идея, поправшая живую жизнь и чувство.

Смерть настигла Резанова в Красноярске 1 марта 1807 года. Кончита не верила дошедшим до неё сведениям о смерти жениха. В 1842 году известный английский путешественник, бывший директор Гудзоновой компании сэр Джордж Симпсон, прибыв в Сан-Франциско, сообщил ей точные подробности гибели нашего героя. Кончитта ждала Резанова тридцать пять лет. Поверив в его смерть, она дала обет молчания, а через несколько лет приняла великий постриг в доминиканском монастыре в Монтерее.

Понятно, образы героев поэмы и впоследствии написанной оперы «Юнона и Авось» не во всём адекватны прототипам. Текст оперы был написан мною в 1977 году. Композитор А. Рыбников написал на её сюжет музыку, в которой замороженно оркестровал историю России, вечную и нынешнюю. В 1981-м опера поставлена М. Захаровым в Театре имени Ленинского комсомола. Словом, если стихи обратят читателя к текстам и первоисточникам этой скорбной истории, труд автора был ненепосредственен.

ОПИСАНИЕ

в сентиментальных документах, стихах и молитвах славных злоключений Действительного Камер-Герра Николая Резанова, доблестных Офицеров Флота Хвостова и Давыдова, их быстрых парусников «Юнона» и «Авось», сан-францисского Коменданта Дон Хосе Дарио Аргуэльо, любезной дочери его Кончи с приложением карты странствий необычайных.

«Но здесь должен я Вашему Сиятельству сделать исповедь частных моих приключений. Прекрасная Концепсия умножала день ото дня ко мне вежливости, разные интересные в положении моем услуги и искренность, начали непременно заполнять пустоту в моем сердце, мы ежечасть зближались в объяснениях, которые кончились тем, что она дала мне руку свою...»

*Письмо Н. Резанова Н. Румянцеву,
17 июня 1806 года
(ЦГИА, ф. 13, с. 1, д. 687)*

«Пусть как угодно ценят подвиг мой, но при помощи Божьей надеюсь хорошо исполнить его, мне первому из России здесь бродить, так сказать, по ножевому острию...»

Н. Резанов – директорам Русско-Американской компании, 6 ноября 1805 года

«Теперь надеюсь, что “Авось” наш в мае на воду спущен будет...»

*От Резанова же
15 февраля 1806 года
Секретно*

Вступление

«Авось» называется наша шхуна.
Луна на волне, как сухой овёс.
Трави, Муза, пускай худо,
Но нашу веру зовут «Авось»!

«Авось» разгуляется, «Авось» вывезет,
гармонизируется Хавос.
На суше– барщина и фонвизины,
А у нас – весенний девиз «Авось»!

Когда бессильна «Аве Мария»,
сквозь нас выдыхивает до звёзд
атеистическая Россия
сверхъестественное «авось»!

Нас мало, нас адски мало,
и самое страшное, что мы врозь,
но из всех притонов, из всех кошмаров
мы возвращаемся на «Авось».

У нас ноль шансов против тыщи —
крыш-ка!
Но наш ноль – просто красотища,
ведь мы выживали при минус сорока.

Довольно паузы. Будет шоу.
«Авось» отплыть провозгласил.
Пусть пусто у паруса за душою,
но пусто в сто лошадиных сил!

Когда же наконец откинем копыта
и превратимся в звезду, в навоз —
про нас напишет стишки пиита
с фамилией, начинающейся на «А. Возн».

1. Пролог

В Сан-Франциско «Авось» пиратствует —
ЧП!
Доченька губернаторская
Спит у русского на плече.

И за то, что дыханьем слабым

тельный крест его запотел,
католичество и православье,
вздев крыла, стоят у портьер.
Расшатываются устои.

Ей шестнадцать с позавчера,
с дня рождения удрала!
На посту Довыдов с Хвастовым
пьют и крестятся до утра.

2

Хвастов. А что ты думаешь, Довыдов...

Довыдов. О происхождении видов?

Хвастов. Да нет...

3. Молитва Кончи Аргуэльо – Богоматери

Плачет с сан-францисской колокольни
барышня. Аукается с ней
Ярославна! Нет, Кончаковна —
Кончаковне посолоней!

«Укрепи меня, Мать-Заступница,
против родины и отца,
государственная преступница,
полюбила я пришлеца.

Полюбила за славу риска,
в непроглядные времена
на балконе высекла искру
пряжка сброшенного ремня.

И за то, что учил впервые
словесам ненашей страны,
что, как будто цветы ночные,
распускающиеся в порыве,
ночью пахнут, а днём — дурны.

Пособи мне, как пособила б
баба бабе. Ах, Божья Мать,
ты, которая не любила,
как Ты можешь меня понять?!

Как нища ты, людская вселенная,
в боги выбравшая свои
плод искусственного осеменения,

дитя духа и нелюбви!

Нелюбовь в ваших сводах законочных.
Где ж исток?
Губернаторская дочь, Конча,
рада я, что твой сын издох!...»

И ответила Непорочная:
«Доченька...»

Ну, а дальше мы знать не вправе,
что там шепчут две бабы с тоской —
одна вся в серебре, другая —
до колен в рубашке мужской.

4

Хвастов. А что ты думаешь, Довыдов...

Довыдов. Как вздёрнуть немцев и пиитов?

Хвастов. Да нет...

Довыдов. Что деспоты не создают условий для работы?

Хвастов. Да нет...

5. Молитва Резанова – Богоматери

«Ну что Тебе надо ещё от меня?
Икона прохладна. Часовня тесна.
Я музыка поля, ты – музыка сада,
ну что Тебе надо ещё от меня?

Я был не из знати. Простая семья.
Сказала: «Ты тёмен» – учился латыни.
Я новые земли открыл золотые.
И это гордыни Твоей не цена?

Всю жизнь загубил я во имя Твоя.
Зачем же лишаешь последней улады?
Она ж несмыслёныш и малое чадо...
Ну что Тебе надо уже от меня?»

И вздрогнули ризы, окладом звеня,
и вышла усталая и без наряда.
Сказала: «Люблю тебя, глупый. Нет сладу.
Ну что тебе надо ещё от меня?»

6

Хвастов. А что ты думаешь, Довыдов...

Довыдов. О макси-хламидах?

Хвастов. Да нет...

Довыдов. Дистрофично безвластие, а власть катастрофична?

Хвастов. Да нет...

Довыдов. Вы надулись? Что я и крепостник и вольнодумец?

Хвастов. Да нет... О бабе, о резановской.

Вдруг нас американцы водят за нос?

Довыдов. Мыслю, как и ты, Хвастов, —

давить их, шлюх, без лишних слов.

Хвастов. Глядь! Дева в небе показалась, на облачке.

Довыдов. Показалось...

7. Описание свадьбы, имевшей быть 1 апреля 1806 года

«Губернатор в доказательство искренности и с слабыми ногами танцевал у меня, и мы не щадили порошу ни на судне, ни на крепости, гишпанские гитары смешивались с русскими песельниками. И ежели я не мог окончить женитьбы моей, то сделал кондиционный акт...»

Помнишь, свадебные слуги,
после радужной севрюги
апельсинами в вине
обносили не?

Как лиловый поп в битловке,
под колокола бывшего,
кольца, тесные с обновки,
с имечком на тыльной стороне, —
нам примерил не?

А Довыдова с Хвастовым,
в зал обеденный с вострогом
впрыгнувших на скакуне, —
выводили не?

А мамаша, удивившись,
будто давленные вишни
на брюссельской простыне,
озадаченной родне, —
предъявила не?

(Лейтенантик Н.
застрелился не?)

А когда вы шли с поклоном,
смертно-бледная мадонна
к фиолетовой стене
отвернулась не?

Губернаторская дочка,
где те гости? Ночь пуста.
Перепутались цепочкой
два нательные креста.

Архивные документы, относящиеся к делу Резанова Н. П.

(Комментируют архивные крысы – игреки и иксы.)

№ 1

«...но имя Монарха нашего более благословляться будет, когда в счастливые дни его свергнут Россияне рабство чуждым народам... Государство в одном месте избавляется от вредных членов, но в другом от них же получает пользу и ими города создает...»

(Н. Резанов – Н. Румянцеву)

№ 2. Второе письмо Резанова – И. И. Дмитриеву

Любезный государь Иван Иванович Дмитриев,
оповещаю, что достал
тебе настройку из термитов.
Душой я бешено устал!

Чего ищу? Чего-то свежего!
Земли старые – старый сифилис.
Начинаются театры с вешалок.
Начинаются царства с виселиц.

Земли новые – tabula rasa.
Расселю там новую расу —
Третий Мир – без деньги и петли,
ни республики, ни короны!

Где земли золотое лоно,
как по золоту пишат иконы,
будут лики людей светлы.

Был мне сон, дурной и чудесный.
(Видно, я переел синюх.)
Да, случась при дворе, посодействуй —
на американочке женюсь...

Чин икс

«А вы, Резанов,

Из куртизанов!
Хихикс...»

№ 3. Выписка из истории гг. Довыдова и Хвостова

Были петербуржцы – станем сыктывкарцы.
На снегу дуэльном – два костра.
Одного – на небо, другого – в карцер!
После сатисфакции – два конца!
Но пуля врезалась в пулю встречную.
Ай да Довыдов и Хвостов!
Враги вечные на братство венчаны.
И оба – к Резанову, на Дальний Восток...

Чин игрек

«Засечены в подпольных играх».

Чин икс

«Но государство ценит риск».

«15 февраля 1806 года

Объясняя вам многие характеры, приступлю теперь к прискорбному для меня описанию г. Х..., главного действующего лица в шалостях и вреде общественном и столь же полезного и любезного человека, когда в настоящих он правилах... В то самое время покупал я судно “Юнону», и, сколь скоро купил, то сделал его начальником, и в то же время написал к нему Мичмана Давыдова. Вступя на судно, открыл он то пьянство, которое три месяца к ряду продолжалось, ибо на одну свою персону, как из счета его в заборе увидите, выпил $9\frac{1}{2}$ ведр французской водки и $2\frac{1}{2}$ ведра крепкого спирту кроме отпусков другим и, словом, споил с кругу корабельных, подмастерьев, штурманов и офицеров.

Беспросыпное его пьянство лишило его ума, и он всякую ночь снимается с якоря, но, к счастью, что матросы всегда пьяны...»

(Из второго секретного письма Резанова)

«17 июня 1806 года

Здесь видел я опыт искусства Лейтенанта Хвостова, ибо должно отдать справедливость, что одною его решимостью спаслись мы и столько же удачно вышли мы из мест, каменными грядами окруженных...»

(Резанов – министру коммерции)

Рапорт

Мы – Довыдов и Хвостов,
оба лейтенанты.
Прикажите – в сто стволов
жахнем латинянам!

«Стоп, Довыдов и Хвастов!» —
«Вы мягки, Резанов». —
«Уезжаю. Дайте штоф.
Вас оставлю в замах».

В бой, Довыдов и Хвастов!
Улетели. Рапорт:
«Пять восточных островов
Ваши, Император!»

«Я должен отдать справедливость искусству гг. Хвостова и Давыдова, которые весьма поспешно совершили рейсы их...»

Резанов

«18 октября 1807 года

Когда я взошел к Капитану Бухарину, он, призвав караульного унтер-офицера, велел арестовать меня. Ни мне, ни лейтенанту Хвостову не позволялось выходить из дому и даже видеть лицо какого-нибудь смертного... Лейтенант Хвостов впал в опасную горячку. Вот картина моего состояния! Вот награда, если не услуг, то, по крайней мере, желания оказать оные. При сравнении прошедшей моей жизни и настоящей сердце обливается кровью и оскорбленная столь жестоким образом честь заставляет проклинать виновника и самую жизнь.

Мичман Давыдов»

(Из «Донесения Мичмана Давыдова на квартире, уже под политическим караулом»)

№ 4 В темнице

Довыдов. А что ты думаешь, Хвастов?...

Хвастов. Бухарин! Сука! Враг Христов!

Сатрап! Вор! Бабник! Педераст!

Довыдов. Тсс... Стражник передаст...

Хвастов. Чмо! Скот! Мы, офицеры, страждем!

Эй, стражник!

Нажрался паразит. Разит.

Стражник. С-ик тран-зит...

Восток алеет. Помолись.

Хвастов (*бледнеет*). Это мысль.

О, Дева, в ризах, как стеклярус!
Ты, что к Резанову являлась!
(Мы на Тебя интриговали
против американской крали.)
Спаси невинных индивидов!..
(*В ужасе*) Гляди, Довыдов.

Распались цепи. Стража отвалилась.
Дверь отворилась.

И кони у крыльца в кибитке...

Голос. Бегите!
По трассе будущей Турксиба.

Довыдов и Хвастов. Спасибо!
(*Бегут*)
Довыдов. Зер гут.

Религия не лишена основ.
А? Что ты думаешь, Хвастов?

№ 5

Мнение критика зета:

«От этих модернистских оборотцев
Резанов ваш в гробу перевернётся!»

Мнение поэта:

«Перевернётся – значит, оживёт.
Живи, Резанов! “Авось», вперёд!»

№ 6

Чин игрек
Вот панегирик:

«Николай Резанов был прозорливым политиком. Живи Н. Резанов на десять лет дольше, то, что мы называем Калифорнией и Американской Британской Колумбией, были бы русской территорией».

(*Атертон, США*)

Чин икс

Сравним, что говорит наш Головнин:

«Сей г. Резанов был человек скорый, горячий, затейливый писака, говорун, имеющий голову более способную создавать воздушные замки в кабинете, нежели к великим делам, происходящим в свете...»

Флота Капитан 2-го ранга и кавалер В. М. Головин

Чин икс

«А вы, Резанов,
пропили замок.
Вот иск».

№ 7. Из письма Резанова – Державину

Тут одного гишпанца угораздило
по-своему переложить Горация.
Понятно, это не Державин,
но любопытен по терзаньям:

Мой памятник

Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный...
Увечный
наш бранный разум цепляется за пирамиды,
статуи, памятные места —
тщета!
Тыща лет больше, тыща лет меньше —
но дальше ни черта!

Я – последний поэт цивилизации.
Не нашей, римской, а цивилизации вообще.
В эпоху духовного кризиса и цивилизации
культура – позорнейшая из вещей.

Позорно знать неправду и не назвать её,
а, назвавши, позорно не искоренять,
позорно похороны называть свадьбою,
да ещё кривляться на похоронах.

За эти слова меня современники удавят.
А будущий афро-евро-американо-азиат
с корнем выроет мой фундамент,
и будет дыра из планеты зиять.

И они примутся доказывать, что слова мои были вздорные,
сложат лучшие песни, танцы, понапишут книг...
И я буду счастлив, что меня справедливо вздёрнули.
Вот это будет тот ещё памятник!»

№ 8

«16 августа 1804 года. Я должен также Вашему Императорскому Величеству представить замечания мои о приметном здесь уменьшении народа. Еще более припятствует размножению жителей недостаток женского полу. Здесь теперь более, нежели тридцать человек по одной женщине. Молодые люди приходят в отчаяние, а женщины разными по нужде хитростями вовлекаются в распутство и делаются к деторождению неспособными».

(Из письма Резанова Императору)

Чин икс

«И ты, без женщин забуревающий,
на импорт клюнул зарубежный?!
Раскис!»

№ 9

«Предложение мое сразило воспитанных в фанатизме родителей ея, разность религий, и впереди разлука с дочерью было для них громовым ударом».

Отнесите родителям выкуп
за жену:
макси-шубу с опушкой из выхухоля,
фасон «бабушка-инженю».

Принесите кровать с подзорами,
и, как зрящий сквозь землю глаз,
принесите трубу подзорную
под названием «унитаз»

(если глянуть в её окуляры,
ты увидишь сквозь шар земной
трубы нашего полушария,
наблюдающие за тобой),

принесите бокалы силезские,
из поющего хрусталя,
ведёшь влево – поют «Марсельезу»,
ну а вправо – «Храни короля!»,

принесите три самых желания,
что я прятал от жён и друзей,
что угрюмо отдал на заклание
авантюрной планиде моей!..

Принесите карты открытий,
в дымке золота, как пыльца,
и, облив самогоном, сожгите
у надменных дверей дворца!

«...они прибегнули к миссионерам, те не знали, как решиться, возили бедную Консепсию в церковь, исповедовали ее, убеждали к отказу, но решимость с обеих сторон наконец всех успокоила. Святые отцы оставили разрешению Римского Престола, и я принудил помолвить нас, на что согласие, но с тем, чтоб до разрешения папы было сие тайною».

№ 10

Чин икс

«Есть ещё образ Божьей Матери,
где на эмальке матовой
автограф Их-с...»

«Я представил ей край Российской посуровее, и притом во всем изобильный, она была готова жить в нем...»

№ 11. Резанов – Конче

Я тебе расскажу о России,
где злодействует соловей,
сжатый страшной любовной силой,

как серебряный силомер.

Там Храм Матери Чудотворной.
От стены наклонились в пруд
белоснежные контрофорсы,
будто лошади воду пьют.

Их ночная вода поила
вкусом чуда и чабреца,
чтоб наполнить земною силой
утомлённые небеса.

Через год мы вернёмся в Россию.
Вспыхнет золото и картечь.
Я заставлю, чтоб согласились
царь мой, папа и твой отец!

8. В Сенате

Восхитились. Разобрались. Заклеймили.
Разобрались. Наградили. Вознесли.
Разобрались. Взревновали. Позабыли.
Господи, благослови!
А Довыдова с Хвастовым посадили.

9. Молитва Богоматери – Резанову

Светлый мой, возлюбленный, студится
тыща восемьсотая весна!
Мать от Любви Своей Отступница,
я перед природою грешна.

Слушая рождественские звоны,
думаешь, я радостна была?
О любви моей незарождённой
похоронно бьют колокола.

Надругались. А о бабе позабыли.
В честь греха в церквях горят светильни.
Плоть не против Духа, ибо Дух —
то, что возникает между двух.

Тело отпусти на покаянье!
Мои церкви в тыщи киловатт
загашу за счастье окаянное

губы в табаке поцеловать!

Бог, Любовь Единая в двух лицах,
воскреси любую из Марусь...
Николай и наглая девица,
вам молюсь!..

ЭПИЛОГ

Спите, милые, на шкурках росомаховых.
Он погибнет
в Красноярске
через год.
Она выбросит в пучину мёртвый плод,
станет первой сан-францисской монахиней.

1970

МАТРОСЫ

В море соли и так до чёрта,
морю не надо слёз.
Наша вера верней расчёта,
нас вывозит «Авось»!

Вместо флейты подыдем флягу,
чтобы смелее жилось
под небесным флагом
и девизом «Авось»!

Нас мало, и нас всё меньше,
и парус пробит насквозь,
но сердца забывчивых женщин
не забудут, авось!

Буря – это всего лишь буря,
глупо в ней ждать конца.
Пуля – дура, конечно, дура,
но умней мудреца.

От нагрузки на наши плечи
гнётся земная ось,
только наш позвоночник крепче —
не согнёмся, авось!

У русалки солёны губы

и вместо ножек – хвост.
Сэкономим на паре туфель.
Не погибнем, авось...

Но от нашей надежды, свойской
сетям пустых судеб,
через век назовут авоськой
сумку, где носят хлеб.

1977

РОМАНС ИЗ ОПЕРЫ «ЮНОНА и АВОСЬ»

Белый шиповник, дикий шиповник
краше садовых роз.
Белую ветку юный любовник
графской жене принёс.

Белый шиповник, дерзкий поклонник,
он ей, смеясь, отдал.
Ветка упала на подоконник.
На пол упала шаль.

Белый шиповник, страсти виновник,
разум отнять готов.
Только известно – графский садовник
против чужих цветов.

Что ты наделал, бедный разбойник?
Выстрел раздался вдруг.
Красный от крови – красный шиповник
выпал из мёртвых рук.

Их схоронили в разных могилах,
там, где садовый вал.
Как тебя звали, юноша милый?
Только шиповник знал.

Тот, кто убил их, тот, кто шпионил,
будет наказан тот.
Белый шиповник, дикий шиповник
в память любви цветёт.

1977

КОНЧИТА

Десять лет в ожиданье прошло.
Ты в пути. Ты всё ближе ко мне.
Хорошо ли приладил седло?
Чтоб в пути тебе было светло,
я свечу оставляю в окне.

Двадцать лет в ожиданье прошло.
Ты в пути. Ты всё ближе ко мне.
Ты поборешь всемирное зло.
Чтоб в бою тебе было светло,
я свечу оставляю в окне.

Тридцать лет в ожиданье прошло.
Ты в пути. Ты всё ближе ко мне.
У меня отрастает крыло!
Без меня, чтобы было светло,
я оставила свечку в окне.

1977

СВАДЕБНАЯ ПЕСНЬ

Аллилуйя возлюбленной паре!
Мы забыли, бранясь и пируя,
для чего мы на землю попали —
аллилуйя любви, аллилуйя!

Аллилуйя их будущим детям.
Наша жизнь пронесётся аллюром.
мы проклятым вопросам ответим:
аллилуйя любви, аллилуйя!

Я люблю твои руки и речи,
с твоих ног я усталость разую.
В море общем сливаются реки.
Аллилуйя любви, аллилуйя!

Аллилуйя Гудзону и Волге!
Государства любовь образует.
Аллилуйя, князь Игорь и Ольга!
Аллилуйя любви, аллилуйя!

Аллилуйя свирепому нересту!
Аллилуйя бобрам алеутским!
Лишь любовью оправдана ненависть.
Аллилуйя любви, аллилуйя!

Аллилуйя Кончите с Резановым.

Исповедуя веру иную,
мы повторим под занавес заповедь:
аллилуйя любви, аллилуйя!

Аллилуйя актёрам трагедии,
что нам жизнь подарили вторую.
полюбивши нас через столетие.
Аллилуйя любви, аллилуйя!

1977

САГА

Ты меня на рассвете разбудишь,
проводить, необутая, выйдешь.
Ты меня никогда не забудешь.
Ты меня никогда не увидишь.

Заслонивши тебя от простуды,
я подумаю: «Боже Всевышний!
Я тебя никогда не забуду.
Я тебя никогда не увижу».

Эту воду в мурашках запруды,
это Адмиралтейство и Биржу
я уже никогда не забуду
и уже никогда не увижу.

Не мигают, слезятся от ветра
безнадёжные карие вишни.
Возвращаться – плохая примета.
Я тебя никогда не увижу.

Даже если на землю вернёмся
мы вторично, согласно Гафизу,
мы, конечно, с тобой разминёмся.
Я тебя никогда не увижу.

И окажется так минимальным
наше непониманье с тобою
перед будущим непониманьем
двух живых с пустотой неживою.

И качнётся бессмысленной высью
пара фраз, залетевших отсюда:
«Я тебя никогда не забуду.
Я тебя никогда не увижу».

1977

* * *

Ну что тебе надо ещё от меня?
Чугунна ограда. Улыбка темна.
Я музыка горя, ты музыка лада,
ты яблоко ада, да не про меня!

На всех континентах твои имена
прославил. Такие отгрохал лампы!
Ты музыка счастья, я нота разлада.
Ну что тебе надо ещё от меня?

Смеялась: «Ты ангел?» – я лгал, как змея.
Сказала: «Будь смел» – не вылез из спален.
Сказала: «Будь первым» – я стал гениален,
ну что тебе надо ещё от меня?

Исчерпана плата до смертного дня.
Последний горит под твоим снегопадом.
Был музыкой чуда, стал музыкой яда,
ну что тебе надо ещё от меня?

Но и под лопатой спою, не виня:
«Пусть я удобренье для Божьего сада,
ты – музыка чуда, но больше не надо!
Ты случай досады. Играй без меня».

И вздрогнули складни, как створки окна.
И вышла усталая и без наряда.
Сказала: «Люблю тебя. Больше нет сладу.
Ну что тебе надо ещё от меня?»

1971

ЖЕНЩИНА В АВГУСТЕ

Присела к зеркалу опять,
в себе, как в роще заоконной,
всё не решаешься признать
красы чужой и незнакомой.

В тоску заметней седина.
Так в ясный день в лесу по-летнему
листва зелёная видна,

а в хмурый – медная заметнее.

1971

ЧЁРНЫЕ ВЕРБЛЮДЫ

На мотив Махамбета

Требуются чёрные верблюды,
чёрные, как гири, горбы!
Белые верблюды для нашей работы – слабы.
Женщины нам не любы. Их груди отвлекут от борьбы.
Чёрные верблюды, чёрные верблюды,
накопленные горбы.

Захлопнутся над черепами,
как щипцы для орехов, гробы.
Чёрные верблюды, чёрные верблюды,
чёрные верблюды беды!

Катитесь, чугунные ядра, на жёлтом и голубом.
Восстание как затмение, наедет чёрным горбом.

На белых песках – чиновники, как раздавленные клопы.
Чёрные верблюды, чёрные верблюды,
разгневанные горбы!

Нынче ночь не для блуда. Мужчины возьмут ножи.
Чёрные верблюды, чёрные верблюды,
чёрные верблюды – нужны.

Чёрные верблюды, чёрные верблюды
по бледным ублюдкам грядут.
На труса не тратьте пулю – плюнет чёрный верблюд!

1971

ХРАМ ГРИГОРИЯ НЕОКЕСАРИЙСКОГО, ЧТО НА Б. ПОЛЯНКЕ

Название «Неокесарийский»
гончар, по кличке Полубес,
прочёл как «неба косари мы»
и ввёл подсолнух керосинный,
и синий фон, и лук серийный,
и разрыв-травы в изразец.

И слёзы очи засорили,
когда он на небо залез.

«Ах, отчаянный гончар,
Полубес,
чем глазурный начинал
голубец?

Лепестки твои, кустарь,
из росы.
Только хрупки, как хрусталь,
изразцы.

Только цвет твой, как анчар,
ядовит...»
С высоты своей гончар
говорит:
«Чем до свадьбы непорочней,
тем отчаянней бабец.
Чем он звонче и непрочней,
тем извечней изразец.

Нестираема краса —
изразец.
Пососите, небеса,
леденец!

Будет красная Москва
от огня,
будет чёрная Москва,
головня,

будет белая Москва
от снегов – всё повылечит трава
изразцов.
Изумрудина огня!
Лишь не вылечит меня.

Я к жене чужой ходил, луг косил.
В изразцы её кровь замесил».

И, обняв оживший фриз,
белый весь,
с колокольни рухнул
вниз
Полубес!

Когда в полночи бессонной
гляжу на фриз полубесовский,
когда тоски не погасить,
греховным храмом озаримый,

твержу я: «Неба косари мы.
Косить нам – не перекосить».

1971

НОВОГОДНЕЕ ПЛАТЬЕ

Подарили, подарили
золотое, как пыльца.
Сдохли б Вены и Парижи
от такого платьяца!

Драгоценная потеря,
царственная нищета.
Будто тело запотело,
а не теле – ни черта.

Обольстительная сеть,
золотая ненасыть.
Было нечего надеть,
стало – некуда носить.

Так поэт, затосковав,
ходит праздно на проспект.
Было слов не отыскать,
стало – не для кого спеть.

Было нечего терять,
стало – нечего найти.
Для кого играть в театр,
когда зритель не на ты?

Было зябко от надежд,
стало пусто напоследь.
Было нечего надеть,
стало – незачем надеть.

Я б сожгла его, глупыш.
Не оцените кульбит.
Было страшно полюбить —
стало некого любить.

1971

МОЛЧАЛЬНЫЙ ЗВОН

Их, наверно, тыщи – хрустящих лакомок!

Клесты лущат семечки в хрусте крон.
Надо всей Америкой хрустальный благовест.
Так необычаен молчальный звон.

Он не ради славы, молчальный благовест,
просто лущат пищу – отсюда он.
Никакого чуда, а душа расплакалась —
молчальный звон!..

Этот звон молчальный таков по слуху,
будто сто отшельничающих клестов
ворошат волшебные погремухи
или затевают сорок сороков.

Птичьи коммуны, не бойтесь швабры!
Групповых ансамблей широк почин.
Надо всей Америкой – групповые свадьбы.
Есть и не поклонники групповщин.

Групповые драки, групповые койки.
Тих единоличник во фраке гробовом.
У его супруги на всех пальцах —
кольца,
видно, пребывает
в браке групповом...

А по-над дорогой хруст серебра.
Здесь сама работа звенит за себя.
Кормят, молодчаги, детей и жён,
ну а получается
молчальный звон!

В этом клестианстве – антипод свинарни.
Чистят короедов – молчком, молчком!
Пусть вас даже кто-то
превосходит в звонарности,
но он не умеет —
молчальный звон!

Юркие нью-йоркочки и чикагочки,
за ваш звон молчальный спасибо, клесты.
Звенят листы дубовые,
будто чеканятся
византийски вырезанные кресты.

В этот звон волшебный уйду от ужаса,
посреди беседы замру, смущён.
Будто на Владимирщине —
прислушайся! —

молчальный звон...

1971

СПАЛЬНЫЕ АНГЕЛЫ

Огни Медыни?
А может, Волги?
Стакан на ощупь.
Спят молодые
на нижней полке
в вагоне общем.

На верхней полке
не спит подросток.
С ним это будет.
Напротив мать его
кусает простынь.
Но не осудит.

Командировочный
забился в угол,
не спит с Уссури.
О чём он думает
под шёпот в ухо?
Они уснули.

Огням качаться,
не спать родителям,
не спать соседям.
Какое счастье
в словах спасительных:
«Давай уедем!»

Да хранят их
ангелы спальные,
качав и плакав, —
на полках спаренных,
как крылья первых
аэропланов.

1971

* * *

Наш берег песчаный и плоский,
заканчивающийся сырой

печальной и тёмной полоской,
как будто платочек с каймой.

Направо холодное море,
налево песочечный быт.
Меж ними, намокши от горя,
темнея, дорожка блестит.

Мы больше сюда не приедем.
Давай по дорожке пройдем.
За нами – к добру, по приметам —
следы отольют серебром.

1971

* * *

Сложи атлас, школярка шалая, —
мне шутить с тобою легко, —
чтоб Восточное полушарие
на Западное легло.

Совместятся горы и воды,
колокольный Великий Иван,
будто в ножны, войдёт в колодец,
из которого пил Магеллан.

Как две раковины, стадионы,
мексиканский и Лужники,
сложат каменные ладони
в аплодирующие хлопки.

Вот зачем эти люди и зданья
не умеют унять тоски —
доски, вырванные с гвоздями
от какой-то иной доски.

А когда я чуть захмелею
и прошвыриваюсь на канал,
с неба колют верхушками ели,
чтобы плечи не подымал.

Я нашёл отпечаток шины
на ванкуверской мостовой
перевёрнутой нашей машины,
что разбилась под Алма-Атой.

И висят, как летучие мыши,

надо мною вниз головой —
времена, домишки и мысли,
где живали и мы с тобой.

Нам рукою помашет хиппи,
вспыхнет пуговкою обшлаг.
Из плеча — как чёрная скрипка
крикнет гамлетовский рукав.

1971

ПЕСНЯ АКЫНА

Не славы и не коровы,
не тяжкой короны земной —
пошли мне, Господь, второго, —
что вытянул петъ со мной!

Прошу не любви ворованной,
не милостей на денёк —
пошли мне, Господь, второго, —
чтоб не был так одинок.

Чтоб было с кем пасоваться,
аукаться через степь,
для сердца, не для оваций,
на два голоса спеть!

Чтоб кто-нибудь меня понял —
не часто, ну хоть разок —
из раненых губ моих поднял
царапнутый пулей рожок.

И пусть мой напарник певчий,
забыв, что мы сила вдвоём,
меня, побледнев от соперничества,
прирежет за общим столом.

Прости ему. Пусть до гроба
одиночеством окружён.
Пошли ему, Бог, второго —
такого, как я и как он.

1971

* * *

Жадным взором василиска
вижу: за бревном, остро,
вспыхнет мордочка лисички,
точно вечное перо!

Омут. Годы. Окунь клюнет.
Этот невозможный сад
взять с собой не разрешат.
И повсюду цепкий взгляд,
взгляд прощальный. Если любят,
больше взглядом говорят.

1971

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЗА СТОЛОМ

Уважьте пальцы пирогом,
в солонку курицу макая,
но умоляю об одном —
не трожьте музыку руками!

Нашарьте огурец со дна
и стан справа сидящей дамы,
даже под током провода —
но музыку – нельзя руками.

Она с душою наравне.
Берите трёшницы с рублями,
но даже вымытыми не
хватайте музыку руками.

И прогрессист, и супостат,
мы материалисты с вами,
но музыка – иной субстант,
где не губами, а устами...

Руками ешьте даже суп,
но с музыкой – беда такая! —
чтоб вам не оторвало рук,
не трожьте музыку руками.

1971

АВТОМАТ

Москвою кто-то бродит,
накрутит номер мой.

Послушает и бросит —
отбой...

Чего вам? Рифм кило?
Автографа в альбом?
Алло!..
Отбой...

Кого-то повело
в естественный отбор!
Алло!..
Отбой...

А может, ангел в кабеле,
пришедший за душой?
Мы некоммуникабельны.
Отбой...

А может, это совесть,
потерянная мной?
И позабыла голос?
Отбой...

Стоишь в метро, конечной,
с открытой головой,
и в диске, как в колечке,
замёрзнул пальчик твой.

А за окошком мелочью
стучит толпа отчаянная,
как очередь в примерочную
колечек обручальных.

Ты дунешь в трубку дальнюю,
и мой воротничок
от твоего дыхания
забьётся, как флажок...

Порвалась связь планеты.
Аукать устаю.
Вопросы без ответов.
Ответы в пустоту.

Свело. Свело. Свело.
С тобой. С тобой. С тобой.
Алло. Алло. Алло.
Отбой. Отбой. Отбой.

1971

ВОДНАЯ ЛЫЖНИЦА

В трос вросла, не сняв очки бутылки, —
уводи!
Обожает, чтобы уводили!
Аж щека на повороте у воды.

Проскользила – Боже! – состругала,
наклонившись, как в рубанке оселок,
не любительница – профессионалка,
золотая чемпионка ног!

Я горжусь твоей слепой свободой,
обминающею до кишок, —
золотою вольницей увода
на глазах у всех, почти что нагишом.

Как истосковалась по пиратству
женщина в сегодняшнем быту!
Главное – ногами упираться,
чтоб не вылетала на ходу.

«Укради, как раньше, на запятках, —
миленький, назад не возврати!» —
если есть душа, то она в пятках,
упирающихся в край воды.

Укради за воды и за горы,
только бы надёжен был мужик!
В золотом забвении увода
онемеют дёсны и язык.

«Да куда ж ты без спасательной жилетки,
как в натянутой рогаточке свистя?»
Пожалейте, люди, пожалейте
себя!..

...Но остался след неуловимый
от твоей невидимой лыжни,
с самолётным разве что сравнимый
на душе, что воздуху сродни.

След потери нематериальный,
свет печальный – Бог тебя храни!
Он позднее в годах потерялся,
как потом исчезнут и они.

1971

РЕКВИЕМ ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ

За упокой Высоцкого Владимира
коленипреклонённая Москва,
разгладивши битловки, заводила
его потусторонние слова.

Владимир умер в два часа.
И бездыханно
стояли полные глаза,
как два стакана.

А над губой росли усы
пустой утехой,
резинкой врезались трусы,
разит аптекой.

Спи, Шансонье Всея Руси,
отпетый.
Ушёл твой ангел в небеси
обедать.

Володька,
если горлом кровь,
Володька, когда от умных докторов
воротит,
а баба, русский журавель,
в отлёте,
орёт за тридевять земель:
«Володя!»

Ты шёл закатною Москвой,
как богомаз мастеровой,
чуть выпив, шёл, популярней, чем Пеле,
с беспечной чёлкой на челе,
носил гитару на плече, как пару нимбов.
(Один для матери – большой,
золотенький,
под ним для мальчика – меньшей...)

Володя!..
За этот голос с хрипотцой
дрожь сводит,
отравленная хлеб-соль
мелодий,

купил в валютке шарф цветной,
да не походишь.
Спи, русской песни крепостной, —
свободен.

О златоустом блатаре
рыдай, Россия!
Какое время на дворе —
таков мессия.

А в Склифосовке филиал
Евангелия.
И Воскрешающий сказал:
«Закреть едальники!»

Твоею песенкой ревя
под маскою,
врачи произвели реа-
нимацию.

Вернули снова жизнь в тебя.
И ты, отудобев,
нам всем сказал: «Вы все — туда,
а я оттудова...»

Гремите, оркестры!
Козыри — крести.
Высоцкий воскрес.
Воистину воскрес.

1971

ЖЕСТОКИЙ РОМАНС

Дверь отворите госте с дороги!
Выйду, открою — стоят на пороге,
словно картина в раме, фрамуге,
белые брюки, белые брюки!

Видно, шла с моря возле прилива —
мокрая складка к телу прилипла.
Видно, шла в гору — дышат в обтяжку
белые брюки, польская пряжка.

Эта спортсменка не знала отбоя,
но приходили вы сами собою,
где я терраску снимал у старухи —
тёмные ночи, белые брюки.

Белые брюки, ночные ворюги,
«молния» слева или на брюхе?
Русая молния шаровая,
обворовала, обворовала!

Ах, парусинка моя рулевая...

Первые слёзы. Жёлтые дали.
Бедные клёши, вы отгуляли...
Что с вами сделают в чёрной разлуке
белые выюги, белые выюги?

1971

ОДА ДУБУ

Свитязианские восходы.
Поблескивает изречение:
«Двойник-дуб. Памятник природы
республиканского значенья».

Сюда вбегал Мицкевич с панною.
Она робела.
Над ними осыпался памятник,
как роспись, лиственно и пламенно, —
куда Сикстинская капелла!

Он умолял: «Скорее спрячемся,
где дождь случайней и ночнее,
и я плечам твоим напрягшимся
придам всемирной значенье!»

Прилип к плечам сырым и плачущим
дубовый лист виолончельный.

Великие памятники Природы!
Априори:
екатерининские берёзы,
бракорегистрирующие рощи,
облморе,
и. о. лосося,
оса, жёлтая, как улочка Росси,
реставрируемые лоси.

Общесоюзный заяц!
Ты на глазах превращаешься в памятник,
историческую реликвию,

исчезаешь,
завязав уши, как узелок на дороге
великую.
Как Рембрандты, живут по описи
тридцать пять волков Горьковской области.

Жемчужны тучи обложные,
спрессованные рулонами.
Люблю вас, липы областные,
и вас люблю, дубы районные.

Какого званья небосводы?
И что истоки?
История ли часть природы?
Природа ли кусок истории?

Мы двойники. Мы агентура
двойная, будто ствол дубовый
между природой и культурой,
политикою и любовью.

В лесах свисают совы матовые,
свидетельницы Батория,
как телефоны-автоматы
надведомственной категории.

Душа в смятении и панике,
когда осенне и ничейно
уходят на чужбину памятники
неизъяснимого значенья!

И, перебита крысоловкой,
прихлопнутая к пьедесталу,
разиня серую головку,
«Ночь» Микеланджело привстала.

1971

ДВЕ ПЕСНИ

1. Он

Возвращусь в твой сад запущенный,
где ты в жизнь меня ввела,
в волосы твои распущенные
шептал первые слова.

Та же дача полутёмная.
Дочь твоя, белым-бела,
мне в лицо моё смятённое
шепчет первые слова.

А потом лицом в коленки
белокурые свои
наматывает, как колечки,
вокруг пальчиков ступни.

Так когда-то ты наматывала
свои царские до пят
в кольца чёрные, агатовые
и гадала на агат!

И печальница другая
Усмехается, как мать:
«Ведь венчаются ногами.
Надо б ноги обручать».

В этом золоте и черни
есть смущённые черты,
мятный свет звезды дочерней,
счастье с привкусом беды.

Оправдались суеверия.
По бокам моим встаёт
горестная артиллерия —
ангел чёрный, ангел белая —
перелёт и недолёт!

Белокурый недолеток,
через годы темноты
вместо школьного, далёкого,
говорю святое «ты».

Да какие там экзамены,
если в бледности твоей
проступают стоны мамины
рядом с ненавистью к ней.

Разлучая и сплетая,
перепутались вконец
чёрная и золотая —
две цепочки из колец.

Я б сказал, что ты, как арфа,
чешешь волосы до пят.

Но важней твоё «до завтра».
До завтра б досуществовать!

2. Она

Волосы до полу, чёрная масть, —
мать.
Дождь белокурый, застенчивый в дрожь, —
дочь.

— Гость к нам стучится, оставь меня с ним на всю ночь,
дочь.

— В этой же просьбе хотела я вас умолять,
мать.

— Я — его первая женщина, вернулся, до ласки охоч,
дочь.

— Он — мой первый мужчина, вчера я боялась сказать,
мать.

— Доченька... Сволочь!.. Мне больше не дочь,
прочь!..

....

— Это о смерти его телеграмма,
мама!..

1971

ОБСТАНОВКА

Это мой теневой кабинет.
Пока нет:
гардероба
и полн. собр. соч. Кальдерона.
Его Величество Александрийский буфет
правит мною в рассрочку несколько лет.
Вот кресло-катапульта
времен борьбы против культа.
Тень от предстоящей иконы:
«Кинозвезда, пожирающая дракона».
Обещал подарить Солоухин.
По слухам,
VI век.
Феофан Грек.
Стол. «Кент».
На столе ответ на анкету:
«Предпочитаю “Беломор» Кенту».

Вот жены акварельный портрет.
Обн. натура.
Персидская миниатюра.
III век. Эмали лиловой.
Сама, вероятно, в столовой...

Вот моя теневая столовая —
смотрите, какая здоровая!
На обед
всё, чего нет
(след. перечисление ед).

Тень бабушки – салфетка узорная,
вышивала, страдала, вензеля иллюзорные.
Осторожно, деда уронишь!
Пианино. «Рёниш».
Мамино.

Видно, жена перед нами играла Рахманинова.
Одна клавиша полуутоплена,
еще теплая.
(Бьёт.)
Ой, нота какая печальная!
Сама, вероятно, в спальне.
Услышала нас и пошла наводить марафет.

«Уходя, выключайте свет!»
«Проходя через пороги,
предварительно вытирайте ноги.
Потолки новые —
предварительно вымывайте голову».

Вот моя теневая спальня.
Ой, как развалено...
Хорошо, что жены нет.
Тень от Милы, Нади, Тани, Ниннет
+ четырнадцати созданий
с площади Испании.

Уголок забытых вещей!
№ 2,
№ 3,
№ 8-й – никто не признаётся чей!
А вот жена брошка.
И платье брошено...
Наверное, опять побегла к Аэродрому
за димедролом...
Актриса, но тем не менее!
Простите, это дела семейные...

(В прихожей, чёрен и непрост,
кот поднимал загнутый хвост,
его в рассеянности гость,
к несчастью, принимал за трость.)
Вот ванная.
Что-то странное!

Свет под дверью. Заперто изнутри.
Нет, не верю! Эй, Аэродромов, отвори!
Вот так всегда.
Слышите, переливается на пол вода.
(Стучит.) Нет ответа.
(От страшной догадки он делается
неузнаваем.)
О нет, только не это!..
Ломаем!
Она ведь вчера говорила:
«Если не придёшь домой...»
Милая! Что ты натворила!
(Дверь высаживают.)
Боже мой!..

Никого. Только зеркало запотелое.
Перелитая ванна полна пустой глубины.
Сухие, нетронутые полотенца...
Голос из стены:
«А зачем мне вытираться,
вылетая в вентиляцию?!»

1972

* * *

В человеческом организме
девяносто процентов воды,
как, наверное, в Паганини
девяносто процентов любви!

Даже если – как исключенье —
вас растаптывает толпа,
в человеческом назначении
девяносто процентов добра.

Девяносто процентов музыки,
даже если она беда,
так и во мне, несмотря на мусор,
девяносто процентов Тебя.

1972

* * *

Приди! Чтоб снова снег слепил,
чтобы желтела на опушке,
как александровский ампир,
твоя дублёночка с опушкой.

1972

ПЕСНЯ ШУТА

Оставьте меня одного,
оставьте,
люблю это чудо в асфальте,
да не до него!

Я так и не побыл собой,
я выполню через секунду
людскую свою синекуру.
Душа побывает босой.

Оставьте меня одного;
без нянек,
изгнанник я, сорванный с гаек,
но горше всего,

что так доживёшь до седин
под пристальным сплетневым оком
то «вражьих», то «дружеских» блоков...
Как раньше сказали бы – с Богом
оставьте один на один.

Свидетели дня моего,
вы были при спальне, при родах,
на похоронах хороводом.
Оставьте меня одного.

Оставьте в чащобе меня.
Они не про вас, эти слёзы,
душа наревется одна —
до дна! —

где кафельная берёза,
положенная у пня,

омыта сияньем белёсым.
Гляди ж – отыскалась родня!

Я выйду, ослепший, как узник,
и выдам под хохот и вой:
«Душа – совмещённый санузел,
где прах и озноб душевой.

...Поэты и соловьи
поэтому и священны,
как органы очищенья,
а стало быть, и любви!

А в сердце такие пространства,
алмазная ипостась,
омылась душа, опросталась,
чего нахваталась от вас».

1972

БОБРОВЫЙ ПЛАЧ

Я на болотной тропе вечерней
встретил бобра. Он заплакал вхлюп.
Ручкой стоп-крана торчал плачевно
красной эмали передний зуб.

Вставши на ласты, наморщась жалко
(у них чешуйчатые хвосты),
хлещет усатейшая русалка.
Ну пропусти! Ну пропусти!

(Метод нашли, ревуны коварные.
Стоит затронуть их закуток,
выйдут и плачут
пред экскаватором —
экскаваторщик наутёк!

Выйдут семейкой, и лапки сложат,
и заслонят от мотора кров.
«Ваша сила —
а наши слёзы.
Рёв – на рёв!»)

В глазках старенького ребёнка
слёзы стоят на моём пути.
Ты что – уличная колонка?
Ну пропусти, ну пропусти!

Может, рыдал, что вода уходит?
Может, иное молил спасти?
Может быть, мстил за разор угодий!
Слёзы стоят на моём пути.

Что же коленки мои ослабли?
Не останавливали пока
ни телефонные Ярославны,
ни бесноватые слёзы царька.

Или же заводи и речишник
вышли дорогу не уступать,
вынесли плачущий
Образ Пречистый,
чтоб я опомнился, супостат?

Будьте бобры, мои годы и доли,
не для печали, а для борьбы,
встречные плакальщики укора,
будьте бобры,
будьте бобры!

Непреступаемая для поступи,
непреступаемая стезя,
непреступаемая – о Господи! —
непреступаемая слеза...

Я его крыл. Я дубасил палкой.
Я повернулся назад в сердцах.
Но за спиной моей новый плакал —
непроходимый другой в слезах.

1972

ПЕТРАРКА

Не придумано истинней мига, —
чем раскрытые наугад,
недочитанные, как книга, —
разметавшись, любовники спят.

1972

ЛЕТАЮЩИЙ МУЖИК

1

Встречая стадо в давешние леты,
мне объяснила бабушка приметы:
«Раз в стаде первой белая корова,
то завтра будет чудная погода».

2

Коровы, пяясь, как аэротрапы,
пасутся, сунув головы в луга.
И подымались плачущие травы
по их прощальным шеям грубым.
И если лидер – светлая корова,
то, значит, будет лётная погода!

Коровьи отношения с небесами
ещё не удавалось прояснить.
Они, пожалуй, не летают сами,
но понимают небо просинить.
Раз впереди красивая корова,
то утро будет синим, как Аврора.

3

Навоз вниз эскалатором плывёт,
как пассажиры
в метрополитене.
И это лучше, чем наоборот.

Как зубры ненавидят мотоциклы!
Копытные эпохи ледников
несутся за трещоткой малосильной.
Бедуля ненавидит дураков.

4

Ему при Иоанне шапку сдуло,
но не поклон, не хулиганский шик —
Владимира Леонтьича Бедулю
я бы назвал «летающий мужик».

Летит мужик – на собственной конструкции,
летит мужик – по Млечному Пути,
лети, мужик!
Держись за землю, трусы.
Пусть снимут стружку.
Легче ведь. Лети!
А если первой скучная корова,
то, значит, будет скучная погода.

5

Он стенгазеты упразднил, взамен
воздвиг радиостанцию пастушью,
чтоб плыли сообщения воздушные
в дистанции двенадцать деревень.
Над Беловежьем плакала Вселенная.
И нету рифмы на ответный тост.
Но попросил он «Плач по двум поэмам».
А я-то думал, что Бедуля прост.

6

Нет правды на земле.
Но правды нет и выше.
Бедуля ищет правду под землёй.
Глубоко пашет и, припавши, слышит,
как тяжело ей приходится, родной!

Его и славословили, и крыли.
Но поискам – не до шумих.
Бедуля дует на подземных крыльях!
Я говорю: «Летающий мужик».

Все марты поменялись на июли.
Коровы, что ли, балуют, Бедуля?

7

Коровы программируют погоды.
Их перпендикулярные соски
торчат,
на руль Колумбовый похожи.
Им тоже снятся Млечные Пути.

Когда взгрустнут мои аэродромы,
пришли, Бедуля, белую корову!

1972

ВЫПУСТИ ПТИЦУ!

Что с тобой, крашенная, послушай?!
Модная прима с прядью плакучей,
бросишь купюру —
выпустишь птицу.
Так что прыщами пошла продавщица.

Деньги на ветер, синь шепутная!
Как щебетала в клетке из тиса
та аметистовая четвертная —
«Выпусти птицу!»

Ты оскорбляешь труд птицелова,
месячный заработок свой горький
и «Геометрию» Киселёва,
ставшую рыночной обёрткой.

Птица тебя не поймёт и не вспомнит,
люди сматерятся,
будет обед твой — булочка в полдник,
ты понимаешь? Выпусти птицу!

Птице пора за моря вероломные,
пусты лимонные филармонии,
пусть не себя — из неволи и сытости —
выпусти, выпусти...

Не понимаю, но обожаю
бабскую выходку на базаре.
«Ты дефективная, что ли, деваха?
Дура — де-юре, чудо — де-факто!»

Как ты ждала её, красотулю!
Вымыла в горнице половицы.
Ах, не латунную, а золотую!..
Не залетела. Выпусти птицу!

Мы третьи сутки с тобою в раздоре,
чтоб разрядиться,
выпусти сладкую пленницу горя,
выпусти птицу!

В руки синица – скучная сказка, —
в небо синицу!
Дело отлова – доля мужская,
женская доля – выпустить птицу!..

Наманикюренная десница,
словно крыло самолётное снизу,
в огненных знаках
над рынком струится, выпустив птицу.

Да и была ль она, вестница чудная?...
Вспыхнет на шляпе вместо гостинца
пятнышко едкое и жемчужное —
память о птице.

1972

АПЕЛЬСИНЫ

Самого его на бомбе подорвали —
вечный мальчик, террорист, миллионер...
Как доверчиво усы его свисали
точно гусеница-землемер!

Его имя раньше женщина носила.
И ей русский вместо лозунга «люблю»
расстелил четыре тыщи апельсинов,
словно огненный булыжник на полу.

И она глазами тёмными косила.
Отражались и отплясывали в ней
апельсины, апельсины, апельсины,
словно бешеные яблоки коней!..

Рушится уклад семьи спартанской.
Трещат свечи. Пахнет кожа.
Чувство раскрывается спонтанно,
как у постового кобура.

Как смешались в апельсинном дыме
к нему ревность и к тебе любовь!
В чудное мгновенье молодые
жёны превращаются во вдов.

Апельсины, апельсины, апельсины...
На меня, едва я захмелел,
наезжают его чёрные усищи,
словно гусеница-землемер.

1972

* * *

В. Шкловскому

– Мама, кто там вверху, голенастый —
руки в стороны – и парит?
– Знать, инструктор лечебной гимнастики.
Мир не может за ним повторить.

1972

* * *

Ты поставила лучшие годы,
я – талант.
Нас с тобой секунданты угодливо
Развели. Ты – лихой дуэлянт!

Получив твою меткую ярость,
пошатнусь и скажу как актёр,
что я с бабами не стреляюсь,
из-за бабы – другой разговор.

Из-за той, что вбегала в июле,
что возлюбленной называл,
что сейчас соловьиною пулей
убиваешь во мне наповал!

1972

ОДА НА ИЗБРАНИЕ В АКАДЕМИЮ ИСКУССТВ

Я в академики есмь избран.

«Год дэм!» —
скажу я, боже мой,
всю жизнь борюсь
с академизмом.
Теперь борюсь
с самим собой.

1972

СТАРОФРАНЦУЗСКАЯ БАЛЛАДА

Мы стали друзьями. Я не ревную.
Живёшь ты в художнической мансарде.
К тебе приведу я скрипачку ночную.

Ты нам на диване постелешь. «До завтра, —
нам бросишь небрежно. — Располагайтесь!»
И что-то расскажешь. И куришь азартно.

И всё не уходишь. А глаз твой агатист.
А гостья почувствовала, примолкла.
И долго ещё твоя дверь не погаснет.

Так вот ты какая — на дружбу помолвка!
Из этой мансарды есть выход лишь в небо.
Зияет окном потолковым каморка.

«Прощай, — говорю, — моё небо, — и не по-
нимаю, как с гостьей тебя я мешаю. —
Дай Бог тебе выжить, сестрёнка меньшая!»

А утром мы трапезничаем немо.
И кожа спокойна твоя и пастозна...
Я думаю: «Боже! за что же? за что же?!»
Да здравствует дружба! Да скроется небо.

1972

* * *

Отчего в наклонившихся ивах —
ведь не только же от воды, —
как в волшебных диапозитивах,
света плавающие следы?

Отчего дожидаюсь, поверя я, —
ведь не только же до звезды —

посвящаемый в эти деревья,
в это нищее чудо воды?

И за что надо мной, богохульником, —
ведь не только же от любви, —
благовещеньем дышат, багульником
золотые наклоны твои?

1972

* * *

Б. Ахмадулиной

Мы нарушили Божий завет.
Яблоко съели.
У поэта напарника нет,
все дуэты кончались дуэлью.

Мы нарушили кодекс людской —
быть взаимной мишенью.
Наш союз осуждён мелюзгой
хуже кровосмешенья.

Нарушительница родилась
с белым голосом в тёмное время.
Даже если земля наша – грязь,
рождество твоё – ей искупление.

Был мой стих, как фундамент, тяжёл,
чтобы ты невесомела в звуке.
Я красивейшую из жён
подарил тебе утром в подруги.

Я бросал тебе в ноги Париж,
августейший оборвыш, соловка!
Мне казалось, что жизнь – это лишь
певчей силы заложник.

И победа была весела.
И достанет нас кара едва ли.
А расплата произошла —
мы с тобою себя потеряли.

Ошибаясь в этой жизни дотла,
улыбнись: я иной и не жажду.
Мне единственная мила,
где с тобою мы спели однажды.

1972

СВЕТ ВЧЕРАШНИЙ

Всё хорошо пока что.
Лишь беспокоит немного
ламповый, непогашенный
свет посреди дневного.

Будто свидетель лишний
или двойник дурного —
жалостный, электрический
свет посреди дневного.

Сердце не потому ли
счастливо. Но – в печали?
Так они и уснули.
Света не выключали.

Проволочкой накалившейся
тем ещё безутешней,
слабый и электрический,
с вечера похудевший.

Вроде и нет в наличии,
но что-то тебе мешает.
Жалостный электрический
к белому примешался.

1972

СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ

Нигилисточка, моя прапракузиночка!
Ждут жандармы у крыльца на воронах.
Только вздрагивал, как белая кувшиночка,
гимназический стоячий воротник.

Страшно мне за эти лилии лесные,
и коса, такая спелая коса!
Не готова к революции Россия.
Дурочка, разуй глаза.

«Я готова, – отвечаешь, – это главное».
А когда через столетие пройду,
будто шейки гимназисток обезглавленных,

вздрагнут белые кувшинки на пруду.

1972

МАЛЬВИНА

1

Играю в вист с советскими нудистами.
На пляже не особо талмудистском,
между малиновыми ундинами,
бесстрастными коленками, мудищами
неголые летали короли.

Игра на раздевание. Сдавала
Мальвина, врач из Краснодара,
одетая в бикини незагара.
Они ей были сзади велики.

Мальвина в безразмерные зрачки
в себя вбирала:
денежные знаки,
презренные лежащие одежды, стыд одеяла,
газетные рубахи, брошенные страхи,
комплексы вины
разной длины,
народы в разных позах идеала,
берег с волейбольною сеткою на бёдрах,
меня – как кости в целлофане,
она вбирала сарафаны,
испуги на металлических пуговках,
шорты-пузыри,
себя как бы одевала изнутри,
снаружи оставаясь обнажённой,
а по краям бруснично обожжённой,
Мальвинин муж нудистов раздевал.

2

– Разденемся, товарищи нудисты!
Снимайте страхи и чужие мысли.
Рембо, сбросьте накачанные подплечники.
Вы – без маек,
но прикрываетесь дурацкими лозунгами,

плохо пошитыми надеждами.

Партийные и беспартийные,
одемся в свободу страсти без!
Юноша, хватайте ферзя противника!
Это не ферзь!

Нудист не может быть влюблён.
Вход в рай нудистам воспрещён.
Вы ренуаровское «ню»
одеди в идейную хайню.
Антр ну,
я не могу раздеть жену —
её скрывает покров аристократизма.

– Нудила-мученик, катись ты!..

Мальвина тут произвела отскок
и сбросила свои аристок-
ратические замашки.

И сквозь её девический сосок
проклюнулся берёзовый листок.
«Поднимем взятки! – заорал Мальвинин. —
Назавтра обещают ливень».

Навстречу ехал «мерседес» —
приют убогого чухонца.
Чухонец ехал тоже без,
но рефлексировал: «Есть хотца!»

Не видя неконвертируемого финна,
Мальвина
сидела,
обхвативши ноги,
одета, как в невидимую тогу,
в драгоценную тревогу
новой невиданной любви.
Куда там Богу!
О, боги, боги...
Лежали под наколкой короли,
и нет свободной на земле земли.

И страх лежал на пляже,
на рожденье,
и до рожденья в памяти лежал,
и, тело сняв, его мы не разденем.

Мальвинин продолжал...

3

Мальвина, море зевом львиным
болело. В клубе шла «Калина».
Мальвина, чья вина, Мальвина?
«Мосфильма»?

«Мальвина, – он шептал, – Мальвина», —
и всё не непоправимо —
кассета про дворец Амина,
помилуй Бог – и серафимы! —
Мальвина, чья вина —
Совмина?

Такую цену заломила.
Жизнь уместилась в половину.
Мальвина, чья вина, Мальвина?
Минфина?

4

Мальвинин продолжал:
«Не спорю.
Спустимся к морю.
Хотя оно на карантине».
Мальвина, чья вина, дельфина?

Мы вышли к морю.
Картина.
Солнца диско
стояло низко, как собачья миска.

Все сбрасывали длинные, малиновые по краям тени.
За гномиком,
с видом каноника —
лежала его теневая экономика.

Брюнет с мясами на весу
отбрасывал левую колбасу.

От Ивана Ивановича
шла тень Иосифа Виссарионовича.

Шла тень за всеми, как могла.

Мальвина, чья вина, Мальвина?

От секретаря обкома
тянулась тень до окоёма.

Но самой длинной
была тень от обалдения Мальвиной.

Все тени шли в направлении страны.

«Отбросим лишнее! – Мальвинин врезал.
Взял ножницы и тени нам отрезал.

И крикнул, запихав их в «дипломат»:
«Колоду! Сматываемся, мать».

Нам было голо, зябко и гадливо.

Радио транслировало Малинина.
Манило сердце к магазину.
Мальвина, чья вина – «Грузвина»?

А там, вдали, за скрывшейся Мальвиной,
вся в Книгу Книг занесена,
одной прикрытая молитвой,
лежит раздетая страна.

Мальвинин нам махал с горы.
Его ждало такси за школой.
Орали в «дипломате» короли:
«Народ-то голый».

5

Всё ливень смысл неумолимо
назавтра, в джинсах пилигримы,
мы шли, не узнавая, мимо.
Мальвина, чья вина, Мальвина?

1972

* * *

На суде, в раю или в аду
скажет он, когда придут истцы:
«Я любил двух женщин как одну,

хоть они совсем не близнецы».

Всё равно, что скажут, всё равно...
Не дослушивая ответ,
он двусторчатое окно
застегнёт на чёрный шпингалет.

1972

ЗАПОВЕДЬ

Вечером, ночью, днём и с утра
благодарю, что не умер вчера.

Пулей противника сбита свеча —
благодарю за священность обряда.
Враг по плечу – долгожданное брата,
благодарю, что не умер вчера.

Благодарю, что не умер вчера
сад мой и домик со старой терраской,
был бы вчерашний, позавчерашний,
а поутру зацвела мушмула!

И никогда б в мою жизнь не вошла
ты, что зовёшься греховною силой, —
чисто, как будто грехи отпустила,
дом застелила, — да это ж волшба!

Я б не узнал, как ты утром свежа!
Стал бы будить тебя некий мужчина.
Это же умонепостижимо!
Благодарю, что не умер вчера.

Проигрыш чёрен. Подбита черта.
Нужно прочесть приговор, не ворча.
Нужно, как Брумель, начать с «ни черта».
Благодарю, что не умер вчера.

Существование – будто сестра,
не совершай мы волшебных ошибок.
Жизнь – это точно, любимая, ибо
благодарю, что не умер вчера.

Ибо права не вражда, а волшба.
Может быть, завтра скажут: «Пора!»
Так нацарапай с улыбкой пера:
«Благодарю, что не умер вчера».

1972

ПОХОРОНЫ ГОГОЛЯ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬИЧА

1. Завещаю тела моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться...

Н. В. Гоголь. Завещание

1

Вы живого несли по стране!
Гоголь был в летаргическом сне
Гоголь думал в гробу на спине:

«Как доносится дождь через крышку,
но ко мне не проникнет, шумя, —
отпеванье неясное слышу,
понимаю, что это меня.

Вы вокруг меня встали в кольцо,
налюбая, с какою кручиной
погружается нос мой в лицо,
точно лезвие в нож перочинный.

Разве я некрофил? Это вы!
Любят похороны в России,
поминают, когда вы мертвы,
забывая, когда вы живые.

Плоть худую и грешный мой дух
под прощальные плачи волшебные
заколачиваете в сундук,
отправляя назад, до востребования».

Летаргическая Нева,
летаргическая немота —
позабыть, как звучат слова...

2

«Поднимите мне веки,
соотечественники мои,

в летаргическом веке
пробудитесь от галиматьи.
Поднимите мне веки!

Разбуди меня, люд молодой,
мои книги читавший под партой,
потрудитесь понять, что со мной.
Нет, отходят попарно.

Под Уфой затекает спина,
под Рязанью мой разум смеркается.
Вот одна подошла, поняла...
Нет – сморкается!

Вместо смеха открылся кошмар.
Мною сделанное – минимально.
Мне впивается в шею комар,
он один меня понимает.

Я запретный выращивал плод,
плоть живую я скрещивал с тленем.
Помоги мне подняться, Господь,
чтоб упасть пред тобой на колени.

Летаргическая благодать,
летаргический балаган —
спать, спать, спать...

Я вскрывал, пролетая, гроба
в предрассветную пору,
как из складчатого гриба,
из крылатки рассеивал споры.

Ждал в хрустальных гробах, как в стручках,
оробелых царевен горошины.
Что достигнуто? Я в дураках.
Жизнь такая короткая!

Жизнь сквозь поры несётся в верхи,
с той же скоростью из стакана
испаряются пузырьки
недопитого мною нарзана».

Как торжественно-страшно лежать,
как беспомощно знать и желать,
что стоит недопитый стакан!

3

«Из-под фрака украли исподнее.
Дует в щель. Но в неё не просунуться.
Что там муки Господние
перед тем, как в могиле проснуться!»

Крик подземный глубин не потряс.
Трое выпили на могиле.
Любят похороны у нас,
как вы любите слушать рассказ,
как вы Гоголя хоронили.

Вскройте гроб и застыньте в снегу.
Гоголь, скорчась, лежит на боку.
Вросший ноготь подкладку прорвал сапогу».

1973–1974

* * *

Стихи не пишутся – случаются,
как чувства или же закат.
Душа – слепая соучастница.
Не написал – случилось так.х

1973

СНАЧАЛА

Достигли ли почестей постных,
рука ли гашетку нажала —
в любое мгновенье не поздно,
начните сначала!

«Двенадцать» часы ваши пробили,
но новые есть обороты.
Ваш поезд расшибся. Попробуйте
летать самолётом!

Вы к морю выходите запросто,
спине вашей зябко и плоско,
как будто отхвачено заступом
и брошено к берегу прошлое.

Не те вы учили алфавиты,
не те вас кимвалы манили,
иными их быть не заставите —
ищите иные!

Так Пушкин порвал бы, услышав,
что не ядовиты анчары,
великое четверостишие —
и начал сначала!

Начните с бесславья, с безденежья.
Злорадствует пусть и ревнует
былая твоя и нездешняя —
начните иную.

А прежняя будет товарищем.
Не ссорьтесь. Она вам родная.
Безумие с ней расставаться,
однако

вы прошлой любви не гоните,
вы с ней поступите гуманно —
как лошадь её пристрелите.
Не выжить. Не надо обмана.

1973

ЛЕСНИК ИГРАЕТ

Р. Щедрина

У лесника поселилась залётка.
Скрипка кричит, соревнуясь с фрамугою.
Как без воды
рассыхается лодка,
старая скрипка
рассохлась без музыки.

Скрипка висела с ружьями рядом.
Врезалась майка в плеча задубелые.
Правое больше привыкло к прикладам,
и поотвыкло от музыки
левое.

Но он докажет этим мазурикам
перед приезжей с глазами фисташковыми —
левым плечом
упирается в музыку,

будто машину
из грязи вытаскивает!

Ах, покатила, ах, полетела...
Вслед тебе воют волки лесничества...
Майки изогнутая бретелька —
как отпечаток шейки скрипичной.

1973

АИСТЫ

В. Жаку

В гнезде, венчающем берёзу,
стояли аист с аистихою
над чёрным хутором бесхозным
бессмысленно и артистично.

Гнездо приколото над чашею,
как указанье Вифлеема.
Две шеи выгнуты сладчайше.
Вот так змея стоит над чашею,
став медицинской эмблемой.

Но заколочено на годы
внизу хозяйское гнездовье.
Сруб сгнил. И аист без работы.
Ведь если награждать любовью,
то надо награждать кого-то.

Я думаю, что Белоруссия
семей не возместила всё ещё.
Без них и птицы безоружные.
Вдруг и они без аистёныша?...

Когда-нибудь, дождём накрытая,
здесь путница с пути собьётся,
и от небесного события
под сердцем чудо в ней забьётся.

Своё ощупывая тело,
как будто потеряла спички,
сияя, скажет: «Залетела.
Я принесу вам сына, птички».

1973

ПОХОРОНЫ КИРСАНОВА

Прощайте, Семён Исаакович.
Фьюить!
Уже ни стихом, ни сагою
оттуда не вернуть.

Почётные караулы
у входа в нездешний гул
ждут очереди понуро,
в глазах у них: «Караул!»

Пьерошка в одежде ёлочной,
в ненастиях уцелев,
серебрянейший, как пёрышко,
просиживал в ЦДЛ.

Один, как всегда, без дела,
на деле же – весь из мук,
почти что уже без тела
мучительнейший звук.

Нам виделось Кватроченто,
и как он, искусник, смел...
А было – кровотечение
из горла, когда он пел!

Маэстро великолепный,
а для толпы – фигляр...

Невыплаканная флейта
в красный легла футляр.

1973

ГОВОРIT МАМА

Когда ты была во мне точкой
(отец твой тогда настаивал),
мы думали о тебе, дочка, —
оставить или не оставить?

Рассыпчатые твои косы,
ясную твою память
и сегодняшние твои вопросы:
«оставить или не оставить?»

1973

ВАСИЛЬКИ ШАГАЛА

Лик ваш серебряный, как алебарда.
Жесты легки.
В вашей гостинице аляповатой
в банке спрессованы васильки.

Милый, вот что вы действительно любите!
С Витебска ими раним и любим.
Дикорастущие сорные тюбики
с дьявольски
выдавленным
голубым!

Сирий цветок из породы репейников,
но его синий не знает соперников.
Марка Шагала, загадка Шагала —
рупь у Савёловского вокзала!

Это росло у Бориса и Глеба,
в хохоте нэпа и чебурек.
Во поле хлеба — чуточку неба.
Небом единым жив человек.

Их витражей голубые зазубрины —
с чисто готической тягою вверх.
Поле любимо, но небо возлюблено.
Небом единым жив человек.

В небе коровы парят и ундины.
Зонтик раскройте, идя на проспект.
Родины разны, но небо едино.
Небом единым жив человек.

Как занесло васильковое семя
на Елисейские, на поля?
Как заплетали венки вы на темя
Гранд-опера, Гранд-опера!

В век ширпотреба нет его, неба.
Доля художников хуже калек.
Давать им сребреники нелепо —
небом единым жив человек.

Ваши холсты из фашистского бреда

от изуверов свершали побег.
Свёрнуто в трубку запретное небо,
но только небом жив человек.

Не протрубили трубы Господни
над катастрофою мировой —
в трубочку свёрнутые полотна
воют архангельскою трубой!

Кто целовал твоё поле, Россия,
пока не выступят васильки?
Твои сорняки всемирно красивы,
хоть экспортируй их, сорняки.

С поезда выйдешь — как окликают!
По полю дрожь.
Поле пришпорено васильками,
как ни уходишь — всё не уйдёшь...

Выйдешь ли вечером — будто захварываешь, —
во поле углические зрачки.
Ах, Марк Захарович, Марк Захарович,
всё васильки, всё васильки...

Не Иегова, не Иисусе,
ах, Марк Захарович, нарисуйте
непобедимо синий завет —
Небом Единым Жив Человек.

1973

ХУДОЖНИК И МОДЕЛЬ

Ты кричишь, что я твой изувер,
и, от ненависти хорошея,
изгибаешь, как дерзкая зверь,
голубой позвоночник и шею.

Недостойную фразу твою
не стерплю, побледнею от вздору.
Но тебя я боготворю.
И тебе стать другой не позволю.

Эй, послушай! Покуда я жив,
жив покуда,
будет люд тебе в храмах служить,
на тебя молясь, на паскуду.

1973

* * *

Тираны поэтов не понимают, —
когда понимают — тогда убивают.

1973

СЛЕГИ

Милые рощи застенчивой родины
(цвета слезы или нитки суровой)
и перекинутые неловко
вместо мостков горбыльковые продерни,
будто продёрнута в кедах шнуровка!

Где б ни шатался,
кто б ни базарил
о преимуществах ФЭДа над Фетом, —
слёзы ли это?
линзы ли это? —
но расплываются перед глазами
милые рощи дрожащего лета!

1973

* * *

Я не ведаю в женщине той
чёрной речи и чуингама,
ты, возлюбленная, со мной
разговаривала жемчугами.

Простирала не руку, а длань.
Той, возлюбленной, мелкое чуждо.
А её уязвленная брань —
доказательство чувства.

1973

РАЗГОВОР С ЭПИГРАФОМ

Александр Сергеевич,

*Разрешите представиться.
Маяковский!*

Владимир Владимирович, разрешите представиться!
Я занимаюсь биологией стиха.
Есть роли
более пьедестальные,
но кому-то надо за истопника...

У нас, поэтов, дел по горло,
кто занят садом, кто содокладом.
Другие, как страусы,
прячут головы, —
отсюда смотрят и мыслят задом.

Среди идиотств, суеты, наветов
поэт одиозен, порой смешон —
пока не требует поэта
к священной жертве
Стадион!

И когда мы выходим на стадионы в Томске
или на рижские Лужники,
вас понимающие потомки
тянутся к завтрашним сквозь стихи.

Колоссальнейшая эпоха!
Ходят на поэзию, как в душ Шарко.
Даже герои поэмы
«Плохо!»
требуют сложить о них «Хорошо!»

Вы ушли,
понимаемы процентов на десять.
Оставались Асеев и Пастернак.
Но мы не уйдём —
как бы кто не надеялся! —
мы будем драться за молодняк.

Как я тоскую о поэтическом сыне
класса «Ан» и «707-Боинга»...
Мы научили
свистать
пол-России.
Дай одного
соловья-разбойника!..

И когда этот случай счастливый представится,
отобью телеграмку, обкусав заусенцы:

«ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
РАЗРЕШИТЕ ПРЕСТАВИТЬСЯ —
ВОЗНЕСЕНСКИЙ»

1973

ВЕЧЕР В «ОБЩЕСТВЕ СЛЕПЫХ»

Милые мои слепые,
слепые поводыри,
меня по своей России,
невидимой, повели.

Зелёная, голубая,
розовая на вид,
она, их остерегая,
плачет, скрипит, кричит.

Прозрейте, товарищ зрячий,
у озера в стоке вод.
Вы слышите – оно плачет?
А вы говорите – цветёт.

Чернеют очки слепые,
отрезанный мир зовут —
как ветви живьём спилили,
следы окрасив в мазут.

Скажу я вам – цвет ореховый,
вы скажете – гул ореха.
Я говорю – зеркало,
вы говорите – эхо.

Вам кажется Паганини
красивейшим из красавцев,
Сильвана же Помпанини —
сиплая каракатица,
им пудреница покажется
эмалевой панагией.

Вцепились они в музыкальность,
выставив вверх крюки,
как мы на коньках крючками
цеплялись за грузовики.

Пытаться читать стихи
в «Обществе слепых» —
пытаться скрывать грехи

в обществе святых.

Плевать им на куртку кожаную,
на показуху рук,
они не прощают кожей
наглый и лживый звук.

И дело не в рифмах бедных —
они хорошо трещат —
но пахнут, чем вы обедали,
а надо петь натошак!

В вашем слепом обществе,
всевидащем, как Вишну,
вскричу, добредя ошупью:
«Вижу!» —

зелёное зелёное зелёное
заплакало заплакало заплакало
зеркало зеркало зеркало
эхо эхо эхо

1974

СМЕРТЬ ШУКШИНА

Хоронила Москва Шукшина,
хоронила художника, то есть
хоронила Москва мужика
и активную совесть.

Он лежал под цветами на треть,
недоступный отныне.
Он свою удивлённую смерть
предсказал всенародно в картине.

В каждом городе он лежал
на отвесных российских простынках.
Называлось не кинозал —
просто каждый пришёл и простился.

Называется не экран,
если замертво падают наземь.
Если б Разина он сыграл —
это был бы сегодняшний Разин.

Он сегодняшним дням — как двойник.
Когда зябко курил он чинарик,

так же зябла, подняв воротник,
вся страна в поездах и на нарах.

Он хозяйственно понимал
край как дом – где берёзы и хвойники.
Занавесить бы чёрным Байкал,
словно зеркало в доме покойника.

1974

ОБМЕН

Не до муз этим летом крошечным.
В доме – смерти, одна за другой.
Занимаюсь квартирообменом,
чтобы съехались мама с сестрой.

Как последняя песня поэта,
едут женщины на грузовой,
две жилицы в посмертное лето —
мать с сестрой.

Мать снимает пушинки от шали,
и пушинки
летят
с пальтеца,
чтоб дорогу по ним отыскали
тени бабушки и отца.

И, как эхо их нового адреса,
проводя заплаканный скарб,
вместо выехавшего августа
в наши судьбы въезжает сентябрь.

Не обменивайте квартиры!
Пощади, распорядок земной,
мою малую родину сирую —
мать с сестрой.

Обменяться бы – да поздновато! —
на удел,
как они, без вины виноватых
и без счастья счастливых людей.

1974

ПЕСНЯ О МЕЙЕРХОЛЬДЕ

А. Шнитке

Где Ваша могила – хотя бы холм, —
Всеволод Эмильевич Мейерхольд?

Зрители в бушлатах дымят махрой —
ставит Революцию Мейерхольд.

Радость открывающий мореход —
Всеволод Эмильевич Мейерхольд.

Профильным, провидческим плоск лицом —
сплюснен историческим колесом.

Ставили «Отелло». Реквизит —
на зелёной сцене платок лежит.

Яго ухмыляется под хмельком:
«Снова мерихлюндии, Мейерхольд?!»

Скомканный платочек – от слёз сырой...
Всеволод... Эмильевич... Мейерхольд...

1974

МЕЛОДИЯ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ

Есть лирика великая —
кириллица!
Как крик у Шостаковича – «три лилии!» —
белеет «Ш» в клавиатуре Гилельса —
кириллица!
И фырчет «Ф», похожее на филина.
Забьёт крылами «У» горизонтальное —
и утки унесутся за Онтарио.
В латынь – латунь органная откликнулась,
А хоровые клиросы —
в кириллицу!

«Б» вдаль из-под ладони загляделось —
как Богоматерь, ждущая младенца.

1974

ОТЦУ

Я – памятник отцу,
Андрею Николаевичу.
Юдоль его отмщу.
Счета его оплачиваю.
Врагов его казню.
Они с детьми своими
по тыще раз на дню
его повторят имя.
От Волги по Юкон
пусть будет знаменито,
как, цокнув языком,
любил он землянику.
Он для меня как Бог.
По своему подобию
слепил меня, как мог,
и дал свои надбровья.
Он жил мужским трудом,
в свет превращая воду,
считая, что притом
хлеб будет и свобода.
Я памятник отцу,
Андрею Николаевичу,
сам в форме отточу,
сам рядом врую лавочку,
чтоб кто-то век спустя
с сиренью индевеющей
нашёл плиту «б-а»
на старом Новодевичьем.
Согбенная юдоль.
Угрюмое свечение.
Забвенною водой
набух костюм вечерний.
В душе открылась течь.
И утешаться нечем.
Прости меня, отец,
что памятник не вечен.
Я за тобой бежал —
ты помнишь? – по перрону...
но Время – это шар,
скользящий по наклонной.

Я – памятник отцу, Андрею Николаевичу.
Я лоб его ношу
и жребием своим
вмещаю ипостась,

что не досталась кладбищу, —
Отец – Дух – Сын.

1974

* * *

Теряю свою независимость,
поступки мои, верней, видимость
поступков моих и суждений
уже ощущают уздечку,
и что там софизмы нанизывать!

Где прежде так резво бежалось,
путь прежний мешает походке,
как будто магнитная залежь
притягивает подковки!
Безволие какое-то, жалость...
Куда б ни позвали – пожалуйста,
как набережные кокотки.

Какое-то разноголосье,
лишившееся дирижёра,
в душе моей стонет и просит,
как гости во время дождя.

И галстук, завязанный фигой,
искусства не заменитель.
Должны быть известными – книги,
а сами вы незначительны,
чем мина скромнее и глуше,
тем шире разряд динамита.

Должны быть бессмертными – души,
а сами вы смертно-телесны,
телевизионные уши
не так уже интересны.

Должны быть бессмертными рукописи,
а думать – кто купит? – Бог упаси!

Хочу низложения просторного
всех черт, что приписаны публикой.
Монархия первопрестольная
в душе уступает республике.
Тоскую о милых устоях.

Отказываюсь от затворничества

для демократичных забот —
жестяной лопатой дворничьей
расчищу снежок до ворот.

Есть высшая цель стихотворца —
ледок на крылечке оббить,
чтоб шли отогреться с морозца
и исповеди испить.

1974

МОЛИТВА МАСТЕРА

Из «Дамы треш»

Благослови, Господь, мои труды.
Я создал Вещь, шатаемый любовью,
не из души и плоти — из судьбы.
Я свет звезды, как соль, возьму в щепоть
и осеню себя стихом трёхперстным.
Мои труды благослови, Господь!
Через плечо соль брошу на восход.
(Двуперстье же, как держат папироску,
боярыня Морозова взовьёт!)

С побудкою архангельской трубы
не я, пусть Вещь восстанет из трухи.
Благослови, Господь, мои труды.
Твой суд приму — хоть голову руби,
разбей семью — да будет по сему.
Господь, благослови мои труды.
Уходит в люди дочь моя и плоть,
её Тебе я отдаю, как зятю, —
искусства непорочное зачатие —
пусть позабудет, как меня зовут.
Сын мой и господин её любви,
ревную я к тебе и ненавижу.
Мои труды, Господь, благослови.
Исправь людей. Чтоб не были грубы,
чтоб жемчугов её не затоптали.
Обереги, Господь, мои труды.
А против Бога встанет на дыбы —
убей создателя, не погуби создання.
Благослови, Господь, Твои труды.

1974

ПОРНОГРАФИЯ ДУХА

Отплясывает при народе
с поклонником голым подруга.
Ликуй, порнография плоти!
Но есть порнография духа.

Докладчик порой на лектории —
в искусстве силен, как стряпуха, —
раскроет на аудитории
свою порнографию духа.

В Пикассо ему всё не ясно,
Стравинский – безнравственность слуха.
Такого бы постеснялась
любая парижская шлюха.

Когда танцовщицу раздели,
стыжусь за пославших её.
Когда мой собрат по панели,
стыжусь за него самого.

Подпольные миллионеры,
когда твоей родине худо,
являют в брильянтах и нерпах
свою порнографию духа.

Когда на собрании в зале
неверного судят супруга,
желая интимных деталей,
ревёт порнография духа.

Как вы вообще это смеете!
Как часто мы с вами пытаемся
взглянуть при общественном свете,
когда и двоим – это таинство...

Конечно, спать вместе не стоило б...
Но в скважине голый глаз
значительно непристойнее
того, что он видит у вас...

Клеймите стриптизы экранные,
венерам закутайте брюхо,
Но всё-таки дух – это главное.
Долой порнографию духа!

1974

* * *

Не возвращайтесь к былым возлюбленным,
былых возлюбленных на свете нет.
Есть дубликаты – как домик убранный,
где они жили немного лет.

Вас лаем встретит собачка белая,
и расположенные на холме
две рощи – правая, а позже левая —
повторят лай про себя, во мгле.

Два эха в рощах живут отдельные,
как будто в стереоколонках двух,
всё, что ты сделала и что я сделаю,
они разносят по свету вслух.

А в доме эхо уронит чашку,
ложное эхо предложит чай,
ложное эхо оставит на ночь,
когда ей надо бы закричать:

«Не возвращайся ко мне, возлюбленный,
былых возлюбленных на свете нет,
две изумительные изюминки,
хоть и расправятся тебе в ответ...»

А завтра вечером, на поезд следуя,
вы в речку выбросите ключи,
и роща правая, и роща левая
вам вашим голосом прокричит:

«Не покидайте своих возлюбленных.
Былых возлюбленных на свете нет...»

Но вы не выслушаете совет.

1974

РОМАНС

Запомни этот миг. И молодой шиповник.
И на Твоём плече прививку от него.
Я – вечный Твой поэт и вечный Твой любовник.
И – больше ничего.

Запомни этот мир, пока Ты можешь помнить,
а через тыщу лет и более того,
Ты вскрикнешь, и в Тебя царапнется шиповник...
И – больше ничего.

1975

НОСТАЛЬГИЯ ПО НАСТОЯЩЕМУ

Я не знаю, как остальные,
но я чувствую жесточайшую
не по прошлому ностальгию —
ностальгию по настоящему.

Будто послушник хочет к Господу,
ну а доступ лишь к настоящему, —
так и я умоляю доступа
без посредников к настоящему.

Будто сделал я что-то чуждое,
или даже не я – другие.
Упаду на поляну – чувствую
по живой земле ностальгию.

Нас с тобой никто не расколет,
но когда тебя обнимаю —
обнимаю с такой тоскою,
будто кто тебя отнимает.

Когда слышу тирады подленькие
оступившегося товарища,
я ищу не подобья – подлинника,
по нему грущу, настоящему.

Одиночества не искупит
в сад распахнутая столярка.
Я тоскую не по искусству,
задыхаюсь по-настоящему.

Всё из пластика – даже рубища,
надоело жить очерково.
Нас с тобою не будет в будущем,
а церковка...

И когда мне хохочет в рожу
идиотствующая мафия,
говорю: «Идиоты – в прошлом.
В настоящем – рост понимания».

Хлещет чёрная вода из крана,
хлещет ржавая, настоявшаяся,
хлещет красная вода из крана,
я дождусь – пойдёт настоящая.

Что прошло, то прошло. К лучшему.
Но прикусываю, как тайну,
ностальгию по настоящему,
что настанет. Да не застану.

1975

* * *

Не отрекись
от каждой строчки прошлой —
от самой безнадёжной и продрогшей
из актрисул.

Не откажусь
от жизни торопливой,
от детских неоправданных трамплинов
и от кошунств.

Не отступлюсь —
«Ни шагу! Не она ль за нами?»
Наверное, с заблудшими, лгунами...
Мой каждый куст!

В мой страшный час,
хотя и бредовая,
поэзия меня не предавала,
не отреклась.

Я жизнь мою
в исповедальне высказал.
Но на весь мир транслировалась исповедь.
Всё признаю.

Толпа кликуш
ждёт, хохоча, у двери:
«Кус его, кус!»
Всё, что сказал, вздохнув, удостоверю.

Не отрекись.

1975

МОНОЛОГ ЧИТАТЕЛЯ

Четырнадцать тысяч пиитов
страдают во мгле Лужников.
Я выйду в эстрадных софитах —
последний читатель стихов.

Разинувши рот, как минёры,
скажу в ликование:
«Желаю прослушать Смирновых
неопубликованное!»

Три тыщи великих Смирновых
захлопают, как орлы
с трёх тыщ этикеток «Минводы»,
пытаясь взлететь со скалы.

И хор, содрогнув батисферы,
сольётся в трёхтысячный стих.
Мне грянут аплодисменты
за то, что я выслушал их.

Толпа поэтессок минорно
автографов ждёт у кулис.
Доходит до самоубийств!
Скандирующие сурово
Смирновы, Смирновы, Смирновы
желают на бис.

И снова, как реквием служат,
я выйду в прожекторах,
родившийся, чтобы слушать
среди прирождённых орать.

Заслуги мои небольшие,
сутил и невнятен мой век,
среди тысячей небожителей —
единственный человек.

Меня пожалеют и вспомнят.
не то, что бывал я пророк,
а что не берёг перепонки,
как раньше гортань не берёг.

«Скажи в меня, женщина, горе,
скажи в меня, счастье!
Как плачем мы, выбежав в поле,

но чаще, но чаще

нам попросту хочется высвободить
невывказанное, заветное...
Нужна хоть кому-нибудь исповедь,
как Богу, которого нету!»

Я буду любезен народу
не тем, что творил монумент, —
невывказанную ноту
понять и услышать сумел.

1975

БЕЛОВЕЖСКАЯ БАЛЛАДА

Я беру тебя на поруки,
перед силами жизни и зла,
перед алчущим оком разлуки,
что уставилась из угла.

Я беру тебя на поруки
из неволи московской тщеты.
Ты – как роща после порубки,
ты мне крикнула: защити!

Отвернутся друзья и подруги.
Чтобы вспыхнуло всё голубым,
беловежскою рюмкой сивухи
головешки в печи угостим.

Затопите печаль в моём доме!
Поёт прошлое в кирпичках.
Всё гори синим пламенем, кроме, —
запалите печаль!

В этих пылких поспешных поленьях,
в слове, вырвавшемся, хрипя,
ощущение преступления,
как сказали бы раньше – греха.

Воли мне не хватало, воли.
Грех, что мы крепостны на треть.
Столько прошлых дров накололи —
хорошо им в печали гореть!

Это пахнет уже не романом —
так бывает пожар и дождь, —

на ночь смывши глаза и румяна,
побледневшая, подойдёшь.

А в квартире, забытой тобою,
к прежней жизни твоей подключён,
белым черепом со змеёю
будет тщетно шуршать телефон...

В этой егерской баньке бревенчатой,
точно сельские алтари,
мы такую свободой повенчаны —
у тебя есть цыгане в крови.

Я беру тебя на поруки
перед городом и людьми.
Перед ангелом воли и муки
ты меня на поруки возьми.

1975

ЗВЕЗДА

Аплодировал Париж
в фестивальном дыме.
Тебе дали первый приз —
«Голую богиню».

Подвезут домой друзья
от аэродрома.
Дома нету ни копыя.
Да и нету дома.

Оглядишь свои углы
звёздными своими:
стены пусты и голы —
голая богиня.

Предлагал озолотить
режиссёр павлиний.
Ты ж предпочитаешь жить
голой, но богиней.

Подвернётся, может, роль,
с текстами благими.
Мне плевать, что гол король!
Голая богиня...

А за окнами стоят

талые осины
обнажённо, как талант, —
голая Россия!

И такая же одна
грохает тарелки
возле вечного огня
газовой горелки.

И мерцает из угла
в сигаретном дыме —
ах, актёрская судьба!
Голая богиня.

1975

МОНОЛОГ РЕЗАНОВА

Божий замысел я искажил,
жизнь сгубив в муравейне.
Значит, в замысле не было сил.
Откровенье – за откровенье.

Остаётся благодарить.
Обвинять Тебя в слабых расчётах,
словно с женщиной счёты сводить —
в этом есть недостойное что-то.

Я мечтал, закусив удила-с,
свесть Америку и Россию.
Авантюра не удалась.
За попытку – спасибо.

Свёл я американский расчёт
и российскую грустную удаль.
Может, в будущем кто-то придёт.
Будь с поэтом помягче, сударь.

Бьёт двенадцать годов, как часов,
над моей терпеливою нацией.
Есть апостольское число,
для России оно – двенадцать.

Восемьсот двенадцатый год —
даст ненастья иль крах династий?
Будет петь и рыдать народ.
И ещё, и ещё двенадцать.

Ясновидец это число
через век назовёт поэмой,
потеряв имя своё.
Откровенье – за откровенье.

В том спасибо, что в Божий наш час
в ясном Болдине или в Равенне,
нам являясь, ты требуешь с нас
откровенье за откровенье.

За открытый с обрыва Твой лес
жить хочу и писать откровенно,
чтоб от месс, как от горних небес,
у больных закрывались каверны.

Оправдался мой жизненный срок,
может, тем, что, упав на колени,
в Твоей дочери я зажёл
вольный свет откровенья.

Она вспомнила замысел Твой,
и в рубашке, как тени Евангеля,
руки вытянув перед собой,
шла, шатаясь, в потёмках в ванную.

Свет был животворящий такой,
аж звезда за окном окривела.
Этим я расквитался с Тобой.
Откровенье – за откровенье.

1975

ПИР

Человек явился в лес,
всем принёс деликатес:

лягушонку
дал сгущёнку,

дал ежу —
что – не скажу,

а единственному волку
дал охотничью водку,

налил окуню в пруды
мандариновой воды.

Звери вежливо ответили:
«Мы еды твоей отведали.
Чтоб такое есть и пить,
надо человеком быть.
Что ж мы попусту сидим,
хочешь, мы тебя съедим?»

Человек сказал в ответ:
«Нет.
Мне ужасно неудобно,
но я очень несъедобный.
Я пропитан алкоголем,
аллохолом, аспирином.
Вы меня видали голым?
Я от язвы оперируем.
Я глотаю утром водку,
следом тассовскую сводку,
две тарелки, две газеты,
две магнитные кассеты,
и коллегу по работе,
и два яблока в компоте,
опылённых ДДТ,
и т. д.

Плюс сидит в печёнках враг,
курит импортный табак.
В час четыре сигареты.
Это
убивает в день
сорок тысяч лошадей.

Вы хотите никотин?»
Все сказали: «Не хотим,
жаль тебя. Ты – вредный, скучный:
если хочешь – ты нас скушай».

Человек не рассердился
и, подумав, согласился.

1975

НЕ ЗАБУДЬ

Человек надел трусы,
майку синей полосы,
джинсы белые, как снег,
надевает человек.

Человек надел пиджак,
на пиджак нагрудный знак
под названием «ГТО».
Сверху он надел пальто.

На него, стряхнувши пыль,
он надел автомобиль.
Сверху он надел гараж
(тесноватый – но как раз!),

сверху он надел наш двор,
как ремень надел забор,
сверху он надел жену,
и вдобавок не одну,
сверху наш микрорайон,
область надевает он.

Опоясался, как рыцарь,
государственной границей.
И, качая головой,
надевает шар земной.
Чёрный космос натянул,
крепко звёзды застегнул,
Млечный Путь – через плечо,
сверху – кое-что ещё...

Человек глядит вокруг.
Вдруг —
у созвездия Весы
вспомнил, что забыл часы.
(Где-то тикают они
позабытые, одни?...))

Человек снимает страны,
и моря, и океаны,
и машину, и пальто.
Он без времени – ничто.

Он стоит в одних трусах,
держит часики в руках.
На балконе он стоит
и прохожим говорит:
«По утрам, надев трусы,
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО ЧАСЫ!»

1975

* * *

Четырежды и пятирижды
молю, достигнув высоты:
«Жизнь, ниспошли мне передышку
дыхание перевести!»

Друзей, своих опередивши,
я снова взвинчиваю темп,
чтоб выиграть для передышки
секунды две промежду тем.

Нет, не для славы чемпиона
мы вырвались на три версты,
а чтоб упасть освобождённо
в невытоптанные цветы!

Щека к щеке, как две машины,
мы с той же скоростью идём.
Движение неощутимо,
как будто замерли вдвоём.

Не думаю о пистолете,
не дезертирую в пути,
но разреши хоть раз в столетье
дыхание перевести!

1975

* * *

Мы обручились временем с тобой,
не кольцами, а электрочасами.
Мне страшно, что минуты исчезают.
Они согреты милою рукой.

1975

* * *

Когда по Пушкину кручинились миряне,
что в нём не чувствуют бывшего волшебства,
он думал: «Милые, кумир не умирает.
В вас юность умерла!»

1975

* * *

Есть русская интеллигенция.
Вы думали – нет? Есть.
Не масса индифферентная,
а совесть страны и честь.

Есть в Рихтере и Аверинцеве
земских врачей черты —
постольку интеллигенция,
постольку они честны.

«Нет пороков в своём отечестве».
Не уважаю лесть.
Есть пороки в моём отечестве,
зато и пророки есть.

Такие, как вне коррозии,
ноздрей петербургской вздет,
Николай Александрович Козырев —
небесный интеллигент.

Он не замечает карманников.
Явился он в мир стереть
второй закон термодинамики
и с ним тепловую смерть.

Когда он читает лекции,
над кафедрой, бритый весь,
он – истой интеллигенции
указующий в небо перст.

Воюет с извечной дурью,
для подвига рождена,
отечественная литература —
отечественная война.

Какое призванье лестное
служить ей, отдавши честь:
«Есть, русская интеллигенция!
Есть!»

1975

* * *

Друг мой, мы зажились. Бывает.
Благодать.
Раз поэтов не убивают,
значит, некого убивать.

1975

ХОББИ СВЕТА

Я сплю на чужих кроватях,
сиду на чужих стульях,
порой одет в привозное,
ставлю свои книги на чужие стеллажи, —
но свет
должен быть
собственного производства.
Поэтому я делаю витражи.

Уважаю продукцию ГУМа и Пассажа,
но крылья за моей спиной
работают, как ветряки.

Свет не может быть купленным
или продажным.
Поэтому я делаю витражи.

Я прутья свариваю электросваркой.
В наших магазинах не достать сырья.
Я нашёл тебя на свалке.
Но я заставляю тебя сиять.

Да будет свет в Тебе
молитвенный и кафедральный,
да будут сумерки, как тамариск,
да будет свет
в малиновых Твоих подфарниках,
когда Ты в сумерках притормозишь.

Но тут моё хобби подменяется любовью.
Жизнь расколота? Не скажи!
За окнами пахнет средневековьем.
Поэтому я делаю витражи.

Человек на 60 процентов из химикалиев,

на 40 процентов из лжи и ржи...
Но на 1 процент из Микеланджело!
Поэтому я делаю витражи.

Но тут моё хобби занимается теософией.
Пузырьки внутри сколов
стоят, как боржом.
Прибью витраж на калитку тесовую.
Пусть лес исповедуется
перед витражом.

Но это уже касается жизни, а не искусства.
Жжёт мои лёгкие эпоксидная смола.
Мне предлагали (по случаю)
елисеевскую люстру.
Спасибо. Мала.

Ко мне прицениваются барышники,
клюют обманутые стрижи.
В меня прицеливаются булыжники.
Поэтому я делаю витражи.

1975

ЭРМИТАЖНЫЙ МИКЕЛАНДЖЕЛО

«Скрюченный мальчик» резца Микеланджело,
сжатый, как скрепка писчебумажная,
что впрессовал в тебя чувственный старец?
Тексты истлели, скрепка осталась.

Скрепка разогнута в холоде склепа,
будто два мрака, сплетённые слепо,
дух запредельный и плотская малость
разъединились. А скрепка осталась.

Благодарю, необъятный создатель,
что я мгновенный твой соглядатай —
Сидоров, Медичи или Борджиа —
скрепочка Божья!

1975

МОЛИТВА МИКЕЛАНДЖЕЛО

Боже, ведь я же Твой стебель,
что ж Ты меня отдал толпе?

Боже, что я Тебе сделал?
Что я не сделал Тебе?

1975

МЕМОРИАЛ МИКЕЛАНДЖЕЛО

Мой Микеланджело

Кинжальная строка Микеланджело...
Моё отношение к творцу Сикстинской капеллы
отнюдь не было платоническим.
В рисовальном зале Архитектурного института
мне досталась голова Давида. Это самая трудная
из моделей. Глаз и грифель следовали за её
непостижимыми линиями. Было невероятно
трудно перевести на язык графики, перевести
в плоскость двухмерного листа, приколотого
к подрамнику, трёхмерную – а вернее,
четырёхмерную форму образца!
Линии ускользали, как намыленные. Моя досада
и ненависть к гипсу равнялись, наверное, лишь
ненависти к нему Браманте или Леонардо.
Но чем непостижимей была тайна мастерства,
тем сильнее ощущалось её притяжение,
магнетизм силового поля.
С тех пор началось. Я на недели уткнулся
в архивные фолианты Вазари, я копировал
рисунки, где взгляд и линия мастера, как штопор,
ввинчиваются в глубь бурлящих торсов
натурщиков. Во сне надо мною дымился
вспоротый мощный кишечник Сикстинского потолка.
Сладостная агония над надгробием Медичи
подымалась, прихлопнутая, как пружиной
крысоловки, волютообразной пружиной фронтона.

* * *

Эту «Ночь» я взгромоздил на фронтоны моего
курсового проекта музыкального павильона.
То была странная и наивная пора нашей
архитектуры. Флорентийский Ренессанс был
нашей Меккой. Классические колонны,
кариатиды на зависть коллажам сюрреалистов

слагались в причудливые комбинации наших проектов. Мой автозавод был вариацией на тему палаццо Питти. Компрессорный цех имел завершение капеллы Пацци.

Не обходилось без курьёзов. Все знают дом Жолтовского с изящной лукавой башенкой напротив серого высотного Голиафа. Но не все замечают его карниз. Говорили, что старый маэстро на одном и том же эскизе набросал сразу два варианта карниза: один – каменный, другой – той же высоты, но с сильными деревянными консолями. Конечно, оба карниза были процитированы из ренессансных палаццо. Верные ученики восхищённо перенесли оба карниза на Смоленское здание. Так, согласно легенде, на Садовом кольце появился дом с двумя карнизами.

Вечера мы проводили в библиотеке, калькируя с флорентийских фолиантов. У моего товарища Н. было 2000 скалькированных деталей, и он не был в этом чемпионом.

Когда я попал во Флоренцию, я, как родных, узнавал перерисованные мною тысячи раз палаццо. Я мог с закрытыми глазами находить их на улицах и узнавать милые рустованные чудища моей юности. Следы наводнения только подчёркивали это ощущение.

Наташа Головина, лучший живописец нашего курса, как величайшую ценность подарила мне фоторепродукцию фрагмента «Ночи». Она до сих пор висит под стеклом в бывшем моём углу в родительской квартире.

И вот сейчас моё юношеское увлечение догнало меня, воротилось, превратилось в строки переводимых мною стихов.

* * *

Вероятно, инстинкт пластики связан со стихотворным. Известно грациозное перо Пушкина, рисунки Маяковского, Волошина, Жана Кокто. Недавно нашумела выставка живописи Анри Мишо. И наоборот – один известнейший наш скульптор наговорил мне на магнитофон цикл своих стихов. Прекрасны стихи Пикассо и Микеланджело. Последний наизусть знал «Божественную Комедию». Данте был его духовным крёстным.

У Манделштама в «Разговоре о Данте» мы читаем: «Я сравниваю, значит, я живу» – мог бы сказать Данте. Он был Декартом метафоры, ибо для нашего сознания – а где взять другое? — только через метафору раскрывается материя, ибо нет бытия вне сравнения, ибо само бытие есть сравнение».

* * *

Но метафора Данте говорила не только с Богом. В век лукавый и опасный она таила в себе политический заряд, тайный смысл. Она драпировала строку, как удар кинжала из-под плаща. 6 января 1537 года был заколот флорентийский тиран Алессандро Медичи. Беглец из Флоренции, наш скульптор по заказу республиканцев вырубает бюст Брута — кинжального тираноубийцы. Скульптор в споре с Донато Джонатти говорит о Бруте и его местоположении в иерархии дантовского ада. Блеснул кинжал в знаменитом антипапском сонете. Так, строка «Сухое дерево не плодоносит» нацелена в папу Юлия II, чьим фамильным гербом был мраморный дуб. Интонационным вздохом «Господи» («Синьор» по-итальянски) автор отводит прямые указания на адресат. Лукавая злободневность, достойная Данте. Данте провёл двадцать лет в изгнании, в 1302 году заочно приговорён к сожжению. Были ли чёрные гвельфы, его мучители, исторически правы? Даже не в этом дело. Мы их помним лишь потому, что они имели отношение к Данте. Повредили ли Данте преследования? И это неизвестно. Может быть, тогда не было бы «Божественной комедии». Обращение к Данте традиционно у итальянцев. Но Микеланджело в своих сонетах о Данте подставлял свою судьбу, свою тоску по родине, своё самоизгнание из родной Флоренции. Он ненавидел папу, негодовал и боялся его, прикованный к папским гробницам, — кандалы Микеланджело.

* * *

Менялась эпоха, республиканские идеалы
Микеланджело были обречены ходом
исторических событий. Но оказалось, что
исторически обречены были события.
А Микеланджело остался.
В нём, корчась, рождалось барокко. В нём
умирал Ренессанс. Мы чувствуем томительные
извивы маньеризма – в предсмертной его
«Пьете Рондонини», похожей на стебли
болотных лилий, предсмертное цветение
красоты.
А вот описание магического Исполина:

*Ему не нужен поводырь.
Из пятки, жёлтой, как желток,
напившись гневом, как волдырь,
горел единственный зрачок!*

Далее следуют отпрыски этого Циклопа:

*Их члены на манер плюща
нас обвивают, трепеща...*

Вот вам ростки сюрреализма. Сальвадор Дали мог
позавидовать этой хищной, фантастичной точности!

Не только Петрарка, не только неоплатонизм
были поводьями Микеланджело в поэзии.
Мощный дух Савонаролы, проповедника,
которого он слушал в дни молодости, —
ключ к его сонетам: таков его разговор с Богом.
Безнравственные люди поучали его
нравственности.
Их коробило, когда мастер пририсовывал Адаму
пуп, явно нелогичный для первого человека,
слепленного из глины. Недруг его
Пьетро Аретино доносил на его «лютеранство»
и «низкую связь» с Томмазо Кавальери.
Говорили, что он убил натурщика, чтобы
наблюдать агонию, предшествовавшую
смерти Христа.
Как это похоже на слух, согласно которому
Державин повесил пугачёвца, чтобы наблюдать
предсмертные корчи. Как Пушкин ужаснулся
этому слуху!

Неслучайно в «Страшном суде» святой
Варфоломей держит в руках содранную кожу,
которая – автопортрет Микеланджело. Святой
Варфоломей подозрительно похож
на влиятельного Аретино.

* * *

Галантный Микеланджело любовных сонетов,
куртизирующий болонскую прелестницу.
Но под рукой скульптора постпетрарковские штампы
типа «Я врезал Твой лик в моё сердце»
становятся материальными, он говорит о своей
практике живописца и скульптора. Я пытался
подчеркнуть именно «художническое»
видение поэта.
Маниакальный фанатик резца 78-го сонета
(в нашем цикле названного «Творчество»)
В том же 1550 году в такт его сердечной мышце
стучали молотки создателей
Василия Блаженного.

* * *

Меланжевый Микеланджело.
Примелькавшийся Микеланджело
целлофанированных открыток, общего вкуса,
отполированный взглядами, скоростным
конвейером туристов, лаковые «сикстинки»,
шары для кроватей, брелоки для ключей —
никелированный Микеланджело.

* * *

Смеркающийся Микеланджело —
ужаснувшийся встречей со смертью,
в раскаянии и тоске проывший свой
знаменитый сонет «Кончину чую...»:
«Увы! Увы! Я предан незаметно
промчавшимися днями.
Увы! Увы! Оглядываюсь назад и не нахожу дня,
который бы принадлежал мне! Обманчивые

надежды и тщеславные желания мешали мне
узреть истину, теперь я понял это... Сколько
было слёз, муки, сколько вздохов любви, ибо
ни одна человеческая страсть не осталась мне
чуждой.

Увы! Увы! Я бреду, сам не зная куда, и мне
страшно...» (Из письма Микеланджело.)

Когда не спасала скульптура и живопись, мастер
обращался к поэзии.

На русском стихи его известны в достоверных
переводах А. Эфроса, тончайшего эрудита
и ценителя Ренессанса. Эта задача достойно
им завершена.

Моё переложение имело иное направление.

Повторяю, я пытался найти черты стихотворного
тропа, общие с микеланджеловской пластикой.

В текстах порой открывались цитаты из
«Страшного суда» и незавершённых «Гигантов».

Дух создателя был един и в пластике,
и в слове – чувствовалось физическое
сопротивление материала, савонароловский
своенравный напор и счёт к мирозданию.
Хотелось хоть в какой-то мере воссоздать
не букву, а направление силового потока, поле
духовной энергии мастера.

* * *

Идею перевести микеланджеловские сонеты
мне подал в прошлом голу покойный
Дмитрий Дмитриевич Шостакович Великий.
Композитор только что написал тогда музыку
к эфросовским текстам, но они его не во всём
удовлетворяли. Работа увлекла меня, но
к готовой музыке новые стихи, конечно,
не могли подойти.

После их опубликования итальянское
телевидение предложило мне рассказать
о русском Микеланджело и почитать стихи
на фоне «Скрюченного мальчика» из Эрмитажа.
«Скрюченный мальчик» – единственный
подлинник Микеланджело в России – маленький
демон смерти, неоконченная фигурка
для капеллы Медичи.

Мысленный каркас его действительно похож
в профиль на гнутую напряжённую

металлическую скрепку, где силы Смерти
и Жизни томительно стремятся и разогнуться
и сжаться.

* * *

Через три месяца в Риме
Ренато Гуттузо, сам схожий с изображениями
сивилл, показывал мне в мастерской своей
серию работ, посвящённых Микеланджело.
Это были якобы копии микеланджеловских
вещей – и «Сикстины» и «Паолино» – вариации
на темы мастера. Шестнадцатый век пересказан
веком двадцатым, переписан сегодняшним
почерком. Этот же метод я пытался применить
в переводах.
Я пользовался первым научным изданием
1863 года с комментариями профессора
Чезаре Гуасти и сердечно благодарен
Г. Брейтбурду за его любезную помощь.
Тот же Манделштам говорил, что в итальянских
стихах рифмуется всё со всем. Переводить их
адски сложно. Например, мадригал,
организованный рефреном:
О Dio, о Dio, о Dio!
Первое попавшееся: «О Боже, о Боже,
о Боже!» – явно не годится из-за сентиментальной
интонации русского текста.
При восторженном настрое подлинника
могло бы лечь:
О диво, о диво, о диво!
Заманчиво было, опираясь на католический
культ Мадонны, перевести:
О Дева, о Дева, о Дева!
Увы, это не подходило. В строфах идёт
ощущаемое почти физическое преодоление
материала, ритм с одышкой. Поэтому следует
поставить тяжеловесное слово «Создатель,
Создатель, Создатель!» с опорно-направляющей
согласной «д». Ведь идёт обращение Мастера
к Мастеру, счёт претензий их внутрицехового
порядка.

* * *

Кроме сонетов с их нотой гефсиманской скорби и ясности, песен последних лет, где мастер молитвенно раскаивается в богоборческих грехах Ренессанса, в цикл входят эпитафии на смерть пятнадцатилетнего Чеккино Браччи, а также фрагмент 1546 года, написанный не без влияния иронической музыки популярного тогда Франческо Верни. Нарочитая грубость, саркастическая бравада и чёрный юмор автора, вульгарности, частично смягчённые в русском изложении, прикрывают, как это часто бывает, ранимость мастера, нешуточный ужас его перед смертью.

Впрочем, было ли это для Микеланджело «вульгарным»? Едва ли!

Для него, анатома и художника, понятие мышц, мочевого пузыря с камнями и т. д., как и для хирурга, – категории не эстетические или этические, а материя, где всё чисто.

«Цветы земли не знают грязи».

Точно так же для архитектора понятие санузла – обычный вопрос строительной практики, как расчёт марша лестниц и освещения. Он не имеет ничего общего с мецанской благопристойностью умолчания об этих вопросах.

Наш автор был ультрасовременен в лексике, поэтому я ввёл некоторые термины из нашего обихода. Кроме того, в этом отрывке я отступил от русской традиции переводить итальянские женские рифмы мужскими. Хотелось услышать, как звучало всё это для уха современника.

Понятно, не всё в моём переложении является буквальным слепком. Но вспомним Пастернака, лучшего нашего мастера перевода:

*Поэзия, не поступайся ширью,
храни живую точность, точность тайн,
не занимайся точками в пунктире
и зёрен в мере хлеба не считай!*

Сам Микеланджело явил нам пример перевода одного вида искусства в другой.
Скрижальная строка Микеланджело.

ИСТИНА

Я удивляюсь, Господи, Тебе,
Поистине – «кто может, тот не хочет».
Тебе милы, кто добродетель корчит.
А я не умещаюсь в их толпе.

Я твой слуга. Ты свет в моей судьбе.
Так связан с солнцем на рассвете кочет.
Дурак над моим подвигом хохочет.
И небеса оставили в беде.

За истину борюсь я без забрала,
Деяний я хочу, а не словес.
Тебе ж милее льстец или доносчик.
Как небо на дела мои плевало,

Так я плюю на милости небес.
Сухое дерево не плодоносит.

ЛЮБОВЬ

Любовь моя, как я тебя люблю!
Особенно когда тебя рисую.
Но вдруг в тебе я полюбил другую?
Вдруг я придумал красоту твою?

Но почему ж к друзьям тебя ревную?
И к мрамору ревную, и к углю?
Вдвойне люблю – когда тебя леплю,
Втройне – когда я точно зарифмую.

Я истинную вижу красоту,
Я вижу то, что существует в жизни,
Чего не замечает большинство.
Я целюсь, как охотник, на лету.

Ухвачено художнической призмой,
Божественнее станет божество!

УТРО

Уста твои встречаются с цветами,
Когда ты их вплетаешь в волоса.
Ты их ласкаешь, стебли вороша.
Как я ревную к вашему свиданью!
И грудь твоя, затянутая тканью,

Волнуется, свята и хороша.
И кисея коснётся щёк, шурша.
Как я ревную к каждому касанью!
Напоминая чувственные сны,
Сжимает стан твой лента поясная
И обладает талией твоей.
Нежней объятий в жизни я не знаю...
Но руки мои в тыщу раз нежней!

ГНЕВ

Здесь с копьями кресты святые сходны,
Кровь Господа здесь продают в розлив,
Благие чаши в шлемы превратив,
Кончается терпение Господне.
Когда б на землю Он сошёл сегодня,
Его бы окровавили, схватив,
Содрали б кожу с плеч его святых
И продали бы в первой подворотне.
Мне не нужны подачки лицемера,
Творцу преуспевать не надлежит.
У новой эры – новые химеры.
За будущее чувствую я стыд:
Иная, может быть, святая вера
Опять всего святого нас лишит!
Конец.
Ваш Микеланджело в Туретчине

К ДАНТЕ

Единственный живой средь неживых.
Свидетелем он Рая стал и Ада.
Обитель справедливую Расплаты
Он, как анатом, все круги постиг.
Он видел Бога. Звездопадный стих
Над родиной моей рыдал набатно.
Певцу нужны небесные награды,
Ему не надо почестей людских.
(Я говорю о Данте. Это он
Ее понят был. Я говорю о Данте.)
Он флорентийской банде был смешон.
Непониманье гения – закон.
О, дайте мне его прозренье, дайте!
И я готов, как он, быть осуждён.

ЕЩЁ О ДАНТЕ

Звезде его все словеса – как дым.
Похвал, достойных Данте, так немного.
Мы не примкнём к хвалебному потоку.
Хулителей его мы пригвоздим!
Прошёл он двери Ада, невредим,
Пред Данте открывались двери Бога.
Но люди, рассуждавшие убого,
Дверь родины захлопнули пред ним.
О родина, была ты близорука,
Когда казнила лучших сыновей,
Себе готовя худшую из казней.
Всегда ужасна с родиной разлука.
Но не было изгнания подлей,
Как песнопевца не было прекрасней!

ТВОРЧЕСТВО

Когда я созидаю на века,
подняв рукой камнедробильный молот,
то молот об одном лишь счастье молит,
чтобы моя не дрогнула рука.
Так молот Господа наверняка
мир создавал при взмахе гневных молний.
В гармонию им хаос перемолот.
Он праотец земного молотка.
Чем выше поднят молот в небеса,
тем глубже он врубается в земное,
становится скульптурой и дворцом.
Мы в творчестве выходим из себя.
И это называется душою.
Я – молот, направляемый Творцом.

ДЖОВАННИ СТРОЦЦИ НА «НОЧЬ» БУОНАРРОТИ

Фигуру «Ночь» в мемориале сна
из камня высек Ангел, или Анжело.
Она жива, верней – уснула заживо.
Окликни – и пробудится Она.

ОТВЕТ БУОНАРРОТИ

Блаженство – спать, не ведать злобы дня,
не ведать свары вашей и постыдства,
в неведении каменном забыться...
Прохожий! Тсс... Не пробуждай меня.

ЭПИТАФИИ

1

Я счастлив, что я умер молодым.
Земные муки – хуже, чем могила.
Навеки смерть меня освободила
И сделалась бессмертием моим.

2

Я умер, подчинившись естеству.
Но тыщи дум в моей душе вмещались.
Одна на них погасла – что за малость?!
Я в тысячах оставшихся живу.

МАДРИГАЛ

Я пуст, я стандартен. Себя я утратил.
Создатель, Создатель, Создатель,
Ты дух мой похитил,
Пустынна обитель.
Стучу по груди пустотелой, как дятел:
Создатель, Создатель, Создатель!
Как на сердце пусто
От страсти бесстыжей,
Я вижу Искусством,
А сердцем не вижу.
Где я обнаружу
Пропавшую душу?
Наверно, вся выкипела наружу.

СМЕРТЬ

Кончину чую. Но не знаю часа.
Плоть ищет утешенья в кутеже.
Жизнь плоти опостылела душе.
Душа зовёт отчаянную чашу!
Мир заблудился в непролазной чаше
Средь ядовитых гадов и ужей.
Как черви, лезут сплетни из ушей.
И истина сегодня – гость редчайший.
Устал я ждать. Я верить устаю.
Когда ж взойдёт, Господь, что Ты посеял?
Нас в срамоте застанет смерти час.
Нам не постигнуть истину Твою.
Нам даже в смерти не найти спасенья.
И отвернутся ангелы от нас.

1975

ФРАГМЕНТ АВТОПОРТРЕТА

Я нищая падаль. Я пища для морга.
Мне душно, как джинну в бутылке прогорклой,
как в тьме позвоночника костному мозгу!

В камерке моей, как в гробнице промозглой,
Арахна свивает свою паутину.
Моя долгие врата пропахла помойкой.

Я слышу – об стену журчит мочевины.
Угрюмый гигант из священного шланга
мой дом подмывает. Он пьян, очевидно.

Полно на дворе человеческого шлама.
Дерьмо каменеет, как главы соборные.
Избыток дерьма в этом мире, однако.

Я вам не общественная уборная!
Горд вашим доверьем. Но я же не урна...
Судьба моя скромная и убогая.

Теперь опишу мою внешность с натуры:
Ужасен мой лик, бородёнка – как щётка.
Зубарики пляшут, как клавиатура.

К тому же я глохну. А в глотке щекотно!

Паук заселил моё левое ухо,
а в правом сверчок верещит, как трещотка.

Мой голос жужжит, как под склянкою муха.
Из нижнего горла, архангельски гулая,
не вырвется fuga пленённого духа.

Где синие очи? Пovýцвели буркалы.
Но если серьёзно – я рад, что горюю,
я рад, что одет, как воронее пугало.

Большая беда вытесняет меньшую.
Чем горше, тем слаще становится участь.
Сейчас оплеуха милей поцелуя.

Дешёв парадокс, но я радуюсь, мучась.
Верней, нахожу наслажденье в печали.
В отчаянной доле есть ряд преимуществ.

Пусть пуст кошелёк мой. Какие детали!
Зато в мочевом пузыре, как монеты,
три камня торжественно забренчали.

Мои мадригалы, мои триолеты
послужат обёрткой в бакалее
и станут бумагою туалетной.

Зачем ты, художник, парил в эмпиреях,
к иным поколениям взвивал свой треножник?!

Всё прах и тщета. В нищете околею.

Таков твой итог, досточтимый художник.

1975

* * *

Как сжимается сердце дрожью
за конечный порядок земной.
Вдоль дороги стояли рощи
и дрожали, как бег трусцой.

Всё – конечно, и ты – конечна.
Им твоя красота пустяк.
Ты останешься в слове, конечно.
Жаль, что не на моих устах.

1976

* * *

Как хорошо найти
цветы «ни от кого»!
Всю ночь с тобой на ты
фиалок алкоголь.

Ничьи леса и гать
вздохнули далеко.
Как сладостно слагать
стихи ни для кого!

1977

ПЬЕТА

Сколько было тьмы непониманья,
чтоб ладонь прибитая Христа
протянула нам для умыванья
пригорошни, полные стыда?

И опять на непроглядных водах
стоком осквернённого пруда
лилия хватается за воздух —
как ладонь прибитая Христа.

1977

УЕЗДНАЯ ХРОНИКА

Мы с другом шли. За вывескою «Хлеб»
ущелье дуло, как депо судеб.

Нас обступал сиропный городок.
Мой друг хромал. И пузыри земли,
я уточнил бы – пузыри асфальта —
нам попадаясь, клянчили на банку.

– Ты помнишь Анечку-официантку?

Я помнил. Удивлённая лазурь
её меж подавальщиц отличала.
Носила косу, говорят, свою.
Когда б не глаз цыганские фиалки,

её бы мог писать Венецианов.

Спешила к сыну с сумками, полна
такую тёмно-золотою силой,
что женщины при приближенье Аньки
мужей хватали, как при крике «Танки!»
Но иногда на зов: «Официантка!» —
она душою оцепеневала,
как бы иные слыша позывные,
и, встрепенувшись, шла: «Спешу! Спешу!»

Я помнил Анечку-официантку,
что не меня, а друга целовала,
подружку вызывала, фарцевала
и в деревянном домике жила
(как раньше вся Россия, без удобств).

Спешила вечно к сыну. Сын однажды
её встречал. На нас комплексовал.
К ней, как выюнок белёсый, присосался.
Потом из кухни в зеркало следил
и делал вид, что учит «Песнь о Данко».

– Ты помнишь Анечку-официантку?
Её убил из-за валюты сын.
Одна коса от Анечки осталась.

Так вот куда ты, милая, спешила!
– Он бил её в постели, молотком,
выюночек, малолетний сутенёр, —
у друга на ветру блеснули зубы. —
Её ассенизаторы нашли.
Её нога отсасывать мешала.
Был труп утоплен в яме выгребной,
как грешница в аду. Старик, Шекспир...

Она летела над ночной землёй.
Она кричала: «Мальчик потерялся!»
Заглядывала форточкой в дома.
«Невинен он, — кричала, — я сама
ударилась! Сметана в холодильнике.
Проголодался? Мальчика не вижу!» —
и безнадежно отжимала жижу.

И с круглым люком мерзкая доска
скользила нимбом, как доска иконы.
Нет низкого для Божьей чистоты!

– Её пришёл весь город хоронить.

Гадали – кто? Его подозревали.
Ему сказали: «Поцелуй хоть мать».
Он отказался. Тут и раскололи.
Но не назвал сообщников, debil.
Сказал я другу: – Это ты убил.

Ты утонула в наших головах
меж новостей и скучных анекдотов.
Не существует рая или ада.

Ты стала мыслью. Кто же ты теперь
в той новой, ирреальной иерархии —
ключок ничто? тычиночка тоски?
приливы беспокойства пред туманом?
Куда спешишь, гонимая причиной,
необъяснимой нам? зовёшь куда?

Прости, что без нужды тебя тревожу.
В том океане, где отсчёта нет,
ты вряд ли помнишь 30–40 лет,
субстанцию людей провинциальных
и на кольце свои инициалы?

Но вдруг ты смутно вспомнишь зовы эти
и на мгновение оцепеневаешь,
расслышав фразу на одной планете:
«Ты помнишь Анечку-официантку?»

Гуляет ветер судеб, судебный ветер.

1977

СКУЛЬПТОР СВЕЧЕЙ

Скульптор свечей, я тебя больше года
вылепливал.
Ты – моя лучшая в мире свеча.
Спички потряхиваю, бренча.
Как ты пылаешь великолепно
волей Создателя и палача!

Было ль, чтоб мать поджигала ребёнка?
Грех работёнка, а не барыш.
Разве сжигал своих детищ Конёнков?
Как ты горишь!

На два часа в тебе красного воска.
Где-то у коек чужих и афиш

стройно вздохнут твои краткие сёстры,
как ты горишь.

Как я лепил свое чудо и чадо!
Вёсны кадили. Капало с крыш.
Кружится разум. Это от чада.
Это от счастья, как ты горишь!

Круглые свечи. Красные сферы.
Белый фитиль незажжённых светил.
Тёмное время – вечная вера.
Краткое тело – чёрный фитиль.

«Благодарю тебя и прощаю
за кратковременность бытия,
пламя пронзающее без пощады
по позвоночнику фитиля.

Благодарю, что на миг озаримо
мною лицо твое и жильё,
если ты верно назвал своё имя,
значит, сгораю по имя Твое».

Скульптор свечей, я тебя позабуду,
скутер найму, умотаю отсюда,
свеч наштампую голый столбняк.
Кашляет ворон ручной от простуды.
Жизнь убывает, наверное, так,
как сообщающиеся сосуды,
вровень свече убывает в бутылке коньяк.

И у свечи, нелюбимой покуда,
тёмный нагар на реснице набряк.

1977

ГИБЕЛЬ ОЛЕНЯ

Меня, оленя, комары задрали.
Мне в Лену не нырнуть с обрыва на заре.
Многоэтажный гнус сплотился над ноздрями —
комар на комаре.
Оставьте кровь во мне – колени остывают.
Я волка забивал в разгневанной игре.
Комар из комара сосёт через товарища,
комар на комаре.
Спаси меня, якут! Я донор миллионов.
Как я не придавал значения муре!

В июльском мареве малинового звона
комар на комаре.
Я тыщи их давил, но гнус бессмертен, лютый.
Я слышу через сон – покинувши меня,
над тундрою звеня, летит, налившись клюквой,
кровиночка моя.
Она гудит в ночи трассирующей каплей
от порта Анадырь до Карских островов.
Открою рот завывать – вцепилась в глотку
кляпом
орава комаров.

1977

* * *

Нас посещает в срок —
уже не отщучусь —
не графоманство строк,
а графоманство чувств.

Когда ваш ум слезлив,
а совесть весела.
Идёт какой-то слив
седьмого киселя.

Царит в душе твоей
любая дребедень —
спешит канкан любвей,
как танец лебедей.

Но не любовь, а страсть
ведёт болтанкой курс.
Не дай вам бог подпасть
под графоманство чувств.

1977

СОБЛАЗН

Человек – не в разгадке плазмы,
а в загадке соблазна.

Кто ушёл соблазнённый за реки,
так, что мир до сих пор в слезах, —
сбросив избы, как телогрейки,
с паклей, вырванною в пазах?

Почему тебя областная
неказистая колея
не познанием соблазняя,
а непознанным увела?

Почему душа ночевала
с рощей, ждущей топора,
что дрожит, как в опочивальне
у возлюбленной зеркала?

Соблазнённый землёй нелёгкой,
что нельзя назвать образцом,
я тебе не отвечу логикой,
просто выдохну: соблазнён.

Я Великую Грязь облазил,
и блатных, и святую чернь,
их подсвечивала алмазно
соблазнительница-речь.

Почему же меня прельщают
музы веры и лебеды,
у которых мрак за плечами
и ещё черней – впереди?

Почему, побеждая разум, —
гибель слаще, чем барыши, —
Соблазнитель крестообразно
дал соблазн спасенья души?

Почему он в тоске тернистой
отвернулся от тех, кто любил,
чтоб распятого жест материнский
их собой, как детей, заслонил?

Среди ангелов-миллионов,
даже если жизнь не сбылась, —
соболезнуй несоблазнённым.
Человека создал соблазн.

1977

Е. W.

Как заклинание псалма,
безумец, по полю несясь,
твердил он подпись из письма:

«Wobulimans» – «Вобюлиманс».

«Родной! Прошло о́смы́надцать лет,
у нашей дочери – роман.
Сожги мой почерк и пакет.
С нами любовь. Вобюлиманс.
P. S. Не удался пасьянс».

Мелькнёт трёфовый силуэт
головки с буклями с боков.
И промахнётся пистолет.
Вобюлиманс – С нами любовь.

Но жизнь идёт наоборот.
Мигает с плахи Емельян.
И всё Россия не поймёт:
С нами любовь – Вобюлиманс.

1977

КНИЖНЫЙ БУМ

Попробуйте купить Ахматову.
Вам букинисты объяснят,
что чёрный том её агатовый
куда дороже, чем агат.

И многие не потому ли —
как к отпущению грехов —
стоят в почётном карауле
за томиком её стихов?

«Прибавьте тиражи журналам», —
мы молимся книгобогам,
прибавьте тиражи желаньям
и журавлям!

Всё реже в небесах бензинных
услышишь журавлиный зов.
Всё монолитней в магазинах
сплошной Массив Мухомов.

Страна поэтами богата,
но должен инженер копить
в размере чуть ли не зарплаты,
чтобы Ахматову купить.

Страною заново открыты

те, кто писали «для элит».
Есть всенародная элита.
Она за книгами стоит.

Страна желает первородства.
И может, в этом добрый знак —
Ахматова не продаётся,
не продаётся Пастернак.

1977

* * *

Когда звоню из городов далёких, —
Господь меня простит, да совесть не простит, —
я к трубке припаду – услышу хрипы в лёгких,
за горло схватит стыд.

На цыпочках живёшь. На цыпочках болеешь,
чтоб не спугнуть во мне наитья благодать.
И чёрный потолок прессует, как Малевич,
и некому воды подать.

Токую, как глухарь, по городам торгую,
толкуют пошляки.
Ударят по щеке – подставила другую.
Да третьей нет щеки.

1977

* * *

Когда написал он Вяземскому
с искренностью пугавшей:
«Поэзия выше нравственности»,
читается – «выше вашей»!

И Блок в гробовой рубахе
уже стоял у порога
в ирреальную иерархию,
где Бог – в предвкушении Бога.

Тот Бог, которого чувствуем
мы нашей людской вселенной,
пред Богом иным в предчувствии
становится на колени.

Как мало меж званых избранных,
и нравственно, и душевно,
как мало меж избранных искренних,
а в искренних – предвкушенья!

Работающий затворником,
поэт отрешён от праха,
но поэт, что работает дворником,
выше по иерархии!

Розу люблю иранскую,
но синенький можжевельник
мне ближе по иерархии
за то, что цвести тяжелее.

А вы, кто перстами праздными
поэзии лезет в раны, —
вы прежде всего безнравственны,
поэтому и бездарны.

1977

РИМСКАЯ РАСПРОДАЖА

Нам аукнутся со звоном
эти несколько минут —
с молотка аукциона
письма Пушкина идут.

Кипарисовый Кипренский...
И, капризней мотылька,
болдинский набросок женский
ожидает молотка.

Ожидает крика «Продано!»
римская наследница,
а музеи милой родины
не мычат, не телятся.

Неужели не застонешь,
дом далёкий и река,
как прижался твой найдёныш,
ожидая молотка?

И пока ещё по дереву
не ударит молоток,
он на выручку надеется,
оторвавшийся листок!

Боже! Лепестки России...
Через несколько минут,
как жемчужную рабыню,
ножку Пушкина возьмут.

1977

АВТОЛИТОГРАФИЯ

На обратной стороне Земли,
как предполагают, в год Змеи,
в частной типографийке в Лонг-Айленде
у хозяйки домика и рифа
я печатал автолитографии,
за станком, с семи и до семи.
После нанесенья изошрифта
два немногословные Сизифа —
Вечности джинсовые связисты —
уносили трёхпудовый камень.
Амен.

Прилетал я каждую субботу.
В итальянском литографском камне
я врезал шрифтом наоборотным
«Аз» и «Твердь», как принято веками,
верность контролируя в зеркало.
«Тьма-тьма-тьма» – врезал я по овалу,
«тьматьматьма» – пока не проступало:
«мать-мать-мать». Жизнь обретала речь.
После оттиска оригинала
(чтобы уникальность убересть)
два Сизифа, следуя тарифу,
разбивали литографский камень.
Амен.

Что же отпечаталось в сознание?
Память пальцев и тоска другая —
будто внял я неба содроганье
или горних ангелов полёт,
будто перестал быть чужестранен,
мне открылось, как страна живёт —
мать кормила, руль не выпуская,
тайная Америки святая,
и не всякий песнь её поймёт.
Чёрные грузили лёд и пламень.
У обеих океанских вод
США к утру сушили плавки,

а Иешуа бензозаправки
на дороге разводил руками.

И конквистадор иного свойства,
Пётр Великий иль тоскливый Каин,
в километре над Петрозаводском
выбирал столицу или гавань.
Истина прощалась с метафизикой.
Я люблю Америку создания,
где снимают в Хьюстоне Сизифы
с сердца человеческого камень
Amen.

Не понять Америку с визитом
праздным рифмоплётом назиданья,
лишь поймёт сообщник созиданья,
с кем преломят бутерброд с вязигой
вечности усталые Сизифы,
когда в руки вьелся общий камень.
Amen.

Ни одно— и ни многоэтажным
я туристом не был. Я работал.
Боб Раушенберг, отец поп-арта,
на плечах с живой лисой захаживал,
утопая в алом зоопарке.
Я работал. Солнце заходило.
Я мешал оранжевый в белила.
Автолитографии теплели.
Как же совершилось преступление?
Камень уничтожен, к сожалению.
Утром, нумеруя отпечаток,
я заметил в нём – как крыл зачаток —
оттиск смеха, профиль мотыльковый,
лоб и нос, похожие на мамин.
Может, воздух так сложился в складки?
Или мысль блуждающая чья-то?
Или дикий ангел бестолковый
зазевался – и попал под камень?...
Amen.

Что же отпечталось в хозяйке?
Тень укора, бегство из Испании,
тайная улыбка испытаний,
водяная, как узор Гознака.
Что же отпечталось во мне?
Честолюбье стать вторым Гонзаго?
Что же отпечталось извне?
Что же отпечатается в памяти

матери моей на Юго-Западе?
Что же отпечатает прибой?
Ритм веков и порванный «Плейбой»?
Что запомнят сизые Сизифы,
покидая возраст допризывный?
Что заговорит в Раушенберге?
«Вещь для хора и ракушек пеня»?
Что же в океане отпечаталось?
Я не знаю. Это знает атлас.
Что-то сохраняется на дне —
связь времён, первопечаль какая-то...
Всё, что помню, — как вы угадаете, —
только типографийку в Лонг-Айленде,
риф и исчезающий за ним
ангел повторяет профиль мамин.
И с души отваливает камень.
Аминь.

1977

ОДА ОДЕЖДЕ

Первый бунт против Бога — одежда.
Голый, созданный в холоде леса,
поправляя Создателя дерзко,
вдруг — оделся.

Подрывание строя — одежда,
когда жердеобразный чудак
каждодневно
жёлтой кофты вывешивал флаг.

В чём великие джинсы повинны?
В вечном споре низов и верхов —
тела нижняя половина
торжествует над ложью умов.

И, плечами пожав, Слава Зайцев,
чтобы легче дышать или плакать, —
декольте на груди вырезает,
вниз углом, как арбузную мякоть.

Ты дыши нестеснённо и смело,
очертаньями хороша,
содержанье одежды — тело,
содержание тела — душа.

1977

РУССКО-АМЕРИКАНСКИЙ РОМАНС

И в моей стране, и в твоей стране
до рассвета спят – не спиной к спине.

И одна луна, золота вдвойне,
И в моей стране, и в твоей стране.

И в одной цене, – ни за что, за так,
для тебя – восход, для меня – закат.

И предутренний холодок в окне
не в твоей вине, не в моей вине.

И в твоём вранье, и в моём вранье
есть любовь и боль по родной стране.

Идиотов бы поубрать вдвойне —
и в твоей стране, и в моей стране.

1977

МЕССА-04

Отравившийся кухонным газом
вместе с нами встречал Рождество.
Мы лица не видали гаже
и синее, чем очи его.

Отравила его голубая
усыпительная струя,
душегубка домашнего рая,
несложившаяся семья.

Отравили квартиры и жёны,
что мы жизнью ничтожной зовём,
что взвивается преображённо,
подожжённое Божьим огнём.

Но струились четыре конфорки,
точно кровью дракон истекал,
к обезглавленным горлам дракона
человек втихомолку припал.

Так струится огонь Иоганна,
искушающий организм,

из надпиленных трубок органа,
когда краны открыл органист.

Находил он в отраве отраду,
думал, грязь синевой зацветёт;
так в органах – как в старых ангарах
запредельный хранится полёт.

Мы ль виновны, что пламя погасло?
Тошнота остаётся одна.
Человек, отравившийся газом,
отказался пригубить вина.

Были танцы. Он вышел на кухню,
будто он танцевать не силён,
и глядел, как в колонке не тухнул —
умирал городской василёк.

1977

ПАРОХОД ВЛЮБЛЁННЫХ

Пароход прогулочный вышел на свиданье
с голою водой.
Пароход работает белыми винтами.
Ни души на палубе золотой.

Пароход работает в день три смены.
Пассажиры спрятались от шума дня.
Встретили студенты под аплодисменты
режиссёра модного с дамами двумя.

«С кем сменю каюту?» – барабанят дерзко.
Старый барабанщик, чур, не спать!
У такси бывает два кольца на дверцах,
а у олимпийцев их бывает пять.

Пароход воротится в порт, устав винтами.
Задержись, любимый, на пять минут!
Пароход свиданий не ждут с цветами.
На молу с дубиной родственники ждут.

1977

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

Не «Отче Наш», не обида, не ужас

сквозь мостовую и стужу ночную,
первое, что осенило, очнувшись:
«Чувствую – стало быть, существую».

А в коридоре больничном, как в пристани,
не протестуя, по две на стуле,
тесно сидели суровые истины —
«Чувствую – стало быть, существую».

Боли рассказывают друг другу.
«Мать, – говорю, – подверни полотенце».
Нянчит старуха кормилицу-руку,
словно спеленатого младенца.

Я за тобою, мать малолетняя,
я за тобой, обожженец вчистую,
я не последний, увы, не последний...
Чувствую – стало быть, существую.

«Сын, – утешает, – ключица не бознать что...»
Звякнут прибывшему термосом с чаем.
Тоже обходятся без обезболивающего.
Так существуем, так ощущаем.

Это впадает народное чувство
из каждодневной стихии – в другую...
Этого не рассказал Заратустра —
«Чувствую – стало быть, существую».

Пусть ты расшибся, завтра из гипса
слушая первую птицу земную,
ты понимаешь, что не ошибся:
чувствую – стало быть, существую!

Ты подойдёшь для других незаметно.
Как ты узнала в разлуку такую?
Я поднимусь – уступлю тебе место.
Чувствую – стало быть, существую.

1977

ГОЛОС

Ловите Ротару
в эфирной трансляции,
ловите тревогу
в словах разудалых.
Оставьте воров,

милиейские рации, —
ловите Ротару!

Я видел:
берёза заслушалась в заросли,
надвинув грибы,
как наушников пару,
как будто солистка
на звукозаписи
в себя удалилась...
Ловите Ротару.

Порою
из репертуара мажорного
осветится профиль,
сухой, как берёста,
похожий на суриковскую Морозову,
и я понимаю,
как это непросто.

И волос твой долог,
да голос недолог.
И всех не накормишь,
по стройкам летая.
Народ голодает —
на музыку голод.
И охают бабы —
какая худая!..

1977

ЩИПОК

А. Тарковскому

Блатные москворецкие дворы,
не ведали вы, наши Вифлеемы,
что выбивали матери ковры
плетёной олимпийской эмблемой.

Не только за кепарь благодарю
московскую дворовую закваску,
что, вырезав на тополе «люблю»,
мне кожу полоснула безопаской.

Благодарю за сказочный словарь
не Оксфорда, не Массачусетса —
когда при лунном ужасе главарь
на танцы шёл со вшитой жемчужиной.

Наломано, Андрей, вселенских дров,
но мы придём – коль свистнут за подмогой...
Давно заасфальтировали двор
и первое свиданье за помойкой.

1977

ЧАСТНОЕ КЛАДБИЩЕ

Памяти Р. Лоуэлла

Ты проходил переделкинскою калиткой,
голову набок, щекою прижавшись к плечу, —
как прижимал недоступную зрению скрипку.
Скрипка пропала. Слушать хочу!

В домик Петра ты вступал близоруко.
Там на двух метрах зарубка, как от топора.
Встал ты примериться под зарубку —
встал в пустоту, что осталась от роста Петра.

Ах, как звенит пустота вместо бывшего тела!
Новая тень под зарубкой стоит.
Клёны на кладбище облетели.
И недоступная скрипка кричит.

В чаще затеряно частное кладбище.
Мать и отец твои. Где же здесь ты?...
Будто из книги вынули вкладыши
и невозможно страничку найти.

Как тебе, Роберт, в новой пустыне?
Частное кладбище носим в себе.
Пестик тоски в мировой пустоте,
мчащийся мимо, как тебе имя?
Прежнее имя, как платье, лежит на плите.

Вот ты и вырвался из лабиринта.
Что тебе тень под зарубкой в избе?
Я принесу пастернаковскую рябину.
Но и она не поможет тебе.

1977

«КОШКИН ЛАЗ» – ЦЕЗАРЬ-ПАЛАС

Зеркало над казино —

как наблюдающий разум,
купольное Оно.

Ход в Зазеркалье ведёт,
называемый «кошкиным лазом», —
«Людям воспрещено!»

По Зазеркалью иду (Пыль. Сторожа с автоматами) —
как по прозрачному льду... Снизу играет толпа.
Вижу затылки людей, словно булыжники матовые.
Сверху лица не видать – разве кто навзничь упал.

По Зазеркалью ведёт Вергилий второй эмиграции.
Вижу родных под собой, сестру при настольном огне.
Вижу себя под собой, на повышение играющего.
Сколько им ни кричу – лиц не подымут ко мне.

Вижу другую толпу, – уже не под автоматами, —
мартовский взор опустив, вижу другое крыльцо,
где над понурой толпой ясно лежала Ахматова,
небу открывши лицо.

О, подымите лицо, только при жизни, раз в век хоть,
небу откройте лицо для голубого НЕЗЛА!
Это я знаю одно. И позабудьте Лас-Вегас.
Нам в Зазеркалье нельзя.

1977

ДРУГУ

Душа – это сквозняк пространства
меж мёртвой и живой отчизн.
Не думай, что бывает жизнь напрасной.
Как будто есть удавшаяся жизнь.

1977

* * *

Почему два великих поэта,
проповедники вечной любви,
не мигают, как два пистолета?
Рифмы дружат, а люди – увы...

Почему два великих народа
холодеют на грани войны,

под непрочным шатром кислорода?
Люди дружат, а страны – увы...

Две страны, две ладони тяжёлые,
предназначенные любви,
охватившие в ужасе голову
чёрт-те что натворившей Земли!

1977

ГРЕХ

Я не стремлюсь лидировать,
где тараканы бега.
Пытаюсь реабилитировать
вокруг понятие греха.

Душевное отупение
отъевшихся кукарек —
это не преступление —
великий грех.

Когда осквернён колодец
или Феофан Грек,
это не уголовный,
а смертный грех.

Когда в твоей женщине пленной
зарезан будущий смех —
это не преступление,
а смертный грех...

Но было б для Прометея
великим грехом – не красть.
И было б грехом смертельным
для Аннушки Керн – не пасть.

Ах, как она совершила
его на глазах у всех —
Россию заморозивший
бессмертный грех!

А гениальный грешник
пред будущим грешен был
не тем, что любил черешни,
был грешен, что – не убил.

1977

ЛЮМПЕН-ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

Опять надстройка рождает базис.
Лифтёр бормочет во сне Гельвеция.
Интеллигенция обуржуазилась.
Родилась люмпен-интеллигенция.

Есть в русском «люмпен» от слова «любит».
Как выбивались в инженера,
из инженеров выходит в люди
их бородатая детвора.

Их в институты не пустит гордость.
Там сатана правит балл тебе.
На место дворника гигантский конкурс —
музы носятся на метле!..

Двадцатилетняя, уже кормящая,
как та княгинюшка на Руси,
русская женщина новой формации
из аспиранток ушла в такси.

Ты едешь бледная – «люминесценция»! —
по тёмным улицам совсем одна.
Спасибо, люмпен-интеллигенция,
что можешь счётчик открыть с нуля!

Не надо думать, что ты без сердца.
Когда проедешь свой бывший дом,
две кнопки, вдавленные над дверцами,
в волнение выпрыгнут молодым...

Тебя приветствуют, как кровники,
ангелы утренней чистоты.
Из инженеров выходят в дворники —
кому-то надо страну мести!

1978

* * *

Неужто это будет всё забыто —
как свет за Апенниннами погас:
людские государства и события,
и божество, что пело в нас,
и нежный шрамик от аппендицита

из чёрточки и точечек с боков —
как знак процента жизни ненасытной,
небытия невнятных языков?...

1978

* * *

Эти слава и цветы —
дань талантищу.
Любят голос твой, но ты —
всем до лампочки.

Пара падает в траву,
сломав лавочку,
под мелодию твою...
Ты им до лампочки.

Друг на исповедь пришёл,
пополам почти.
Ну а что с твоей душой —
ему до лампочки.

Муза в местной простыне
ждёт лавандово
твой автограф на спине.
Ты ей до лампочки.

Телефонит пол-Руси,
клубы, лабухи —
хоть бы кто-нибудь спросил:
«Как ты, лапочка?»

Лишь врагу в тоске ножа,
в страстной срочности,
голова твоя нужна,
а не творчество.

Но искусство есть комедь,
смысл Ламанческий.
Прежде, чем перегореть —
ярче лампочка!

ЗВЕЗДА НАД МИХАЙЛОВСКИМ

Поэт не имеет опалы,

спокоен к награде любой.
Звезда не имеет оправы
ни чёрной, ни золотой.

Звезду не убить каменюгами,
ни точным прицелом наград.
Он примет удар камер-юнкерства,
посетует, что маловат.

Важны ни хула или слава,
а есть в нём музыка иль нет.
Опальны земные державы,
когда отвернётся поэт.

1978

ЧЁРНАЯ БЕРЁЗА

Лягу навзничь – или это нервы?
От земного сильного огня
тень моя, отброшенная в небо,
наклонившись, смотрит на меня.

Молодая чёрная берёза!
Видно, в Новой Англии росла.
И её излюбленная поза —
наклоняться и глядеть в глаза.

Холмам Нового Иерусалима
холмы Новой Англии близки.
Белыми церковками над ними
память завязала узелки.

В чёрную берёзовую рощу
заходил я ровно год назад
и с одной, отбившейся от прочих,
говорил – и вот вам результат.

Что сказал? «Небесная бесовка,
вам привет от северных сестёр...»
Но она спокойно и бессонно,
не ответив, надо мной растёт.

1979

ИМЕНА

Да какой же ты русский,
раз не любишь стихи?!
Тебе люди – гнилушки,
а они – светляки.

Да какой же ты узкий,
если сердцем не брат
каждой песне нерусской,
где глаголы болят...

Неужели с пелёнок
не бывал ты влюблён
в родословный рифмовник
отчеств после имён?

Словно вздох миллионный
повенчал имена:
Марья Илларионовна,
Злата Юрьевна.

Ты, робея, окликнешь
из имён времена,
словно вызовешь Китеж
из глубин Ильменя.

Словно горе с надеждой
позовёт из окна
колокольно-нездешне:
Ольга Игоревна.

Эти святцы-поэмы
вслух слагала родня,
словно жемчуг семейный
завещав в имена.

Что за музыка стона
отразила судьбу:
и семью, и историю
вывозить на горбу?

Словно в анестезии
от хрустального сна
имя – Анастасия
Николаевна...

1979

НЕВЕЗУХА

Друг мой, настала пора невезения,
глядь, невезуха,
за занавесками бумазейными —
глухо.

Были бы битвы, злобные гении,
был бы Везувий —
нет, вазелинное невезение,
шваль, невезуха.

На стадионах губит горячка,
губят фальстарты —
не ожидать же год на карачках,
сам себе статуя.

Видно, эпоха чёрного юмора,
серого эха.
Не обижаюсь. И не подумаю.
Дохну от смеха.

Ходит по дому моё невезение,
в патлах, по стенке.
Ну полетала бы, что ли, на венике,
вытаращив зенки!

Кто же обидел тебя, невезение,
что ты из смирной,
бросив людские углы и семейные,
стала всемирной?

Что за такая в сердце разруха,
мстящая людям?
Я не покину тебя, невезуха.
В людях побудем.

Вдруг, я увижу, как ты красива!
Как ты взглянула,
косу завязывая резинкой
вместо микстуры...

Как хорошо среди благополучных!
Только там тесно.
Как хороши у людей невезучих
тихие песни!

1979

* * *

Соскучился. Как я соскучился
по сбивчивым твоим рассказам.
Какая наша жизнь лоскутная!
Сбежимся – разбежимся сразу.

В дни, когда мы с тобой развёрстаны,
как крестик ставит заключённый,
я над стихами ставлю звёздочки —
скоро не хватит небосклона!

Ты называешь их коньячными...
Они же – попаданий скученность
по нам палящих автоматчиков.
Шмаляют так – что не соскучишься!

Но больше я всего соскучился
по краю глаза, где смешливо
твой свет проглядывает лучиком
в незагоревшую морщинку.

1979

* * *

Я снова в детстве погостил,
где разорённый монастырь
стоит, как вскинутый костыль.

Мы знали, как живёт змея
и пионервожатая —
лесные бесы бытия!

Мы лакомством считали жмых,
гранаты крали для шутих,
носами шмыг – и в пруд бултых!.

И ловит новая орда
мою монетку из пруда,
чтоб не вернуться мне сюда.

1979

ТАРКОВСКИЙ НА ВОРОТАХ

Стоит белый свитер в воротах.
Тринадцатилетний Андрей.
Бей, урка дворовый,
бутцей ворованной,
по белому свитеру
бей —

по интеллигентской породе!

В одни ворота игра.
За то, что напаялся белой вороной
в мазутную грязь двора.

Бей белые свитера!

Мазила!
За то, что мазила, бей!
Пускай простирает Джульетта Мазина.
Сдай свитер в абстрактный музей.

Бей, детство двора,
за домашнюю рвотину,
что с детства твой свет погорел,
за то, что ты знаешь
широкую родину
по ласкам блатных лагерей.

Бей щёткой, бей пыром,
бей хором, бей миром
всех «хоров» и «отлов» — зубрил,
бей по непонятному ориентиру.
Не гол — человека забил,
за то, что дороги в стране развезло,
что в пьяном зачат грехе,
что, мяч ожидая,
вратарь назло
стоит к тебе буквой «х».
С великою темью смешон поединок.
Но белое пятнышко,
муть,
бросается в ноги,
с усталых ботинок
всю грязь принимая на грудь.

Передо мной блеснуло азартной фиксой

потное лицо Шки. Дело шло к финалу.

Подошвы двор вытер о белый свитер.
– Андрюха! Борьба за тебя.
– Ты был к нам жестокий,
не стал шестёркой,
не дал нам забить себя.

Да вы же убьёте его, суки!

Темнеет, темнеет окрест.
И бывшие белые ноги и руки
летят, как Андреевский крест.

*Да они и правда убьют его! Я переглянулся
с корешом – тот понимает меня,
и мы выбиваем мяч на проезжую
часть переулка, под грузовики. Мячик
испускает дух. Совсем стемнело.*

Когда уходил он,
зажавши кашель,
двор понял, какой он больной.
Он шёл,
обернувшись к темени нашей
незапятнанной белой спиной.

...

Андрюша, в Париже
ты вспомнишь ту жижу
в поспешной могиле чужой.
Ты вспомнишь не урок —
Щипок-переулок.
А вдруг прилетишь домой?

Прости, если поздно. Лежи, если рано.
Не знаем твоих тревог.
Пока ж над страной трепещут экраны,
как распятый твой свитерок.

1979

МОНОЛОГ ВЕКА

Приближается век мой к закату —
ваш, мои отрицатели, век.
На стол карты!
У вас века другого нет.

Пока думали очевидцы:
принимать его или как? —
век мой, в сущности, осуществился
и стоит, как кирпич, в веках.

Называйте его уродливым.
Шлите жалобы на Творца.
На дворе двадцатые годы —
не с начала, так от конца.

Историческая симметрия.
Свет рассветный – закатный снег.
Человечья доля смиренная —
быть как век.

Помню, вышел сквозь лёт утиный
инженера русского сын
из Ворот Золотых Владимира.
Посмотрите, что стало с ним.

Бейте века во мне пороки,
как за горести бытия
дикари дубасили Бога.
Специален Бог для битья.

Века Пушкина и Пуччини
мой не старше и не новей.
Согласитесь, при Кампучии —
мучительней соловей.

В схватке века с активной теменью
каков век, таков и поэт.
Любимые современники,
у вас века другого нет...

...Изучать будут век мой в школах,
пока будет земля землёй,
я не знаю, конечно, сколько,
но одно понимаю – мой.

1979

СВЕТ ДРУГА

Я друга жду. Ворота отворил,
зажёл фонарь под скосами перил.

Я друга жду. Глухие времена.
Жизнь ожиданием озарена.

Он жмёт по окружной как на пожар,
как я в его невзгоды приезжал.

Приедет. Над сараями сосна
заранее освещена.

Бежит, фосфоресцируя, кобель.
Ты друг? Но у тебя – своих скорбей...

Чужие фары сгрудят темноту —
я друга жду.

Сказал – приедет после девяти.
По всей округе смотрят детектив.

Зайдёт вражда. Я выгоню вражду —
я друга жду.

Проходят годы – Германа всё нет.
Из всей природы вырубают свет.

Увидимся в раю или аду.
Я друга жду, всю жизнь я друга жду!

Сказал – приедет после девяти.
Судьба, обереги его в пути.

1979

МУЛАТКА

Рыдайте, кабацкие скрипки и арфы,
над чёрною астрой с причёскою «афро»,
что в баре уснула, повиснув на друге,
и стало ей плохо на все его брюки.

Он нёс её, спящую, в туалеты.
Он думал: «Нет твари отравнее этой!»
На кафеле корчилось и темнело
налитое сном виноградное тело.

«О, освободись!.. Я стою на коленях,
целую плечо твоё в мокром батисте.
Отдай мне своё естество откровенно,
освободись же, освободись же,

от яви, что мутит, от тайны, что мучит,
от музыки, рвущейся сверху бесстыже,
от жизни, промчавшейся и неминучей,
освободись же, освободись же,

освободись, непробудная женщина,
тебя омываю, как детство и роды,
ты, может, единственное естественное —
поstupок свободы и воды заботы,

в колечках причёски вода западает,
как в чёрных оправках напрасные линзы,
подарок мой лишний, напрасный подарок,
освободись же, освободись же,

освободи мои годы от скверны,
что пострашней, чем животная жижа
в клоаке подземной, спящей царевной,
освободи же, освободи же...»

Несло разговорами пошлыми с лестницы.
И не было тела светлей и роднее,
чем эта под кран наклонённая шея
с прилипшим мерцающим полумесяцем.

1979

* * *

Я так считаю. А кто не смыслит —
ходи в читальню.
Есть у поэзии и эта миссия,
я так считаю.

1979

* * *

На соловья не шлют доносов скворки,
у них не яд, а песня на устах.
Мне жаль тебя, завистник-стихотворец,
слабак в стихах, ты злобствуешь в статьях.

1979

БЕЗОТЧЁТНОЕ

Изменяйте дьяволу, изменяйте чёрту,
но не изменяйте чувству безотчётному!

Есть в душе у каждого, не всегда отчётливо,
тайное отечество безотчётное.

Женщина замешана в нем темноочёвая,
ты – моё отечество безотчётное!

Гуси ль быстротечные вытянут отточие —
это безотчётное, это безотчётное,

осень ли настояща на лесной рябине,
женщины ль постукают чётками грибными,

иль перо обронит птица неучёная —
как письмо в отечество безотчётное...

Шинами обуетесь, мантией почётною —
только не обучитесь безотчётному.

Без него вы маетесь, точно безотцовщина,
значит, начинается безотчётное.

Это безотчётное, безотчётное
над рискованной пропастью вам пройти нащёптывает.

Когда черти с хохотом вас подвешат за ноги,
«Что ещё вам хочется?» – спросят вас под занавес.

«Дайте света белого, дайте хлеба чёрного
и ещё отечество безотчётное!»

1979

* * *

Я обожаю воздух сосновый!
Сентиментальности – от лукавого.
Вдохните разлуку в себя до озноба,
до иглоукальзыванья. До иглоукальзыванья.

Вденьте по ветке в каждую иголку,
в каждую ветку вденьте по дереву,

в каждое дерево родину вденьте —
и вы поймёте, почему так колко.

1979

РЕЧЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ДОКТОРСКОЙ МАНТИИ В ОБЕРЛИНЕ

Политики повязаны.
Фрейд стар.
Истина – в поэзии,
Фред Старр!

Что мне делать с мантией?
Чай не царский сан.
Может быть, натянете
на дельтаплан?

Может, покатаемся
натошак,
как Мефисто с Фаустом
на плащах?

Чтобы люди обмерли
из долин —
Оберлин, Оберлин,
Оберлин...

Что это написано
in the sky?
«We must love each other
or die».

Это Оден, вычеркнув,
написал
птичками-кавычками
в небесах.

Как ты не сорвался,
Фред Старр?
Как ты не взорвался,
наш шар?

Но пока не пробило,
мы парим —
Оберлин, Оберлин,
Оберлин...

1979

* * *

Будто дверью ошибся,
пахнет розой и «Шипкой»,
будто жизнью ошибся во тьме —
будто ты получил свиданье,
предназначенное не тебе.

Ни за что – это время
и репей на коленке,
вниз сбегающей по тропе, —
удивлённое благодаренье,
предназначенное не тебе.

Благодать без понятия
или камня проклятье,
промахнувшееся в слепоте?
Задушили тебя в объятьях,
предназначенных не тебе.

Эти залы с цветами,
вся Россия за вами
и разбитая песнь на губе —
заповеднейшее свиданье,
предназначенное не тебе.

Отпираться наивно.
Есть, наверное, лифты,
чтоб не лезть на балкон по трубе.
Прости, Господи, за молитвы,
предназначенные не тебе.

1979

* * *

На спинку божия коровка
легла с коричневым брюшком,
как чашка красная в горошек,
налита стынувшим чайком.

Предсмертно или понарошке?

Но к небу, точно пар от чая,
душа её бежит отчаянно.

1970

Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ *Восьмидесятые*

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО

Не называйте его бардом.
Он был поэтом по природе.
Меньшого потеряли брата —
всенародного Володю.

Остались улицы Высоцкого,
осталось племя в «levi straus»,
от Чёрного и до Охотского
страна неспетая осталась.

Вокруг тебя за свежим дёрном
растёт толпа вечноживая.
Ты так хотел, чтоб не актёром —
чтобы поэтом называли.

Правее входа на Ваганьково
могила вырыта вакантная.
Покрыла Гамлета таганского
землёй есенинской лопата.

Дождь тушит свечи восковые...
Всё, что осталось от Высоцкого,
магнитофонной расфасовкою
уносят, как бинты живые.

Ты жил, играл и пел с усмешкою,
любовь российская и рана.
Ты в чёрной рамке не уместишься.
Тесны тебе людские рамки.

С какою страшной перегрузкой
ты пел Хлопушу и Шекспира —
ты говорил о нашем, русском,
так, что щемило и щепило!

Писцы останутся писцами
в бумагах тленных и мелованных.
Певцы останутся певцами
в народном вздохе миллионном...

1980

МОНАХИНЯ МОРЯ

Я вижу тебя в полдень
меж яблоков печёных,
а утром пробегу —
монахиною моря в мохнатом капюшоне
стоишь на берегу.

Ты страстно, как молитвы,
читаешь километры.
Твой треугольный кроль
бескрайнюю разлуку молотит, как котлеты,
но не смиряет кровь.

Напрасно удлиняешь
голодные дистанции.
Желание растёт.
Как море ни имеешь — его всё недостаточно.
О, спорт! ты — чёрт...

Когда швыряет буря ящики
с шампанским серебряноголовые
— как кулачок под дых,
голая монахиня бесшабашная,
бросаешься под них!

Бледнея под загаром,
ты выйдешь из каскадов.
Потом кому-то скажешь,
вернувшись в города:

«Кого любила?... Море...»
И всё ему расскажешь.
За время поцелуя
отрастает борода.

1980

АННАБЕЛ ЛИ

На мотив Г. Грасса

Я подбираю палую вишню,
падшую Аннабел Ли.
Как ты лежала в листьях подгнивших,

в мухах-синюхах,
скотиной занюхана,
лишняя Аннабел Ли!

Лирика сдохла в пыли.
Не понимаю, как мы могли
пять поколений искать на коленях,
не понимая, что околели
вишни и Аннабел Ли?!

Утром найду, вскрыв петуший желудок,
личико Аннабел Ли.
Как ты лежала чутко и жутко
вместе с личинками, насекомыми,
с просом, заглотанным медальоном,
непереваренная мадонна,
падшая Аннабел Ли!

Шутка ли это? В глазах моих жухлых
от анальгина нули.
Мне надоело круглые сутки, —
жизни прошли! —
в книгах искать, в каннибальских желудках
личико Аннабел Ли.

1980

* * *

Проглядев Есенина, упустивши Пушкина,
думаю, что люди создать должны
«Общество охраны памятников будущего»
параллельно с Обществом старины.

1980

* * *

Ни в паству не гожусь, ни в пастухи,
другие пусть пасут или пасутся.
Я лучше напишу тебе стихи.
Они спасут тебя.

Из Мцхеты прилечу или с Тикси
на сутки, но какие сутки!
Все сутки ты одета лишь в стихи.
Они спасут тебя.

Ты вся стихи – как ты ни поступи —
зачитанная до бесчувствия.
Ради стихов рождаются стихи.
Хоть мы не за искусство для искусства!

1980

ДОЗОРНЫЙ ПЕРЕД ПОЛЕМ КУЛИКОВЫМ

Один в поле воин.
Раз нету второго,
не вижу причины откладывать бой.
Единственной жизнью
прикрыта дорога.
Единственной спичкой гремит коробок.
Один в поле воин. Один в небе Бог.

Вас нет со мной рядом,
дозорных отряда.
Убиты. Отправились в вечный покой.
Две звёздочки сверху
поставите свечкой
тому, кто остался доигрывать бой.

Дай смерти и воли,
волшебное поле.
Я в арифметике не силён.
Не красть вам Россию,
блатные батыи.
И имя вам – свора, а не легион.

И слева, и справа
удары оравы.
Я был одинок среди стужи ночной,
Удары ретивы —
теплей в коллективе!
И нет перспективы мне выиграть бой.

Нет Сергея Радонежского с тобою,
грехи отпустить
и тоску остудить.
Один в поле воин, но если есть поле,
то, значит, вас двое —
и ты не один.

Так русский писатель – полтыщи лет после,
всей грязи назло —

попросит развеять его в чистом поле
за то, что его в сорок первом спасло.

За мною останется поле великое
и тысячелетия побед и невзгод.
Счастливым моим, перерезанным криком
зову тебя, поле!
Поле придёт.

1980

РЕЧЬ

Смертны камень, и воздух,
и феномен человека.
Только текучий памятник
нельзя разложить и сжечь.
Не в пресловутую Лету —
впадаем, как будто в реку, —
в Речь.

Речь моя,
любовница и соплеменница,
какое у тебя протяжное
московское «а»!

Дай мне
стать единицей
твоего пространства и времени —
от Таганки
до песни,
где утонула княжна.

С этого «а»
начинается жизнь моя и тихий амок.
Мы живём в городе
под названьем «Молва».
Сколько в песне
утоплено персиянок!..
«а-а-а»...

С твоим «а» на губах
между нынешними акулами
я проплываю брассом
твою тёмную течь.
Дай мне
достоять от полуночи до Аввакума,
Речь!

Родился я в городе,
под которым Неглинка льётся.
Я с детства слушал
подземный хор,
где подавал мне реплику суфлёр —
из люка
канализационного колодца.

Избегаю понятия «литература»,
но за дар твоей речи
отдал голову с плеч.
Я кому-то придурок,
но почувствовал шкурой,
как двадцатый мой век
на глазах
превращается
в Речь.

Его тёмное слово,
пока лирики телятся,
я сказал по разуму своему
на языке сегодняшней
русской интеллигенции,
перед тем как вечностью
стать ему.

И ни меч, ни червь
не достанут впадающих в Лету,
тех, кто смог твоим «а»,
словно яблочком,
губы обжечь.
Благодарю, что случился
твоим кратким поэтом,
моя русская Речь!

1980

* * *

Был бы я крестным ходом,
я от каждого храма
по городу ежегодно
нёс бы пустую раму.

И вызывали б слёзы,
и попадали б в раму
то святая берёза,

то реки панорама.

Вбегала бы в позолоту
женщина, со свиданья
опаздывающая на работу,
не знающая, что святая.

Левая сторона улицы
видела бы святую правую.
А та, в золотой оправе,
глядя на неё, плакала бы.

1980

ПЕРЕЕЗД

Поднял глаза я в поисках истины,
пережидая составы товарные.
Поперёк неба было написано:
«Не оставляй меня».

Я оглянулся на леса залысины —
что за привычка эпистолярная?
«Не оставляй меня», — было написано
на встречных лицах. «Не оставляй меня».

«Не оставляй», — из окошек лабали.
Как край полосатый авиаоткрытки,
мелко дрожал слабоумный шлагбаум:
«Не оставляй...» Было всё перекрыто.

Я узнаю твою руку заранее.
Я побежал за вагонным вихлянием.
Мимо платформы «Не оставляй меня»
плыли составы «Не оставляй меня».

МИЛЛИОН РОЗ

Жил-был художник один,
домик имел и холсты.
Но он актрису любил,
ту, что любила цветы.

Он тогда продал свой дом —
продал картины и кров, —
и на все деньги купил

целое море цветов.

Миллион, миллион, миллион алых роз
из окна видишь ты.
Кто влюблѐн, кто влюблѐн, кто влюблѐн – и всерьѐз! —
свою жизнь для тебя превратит в цветы.

Утром встаёшь у окна —
может, сошла ты с ума?
Как продолжение сна
площадь цветами полна.

Похолодеет душа —
что за богач там чудит?
А за окном без гроша
бедный художник стоит.

Встреча была коротка.
В ночь её поезд увѐз.
Но в её жизни была
песня безумная роз.

Прожил художник один.
Много он бед перенѐс.
Но в его жизни была
целая площадь из роз.

1981

УСТЬЕ ПРЕДЧУВСТВИЙ

1

Где я последние дни ни присутствую,
по захолустьям жизни забитой, —
будто находишься в устье предчувствий,
переходящем в море событий.

Всё, что оплакал, сбывается бедственно.
Ночью привидится с другом разлука.
Чувство имеет обратное действие.
Утром приедешь – нет его, друга.

Утро приходит за кукареканьем.
О, не летайте тем самолѐтом!
Будто сначала пишется реквием,
а уж потом всё идѐт как по нотам.

Все мои споры ложатся на решку.
Думать – опасно.
Только подумаю, что ты порежешься, —
боже! – вбежала с порезанным пальцем.

Ладно, когда б это было предвиденьем.
Самая мысль вызывает крушение.
Только не думайте перед вылетом!
Не сомневайтесь в друге душевном!

Не сомневайтесь, не сомневайтесь
в самой последней собаке на свете.
Чувством верните её из невнятиц —
чтоб не увидеть ногтей синеватых —
верьте...

2

Шёл я вдоль русла какой-то речушки,
грустью гонимый. Когда же очухался,
время стемнело. Слышались листья:
«Мы – мысли!»
Пар подымался с притока речушки:
«Мы – чувства!»

Я заблудился, что было прискорбно.
Степь начиналась. Идти стало трудно.
Суслик выглядывал перископом
силы подземной и непробудной.

Вышел я к морю. И было то море
как повторенье гравюры забытой —
фантасмагория на любителя! —
волны людей были гроздьями горя,
в хоре утопших, утопий и мора
город порхал электрической молью,
трупы истории, как от слабительного,
смыло простором любви и укора.
море моею питалось рекою.
Чувство предшествовало событию.

Круглое море на реку надето,
будто на ствол крона шумного лета,
или на руку боксёра перчатка,
или на флейту Моцарт печальный,
или на душу тела личина, —

чувство являлось первопричиной.

«Друг, мы находимся в устье с тобою,
в устье предчувствий —
там, где речная сольётся с морскою,
выпей из устья!

Видишь, монетки в небе мигают.
Звёзды зовутся.
Эти монетки бросил Гагарин,
чтобы обратно в небо вернуться...»

Что это было? Мираж над пучиной?
Или замкнулся с душой мировой?
Что за собачья эта кручина —
чують, вернее, являться причиной?...
И окружающим мука со мною.

1980

ИНСТРУКЦИЯ

Во время информационного взрыва,
если вы живы,
что редко, —
накрывайтесь «Вечёркой» или районным
«Призывом»
и не думайте о тарелках.

Во время информационного взрыва
нет пива,
нет рыбы, есть очередь за чтивом.
Мозги от чёрного детектива
усыхают, как черносливы.

Контуженные информационным взрывом,
мужчины становятся игривы и вольнолюбивы,
суждены им благие порывы,
но
свершить ничего не дано,
они играют в подъездах трио,
уходят в домино
или кассетное кино.

Сфинкс, реши-ка наши кроссворды!
Человечество утроилось.
Информированные красотки
перешли на запоминающее устройство.

Музыкальные браконьеры
преодолевают звуковые барьеры.
Многие трупы
записываются в тургруппы.

Информационные графоманы
пишут, что диверсант Румянов,
имя скрыв,
в разных городах путём обманов
подготавливает демографический взрыв.

Симптомы:
тяга к ведьмам, спиритам и спиртному.

Выделяется колоссальная духовная энергия,
вызывают дух отца Сергия.
Над Онегою
ведьмы в очереди зубоскалят:
почему женщин не берут на «Скайлэб»?

Астронавт NN к полёту готов,
и готов к полёту спирит Петров.

Как прекрасно лететь над полем
в инфракрасном плаще с подбоем!

Вызывает следователь МУРа
дух бухгалтера убиенного.
Тот после допроса хмуро
возвращается в огненную геенну.

Над трудящимися Севера
писательница, тепло встреченная,
тарыхтит, как пустая сеялка
разумного, доброго, вечного...

Умирает век – выделяется его биополе.
Умирает материя – выделяется дух.
Над людьми проступают идея и воля.
Лебединою песней летит тополиный пух.

Я, один из преступных прародителей
информационного взрыва,
вызвавший его на себя,
погибший от правды его и кривды,
думаю останками лба:

мы сами сажали познания яблони,

кошунственные неомичурины.
Нам хотелось правды от Бога и дьявола!
Неужто мы обмишурились?

Взрыв виновен, и, стало быть, мы виновны, —
извините издержки наших драк.
Но в прорывы бума вошёл феномен —
миллионные Цветаева и Пастернак.

Что даст это дерево взрыва,
привитое в наши дни
к антоновскому наиву
читающей самой страны?

Озёрной, интуитивной,
конкретной до откровенья...
Голову ампутуйте,
чтоб в душу не шла гангрена.

Подайте калеке духовной войны!
Сломанные судьбы – издержки игр.
Мы с тобой погибли от информационной войны.
Информационный взрыв – бумажный тигр.

...Как тихо после взрыва! Как вам здорово!
Какая без меня вам будет тишина...
Но свободно залетевшее
иррациональное зёрнышко
взойдёт в душе озёрного пацана.

И всё будет оправдано этими очами —
наших дней запутавшийся клубок.
В начале было Слово. Он всё начнёт сначала.
Согласно информации, слово – Бог.

1981

* * *

– Вы читали? – задавили Челентано!
– Вы читали, на эстраде шарлатаны?
– Вы читали, в президенты кого выбрали?
– Не иначе это Джуна. Чую фибрами.
– В одной школьнице во время медосмотра
обнаружили Людовика Четвёртого!
Начиталась. Наглоталась эпохально...
– Вы читали? – биополе распахали.
– Если хочется вам криночку коровьего,

о нём можно прочитать у Григоровича.
– Мы до дырок Окуджаву зачитали.
Вы видали? Шёл потёртый... Мы в печали.
– Вы считали, с кем жила Анна Андреевна?
– А с кем не жил Александр Блок, считали?
– Вы считаете Москву большой деревней?
– Нет. Но я люблю её, избу-читальню.

1981

ВОЗДУШНЫЕ ЛЫЖИ

Я водные лыжи почти ненавижу,
когда надеваю воздушные лыжи.

Полжизни вложил я в воздушные лыжи,
полнеба за трос вырывая двужильно.
Мои провозвестники кончили грыжей,
воздушные лыжи со мною дружили.

Ты плаваешь слабо, мой гибкий товарищ,
ты воздух хватаешь, как водная лилия.
На водные доски тебя не поставишь.
Я ставлю тебя на воздушные лыжи.

Не ешь до звезды. И питайся любовью,
сдирая лодыжки о воздух и крыши.
Семья тебя кроет спириткой бесстыжей
за то, что познала воздушные лыжи.

Пойми, что энергия – та же материя.
Ладонка твоя щурит свет Моны Лизы.
Но только одна не катайся. Смертельно!
Когда я уснул, ты взяла мои лыжи.

Я видел тебя над Парижем и Вяткой.
Прощай! Я живую тебя не увижу.
Лишь всплыли на небе пустом необъятно,
как стрелки часов, две скрещённые лыжи.

Моё преступление ужасно. Я спятил.
Ты же —
жива. Ты по небу катаешь на пятке.
Зачем ты сломала воздушные лыжи?

1981

ТРУБАДУРЫ

Пусть наше дело давно труба,
пускай прошли вы по нашим трупам,
пускай вы живы, нас истребя,
вы были – трупы, мы были – трубы!

Средь исторической немоты
какой божественною остудой
в нас прорыдала труба Судьбы!
Вы были – трусы, мы были – трубы.

Вы стены строили от нас затем,
что ваши женщины от нас в отрубе,
но проходили мы сквозь толщу стен,
на то и трубы!

Пока будили мы тишину,
подкрались нежные душегубы,
мы лишь успели стряхнуть слюну...
Живые трупы. Мёртвые трубы.

Мы трубадуры от слова «дуры».
Вы были правы, нас растоптавши.
Вы заселили все кубатуры.
Пространство – ваше. Но время – наше.

Разве признаетесь вы себе
в звуконепроницаемых срубках,
что вы завидуете трубе?
Живите, трупы. Зовите, трубы!

1981

ПОДПИСКА

Подписываюсь на Избранного
читателя.
Подписываюсь на исповедь
мыслителя из Чертанова.

Подпишите меня на Избранного,
властителя дум.
Я от товарища Визбора!
Читательский бум.

Кассеты рынок заполнили.
Сквозь авторов не протиснуться.
Подписывают на Полного,
на Избранного не подписывают.

Подписывают на двухтомную
любительницу в переплёте,
в её эпопеях утонете,
но до утра не прочтёте.

Подписывают на лауреата премии
за прочтение неогения.

Подписывают на обои,
где краской тома оттиснуты.
Весь город стоит за Тобою.
Я отдал жизнь за подписку.

Подпишите меня на русскую
дорогу, что мною избрана!
Подписываюсь в нагрузку
на двух спекулянтов избами.

Подписываюсь без лимита
на народ, что живёт и мыслит,
за Осипа, Велимира,
Владимира и Бориса.

Подпишите меня на повести,
слушаемые ночами,
что с полок общего поезда,
как закладки, висят ступнями.

На судьбы без переплёта —
бакенщика в Перемышле,
чьи следы не перепьёте,
но сердцем всё перепишите.

Подпишите на запрещённого
педсоветом юнца-читателя,
кто в белом не видит чёрного,
но радугу – обязательно.

На технаря сумасшедшего,
что на печать не плачется,
пишет стихи на манжетах
и отдаёт их в прачечную.

Читательницы недогматки!

С авоськой у рынка Центрального!
Невыплаканные Ахматовы,
тайные мои Цветаевы.

Решительные мужчины —
отнюдь не ахматовцы —
мыслящие немашины.
Спасут вас – и отхохмятся.

Валентина Александровна Невская,
читчица Первой образцовой!
Румянец ваш москворецкий
станет совсем пунцовым.

Над этой строкой замешкаетесь,
своё имя прочтя в гарнитуре.
Без Валентины Невской
нет русской литературы.

Над Вами Есенин в рамке.
Он читчик был Образцовой!
Стол Ваш выложен гранками,
словно печь изразцовая.

Стихи въелись в пальцы резко.
Литературу не делают в перчатках.
Читайте книги Невской,
княгини книгопечатанья!

Германия сильна Лютером.
Двадцатые годы – Татлиным.
Штаты сильны компьютером.
Россия – читателем.

Он разум и совесть будит.
Кассеты наладили.
В будущем книг не будет.
Но будут читатели.

1982

В ТОПОЛЯХ

Эти встречи второпях,
этот шёпот торопливый,
этот ветер в тополях —
хлопья спальни тополиной!

Торопитесь опоздать
на последний рейс набитый.
Торопитесь обожать!
Торопитесь, торопитесь!

Торопитесь опоздать
к точным глупостям науки,
торопитесь опознать
эти речи, эти руки.

Торопитесь опоздать,
пока живы – опоздайте.
Торопитесь дать под зад
неотложным вашим датам...

Господи, дай опоздать
к ежедневному набору,
ко всему, чья ипостась
не является тобою!..

Эти шавки в воротах.
Фары вспыхнувшим рапидом.
У шофёра – второй парк.
Ты успела? Торопитесь...

1982

* * *

Ты мне никогда не снишься.
Живу Тобой наяву.
Снится всё остальное.
И это дурные сны.

Спишь на подушке ситчика.
Вся загорела слишком.
Дышит, как чайное ситечко,
выбритая подмышка.

Набережная Софийская!
Двери балконной скрип.
Медвяная метафизика
пахнущих Тобой лип.

1982

РЕДКИЕ КРАЖИ

Обнаглели духовные громилы!
На фургон с Цветаевой совершён налёт.
Дали кляп шоферу —
чтоб не декламировал.
Драгоценным рифмам настанёт черёд.

Значит, наступают времена Петрарки,
когда в масках грабящие мужи
кареты перетряхивали
за стихов тетрадки,
Масскультурники вынули ножи.

Значит, настало время воспеть Лауру
и ждать,
что придёт в пурпурном
подводном шлеме Дант.
У бандитов тоже есть дни культуры.
Угнал вагон Высоцкого какой-то дебютант.

Запирайте тиражи,
скоро будут грабежи!..

«Граждане,
давайте воровать и спекулировать,
и из нас появится Франсуа Вийон!
Он издаст трагичную «Избранную лирику».
Мы её сворует и боданём.

Одному поэту проломили череп,
вытащили песни лесных полян,
и его застенчивый щегловый щебет
гонит беззастенчивый спекулянт.

А другой сам продал голос свой таранный.
Он теперь без голоса – лишь хлюп из гланд.
Спекулянт бывает порой талантлив.
Но талант не может быть спекулянт.

Но если быть серьёзным – Время ждёт таланта.
Пригубляйте чашу с молодым вином.
Тьма аквалангистов, но нету Данта.
Кое-кто ворует —
но где Вийон?

1982

КУЗНЕЧИК

М. Чаклайсу

Сыграй, кузнечик, сыграни,
мой акустический кузнечик,
и в этих музыках вкуснейших
луга и август сохрани.

Сыграй лесную синеву,
органы лиелупских сосен
и счастье женщины несносной,
которым только и живу.

Как сладостно обнявшись спать!
А за окошком долго-долго
в колках древесных и восторгах
заводит музыку скрипач...

Сыграй зелёный меломан.
Роман наш оркестрован грустью,
не музыкальная игрушка,
но тоже страшно поломать.

И нам, когда мы будем врозь,
дрожа углами ног нездешних,
приснится крохотный кузнечик —
как с самолёта Крымский мост.

Сыграй, кузнечик, сыграни...
Ведь жизнь твоя ещё короче,
чем жизни музыкантов прочих,
хоть и не вечные они.

ШЕКСПИРОВСКИЙ СОНЕТ

*Зову я смерть. Мне видеть невтерпёж...
Да жаль тебя покинуть, милый друг.*

Перевод С. Маршака

Охота сдохнуть, глядя на эпоху,
в которой честен только выпивоха,
когда земля растащена по крохам,
охота сдохнуть, прежде чем все сдохнут.

Охота сдохнуть, слыша пустобрёха.
Мораль читают выпускницы Сохо.
В невинность хам погрузится по локоть,
хохочет накопительская похоть,
от этих рыл – увидите одно хоть —
охота сдохнуть...
Да, друга бросить среди этих тварищ —
не по-товарищески.

*Давно бы сдох я в стиле «де-воляй»
но страсть к тебе с убийствами
в контрасте.
Я повторяю: «Страсти доверяй»,
trust – страсти!
Да здравствует от этого пропасть!*

*Все за любовь отчитывать горазды,
конечно, это пагубная страсть —
trust – страсти!
Власть упадёт. Продаст корысть ума.
Изменят форму транспортные трассы.
Траст-страсти, ты не покидай меня —
траст-страсти!*

1983

СОН

Я шёл вдоль берега Оби,
я селезню шёл параллельно.
Я шёл вдоль берега любви,
и вслед деревни мне ревели.

И параллельно плачу рек,
лишённых лаянья собачьего,
финально шёл XX век,
крестами ставни заколачивая.

И в городах, и в хуторах
стояли Инги и Устины,
их жизни, словно вурдалак,
слепая высосет пустыня.

Кричала рыба из глубин:
«Возьми детей моих в котомку,
но только реку не губи!
Оставь хоть струйку для потомства».

Я шёл меж сосен голубых,
фотографируя их лица, —
как жертву, прежде чем убить,
фотографирует убийца.

Стояли русские леса,
чуть-чуть подрагивая телом.
Они глядели мне в глаза,
как человек перед расстрелом.

Дубы глядели на закат.
Ни Микеланджело, ни Фидий,
никто их краше не создаст.
Никто их больше не увидит.

«Окстись, убийец-человек!» —
кричали мне, кто были живы.
Через мгновение их всех
погубят ядерные взрывы.

«Окстись, палач зверей и птиц,
развившаяся обезьяна!
Природы гениальный смысл
уничтожаешь ты бездарно».

И я не мог найти Тебя
среди абсурдного пространства,
и я не мог найти себя,
не находил, как ни старался.

Я понял, что не будет лет,
не будет века двадцать первого,
что времени отныне нет.
Оно на полуслове прервано...

Земля пустела, как орех.
И кто-то в небе пел про это:
«Червь, человечек, короед,
какую ты сожрал планету!»

...Потом мне снился тот порог,
где, чтоб прикончить Землю скопом,
как в преисподнюю звонок,
дрожала крохотная кнопка.

Мне не было пути назад.
Вошёл я злобно и неробко —
вместо того чтобы нажать,
я вырвал с проводами кнопку!

1983

МАТЬ

Я отменил материнские похороны.
Не воскресить тебя в эту эпоху.

Мама, прости эти сборы повторные.
Снегом осело, что было лицом.
Я тебя отнял у крематория
и положу тебя рядом с отцом.

Падают страшные комья весенние
Новодевичьего монастыря.
Спят Вознесенский и Вознесенская —
жизнью пронизанная земля.

То, что к тебе прикасалось, отныне
стало святыней.
В сквере скамейки, Ордынка за ними
стали святыней.

Стал над берёзой екатерининской
свет материнский.

Что ты прошла на земле Антонина?
По уши в ландыши влюблена,
интеллигентка в косынке Рабкрина
и ермоловская спина!

В скрежет зубовный индустрий и примусов,
в мире, замешанном на крови,
ты была чистой любовью, без примеси,
лоб-одуванчик, полный любви.

Ты – незамеченная Россия,
ты охраняла очаг и порог,
беды и волосы молодые,
как в кулачок, зажимая в пучок.

Как ты там сможешь, как же ты сможешь
там без родни?
Носик смешливо больше не сморщишь
и никогда не поправишь мне воротник.

Будешь ночами будить анонимно.
Сам распахнётся ахматовский томик.

Что тебя мучает, Антонина,
Тоня?

В дождь ты стучишься. Ты не простудишься.
Я ощущаю присутствие в доме.
В тёмных стихиях ты наша заступница,
Тоня...

Рюмка стоит твоя после поминок
с корочкой хлеба на сорок дней.
Она испарилась наполовину.
Или ты вправду притронулась к ней?

Не попадает рифма на рифму,
но это последняя связь с тобой!
Оборвалось. Я стою у обрыва,
малая часть твоей жизни земной.

«Благодарю тебя, что родила меня
и познакомила этим с собой,
с тайным присутствием идеала,
что приблизительно звали – любовь.

Благодарю, что мы жили бок о бок
в ужасе дня или радости дня,
робкой любовью приткнувшийся лобик —
лет через тысячу вспомни меня».

Я этих слов не сказал унизительно.
Кто прочитает это, скорей
матери ландыши принесите.
Поздно – моей, принесите – своей.

1983

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Мы были влюблены.
Под бабкиным халатом
твой хмурился пупок среди такой страны!
И водка по ножу
стекала в сок томатный,
не смешиваясь с ним.
Мы были влюблены.

Мы были влюблены. Сожмись, комок свободы!
А за окном луны, понятный для собак,
невидимый людьми,

шёл не Христос по водам —
по крови деспот шёл в бесшумных сапогах.

Плевался кровью кран под кухонною кровлей.
И умывались мы, не ведая вины.
Струилась в нас любовь, не смешиваясь с кровью.
Прости, что в эти дни
мы были влюблены.

1985

ИПАТЬЕВСКАЯ БАЛЛАДА

Морганатическую фрамугу
выломал я из оконного круга,
чем сохранил её дни.
Дом ликвидировали без звука.
Боже, царя храни!

Этот скрипичный ключ деревянный,
свет законный, узор обманный,
видели те, кто расстрелян, в упор.
Смой фонограмму, фата-моргана!
У мальчугана заспанный взор...
Аж кислотой, сволота, растворили...

– Дети! Как формула дома Романовых?
– H_2SO_4 !
Боже, храни народ бывшей России!
Серные ливни нам отомстили.
Фрамуга впечаталась в серых зрачках
мальчика с вещей гемофилией.
Не остановишь кровь посейчас.

Морганатическую фрамугу
вставляю в окошко моей лачуги
и окаянные дни протяну
под этим взглядом, расширенным мукой
неба с впечатанною фрамугой.
Боже, храни страну.

Да, но какая разлита разлука
в формуле кислоты!
И утираешь тряпкою ты
дали окружи в раме фрамуги
и вопрошающий взор высоты.

1985

БЕСЕДА В РИМЕ

Я спросил у папы римского:
«Вы верите в тарелки?»
Улыбнувшись, как нелепости,
мне ответил папа:

«Нет».

И Христос небес касался,
лёгкий, как дуга троллейбуса,
чтоб стекала к нам энергия,
движа мир две тыщи лет.
В Папскую библиотеку
дух Иванова наведывался.
И шуршал рукав папирусный.
Был по времени обед.
Где-то к Висле мчались лебеди.
Шла сикстинская побелка.
И на дне реки познания
поблёскивал стилет.
Пазолини вёл на лежбище
по Евангелию и Лесбосу.
Боже, где надежда теплится?
Кому вернуть билет?
Бах ослеп от математики,
если только верить Лейбницу.
И сибирской группы «Примус»
римский пел эквивалент.
Округлив иллюминаторы,
в виде супницы и хлебницы
проплыла капелла Паццы,
как летающий объект.
В небесах на телеспутнике
Си-би-эс сражалось с Эй-би-си.
Жили жалко. Жили мелко.
Не было идей.
Землю, как такси по вызову,
ждала зелёная тарелка.
Кто-то в ней спросил по рации:
«Вы верите в людей?»

1986

Я ПЕРЕВЁЛ СТИХОТВОРЕНИЕ «ТЬМА» КАК «ЯДЕРНАЯ ЗИМА»

«I had a dream which was not all a dream...» [1]
Я в дрёму впал. Но это был не сон.
Послушайте! Нам солнце застил дым,
с другого полушария несом.
Похолодало. Тлели города.
Голодный люд сковали холода.
Горел лес. Падал. О, земля сиротств —
«Rayless and pathless and the icy Earth...» [2]
И детский палец, как сосулька, вмёрз.

Что разумел хромающий гяур
под понижением температур?
Глядела из промёрзшего дерьма
ядерная зима.

Ядерная зима, ядерная зима...
Наука – это явление лишь год как узнала сама.
Превратится в сосульку
победившая сторона.
Капица снял мне с полки байроновские тома.
Байрона прочитайте! Чутьё собачье строф.
Видно, поэт – барометр
климатических катастроф.

«I had a dream», – бубнил как пономарь
поэт. Никто его не понимал.
Но был документален этот плач,
как фото в «Смене» или «Пари матч».
В том восьмьсот пятнадцатом году
взорвался в Индонезии вулкан.
И всю Европу мгла заволокла
от этого вулкана. Как в бреду.
«Затмение сердца, – думал он. – Уйду».

Он вышел в сад. Июнь. Лежал в саду
пятнадцатисантиметровый снег.
И вдруг он понял, лишний человек,
что страсть к сестре, его развод с женой —
всё было частью стужи мировой.
Так вот что байронизмом звали мы —
предчувствие ядерной зимы!
(И Мэри Шелли ему в тот же день
впервые прочитала «Франкенштейн».)

Свидетельствует Байрон. «Лета нет.
Всё съедено. Скелета жрёт скелет,
кривя зубопротезные мосты.
Прости, любовь, земля моя, прости!

«I had a dream».
Леса кричат: «Горим!»
Я видел сон... А люди – жертвы псов.
Хозяев разрывают на куски.
И лишь один, осипнув от тоски,
хозяйки щёку мёртвую лизал,
дышал и никого не подпускал.
Сиротский пёс! Потом и он замёрз.
«Rayless and pathless and the icy Earth...»
Ты был последним человеком, пёс!»
Поэт его не называет «dog».
То, может, Бог?
Иль сам он был тем псом?

«Я видел сон. Но это был не сон.
Мы гибнем от обилия святых,
не свято спекулируя на них.
Незримый враг торжествовал во мгле.
Горело «Голод» на его челе».
Тургенев перевёл сии слова.
Церковная цензура их сняла,
быть может прочитав среди темнот:
«Настанет год, России чёрный год...»

«Как холодает! Гады из глубин
повылезали. Очи выел дым
цивилизации. Оголодал упырь.
И человек забыл, что он любил.

Всё опустело. Стало пустотой,
что было лесом, временем, травой,
тобой, моя любимая, тобой,
кто мог любить, шутить и плакать мог —
стал комом глины, амока комок!

И встретились два бывшие врага,
осыпав пепел родины в руках,
недоумённо глянули в глаза —
слёз не было при минус сорока —
и, усмехнувшись, обратились в прах».

С. П. Капица на телемосту
кричал в глухонемую пустоту:
«От трети бомб – вы все сошли с ума! —
наступит ядерная зима.
Погубит климат ядерный вулкан...»
Его поддерживает Саган.

Вернёмся в текст. Вокруг белым-бело.

Вулкана извержение привело
к холере. Триста тысяч унесло.
Вот Болдина осеннее село,
где русский бог нам перевёл: «Чума...»

Ядерная зима, ядерная зима —
это зима сознания, проклятая Колыма,
ну, неужели скосит, — чтобы была нема, —
Болдинскую осень ядерная зима?!

Бесчеловечный климат заклиненного ума,
всеобщее равнодушие, растущее, как стена.
Как холодает всюду! Валит в июле снег.
И человеческий климат смертен, как человек.

Станет Вселенная Богу одиночкой, как тюрьма.
Богу снится, как ты с ладошки
земляникой кормишь меня.
Неужто опять не хлынет ягодный и грибной?
Не убивайте климат ядерною зимой!
Если меня окликнет рыбка, сверкнув, как блиц,
«Дайте, — отвечу, — климата
человечного без границ!»
Модный поэт со стоном
в наивные времена
понял твои симптомы,
ядерная зима.

Ведьмы ли нас хоронят
в болдинском вихре строф?
Видно, поэт — барометр
климатических катастроф.
Пусть всемогущ твой кибер,
пусть дело моё — труба,
я протрублю тебе гибель,
ядерная зима!
Зачем же сверкали Клиберн,
Рахманинов, Баланчин?
Не убивайте климат!

Прочтите «I had a dream...»
Я видел сон, which was not all a dream.
Вражда для драки выдирает дрын.
Я жизнь отдам, чтобы поэта стон
перевести: «Всё это только сон».

1987

ТРЕЩИНА

Я дерево вкопал
в национальный парк.
В моих ушах звенит
национальный стыд.
Кто замутняет ход
национальных вод?

Бьёт в ноздри мне из недр
национальный дух,
национальный кедр,
национальный дуб.

Светает среди верб
национальный серп.
Полз в яблоневый сад
донациональный гад.

С холма на сериал
полуслепых полян
хрусталиком сиял
национальный храм.

Бесчеловечий дух
соединил в веках
Блаженного петух
с чалмами и в крестах.

Пней поднебесный тир.
Озёрный Левитан.
И небосклон из дыр
озонных трепетал.

Вдруг Божий белый свет
рассыпался в момент
на центробежный спектр
национальных лент.

Всё резче и красней
белки моих друзей.
И зреет, сроки скрыв,
национальный взрыв.

1987

* * *

Во время взлёта и перед бураном
мои душа и уши не болят —
болит какой-то вестибулярный,
не ясный для науки аппарат.

Когда, снижаясь, подлетаю к дому,
я через дно трепещущее чую,
как самолёт с жестяною ладонью
энергию вбирает полевую.

Читаю ль тягомотину обычную
или статьи завистливую рвотину,
я думаю не об обидчике, —
что будет с родиной?

Неужто и она себя утратит —
с кукушкой над киржацкою болотиной —
и распадётся, как Урарту, —
что будет с родиной?

Не административная система —
блеск её вёрст, на спиннинги намотанный.
Она за белой церковью синела
нерадиоактивную смородиной.

Я не хочу, чтобы кричала небу
чета берёз, белеющих в исподнем.
Отец и мать в моих проснулись генах:
«Что будет с родиной?»

1988

* * *

Я открываю красоту
не как иные очевидцы —
лишь для того её найду,
чтобы с Тобою поделиться.

Увижу ль черносливной косточкой
край Корсики с полёта птицы,
мне сразу возвратиться хочется,
чтобы с Тобою поделиться.

Увижу ли на небе ноготь,
Тобой остриженный, прилипший,
и сердце начинает ёкать,
хоть всем не скажешь из приличий.

Дожливый ёжик по тропе
мерцает, световоды будто.
Я всё равно вернусь к Тебе,
хотя пути уже не будет.

Зрачки наполнив красотой,
чтоб не пролить, сожму ресницы.
К Тебе я добреду слепой,
чтобы собою поделиться.

Сосем иная тишина
та, что предшествовала слову, —
чем поцелованная словно,
что музыкой напоена.

1988

* * *

Тебе на локоть села стрекоза
и крыльями перебирает —
как будто кожи близорукие глаза
спокойно стёкла примеряют.

1988

ГОЛУБОЙ ПОГУБАЙ

К нам вселился голубой
Погубай.
Он умылся под струёй,
Покупай.
Всех обидел голубой
Обругай.
Наряжается, как площадь Пигаль.
Ночью кашляет, как Баба Ягай.

Был по телику художник Хукасай.
Его имя переврал Хулигай.
Хулигай, Хулигай!
Сам дурак – не покупай!

Он, как трубка телефонная,
висит.
Целый день, не уставая, говорит.
Он с Австралией подсоединён.
Вечно занят голубой телефон.

Что ты ищешься у гостя в голове? —
может, мысль обнаружишь или две.
Тебя били, Хулигай.
Ты всё одно
говорил: ищу жемчужное зерно.

А вчера он заболел, Погибай,
Видно, мысль плохую съел невзначай!..
«У меня от кошки сердце болит.
Аллергия от неё», – говорит.

1989

РЕГТАЙМ

Полюбите пианиста!
Хоть он с виду неказистый
и умеет плавать как топор.
Не спешите разрыдаться —
жизнь полна импровизаций.
Гениальным может быть тапёр.

Чёрный клавиш – белый клавиш.
Всё, что было не поправишь.
Он ещё не Рихтер и не Лист.
Полюбите пианиста!
«Быстро. Быстро. Очень быстро!» —
современной музыки девиз.

Но однажды вдруг возникла
чемпионка мотоцикла —
забежала в зал без всяких дел.
И сказала: «Завтра ралли.
Догоните на рояле!»
И рояль за нею полетел.

И взлетел он на рояле,
нажимая на педали.
У рояля есть одно крыло.
Все машины поотстали.
Стал он чемпионом ралли,
хоть в рояле тысяча кило.

Полюбите пианиста,
закажите «Вальс-мефисто»
и летайте ночи напролёт.
Не спешите изумляться,
жизнь полна импровизаций,
с ним в оркестре гонщица поёт.

1983

* * *

Гора решенья. И гора страданья.
И за спиной Восток.
Сквозь гору проступает тайная
цепочка из крестов.

Он там пятнадцать остановок сделает,
припав к камням,
как поцелуи осыпают тело
от уст к устам.

Он на гору размяться выйдет,
и над второй горой
он, словно в зеркале, увидит
крест теневой.

И в спину бьющее светило,
на облако отбросив тень,
Его на небо пригвоздило.
Так по сей день:

«Пётр отречётся.
Страшной дисциплиною
я форму крестную приму.
От рук моих светящиеся линии
продлятся в космос и на Колыму.

Ученики, к чему рыдания?
Я так решил. Не отойти.
Рейшина моего страданья
прочертит человечеству пути».

25 октября 1989

* * *

Оправдываться – не обязательно.
Не дуйся, мы не пара обезьян.
Твой разум не поймёт – что объяснять ему?
Душа ж всё знает – что ей объяснять?

1980

ПЕСНЯ НА БИС

Концерт давно окончен,
но песня бесконечна.
Снял звукооператор уставший микрофон.
Я вместо микрофона
спою в бутон тюльпана!
на сцене мировой.

Я вам спою ещё на бис —
не песнь свою, а жизнь свою.
Нельзя вернуть любовь и жизнь.
Но я артист.
Я повторяю.

Спасибо за тюльпан,
за то, что пело в нас,
спасибо за туман
твоих опять влюблённых серых глаз.

Я повторяю судьбу на бис.
Нам только раз в земном краю
дарует Бог любовь и жизнь.
Но я не Бог.
Я повторяю.

1981

СВЕТ

Можно и не быть поэтом
но нельзя терпеть, пойми,
как кричит полоска света,
прищемлённого дверьми!

ЖЁЛТЫЙ ДОМ

Девяностые

А. МЕНЬ

1

Кто поднял топор на священника?
Кто шёл за ним в раннюю стынь?
И как найти в сердце прощение
тому, что сейчас творим?
Кто поднял топор на священника,
тот проклинал себя. Аминь.

Неужто страна в деградации
болеет так тяжело,
когда не до святотатства —
до святотопорства дошло?!

Красивый. Сердца ежечасно
смягчал. Темны времена.
Убитый домой стучался.
Его не узнала жена.
Накрыла его безучастная
сусальная простыня.

С его позвонками шейными
диспут провёл топор.
Страна, убивая священников,
пишет себе приговор.

Они беззащитной аортой
с Тарковским были близки,
пятьсот пятьдесят четвёртой
школы ученики.

Мы вместе учились в чертогах
пятьсот пятьдесят четвёртой.
На панихиде твоей
от имени нашей школы,
зажгут тебе свечку скорбную,
опальный протоиерей.

Приход посреди России.

Афганцы. Маковок синь.
И девушка вслед литургии
вздохнула: «А. Мень... Аминь...»

А в небе кровавым довеском
над утренней нашей тропой
с космической достоверностью
предсказанный Достоевским,
как спутник, летит топор.

2

Прокатилось до Армении от московских деревень:
Мень,мень,мень...

И афганцы парашютные шепчут исповедь с колен,
автоматами прошитые, точно в дырочках ремень:
«Мень,мень,мень...»

Отвечает эхо: «Мень – нем».

*Новая Деревня, Храм Сретенья
10 сентября 1990*

ПОСТ

«Пост, христиане! Ни рыбы, ни мяса,
с пивом неясно...»
Рост различаю в духовных пространствах
постхристианства.

Постхристиане стоят под мостами Третьего Рима.
Дёргает рыба, как будто щекой Мастрояни.
Те рыбаки с пастухами Евангелие сотворили.
Где ваша Книга, постхристиане?

«Наши Марии – беременные от Берии.
Стал весь народ – как Христос коллективный.
Мы, некрещёные дети Империи,
веру нащупываем от противного.

В танце зайдись, побледневшая бестия,
чёрная школьница!
Пальцы раздвинув, вскинешь двуперстие,
словно раскольница».

Так, опоздавши на тысячу лет,
в тёмных пространствах,
мучая душу, тычется свет
постхристианства.

1990-е

ПОВТОРНЫЙ АНГЕЛ

Валторна
блуждает в эфире. Мы снова одни.
Повторно
меня обними.
Оторвой
тебя называют, не ведая суть.
Повторный,
мой ангел повторный, со мною побудь.
Бессмертие спорно,
бесспорное – это ты.
Нет порно,
в любви все поступки чисты.
Из спорта
была наша встреча.
Мы парные, как «Reebok».
Повторная встреча
лифтёршей котируется как любовь.
Бесспорно.

Мы – эхо повтора.
Луна через шторы
рассыпала спичечный коробок.
мой ангел повторный,
храни тебя Бог!
Притворно
примеришь берет набекрень —
вальтово.
Ты слышишь валторну?
Сквозь всю дребедень —
валторна...

1990-е

ПЕВЕЦ

У него колечко в ухе
вспыхивает под лучом —
чистым слухом в век чернухи

с музыкою обручён.

1990-е

* * *

Мы от музыки проснулись.
Пол от зайчиков пятнист.
И щеки моей коснулись
тени крохотных ресниц.

Под навесом оргалита,
нажимая на педаль.
ангел Божий алгоритмы
нам с Тобою передал.

1990-е

* * *

Море красится сурьюю,
о Тебе напомнить хочет.
Забелеет парус в море,
как в кармашке Твой платочек.

1990-е

БУЛЬВАР

Я корчил галантную рожу
и, как подобало годам,
прощальную белую розу
бросал к Твоим спелым ногам.

Ты стала красивей и строже.
Весь в складках, с отвисшей губой,
бульдог, словно белая роза,
влюблённо идёт пред Тобой.

Темнеет. Мы жили убого.
Но пара незначащих фраз,
но белая роза бульдога,
но Бога присутствие в нас...

1990-е

ОКНА

Свет потуши. Зажгутся окна
невыразимую зарёй.
В потустороннем доме – ёлка.
Там ожидают нас с тобой.

И сквозь морозные узоры
на нас, стоящих за окном,
уставятся иные взоры —
Пространств странноприимный дом.

1990-е

ЛИЗА ОМОНА

В лесу твоё тело пятнисто-лимонно —
в солнечных зайчиках, в тенях от листьев.
Тебя называю я Лиза ОМОНА,
ОМОНА Лиза.

После дождя, близорукая рощица,
как ты искала контактные линзы!
И жизнь закружилась, сперва понарошку,
под кодовой шуткой – «ОМОНА Лиза».

Губы сжимая, улыбку змеила,
в рот набирая холодную «Плиску».
Близко склонялась, собою поила —
плиз! —
обожаю ОМОНА Лизу.

Ты просыпаешься только к закату.
Тебе наплевать на лимоны Мамоны!
Лучшие мэны не вскрыли загадку.
Мафия сматывает знамёна.

Знаешь, мне кажется, если спуститься
к нашим ручьям, только щёки омою —
столб закружится из листьев пятнистых.
Ты маскируешься, Лиза ОМОНА.

Панка пятнистая, зайчики пяток.
Где тебя кружит? Выбила ль визу?
Страны какие приводишь в порядок,
ОМОНА Лиза?

1990-е

ПРОЩАНИЕ С КНИГОЙ

1

Пронеслась Россия с гулом.
Как в туннель, народ мелькнул.
«Русская литература»
называют этот гул.

Кто вливает виски в тюрю,
кто бежит к зарубежу.
В русскую литературу,
как в тревогу, ухожу.

Я отвечу на «ату его!»,
но не вам, тов. господа.
Русская литература,
ты – преддверье Господа.

Ты, в которой вместо текста
чёрно-белый шрифт берёз,
ты, которая естественно
совесть повестью зовёшь...

Ежели свобода-дура
в нас осуществит сполна
геноцид литературы —
то свобода ли она?

2

Что такое книга? Трудно
вам вообразить уже.
Телик с титрами? Но трубка
подключается к душе?

Что такое книга? Или
отработанный приём?
Или генофонд России,
притворившийся шрифтом?

По тебе гадаю, книга,
ты дрожишь в моих руках —
безголовая, как Ника
о двух крохотных крылах.

А какая тайна чтения,
вдвоём, в сквере где-нибудь!
От плеча идёт волнение:
«Можно ли перевернуть?»

Так тысячелетье длится
наше чтение сообща.
Превращаются в страницы
два прижатые плеча.

3

Ты не только слёзы Лизы
среди кризиса бумаг,
ты – ломоть идеализма,
территория в умах.

И какую форму примут
без тебя наши дворы
и беременный периметр
Вифлеемовой горы?

– Что такое Дух? – расстроюсь,
врубят гид по телетуру.
– А куда мы сдали совесть?
– В русскую литературу.

1990

КОМПРА

Поэма

Увертюра

Почём звонит колокол?
Да здравствует чёрное солнце!
Двуглавый орёл альковный

как минимум спит с двумя.
«Ивановская колокольня
не названа ль в честь «Японца»?
а трамвайчик речной —
в честь «Тайваньчика?» —
спросил дипломат меня.

По ком ты молчишь, Царь-колокол,
как наша душа, расколотый?
Кому позвонил Колобов?
Народы узнать хотят.
Мы мрём от духовного голода:

А ТЫ СОБРАЛ КОМПРОМАТ?

Первый акт

Мы живём под знаком Компры.
Грязен каждый, кто не глуп.
В телефоне ждёт, как в кобре,
прослушивающий зуб.

Клава Шиффер, Клава Шиффер —
девственница, говорят.
ТАСС опровергал фальшивку —
Компромат! компромат!

Ну и кобель! Ну и кобель!
Над Москвою звёзд полно.
Или это Давид Коппер-
филд играет в домино?

О Давиде одавидеодавидеодавидеодавидео

Наши теннисные корты,
как авоська, полны компры.
Компромартовские кошки
мажут аудиофон.

У жены в руках вещдок —
один компроновы́й чулок.
Что ж ты в холод свою золушку
отпустил в одном чулке?!

Миф о краденном алмазе
обожаю в мире тухлом.
Компра – это грёза грязи

и блаженство нищих духом.

Нет святого на Руси.
Кто с луны стянул трусы
впервые надо всем
Северным полушарием?

Второй акт

Поспешаем.

Объявлена всеобщая мобилизация компромата. Генштаб не спит. Компрабабушки пикетируют комправнуков. Про. Контра. Мат. Компрадорскую буржуазию вытесняет компрадорский пролетариат. Держите братьев Компрамазовых! В Думе продаётся игрушка-ауди: «Уйди-уйди!..»

Прометея скомпрометировали.
Он тепло своровал для нас, авантюрист,
и свистит в переходе флейтист ампутированный:
«Человек, Божий замысел – чист!»

Богоматерь скомпрометирована.
Её гонит с квартиры двуногий примат.
Тайный свет выдаёт Её – аметистовый
неземной компромат.

И пантера со стрижкой, как Хакамада,
и овца, а за ними пастух и поэт
лицезрят целомудренного компромата
новый свет.
Назовут его Новый Завет.

Кого считает КАССЕТА?

...ромео и джульетта? паоло и франческа? резанов и кончита? адольф и ева браун? вибратор и бритва браун? наркобароны для петровки? лаура и петрарка? демон и тамара? чайковский и фон – ... (накладывается непонятный фон)

...мой милый божественный кайф блаженный Василий в окошке как ёлочные украшения
нежность до изнеможения попалась я (пауза) в душе шум нирваны (шум душа в ванной и телефонный звонок) алло от ширака страна моя родная необъятная моя россия западное крыло повело понесло понесло гималаи тропик рака ещё умоляю афон (запись зашкаливает фон)
глянь в окошке зима уж а я думаю что же ты носки не снимаешь на видео микки маус

Третий акт

Жизни смысл в сиянье тайны —
как Титаник в бездне лет.
А без тайны жизнь – ботаника,
там без тайны смысла нет.

*Создаётся Министерство обнародования тайн. Раскроем тайны Космоса. Он проткнул
штопором Полярную звезду, дёрнул – оттуда такое полилось... Шурупами бы привин-тить
Его, шурупами! А то гвозди так легко вынимаются из креста.*

Может, он был на кассете?
Иль иные голоса
унесли в велосипеде
два незримых колеса?
Может, в плёнке сохранится
шёпот нашей чистоты?
Милый мой читатель (нища),
может, это дышишь ты?
То дыханье нашей подлостью
неопознано пока.
Но всё, что есть в мире подлинного, —
два спелетённых голоска.

Вторая сторона кассеты

...на спине у тебя отпечаток газеты за 31 декабря ну бля а где ты работаешь в диамбанке
амба банку это хорошо сидеть в амбаре и пить кампари хорошо ой петя хорошо хорошо я митя
хорошо ой хорошо витя абрау дюрсо будешь ты царица мира мимо поправь ты не прав витька
ой сейчас вытеку ау

(диопровал на 30 секунд)
свет гашишь как сказал старик гафиз
(запишем «гашиш»).

Акт спиритизма

Экспертиза

«Фабрикуем подлинники.
Цена договорная».

– Но я не спал с Вами!
– Но вот Ваше фото и видео.
– Да, я спал, но не с Вами, видимо.
– А чем Вы докажете адекватность вашей дамы?
Смотрите, – вот она на видео с куриными ногами.
Сирена выла. Фальшивые люди заполнили коридоры.
Пиковая дама явилась к Гельману. Марату. Чтобы зарезать
его в ванной. Достала кинжал. Но ванная не работала.

Романтический компромат рисует, как соцреализм, не того человека, который есть, а
того, который должен быть. У меня отключили телефон за неуплату, а в газете читаю, что я
якобы купил виллу на Лазурном берегу. Продать бы эту виллу, внести бы квартплату за век
вперёд.

Народ компрометирует правительство. Или наоборот.

Парфюмерная наклейка подаёт в суд на Парфенон – он компрометирует её гляцевую копию своими неотремонтированными колоннами.

– Я Блок – Нет, я Блок – Я Блок ада – бл... О. К. – блокада двойников.

Мой двойник уехал в Сан-Франциско. Когда ущипну себя – он там просыпается.

Кто создал нас по образу и подобию своему?

Какого Создателя мы собой компрометируем?

КОМПРАКОМГІРАКОМІРАКОМПРА

Третья сторона кассеты

...барышня перевернитесь на решку не так резко где ж я тебя видала ой тараканы а гостиница дорогая моя хорррошая («коррозия металла» или фон другого хита, меняем модуль) ну и мобиль у тебя наверно ешь гоголь-моголь на выдумки хитра ой на работу пора завтра в шесть где цум (шум не поддающийся расшифровке и не принадлежащий двум) мумм не могу ж на улицу в наготe где ж мой прикид от ж.п. готье был поэт не упомяну где в поэме... мальборо нет есть кэмэл... ещё раз в темпе бл... а у тебя лучше чем у нoэми кэмбел... ты её поэмил... а у кого лучше чёрт гадкий... у катки у вашей екатерины великой... а ты ей кем был... и когда ты успел их всех... (адский смех) по интернету и нету ваша дама бита... ОЙ, ДА У ТЕБЯ КОПЫТА... а я то думала, что же ты носки не снимаешь, чёрт поддатый... а поцеловать (конец цитаты).

Акт очищения

Среди грязи, несущейся по касательной,
(компроматы сейчас – наградные листы)
я ищу на людей – пока бездоказательно —
компромат чистоты.

Мне не важно, брала ли на лапу земщина.
Но когда под толпу придуряешься Ты
клептоманкой сердец и преступною женщиной —
то тебя выдаёт аромат красоты.

Уголовной Москве хуже нет криминала.
Твое мятное небо абсорбирует мат.
В запотелом зеркале Ренуара —
Твоего присутствия компромат.

Ты с утра штукатуришься, споришь с гребёнкой.
Как дыханье на зеркале – срок наших дней.
Я готов свою кожу нарезать на плёнку,
чтоб дыханье Твоё сохранилось на ней.

За тебя обожаю купаться в грязище.
Говорят – шоумен, академхулиган...
Моя белая куртка становится чище
после грязевых ванн.

Пусть живу я не чище, чем тысячи тысяч.
Но на Страшном суде, ставши в очередь в ад,
доказав Всевышнему аутентичность,
предъявлю за людей чистоты компромат.

Последний акт

Друг мой, товарищ, читающий брат!
Заполни на себя компромат

Читатель(ница)!
Когда не спится. Прими душ.
Обернись газетной задней страницей.
Обернись этой поэмой.
Промокнись компроматом.
Пари над.
Дай прочитать товарищу компрометирующий зад!
Нынче правда стала ложь.
ПРОЧТИ И УНИЧТОЖЬ
Глянь! На посошок минутный
опрометчиво пошел
наши грязные мазуты
компрометирующий снежок.

Неужель ты впрямь, Россия, —
компроматная мессия?!

Почти правда всё и ложь.

ПРОЧТИ
И
УНИЧТОЖЬ

1996

* * *

Мотыльковый твой возраст
на глазах умирает.
Обратиться ли в розыск?
Обвинят в аморалке.

Каждый раз после встречи
мотыльковые чувства,
мотыльковые плечи
на руках остаются.

Матерком твоим чистым
и толковым умением —
тороплюсь облучиться
чудным исчезновением.

Свет толкущийся, тайный
над тобою не тает —
мотыльки улетают!
мотыльки улетают!

Жемчуга среди щебня.
Ландыши среди хвороста.
Расставаться волшебнее
мотылькового возраста.

1996

ИСПОВЕДЬ МОРДОВСКОЙ МАДОННЫ

Прости, Господь, свободу нашу пиррову!

Поздно, Господь. Прожектора врубили.
Мне дали денег за стриптиз – мешок.
За проволокой лагерь мастурбировал.
По проволоке пропускали ток.

– Давай, давай! – вопили над Россией.
Шёл звездопад. – Давай, давай! —
Аж автомат на вышке разрядился.
И мат татуированных секс-символов
клубился, как девятый вал.

– Давай, давай! – ревут лесоповалы.
Им снились семьи, снилось Косино.
– Давайдавайдавайдавайдавайда...
При чём тут Вайда? Шло моё кино.

Я доставала их дистанционно —
аж голубые перековывались!
Ни Пугачёва, ни Мадонна
не испытывали такого.

– Давайдавайдавайдавайдавайда —
им снились их зарезанные свадьбы.
За баб я мстила. Кто-то ржал, кто плакал,
как будто лез на волю по столбу.
Я ненавижу тебя, лагерь.

Ещё не зная, что люблю.

Давай, мой лагерь! Я – твой путь к свободе,
когда душа сквозь тернии, сквозь срам
из тела вырывается, из body,
к Прекрасной даме, недоступной нам.

Мы все – дивайдид вайдавайдавайда,
сливаясь в стоне «шайбу! шайбу! шайбу!» —
покрыла урку Блока бледнота.
В интеллигенте разразился вандал.
Айда, но не понять – куда?
Ай да сеанс! Давайдавайдавайда...
Я ощущаю на себе, грязна,
иного режиссёра под кувалдой
томящиеся в лагере глаза.

Кавказцы, россияне и прибалты,
любите небо, сбросивши ножи!
Летите в тучах, дирижёров фалды!
Динамики, с турбазы подвывайте!
Я отдалась народу под Вивальди.
Искусство – мастурбация души.
Честнее всенародно, чем приватно.
Господь, прости меня и накажи.

Зачем, скажи, для денежного фарта
меня ты отдал дьяволам в ночи?

В тайваньских джинсах, тайной
замордованной,
пройду я, безымянна для людей,
став неизвестной копией Мадонны,
порн – но звезда мордовских лагерей.

Меня потом искали люди зоны,
в мечтах озолотив или зарезав.

Крутились диски телефонов.
Крутились диски «мерседесов».
Дышала ночь острогом сладострастья.
За жизнь я мужиков имела – класс! —
но с ними не испытывала счастья...
Я отвлеклась...

Когда ж прожектор вырубил затейник —
– «набисдавайдавайдавайнабис» —
я подожгла мешок проклятых денег.
Взвыл лагерь. Продолжается стриптиз.

Пылает тело в свете грязных денег...
Паришь дистанционно Ты,
как недоступное виденье,
как гений чистой красоты.

Потом сквозь давку и асфальты
идёшь одна на фестиваль
и слышишь: «Вайда. Вайдавайдавайда
вайдавайдавайдавайдавайдавайда».

1996

ЖЁЛТЫЙ ДОМ

Проживаю в жёлтом доме, в жёлтом доме,
как в кубическом лимоне.
Быт на сломе, газ разболтан
в жёлтом доме, в доме жёлтом.

А за стенкою во внешнем доме жёлтом
оппадают листопадные дензнаки.
по ночам мои окошки светят золотом,
потому что они тёмные с изнанки.

Ко мне утро сквозь фрамуги
жёлтой женщиной влетит.
Обо мне в лесах округи
пресса жёлтая шумит.

Чаадаевской картошки понарою.
Волчьей ягоды нажрись до тошноты.
У коров наших диагноз «паранойя».
Я достаточно орал Савонаролой,
я спасаюсь шоком тишины.

В том доме, в тёмном томе,
записал я Твою речь
против света, в полудрёме,
с золотым обреза́м плеч.
В этом двухэтажном доме
я любил. А что есть кроме я?
Остальное лжёт.

Скомкана салфетка в тоне.
Жёлт, жёлт —
между красным и зелёным,
меж закатом и газоном,

как глазунья, в невезучий
переходный жизни час,
предзакатное безумье,
жёлтый глаз мигает в нас.

Хоть надень на солнце шорты!
Не укрыться охламонам.
Век зажётся кофтой жёлтой,
завершился жёлтым домом.

В желчном зеркале, из рамы,
озирая мой прикид,
не белками, а желтками
рожа мерзкая глядит.

Прыгнуть бы с «Песней о Соколе»,
с крыши, проломив крыльцо!..
Но за горло держит цоколь
цокольцокольцокольцо.

Мы все пациенты, особенно врачи.

Кто расшифрует.....

*Подписывайтесь
на «Письма из Жёлтого дома»*

Полосатый, как батоны,
тёплый кот на стол залёг.
Вдаришь в стенку – на ладони
сыплется яичный порошок

жёлтый, жёлтый, как тяжёл ты,

да пошёл ты,...!

Пациенты лезут в форточку по жёлобу.
Пишут письма мне потом.

Адрес точен, как жетон:
Россия. Жёлтый дом.

1996

БЫЛИНА О МО

Словно гоголевский шнобель,
над страной летает Мобель.

Говорит пророк с оглобель:
«Это Мобель, Мобель, Мобель
всем транслирует, дебил,
как он Дудаева убил.
Я читал в одной из книг —
Мобель дик!...»

– А Мадонна из Зарядья
тройню чёрных родила.
«Дистанционное зачатие», —
утверждает. Ну, дела!

Ну, Мобель, погоди...

Покупаю модный блейзер.
Восемь кнопочек на нём.
Нажму кнопку – кто-то трезвый
говорит во мне: «*Приём.*
Абонент не отвечает или временно недоступен
звону злата. И мысли и дела он знает наперёд...»
Кто мой Мобель наберёт?

Секс летит от нас отдельно.
жизни смысл отстал от денег.
Мы – отвязанные люди,
без иллюзий.

Мобеля лауреаты
проникают банку в код.
С толстым слоем шоколада
Марс краснеет и плывёт.

Ты теперь дама с собачкой —
ляжет на спину с тоски,
чтоб потрогала ты пальчиком
в животе её соски.

*Если разговариваешь более получаса —
рискнешь получить удар
самонаводящейся ракетой.*

– *Опасайтесь связи сотовой.*
– *Особенно двухсотой.*
– *Налей без содовой.*

Даже в ванной – связи, связи,
запредельный разговор,
словно гул в китайской вазе,

что важнее, чем фарфор.

Гений Мобеля создал.
Мобель гения сожрал.
Он мозгов привносит рак.
Кто без мозгов – тот не дурак.

Расплодились, мал-мала,
одноухие зайчата...

В нашей качке те, кто круче,
ухватясь за зов небес,
словно держатся за ручки.
А троллейбус их исчез.

«Мо», – сказал Екклесиаст.
Но звенят мои штаны:
«Капитализм – это несоветская власть
плюс мобелизация всей страны».

Чёрный мобель, чёрный мобель
над моею головой,
нового сознания модуль,
чёрный мобель, я не твой!

– Не сдадим Москву французу!
– В наших грязях вязнет «Оппель».
Как повязочка Кутузова,
в небесах летает мобель.
МОБЕЛЬМОБЕЛЬМОБЕЛЬМОБЕЛЬМО...

Слепы мы.
Слепо время само.

Был бы у Татьяны мобель,
то Онегину бы, кобелю,
не писала бы письмо.

1996

* * *

В нас Рим и Азия смыкаются.
Мы истеричны и странны.
Мы стали экономикадзе
самоубийственной страны.

1997

ВETERAN

Кому ты нужен, мужичок, кому ты нужен?
Ты бил ладонью в мозжечок. Был перегружен.

Кому-то нужен твой кулак, кому ты нужен?
Державе, потерявшей флаг и затонувшей?

Обрубок двадцати двух лет
на самокатке,
ты, словно карточный валет,
верней – полкарты.

Тебя порвали шулера.
Что загадал ты?
Держава, что была вчера,
сама – полкарты...

Кому ты нужен, полвальта? Сгорел «Ильюшин».
Над раскладушкой, сволота, висят иллюзии.
Ни в МУР, ни в школу киллеров.
Душа контужена!
Засунут спьяну Гиляровский под подушку
без наволочки. Бьёт сосед тебя, как грушу...

Но где-то, как рассветный сон над Гиндукушем,
есть одинокая душа, кому ты нужен.
Не накопила ни шиша, одни веснушки.

Кому ты, милая, нужна, с такими данными?
«Ты мне нужна. А кто не “за» —
получит санкцию
ножа десантного.
Прости. Прорвёмся. Сдюжим...»

Жизнь – шанс единственный найти,
кому ты нужен.

1997

УЛЁТ 1

на деревьях висит тай
очки сели на кебаб
лучше вовсе бросить шко
Боже отпусти на не

ель наденет платье диз
фаны видят мой наф-на
и на крыше нафтали
Боже отпусти на не

не мелодия для масс
чево публику пуга
Зыкина анти му-му
Боже отпусти на не

тятя тятя наши се
цаца папа ца мертве
Леннона проходят в шко
Господи пусти на не

до свидания бельмон
инактриса пошла к
зонцы выбирают барби
Нику дали шизофре

рновскую вкушают СМИ
ад пусти меня на зап
да хотя бы в пику
enthusiasm это kitch

оба сели в свои вольв
мент проверил их доку
оказались безрабо

ердие безрукой Милос
тронь фонариком мне ну
много в человеке те

политически ужо
единенье каждый раз
сколько жён/ударов в мин
я кричу что гибнет Росси

Боже отпусти на не

лампа-жизнь разбилась попо
ты не оправдала меч

Боже отпусти на не

1997

УЛЁТ 2

манит в дорогу ту
дьявол или Госпо
дамочка шла по во
гала-загадка ша

духу можно по воз
зяме по воздуху нель
знание это собла
гала-загадка Бо

теть разреши уле

за волгу нужна ви
военный и тот раздво
шиш куда улети
любимая хочет пу

на тишине шума
in cша улетаёт кic

лампочками мига
гала-загадка Бо

рэмбо правнук рембо
боди душу осво
милая сердцем пой
гала-загадку Бо

тает в лобовом стекле
тайный ангел не уле

шкаф плывёт когда я лягу
ревность вызывает птица

отекаешь после диск
гала-притяженье Бо

инакомыслие заскока
тает подо мною ле
«итит твою – шепнут – улет
ета ваши-то лета»

ганушкин сказал а хули
мы навеки подсуди

тает в августовском гуле
анаграмма леди Ди

1997

ДРЕВО БО

1

Босой, с тоской на горбу
земных свобод и табу,
приду к тебе, древо Бо,
где медитировал Бу.

Корни, как змей клубо,
плели и мою судьбу —
недосказанное Бо,
недопонятое Бу.

Ветки его раскидистые, как трубы теплоцентрали,
мешали табу и тубо.
«У» поднимало хобо.
Бу мычали: «Бо дай!»
Жабы дышали в жабо.
Под древние «буги-вуги»
выпархивали незабудки на Гоголевский бу
Болыжники играли в волейбо
Буди-гارد проверял альков.
И тыщи зелёных часовенок
вонзались шпилями в небо.
Это были листья Бо.

Мы спрессованы в толпу,
будто спичек коробо
недосказанное Бу.
Неопознанное Бо.

Как корзина баскетбо
окольцован шейх на лбу.
«Бабы – не создание Бо» —
как учил великий Бу.

В третий глаз гляжу – в пупо,
как в подзорную трубу.
Недодуманное Бо.
Неразбуженное Бу.

Конь в пальто всё ждёт Годо.
Кар чернеет на дубу.
Неразгаданное Бо.
Недодуманное Бу.

Наш философ из сельпо
все буробит про борьбу.
Я люблю твою губу
с песенкою «Се-си-бо».

Англосакс сказал: «рейнбо».
Шантеклер сказал «Рембо».
А скинхед поправил: «Рэмбо»
и подал своё ребро.
На дворе Армагеддо.
Люди смотрят бельмонду.
Под невозмутимым Бо
медитирующий Бу.

Мы рассыпаны, как спички,
возлежим под древом Бо.
В рассеянное небо
обленилось нас поднять.

Женщина, роняя шпильки,
возлежит трезва, как Спилберг.
Она нам не возражает.
Просто родила Бу.

2

Сидели четыре Бу.
Но главное было «Будто».

Погода тиха – будто пагода.
Бесконечность – будто бурунду.
И всё будто пело и плакало,
как музыкальный сундук.

Нам будущим было «Будто»,
вчера и сегодня – Бу.
Мы даже живём как будто,
но это театр Кибу.

Уличные бутоны
задумались об оргазме.
И слон в ушах, как в будёновке,

мечтал о противогазе.

Ты будто меня не забудешь,
когда не будет меня.

И листья, что вниз глядели,
чтобы вонзаться в небо,
имели, как виолончели,
в задничках остриё...
Я опять за своё.

Бабка в деревне нашей,
нас вынеся на горбу,
будто царица спящая
в целлофановом спит гробу...

3

Две тыщи триста лет
познание сквозь нас росло.
Монах нас ведёт – Скинхед,
сияющий, будто дупло.

Народы, сняв свои тапочки,
поняв, что спилить слабо, —
желаний цветные тряпочки
вешают вокруг Бо.

Сакс сказал: «Трее Во».
Баян поправил: «Стрибо».
Скинхед послал на три бу
и вывесил свои атрибу.

Меж них свой шейный платок
я вывешу, как мольбу.
И в небе каждый листок:
«Мама! – кричит, – бо-бо!»

1999

СТЕНА ПЛАЧА

1

Так же жили – подмывшись, намыкавшись.
Но божественное стряслось!
В старину не брили подмышки,
не стыдились нахлынувших слёз.

Почему я неутомимо
прихожу заветной порой,
где над ярусным Иерусалимом
взмыл рассвет за Масличной горой?

Этот ветхозаветный камень
старомоднее, чем Христос,
розовеющими пучками —
островками травы пророс.

И пока мы судьбу вымаливаем,
расцветают слёзы громад —
между клумб вертикальных мальвы
ароматы свои струят.

Игнорировавши промышленность,
Стена Плача, смысл бытия,
нам, по-женски дымясь подмышками,
раскрывает объятия.

2

Комнатушка моя – не
отель «Плаза».
проживаю теперь в стене —
Стене Плача.

Взявши шапку напрокат,
птичьим писком,
как кредитку в банкомат,
сую записку.

Здесь не допекает гнус.
Слёз не пряча,
лбом отчаянно уткнусь
в Стену Плача.

Это только для мужчин.
В отдаленье
опускаюсь в глубь причин
машинного отдаленья.

Ливень. Дача. Пастернак.
Срам и слава.
Руки к небу простирай,
Ярославна!

Ты, распятая страна,
муза, прачка,
моя пятая стена —
Стена Плача.

Не страшна стена угроз,
стена смеха.
Неприступна стена слёз,
крепость эха.
И твой хлюпающий нос
среди меха.

Нету крыши. Дефицит
пенопласта.
Нас с тобою защитит
Стена Плача.

3

Измерь мою жаркую жизнь перстами
на ощупь, как гусеница-землемер.
Что я сумел – перед Тобой предстанет.
И что я не успел.

Пока ещё небо не стала мерить
креста измерительная щепоть —
наставь моё сердце прощать и верить,
Господь!

1997

ПОМИЛУЙ, ГОСПОДИ...

Отпевали Детонатовича в закрытом гробу.
Как пантера, сидит телекамера у оператора на горбу.

Последнюю хохмой чёртовой печали иконостас,
Мария повязку чёрную повязала ему на глаз.
Пиратские череп и кости прикрыли зрачок его...

Упокой душу, Господи, усопшего раба Твоего.

А он отплывал пиратствовать в воды, где ждёт Харон.
Сатана или Санта-Мария встретят его паром?
Изящные череп и кости, скрещённые внизу,
как на будущий паспорт, лежат на его глазу.

Стилист? хулиган? двурушник?
Гроб пуст. В нём нет никого.

Упокой душу, Господи, усопшего шута Твоего.

Спасли меня в «Новом мире» когда-то пираты пера.
А вдруг и тогда схохмили? Всё это теперь мура.
Земли переделкинской горсточку брошу на гроб его.

Упокой душу, Господи, духовного бомжа Твоего.

Вы выпили жизни чашу, полную денатурата.
Литература частная, вздохни по Андрею Фанатовичу.

Успокой, Господь, нашу агрессию,
гордынь мою успокой,
успокой страну нашу грешную, не брось её в час такой!

Время шутить не любит. Шутник, уйдя, подмигнул.
А вдруг не ошибся Лютер, что Богу милей богохул?

Упокой душу, Господи, усопшего Абрама Твоего.

Греховничая, кусошничая, хранит в себе божество
интеллигенции горсточка, оставшаяся в живых...

Упокой души, Господи, неусопших рабов твоих.

Париж, Сергиево подворье, 14 марта 1997

ХРАМ

На сердце хмара.
В век безвременья
мы не построили своего храма.
Мы все – римейки.

Мы возвели, что взорвали хамы.
Нас небеса ещё не простили —
мы не построили своего храма.
В нас нету стиля.

Мышки-норушки,
не сеем сами.
Красой нарышкинской, душой нарушенной,
чужими молимся словесами.

Тишь в нашей заводи.
Но скажем прямо —
создал же Гауди молитву-ауди.
Но мы не создали своего храма.

Не в форме порно.
Но даже в сердце
мы не построили нерукотворной
домашней церкви.

Бог нас не видит.
И оттого
все наши драмы —
мы не построили своего
храма.

1997

МОРЕ

Проплыву, продышу, проживу брассом.
Проплыву, проживу, пролюблю кролем.
Под моей треугольной рукой-мордой,
словно конь под дугой, вырывается море.

Я люблю тебя, море, за то, что ты есть, море.
Лишь завизжу тебя, сразу хочется снять шмотки.
Мы любовники, море. Встречаемся мы голыми.
Как в любовь или смерть. Мне милее любовь, море.

Заплываю в зелёную страсть с мола.
Миром правит amour. А иначе берут Смольный.
«Nevermore» – над Венерой кричит ворон.
«More ещё, ещё more» – отвечает моё море.

То ты – Моцарт, а то корабли мочишь.
Я к тебе прилечу – в меня бросишь сервиз, Мойра!
Кто позволил тебя у России отнять, море?
Ты из нашего мора, вздохнув, эмигрируешь, море.

Проживу, прохриплю, продышу смогом.
Смою хлоркой московской из пор твой запах.
Моё сердцебиенье кому ты отдашь завтра?

Я люблю тебя, море, за то, что ты есть Море.

1997

ШАЛАНДА ЖЕЛАНИЙ

Шаланда уходит. С шаландой неладно.
Шаланда желаний кричит в одиночестве.
Послушайте зов сумасшедшей шаланды,
шаланды – шаландышаландышаландыша —
л а н д ы ш а хочется!

А может, с кормы прокричала челночница?
А может, баржа недодолбанной бандерши?
Нам ландыша хочется! Ландыша хочется!
Как страшно качаться под всею командой!
В трансляции вандала, вандала, вандала
«Лаванда» лавандалаванда не кончится.

А море, вчерашнее Russian, дышало,
кидало до берега пачки цветочные.
И все писсуары Марселя Дюшана
Белели талантливо. Но не точно.

И в этом весь смысл королев и шалавы
последней, пронзающей до позвоночника.
И шёпот моей сумасшедшей шаланды,
что я не услышал:
«Л а н д ы ш а хочется...»

1997

СПАСИТЕ ЧЕРЁМУХУ

Спасите черёмуху! Как в целлофаны,
деревья замотаны исчервлённые.
Вы в них целовались. Летят циферблаты.
Спасите черёмуху!

Вы, гонщики жизни в «Чероки» красивом,
ты, панк со щеками, как чашка Чехонина.
Мы без черёмухи – не Россия. Спасите черёмуху.

Зачем красоту пожирают никчёмные?!
К чему, некоммерческая черёмуха,
ты запахом рома дышала нам в щёки,
как тыщи волшебных капроновых щёточек!

Её, как заразу, как класс, вырубают
под смех зачумлённый.
Я из солидарности в белой рубаше
сутуло живу, как над речкой черёмуха.

Леса без черёмухи – склад древесины.
Черёмухи хочется! Так клавесину
Чайковского хочется. К вечеру сильно
и вкладчице «Чары», и тёлке в косынке,
несчастливым в отсидке, и просто России,
опаутиненной до Охотского,
черёмухи хотца, черёмухи хотца...

Приду, обниму тебя за оградой,
но сердце прилипнет к сетям шелкопряда.
Шевелятся черви в душе очарованной...
Спасите черёмуху!

Придёт без черёмухи век очередной.
Себя мы сожрали, чмуры и чмурёнихи.
Лесную молитву спасите, черёмуху!
Спаситесь черёмухой.

1997

ПРОЩАЙ, АЛЛЕН...

Не выдерживает печень.
Время – изверг.
Расстаёмся, брат мой певчий,
апен, Гинсберг.

Нет такой страны на карте,
где б мы микрофон не грызли.
Ты – в стране, что нет на карте,
брат мой, призрак.

Нет Америки без Аллена.
Удаляется без адреса
лицо в жуткой бороде,
как яйцо в чужом гнезде.

Век и Сталина, и Аллена.
Шприцев стреляные гильзы.
Твой музон спиритуален,
Гинсберг...
Призраки неактуальны.

Но хоть изредка

дай знать мне иль Бобу Дилану,
чтоб потом не потеряться.
Ты – в пространствах дзэн-буддизма,
я – в пространствах христианства.

Слыл поэт за хулигана,
бунтом, голубою клизмой...
С неба смотрит Holy angel —
Ангел Гинсберг.

1997

ШКОЛЬНИЦА

Ревёт метро, как пылесос.
Бледнеют взрослые, как монстры.
Под кокаиновой пылью
дрожали ноздри.

И это крылышко с брильянтом,
и ноздри с белым ободком
притягивались хоботком
к беде, сладчайшей и приватной.

К чему фальшивые жемчужины?
Уже поехал потолок.
И лобик, мыслями замученный...
Лети, мой падший мотылёк!

Не вызывайте скорой помощи!
Тот хоботок неумолим.
И ноздри с чуткою каёмочкой...
Ах, окаянный кокаин!

Летишь от наших низких истин,
от туалетного бачка —
небесная кокаинистка,
набоковская бабочка!

1997

«ОКТЯБРЬСКИЙ»

Четыре тыщи душ мерцают, вроде мошек.
Смущает странный свет

наш нищенский общаг.
Четыре тыщи лиц я обдаю, как мойщик.

Читаю на мощах.

Читаю на мощах времён кардиограмму.
Шаги мои трещат
от радиации погубленного храма.
Мы строим на мощах.

Построен на мощах «Октябрьский» зал концертный.
Рыдает валторнист.
Фундамент сохранив, снёс Греческую церковь
Хрущёв волонтарист.

При имени глупца ты нос смешливо морщишь.
Зал искристый, как брют.
Скажу я проще: будущие мощи
священнодействуют.

Живых, как трупы, топчем мы сегодня.
Любой кумир – мишень.
Неужто трудный путь наш в преисподнюю
мощами вымошен?

Кощунствует попса. Беретта женщин мочит.
«Ширяйтесь натошак!»
Но освящают нас смущающие мощи.
Читаю на мощах.

1997

* * *

Плачь по Булату, приبلудшая девочка,
венки полевой нацепив на ограду.
Небо нависло над Переделкиным,
словно беззвучный плач по Булату.

Плач по Булату – над ресторанами
и над баландой.
И на иконе у Иоанна —
плач по Булату.

Плачет душа, как птенцы без подкорма,
нет с нею сладу!
В ландышах, с запахом амбулаторным —
плач по Булату.

1998

СМЕРТЬ КЛАВДИЯ

Гамлет, сынок мой, отцеубийца,
ты не узнаешь, как «Тень Отца» —
братец мой, отрубился на свадьбе —
с матерью мы тебя спьяну зачали.

Ради тебя я женился на властной невестке,
брата убил, страсти к сыну заложник.
Чтоб тебе стать всеглобально известным,
мальчик мой, вынь своё сердце из ножен!

Личностью стань, не рифмуйся с молочной яичницей!
взвей рукава чёрным ландышем кладбища!
Трагедии Гамлета – почётные грамоты.
Всем наплевать на трагедию Клавдия.

Скроет отец преступление сына.
Я повторюсь в твоих генах инкогнито.
Ах, как от матери пахнет жасмином!
Лишь бы тебя твои дети не кокнули.
Я дядя сына? Отец анонимный?
Яд... яд... ядядяд... я... Это – икота.

Как без меня ты на этом свете?
Даже проститься нам воспрепятствуют.
Поторопись быть в университете.
Учись, мой сын. Науки сокращают.

Я упаду. Послушай гул столетий.
Ты надо мною, музыкант слепой.,
сыграй на флейте – laterlaterlater —
всё человечество потянешь за собой...

Входит клинок твой в сердце отцовское
Браво, сынок! Узнаю свою руку...
Мать не бросай... Разберись с полоумной отсоскою...
Не дли муку!

Призрака встречу – трансинтелигибельный юмор
я оплачу.
Царствуй, сын, справедливо, но в меру
мерумерумерумерумерумер

(Умер.)

1998

МИНЧАНКА

И. Халип

Ирина, сирена Свободы,
шопеновской музыки,
забьют тебя до стыдобы
бронированные мужики.

По телику шлемы и шабаш.
Свалив на асфальт, скоты,
«Шайбу! – лупили – шайбу!»
Но шайбочка – это ты.

За что? что живут не слишком?
за то, что ты молода?
за стрижиную твою стрижку,
упавшую, как звезда?

Ты что-то кричишь из телика.
Упала, не заслоняясь.
Отец твой прикрыл тебя телом.
А я из Москвы не спас.

И кто на плечах любимых
твоих, Ирина, плечах,
почувствует след дубины?
Ты ночью начнёшь кричать.

Лицо твоё вспухло, как кукиш,
Губы раскровеня...
Ты встретишь меня. Поцелуешь.
А надо бы плюнуть в меня.

1998

* * *

Памяти Г. С.

Розы ужасом примяты.
На морозе речь охрипла.
Игровые автоматы
озверевшего калибра
на канале Грибоедова
сбили женщину навывлет...

Золотую беззаветную
веру хорони, Россия!
Власть уходит к гробоведам.

В себе Господа мы предали, —
автоматы игровые.

21 ноября 1998 года

ПАРАШЮТ

Зачерпывая стропами,
повсюду не из праздности
на вкус я небо пробую,
небо – разное.

Турецкое – с сурепкою,
испанское – опасное,
немножко с мушкой шпанскою,
над Волгой – самогонное,
похоже на слезу.
Цимлянское – мускатное.
Кто, в прошлом музыканточка,
задела неприкаянной
душою по лицу?

Зачем я небо пробую
над тропкой психотропную?
Чем ангел мне обмолвится?
Вам не понять внизу.

Владимирское – вешнее,
что пахнет головешкою.
Попробуешь – повесишься...

Но я и так
вишу.

1998

* * *

Иду по небу на парашюте.
катапультируйтесь из нашей жути!

Лишь тень оранжевая, скользима, —
бросает корки от апельсина.

Я ног не знаю, я рук не знаю.
лишь рвут предплечья ремни-гужи —

счастливый ужас парасознания,
абсолютной парадуши!

ОТСТЕГНИТЕ ПРИВЯЗНЫЕ РЕМНИ!

Иду минуто
без парашюта
элементарно, как до-ре-ми.

Чайку подошвами не примни.
Мне не ответил Пётр за дверьми.

Как голуби мира, грязны мои кеды.
Бонжур? Покедова!

Я понял истину, живя все годы:
где Кант, где Шеллинг, где дождик сеет —
не может быть на земле свободы.
Переходите на парасейлинг!

Где наши семьи? и где «Дом Селенга»?
Лишь свист осеннего парасейлинга.

Внизу фигурка идёт по водам.
А хочешь — по небу походи.
Являйся небу, забудь заботы
над морем утренним в бигуди...

Какое небо под пяткой резкое!

И стало видно до древней Греции,
где купол неба над водной пряжею,
над человечеством овноедов —
парасознанием несёт напрягшимся
онемевшего
Ганимеда.

1998

* * *

Вот и сгорел, вроде спутников,
кровушки нашей отведав,
век гениальных преступников
и гениальных поэтов.

1998

А ТЫ МЕНЯ ПОМНИШЬ?

Ты мне прозвонилась сквозь страшную полночь:
«А ты меня помнишь?»

Ну как позабыть тебя ангел-зверёныш?
«А ты меня помнишь? —
твой голос настаивал, стонуц и тонуц:
А ты меня помнишь? а ты меня помнишь?»
И ухало эхо во тьме телефониц —
рыдало по-русски, in English, in Polish —
you promise? astonish... а ты меня помнишь?

А ты меня помнишь, дорога до Бронниц?
И нос твой, напудренный утренним пончиком?
В ночном самолёте отстёгнуты помочи, —
вы, кресла, нас помните?

Понять, обмануться, окликнуть по имени:
А ты меня...
Помнишь? Как скорая помощь,
в беспамятном веке запомни одно лишь —
«А ты меня помнишь?»

1998

ДОМОЙ!

Пора! Дорожки свёртывают море.
Домой – к Содому и Гоморре.

В приливе чувства безутешного
с тебя подводная волна
трусы снимает, словно женщина.
С тобой последний раз она.

1998

* * *

Тьма ежей любого роста
мне иголками грозила.

Я на дух надел напёрсток.
Жмёт, конечно. Но красиво.

1998

* * *

Есть в хлебном колосе,
в часах Медведицы —
не единица скорости,
а единица медленности.

Спешат, помятые,
летят режимы,
но миг — понятие
растяжимое.
Кайфуя в фугах,
спешите медленно,
найдя в Конфуции
монады Лейбница.

Скорость кометная
станет комедией.
когда ты медленно
глядишь как медиум.

В дыханье пахоты
у перелеска
есть мёдом пахнувший
зевок релекса.

Смысл — в черепахе,
не в Ахиллесе.

И нечто схожее
в любви имеется —
не в спешке скорости,
а в тайне медленности.

1998

«ПТИЧИЙ ЦИРК»

Клоун обхохотался кубарем.
Опупела публика —
Класс!

– Шампаневича бы откупорили.
– В цирке ласточка завелась.
– Хулиганом небось подкуплена,
дебютантка, малыш, под куполом
о п о з о р и л а с ь!

– Чай, отечественное слабительное,
на английское денег нет...
Как прожектора сноп, в обители
очистительный брызнул свет.

Ржанья публика не сдержала.
Оборжался пиджак в дерьме.
Умирала до слёз Держава,
опозорившаяся в Чечне.

Тяжко жить. К чему обличенья?
Всё ложится на женские плечики.
Облегченья нет, облегченья!
Ты облегчилась.

Тяжек гнёт, тяжела свобода.
Даже, может – потяжелей.
Что естественно для природы,
неестественно для людей.

Понимали её, естественно,
лев, пичуга и конь в пальто.
Где невольная дочь протеста?
Где она? Не знает никто.

Она птицею улетела.
Она ласточкою была.
Птице нет никакого дела
до условных добра и зла.

Я видал, как сверкнули крылышки —
чирк!..
С той поры шапито под крышею
называется «Птичий цирк».

1998

БЕЖЕНКА

Беги, беги, беженка,
на руках с грудным!
На снежной дорожке бежевой

не столкнись с крутым.

Греби, греби, беженка,
к поезду, бегом.
Беги, беги, белая
берёза за окном!

Под крики «Бей черножопых!
Бей русских! Бей христиан!» —
кружись полосатым крыжовником
зелёный Таджикистан.

Бедствие! Нет убежища.
Гоним к берегам другим,
ладошкой южнобережной,
махнув, убегает Крым.

Вьюгою центробежною
рвёт нас до тошноты.
Ты – ближнее зарубежье,
и дальнее – тоже ты.

Беги, беги от группешника,
сердечка уставший ком,
несись, спотыкаясь бешено,
по снегу босиком!..

Ротвейлером из «лендровера»
ирод рычит: «Атас...»
Беги, беги, родина,
в ужасе от нас!..

Беги, беги, беженка,
беги, беги, бе...
Беги, беги, чудо Божие,
беги, беги, Бо...

Над лугом погибшим Бежиным,
по небу, в облаках
бежит от нас Божья
беженка с ребёночком на руках.

1999

* * *

Я тебя очень... Мы фразу не кончим.
Губы на ощупь. Ты меня очень...

Точно замочки, дырочки в мочках.
Сердца комочек чмокает очень.
Чмо нас замочит. Город нам – отчим.
Но ты меня очень, и я тебя очень...
Лето ли осень, всё фразу не кончим:
«Я тебя очень...»

1999

* * *

Наши трапезы – сладострастные,
кулинарочка ты потрясная!

Ты вбежишь, только скажешь: «Здрасьте!» —
умираю от сладострастья.

Воздух утром дрожит над пряслами
целомудренным сладострастьем.

Полосатый арбуз матрасный
скоро лопнет от сладострастья.

Отдавайтесь до обладания.
Заплывайте в любовь не в ластах!

Сладострастие сострадания.
Сострадание сладострастья.

Ты написана белым фломастером,
пахнешь сном и зубною пастой.

Твоя пятка – туз пятой масти.
Можно спятить от сладострастья!

Как я в жизни пролоботрясничал,
выяснял отношения с властью...

От невзгод наших спрячусь страусом
в твоё белое сладострастье.

1999

ТЕРРОРИСТ ДОБРОТЫ

Подобно антенке сотовой,
поэзии стебелёк

растёт поперёк горизонта,
общественности поперёк.

Ты был агрессивен крайне
меж общества немоты.
Теперь средь всеобщей брани
ты – террорист доброты.

Одинокие твои муки
не ведал телеэкран.
Неверующие мухи
питались из твоих ран.

Под радостный вой окружи
ты муки с крестом сверял,
где в горизонтальные руки
вонзался перпендикуляр.

1999

* * *

Беззвучный цвет – весь состоит из звука,
в нём слышится небесная разлука.
От этих мук Ван Гог отрезал ухо.

Пустынный дом наполнен голосами,
они поют и пахнут круассаном,
прислушайтесь – кайф колоссальный!

Как медленно ползёт стрела из лука!
Скучна мне скорость света или звука.
Лишь скорость мысли – сказочная штука!

Казука молча фору даст базукам,
не без харизмы распевает щука,
и я, безукоризненная сука,
бужу тебя любовью, а не звуком.

1999

* * *

солнце чёрное и красное
нега нега негативная
река река кареглазая
снега снега негасимые

1999

ХОРОШО!..

На спине плыву устало.
Холодочек за спиной.
Зной пронзает золотой,
словно клипы «Суперстара»...

Хорошо, что ты не стала
моей вдовой.

1999

ПЛОВЕЦ

Дай мне выплыть из бездн. Я забыл тебя, брасс.
Руки-ноги мертвы, бл...
Дай мне, Господи, выплыть единственный раз.
Дай мне выплыть.

Я любил в чёрной шапочке, как Фантомас,
вздыбить лыжами Припять.
Брасс мой, брат мой, предавший товарища брасс!
Дай мне выплыть.

Доигрался, «играющий чемпион»?
Рыбки детская киноварь
поумней, чем заносчивый черепок,
дай мне вынырнуть.

Сколько всплыло дерьма! Ты одна, как луна,
тянешь в жизнь. Неужели
оказалось сильнее притяжение дна
твоего притяженья?

Что-то стало со мною и со страной?
Жизнь – без выплат...
Изумрудная чайка над тяжкой водой,
дай мне выплыть!

ВСТУПЛЕНИЕ К ПОЭМЕ «ПОСЛЕДНИЕ СЕМЬ СЛОВ ХРИСТА»

Нам предзакатный ад загадан.
Мат оскверняет нам уста.
Повторим тайно, вслед за Гайдном,
последние семь слов Христа.

Пасхальное вино разлейте!
Нас посещают неспроста
перед кончиною столетья
прощальные семь нот Христа.

Не «Seven up» нас воскресили.
В нас инвестирует, искрясь,
распятая моя Россия
the seven last words of Christ.

Пройдут года. Мой ум затмится.
Спадёт харизма воровства.
Темницы распахнет Седмица —
последние семь снов Христа.

Он больше не сказал ни звука.
Его посредник – Красота.
Душа по имени Разлука —
последнее из слов Христа.

МЕФИСТОФЕЛЬ

Я приду к тебе в чёрной мантии,
в чёрных джинсах – привет фарце!
Все пощёчины, как хиромантия,
отпечатались на лице.

Я приду к тебе в мантии чёрной
и в Малевиче набекрень.
Ты раздвинешь меня, как шторы,
начиная свой новый день.

1999

ЗАЛ ЧАЙКОВСКОГО

В Зале Чайковского лгать не удастся.
Синие кресла срываются с круга —
белой полоскою, как адидасы.
Здесь тренируется Сборная духа.

Люди поэзии, каждую осень
мы собираемся в Зале Чайковского.
В чёрных колечках пикируют осы
к девочке в стрижечке мальчуковой.

Государство раздело интеллигенцию
почти догола, точно в Древней Греции.
Климат не тот. Холодает резко.
В плюшевых креслах согреем чресла...

Сытый толкает тележку с провизией,
родине нищей сочувствие выразив.
Цензоры с визгом клянут телевизоры,
не вылезая из телевизоров.

Гарри, sfугуйте над горькою оргией!
Не обеспечивают охрану
правоохранительные органы.
Может, спасёт нас молитва органа?

Зал этот строился для Мейерхольда.
Сборная духа пошла под дуло.
Нынче игра в обстановочке холода.
Не проиграй её, Сборная духа.

1999

ЭПИСТОЛА С ЭПИГРАФОМ

*Была у меня девочка —
как белая тарелочка.
Очи — как очко.
Не разбей её.*

Ю. Любимов

Ю. П. Любимову

Вы мне читаете, притворщик,
свои стихи в порядке бреда.
Вы режиссёр, Юрий Петрович.
Но я люблю Вас как поэта.

Когда актёры, грим отёрши,
выходят, истину поведав,
вы — божьей милостью актёры.
Но я люблю вас как поэтов.

Тридцатилетнюю традицию
уже не назовёте модой.
Не сберегли мы наши лица.
Для драки требуются морды.

Таганка – кодро молодое!
Сегодня с дерзкою рассадой
Вы в нашем сумасшедшем доме
решились показать де Сада.

В психушке уровня карманников,
Содома нашего, позорища,
де Сад – единственный нормальный.
И с ним птенцы гнезда Петровича.

Сегодня, оперив полмира,
заправив бензобак петролем,
Вы придуряетесь под Лира.
Но Вы поэт, Юрий Петрович.

Сквозь нас столетье просвистело.
Ещё не раз встряхнёте Вы
нас лебединой песней – белой
двукрылой Вашей головы...

То чувство страшно растерять.
Но не дождутся, чтобы где-то
во мне зарезали Театр,
а в Вас угробили Поэта.

1999

ЖЕМЧУЖИНКА

Очнись, жемчужина – моё тайное
национальное достояние.
Нас разделяют не расставания —
национальные расстояния.

Глаза выкалывая стамескою,
плача над беженкой Кустаная,
мы – достояние Достоевского,
рациональное отставание.

Мы, как никто, достаём свою нацию,
стремясь то на цепь, то на Сенатскую.
А ты живёшь иррационально —
глазами отсвета цинандали.

Душа в подвешенном состоянии,
как будто чинят «жигуль» над ямою.
Вокруг всё тайное стало явное,
в тебе всё явное станет тайною.

То сядешь с теликом на ставку очную,
а то в истерике дрожишь до кончика.
Живи, как хочется, ну, а не хочется —
«Вот дверь, вон очередь...»

Я плач твой вытер. Сними свой свитер.
Не рвись в Австралию и Германию.
Я не хочу, чтобы ты стала —
интернациональное достояние.

1999

ПРОЩАНИЕ С МИКРОФОНОМ

Театр отдался балдежу.
Толпа ломает стены.
Но я со сцены ухожу.
Я ухожу со сцены.

Я, микрофонный человек,
я вам пою век целый.
Меня зовут — двадцатый век.
Я ухожу со сцены.

Со мной уходят города
и стереосистемы,
грех опыта цвета стыда,
науки *nota bene*,

и одиночества орда —
вы все уходите туда, —
и в микрофонные года
уходит сцена.

На ней и в годы духоты
сквозило переменой.
Вожди вопили: «Уходи!»
Я выходил на сцену.

Я не был для неё рождён.
Необъяснима логика.
Но дышит рядом стадион,

как выносные лёгкие.

Мы на единственной в стране
площадке без цензуры
смысл музыки влагали в не-
цензурные мишуры.

Звучит сейчас везде она.
Пой, птица, без решёток!
Скучна
мне сцена разрешённых.

К тебе приду ещё не раз —
уткнусь в твои колена.
Нам невозможно жить без нас!
Я ухожу со сцены.

Люблю твоих конструкций ржу,
как лапы у сирены.
Но я со сценой ухожу,
я ухожу со сценой.

Мчим к голографий рубежу.
Там сцены нет, что ценно.
Но я со сценой ухожу,
я ухожу со сценой.

Благодарю, что жизнь дала,
и обняла со всеми,
и посадила на крыла.
Они зовутся Время.

Но в новых снах, где ночь и Бог,
мне будет сцена сниться —
как с чёрной точкою желток,
который станет птицей.

1990-е

* * *

Ко мне юнец в мои метели
из Севастополя притопал.
Пронзил наивно и смертельно
до слёз горчащей рифмой «тополь».

Вдруг, как и все, я совесть пропил?!

Крым подарили – и не крякнули.
Утопленник встаёт, как штопор.
На дне, как пуговицу с якорем,
мы потеряли Севастополь.

1999

ИРРЕАЛИЗМ

Жил-был иррационал,
не познал в зажиганье искры,
но знал,
сколько ангелов умещается на конце иглы.

Узелок мне на память нашейный
завяжи! Мы услышим в глуши,
как происходит
иррационально-освободительное движение
души.

Как башня III Иррационала,
пружина кресла торчит из мглы.
Иррационалисты всех стран, добро пожаловать
на конгресс на конце иглы!

Пусть солдат в своём ранце, как рацию,
носит маршальский радикулит.
Коты летают. Царит иррацио.
Время назад летит.

Живём без гимна. Утешусь малым.
Неясной знаю тоской,
что с Иррационалом
воспрянет род людской.

1990-е

РАУРА *Двухтысячные*

ru

Поэма

Первое посвящение

Я вышел в сайт. Он резонанс собора
напоминал. Он полосат. Плыву.
Я вышел в сайт. За зубьями забора
Благоухали вирусы «love you».

Я вышел в сайт. Он был куда реальней,
чем зоосад наш или же «Моссад».
Плыл Моцарт вверх ногами на рояле —
мой сайт.

Я вышел в сайт. Пельмени, как Сатурны,
лица касаясь, в космосе висят.
Надежда, что казалась авантюрна, —
мой сайт.

Я вновь благодарю Тебя, Всевышний,
что в сатанинский рай, точнее, в ад —
мне стало душно в комнате — я вышел
в Твой сайт.

А если вас, ушибленных, досадит
вниз головой фасад,
не приходите поиграть в наш сайтик —
в мой сайт.

Я – сальто перевёрнутой отчизны.
Я – старый клоун. В клюкве, не в крови.
Устали люди от зачистки.
Я вышел в чат. Страна, поговори!

Ты, ставшая любовью моей жизни,
определяешь жизнь моей любви.

Второе посвящение

Тебя не сберегли.
Я в душу собираю
седьмую часть земли
с названием кратким – ги...

Третье посвящение

– ги, куда несёшься, дай ответ!
– В Internet!

Чит 1

Только выбегу поутру,
с горки с выгибом посмотрю:
за Рублёвским шоссе – ги,
и в брусничном бору – ги...

Коррупцированная ги,
поруганная моя ги,
рулевая моя ги
с кликом Врубеля в миру!

Хорошо ступать на грабли!
Считываю на ветру
смысл кардиограммы – дабл'ю —
www.gi.

Я люблю три дабл'ю ги,
www – три струга Рюрика?
и гармошка ввечеру?
33 коровы? – вру! —
три короны и секьюрити —
ЦРУ и ГРУ.

Нас ги-банки
обстругали, как рубанки.
Моя белая рубаха
ночью по небу летит —
мессианскими ги Баха
дирижируя навзрыд!

Ру – бяка?
Хороши Нью-Йорк, Бейрут и Каунас —
но нигде так не воруют, как у нас.
Как ругаем мы себя за рубежом!
Зато веруем. И душу бережём.

www.зарубежье. ru
www.группировка. ru
www.трубадуры. ru
«Раздолблю!» – вопит дура ru.

Чат 2

Государствами правят кухарки.
Молодые бегут в интернет.
В заколдованной доблести хакера,
в тайне смеха – позорного нет.

Что в сердечке твоём, моя хакерша?
дочка ru? выпускной спецкласс?
Утомившийся хризопраз.
Несмотря на защитные хартии,
устают хрусталики глаз.
Ползарплаты – на парикмахершу,
ты победно, как будто картуши,
носишь локоны: «Смерть фуфлу!»
Что ж, листая странички Naggers'a,
дышишь тяжело, будто Фру-Фру?
В твоей кардиограмме, хакерша —
www.господи!ru

www.Гор. Пушк. б-тека. ru
www.русская рулетка. ru
www. «Курск». ru
Или скурвились гуру?

Чат 3

Осторожно!
Бокалы не кокните —
слепки с бюстов Антуанетт.
Интерьеры терра инкогнита
называются Internet.
Что хотел, как яйцо, бритый гладко,
ваш компьютерный инженер?

Видно, всмятку мозги имел,
медицинским плакатом матки
обустряивая интерьер?
Словно красная карта родины,
нежной страсти его предмет
не укладывается в пародию
на начальственный кабинет.
Спец по видео и халявщик,
по-младенчески безволос...
– Его, видите ль, «вдохновляет»!
Понеслось!

«Отвратительно! Круто! Знаково!»
Содрогнулась, возмущена,
выворачиваясь наизнанку,
оскорбляемая стена.
Душа, розовая, как мыло,
бормотала из камасутр:
«Не играйте с внутренним миром!
Не заглядывайте вовнутрь!»
Его череп заколотило.
Серьга брызнула, как слюна.
Мы видали – его проглотила
стена.
Исчезали в каменных схватках
череп гладкий, потом нога.
Ещё долго стенная кладка
успокоиться не могла.
Где теперь ты, юноша чокнутый?
Кто сегодня – дожди комет?
Интерьеры терра инкогнита
называются Internet.

www.пургаз. ru
www.оргазм. ru
www.бизнес. ru
Мышке хочется в нору.

Чам 4 (без ru)

Я без Тебя, как без ru.
На Венере безрукавка,
без ru – Кафка!..
Нигде так не во...ют, как у нас
...блёвское шоссе
мне и...бля не накопили строчки
...салка на ветвях сидит

Я ж оперу говорила
«своя...башка ближе к телу» (Мария-Антуанетта)
Я – па...с. Одинокий.
Почем «Мерседес-Бенц»? А просто – ...бенс?
...ина – девушка моей мечты
Все восхищены...бином Ньютона
ТВ и т...п.
ГЕНПРОКУРОРУ (копия в РАО)
«Ещё в 1994 году мною было изобретено и опубликовано имя „ру“
(ru). Прошу компенсировать моральные убытки
из-за всемирного плагиата в размере – 1...б. за 1 ru».
www.voznesensky.ru
Вы...чат.
Не пей один.
Духовной жаждою томим,
вдруг захлебнёшься, как Довлатов?
Читайте, завидуйте:
я – гражданин
Соединенных Чатов!

Чат 5

Как Ты меня любишь,
как Ты меня любишь, как любишь!..
В сердце впрыснувши наркоту,
сбросив тыщи осенних юбищ,
посвящаешь меня в наготу.
Ты – свобода моей неволи.
Это Ты в брусничном бору,
натерев позвонки канифолью,
посвящала меня в игру.
Дрожь над полем, над лопухами,
недоступное маляру
исчезающее Твоё дыханье,
нерукотворная моя гу...

Чат 6

Ночь. Челябинск. Ремни в ручищах.
За товарища пасть порву!
Дед. Ремесленное училище.
Пряжка с литерами «РУ».

Свищут пряжки. Бей, ремеслуха!
Ряшкой в грязь. Чтоб не был лицом.

Свищут в праздник Святого Духа
пряжки, наваренные свинцом!

Драка! Драка! Из чувства мести —
(дранка, дранка летит в подъезде!) —
месть за нищую жизнь, за мрак.
Мы – кулак, когда все мы вместе:
каждый – друг, товарищ и враг.

Мордой в глину – не в торт «Пражский».
Кто-то в небе уже плывёт,
раскрутясь роковою пряжкой,
одиноким, как вертолёт.

Пряжки в воздухе режут полосы,
не какие-то там «дабл'ю».
Это я из-под ног, без голоса,
это я на земле хриплю...

Кровоточит речь темпераментно,
в ней прилично лишь слово «на»...
В небе свищет прожекторами
салютирующая страна.

– Ты куда несёшься, ги?
Тпру!..

Чат 7. Сказка о залатанной ру

Старуха брала свою пряжку.
Старик ловил неводом пет.
Инопланетян – нет.
Стран, куда летят, – нет.

У Твардовского был свой счёт:
руганёт, а потом – печатнёт.

Люблю «Нескафе» под икру.
Ни дабл'ю, ни дубль вз, ни ру.

Снедь,
чтобы красНЕТЬ.

Шевролетной улыбки – нет.
Прошло лето, а рыбки нет.

Китекэта котёнку нет.

УгНЕТённых бананов нет.

Индюк стонет по двору:
перед казнью: «www.ru».

НЕТипично Скуратов одет.
КиНЕТических скелетов – нет.
Нас Кио киНЕТ,
Maskino киНЕТ,
мякина киНЕТ,
Госкино киНЕТ,
НЕТленки НЕТ.
Что в продаже есть, того НЕТ.
Ему даже поесть – НЕТ.
Монтеня НЕТ.
Нототении НЕТ.
«ИНТЕРНЕТУ – НЕТ!» —
наш сосед произвёл запрет.

Осень – моНЕТный двор.
НЕТопырь не платит за свет.
Новый кабиНЕТный вор
над страной наГНЕТает: «Нет».
Уронив на струну вихор,
плаНЕТарно плачет Башмет.

ТЕНИ НЕТ

Независимость – с Богом сверка.
Бонапарт оставлял треух.
Если б, горькие трюфели века,
мы б оставили лишь «Триумф» —
всё равно это было б нечто!
Непривычно. А вдруг навечно? —
где художники бескорыстны,
игнорируя грязный вой,
где не чавкают над корытом
и звезда говорит с звездой,
где Башмет зажигает Меньшикова,
ну а гений любит поесть,
где Христос отвергает месть,
где хамдамовской кисти женщина
интерНЕТ превратит в интерЕСТЬ.

В форме альта, боль растравляя,
лист опустится на поля...
Спит пропахшая трюфелями

всепрощающая земля.
Недорубленную мою гу
не зовите к топору!
Ученик Башмета, хакер,
бросив детства мир засахаренный,
взламывает банка код —
из азарта, как кроссворд.
Талант тянется к добру...
www.тюряга. гу
www.астма. гу
Подпишу письмо царю:
www.коммерсантъ. гу
«Талант теряем», – говорю.
Отвори тюрягу, гу!
– По ком —
а. колокол. com?
– А что снится комару?
– Кома гу.

Чам 8

Блеснуло лезвие «Gillette».
Начальник, убери свой ствол!
Выкидывает «авторитет»
кишки на стол, кишки на стол.

Как красных жемчугов ведро,
как из метро народ пошёл,
дымится смутное нутро —
кишки на стол, кишки на стол.

Любуйтесь русским харакири!
Начальнику сулит позор
кишочковая терапия —
кишки на стол.

Ни русский не поймут, ни идиш.
Выход простой —
летит пульсирующий выкидыш
на грязный стол!

Душа откроется, сейчас.
Овчарка дёрнулась к нутру.
Тебе наложит шов санчасть —
www.гу www.гу

Ты вспомнишь, Холин,

этот бред,
когда в первопрестольный ор
ты выкинешь, уже поэт,

кишки на стол —
письменный стол.
Омоновки кричат,
под маской скрыв чадру:
– Ты чей, чат?
– Ru.

Чат 9

У послушниц Ордена хакеров
полуночные очи болят.
Поддёвочка цвета хаки.
Зомбированный взгляд.

Интердетка, сети детёныш...
как за вредность – литр молока,
ты спасаешь души свой тонус
ненормативностью языка.

Крутизна есть в твоём характере,
математика и азарт.
Ты можешь выплеснуть в харю,
что нельзя тишиной сказать.

Половой терроризм? Оскомина...
Бьётся, словно в сачке, чужа,
как красивое насекомое,
непонятная мне душа.

И шевелится в голове,
как у каждого, мини-зло:
два убийства неосуществле
и вчерашняя кража со взло...

На Земфиру фыркнешь с презрением?
Сиганёшь с этажа? Схохмишь?
Полуграмотное прозрение
в твоих пальцах дрожит, как мышь.

И внезапно так станет тошно,
что, введя «Макинтош» в игру,
«Надоело! – ты крикнешь. – Точка!
Ru!»

Сеть ринется в тартарару.
Прочитаем первоисточник.
www.gu.
Боже! Мы забыли Точку!

Не зарифмовали точно
мини-чёрную дыру
(гол, что снится вратарю).
Гол!.. Но что это? Отсрочка?
Шуточка Твоя? Примочка?
Или мышка, взяв игру,
завалила на бок точку,
превратив в тире, в муру?
За заборами цветочки.
www.gu
До сих пор от смеха корчатся:
Иван Грозный на пиру
и Калигула, ну в точности
походящий на Шуру.

Мы ещё прорвёмся, гу!

Чат 10

www, связанные в вязанку,
этот чёрный опасный свет
терний, вывороченных наизнанку,
называется Internet.

Словно ёлочные украшения,
эти новенькие дабл'ю
ещё не ржавые от ношения
на живом человеческом лбу!

— По ком —
а. колокол. com?
И, урча колесом потерянным,
по часам (по-немецки – uhr)
контейнер, гружённый терниями,
направляется к пункту «гу».

— А что снится комару?
— Кома гу.

Off

Ты прости меня, милый попутчик
сегодняшних гала-Голгоф.
Ты всё что желаешь получишь.
Я – off.

Я – Офелия грязной прозы,
офтальмо-хрустальный взор.
Я – off всяческих официозов,
Off – шор.

Я жизнь твою исковеркала
дотла.
Я в Болдино и в Переделкино
была.

Меняются дженерейшны,
страна.
У Блока и Блейка женщина
одна.

Опять с поколениями Мозес
в пути.
Я гибну. Меня, если можешь,
прости.

Хлестал звездопад в дырявый
дуршлаг.
Наивный, ты веришь в халяву,
дурак.

Я, женщина, неизменна
в изменяющихся веках.
Государственные измены —
мой кайф.

Завистливые облаи
облав —
всё это явления off-лайна,
off-лайф.
Я от прокурорской морали
дошла.
Вбегаю в тебя, Мировая
душа.

Попорчу я новым боярам

игру.
Я с Пушкиным ринулась к «Яру»!..
Я – ru.

Эпилог

Я люблю Тебя, я люблю Тебя,
так люблю!..
Все талантливые ублюдки
смяты гением Твоим, ru!
Твои псы мне порвали икры.
И теперь, когда загорю,
на ногах проступают титры —
Твое имя – www.ru.

Тобой пайщики пировали,
вроде оруэловского хрю-хрю.
Ты, чурающаяся пиара,
нераскрученная ru,

ты спасла меня, целовала...
И за это, когда умру,
свою буковку инициала
закодирую в www.ru

Пусть к URЛычат они, улетаая,
на бескрайнем трубят миру —
Три журавлика вечной стаи —
W
W
W
ru

Ноябрь 2000

ПЕРЕХОД НА ПУШКИНСКОЙ

В переходе на Пушкинской
была пирсинга лавочка.
Твои щёки припухшие
украшали мы давеча
модным вздором серебряным...
Лохов девушки клеили.
И дрожали целебные
два колечка над лейблами.
Всё казалось игрушечным.

Милицейский – без пушечки.
Вдруг со взором опущенным
ты выходишь на Пушкинской?...
Времена переходные...
Вместо лавочки с обувью
корчатся пешеходы
с вывороченными утробами.
У девчонки подобранной
шоком сдвинута психика,
и на ухе оторванном
три заветные пирсинга.
Будьте прокляты, рожи
фотороботов-призраков!
Спаси, Господи Боже,
мою девочку с пирсингом!

2000

ЭСАМБАЕВЫ

Ушёл Великий чеченец.
Остался продлить дела
земной его порученец —
племянник – врач Абдулла.

Он пользуется в Подмосковье
со всей России народ.
Он пользуется любовью.
Он денег с них не берёт.

Врач экстрасенсорен, молод.
Свинину не чтут уста,
но бабки в церковке молят
за Абдуллу Христа.

Когда Махмуд Эсамбаев
плясал, эротичней пантер,
клипсы, как замки с амбаров,
в восторге терял партер.

Как шторм бескорыстных баллов,
пронёсся король папах...
Людскую юдоль убавив,
теперь другой Эсамбаев
мальцу выправляет пах.

Каракульча Махмуда?
Капризный изгиб плеча?

Нас всех исцеляет чудо
танцора или врача.

Откуда же в сердце трепет,
как будто Божья рука
каракулевый пепел
не стряхивает с мундштука?...

В чём предназначенье нации?
Чтобы сжечь у соседа дом?
Сажать заложников на цепь?
Иль чтобы помочь в ненастье
и душу лечить добром?...

Мы все – пациенты бездны.
Ужель средь враждебной мглы
человеческий след исчезнет
Махмуда и Абдуллы?

2000

САМОКАТЫ

В охру женщину макайте,
красьте ею луг Винсента!
Вон она – на самокате
мчит, похожа на проценты.

Маленькие камикадзе
между трейлеров с прицепом
проскользнут на самокате —
на колёсиках процентов.

Вслед, отталкиваясь пяткой,
спятивший Мафусаил,
как лакеи на запятках,
на работу укатил.

Мчатся (вряд ли на работу)
члены русского Пен-центра
на свободу! на свободу!
на колёсиках процентов.

Пузо, груженное бюстом,
самокатик, уноси,
как несут кочан капусты
электронные весы.

И не рассчитав удара,
толстомордик из качков
проскользит по тротуару
на колёсиках очков.

От Малаховки до Мальты
роликам грозит закат.
Поколение асфальта
выбирает самокат.

Мир пузырится, как тоник.
Ты паришь, как на катке,
одноногий аистёнок,
стоя на прямой ноге.

Значит, не было ошибкой
наше детство нестерильное —
из доски и двух подшипников
мы идею мастерили.

Это кайф беспрецедентный,
знают взрослые и дети —
на колёсиках процентов
пролететь через столетия.

– Куда мчишься, самокат?
– В Самарканд!

2000

* * *

На закате плещет мою нишу
нищими рубинами волна.
Я тебя сравнением не унижу,
нищая любимая страна.

У меня просроченная виза.
Тебе будет проще без меня.
Жаль, что я, Россия, не увижу
твои золотые времена.

2000

МАГАЗИН «МОСКВА»

Вентилятор – нелетающий пропеллер.

И тревожно, честно говоря,
что стихи мои опять бестселлер —
«Лучшая продажа февраля».

Лучшая февральская обманка,
том-фантом за 42 рубля...
Снег обескураженно обмякнет —
лето в середине февраля!

Я читаю, одинок, как мамонт,
след от шин, как зубчики Кремля...
Вновь надежда нас продаст, обманет —
лучшая продажа февраля.

2000

ТРАУР

«Смирно!» Души на смотрю.
Над страной — чёрный прапор.
Боже правый, моя гу!..
Траур.

Станный трафик накатил.
Вдовам не помогут травы.
Всюду чёрный негатив —
траур.

Фестивальные кентавры,
жрите чёрную икру!
По матросу Игорьку —
траур.

Кто ответственные лица?
Люди чести, флотских аур?
Ни один не застрелился.
Траур.

С утра слышу до утра:
«Утраутрау...» Рядом травят.
по живым ещё вчера —
по себе мы носим траур.

НТВ и Си-би-эс
задрожат, как сети траулера.
Траур носим по себе.
По надежде носим траур.

Вечный траур по Геннадию:
жизнью, из последних сил,
может, нас с тобою ради,
он реактор заглушил.

Моряками среди мора
остаются моряки.
И на Баренцево море
лягут тяжкие венки.

Женщина в косынке бьётся,
видя, как плывёт венок.
Был старлеем или боцманом?
«Кто, сынок, тебя вернёт?»

На мгновенье над страной
оглянется, не грешна,
называема душою,
траурная тишина.

2000

МОЛИТВА О «КУРСКЕ»

Мертвецы стучат – живые! —
по железному нутру.
Офицеры, рядовые
бьются, как стенокардия,

помнят мать, жену, сестру...
Времена глухонемые.
Господи, уйми стихию!
Дай надежду, хоть искру...

– Куда держишь курс, Россия?
– www.KURSK.ru

2000

ОТКРЫТИЕ ЧЁРНОГО КВАДРАТА

Я открыл чёрный квадрат.
Квадрат сейфа чернеет на стене.
Я назвал код.
Квадрат открылся.
Я спустился в чёртов квадрат.

Ты осталась снаружи, держа верёвку,
чтобы страховать меня.

Что за?
Что за шторкой фотоаппарата?
Кто снимает наш компромат через зеркало?
Что за?

Что за плитой постамента? Памятник Че?
Памятник Чехову? «Чаровница» Кватроченто?
Что за?
Запонки из агата?
Кровать чёрного дерева для членов Политбюро?

Держи, милая, не отпускай!
Что стоит за понятием «К. Малевич»?
ЧК?

Чек?
Чекрыгин?
ТЧК?
Чадра? «Cherry Garden»?
Тиски Чекатило?
Что с хаосом?
Штокгаузен?

Два тысячелетия имели двумерное сознание,
третье тысячелетие имеет трёхмерное – что за?

Держись, милая, за верёвку, только не отпускай!

что за что за что за
что за что за что за
что за что за что за
что за что за что за
что за что за что за
что за что за что за что?

Крышка захлопнулась.

За что?!

Век захлопнулся.
Меня затягивает бесформенная чёрная масса.
Батарейки моего телефона на четверть часа.
Я барабаню изнутри в крышку,
как в люк подлодки.

Как ты там?!

Забудь код!..

Что за?

2000

МОЁ ВРЕМЯ

Пришло моё время. Пускай запоздав.
Вся жизнь – только тренинг
пред высшим мгновеньем.
Отходит состав.

Пришло моё время.

Оно, моё время, взяв секундомер,
стоит на пороге.
А кто испугался, душой оскудел —
пусть делает ноги!

Сердца миллионов колотятся в такт
моим бумаженням.
Со мной – не абстракт! —
на Владимирский тракт
пришла моя женщина.

Мы – нищие брюхом. Как все погоря,
живу не в эдеме.
Но Хлебников нынче – ясней букваря.
Пришло моё время.

Да здравствует время, с которым борясь,
мы стали, как кремний!
Кругом вероломное время сейчас.
Но каждый в себе своё время припас.
Внутри – моё время.

Меня, как исчезнувшую стрекозу,
изучат по Брему.
Ну что на прощанье тебе я скажу?
Пришло моё время.

2000

* * *

Нас дурацкое счастье минует.

Нас минуют печаль и беда.
Неужели настанет минута,
когда я не увижу Тебя?

И неважно, что, брошенный в жизнь
мирового слепого дождя,
больше я никого не увижу.
Страшно, что не увижу Тебя.

2000

ПИРСИНГ

В тебе живёт сияние. Безжалостно
из тьмы пупок проколотый мигнёт.
Меж топилом и джинсами, как жалюзи,
просвечивает солнечный живот.

2000

АСЬКИ

По-английски и по фене
я секу.
Дай мне, Боже, вдохновенья —
ай-си-кью.
В жизни тесно мне, наверно,
босяку.
Выдам рифму поновее
вашингтонскому Ваську.
Кто вошёл к нам без секьюрити?
Айзек? You?
С кем тусуетесь, что курите?
Коноплю?
Гуру из Австралии
войдут в игру.
Шлёпанцы скакали,
как кенгуру.
Банк с кия снимай, художник,
просекай...
Дождик делает в окошке —
си-кью-ай
ай-яй-яй...
В императиве Канта
я парю.
С императрицей Катей
водку пью...

Меньшикову снится
барбекю.

Я изменщик, вор, царица,
I... seek... you...

«Дай мне розу-оплеуху», —
говорю.
Полная свобода духа —
ICQ.

2001

* * *

На стрёме
замрут века, дыханье затая.
Нас трое —
Бог, ты и я.

Закрою
твои глаза — ты видишь сквозь пупок.
Нас трое —
Ты, я и Бог.

Настройте
тычинки, сумасшедшие цветы.
Мы трое,
Бог, я и ты, —
мир Трое! —
решили спор войны и красоты.

Гастроли
кончаются. Грядущее темно.
Мы – трое.
Но мы – одно.

3 января 2001

ПЕРВЫЙ В ЖИЗНИ СНЕГ

Белое, белое, белое
с семечками людей.
Белые бультерьеры
синеют, как парабеллумы,
на абсолютно белом.
Больно глядеть!

Кусай белизну пломбирную!
Взвей лапами пух-перо!
На клавишах лабух лоббирует —
Лобби – лоббилоббило – бело...

Шарпею не больше года.
Первый культурный шок.
Невинно идёт над городом
невидимый порошок.

Оставь человеку неба!
В груди у меня пожар.
Но завтра не будет снега —
шарпей сожрал.

И чтобы вы не пугались,
пред вами, хоть путь непрост,
как поднятый большой палец,
маячит шарпея хвост.

2001

XXL

Русский новейшина

Что там «новорусские»?!
В мир, испуг навевявши,
входят неворующие
русские новейшие!
Очень часто гений
на условность харкает,
что аборигены
называют «хакером».
Роковые Чацкие,
не поймут старейшины
рокового, чатского
юного новейшину!
Судьи Калифорнии,
чем срока навешивать,
постигайте формулу
рифмы «innovation»...
Лишь бы вы, старейшины,
талант не угробили...
Русскому новейшине
присудите Нобеля!
XXL.

Нынче время – крупных лаж,
краж, потерь.
Время – extra-extra-large —
XXL.
Прошлый век нам выдал марку —
«СССР».
Новый лидер носит майку
«Экс-экс-эль».
Выше всех на Новом годе
наша ель.

Мы живём по страшной моде —
XXL.
В небе лопаются молнии.
Тур Эйфель
примеряет джинсы модные
XXL.
Пётр Великий, выдув губки
с водкой эль,
акселерат, глушил из кубка
XXL.

XXL – НАШ ПУТЬ
К ПОБЕДАМ.
ГРОЗИТЬ
МЫ БУДЕМ ШВЕДАМ.

Мы – нейтрально элегантны
к грязи всей.
Мы – нитратные гиганты
XXL.
У мужчин, как и у женщин,
та же цель.
Несогласные на меньшее —
XXL.
Червячок в нас заголился.
Злит прогресс.
Дразнит антиглобализмом
буквы «S».
Ни экс-Маркс и ни экс-Ельцин —
наш Устав.
Мы желаем, XXL-цы,
чтоб стал мир – большое сердце,
extra-love.

ЗОЛОТАЯ СИНЕВА

Сколько пляжных песчинок!
Сколько в женщине пор!
Внешность с первопричиной
За Тебя ведут спор.

В каждой поре – песчинка.
Сколько времени? Но
все часы – на починке!
Время засорено.

Сколько мы засорили
в этой жизни с Тобой!
Скольких мы озарили
золотой синевой!

Эти брызги сухие —
точно искры души.
Что кому вы сулили?
И кого подожгли?

Но едва опочили —
просыпаетесь вы
в ореоле песчинок
золотой синевы.

Как в восторженном страхе
вихревого столба,
Ты крутилась, вытряхивая
целый пляж из себя!

Никакие бесчинства
тех, кто в Юрмале был,
не заменят песчинок
ювелирную пыль!

Даже в Юрский период
на руке бытия
две песчинки прилипли —
и Твоя, и моя.

Помнишь,
в Крито-Микенах
проглотила тоска,
закружив манекены
из живого песка?

Что ещё рассказали,
сквозь загар не сильны,
синячки под глазами

золотой синевы?

Всё окажется лажей.
Вновь очутитесь вы
в белом золоте пляжа
и чуть-чуть синевы.

В том тумане не ясно,
где и кто ты такой...
Я с Тобой обменяюсь
золотою ногой.

ТРИ АДА

Душу парализовали
три кита цивилизации:
тоталитаризм,
тотализатор
и тотальное лизание.

ВЕТЕР

Ветер
гуляет по выставке Фешина.

С петель
срывающиеся повешенные...

Сеттер
прилип к потолку,
словно тряпка уборщицы.

Ветер свободы,
ветер убожества!

В Питер
умчалась Ты – я не заметил —

Ветер...

ЮБИЛЕЙНОЕ

Я в Ригу еду в белых джинсах.
Восьмисотлетье в голове.
В национальном я меньшинстве.
Но в сексуальном большинстве.

ЧАСЫ СЫЧА

Для меня год начался символично. Я летел в Дельфы на Международный день поэзии.

В аэропорту понял, что забыл дома часы. Подошёл к девушке, продавщице часов: «Дайте мне, пожалуйста, самые дешёвые часы, чтобы их потом можно было выбросить». Стоящий рядом незнакомец сказал: «Андрей Вознесенский? У меня есть для вас часы. Я хочу, чтобы моё время было на вашей руке». И подарил мне футляр с часами Картье. Это очень дорогие часы с двумя циферблатами. Они показывают европейское и азиатское время.

Мы познакомились. Звать его Владимир Михайлович Боград. Ему 41 год. Бизнесмен, председатель правления одного из альянсов. Новый русский? Может быть. Но не из тех, о которых рассказывают анекдоты. Я назвал бы его новейшим русским. Говори после этого, что Россия не интересуется поэзией.

Что говорить о шоке, который потряс мир 11 сентября! Я очень люблю Нью-Йорк. Взорванный самолёт вопит о новом сознании. Тысячелетие, увы, началось с этого.

Частная жизнь становится публичностью. То, что было трагедией для художников прошлых столетий – жизнь на экране, муки ада, и т. д., – сейчас становится естественной нормой? Не отсюда ли интерес к передаче «За стеклом»?

В начале сентября на Новодевичьем наконец был сооружён памятник на могиле моих родителей. Памятник создан по моему архитектурному проекту. Идея проста – трёхтонный шар серого гранита находится на наклонной плоскости. Его удерживает от падения небольшой крест. Из меди с глазурью. Освящение памятника провёл отец Валентин.

Проект мой был с удивительной бережностью и тщательностью выполнен в мастерской Зураба Церетели. Спасибо Зурабу, поклон резчикам Давиду, Важе и разнорабочим, которые на руках, без крана, установили шар.

Вчера этот беспощадный шар поглотил новую жертву – сибирского страдальца за всех нас, за Россию – Виктора Петровича Астафьева.

Б. Г.

Ночь. Рок-н-ролл. Жарко.
У музыки одна корысть:
толпа вздымает зажигалки,
давая небу прикурить!

* * *

Прикрыла душу нагота
недолговечной стеклотарой.
Как хорошо, что никогда

я не увижу Тебя старой.
Усталой – да, орущей – да,
и непричёсанной, пожалуй...
Но, слава Богу, никогда
я не увижу Тебя старой!
Не подойдёшь среди автографов
меж взбудораженной толпы —
ручонкой сухонькой потрогав,
не назовёшь меня на ты.
От этой нежности страшенной,
разбухшей, как пиковый туз,
своё узнавши отражение,
я в ужасе не отшатнусь.
Дай, Господи, мне проворонить,
вовек трусливо не узнать
Твой Божий свет потусторонний
в единственно родных глазах.

* * *

Из нас любой – полубезумен.
Век гуманизма отшумел.
Мы думали, что время – Шуман.
Оно – кровавый шоумен.

МОСКВА. КРЕМЛЬ

Восхищается толпа
у Иванова столпа:
«Нас красивый силуэт
изнасилует!»

ДВОЙНОЙ ЦИФЕРБЛАТ

В. М. Бограду

Мне незнакомец на границе
вручил, похожий на врача,
два циферблата, как глазницы, —
часы сыча, часы сыча.

Двухчашечные, как весы,
двойное время сообща,

идут на мне часы, часы
ЧАСЫЧАСЫЧАСЫЧА.

Четыре в Бруклине сейчас,
двенадцать – время Киржача.
Живём, от счастья осерчав
или – от горя хохоча?

Где время верное, Куратор? —
спрошу, в затылке почесав —
На государственных курантах
иль в человеческих часах?

С ожогом не бегу в санчасть —
мне бабка говорит: «Поссы...»
Народ бывает прав подчас,
а после – Господи, спаси!

В Нью-Йорке ночь, в России день.
Геополитика смешна.
Джинсу надетую – раздень.
Не совпадают времена.

Я пойман временем двойным —
не от сыча, не от Картье —
моим – несчастным, и Твоим
от счастья накоротке.

Что, милая, налить тебе?
Шампанского или сырца?
На ОРТ и НТВ
часы сыча, часы сыча.

Над Балчугом и Цинциннати
в рубашках чёрной чесучи
горят двойные циферблаты
СЫЧАСЫЧАСЫЧАСЫ.

Двойные времена болят.
Но в подсознании моём
есть некий Третий Циферблат
и время верное – на нём.

СТАТУЯ

Безветренна наша площадь.
Зачем же перед Кремлём

подставили маршалу лошадь,
виляющую хвостом?

Но ветер, крутя, как штопор,
в невидимый ток облёк
ту Топкую, адскую топку...
(Учения. Код «Снежок».)

Овца тепловыми столбиками
кружилась. Спаси нас, Бог!
Водитель запомнил только:
«Как по спине утюжок...»

Всё глуше народный ропот.
А маршалу за спиной
Всё чудится медный штопор
завинченную виной.

11 СЕНТЯБРЯ

Одиннадцатого сен-тября,
сен-Тибра и сен-тепла?
Сен-табора, сен-базара,
соседского сенбернара,
влюблённого в сен-Тебя?
И птичьи сен-караваны,
несущиеся, трубя...
Сен-Библии, сен-Корана,
сен-Торы и сен-террора?
След стибренного урана?
И в небе зрачком обзора
застывшие ястреба.
Одиннадцатого сентября
пила ты из кружки этой,
два башенных силуэта
в «11» собирая.
Трейд-центр
ещё не был сен-центром.
Мы жили по старым сентенциям
любви и морали для
(и мира не передела).
От ужаса можно сдвинуться!
И я сентября одиннадцатого:
одиннадцатого сентября
проснулся в чужой гостинице
от крика нетопыря.
И прошлого века фразы

уносятся к Богу в рай:
«We must love each other
or die».
Меж ужаса центробежного
ответил новый Сент-Бёв:
«Поскольку смерть неизбежна,
любите любовь».
И третий, ушедший в светопись,
сказал, сухой, как самум:
«Мораль – не любовь,
не ненависть – а ум...»
Пошло мозгов расчленение.
И кружка разбилась, бля...
ШЛО НОВОЕ ЛЕТОСЧИСЛЕНИЕ
С 11 СЕНТЯБРЯ

ШАР АДА

Декабрь – дебаркадер.

Толпятся, ожидая отправки пассажиры – персонажи ушедшего переломного года – деревья, фигуры, собаки – события и герои моей последней книги, ангелы, алкаши, бабуся-врунишка из передачи «Дачники», объявившая, что и я бывал в гостях у журналиста Луи. Исправляя неряшливость телеавторов, повторяю, что я не только никогда не был у него на даче, но и даже не был с ним знаком... А рядом сутулится другой Луи – великий Луи Арагон, крупнейшая фигура прошлого века... Наш бардак кодируется в строфы. Кабарда инстинкта переходят в кардан разума.

С Пьером Карденом я виделся 1 декабря этого года. Я приехал к нему с киногруппой поговорить о 20-летнем юбилее «Юноны и Авось». Он встретил нас стройный, страстный. Сказал: «“Юнона» – самый сильный спектакль, который я видел в жизни». Неслучайно в его парижском театре, где когда-то были наши гастролы, на фризе из афиш лучших спектаклей помещены две афиши «Юноны». Два креста, два Андреевских флага.

В Каннах сквозило. Но хозяин не признавал пальто. Его уникальная вилла, построенная без единого прямого угла, подобно осьминогу, ворочалась в сумерках.

Барокамера памяти?

21 декабря состоится мой вечер в Театре на Таганке – поэзия в сопровождении лазера. 28 декабря я выступаю в Киевской консерватории... Что ж, погрузимся и мы в этот декабрьский дебаркадер со своим скорбным скарбом.

Куда нам плыть? В светлое будущее?

Брр... Dark.

КРОВЬ

На кухне пол закапан красным.
Я тряпку мокрую беру,
как будто кнопки из пластмассы
я отдираю на полу.

Об шляпки обломаешь ногти.
Ты поправляешься уже.
Но эти крохотные кнопки
навек приколоты к душе.

ЛИФТ ЗАСТРЯЛ

В лифте, застрявшем от перегрузки,
на потолке в виде капель – наш выдох.
Ты по-английски сказала: «Вы – русские.
Где выход?»

Русская тема, пардон, моветонная!
Век свихнут.
Кровь кровью мы ищем, духовные доноры,
Свой выход.

Чавкает сердце. Темень и сетка.
Спичкою вспыхнут.
Кто-то под юбкою у соседки,
ишь, ищет выход.

Шлемы трещали электросваркой,
но этот выход
не находил гениальнейший Вагнер
Рихард!

Рафаэль Санти, лгать перестаньте!
Секс колбасится.
Пошлость витрин провоцирует анти-
глобалиста.

Вы хоть Россию избавьте от правил
взаимовыгод...
«Выхода нет, – проповедовал Павел. —
Значит, есть выход».

И двоерукий Христос над оравой
путь указал человеку и выхухолу:
то ли налево, то ли направо?
Где выход?

Нету идеи. Как неприкаянно
где-то, без тела,
воет без нас, потерявши хозяина,
бродит идея.

Я вырываюсь из лифтовой клетки,
выломав дверцы.
Нет входа в рай. Снова шахта и сетка.
Входа нет в сердце.

Пётр искривится улыбкою месяца.
Черна свобода.
Чавкает сердце. Выход имеется.
Только нет входа.

2001

ДОЧЬ ХУДОЖНИКА

Все таланты его от дочери.
Он от дочки произошёл.
Гениальные многоточия
он малюет на мокрый шёлк.

Почему он, гулявший дочерна,
видит в бритвенном зеркальце
как великие очи дочери
расцветают в его лице?

Был он скряга, потухший кратер,
нынче пробует всем помочь.
изменила его характер
прародительница дочь.

А сама пиво пьёт наивно,
в комбинезончике, как оса,
переведши талант на имя
новорожденного отца.

А ему всех наград не надо
лишь бы мог день и ночь толочь:
«доча – доча – дочадочадо – ч а д о —
дочь».

Не таил он в душе заточку,
зато в будущем витал —
муку взяв на себя за дочку,
чёрный кайф предугадал.

Так закидывают альпинисты,
крюк с верёвкой на неба край,
чтоб вытягивала неистово
та верёвочка к Богу, в рай!

2001

TRADE CENTER

Америка по всем программам.
«На что способен Человек?»
В глазах – обломки чёрной рамы.
НЕ ПОНИМАЮ НИЧЕГО.
Всё это было не макетом,
не Голливуд на нас попёр.
Ревёт дымящийся Манхэттен,
как потерявший зуб бобёр.

Чей
самОлёт
вбит
в стену
кляксой?

Он тыщи жизней уволок.
Цивилизация в коллапсе.
Избави Бог! Избави Бог!
И трафик душ, спеша расстаться,
крутился зло и горячо.
Кому несут москвички астры?
Кому ещё?... Кому ещё?...
И сероглазую студентку,
глазевшую на Пентагон,
оберегите, не заденьте!
Скорее, милая, бегом.
Есть вечность зла.
Есть свет и вечность.
Дышала, схожая с Тобой,
мучительная человечность —
какой ценой? какой ценой?
Цивилизация в коллапсе.
По тёмным лестницам кружа,
больную вынесли в коляске
с 68-го этажа.
Как здорово, что столько доноров.
У крови лидеры свои.
Смысл жизни не в рублях и долларах,

а на крови, а на крови.
Нам остаётся только тайна.
Осталась пыль. Остался гул
от сухопутного «Титаника»,
который в небе затонул.

Большая кровь побила рейтинг
былых эпох. На что нам, Бог,
кровавого тысячелетия
непредсказуемый пролог?
Иное наступает время.
Иные слава и позор
ещё не ощутимы всеми.
Но счёт пошёл, но счёт пошёл.
Всё будет: счастье, мелодрамы,
успех, в любви – волюнтаризм.
Но в чёрной раме, в чёрной раме
на всю оставшуюся жизнь.

11 сентября 2001 года

ЧАТ ИСТОРИЧЕСКИЙ

Голосина, здравствуй, голосина!
Плётку в Пензе обнаружил перст судьбы.
Надо мной, над беспартийною Россией
воет лысый шар «уйди-уйди!»

Голосина с того света, голосина...
Для того ли он людей освобождал, —
на своих крестьян – чтоб Хиросимой
сбросить атомную бомбу на Урал?!

Вверх ногами лампой керосиновой
набухает бешеный кулак.
«Вознесенский, – воет голосина, —
господин!» (что означало враг).

Пахло водкой, ненавистью, щами.
Я не помню даже, что молот.
Чрезвычайное чревоуважение
превращало встречу в монолог.

Голосина колбасится, голосина.
Был упитан наш царёк, но хреноват.
Он от бешенства стал даже красивым,
родину к поэту взревновал.

Помнишь, ты был следующим, Вася.
В чём была вина наша, Васо?
В рёве автоматчиков «Сдавайся!»
были мы живыми. Вот и всё.

С той поры в покоях императорских
воцарились мат и лимита.
Стали туалетствовать в парадных.
Где Никита? Знаем – «Никита».

Всюду, когда я казался весел,
надо мной, между улыбок и зубил,
он свистал, сметая залы с кресел.
Годы шли. И я его забыл.

Почему же он сегодня именно
покидает в Пензе мавзолей?
Воет век на собственных поминках.
И блефует, что он всех живей.

Хрюк кабаний. Чавканье трясины.
Над интеллигенцией – кулак.
«Ишь, какой ты, – воет голосина, —
Пастернак!» (что означало враг).

Игнорируйте его отчаяние,
нутряной и убиенный рёв,
хакеры, pew-мальчики очкастые,
а иные даже без очков!

Но в веках остался жест бессмертный:
с кулаком взметённая рука —
как спускают воду из бачка.
(Продолжительные аплодисменты.)

ЧАТ ЛУННОЙ РЭПСОДИИ

Партия и фортепьяно

Луна на шифере. Окошки в испарине.
Век двадцать первый. Столовая-спальня.
Я с плеером жду тебя ночь напролёт.
– Почему вы афишируете, что вы не член партии?!
«Я не член партии»! Вызов даёт!
Сотрём всех, кто стоит на пути
Коммунистической партии!

Сотрём!

Где тебя носит? Все кончились party.
Время близится к трём.
Опять «тойота» в окне незавешенном...
И опять стороной...
– Ваши дела говорят об антисоветчине!
Нет, вы – член партии. Только не той...
Я буду бороться против всякой нечисти.
«Я не член партии» – ишь ты какой!
Хотите указать путь человечеству?
(Аплодисменты. Крики «Долой!»)
Не пора ли, птишка, домой?
А вдруг вокруг тебя любера?
Или под выборы
нам опять вставят клизму чеченцы?
– Либерализму
здесь нет места, господин Вознесенский!
Вы хотите нам какую-то партию беспартийных...
Гляжу на твои картины:
у женщины ум в инстинкте —
смесь Левитана и поп-арта.
– Это клевета на партию!
(Аплодисменты. «Вон из страны!»)

Ах, как я ждал твоей предрассветной
тишины!..
Я слышу, как на далёкой пристани
стихает полуночный мат...
– Ну как же! Родился Принц!
Все леса шумят.
Вам вскружил голову талант...
Но как ты одна среди страшных улиц?
Вчера в Очакове трое качков...
Луна, как платье, висит на стуле.
– А вот два агента носы воткнули.
Один очкастый, другой без очков!
Экран: «Отче наш» поёт Михалков
Сергею Владиленовичу. Ночь черна.
Чечня не выходит из головы.
– Вы по своим стреляете! А кто свои?

Не хватайте ночных телефонов!
А вдруг это ты из больницы в Лефортово?
И не можешь вылететь в форточку?...
Нет. Опять эта школа злословия,
у, шкода поганая...
Слова затишены. Трубка повешена.

– Мы создали условия
свободы не для пропаганды

антипартийщины и антисоветчины.
Кого обнимает Твоё распятие?
Камо грядеши? Куда идёшь?
– Партия, партию, партией...
Право на молодёжь... Вы говорите ложь!
– Нет, не ложь!
А брошь?
Которую якобы подарил Диор?
(Аплодисменты. Крики «Позор!
Дави сучат!»)
В дверь стучат. Лишь бы не отперли.
Я без документов. Что скажут оперы?
Кто я? Да ещё с ключами... Вот вопрос.
Дождик осенний
– Никакой оттепели.
Или лето, или мороз!
Вы скажете, я зажимаю,
я – Секретарь, Председатель!
Как книксен жеманный,
приседает белый рояль.
И кресло – в присядку.
«Мадрид твою!» – сегодня играют «Спартак» – «Реал».
Я спятил.
– Если вы не перестанете думать, что вы родились гением...
Экран: игра офигенная!
Ведёт «Спартак».
Пас. Тренер. Я те толкану!
– Ишь ты какой Пастернак!
Мы предложили Пас...тернаку,
чтоб он уехал. «Спартак» – призёр.
(Аплодисменты. Крики «Позор!»)
Окно поехало по потолку.
«Вольво».
И опять не сюда.
– Мы никогда не дадим врагам воли,
н и к о г д а!
Для таких будут самые жестокие морозы!
(Открывает холодильник.)
Хорошо бы попитаться...
(Аплодисменты, переходящие в овацию.)
Есть ветчина...
– Антисоветчина! —
но какая-то антипатичная,
цвета Паприщина...
– Антипартийщина!
(Одинокий антиаплодисмент.)
А плодись ты в рот, ед ассортимент!
За год не съесть.
Ещё бы штопор.

– А ты што хлопал?!
А кто ты есть?
Творожник с корицей.
Полбанки «Невского».
– Я художник, Голицын.
Я люблю стихи Вознесенского.
– А ещё что ты любишь?!
– Ещё Маяковского...
Ещё хрен с морковкою.
Ещё опята – трупики лета.
Ещё пудинг.
И паста в баночке.
Коньяк не допит, но запит.
(*Опять к поэту.*)
– В тюрьму мы вас сажать не будем.
Завтра получите паспорт!
И катитесь к чёртовой бабушке!
К своим...
Вам нравится Запад —
по-жа-луй-ста!

Я засыпаю от тепла и жалости.

Засыпаю под ор трафаретный.
Мне снится бешеная тоска —
обида непризнанного поэта
на принца, пришлого новичка.

Не всё развалил он при спешке вечной.
Дурной премьер. Деловой зампред.
Но никто не утешил его сердечно:
«Никита Сергеевич, вы – поэт!»

И он прослезился бы так нелепо...
Он не был знаток кукуруз и реп.
В нём жил Поэт, реформатор рэпа,
ужастика в сите «рэп».

ООН просвещал он туфлей, поддатый
колхозный сюрреалист.
Не зря оппонент написал когда-то:
«Хрущёв восхищает меня как стилист».

Любой человек не рождён бездарным.
Не всякий нашёл себя как поэт.
И рэп с бэкграундом берестяным
поймут, как и я, через много лет.

Отснились, как сон, «анти – парти – анти»...

– ПЕРЕСТАНЬТЕ! —

(Ты вбегаешь и вырубаешь кассету.
Твои бёдра обтянуты в сетку,
как на бутылке «Кьянти».)

И в морозилке не партизаньте!
Ах, у нас гости?! И у них ключи?
Сам плеер включился? А ты – отключи.
Нужна не милиция, а врачи!
Милый, прости меня! Доброе утро,
Как пить хочется! Есть цикута?
(Снимает прикид с воланами.)
Где я была? Да всё время в ванной.
Лежала в глубоком обмороке.
Понимаешь, вошла, как всегда, смиренная.
А он там сидит.
Я думала – бандит.

А он – оборотень. И гляделки сузил.
(См. предыдущий текст.)
Я всегда говорила, что наш санузел
Совмещён с иным измерением...

Как новый век зануден!
Хочу в другой миллениум.
(Идёт к роялю.)
Где тут педали?
(Крыло подымается.)
Улетаю!
Без меня тут парьтесь!
Не, я не пьяная...
ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ
ФОРТЕПЬЯНО!

*(Доносится рэпсодия и одномоментно
бурные продолжительные аплодисменты.)*

2002

* * *

Архитектуру не приемлю,
когда вокруг лесной тропы
российскую больную землю
сосут кирпичные клопы.

* * *

Все товарищи сегодня – господины.
Над попсинною страной наискосок
голосина стонет, голосина —
с ним навек мой волосиный голосок.

Кто обидел и кого обидели
над землёй сплетённые летят.
Виноваты только обвинители.
Разве виноватый виноват?

2002

ДЕМОНСТРАЦИЯ ЯЗЫКА

Константирует Кедров
поэтический код декретов.
Константирует Кедров
недра пройденных километров.

Так, беся современников,
как кулич на лопате,
константировал Мельников
особняк на Арбате.
Для кого он горбатил,
сумасшедший арбайтер?

Бог поэту сказал: «Мужик,
покажите язык!»

Покажите язык свой, нежить!
Но не бомбу, не штык —
в волдырях, обожжённый, нежный —
покажите язык!

Ржёт похабнейшая эпоха.
У нее медицинский бзик.
Ей с наивностью скомороха
покажите язык.

Монстры ходят на демонстрации.
Демонстрирует блядь шелка.
А поэт – это только страстная
демонстрация языка.

Алой маковкой небесовской
из глубин живота двоякого
оперируемый МаяКОВский
демонстрирует ЯКОВА...

Эфемерность евроремонтов
константирующий Леонтьев
повторяет несметным вдовам:
«Поэт небом аккредитован!»

Поэтического скинхеда
виден череп в компьютерной мышши.
Мысль – это константа Кедрова.
Кедров – это константа мысли.

2002

ЗАЗДРАВНАЯ ПЕСНЯ В ЧЕСТЬ ДВАДЦАТИЛЕТИЯ «ЮНОНЫ» И «АВОСЬ»

Прошлый век —
дилетант и миляга.
Нас спасают при катастрофе
два креста,
два Андреевских флага
и две чашки чёрного кофе...

Думал я – распад прекратится
в новом веке. Будет легко.
Что таит в себе единица? —
минарет? или флага древко?
Мир зачёркивают с отвагой
XXI века профи —
два креста, два Андреевских флага.
И ещё один, третий – в профиль.

Он страдал, модернистски дуря,
сикось-накось распятый толпой.
Но кресты Святого Андрея,
точно стропы, несут нас с Тобой.

Жизнь сильнее, чем нож отморозка.
Но по краю всех наших зол,
вертикально осталась полоска,
по которой Он в небо ушёл.

ЮБИЛЕЙ «ЮНОНЫ И АВОСЬ»

Верим мы, что огорчительно,
в евро-доллары-рубли.
Но Резанов и Кончита
говорят, что смысл в любви.
Двадцать лет как нас захавала
зрительская толкотня —
Рыбникова, Захарова,
и актёров, и меня.
Двадцать лет, как раскоряченных
политических слепцов
дразнит с юною горячностью
Николай Караченцов.
Сероглазый зайчик, Шанина
начала парад Кончит.
Музыка непослушания
в зале молодом звучит.
Минет век, но со слезами
будут спрашивать билет,
пока зрительницам в зале
будет по шестнадцать лет.
Пусть Резанов и Кончита
продолжают шквал премьер.
Для Тарзана и для Читы
поучительный пример.

2002

АВТОРЕКВИЕМ

Памяти У. Б. Йейтса

Дай, Господь, ещё мне десять лет!
Воздвигну Храм. И возведу алтарь.
Так некогда просил другой поэт:
«Мне, Господи, ещё лет десять дай!»

Сквозь лай клевет, оправданных вполне,
дай, Господи, ещё лет десять мне.

За эти годы будешь Ты воспет.
Ты органист, а я – Твоя педаль.
Мне, Господи, ещё лет десять дай.
Ну что Тебе каких-то десять лет?

Я понял: жизнь прошла как бы вчерне,

несладко жил – но всё же не в Чечне.
Червонец дай. Не жмись, как вертухай!

Земля – для серафимов туалет.
И женщина – жемчужина в дерьме.
Будь я – Господь, а Ты, Господь, – поэт,
я б дал тебе сколько угодно лет.

2002

* * *

Во мне живёт непостижимый свет.
Кишки проверил – батареек нет.
Зверёк безумья вьелся в мой
скелет.

Поэт внутри безумен, не извне...
Во сне
я вижу храмовый проект
в Захарово. Оторопел
автопортретный парапет...
Спасибо Алексу Сосне за помощь.
Дай осуществить проект,
чтоб искупить вину греховных лет!..

Я выбегаю на проспект.
На свет
летят ночные бабочки: «Привет!»
Мне мент орёт: «Переключайте свет!»
Народ духовный делает минет.
Скинхед
пугает сходством с ламою-далай
Мне, Господи, еще лет десять дай
транслировать Тебя сквозь наш раздрай!

Поэту Кисти ты ответил «нет».
Другой был, как Любимов, юн и сед,
дружил с Блаватской, гений, разгильдяй.
Поэт внутри безумен, не вовне —
в занудно-шизанутой стороне,
где даже хлеб мы называем «брэд».
Дух падших листьев – как «Martini Dry».

Уехать бы с тобою на Валдай!
Там, где Башмет играет на сосне.
У красных листьев
запах каберне.

Люблю Арбат, набитый, как трамвай,
проспекта посиневшее яйцо.
Люблю, когда Ты дышишь горячо.
Мне, Господи, ещё лет десять дай!

Какой ты будешь через десять лет,
Россия, с отключённым светом край?
Кто победит – Господь или кастет?
Мне, Господи, ещё лет десять дай!

Вдруг пригодится мой
никчёмный свет,
взвив к небу купол,
где сейчас сарай...
Безумье жить. За десять лет почти
безумье мысли может нас спасти.
Меня от слова не освободи —
хотя бы десять лет дай, Господи.

2003

ПОСТСКРИПТУМ

Двадцатилетнюю несут —
наверно, в рай?
За что заплатим новыми
«Норд-Остами»?
О, Господи, Ты нас не покидай!
Хотя бы Ты не покидай нас, Господи!

2003

ТЕМА

Жизнь вдохните в школьницу лежащую!
Дозы газа, веры и стыда.
И чеченка, губы облизавшая,
не успела. Двух цивилизаций
не соединила провода.

Два навстречу мчащихся состава.
Машинист сигает на ходу!
В толпах душ, рванувшихся к астралу,
в конце света как Тебя найду?

Что творится!..

Может, ложь стокгольмская права,
если убиенному убийца
пишет в рай ведущие слова?!

Нет страдания в оправдание тяги,
отвергающей дар Божий – жизнь.
Даже в Бухенвальде и в ГУЛАГе
не было самоубийств.

Чудо жизни, земляничное, грибное,
выше политических эскапад.
Оркестровой ямой выгребною
музыку в дерьмо не закопать!

Победили? Но гнетёт нас что-то,
что ещё не поняли в себе —
смысл октябрьского переворота,
некое смеркание в судьбе.
(У американцев – в сентябре.)

Если кто-то выжил, и вернулся,
и тусуется по вечерам —
всё равно душа перевернулась.
Всё равно он остаётся там.

Христиане и магометане.
Два народа вдавлены в «Норд-Ост».
Сокрушённо разведёт руками
Магометом признаваемый Христос.

Он враждующих соединил руками.
В новую столетнюю войну,
ненависть собою замыкая.
В землю ток уходит по Нему.

2002

МУЗА

Все мы Неба узники.
Кто-то в нас играет?
Безымянной музыки не бывает.

Тёлки в знак «вивата»
бросят в воздух трусики!
Только не бывает
безымянной музыки.

Просигналит «Муркой»
лимузин с Басманной.
Не бывает музыки безымянной.
Мы из Царства мумий
никого не выманим.
Мы уходим в музыку.
Остаёмся именем.

Чьё оно? Создателя?
Или же заказчика?
Одному – поддатие.
А другому – Кащенко.

И кометы мускульно
по небу несутся —
Магомета музыкой
и Иисуса.
Не бывает Грузии без духана.
Не бывает музыки бездыханной.
Может быть базарной,
жить на бивуаках —
но бездарной музыки не бывает.
Водит снайпер мушкой
в тире вкусов:
Штакеншнайдер? Мусоргский?
Мокроусов?
Живу как не принято.
Пишу независимо,
слышу в Твоём имени пианиссимо.
Жизнь мою запальчиво
Ты поизменяла —
музыкальным пальчиком
безымянным.
Полотенцем вафельным
не сдерите родинки!
Ты, моя соавторша, говоришь мне:
«родненький»...
Ты даёшь мне мужество
в нашем обезьяннике.
Не бывает музыка безымянной.

2003

НАДПИСЬ НА ШЕСТОМ ТОМЕ

Добавок-том назвал я впопыхах:
«Пять с плюсом».
Он необычен и вульгарен, как

блядь с плюсом.
Плюс общий вкус, с которым,
как ни бьюсь,
не сдвинешь.
Плюс драки вкус, который тоже плюс —
не минус.
Плюс ты, к которой тороплюсь.
Плюс времени
моя неподсудимость!

Я жить любил, где глухомань и плющ,
но и на баррикадах не был трусом.
Плюс главное, о коем не треплюсь, —
трансляция иных, незримых уст —
жизнь с плюсом.
Стиль новорусский непонятен мне —
икона с плюшем.
Я крестик Твой в раскрытой пятерне —
пять с плюсом.

2002

ТЕРЯЮ ГОЛОС

1

Голос теряю. Теперь не про нас
Гостелерадио.
Врач мой испуган. Ликует Парнас —
голос теряю.

Люди не слышат заветнейших строк,
просят, садисты!
Голос, как вор на заслуженный срок,
садится.

В праве на голос отказано мне.
Бьют по колёсам,
чтоб хоть один в голосистой стране
был безголосым.

Воеет стыдоба. Взрывается кейс.
Я – телеящик
с хором из критиков и критикесс,
слух потерявших.

Веру наивную не верну.

Жизнь раскололась.
Ржёт вся страна, потеряв всю страну.
Я ж – только голос...

Разве вернуть с мировых свозняков
холодом арники
голос, украденный тьмой Лужников
и холлом Карнеги?!

Мной терапевтов замучена рать.
Жру карамели.
Вам повезло. Вам не страшно терять.
Вы не имели.

В бюро находок длится делёж
острых сокровищ.
Где ты потерянное найдёшь?
Там же, где совесть.

Для миллионов я стал тишиной
материальной.
Я свою душу – единственный мой
голос теряю.

2

Все мы простуженные теперь.
Сбивши портьеры,
свищет в мозгах наших ветер потерь!
Время потери.

Хватит, товарищ, ныть, идиот!
Вытащи кодак.
Ты потеряешь – кто-то найдёт.
Время находок.

Где кандидат потерял голоса?
В компе кассеты?...
Жизнь моя – белая полоса
ещё не выпущенной газеты.

Го, горе!
Р уоц,
м м
ос те ю!

3

...Ради Тебя, ради в тёмном ряду
белого платья,
руки безмолвные разведу
жестом распятыя.

И остроумный новоосёл —
кейс из винила —
скажет: «Артист! Сам руками развёл.
Мол, извинился».

Не для его музыкальных частот,
не на весь глобус,
новый мой голос беззвучно поёт —
внутренний голос.

Жест бессловесный, безмолвный мой крик
слышат не уши.
У кого есть они — напрямик
слушают души.

2002

ЛЕТО ОЛИГАРХА

Опаловый «Линкольн».
Полмира огуляв,
скажите: вам легко ль,
опальный олигарх?

Весь в чёрном, как хасид,
легко ль дружить с Христом?
Под Нобеля косить?
Слыть антивеществом?

Напялив на мосла
Ставрогина тавро,
слыть эпицентром зла,
чтобы творить добро?

Бежит по Бейкер-стрит
твой оголец, Москва.
Но время состоит
из антивещества.

Кар взорван. Бог вас спас.
Вас плющит сноуборд.
С экрана ваш палас летит,
как в рожу торт.

Как беркут поугрюмев,
вы жертвуете взнос.
чтобы в российских тюрьмах
исчез туберкулёз.

Жизнь – не олеограф
по шёлку с фильдеперсом.
И женщин, олигарх,
вы отбивали сердцем.

И пьёте вы не квас,
враг формул и лекал,
люблю безумство в вас,
аллегро-олигарх!

Люблю вместо молитв
отдачу сноуборду,
И ваш максимализм —
похмельную свободу!

Господь нахулиганил?
Все имиджи сворованы.
Но кто вы – «чёрный ангел»?
Иль белая ворона?

Над Темзой день потух.
Шевелит мирозданье
печальный Демон,
дух изгнания.

Надежда или смерть?
Преддверие греха?
Рубаю Божью снедь я,
олигарх стиха.

14 апреля 2003

BOTERO

В июне этого года я был на фестивале в Медельине, Колумбия.

Колумбия не мелочится в культуре: первый писатель мира сейчас – Габриэль Гарсиа Маркес, крупнейший скульптор мира – Ботеро. Оба колумбийцы. Ботеро родился в Медельине. Гигантские скульптуры его выставлялись на Елисейских Полях и в Нью-Йорке. Манделштамовские тяжесть и нежность характерны для его стиля. Личность безразмерна. Кватроченто

тянется в четвёртое тысячелетие. Ботеро сегодня – самый известный художник. На фестивале я встретился со старыми друзьями: шведом Ласси Содербергом, американцем Баракой, сильными колумбийцами Гарольдом Тенорио и Никалосом Суескуном, Атукеем Окаем – крупнейшим поэтом Ганы. Он когда-то учился в Москве. И на память по-русски читал моего «Гойю». Тысячи молодых колумбийцев на газонах и асфальте часами слушали стихи.

Есть русская интеллигенция. В Одессе неделю назад на моём вечере зал встал после того, как я прочитал стихи памяти Юрия Щекочихина. Пришла записка. В ней после комплиментарных слов было написано: «Как вы относитесь к родине сейчас, когда она плюёт на всех на нас?»

Ночью я написал ответ.

АСФАЛЬТОВАЯ ОРХИДЕЯ

Ботеро
напяливает женщин, как сомбреро.
Дух – это ропот тела.

РОБОТ + ТЕРРОР = БОТЕРО

А ты, на глазах худея,
добавила: «С нами Бог,
поскольку здесь орхидея —
национальный цветок».

Национальная идея —
красоты осколки.

У вас это орхидея,
у нас – колокольчики.
Фестиваль.
Асфальтовые орхидеи
лежат, от стихов балдея.
Льёт дождь. И партер промок.
Как лопасти,плыли зонтики.
Звонки отключает сотовые.
кустодиевский Вудсток.
Ты – стройная, как родео,
в лохмотьях «а-ля орхидея»,
на сцену мне шлешь кивок.

И в ухе у орхидеи,
как мухи, жужжат харлеи.

Асфальтовая орхидея,
ославлена поведением —
раз так! —
тинейджеровской Вандеи
в тебе проступал росток.

В роскошной дырявой ветоши
по странам летаешь ты,
национальная разведчица
в пробирочке Красоты.

Все женщины, что имею,
и те, что не целовал,
есть, в сущности, орхидеи,
упакованные в целлофан.

Прощай, орхидеево дерево!
Цветочный идёт транзит.
Тебе кубатура Ботерова
пока ещё не грозит.

АМУРЧИКИ ОХРЕНЕЛИ —
ПУКАЮТ, КАК ПАРАШЮТ.

ЭКСПОРТИРУЙТЕ ОРХИДЕИ,
А НЕ КОКАИНОВЫЙ ПОРОШОК!

Пока лучшая часть
населения ширяется —
Вселенная расширяется.
Все уродства, как розы Ширази,
диафрагмово расширяются.
Россия сужается,
а дурь расширяется.
Расширяется власть
шариатская.
Гроза. Молнирует
ширинка адская.
На кокаине грех разжираться —
только зрачки расширяются.
Поэтами не швыряются.
ПОЭЗИЯ РАСШИРЯЕТСЯ.

В саду

В саду ботаническом,
не платоническом,
читаем стихи орхидеям.
Лесные купавны
повторят губами
за нами, что мы не умеем.

Из бывших людей вы
ушли, орхидеи.
Усатые, словно креветки.
Ваш главный поклонник
повис, как половник,
хвостом зацепившись за ветки.

Стихи вам читали
мадам из Италии
и чёрная дева Астарта.
Цветок и мангуста
страдают от чувства,
взращённого на асфальте.
От чёрной разлуки
язык у гадюки
раздвоен, как светские фалды.

Де Сад ботанический
силлабо-тонический
стих понял, хоть был и невежда.
Мартын-половешка,
как девушка с Плешки,
хвост поднял на нас. Что невежливо.

Мы – детки фальстарта,
объедки Фальстафа.
Нам кажется пошлым Вивальди.
Быть может, моднее
и есть орхидеи —
люблю орхидею асфальта.

Разговоры

– Кем ты вырастешь, орхидея?
– Кустодиевской буржуазкой?
– Порн-моделью Фиделя Кастро?
– Комиссаркой с лицом Медеи?
– Или белой гориллой в маске?

Меня спросила кофточка с люрексом:
– Что: видеомы или стадионы —
полезнее для
революции?
Вопрос потонул
в сентенциях:
– Вы слышали про
Вознесенского?

Он задумал как архитектор
храма белую орхидею.
– В Боготу едет батюшка.
С попадѣй.
– Ах, mon dieu!
– Вождь повстанцев – выпускник Лумумбы,
на петлицах проступают ромбы.
– Зомбированные бомбы.
– А ты лук ел?
– Мир облукойлел.
– Про потери в Чечне слышали?
– У Ботеро такая харя!

– Кишки выпускают и пьют с тоски
московские выпускники.
Три орхидеи.
Так душно, что гаснут свечи.

Ботеро сказал: «Идея!»
И этим увековечен.
Он вырвал три орхидеи
из самых красивых женщин.
О`кей?
Вбил в каждую пару гвоздей.
И вот в галерее «New fashion»
работает двигатель вечный —
вентилятор из трёх орхидей.

ЗАДУМЫВАЮТСЯ КОНТРАМЕРЫ:
ПАРТИЗАНСКАЯ ПУЛЯ ЗАСТРЯНЕТ В
НЕОБЪЯТНОМ ЗАДУ БОТЕРО.
– НАДО БЫ ИЗ БТРа...

Медельин – Москва, 2003

* * *

Нам,
продавшим
в себе
человека,
не помогут
ни травка,
ни бром.
Мы балдеем
Серебряным
веком,
как Иуда

балдел серебром.

2003

ОБЛАКА

Улети моя боль, утеки!
А пока
надо мною плывут утюги,
плоскодонные, как облака.

Днища струйкой плюют на граждан,
на Москву, на Великий Устюг,
для отпарки их и для глажки
и других сердобольных услуг.

Коченеет цветочной капустой
их великая белая мощь —
снизу срезанная, как бюсты,
в париках мукомольных, вельмож.

Где-то их безголовые торсы?
За какую рекой и горой
ищет в небе над Краматорском
установленный трижды герой?

И границы заката расширя,
полыхает, как дьявольский план,
карта огненная России,
перерезанная пополам.

Она в наших грехах неповинна,
отражаясь в реке, как валет,
всюду ищет свою половину.
Но другой половины – нет.

БУЛЬВАР В ЛОЗАННЕ

Шёл в гору от цветочного ларька,
вдруг машинально повернул налево.
Взгляд пригвоздила медная доска —
за каламбур простите – «ЦветаЕва».
Зачем я езжу третий год подряд
в Лозанну? Положить два георгина
к дверям, где пела сотню лет назад —
за каламбур простите – субМарина.

С балкона на лагуну кину взгляд
на улочку с афишей «Vagina».
Есть звукоряд. Он непереволимый.

Нет девочки. Её слова болят.
И слава богу, что прошла ангина.

ОСЕНЬ ПАСТЕРНАКА

Люби меня!..
Одна была – как Сольвейг,
другая – точно конница Деникина.
Заныкана общественная совесть!
Поэт в себе соединял несое-
динимое.

Две женщины – Рассвета и Заката.
Сегодня и когда-то. Но полвека
жил человек на ул. Павленко,
привязанный, как будто под наркозом,
к двум переделкинским берёзам.

Он, мальчика, меня учил нетленке,
когда под возмущения и вздохи
«Люби меня!» – он повелел эпохе.

Он не давал разъехаться домашним.
«Люби меня!» – он говорил прилюдно.
И в интервью «Paris dimanche»-м,
и в откровении прелюдий.

Любили люди вместо кофе – сою.
И муравьи любили кондоминиумы.
Поэт собой соединил несое-
динимое,
любили всё: объятия, и ссоры,
и венских стульев шеи лебединые.

А жизнь давно зашла за середину,
У Зины в кухне догорали зимы.
А Люся, в духе Нового Завета,
была, как революция, раздета.
Мужская страсть белела, как седины.
Эпоха – третья женщина поэта,
его в себя втыкала, как в розетку —
переходник для исповедимого.

У Зи́ны в доме – трепет гарнизона,
и пармезан её не пересох.
У Люси – нитка горизонта
развязана, как поясok.

– Вас сгубит переделкинский отшельник, —
не царь, не государственный опшейник, —
две женщины вас сгубят.
I'm sorry.
Настали времена звериные.
Какие муки он терпел несои-
змеримые.

А жёны помышляют о реванше.
И, внутренности разорвавши,
берёзы распрямлялись:
та – в могилу,
а эта – с дочкой в лагерь угодила.
И в его поле страшно и магнитно
«Люби меня!» – звучит
без возражений.
И этим совершалось воскрешенье.

Летят машины – осы Патриарха.
Нас настигает осень Пастернака.

У Зи́ны гости рифмами закусывали.
У Люси гости – гении и дауны.
Распятый ими губку в винном соусе
протягивает нам
из солидарности.

У Зи́ны на губах – слезинки соли,
у Люси вокруг глаз синели нимбы...

Люби меня!
Соедини несое-
динимое...

Тебя я создал из души и праха.
Для Божьих страхов, для молитв
и траханья.
Тебя я отбирал из женщин разных —
единственную.
Велосипедик твой на шинах красных
казался ломтиками редиски.

Люби меня!
Философизм несносен.

Люзина? Люся?! Я не помню имени.
Но ты – моя Люболдинская осень.
Люби меня!
Люби меня!
Люби меня!

Лик Демона похож на Кугультинова.
Поэт уйдёт. Нас не спасают СОИ.
Держава рухнет треснувшей льдиной.

ПОЭТ – ЭТО РАСПЛАТА ЗА НЕСОЕ-
ДИНИМОЕ

2003

МОРЕ

Море разглаживает морщины.
В море – и женщины, и мужчины.
Глупо расспрашивать про причины.
Море разглаживает морщины.

Спят пеликаны, как нож перочинный.
Сколько отважных море мочило!
Пляж не лагает тебя. Молодчина!
Горе не страшно. Оно – не кручина.

Море разглаживает морщины.

ДЕНЬГИ ПАХНУТ

Деньги пахнут будущим,
тем, на что их тратим, —
для детсада булочкой
или же терактом.

Деньги пахнут жизнью,
мыслью миллионов.
Пахнут потным жимом
нищих чемпионов.

Деньги пахнут женщиной,
страстной мотовкой,
чуждой сбереженщине...
Новенькой церковкой.

Богом деньги пахнут,
детским марципаном.
Баху, как и Пахмутовой,
нужны меценаты.

Пахнут волей, Господи,
иногда тюрягою.
Чем их больше копите —
больше их теряете.

Впрочем, неприлично
говорить о деньгах.
Как хвалиться лично,
Колько трахнул девок.

Живите незапахнуто,
даже тот, кто в розыске.
Удобренье пахнет
будущими розами.

* * *

Как палец, парус вылез.
И море – в бигуди.
И чайки смелый вырез
у неба на груди.

2004

НЕ СЕТУЮ

Рыбу третьей свежести едим из Сетуни.
Поэты третьей свежести набрались сил.
Но не бывает отечества третьей степени.
Медведь вам на ухо наступил.

Моё отечество – вне всякой степени,
как Бога данность, —
к нему, точно к песне, всегда не спетой,
испытываю благодарность.

РАДИ ТЕБЯ

Ради тебя надрываюсь на радио —
вдруг Ты услышишь, на службу идя.
Я в этой жизни живу Тебя ради,
ради Тебя.

Я тренажеры кручу Тебя ради,
на пустом месте педали крутя.
В жизни, похоже, я кем-то украден.
И надо мною кружат ястреба.

Между убийцами выбор и пройдами.
Не ради «зелени» и тряпья,
не для народа я пел, не для Родины —
ради Тебя, ради Тебя.

Точно на диске для радиолы
дактилоскопическая резьба —
без Твоих пальчиков мне одиноко!
Приди ради Бога, ради Тебя.

Не в Петербурге, не в Ленинграде —
в небе над Невским мы жили с Тобой.
Третий глаз в лоб мне ввинтишь Тебя ради
антикокардой. Это любовь.

В моих фантазиях мало доблести,
жизнь виртуальную торопя,
я отучаю Тебя от комплексов
ради Тебя, ради Тебя.

Пусть пародийны мои парадигмы.
Но завтра сбудется трепотня.
Если умру я, повторно роди меня —
роди ради Бога, ради Тебя.

2004

НОВЫЕ СТИХИ

НОВЫЙ ПОЭТ

Старый корвет – самый юный и модный
тысячу лет.
Вышел на улицу без намордника
старый поэт.
В ужасе дети. Полыми флейтами
свищет скелет.
Вдруг проклянёт он наше столетие,
страшный поэт?
Мэтр партизанит хромой куртизанкою
под марафет.
Танки похожи на запонки
в грязном снегу манжет.
Ежесекундно рождается заново
новый поэт.
В жизни для женщин, в хохоте встречных
смерти ища,
старый поэт, ты бессмертен и вечен,
как человеческая душа!
Душа народа на предъявителя.
Возраста нет.
Где моя вера, шар из финифти?
Слово в зените через запрет?
Новые русские, извините,
я – старый поэт.

ОЗЕРО ЖАЛОСТИ

Твои очи – Женевское озеро.
Запрокинутая печаль.
Кто-то бросил? Сама ли бросила?
Жаль. На жизни написано: «ЖАЛЬ».

Вспышки чаек, как приступы боли,
что ко мне, задышав, спешат.
Точно пристальные магнолии,
украшающие ландшафт.

Сплюснен озера лик монголоидный.
Вам в душе не летать уже...

Нелетающие магнолии,
или парусник в форме «Ж».

Упредивши мужские шалости,
пережив успех и позор,
мы спускаемся к озеру Жалости,
может, главному из озёр.

Жизнь истоптана, как сандалии.
В диафрагме люди несут
это чувство горизонтальное,
сообщающееся, как сосуд.

Вздёрни брючный манжет, точно жалюзи!
И летит, взяв тебя в полон,
персональное озеро Жалости,
перепончатое, как баллон.

Жаль, желейка не повторится!
Жаль – Кустурица не Бежар,
жаль – что курица не жар-птица,
жаль.

Жаль прокладки, увы, не лампадки,
озаряющие алтарь.
А шарпея, смятого в складки,
что, не жаль?

Жальче, что моей боли схватки
тебя бросят в озноб и жар?

Почему это всё продолжается,
как элегия Балтрушайтиса?
Кто у чаши отбил эмаль?
Мы устали жалеть? Пожалуйста!

Нету озера! Нету жалости!
Опустите брючные жалюзи.
Проживём без жалости... Жаль.

Понимаю, есть женские козыри,
шулер некая, точка ги! —
шулер, некая точка рю,
чашу лермонтовскую допью...

Тебе фото Женевского озера,
точно зеркальце, подарю.

ОТКАТ

Благодарю тебя за святочный
певучий сад.
Мы заменили слово «взяточник»
на благозвучное «откат».

Мы в мировом правопорядке
живём фарцой.
С нас Бог берёт, как пчёлы взятки,
пыльцой.

Как хорошо в душе, и в лимфах,
и в голове.
Господь мне посылает рифмы,
себе взял – две.

Отказ от родовой фазенды.
Отказ от сдачи на лотках.
Откатывающиеся проценты.
В иные времена – откат.

А по ущельям и аркадам
акант цветёт.
Я научился жить откатом,
отказом от

экономических загадок,
пустых задач.
Ночь открывается закатом!
Люблю закат!

Откатываются тревоги,
от волн откат.
Откатывающиеся дороги
ведут назад.

Отряд ушёл беспрецедентно:
четверо ничком лежат.
Господь забрал себе проценты.
Откат...

* * *

Я хочу Тебя услышать.

Я Тебя услышать хочу.
Роза, ставшая усыхать,
шорох вечности обрета,
мне напомнит каракульчу.

Звук – пустышка, белиберда.
Стакан, звякнувший по кольцу.
Я хочу услышать Тебя,
прядь, что нотным ключам под стать,
и кишку, что бурчит опять, —
я хочу Тебя услышать —
блузки шелесты по плечу...

Всю Тебя хочу.

СОСКУЧИЛСЯ

Как скученно жить в толпе.
Соскучился по Тебе.
По нашему Сууксу.
Тоскую. Такой закрут.
По курточке из лоскут,
которую мы с Тобой
купили на Оксфорд-street.
Ты скажешь, что моросит...

Скучаю по моросьбе.
Весь саксаулочный Крым,
что скалит зубы в тепле,
не сравнится с теплом Твоим.
Соскучился по Тебе.

По взбалмошному леску
с шлагбаумовой каймой,
как по авиаписьму,
отосланному Тобой.

Соскучился по шажку,
запнувшемуся в дому.
Соскучился по соску,
напрягшемуся твоему.
Всю кучерскую Москву
ревную я потому,

что жили мы пять минут,
и снова опять во тьму!
И нас спасти не придут

ни Иешуа, ни Проку-...

Все яблочки из прейску-
червивые, точно Q.

Угу!
Я – совсем ку-ку!

Сейчас заскулю как су-
ка бескудниковская! Хочу
замученные жемчу-
жины серых Твоих глазищ!

Ты тоже не возразишь,
что хочешь на Оксфорд-street.

Гитара в небе летит.

При чём она? А при том!
Сказал мне Андре Бретон
о том,
что летит она,
похожая на биде!

Паскуды! Пошли все на!..
Соскучился по Тебе.

Соскучился и т. п...

ПРОЩАЙ, САЙГАЧОНОК!

Вертолётной охоты загадка —
тень, скакнувшая по холмам.
Как глазастый детёныш сайгака,
умерла Франсуаза Саган.

Нынче кажется несуразно —
когда мне, учащая пульс,
ты представилась: «Франсуаза»,
как сказала бы – «Здравствуй, грусть».

Стала горьким слоганом фраза.
Мне хотелось всего и сразу.
Я обидел тебя, Франсуаза.
С длинноногой ушёл, как хам.
Мы с тобой – скандальные профи,
персонажи для PAL/SECAM.

Виноватую чашечку кофе
не допью с Франсуазой Саган.

Кеды белые, как картофель
ежедневных телереклам.

Кто вмонтирован в современность —
Магомет или Иисус?
Нашей дезде: «Да здравствует ненависть!»
отвечаешь ты: «Здравствуй, грусть».

Нашим дням, ты сказала бы — полный,
не Великий пост, а постец.
Сайгачонку сломали крестец.

Абажур протрезвевший вспомнит
твою фразу: «Bonjour, tristesse».

Я теперь брожу по Парижу,
Грусть нелепа, как омнибус.
Всё прекрасно и не паршиво.
Наспех с кем-нибудь обнимусь.
Вдруг ты выглянешь, сайгачонок,
и в глазах твоих огорчённых —
Bonjour, грусть...

Там Гольбейн пьёт с Куртом Кобейном...
Тома Круза ждёт в гости Пруст.
Все обиды теперь — до фени...
Точно кайф мечты наизусть,
мне над чашечками кофейными
повторяешь ты: «Здравствуй, грусть».

Инакомыслие кокаина.
Ты простила. У ангелов стресс.
Мне прощаться с тобой наивно.
До тебя лишь один присест.
Груз души, что в тебе повинна,
тяготит. Абажур нетрезв.

Прощай, грусть. Твой «bonjour, tristesse!»
Как ты там? С кем шнуруешь кеды?
Я от ужаса отшучусь:
«Сайгачонок, бонжур, покедова!»
Прощай, грусть!

ПЛОХОЙ ПОЧЕРК

Портится почерк. Не разберёшь,
что накарябал.
Портится почерк. Стил нехорош,
но не характер.

Солнце, напрягшись, как массажист,
дышит, как поршень.
У миллионов испорчена жизнь,
воздух испорчен.

Почки в порядке, но не понять
сердца каракуль.
Точно «Варяг» или буквочка «ять»,
тонет кораблик.

Я тороплюсь. Сквозь летящую дичь,
сквозь нескладуху —
скаропись духа успеть бы постичь,
скаропись духа!

Бешеным веером по февралю
чиркнули сани.
Я загогулину эту люблю
чистописанья!

Скаропись духа гуляет здесь
вне школьных правил.
«Надежды нету – надежда есть»
(Апостол Павел).

Почерк исчез, как в туннеле свет.
Незримый Боже!
Чем тебя больше на свете нет —
тем тебя больше!

СЕМИДЫРЬЕ

В день рожденья подарили
мне заморский дылбушир.
Сальвадорье. Семидырье.
Трёх вакханок чёрных дыр.

Что пророчат их проделки?

Чтобы вновь башку разбил?
Кабинет мой в Переделкино
свищет сквозняками дыр.

В каждой женщине – семь дыр:
уши, ноздри, рот и др.
Но иного счастья для
есть девятая дыра.

Автор в огненном тюрбане
продуцирует стриптиз —
гениальный Мастурбатор?
Фиолетовый флейтист?

Праздник – шумная Ходынка.
Но душа заштопана;
закупоренная дырка.
Кто бежит за штопором?

Ищет рай душа Яндырова,
потеряв ориентир.
Что в подарок мне вкодировал
гений, прародитель дыр?

Сбросьте иго истеричек!
Дар – возможность стать собой.
Супернеэгоцентричность —
быть дырой.

Радырадырадыра —
возрождаемся, даря.

Сталин – Дали семинарий.
Что же, Господи, нам делать?!
И какое семидарье
жить с звездой № 9!

* * *

Памяти Алексея Хвостенко

Пост-трупы звёзд.
Отрубился Хвост.

Прохвосты пишут про Хвоста.
Ворчит святая простота
из-под хвоста.

Звезда чиста.
Прошу Христа
понять Хвоста...

Бомж музыки над площадью Восста...
ты вроде пешеходного моста,
пылишь над нами, в дырках, как бигудь...

Забудь.

Прости короткой жизни муть.
Мети бородкой Млечный Путь.

ВЕСЁЛЕНЬКИЕ СТРОЧКИ

И потом Тебя не будет.
Не со мной. А вообще.
Никто больше не осудит
мой воротничок в борще.

Прекратится белый холмик —
мой и твой ориентир.
Превратится в страшный холод
жизнь, что нам я посвятил.

Оказалось, что на деле
всё ушло на пустяки.
Мы с Тобою не успели
главного произнести.

Превратится в дырку бублик,
всё иное не стерпя.
А потом меня не будет.
Без меня. И без Тебя.

ПРЕМЬЕРА

Крик прорезал великолепия
смятых ужасов. Се ля ви.
Чехов умер от эпилепсии
на премьере фильма «Свои».

Умер парень с фамилией Чехов:
фильм — от ужасов жизни суд.
Не до смехов. Не до успехов.

Люди в саване тело несут.

Ключья пены эпилептической.
«Скорая» торопится, но без раболепия,
полицая в пузо эпилептическое
тычет ножиком эпилепсия.

Вы скажите, актёр Евланов,
гениально сыграв простоту,
почему страшной всех экранов
смерть глядит в четвёртом ряду?

Кем он был? Ничего достоверного.
На фасаде лестница, как порез.
В день рождения Достоевского
вдруг прозреем через болезнь?

Он пришёл без друга, без женщины.
В небеса, как дуга троллейбуса.
Из процентчины, из прожженщины
вырывается эпилепсия!

Я стою, представитель плебса,
мну фуражечку очумело.
Продолжается эпилепсия.
Это ещё премьеры.

ДОМ ОТДЫХА

Озеро отдыха возле Орехово.
Шахматно воткнуты в водную гладь
белые бюсты – кто только приехал,
бюсты из бронзы – кому уезжать.

Быть отдыхающим – это профессия.
Рядом летают тарелки борща.
Сушатся трусики фильдеперсовые —
всё сообща.

Утром журфиксы. Журчанье Вивальди.
А за стеной
слышно, как писает в умывальник
трижды герой.

В небо свинцовое запускаются
детям шары,
будто качают вишнёвые яйца

в небе слоны.

Не рокируется. Не кирается.
Скорби бабуль.
Ты – золотая, словно кираса.
Скоро – буль-буль...

* * *

Люблю неслышный почтальона,
вечерним солнцем полный напослед,
прозрачный, словно ломтики лимона,
пронзительный велосипед.

ИВАН-ЦАРЕВИЧ

Нагни позвоночник ликующий.
Когда, безоглядно и древне,
Тебя волшебной лягушкой
начну превращать в царевну.

Ю. Д.

Юрий Владимирович Давыдов.
Смушал он, получив «Триумф»,
блатною шапочкой ликвидов
наполеоновский треух.

Бывалый зэк, свистя Вертинского,
знал, что прогресс реакционен.
За пазухою с четвертинкою
был празднично эрекционен.

На сердце ссадины найдут его.
Стыдил он критика надутого:
мол, муж большого прилежания
и ма-алого дарования.

Бледнели брежневы и сусловы,
когда, загадочней хасидов,
за правду сексуальным сусликом
под свист выскакивал Давыдов.

Не залезал он в телящики.
Мне нашу жизнь собой являл.
И клинышек его тельняшки
звенел, как клавиша цимбал.

Вне своры был, с билетом волчьим.
Он верил в жизни торжество.
Жизнь поступила с ним, как сволочь,
когда покинула его.

ДИРИЖЁРКА

Деклассированные вурдалаки
уподобились комарю.
Ты мне снишься во фраке,
дирижируешь жизнь мою!

Я чувствую переносицей
взгляд напряжённый твой.
Ко мне лицом повернёшься,
ко всем – другой стороной.

Волнуется смятый бархат.
Обёрнутое ко мне,
твоё дыхание пахнет
молодым каберне.

Музыкально-зеркальная зомби,
ты стоишь ко мне – боже мой! —
обернувшаяся лицом ты! —
а ко всем – другой стороной...

И какой-то восторженный трепет
говорит тебе: «Распахнись!»
Возникающий ветер треплет
взмахи крохотные ресниц.

Когда же лапы и руки
рукоплещут, как столб водяной,
ко мне повернёшься лучшей,
главной своей стороной!

И красные ушки в патлах
просвечивают, красны.
И, как фартук, болтаются фалды
как продолжение спины.

Те фалды, как скрытые крылья
у узниц страшной страны, —
как будто кузнечики Крыма,
что в чёрное облачены.

За тобою лиц анфилады
и беснующийся балкон.
Напрягаются обе фалды,
изгибающиеся в поклон.

И под фалдами треугольничек
проступает эмблемой трэф.
Так бывает у горничных,
реже – у королев.

ВИРТУАЛЬНОЕ ВРУЧЕНИЕ

1

Я вручаю Пастернаковскую премию
мёртвому собрату своему,
Бог нас ввёл в одно стихотворение,
женщину любили мы – одну.

Пришло время говорить о Фельтринелли.
Против Партии пошёл мой побратим.
Люди от инстинкта офигели,
совесть к Фигнер послана фельдъегерем,
может, террор имитировал интим?

Как спагетти, уплетал он телеграммы,
профиль его к Джакометти ревновал,
я обложку книги сома ато
с именем Джакомо рифмовал.

В нём жила угрюмая отвага:
быть влюблённым в Пастернака, злить печать,
на свободу выпустить «Живаго»
и в дублёнки женщин наряжать!

Я вручаю Фельтринелли-сыну
золотой отцовский реквизит,
как когда-то ему, мальчику, посыльным,
Дилана автограф привозил.

Чтобы мы, убогие, имели,
если б Фельтринелли не помог?!
По спинному мозгу Фельтринелли
дьявола шёл с Богом диалог...

2

Усмехаясь, ус бикфордовый змеился,
шёл сомнамбулический роман...
Было явное самоубийство,
когда шёл взрывать опору под Милан!

Женщина, что нас объединяла,
режиссировала размах.
Точно астероид идеала
в нас присутствовал Пастернак.

Как поэт с чудовищною мукой,
никакой не красный бригадир,
он мою протянутую руку
каменной десницей прихватил.

Он стоит, вдев фонари, как запонки,
олигарх, поэт, бойскаут, шалопай.
Говорю ему: «Прости, Джан Джакомо!»
Умоляю: «Только не прощай!»

Разоржаться мировой жеребщине,
не поняв понятие «апельсин»!
Тайный смысл аппассионатной женщины,
тая, отлетит, необъясним...

На майдане апельсины опреснили,
нынче цвет оранжевый в ходу.
Апельсины, апельсины, апельсины
меня встретят головешками в аду.

3

Жизнь прошла. Но светятся из мрака,
в честь неё зажжённые в ночи,
общим пламенем на знаке Пастернака
две – мужских – горящие свечи.

ХОББИ

Неабстрактный скульптор,
бесспорный Поллок,
собираю скальпы
мыслящих бейсболок.

Мысли несовковые,
от которых падаю,
и гребут совковою
с козырьком лопатою.

Проступают мысли
вверх ногами скорби.
Это моя миссия,
это моё хобби.

Нету преступления —
в мыслях, но – ей-богу (!),
хорошо бы от Ленина
найти бейсболку!

ПЕСЕНКА

Спит месяц набекрень,
как козырёк на лбу.
Всё в мире дребедень,
но я тебя люблю!

Усадьба – а-ля Лувр.
Ус Чаплина – дабл'ю.
Вздыхнут духи «Аллюр»,
а я тебя – люблю!

Купите ТераФлю,
кончайте terror, бя!
Курите коноплю!
А я люблю – тебя!

Как дятел, я долблю,
верблюдов веселя.
Цепочкой из дабл'ю
жужжжитполётшмеля —
шмаляйте по шмелю!

И, вызывая смех
у нашего зверья,
ты скажешь: «Больше всех
люблю тебя!» А я?

МАРЛЯ ВРЕМЕНИ

Я поздравляю Вас, Марлен Мартынович!
Изящный носитель крутых седин.
Я бы назвал Вас – Марлен Монтирович,
Марлен Картинович,
Антиминфинович,
друзьям – Мартелевич,
врагам – Мортирович.
Антимундирович такой один.
Нет Маркса, Ленина – есть Мэрилин.
Марлен, как «шмалер», незаменим.

Для нас Вы были Политехничевич,
хрычи хрущёвские Вам ленты резали,
аполитичный, не чечевичный,
Вы – очевидец новой поэзии!

Когда нас душат новые циники,
наследнички, нынешние ЦК,
мы посылаем их на Хуциева!
Пока работаем на века!

Марлен Мартынович, надежда малая
была когда-то, сейчас – не то.
Время – как рана с присохшей марлею
от Мэрилин к Марлон Брандо.

Марлен, Вы в инее, как Папа Карло.
Пой с Бобом Марли у красных стен,
когда ландшафтники Вашей марлей
Кремль запаковывают, Марлен.

В губерниях скука и троекуровщина.
Нет Маркса, Ленина, но есть Марлен!
Я бы назвал Вас – Марлен Триумфович.
Вы – марли времени феномен.

КЛАРНЕТ

По полю древней битвы,
где памятник Шкуро,
летит опасной бритвой
орлиное перо.

И мы предполагаем,
что где-то вознесён
орёл за облаками,
и белоснежный он.

Чтоб наш талант не скурвился
во Владике Монро,
светает белокурое
мэрлиное перо.

Пусть дрожит государство,
гоняется за ним...
Прицельный дротик дартса,
увы, неуловим!

Поэзия есть тайна
древней Политбюро.
Летает нелетально
транзитное перо.

Арина Родионовна,
платок повязан «Першингом»,
чтоб беды милой Родины
казались лёгким пёрышком.

Серебряной расчёской
летело НЛО,
но времени причёска
исходит от него.

Пьеро, в церкви не пукнувший,
увидит над метро
незримо в ручке пушкинской
дрожащее перо.

Холмы наши и овны
поэтому легки,
как будто нарисованы
поэтом от руки.

ЗАГАДКА ЛФИ

Засунув руки в брючные патрубы,
будто катая ядра возбуждения для,
Вы мне сказали про солдат Партии:
«Нужна в хозяйстве и грязная метла!»

Сейчас всё кажется сентиментальщиной,
чудно:
Вы были главным эпохи подметальщиком,
я – выметаемое дерьмо.

Опали крылышки махаонные.
Команда подметальщиков, увы, мертва.
Осталась самострельная, самоходная,
самоуправляемая метла.

Зачем Вы стали погромщиком маньяковским?
Стали демоном ненависти, любви?
Тайным собирателем картин Маковского?
Почти тёзка Ильфа – ЛФИ.

Зачем Вас вымели? Вывернули выдрой?
Сдали замминистром в Йошкар-Олу?
Может быть, за то, что мне тайну выдали
про государственную метлу?

В склепе запакованный в стиль нашего Капоне,
как гранит рокфоровский исчервлён,
кто расслышит стон ваш заупокойный,
Леонид Фёдорович Ильичёв?

ПАМЯТИ НАТАШИ ГОЛОВИНОЙ

Дружили как в кавалерии.
Врагов посылали на...
Учила меня акварелить
Наташа Головина.

«Что моет нам кисти? Разве
не женский эмансипат?
Андрюша, попробуй грязью
красивое написать!»

Называется нейтральтином
задумчивый смыв кистей.
Впоследствии Тарантино
использовал слив страстей.

Когда мы в Никольском-Урюпине
обнимались под сериал,
доцент Хрипунов, похрюкивая,
хрусть томную потирал.

Была ты скуласта, банзаиста.
Я гол и тощ, как горбыль.
Любил ли тебя? Не знаю.
Оказывается – любил.

Мы были с тобою в паре.
Потом я пошёл один.
Обмывки страстей создали
чудовищный нейтральтин.

Карданной церковной башней,
густой вызывая стыд,
рисунок твой карандашный
в моей мастерской висит.

Выходит шедевр тем краше,
чем больше в мире дерьма.
Оправдано кредо наше,
Наташа Головина.

* * *

Михаилу Жванецкому

Проктолог – отоларингологу:
«Сквозь лявру вижу вашу голову.
В дыру тоннеля бесконтрольного
я вижу божий свет и горлинку».

Проктолог – отоларингологу:
«Ночами и парторги голые!
Вглядитесь в глубину парторгову!
Отари Ларина потрогала».

Проктолог – отоларингологу:
«Не запивай пулярку колою!
Путь к воскрешенью зафрахтован
нам Франкенштейном и Фрадковым».

Проктолог – отоларингологу:
«Патрон наш срок не пролонгировал
С тротилом тачка припаркована.
С одной Тобою нет прокола».

Проктолог – отоларингологу:
«У Ларри Кинга prick с приколами.
Россия славится расколами.
Ахматова стубила Горенко».

Ты, Миша, брутто-гениален
меж непробудных гениталий.
Стране, дежурящий, ты дорог
как практикующий проктолог!

Пускай другие врут с три короба:
«Шнур популярнее Киркорова».

СОМНАМБУЛА

Полемизировал с Магометом.
Как подсолнечник, жёлт прикидом.
Маяковский был первым скинхедом?
Может, скажете – первым шахидом?!

Но наивная боль кубиста
перехлёстывала сквозь это.
Сомнамбулическое самоубийство
возвратило его в поэта.

Он парит над Москвой лубочной,
над Лубянкою криминальной.
Гениальный он был любовник,
остальное – конгениально.

И в отличие от смоковницы
с саксаулами,
революция Маяковского —
сексуальная!

«Мяу-ковский» – вопили кошки.
«Мао-конский» – глас протодьякона.
Поэт играет в собственные кости.
Как в небе «Як» или совесть св. Якова.

Зазывая в глаза огромные,
Киберматерью была его Лили.
Убивались или любили.
Или – или.

Лилию Брик клеймили интриги:

«Чёрный пояс на ней с резинками».
Местечковый акцент меняли комбриги
на метерлинковской.

Не любил его критик в кофточке.
Наш народ так его и не понял.
Нацепив на лацкан морковку,
уходил Маяковский по небу.

Озарённая преступлением,
вся страна подымалась в гору.
Окровавленными ступенями
по шинелям шли «разговоры».

Рты заклеены, как конверты.
Не удерживаюсь от трюизма:
Маяковский – первая жертва
государственного терроризма.

ПАМЯТИ ЮРИЯ ЩЕКОЧИХИНА

По шляпам, по пням из велюра,
по зеркалу с рожей кривой,
под траурным солнцем июля —
отравленный сволотой,
блуждает улыбочкой Юра,
последний российский святой.

* * *

Суперстары. Супостаты.
Хрущёв круче Троцкого.
Он своих крестьян подставил
в эпицентре Тоцкого.

* * *

Используйте силу свою.
Мы гости со стороны.
Вы бьёте по острию.
Я гвоздь от иной стены.

Мне спину согнули дугой,
по шляпку вбили вовнутрь.
Я гвоздь от стены другой.
Слабо Вам перевернуть?!

Битый ноготь черней, чем дёготь, —
боязно глаз впереть.
Назад невозможно дёргать.
Невозможно – вперёд.

Вы сами в крови. Всё испортив,
ошибся конторский вождь.
Сияет стена напротив —
та, от которой я гвоздь.

Я выпрямлюсь. Я найду.
Мы гости иной страны.
По шляпку в тебя войду —
я гвоздь от Твоей стены.

* * *

Мост. Огни и лодки.
Речушки борозда.
Баржа с седеющей бородкой
ползла, как старая дыра.

АПЕЛЬСИНЫ, АПЕЛЬСИНЫ...

Нью-йоркский отель «Челси» – антибуржуазный, наверное, самый несуразный отель в мире. Он похож на огромный вокзал десятых годов, с чугунными решётками галерей – даже, кажется, угольной гарью пахнет. Впрочем, может, это тянет сладковатым запретным дымком из комнат.

Здесь умер от белой горячки Дилан Томас. Лидер рок-группы «Секс пистолс» здесь или зарезал, или был зарезан своей любовницей. Здесь вечно ломаются лифты, здесь мало челяди и бытовых удобств, но именно за это здесь платят деньги. Это стиль жизни целого общественного слоя людей, озабоченных социальным переустройством мира, по энергии тяготеющих к «белым дырам», носящих полувоенные сумки через плечо и швейцарские офицерские крестовые красные перочинные ножи. Здесь квартирует Вива, модель Энди Уорхола, подарившая мне, испугавшемуся СПИДа, спрей, чтобы обрызгать унитазы и ванную.

За телефонным коммутатором сидит хозяин Стенли Барт, похожий на затурканного дилетанта-скрипача не от мира сего. Он по рассеянности вечно подключает вас к неземным цивилизациям.

В лифте поднимаются к себе режиссёры подпольного кино, звёзды протеста, бритый под ноль бакунинец в мотоциклетной куртке, мулатки в брюках из золотого позумента и пиджаках, надетых на голое тело. На их пальцах зажигаются изумруды, будто незанятые такси.

Обитатели отеля помнили мою историю.

Для них это была история поэта, его мгновенной славы. Он приехал из медвежьей снежной страны, разорённой войной и строительством социализма.

Сюда приехал он на выступления. Известный драматург, уехав на месяц, поселил его в своём трёхкомнатном номере в «Челси». Крохотная прихожая вела в огромную гостиную с полом, застеленным серым войлоком. Далее следовала спальня.

Началась мода на него. Международный город закатывал ему приемы, первая дама страны приглашала на чай. Звезда андеграунда режиссер Ширли Кларк затеяла документальный фильм о его жизни. У него кружилась голова.

Эта европейка была одним из доказательств его головокружения.

Она была фоторепортером. Порвав с буржуазной средой отца, кажется, австрийского лесовика, она стала люмпеном левой элиты, круга Кастро и Кортасара. Магниева вспышка подчёркивала её близость к иным стихиям. Она была звёздна, стройна, иронична, остра на язык, по-западному одновременно энергична и беззаботна. Она влетала в судьбы, как маленький солнечный смерч восторженной и восторгающей энергии, заряжая напряжением не нашего поля. «Бабочка-буря» – мог бы повторить про неё поэт.

Едва она вбежала в моё повествование, как по страницам закружились солнечные зайчики, слова заволновались, замелькали. Быстрые и маленькие пальчики, забежав сзади, зажали мне глаза.

– Бабочка-буря! – безошибочно завопил я.

Это был небесный роман.

Взяв командировку в журнале, она прилетала на его выступления в любой край света. Хотя он и подозревал, что она не всегда пользуется услугами самолётов. Когда в сентябре из-за гроз аэропорт был закрыт, она как-то ухитрилась прилететь и полдня сушилась.

Её чёрная беспечная стрижка была удобна для аэродромов, раскосый взгляд вечно шурился от непостижимого света, скулы лукаво напоминали, что гунны действительно доходили до Европы. Её тонкий нос и нервные, как бусинки, раздутые ноздри говорили о таланте капризном и безрассудном, а чуть припухлые губы придавали лицу озадаченное выражение. Она носила шикарно скроенные одежды из дешёвых тканей. Ей шёл оранжевый. Он звал её подпольной кличкой Апельсин.

Для его суровой снежной страны апельсины были ввозной диковиной. Кроме того, в апельсинном горьком запахе ему чудилась какая-то катастрофа, срыв в её жизни, о котором она не говорила и от которого забывалась с ним. Он не давал ей расплачиваться, комплексуя с любой валютой.

Не зная языка, что она понимала в его славянских песнях? Но она чуяла за иступлённостью исполнения прорывы судьбы, за его романтическими эскападами, провинциальной неотёсанностью и развязностью поп-звезды ей чудилась птица иного полёта. В тот день он получил первый аванс за пластинку. «Прибарахлюсь, – тоскливо думал он, возвращаясь в отель. – Куплю тачку. Домой гостинцев привезу».

В отеле его ждала телеграмма: «Прилетаю ночью тчк Апельсин». У него бешено заколотилось сердце. Он лёг на диван, дремал. Потом пошёл во фруктовую лавку, которых много вокруг «Челси». Там при вас выжимали соки из моркови, репы, апельсинов, манго – новая блажь большого города. Буйвологлазый бармен прессовал апельсины.

– Мне надо с собой апельсинов.

– Сколько? – презрительно промычал буйвол.

– Четыре тыщи.

На Западе продающие ничему не удивляются. В лавке оказалось полторы тысячи. Он зашёл ещё в две.

Плавные негры в ковбойках, отдуваясь, возили в тележках тяжкие картонные ящики к лифту. Подымали на десятый этаж. Постояльцы «Челси», вздохнув, невозмутимо смекнули, что совершается выгодная фруктовая сделка. Он отключил телефон и заперся.

Она приехала в десять вечера. С мокрой от дождя головой, в чёрном клеенчатом проливном плаще. Она жмурилась.

Он открыл ей со спутанной причёской, в расстёгнутой полузаправленной рубаше. По его растерянному виду она поняла, что она не вовремя. Её лицо осунулось. Сразу стала видна паутинка усталости после полёта. У него кто-то есть! Она сейчас же развернётся и уйдёт.

Его сердце колотилось. Сдерживаясь изо всех сил, он глухо и безразлично сказал:

– Проходи в комнату. Я сейчас. Не зажигай света – замыкание.

И замешкался с её вещами в полутёмном предбаннике.

Ах так! Она ещё не знала, что сейчас сделает, но чувствовала, что это будет что-то страшное. Она сейчас сразу всё обнаружит. Она с размаху отворила дверь в комнату. Она споткнулась. Она остоленела. Пол пылал.

Тёмная пустынная комната была снизу озарена сплошным раскалённым булыжником пола.

Пол горел у неё под ногами. Она решила, что рехнулась. Она поплыла.

Четыре тысячи апельсинов были плотно уложены один к одному, как огненная мостовая. Из некоторых вырывались язычки пламени. В центре подпрыгивал одинокий стул, будто ему поджаривали зад и жгли ноги. Потолок плыл алыми кругами.

С перехваченным дыханием он глядел из-за её плеча. Он сам не ожидал такого. Он и сам словно забыл, как четыре часа на карачках укладывал эти чёртовы скользкие апельсины, как через каждые двадцать укладывал шаровую свечку из оранжевого воска, как на одной ноге, теряя равновесие, длинной лучиной, чтобы не раздавить их, зажигал, свечи. Пламя озаряло пупырчатые верхушки, будто они и вправду раскалились. А может, это уже горели апельсины? И все они оранжево орали о тебе.

Они плясали в твоём обалденном чёрном проливном плаще, пощёчинами горели на щеках, отражались в слезах ужаса и раскаянья, в твоей пошатнувшейся жизни. Ты горишь с головы до ног. Тебя надо тушить из шланга! Мы горим, милая, мы горим! У тебя в жизни не было и не будет такого. Через пять, десять, через пятнадцать лет ты так же зажмуришь глаза – и под тобой поплывёт пылающий твой единственный неугасимый пол. Когда ты побежишь в другую комнату, он будет жечь тебе босые ступни. Мы горим, милая, мы горим. Мы дорвались до священного пламени. Уймись, мелочное тщеславие Нерона, пылай, гусарский розыгрыш в стиле поп-арта!

Это отмщение ограбленного эвакуационного детства, пылайте, напрасные годы запоздавшей жизни. Лети над метелями и парижками, наш пламенный плот! Сейчас будут давить их, кувыркаться, хохотать в их скользком, сочном, резко пахучем месиве, чтоб дальние свечки зашипели от сока...

В комнате стоял горький чадный зной нагретой кожи.

Она коротко взглянула, стала оседать. Он едва успел подхватить её.

– Клинический тип, – успела сказать она. – Что ты творишь! Обожаю тебя...

Через пару дней невозмутимые рабочие перестилали войлок пола, похожий на абстрактный шедевр Поллока и Кандинского, беспечные обитатели «Челси» уплетали оставшиеся апельсины, а Ширли Кларк крутила камеру и сообщала с уважением к обычаям других народов: «Русский дизайн».

2006

* * *

Мой кулак снёс мне полчелюсти.
И мигает над губой
глаз на нитке. Зато в целости!
Вечный бой с самим собой.

Я мечтал владеть пекарней
где жаровни с выпечкой,
чтоб цедить слова шикарно
над губою выпяченной.

Чтобы делать беззаконий
обезьяны не могли,
мчитесь, сахарные кони,
в марципановой пыли!

ИНТЕРФЕРНАЛ

По-немецки gross,
а по-русски гроздь.
По-английски host,
а по-русски гость.

Граф с погоста был культурен.
Отрекомендовался: «Нулин».
«Граф Хулин?» – уточнили воспитатели.

Спасибо, Господи, за hospitality!

О КАЗАЛОСЬ

Казалось:
«Ружья в козлы!»
Оказалось:
«В ружьё, козлы-ы!»
Казалось:
«Афган!»
Оказалось:
«Off gun».
Казалось:
«Тарантино».

Оказалось:
«Скарлатина для взрослых».
Казалось:
«Тарантинэйджер».
Оказалось:
«Трахнул тёлку через пейджер!»
Казалось:
«Посол».
Оказалось:
«Пил рассол».
Казалось:
«Чайку бы и травки на дорогу...»
Оказалось:
«Чайка – плавки Бога».
Казалось:
«Порноистец против ТЭЦ».
Оказалось:
«Полный привет!»

НИЩИЙ ХРАМ

Бомзам с полуистёртой кожей
я, вместо Бога, на халяву,
воздвигну белый храм, похожий
на инвалидную коляску.
В нём прихожане нехорошие,
одни убогие и воры.
Их белоснежные колёса
станут колёсами обзора.
Шиповники бубенчиковые
сквозь ноты литургии лезли.
Я попрошу Гребенщикова
петь популярнее. Как Пресли.
И может, Бог хромую лярву
возьмёт к себе в свои пределы
из инвалидного футляра,
как балерину Рафаэлло.

А сам Господь в морях манивших
шёл с посохом, как будто по суху,
и храм стригущею машинкой
шёл, оставляя в рясах просеку.
В этой просеке паривший
стал ангелом не Элвис Пресли,
а Брэдбери, как папа римский,
катящийся в инвалидном кресле.

* * *

Спас космический, Спас Медовый,
крестом вышитые рушники,
католический крестик Мадонны,
растегнувшись, смущал Лужники.
«Грудь под поцелуи, как под рукомойник»
(Пастернак).
Как песенка в банкомате:
«Мадонной стала блондиночка с Лукоморья».
Кем станет московская Богоматерь?...

* * *

Ландышевый дом.
Пару лет спустя
я приеду днём,
когда нет тебя.
Я приду в сад,
сад взаврадашний.
На сушилках висят
чашки ландышей.
Хватит лаяться.
По полям ушла
«Шоколадница»
с чашкой ландыша.
За окошком в ряд
мини-лампочки.
Фонари горят
или ландыши?
У тебя от книг —
пополам душа.
Как закладки в них
листья ландыша.
Твоя жизнь — дневник,
вскрик карандаша.
В твою жизнь проник
запах ландыша.
Всё в судьбе твоей
полно таинства.
Приходи скорей —
зачитаемся!

ЁЛОЧНЫЕ ПАЛЬЧИКИ

Сегодняшнему ширпотребу
нельзя понять, зачем запальчиво
тысячи ёлок тычут в небо
указательными пальчиками?
Им видно то, что мы не видим.
Я не теолог.
Но в жизни никак не выйдем
на уровень понятия ёлок.
Кто право дал еловой нации
судить земные распорядки?
Как лампочки иллюминации,
не требующие подзарядки.
Зачем им рукава имбирные?
зигзагами по касательной?
Всё это фирменные ширмы
для этих пальцев указательных.
Снег кружится балетной пачкой
над ёлками. Знаем с горечью,
что ёлки состоят из пальчиков,
и эти пальчики игольчаты.
Но сколько в мире старых пальчиков:
им хоть налево, хоть направо.
Но сколько аппаратных пайщиков,
указывающих на неправду!
Так, в счастье новоселья женщина,
въезжая в новую квартиру, грустит.
И что ей померещено
в игрушке с вырванным ватином?...
Какая радость, не наперсничая,
понять иллюзию игрушки:
на пальчик нацепить напёрсточек,
шары оранжевые в лузе!
Повсюду новое топорщится.
А может, старое исправится?
Стремглав летим из-под топорища!
И, снова взвиваясь, новая избранница.
Вечно-зелёные надежды
на измененья новогодние.
Кругом валяется одежда —
домишки, стёганки с вагонкою.
А ты? Ты в этом вихре мнимом?!
Иль рот пирожными запачкала?
И тёплый свет струится нимбом
от указательного пальчика.

ОТ ТРЁХ ДО ЧЕТЫРЁХ

В окошках свет погас,
умолкнул пустобрёх.
Пошёл мой лучший час —
от трёх до четырёх.

Стих крепок, как и чай.
Вас посещает Бог.
Шла служба при свечах
от трёх до четырёх.

Как слышно далеко!
Как будто возле нас.
Разлили молоко...
Спустили унитаз...

Очередной мосхит?
Или поёт москит?
От трёх до четырёх
наш мир не так уж плох.

Люблю я в три проснуться,
в душе – переполох,
Конфуция коснуться
и спать без задних ног.

Кабина поперёк
и Хайдеггер, дымясь
камином кочерёг,
попросвещает Вас.

Пускай Вы в жизни лох,
и размазня-пирог,
но Вы сейчас – пророк,
и смысла поперёк!

Я сам не разумел
идею, что изрёк,
но милиционер
вдруг взял под козырёк.

Становимся у касс.
Обломы за отказ.
Но в небе только час,
отпущенный для нас.

Жизнь – полусонный бред.
«СТИЛНОКСА» пузырьёк
прокладывает брешь
от трёх до четырёх!

Я без тебя опять.
Как мне найти предлог,
чтоб досуществовать
от четырёх до трёх?

Кто в дверь звонит? Мосгаз?
Не слушайте дурёх.
И не будите нас
от трёх до четырёх.

ОДА МОЕЙ ЛЕВОЙ РУКЕ

Рука, спасибо за науку!
Став мне рукой,
ты, точно сука, одноуха,
болтаешься вниз головой...

Собаки – это человечье,
плюс – animal.
Мы в церкви держим в левой свечки,
чтоб Бог нас лучше понимал.

А людям без стыда и чести
понять помог
мой аргумент мужского жеста,
напрягшегося, как курок.

Ты с женщинами непосредственно
вела себя.
Ты охраняешь область сердца, —
боль начинается с тебя.

Ты – это мой самоучитель,
ноты травы.
Сегодня все мои мучители —
это мучители твои!

Когда ж чудовищная сила
меня несла —
башку собою заслонила,
меня спасла...

Но устаёшь от пьедестала.
Моя ж рука,
вдруг выкобениваться стала,
став автономно далека.

Я этот вызов беззаконный
счёл за теракт!
Но – хочет воли автономий
анатомический театр!

Я твой губитель, я – подлец.
Ты чахла.
Обёртывалась новой чакрой
неизлечимая болезнь.

Ты мне больничная запомнилась.
Забыть нельзя.
Лежишь, похожа на омовца,
замотанная по глаза.

Не помню я тебя скулящей,
когда скорбя,
мы с мировыми эскулапами
осматривали тебя.

Как мог я дать тебя кромсать
ножам чужим и недостойным,
мешая ненависть со стоном?!
Так, вашу мать!

Междоусобны наши войны.
Дав свою плоть,
мы продаем себя невольно
и то, что завещал Господь.

Мне снится сон: пустыня Гоби.
На перевязи, на весу,
как бы возлюбленную в гробе,
я руку мёртвую несу.

Возлюбленная – как акула.
Творя инцест,
меня почти совсем сглотнула,
ещё секунда – сердце съест!

Прощаюсь с преданною жизнью.
Рука ж вполне
здоровая – на ней повисну,
как тощий плащ или кашне.

* * *

Ты, наклоняясь, меня щекочешь,
и между мною и тобой
качнётся крестик на цепочке,
как самолётик золотой.

Так меж нас, когда мы озорует,
как зов столетия иным,
порхает крестик поцелуем,
материализованным.

ЧАСОВНЯ АНИ ПОЛИТКОВСКОЙ

Поэма

Memento Anna

Часовня Ани Политковской
как Витязь в стиле постмодерна.
Не срезаны косой-литовкой,
цветы растут из постамента.

Всё не достроится часовня.
Здесь под распятым деревянным
лежит расстрелянная совесть —
новопреставленная Анна.

Не осуждаю политологов —
пусть говорят, что надлежит.
Но имя «Анна Политковская»
уже не им принадлежит.

Была ты, Ангел полуплотская,
последней одиночкой гласности.
Могила Анны Политковской
глядит анютиными глазками.

Мы же шустрим по литпогостам,
политруковщину храня.
Врезала правду Политковская

за всех и, может, за меня?

И что есть, в сущности, свобода?
В жизнь воплотить её нельзя.
Она лишь понимание Бога,
кого свобода принесла.

И что есть частная часовня?
Часовня – лишь ориентир.
Найти вам в жизни крест тесовый,
который вас перекрестил?

Накаркали. Накукарекались.
Душа болеет, как надкостница.
Под вопли о политкорректности
убили Анну Политковскую.

Поэта почерк журавлиный.
Калитка с мокрой полировкой.
Молитвенная журналистика
закончилась на Политковской.

Ментам мешают сантименты.
Полгода врут интеллигентно.
Над пулей с меткой «Политковская»
черны деревья позументы.

Полусвятая, полускотская,
лежит в невыплаканном горе
страна молчанья, поллитровок
и Чрезвычайного момента —
Memento mori

Часовёнок

Мы повидались с Политковской
у Щекочихина. Заносчив
был нос совёнка-альбиноски
и взгляд очков сосредоточен.

А этот магнетизм неслабый
мне показался сгоряча
гордыней одинокой бабы,
умеющей рубить сплеча.

Я эту лёгкую отверженность
познал уже немолодым, —

что женская самоотверженность
с обратной стороны – гордынь.

Я этот пошляковский лифтинг
себе вовеки не прощу, —
что женщина лежала в лифте.
Лифт шёл под землю – к Щекочу.

Никакой не Ангел дивный,
поднимающий крыла.
Просто совестью активной
В этом мире ты была.

Мать седеет от рыдания.
Ей самой не справиться.
Ты облегчишь ей страдания,
наша сострадалица.

Ты была совёнок словно.
Очи. Острота лица.
Есть святая для часовни
Анна Сострадалица.

Нас изменила Политковская.
Всего не расскажу, как именно.
Спор заведёт в иные плоскости,
хоть нет часовни её имени.

Она кометой непотребной
сюда явилась беззаконно.
В домах висят её портреты
как сострадания иконы.

Не веря в ереси чиновные,
мы поняли за этот срок,
что сердце каждого – часовня,
где вверх ногами – куполок

Туда не пустит посторонних,
седой качая головой,
очкарик, крошка-часовёнок,
часовенки той часовой.

Молись совёнку, белый витязь.
Ведь Жизнь – не только дата в скобках.
Молитесь, милые, молитесь
в часовне Анны Политковской.

Чьи-то очи и ланиты

Засветились над шоссе! —
как совёнок, наклонившийся
на невидимом шесте.

Блуждающая часовня

Часовни в дни долгостроения
не улучшали настроения.

Часовня – птица подсадная,
Она пока что безымянна,
но у любого подсознания
есть недостреленная Анна.

Я обращаюсь к Патриарху
Услышанным сердцебиеньем,
чтоб субсидировать триаду —
Смерть. Кровь. Любовь —
всем убиенным!

Пуškai прибудут инвестиции,
пусть побеждает баснословно
души спасенье возвестившая
блуждающая часовня.

Блуждающая меж заблудших,
кто отлучён катастрофически,
кто облучён сегодня будущим,
как гонщики и астрофизики.

Сосульки жмурятся, как сванки.
Окошко озарилось плошкой,
блуждающей часовней – Анной
Степановной Политковской.

Неважно, кто Телец, кто Овен,
прислушайтесь – под благовест
идёт строительство часовен.
Когда достроимся? Бог весть»!

Имя твоё – внеплановая листовка.

АННА СТЕПАНОВНА ПОЛИТКОВСКАЯ



7.10.06.

Седьмое.
Десять.
Ноль шесть.
Не много земного.
Дерзость, но крест.
Синь смога.
Дескать, но есть.
Немого детства
Норд-Вест.

Умолчит ли толпа безликая?
Чеченская ли война?
Взирает на нас Великая
отечественная вина.

Ответственность за содеянное —
не женщин и не мужчин —
есть Высшая Самодеятельность
иных, не мирских причин.

Обёртывается лейкозией
тому, кто шёл против них, —
такие, как Политковская,
слепой тех сил проводник.

Курит ли мент «ментоловые»?
Студента судит студент.
На нас проводит винтовка
Следственный эксперимент.

След ниточкой дагестанской
Теряется средь лавин.
Жизнь каждого – дегустация
Густых многолетних вин.

Ждёт пред болевым порогом,

прикрыта виной иной
моя вина перед Богом
и Бога – передо мной.

Общественные феномены
голода и Чечни...
Бывает народ виновен?
Формулы неточны.

Никто убийц этих не видел
Приметы несовковые:
мужчина ввинчен в белый свитер
плюс женщина очковая!

Февральский эпилог

Над кладбищем над Троекуровским
снег – как колонны с курватурами.

Сметаем снег с Твоей могилы.
– А где ж дружки её? Чай, скурвились? —
изрёк шофёр. – Помочь могли бы.

А рядом хоронили муровца —
салопы, хмурые секьюрити,
шинели и автомобили.
Поняв, что мы – твои тимуровцы,
к нам потеплели и налили.
Шофёр наш, красною лопатою
перебирая снег, поморщился.
Водка – не лучшая помощница.

Лампадки, чьи-то бусы, лапотник
«Новой газеты», траур. Лабухи
и мальчики тебя любили.
Февральские снега обильные...
Лишь ленты дерева могильного
в снегу чернели, как мобильники.

Что снится Вам, Анна Степановна?
Поле с тюльпанами?
Кони с тимпанами?
Сынок с дочуркой мчатся кубарем.
Бутыль шампанского откупорим.
Жизнь? Чеченцы с терренкурами?
А за оградой Троекуровской
убитый с будущим убийцей

пил политуру, кушал пиццу,
делился с ним запретным куревом,
девицу в кофточке сакуровой
улещивал? – Наоборот!

Гриппозные белели курицы.
Секьюрити-мордоворот
следил, как «роверы» паркуются.
Народ они имели в рот.
И ждали девку белокурую
два хулигана у ворот.

Читатель мой благоразумный,
не знаю, чем тебя завлечь?
Я обожаю нецензурно
неподражаемую речь!..

Куда ведёт нас жизни уровень,
полусвятой, полубесовский?
Поставь свечу на Троекуровском
в часовне Анны Политковской.

И в наше время коматозное
по Троекуровским пределам
дымок, курясь над крематорием,
попыхивает чем-то белым.

БОЛЬШОЕ ЗАВЕРЕЩАНИЕ

Поэма

I

Я, на шоссе Осташковском,
раб радиовещания,
вам жизнь мою оставшуюся
заверещаю.

В отличие от Вийона
с Большим его Завещанием,
я в грабежах не виновен,
не отягощён вещами.

Тем паче, мой пиджак от Версаче,

заверещаю.

На волю вышел Зверь послушания.
Запоминайте Заверещание:
не верьте в вероисповедание,
а верьте в первое своё свидание!

Бог дал нам радуги, водоёмы,
луга со щавелем.
Я возвращаю Вам видеонами.
Заверещаю.

Я ведь не только вводил шершавого
и хрюпал на шару!
В себе убил восстание Варшавское.
Заверещаю.

Почётному узнику
тюрьмы «Рундшау»
улётную музыку —
заверещаю.

Мы не из «Новости»,
чтобы клеймить Сороса.
Не комиссарю.

Свобода от совести
не в собственном соусе.
Заверещаю.

Не попку, облизанную
мещанами,
любовь к неближнему
заверещаю.

Зачерпни бадейкой
звезду из лужиц
и прелюбодействуй,
если любишь.

От Пушкина – версия Вересаева.

Есть ересь поколения
от Ельцина до Воинова.
Я прекращаю прения.
Заверещаю.

II

Не стреляйте по птичьим гриппам,
по моим сегодняшним хрипам!

Над Россией Небесный Хиппи
летел, рассеянный, как Равель.
Его убили какие-то психи,
упал расстрелянный журавель.
Не попадёт уже в Куршавель.

«Курлы!»
не было рассадником заразы.
Наши члены УРЛЫ
это поняли сразу.

В нашей факанной ошибке, бя!
Остался вакуум журавля...

Его ноги раскладывались
подобно зонтикам.
Его разбросанные конструкции,
нам подпиравшие его экзотику.

(Мы рассматривали его конструкцию.
Под ним оказалась окружающая Земля.
Но нет прекрасного журавля.)

Журавль – не аист, но отчего-то
упала рождаемость, пошли разводы.

Андрей Дмитриевич сказал в итоге:
«Нас всех теперь пошлют строить
железные дороги».

Отто Юльевич промолчал.

И посмотрел в гриппозное небо:
глядели колодезные журавли.
Зураба башни в небе стоят.
Журавль в них вырастит журавлят.
Рюмашка – ножка от журавля.
Не разбей, Машенька, хрусталия.

Ни Журден, ни Чазов, ни Рафаэль
не вернут тебя, долговязый журавель.

Мы – дичь.
О наследниках поэтич. и юридич.
скажу впоследствии.
В интересах следствия.

III

Страшно наследство: дача обветшала!
Свою вишутку заверещаю!

Мои вишутки – не завитушки,
а дрожь, влюблённая в руке!
Как будто рыжие веснушки
оставит солнце на реке.

Не политические вертушки.
Даже то, что Вы член ВТО,
вещдок останется как вишутка.
Жизнь как жемчужная шутка Ватто.

Как вишуткино пролетела
нержавейка воздушная —
метрополитен гениального
Душкина!

Гений, он говорил нам, фанатам:
«Не заклинивайтесь на верзухе!!!
Живите по пернатым, по вишуткам».

IV

Какое море без корабля?
Какое небо без журавля?

Заверещаю все звёзды и плевелы
за исключением одного.
Твой царский подарок,
швейцарский плеер,
не доставайся ты никому!

Мы столько клеили с тобой красавиц,
Моё дыхание в тебе осталось.

Тебя я брошу в пучину. За камни.
Мне море ответит чревоуещанием.

Волна откликнется трёхэтажная.
Вернисажевая.

V

Лежу на пьедестале в белых тапочках.
Мысль в башке копается, какмышь.
Мой мозг уносят, точно творог в тряпочке,
смахнув щелчком замешкавшуюся мысль.

Нет жизни на Земле. Однако
поклонников зарвавшаяся рать,
«зарвавшегося Пастернака»
(«мол, смерти нет») тащила умирать.

И дуновением нирваны
шло покаяние в Душе.
И в откровении Иоанна
написано, что «смерти нет уже».

Шли люди, взвивши штоф, как капельницы,
жизнь алкая и смерть алкая.
Офицеры, красавцы, капелевцы
шли психической атакою.

И с пистолетами, и с удавками,
нас теснили, хоть удержишь.
Толкая перед собой жизнь неудавшуюся,
как будто есть удавшаяся жизнь.

Нет правды на земле, но правды нет и выше.

Все папарацци. Я осознавал:
как слышен дождь, идущий через крышу,
всеобщей смерти праздничный хорал.

Диагноз: плескит.
Господь простит.

Лангетка —
вроде голландского ландскнехта.

Боль крутящая, круглосуточная.
Это не шуточки...
Боль адская!
Блядская акция.

В небе молнии порез.
Соль щепоткой, побожись.
Жизнь – высокая болезнь.
Жизнь есть боль, и боль есть жизнь.

VI

Не думаю, что ты бессмертна,
но вдруг вернёшься
в «Арбат Престиж»?
Или в очереди на Башмета
рассеянно у соседа
ты спросишь:
«Парень, что свиристишь?»

Ты никогда не слыхала голос,
но узнаешь его из тыщ.
В твоём сознании расколосось:
вдвоём со мною засвиристишь.

Пустая абстрактнейшая свирельщина
станет реальнее, чем Верещагин.
Единственная в мире Женщина,
заверещаю.

Чуир, чуир, щурленец,
глаукомель!

P. S.

Стрелять в нас глупо, хоть и целебно.
Зараза движется на Восток.
И имя, похожее на «Бессеребренников»,
несётся кометно чёрным хвостом.

Люблю я птичью абракадабру:
пускай она непонятна всем.
Я верую в Активатор Охабрино (!)
из звёздной фабрики «Гамма-7».

В нашем общем рейсе чартерном
ты чарку Вечности хватанёшь,
и окликнет птичью чакру
очарованный Алконост.

Арифметика архимедленна —
скоростной нас возьмёт канун.
Я вернусь спиралью Архимедовой:
ворона или Гамаюн?

Не угадывая последствие
распрямится моя душа,
как пересаженное сердце
мотоциклиста и алкаша.

Всё запрещается? Завершается.
Идут циничные времена.
Кому химичится? В Политехнический.
Слава Богу, что без меня.
Политехнический, полухохмический
прокрикнет новые имена.

Поэты шурятся из перемен:
«Что есть устрица? Это пельмень?»
Другой констатирует сердечный спазм:
«Могут ли мужчины имитировать оргазм?»
И миронически новой командой —
Политехнический Чулпан Хаматовой.

Всё завершается?
ЗАВЕРЕЩАЕТСЯ!

P. P. S.

И дебаркадерно, неблагодарно,
непрекращаемо горячо
пробьётся в птичьей абракадабре
неутоляемое «ещё!»

Ещё продлите! Пускай «хрущобы».
Жизнь – пошло крашенное яйцо!
Хотя б минуту ещё. Ещё бы —

ЕЩЁ!

Владимир Высоцкий

Стихи и песни

Песни 1960–1966 годов

Сорок девять дней

Суров же ты, климат охотский, —
Уже третий день ураган.
Встает у руля сам Крючковский,
На отдых – Федотов Иван.

Стихия реветь продолжала —
И Тихий шумел океан.
Зиганшин стоял у штурвала
И глаз ни на миг не смыкал.

Суровой, ужасней лишения,
Ни лодки не видно, ни зги, —
И принято было решение —
И начали есть сапоги.

Последнюю съели картошку,
Взглянули друг другу в глаза...
Когда ел Поплавский гармошку,
Крутая скатилась слеза.

Доедена банка консервов
И суп из картошки одной, —
Все меньше здоровья и нервов,
Все больше желанье домой.

Сердца продолжали работу,
Но реже становится стук,
Спокойный, но слабый Федотов
Глотал предпоследний каблук.

Лежали все четверо в лежку,
Ни лодки, ни крошки вокруг,
Зиганшин скрутил козью ножку
Слабевшими пальцами рук.

На службе он воин заправский,
И штурман заправский он тут.

Зиганшин, Крючковский, Поплавский
Под палубой песни поют.

Зиганшин крепился, держался,
Бодрил, сам был бледный, как тень,
И то, что сказать собирался,
Сказал лишь на следующий день.

«Друзья!..» Через час: «Дорогие!..»
«Ребята! – Еще через час. —
Ведь нас не сломила стихия,
Так голод ли ломит ли нас!

Забудем про пищу – чего там! —
А вспомним про наших солдат...»
«Узнать бы, – стал бредить Федотов, —
Что у нас в части едят».

И вдруг: не мираж ли, не миф ли —
Какое-то судно идет!
К биноклю все сразу приникли,
А с судна летит вертолет.

...Окончены все переплеты —
Вновь служат, – что, взял, океан?! —
Крючковский, Поплавский, Федотов,
А с ними Зиганшин Асхан.

1960

Татуировка

Не делили мы тебя и не ласкали
А что любили – так это позади, —
Я ношу в душе твой светлый образ, Валя,
А Алеша выколол твой образ на груди.

И в тот день, когда прощались на вокзале,
Я тебя до гроба помнить обещал, —
Я сказал: «Я не забуду в жизни Вали!»
«А я – тем более!» – мне Леша отвечал.

А теперь реши, кому из нас с ним хуже,
И кому трудней – попробуй разбери:
У него – твой профиль выколот снаружи,
А у меня – душа исколота внутри.

И когда мне так уж тошно, хоть на плаху, —

Пусть слова мои тебя не оскорбят, —
Я прошу, чтоб Леха расстегнул рубаху,
И гляжу, гляжу часами на тебя.

Но недавно мой товарищ, друг хороший,
Он беду мою искусством поборол:
Он скопировал тебя с груди у Леши
И на грудь мою твой профиль наколол.

Знаю я, своих друзей чернить неловко,
Но ты мне ближе и роднее оттого,
Что моя – верней твоя – татуировка
Много лучше и красивей, чем его!

1961

«Я был душой дурного общества...»

Я был душой дурного общества,
И я могу сказать тебе:
Мою фамилию-имя-отчество
Прекрасно знали в КГБ.

В меня влюблялася вся улица
И весь Савеловский вокзал.
Я знал, что мной интересуются,
Но все равно пренебрегал.

Свой человек я был у скокарей,
Свой человек – у щипачей, —
И гражданин начальник Токарев
Из-за меня не спал ночей.

Ни разу в жизни я не мучился
И не скучал без крупных дел, —
Но кто-то там однажды скурвился, ссучился —
Шепнул, навел – и я сгорел.

Начальник вел себя не въедливо,
Но на допросы вызывал, —
А я всегда ему приветливо
И очень скромно отвечал:

«Не брал я на душу покойников
И не испытывал судьбу, —
И я, начальник, спал спокойненько,
И весь ваш МУР видал в гробу!»

И дело не было отложено
И огласили приговор, —
И дали все, что мне положено,
Плюс пять мне сделал прокурор.

Мой адвокат хотел по совести
За мой такой веселый нрав, —
А прокурор просил всей строгости —
И был, по-моему, неправ.

С тех пор заглохло мое творчество,
Я стал скучающий субъект, —
Зачем же быть душою общества,
Когда души в нем вовсе нет!

1962

Ленинградская блокада

Я вырос в ленинградскую блокаду,
Но я тогда не пил и не гулял,
Я видел, как горят огнем Бадаевские склады,
В очередях за хлебушком стоял.

Граждане смелые,
а что ж тогда вы делали,
Когда наш город счет не вел смертям?
Ели хлеб с икоркою, —
а я считал махоркою
Окурки с-под платформы черт-те с чем
напополам.

От стужи даже птицы не летали,
А вору было нечего украсть,
Родителей моих в ту зиму ангелы прибрали,
А я боялся – только б не упасть!

Было здесь до фига
голодных и дистрофиков —
Все голодали, даже прокурор, —
А вы в эвакуации
читали информации
И слушали по радио «От Совинформбюро».

Блокада затянулась, даже слишком,
Но наш народ врагов своих разбил, —
И можно жить, как у Христа за пазухой под мышкой,
Но только вот мешает бригадмил.

Я скажу вам ласково,
граждане с повязками,
В душу ко мне лапою не лезь!
Про жизнь вашу личную
и непатриотичную
Знают уже органы и ВЦСПС!

1961

«Что же ты, зараза, бровь себе побрила...»

Что же ты, зараза, бровь себе побрила,
Ну для чего надела, падла, синий свой берет!
И куда ты, стерва, лыжи наострила —
От меня не скроешь ты в наш клуб второй билет!

Знаешь ты, что я души в тебе не чаю,
Для тебя готов я днем и ночью воровать, —
Но в последнее время чтой-то замечаю,
Что ты мне стала слишком часто изменять.

Если это Колька или даже Славка —
Супротив товарищей не стану возражать,
Но если это Витька с Первой Перьяславки —
Я ж тебе ноги обломаю, в бога душу мать!

Рыжая шалава, от тебя не скрою:
Если ты и дальше будешь свой берет носить —
Я тебя не трону, а в душе зарою
И прикажу залить цементом, чтобы не разрыть.

А настанет лето – ты еще вернешься,
Ну, а я себе такую бабу отхвачу,
Что тогда ты, стерва, от зависти загнешься,
Скажешь мне: «Прости!» – а я плевать не захочу!

1961

«Позабыв про дела и тревоги...»

Позабыв про дела и тревоги
И не в силах себя удержать,
Так люблю я стоять у дороги —
Запоздалых прохожих пугать!

«Гражданин, разрешите папироску!»

«Не курю. Извините, пока!»
И тогда я так просто, без спросу
Отбираю у дяди бока.

Сделав вид, что уж все позабыто,
Отбежав на полсотни шагов,
Обзовет меня дядя бандитом,
Хулиганом – и будет таков.

Но если женщину я повстречаю —
У нее не прошу закурить,
А спокойно ей так намекаю,
Что ей некуда больше спешить...

Позабыв про дела и тревоги
И не в силах себя удержать,
Так люблю я стоять на дороге!..
Только лучше б мне баб не встречать!

1963

Серебряные струны

У меня гитара есть – расступитесь, стены!
Век свободы не видать из-за злой фортуны!
Перережьте горло мне, перережьте вены —
Только не порвите серебряные струны!

Я заруюсь в землю, стину в одночасье —
Кто бы заступился за мой возраст юный!
Влезли ко мне в душу, рвут ее на части —
Только б не порвали серебряные струны!

Но гитару унесли, с нею – и свободу, —
Упирался я, кричал: «Сволочи, паскуды!
Вы втопчите меня в грязь, бросьте меня в воду —
Только не порвите серебряные струны!»

Что же это, братцы! Не видать мне, что ли,
Ни денечков светлых, ни ночей безлунных?!
Загубили душу мне, отобрали волю, —
А теперь порвали серебряные струны...

1962

Тот, кто раньше с нею был

В тот вечер я не пил, не пел —
Я на нее всю глядел,
Как смотрят дети, как смотрят дети.
Но тот, кто раньше с нею был,
Сказал мне, чтоб я уходил,
Сказал мне, чтоб я уходил,
Что мне не светит.

И тот, кто раньше с нею был, —
Он мне грубил, он мне грозил.
А я все помню — я был не пьяный.
Когда ж я уходить решил,
Она сказала: «Не спеши!»
Она сказала: «Не спеши,
Ведь слишком рано!»

Но тот, кто раньше с нею был,
Меня, как видно, не забыл, —
И как-то в осень, и как-то в осень —
Иду с дружкой, гляжу — стоят, —
Они стояли молча в ряд,
Они стояли молча в ряд —
Их было восемь.

Со мною — нож, решил я: что ж.
Меня так просто не возьмешь, —
Держитесь, гады! Держитесь, гады!
К чему задаром пропадать,
Ударил первым я тогда,
Ударил первым я тогда —
Так было надо.

Но тот, кто раньше с нею был, —
Он эту кашу заварил
Вполне серьезно, вполне серьезно.
Мне кто-то на плечи повис, —
Валюха крикнул: «Берегись!»
Валюха крикнул: «Берегись!» —
Но было поздно.

За восемь бед — один ответ.
В тюрьме есть тоже лазарет, —
Я там валялся, я там валялся.
Врач резал вдоль и поперек.
Он мне сказал: «Держись, браток!»
Он мне сказал: «Держись, браток!» —
И я держался.

Разлука мигом пронеслась,

Она меня не дождалась,
Но я прощаю, ее – прощаю.
Ее, как водится, простил,
Того ж, кто раньше с нею был,
Того, кто раньше с нею был, —
Не извиняю.

Ее, конечно, я простил,
Того ж, кто раньше с нею был,
Того, кто раньше с нею был, —
Я повстречаю!

«У тебя глаза – как нож...»

У тебя глаза – как нож:
Если прямо ты взглянешь —
Я забываю, кто я есть и где мой дом;
А если косо ты взглянешь —
Как по сердцу полоснешь
Ты холодным, острым серым тесаком.

Я здоров – к чему скрывать, —
Я пятаки могу ломать,
А недавно головой быка убил, —
Но с тобой жизнь коротать —
Не подковы разгибать,
А прибить тебя – морально нету сил.

Вспомни, было ль, хоть разок,
Чтоб я из дому убег, —
Ну когда же надоест тебе гулять!
С грабежу я прихожу —
Язык за спину завожу
И бегу тебя по городу шукать.

Я все ноги исходил —
Велосипед себе купил,
Чтоб в страданиях облегчения была, —
Но налетел на самосвал —
К Склифосовскому попал, —
Навестить меня ты даже не пришла.

И хирург – седой старик —
Он весь обмяк и как-то сник:
Он шесть суток мою рану зашивал!
А когда кончился наркоз,
Стало больно мне до слез:

Для кого ж своей я жизнью рисковал!

Ты не радуйся, змея, —
Скоро выпишут меня —
Отомщу тебе тогда без всяких схем:
Я тебе точно говорю,
Востру бритву наострю —
И обрею тебя наголо совсем!

1961

Лежит камень в степи

Артуру Макарову

Лежит камень в степи,
А под него вода течет,
А на камне написано слово:

«Кто направо пойдет —
Ничего не найдет,
А кто прямо пойдет —
Никуда не придет,
Кто налево пойдет —
Ничего не поймет
И ни за грош пропадет».

Перед камнем стоят
Без коней и без мечей
И решают: идти иль не надо.

Был один из них зол,
Он направо пошел,
В одиночку пошел, —
Ничего не нашел —
Ни деревни, ни сел, —
И обратно пришел.

Прямо нету пути —
Никуда не прийти,
Но один не поверил в заклатья

И, подобравши подол,
Напрямую пошел, —
Сколько он ни бродил —
Никуда не забрел, —
Он вернулся и пил,
Он обратно пришел.

Ну а третий – был дурак,
Ничего не знал и так,
И пошел без опаски налево.

Долго ль, коротко ль шагал —
И совсем не страдал,
Пил, гулял и отдыхал,
Ничего не понимал, —
Ничего не понимал,
Так всю жизнь и прошагал —
И не сгинул, и не пропал.

1962

Большой Каретный

Левону Кочаряну

Где твои семнадцать лет?
На Большом Каретном.
Где твои семнадцать бед?
На Большом Каретном.
Где твой черный пистолет?
На Большом Каретном.
А где тебя сегодня нет?
На Большом Каретном.

Помнишь ли, товарищ, этот дом?
Нет, не забываешь ты о нем.
Я скажу, что тот полжизни потерял,
Кто в Большом Каретном не бывал.
Еще бы, ведь

Где твои семнадцать лет?
На Большом Каретном.
Где твои семнадцать бед?
На Большом Каретном.
Где твой черный пистолет?
На Большом Каретном.
А где тебя сегодня нет?
На Большом Каретном.

Переименован он теперь,
Стало все по новой там, верь не верь.
И все же, где б ты ни был, где ты ни бредешь,
Нет-нет да по Каретному пройдешь.
Еще бы, ведь

Где твои семнадцать лет?
На Большом Каретном.
Где твои семнадцать бед?
На Большом Каретном.
Где твой черный пистолет?
На Большом Каретном.
А где тебя сегодня нет?
На Большом Каретном.

1962

«Если б водка была на одного...»

Если б водка была на одного —
Как чудесно бы было!
Но всегда покурить — на двоих,
Но всегда распивать — на троих.
Что же — на одного?
На одного — колыбель и могила.

От утра и до утра
Раньше песни пелись,
Как из нашего двора
Все поразлетелись —
Навсегда, кто куда,
На долгие года.

Говорят, что жена — на одного, —
Спокон веку так было.
Но бывает жена — на двоих,
Но бывает она — на троих.
Что же — на одного?
На одного — колыбель и могила.

От утра и до утра
Раньше песни пелись,
Как из нашего двора
Все поразлетелись —
Навсегда, кто куда,
На долгие года.

Сколько ребят у нас в доме живет,
Сколько ребят в доме рядом!
Сколько блатных мои песни поет,
Сколько блатных еще сядут —
Навсегда, кто куда,
На долгие года!

1964

«Сколько лет, сколько лет...»

Сколько лет, сколько лет —
Все одно и то же:
Денег нет, женщин нет,
Да и быть не может.

Сколько лет воровал,
Сколько лет старался, —
Мне б скопить капитал —
Ну а я спивался.

Ни кола ни двора
И ни рожи с кожей,
И друзей – ни хера,
Да и быть не может.

Сколько лет воровал,
Сколько лет старался, —
Мне б скопить капитал —
Ну а я спивался...

Только – водка на троих,
Только – пика с червой, —
Комом – все блины мои,
А не только первый.

1966

«Правда ведь, обидно – если завязал...»

Правда ведь, обидно – если завязал,
И товарищ продал, падла, и за все сказал:
За давнишнее, за драку, – все сказал Сашок, —
И двое в синем, двое в штатском, черный воронок...

До свиданья, Таня, а может быть – прощай!
До свиданья, Таня, если можешь – не серчай!
Но все-таки обидно, чтоб за просто так
Выкинуть из жизни напрочь цельный четвертак!

На суде судья сказал: «Двадцать пять! До встречи!»
Раньше б горло я порвал за такие речи!
А теперь – терплю обиду, не показываю виду, —

Если встречу я Сашка – ох как изувечу!

До свиданья, Таня, а может быть – прощай!
До свиданья, Таня, если можешь – не серчай!
Но все-таки обидно, чтоб за просто так
Выкинуть из жизни напрочь цельный четвертак!

1962

«– Эй, шофер, вези – Бутырский хутор...»

– Эй, шофер, вези – Бутырский хутор,
Где тюрьма, – да поскорее мчи!
– Ты, товарищ, опоздал,
ты на два года перепутал —
Разбирают уж тюрьму на кирпичи.

– Очень жаль, а я сегодня спозаранку
По родным решил проехаться местам...
Ну да ладно, что ж, шофер,
вези меня в «Таганку», —
Погляжу, ведь я бывал и там.

– Разломали старую «Таганку» —
Подчистую, всю, ко всем чертям!
– Что ж, шофер, давай назад,
крути-верти назад свою баранку, —
Так ни с чем поедem по домам.

Или нет, шофер, давай закурим,
Или лучше – выпьем поскорей!
Пьем за то, чтоб не осталось
по России больше тюрем,
Чтоб не стало по России лагерей!

1963

«За меня невеста отрыдает честно...»

За меня невеста отрыдает честно,
За меня ребята отдадут долги,
За меня другие отпoют все песни,
И, быть может, выпьют за меня враги.

Не дают мне больше интересных книжек,
И моя гитара – без струны.
И нельзя мне выше, и нельзя мне ниже,

И нельзя мне солнца, и нельзя луны.

Мне нельзя на волю – не имею права, —
Можно лишь – от двери до стены.
Мне нельзя налево, мне нельзя направо —
Можно только неба кусок, можно только сны.

Сны – про то, как выйду, как замок мой снимут,
Как мою гитару отдадут,
Кто меня там встретит, как меня обнимут
И какие песни мне споют.

1963

Рецидивист

Это был воскресный день – и я не лазил по карманам:
В воскресенье – отдыхать, – вот мой девиз.
Вдруг – свисток, меня хватают, обзывают хулиганом,
А один узнал – кричит: «Рецидивист!»

«Брось, товарищ, не ершись,
Моя фамилия – Сергеев, —
Ну, а кто рецидивист —
Так я ж понятия не имею».

И это был воскресный день, но мусора не отдыхают:
У них тоже – план давай, хоть удавись, —
Ну а если перевыполнят, так их там награждают —
На вес золота там вор-рецидивист.

С уважением мне: «Садись! —
Угощают „Беломором“. —
Значит – ты рецидивист?
Распишись под протоколом!»

И это был воскресный дань, светило солнце как бездельник,
И все люди – кто с друзьями, кто с семьей, —
Ну а я сидел скучал, как в самый грустный понедельник:
Мне майор попался очень деловой.

«Сколько раз судились вы?»
«Плохо я считать умею!»
«Но все же вы – рецидивист?»
«Да нет, товарищ, я – Сергеев».

Это был воскресный день – а я потел, я лез из кожи, —
Но майор был в математике горазд:

Он чего то там сложил, потом умножил, подытожил —
И сказал, что я судился десять раз.

Подал мне начальник лист —
Расписался как умею —
Написал: «Рецидивист
По фамилии Сергеев».

И это был воскресный день, я был усталым и побитым, —
Но одно я знаю, одному я рад:
В семилетний план поимки хулиганов и бандитов
Я ведь тоже внес свой очень скромный вклад!

1964

«Я женщин не бил до семнадцати лет...»

Я женщин не бил до семнадцати лет —
В семнадцать ударил впервые, —
С тех пор на меня просто удержу нет:
Направо – налево
я им раздаю «чаевые».

Но как же случилось, что интеллигент,
Противник насилия в быте,
Так низко упал я – и в этот момент,
Ну если хотите,
себя оскорбил мордобитьем?

А было все так: я ей не изменил
За три дня ни разу, признаться, —
Да что говорить – я духи ей купил! —
Французские, братцы,
За тридцать четыре семнадцать.

Но был у нее продавец из «ТЭЖЕ» —
Его звали Голубев Слава, —
Он эти духи подарил ей уже, —
Налево-направо
моя улыбалась шалава.

Я был молодой, и я вспыльчивый был —
Претензии выложил кратко —
Сказал ей: «Я Славку вчера удавил, —
Сегодня ж, касатка,
тебя удавлю для порядка!»

Я с дрожью в руках подошел к ней впритык,

Зубами стуча «Марсельезу», —
К гортани присох непослушный язык —
И справа, и слева
я ей основательно врезал.

С тех пор все шалавы боятся меня —
И это мне больно, ей-богу!
Поэтому я – не проходит и дня —
Бью больно и долго, —
но всех не побьешь – их ведь много.

1963

Про Сережу Фомина

Я рос как вся дворовая шпана —
Мы пили водку, пели песни ночью, —
И не любили мы Сережку Фомина
За то, что он всегда сосредоточен.

Сидим раз у Сережки Фомина —
Мы у него справляли наши встречи, —
И вот о том, что началась война,
Сказал нам Молотов в своей известной речи.

В военкомате мне сказали: «Старина,
Тебе броню дает родной завод „Компрессор”!»
Я отказался, – а Сережку Фомина
Спасал от армии отец его, профессор.

Кровь лью я за тебя, моя страна,
И все же мое сердце негодует:
Кровь лью я за Сережку Фомина —
А он сидит и в ус себе не дует!

Теперь небось он ходит по кинам —
Там хроника про нас перед сеансом, —
Сюда б сейчас Сережку Фомина —
Чтоб побыл он на фронте на германском!

...Но наконец закончилась война —
С плеч сбросили мы словно тонны груза, —
Встречаю я Сережку Фомина —
А он Герой Советского Союза...

1963

Штрафные батальоны

Всего лишь час дают на артобстрел —
Всего лишь час пехоте передышки,
Всего лишь час до самых главных дел:
Кому — до ордена, ну, а кому — до «вышки».

За этот час не пишем ни строки —
Молись богам войны артиллеристам!
Ведь мы ж не просто так — мы штрафники, —
Нам не писать: «...считайте коммунистом».

Перед атакой — водку, — вот мура!
Свое отпили мы еще в гражданку.
Поэтому мы не кричим «ура» —
Со смертью мы играемся в молчанку.

У штрафников один закон, один конец:
Коли, руби фашистского бродягу,
И если не поймашь в грудь свинец —
Медаль на грудь поймашь за отвагу.

Ты бей штыком, а лучше — бей рукой:
Оно надежней, да оно и тише, —
И ежели останешься живой —
Гуляй, рванина, от рубля и выше!

Считает враг: морально мы слабы, —
За ним и лес, и города сожжены.
Вы лучше лес рубите на гробы —
В прорыв идут штрафные батальоны!

Вот шесть ноль-ноль — и вот сейчас обстрел, —
Ну, бог войны, давай без передышки!
Всего лишь час до самых главных дел:
Кому — до ордена, а большинству — до «вышки»...

1963

Письмо рабочих тамбовского завода китайским руководителям

В Пекине очень мрачная погода,
У нас в Тамбове на заводе перекур, —
Мы пишем вам с тамбовского завода,
Любители опасных авантур!

Тем, что вы договор не подписали,
Вы причинили всем народам боль
И, извращая факты, доказали,
Что вам дороже генерал де Голль.

Нам каждый день насущный мил и дорог, —
Но если даже вспомнить старину,
То это ж вы изобретали порох
И строили Китайскую стену.

Мы понимаем – вас совсем не мало,
Чтоб триста миллионов погубить, —
Но мы уверены, что сам товарищ Мао,
Ей-богу, очень-очень хочет жить.

Когда вы рис водою запивали —
Мы проявляли интернационализм, —
Небось, когда вы русский хлеб жевали,
Не говорили про оппортунизм!

Бойтесь вы, что – реваншисты в Бонне,
Что – Вашингтон грозитя перегнать, —
Но сам Хрущев сказал еще в ООНе,
Что мы покажем кузькину им мать!

Вам не нужны ни бомбы, ни снаряды —
Не раздувайте вы войны пожар, —
Мы нанесем им, если будет надо,
Ответный термоядерный удар.

А если зуд – без дела не страдайте, —
У вас еще достаточно делов:
Давите мух, рождаемость снижайте,
Уничтожайте ваших воробьев!

И не интересуйтесь нашим бытом —
Мы сами знаем, где у нас чего.
Так наш ЦК писал в письме открытом, —
Мы одобряем линию его!

1963

Антисемиты

Зачем мне считаться шпаной и бандитом —
Не лучше ль податься мне в антисемиты:
На их стороне, хоть и нету законов, —
Поддержка и энтузиазм миллионов.

Решил я – и, значит, кому-то быть битым,
Но надо ж узнать, кто такие семиты, —
А вдруг это очень приличные люди,
А вдруг из-за них мне чего-нибудь будет!

Но друг и учитель – алкаш в бакалее —
Сказал, что семиты – простые евреи.
Да это ж такое везение, братцы, —
Теперь я спокоен – чего мне бояться!

Я долго крепился, ведь благоговейно
Всегда относился к Альберту Эйнштейну.
Народ мне простит, но спрошу я невольно:
Куда отнести мне Абрама Линкольна?

Средь них – пострадавший от Сталина Каплер,
Средь них – уважаемый мной Чарли Чаплин,
Мой друг Рабинович и жертвы фашизма,
И даже основоположник марксизма.

Но тот же алкаш мне сказал после дельца,
Что пьют они кровь христианских младенцев;
И как-то в пивной мне ребята сказали,
Что очень давно они бога распяли!

Им кровушки надо – они по запарке
Замучили, гады, слона в зоопарке!
Украли, я знаю, они у народа
Весь хлеб урожая минувшего года!

По Курской, Казанской железной дороге
Построили дачи – живут там как боги...
На все я готов – на разбой и насилие, —
Бью я жидов – и спасаю Россию!

1963

Песня про Уголовный кодекс

Нам ни к чему сюжеты и интриги:
Про все мы знаем, про все, чего ни дашь.
Я, например, на свете лучшей книгой
Считаю Кодекс уголовный наш.

И если мне неймется и не спится
Или с похмелья нет на мне лица —
Открою Кодекс на любой странице,

И не могу – читаю до конца.

Я не давал товарищам советы,
Но знаю я – разбой у них в чести, —
Вот только что я прочитал про это:
Не ниже трех, не выше десяти.

Вы вдумайтесь в простые эти строки —
Что нам романы всех времен и стран! —
В них есть бараки, длинные как сроки,
Скандалы, драки, карты и обман...

Сто лет бы мне не видеть этих строчек! —
За каждой вижу чью-нибудь судьбу, —
И радуюсь, когда статья – не очень:
Ведь все же повезет кому-нибудь!

И сердце стонет раненою птицей,
Когда начну свою статью читать,
И кровь в висках так ломится-стучится, —
Как мусора, когда приходят брать.

1964

Наводчица

– Сегодня я с большой охотой
Распоряжусь своей субботой,
И если Нинка не капризная,
Распоряжусь своею жизнью я!

– Постой, чудака, она ж – наводчица, —
Зачем?

– Да так, уж очень хочется!

– Постой, чудака, у нас – компания, —
Пойдем в кабак – зальем желание!

– Сегодня вы меня не пачкайте,
Сегодня пьянка мне – до лампочки:
Сегодня Нинка соглашается —
Сегодня жизнь моя решается!

– Ну и дела же с этой Нинкою!
Она спала со всей Ордынкою, —
И с нею спать ну кто захочет сам!..
– А мне плевать – мне очень хочется!

Сказала: любит, – все, заметано!

– Отвечу рупь за то, что врет она!
Она ж того – ко всем ведь просится...
– А мне чего – мне очень хочется!

– Она ж хрипит, она же грязная,
И глаз подбит, и ноги разные,
Всегда одета, как уборщица...
– Плевать на это – очень хочется!

Все говорят, что – не красавица, —
А мне такие больше нравятся.
Ну, что ж такого, что – наводчица, —
А мне еще сильнее хочется!

1964

О нашей встрече

О нашей встрече что там говорить! —
Я ждал ее, как ждут стихийных бедствий, —
Но мы с тобою сразу стали жить,
Не опасаясь пагубных последствий.

Я сразу сузил круг твоих знакомств,
Одел, обул и вытащил из грязи, —
Но за тобой тащился длинный хвост —
Длиннящий хвост твоих коротких связей.

Потом, я помню, бил друзей твоих:
Мне с ними было как-то неприятно, —
Хотя, быть может, были среди них
Наверняка отличные ребята.

О чем просила – делал мигом я, —
Я каждый день старался сделать ночью брачной.
Из-за тебя под поезд прыгнул я,
Но, слава богу, не совсем удачно.

И если б ты ждала меня в тот год,
Когда меня отправили на дачу, —
Я б для тебя украл весь небосвод
И две звезды Кремлевские в придачу.

И я клянусь – последний буду гад! —
Не ври, не пей – и я прощу измену, —
И подарю тебе Большой театр
И Малую спортивную арену.

А вот теперь я к встрече не готов:
Боюсь тебя, боюсь речей интимных —
Как жители японских городов
Боятся повторенья Хиросимы.

1964

Все ушли на фронт

Все срока уже закончены,
А у лагерных ворот,
Что крест-накрест заколочены, —
Надпись: «Все ушли на фронт».

За грехи за наши нас простят,
Ведь у нас такой народ:
Если Родина в опасности —
Значит, всем идти на фронт.

Там год – за три, если бог хранит, —
Как и в лагере зачет.
Нынче мы на равных с вохрами —
Нынче всем идти на фронт.

У начальника Березкина —
Ох и гонор, ох и понт! —
И душа – крест-накрест досками, —
Но и он пошел на фронт.

Лучше было – сразу в тыл его:
Только с нами был он смел, —
Высшей мерой наградил его
Трибунал за самострел.

Ну а мы – все оправдали мы, —
Наградили нас потом:
Кто живые, тех – медалями,
А кто мертвые – крестом.

И другие заключенные
Пусть читают у ворот
Нашу память застекленную —
Надпись: «Все ушли на фронт»...

1964

«Я любил и женщин и проказы...»

Я любил и женщин и проказы:
Что ни день, то новая была, —
И ходили устные рассказы
Про мои любовные дела.

И однажды как-то на дороге
Рядом с морем – с этим не шути —
Встретил я одну из очень многих
На моем на жизненном пути.

А у ней – широкая натура,
А у ней – открытая душа,
А у ней – отличная фигура, —
А у меня в кармане – ни гроша.

Ну а ей – в подарок нужно кольца;
Кабаки, духи из первых рук, —
А взамен – немного удовольствий
От ее сомнительных услуг.

«Я тебе, – она сказала, – Вася,
Дорогое самое отдам!..»
Я сказал: «За сто рублей согласен, —
Если больше – с другом пополам!»

Женщины – как очень злые кони:
Захрипит, закусит удила!..
Может, я чего-нибудь не понял,
Но она обиделась – ушла.

...Через месяц улеглись волненья —
Через месяц вновь пришла она, —
У меня такое ощущение,
Что ее устроила цена!

1964

«Вот раньше жизнь!..»

Вот раньше жизнь!
И вверх, и вниз
Идешь без конвоиров, —
Покуришь план,
Пойдешь на бан

И щиплешь пассажиров.

А на разбой
Берешь с собой
Надежную шалаву,
Потом – за грудь
Кого-нибудь
И делаешь варшаву.

Пока следят,
Пока грозят —
Мы это переносим.
Наелся всласть,
Но вот взялась
«Петровка 38».

Прошел детдом, тюрьму, приют
И срока не боялся, —
Когда ж везли в народный суд —
Немного волновался.

Зачем нам врут:
«Народный суд»! —
Народу я не видел, —
Судье простор,
И прокурор
Тотчас меня обидел.

Ответил на вопросы я,
Но приговор – с издевкой, —
И не согласен вовсе я
С такой формулировкой!

Не отрицаю я вины —
Не в первый раз садился,
Но – написали, что с людьми
Я грубо обходился.

Неправда! – тихо подойдешь,
Попросишь сторублевку...
Причем тут нож,
Причем грабеж? —
Меняй формулировку!

Эх, был бы зал —
Я б речь сказал:
«Товарищи родные!
Зачем пенять —
Ведь вы меня

Кормили и поили!

Мне каждый деньги отдавал
Без слез, угроз и крови...
Огромное спасибо вам
За все на добром слове!»

И этот зал
Мне б хлопать стал,
И я б, прервав рыдания,
Им тихим голосом сказал:
«Спасибо за вниманье!»

Ну правда ведь —
Неправда ведь,
Что я – грабитель ловкий?
Как людям мне в глаза смотреть
С такой формулировкой?!

1964

Песня про стукача

В наш тесный круг не каждый попадал,
И я однажды – проклятая дата —
Его привел с собою и сказал:
«Со мною он – нальем ему, ребята!»

Он пил как все и был как будто рад,
А мы – его мы встретили как брата...
А он назавтра продал всех подряд, —
Ошибся я – простите мне, ребята!

Суда не помню – было мне невмочь,
Потом – барак, холодный как могила, —
Казалось мне – кругом сплошная ночь,
Тем более что так оно и было.

Я сохраню хотя б остаток сил, —
Он думает – отсюда нет возврата,
Он слишком рано нас похоронил, —
Ошибся он – поверьте мне, ребята!

И день наступит – ночь не на года, —
Я попрошу, когда придет расплата:
«Ведь это я привел его тогда —
И вы его отдайте мне, ребята!..»

1964

«Потеряю истинную веру...»

Потеряю истинную веру —
Больно мне за наш СССР:
Отберите орден у Насера —
Не подходит к ордену Насер!

Можно даже крыть с трибуны матом,
Раздавать подарки вкривь и вкось,
Называть Насера нашим братом,
Но давать Героя — это брось!

Почему нет золота в стране?
Раздали, гады, раздали.
Лучше бы давали на войне,
А насеры после б нас простили!

1964

Песня о звездах

Мне этот бой не забыть нипочем —
Смертью пропитан воздух, —
А с небосклона бесшумным дождем
Падали звезды.

Снова упала — и я загадал:
Выйти живым из боя, —
Так свою жизнь я поспешно связал
С глупой звездой.

Я уж решил: миновала беда
И удалось отвертеться, —
С неба упала шальная звезда —
Прямо под сердце.

Нам говорили: «Нужна высота!»
И «Не жалеть патроны!»...
Вон покати́лась вторая звезда —
Вам на погоны.

Звезд этих в небе — как рыбы в прудах, —
Хватит на всех с лихвою.
Если б не насмерть, ходил бы тогда

Тоже – Героем.

Я бы Звезду эту сыну отдал,
Просто – на память...
В небе горит, пропадает звезда —
Некуда падать.

1964

Братские могилы

На братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них на рыдают, —
К ним кто-то приносит букеты цветов,
И Вечный огонь зажигают.

Здесь раньше вставала земля на дыбы,
А нынче – гранитные плиты.
Здесь нет ни одной персональной судьбы —
Все судьбы в единую слиты.

А в Вечном огне – видишь вспыхнувший танк,
Горящие русские хаты,
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг,
Горящее сердце солдата.

У братских могил нет заплаканных вдов —
Сюда ходят люди покрепче,
На братских могилах не ставят крестов...
Но разве от этого легче?!

1963, ред. 1965

Городской романс

Я однажды гулял по столице – и
Двух прохожих случайно зашиб, —
И, попавши за это в милицию,
Я увидел ее – и погиб.

Я не знаю, что там она делала, —
Видно, паспорт пришла получать —
Молодая, красивая, белая...
И решил я ее разыскать.

Шел за ней – и запомнил парадное.
Что сказать ей? – ведь я ж – хулиган...

Выпил я – и позвал ненаглядную
В привокзальный один ресторан.

Ну а ей улыбались прохожие —
Мне хоть просто кричи «Караул!» —
Одному человеку по роже я
Дал за то, что он ей подморгнул.

Я икрою ей булки намазывал,
Деньги прямо рекою текли, —
Я ж такие ей песни заказывал!
А в конце заказал – «Журавли».

Обещанья я ей до утра давал,
Повторял что-то вновь ей и вновь:
«Я ж пять дней никого не обкрадывал,
Моя с первого взгляда любовь!»

Говорил я, что жизнь потеряна,
Я сморкался и плакал в кашне, —
А она мне сказала: «Я верю вам —
И отдамся по сходной цене».

Я ударил ее, птицу белую, —
Закипела горячая кровь:
Понял я, что в милиции делала
Моя с первого взгляда любовь...

1963

«Я был слесарь шестого разряда...»

Я был слесарь шестого разряда,
Я получки на ветер кидал, —
Получал я всегда сколько надо —
И плюс премию в каждый квартал.

Если пьешь, – понимаете сами —
Должен чтой-то иметь человек, —
Ну, и кроме невесты в Рязани,
У меня – две шалавы в Москве.

Шлю посылки и письма в Рязань я,
А шалавам – себя и вино, —
Каждый вечер – одно наказание
И всю ночь – истязанье одно.

Вижу я, что здоровье тает,

На работе – все брак и скандал, —
Никаких моих сил не хватает —
И плюс премии в каждый квартал.

Синяки и морщины на роже, —
И сказал я тогда им без слов:
На фиг вас – мне здоровье дороже, —
Поищите других фраеров!..

Если б знали, насколько мне лучше,
Как мне чудно – хоть кто б увидал:
Я один пропиваю получку —
И плюс премию в каждый квартал!

1964

Ребята, напишите мне письмо

Мой первый срок я выдержать не смог, —
Мне год добавят, может быть – четыре...
Ребята, напишите мне письмо:
Как там дела в свободном вашем мире?

Что вы там пьете? Мы почти не пьем.
Здесь – только снег при солнечной погоде...
Ребята, напишите обо всем,
А то здесь ничего не происходит!

Мне очень-очень не хватает вас, —
Хочу увидеть милые мне рожи!
Как там Надюха, с кем она сейчас?
Одна? – тогда пускай напишет тоже.

Страшней, быть может, – только Страшный суд!
Письмо мне будет уцелевшей нитью, —
Его, быть может, мне не отдадут,
Но все равно, ребята, напишите!..

1964

«Ну о чем с тобою говорить!...»

Ну о чем с тобою говорить!
Все равно ты порешь ахинею,
Лучше я пойду к ребятам пить —
У ребят есть мысли поважнее.

У ребят серьезный разговор —
Например, о том, кто пьет сильнее.
У ребят широкий кругозор —
От ларька до нашей бакалеи.

Разговор у нас и прям и груб —
Две проблемы мы решаем глоткой:
Где достать недостающий рупь
И – кому потом бежать за водкой.

Ты даешь мне утром хлебный квас —
Ну что тебе придумать в оправданье!
Интеллекты разные у нас —
Повышай свое образование!

1964

«Парня спасем...»

Парня спасем,
Парня в детдом —
На воспитанье!
Даром учить,
Даром поить,
Даром питанье!..

Жизнь – как вода,
Вел я всегда
Жизнь бесшабашную, —
Все ерунда,
Кроме суда
Самого страшного.

Все вам дадут,
Все вам споют —
Будьте прилежными, —
А за оклад —
Ласки дарят
Самые нежные.

Вел я всегда
Жизнь без труда —
Жизнь бесшабашную, —
Все ерунда,
Кроме суда
Самого страшного.

1964

Песня о нейтральной полосе

На границе с Турцией или с Пакистаном —
Полоса нейтральная; справа, где кусты, —
Наши пограничники с нашим капитаном,
А на ихней стороне – ихние посты,

А на нейтральной полосе – цветы
Необычайной красоты!

Капитанова невеста жить решила вместе —
Прикатила, говорит: «Милый!..» – то да се.
Надо ж хоть букет цветов подарить невесте:
Что за свадьба без цветов! – пьянка, да и все.

А на нейтральной полосе – цветы
Необычайной красоты!

К ихнему начальнику, точно по повестке,
Тоже баба прикатила – налетела блажь, —
Тоже «Милый» говорит, только по-турецки,
Будет свадьба, говорит, свадьба – и шабаш!

А на нейтральной полосе – цветы
Необычайной красоты!

Наши пограничники – храбрые ребята, —
Трое вызвались идти, а с ними капитан, —
Разве ж знать они могли про то, что азиаты
Порешили в эту ночь вдарить по цветам!

А на нейтральной полосе – цветы
Необычайной красоты!

Пьян от запаха цветов капитан мертвецки,
Ну и ихний капитан тоже в доску пьян, —
Повалился он в цветы, охнув по-турецки,
И, по-русски крикнув: «...мать!», рухнул капитан.

А на нейтральной полосе – цветы
Необычайной красоты!

Спит капитан – и ему снится,
Что открыли границу, как ворота в Кремле, —
Ему и на фиг не нужна была чужая заграница —
Он пройтись хотел по ничейной земле.
Почему же нельзя? Ведь земля-то – ничья,

Ведь она – нейтральная!

А на нейтральной полосе – цветы
Необычайной красоты!

1965

Попутчик

Хоть бы – облачко, хоть бы – тучка
В этот год на моем горизонте, —
Но однажды я встретил попутчика —
Расскажу вам о нем, знакомьтесь.

Он спросил: «Вам куда?» – «До Вологды»,
«Ну, до Вологды – это полбеда».

Чемодан мой от водки ломится —
Предложил я, как полагается:
«Может, выпить нам – познакомиться, —
Поглядим, кто быстрее сломается!..»

Он сказал: «Вылезать нам в Вологде,
Ну, а Вологда – это вона где!..»

Я не помню, кто первый сломался, —
Помню, он подливал, поддакивал, —
Мой язык, как шнурок, развязался —
Я кого-то ругал, оплакивал...

И проснулся я в городе Вологде,
Но – убей меня – не припомню где.

А потом мне пришили дельце
По статье Уголовного кодекса, —
Успокоили: «Все перемелется», —
Дали срок – не дали опомниться.

И остался я городе Вологде,
Ну а Вологда – это вона где!..

Пятьдесят восьмую дают статью —
Говорят: «Ничего, вы так молоды...»
Если б знал я, с кем еду, с кем водку пью, —
Он бы хрен доехал до Вологды!

Он живет себе в городе Вологде,
А я – на Севере, а Север – вона где!

...Все обиды мои – годы стерли,
Но живу я теперь, как в наручниках:
Мне до боли, до кома в горле
Надо встретить того попутчика!

Но живет он в городе Вологде,
А я – на Севере, а Север – вона где!..

1965

«Сыт я по горло, до подбородка...»

Игорю Кохановскому

Сыт я по горло, до подбородка —
Даже от песен стал уставать.
Лечь бы на дно, как подводная лодка,
Чтоб не могли запеленговать!

Друг подавал мне водку в стакане,
Друг говорил, что это пройдет,
Друг познакомил с Веркой по пьяни:
Верка поможет, а водка спасет.

Не помогли ни Верка, ни водка:
С водки – похмелье, а с Верки – что взять!
Лечь бы на дно, как подводная лодка,
И позывных не передавать!..

Сыт я по горло, сыт я по глотку.
Ох, надоело петь и играть!
Лечь бы на дно, как подводная лодка,
Чтоб не могли запеленговать!

1965

«Мой друг уедет в Магадан...»

Игорю Кохановскому

Мой друг уедет в Магадан —
Снимите шляпу, снимите шляпу!
Уедет сам, уедет сам —
Не по этапу, не по этапу.

Не то чтоб другу не везло,

Не чтоб кому-нибудь назло,
Не для молвы: что, мол, чудака, —
А просто так.

Быть может, кто-то скажет: «Зря!
Как так решиться – всего лишиться!
Ведь там – сплошные лагеря,
А в них – убийцы, а в них – убийцы...»

Ответит он: «Не верь молве —
Их там не больше, чем в Москве!»
Потом уложит чемодан,
И – в Магадан!

Не то чтоб мне – не по годам, —
Я б прыгнул ночью из электрички,
Но я не еду в Магадан,
Забыв привычки, закрыв кавычки.

Я буду петь под струнный звон
Про то, что будет видеть он,
Про то, что в жизни не видал, —
Про Магадан.

Мой друг поедет сам собой —
С него довольно, с него довольно, —
Его не будет бить конвой —
Он добровольно, он добровольно.

А мне удел от бога дан...
А может, тоже – в Магадан?
Уехать с другом заодно —
И лечь на дно!..

1965

«В холода, в холода...»

В холода, в холода
От насиженных мест
Нас другие зовут города, —
Будь то Минск, будь то Брест, —
В холода, в холода...

Неспроста, неспроста,
От родных тополей
Нас суровые манят места —
Будто там веселей, —

Неспроста, неспроста...

Как нас дома ни грей —
Не хватает всегда
Новых встреч нам и новых друзей, —
Будто с нами беда,
Будто с ними теплей...

Как бы ни было нам
Хорошо иногда —
Возвращаемся мы по домам.
Где же ваша звезда?
Может — здесь, может — там...

1965

Высота

Вцепились они в высоту, как в свое.
Огонь минометный, шквальный...
А мы все лезли толпой на нее,
Как на буфет вокзальный.

И крики «ура» застывали во рту,
Когда мы пули глотали.
Семь раз занимали мы ту высоту —
Семь раз мы ее оставляли.

И снова в атаку не хочется всем,
Земля — как горелая каша...
В восьмой раз возьмем мы ее насовсем —
Свое возьмем, кровное, наше!

А может, ее стороной обойти, —
И что мы к ней прицепились?!
Но, видно, уж точно — все судьбы-пути
На этой высотке скрестились.

1965

Песня про снайпера, который через 15 лет после войны спился и сидит в ресторане

А ну-ка пей-ка,
Кому не лень!
Вам жизнь — копейка,
А мне — мишень.

Который в фетрах,
Давай на спор:
Я – на сто метров,
А ты – в упор.

Не та раскладка,
Но я не трус.
Итак, десятка —
Бубновый туз...
Ведь ты же на спор
Стрелял в упор, —
Но я ведь – снайпер,
А ты – тапер.

Куда вам деться!
Мой выстрел – хлоп!
Девятка в сердце,
Десятка – в лоб...
И черной точкой
На белый лист —
Легла та ночка
На мою жисть!

1965

День рождения лейтенанта милиции в ресторане «Берлин»

Побудьте день вы в милицейской шкуре —
Вам жизнь покажется наоборот.
Давайте выпьем за тех, кто в МУРе, —
За тех, кто в МУРе никто не пьет.

А за соседним столом – компания,
А за соседним столом – веселие, —
А она на меня – ноль внимания,
Ей сосед ее шпарит Есенина.

Побудьте день вы в милицейской шкуре —
Вам жизнь покажется наоборот.
Давайте выпьем за тех, кто в МУРе, —
За тех, кто в МУРе никто не пьет.

Понимаю я, что в Тамаре – ум,
Что у ей – диплом и стремления, —
И я вылил водку в аквариум:
Пейте, рыбы, за мой день рождения!

Побудьте день вы в милицейской шкуре —

Вам жизнь покажется наоборот.
Давайте ж выпьем за тех, кто в МУРе, —
За тех, кто в МУРе никто не пьет...

1965

«Перед выездом в загранку...»

Перед выездом в загранку
Заполняешь кучу бланков —
Это еще не беда,
Но в составе делегаций
С вами едет личность в штатском —
Просто завсегда.

А за месяц до вояжа
Инструктаж проходишь даже —
Как там проводить все дни:
Чтоб поменьше безобразий,
А потусторонних связей
Чтобы – ни-ни-ни!

...Личность в штатском – парень рыжий —
Мне представился в Париже:
«Будем с вами жить, я – Никодим.
Вел нагрузки, жил в Бобруйске,
Папа – русский, сам я – русский,
Даже не судим».

Исполнительный на редкость,
Соблюдал свою секретность
И во всем старался мне помочь:
Он теперь по роду службы
Дорожил моею дружбой
Просто день и ночь.

На экскурсию по Риму
Я решил – без Никодиму:
Он всю ночь писал – и вот уснул, —
Но личность в штатском, оказалось,
Раньше боксом увлекалась —
Так что – не рискнул.

Со мной он завтракал, обедал,
И везде – за мною следом, —
Будто у него нет дел.
Я однажды для порядку
Заглянул в его тетрадку —

Просто обалдел!

Он писал – такая стерва! —
Что в Париже я на мэра
С кулаками нападаю,
Что я к женщинам несдержан
И влияниям подвержен
Будто Запада...

Значит, личность может даже
Заподозрить в шпионаже!..
Вы прикиньте – что тогда?
Это значит – не увижу
Я ни Риму, ни Парижу
Больше никогда!..

1965

«Есть на земле предостаточно рас...»

Есть на земле предостаточно рас —
Просто цветная палитра, —
Воздуха каждый вдыхает за раз
Два с половиною литра!

Если так дальше, так – полный привет —
Скоро конец нашей эры:
Эти китайцы за несколько лет
Землю лишат атмосферы!

Сон мне тут снился неделю подряд —
Сон с пробуждением кошмарным:
Будто – я в дом, а на кухне сидят
Мао Цзедун с Ли Сын Маном!

И что – разделился наш маленький шар
На три огромные части,
Нас – миллиард, их – миллиард,
А остальное – китайцы.

И что – подают мне какой-то листок:
На, мол, подписывай – ну же, —
Очень нам нужен ваш Дальний Восток —
Ах, как ужасно нам нужен!..

Только об этом я сие вспоминал,
Только о нем я и думал, —
Я сослуживца недавно назвал

Мао – простите – Цзедуном!

Но вскорости мы на Луну полетим, —
И что нам с Америкой драться:
Левую – нам, правую – им,
А остальное – китайцам.

1965

Песня о сумасшедшем доме

Сказал себе я: брось писать, —
но руки сами просятся.
Ох, мама моя родная, друзья любимые!
Лежу в палате – косятся,
не сплю: боюсь – набросятся, —
Ведь рядом – психи тихие, неизлечимые.

Бывают психи разные —
не буйные, но грязные, —
Их лечат, морят голодом, их санитары бьют.
И вот что удивительно:
все ходят без смиренных
И то, что мне приносится, все психи эти жрут.

Куда там Достоевскому
с «Записками» известными, —
Увидел бы, покойничек, как бьют об двери лбы!
И рассказать бы Гоголю
про нашу жизнь убогую, —
Ей-богу, этот Гоголь бы нам не поверил бы.

Вот это мука, – плюй на них! —
они же ведь, суки, буйные:
Все норовят меня лизнуть, – ей-богу, нету сил!
Вчера в палате номер семь
один свихнулся насовсем —
Кричал: «Даешь Америку!» – и санитаров бил.

Я не желаю славы, и
пока я в полном здравии —
Рассудок не померк еще, но это впереди, —
Вот главврачиха – женщина —
пусть тихо, но помешана, —
Я говорю: «Сойду с ума!» – она мне: «Подожди!»

Я жду, но чувствую – уже
хожу по лезвию ноже:

Забыл алфавит, падежей припомнил только два...
И я прошу моих друзья,
чтоб кто бы их бы ни был я,
Забрать его, ему, меня отсюда!

1965

Про черта

У меня запой от одиночества —
По ночам я слышу голоса...
Слышу – вдруг зовут меня по отчеству, —
Глянул – черт, – вот это чудеса!
Черт мне корчил рожи и моргал,
А я ему тихонечко сказал:

«Я, брат, коньяком напился вот уж как!
Ну, ты, наверно, пьешь денатурат...
Слушай, черт-чертяка-чертик-чертушка,
Сядь со мной – я очень буду рад...
Да неужели, черт возьми, ты трус?!
Слезь с плеча, а то перекрещусь!»

Черт сказал, что он знаком с Борисовым —
Это наш запойный управдом, —
Черт за обе щеки хлеб уписывал,
Брезговать не стал и коньяком.
Кончился коньяк – не пропадем, —
Съездим к трем вокзалам и возьмем.

Я устал, к вокзалам черт мой съездил сам...
Просыпаюсь – снова черт, – боюсь:
Или он по новой мне пригрезился,
Или это я ему кажусь.
Черт ругнулся матом, а потом
Целоваться лез, вилял хвостом.

Насмеялся я над ним до коликов
И спросил: «Как там у вас в аду
Отношение к нашим алкоголикам —
Говорят, их жарят на спирту?!»
Черт опять ругнулся и сказал:
«И там не тот товарищ правит бал!»

...Все кончилось, светлее стало в комнате, —
Черта я хотел опохмелять,
Но растворился черт как будто в омуте...
Я все жду – когда придет опять...

Я не то чтоб чокнутый какой,
Но лучше – с чертом, чем с самим собой.

1965

Песня о сентиментальном боксере

Удар, удар... Еще удар...
Опять удар – и вот
Борис Буткеев (Краснодар)
Проводит апперкот.

Вот он прижал меня в углу,
Вот я едва ушел...
Вот апперкот – я на полу
И мне нехорошо!

И думал Буткеев, мне челюсть кроша:
И жить хорошо, и жизнь хороша!

При счете семь я все лежу —
Рыдают землячки.
Встаю, ныряю, ухожу —
И мне идут очки.

Неправда, будто бы к концу
Я силы берегу, —
Бить человека по лицу
Я с детства не могу.

Но думал Буткеев, мне ребра круша:
И жить хорошо, и жизнь хороша!

В трибунах свист, в трибунах вой:
«Ату его, он трус!»
Буткеев лезет в ближний бой —
А я к канатам жмусь.

Но он пролез – он сибиряк,
Настырные они, —
И я сказал ему: «Чудак!
Устал ведь – отдохни!»

Но он не услышал – он думал, дыша:
Что жить хорошо, и жизнь хороша

А он все бьет – здоровый, черт! —
Я вижу – быть беде.

Ведь бокс не драка – это спорт
Отважных и т. д.

Вот он ударил – раз, два, три —
И... сам лишился сил, —
Мне руку поднял рефери,
Которой я не бил.

Лежал он и думал, что жизнь хороша,
Кому хороша, а кому – ни шиша!

1966

Песня космических негодяев

Вы мне не поверите и просто не поймете:
В космосе страшней, чем даже в дантовском аду, —
По пространству-времени мы прем на звездолете,
Как с горы на собственном заду.

Но от Земли до Беты – восемь ден,
Ну а до планеты Эпсилон —
Не считаем мы, чтоб не сойти с ума.
Вечность и тоска – ох, влипли как!
Наизусть читаем Киплинга,
А вокруг – космическая тьма.

На земле читали в фантастических романах
Про возможность встречи с иноземным существом, —
Мы на Земле забыли десять заповедей рваных,
Нам все встречи с ближним нипочем!

Но от Земли до Беты – восемь ден,
Ну а до планеты Эпсилон —
Не считаем мы, чтоб не сойти с ума.
Вечность и тоска – ох, влипли как!
Наизусть читаем Киплинга,
А вокруг – космическая тьма.

Нам прививки сделаны от слез и грез дешевых,
От дурных болезней и от бешеных зверей, —
Нам плевать из космоса на взрывы всех сверхновых —
На Земле бывало веселей!

Но от Земли до Беты – восемь ден,
Ну а до планеты Эпсилон —
Не считаем мы, чтоб не сойти с ума.
Вечность и тоска – ох, влипли как!

Наизусть читаем Киплинга,
А вокруг – космическая тьма.

Прежнего, земного не увидим небосклона,
Если верить рассказам ученых чудаков, —
То, когда вернемся мы, по всем по их законам
На Земле пройдет семьсот веков!

То-то есть смеяться отчего:
На Земле бояться нечего —
На Земле нет больше тюрем и дворцов.
На Бога уповали бедного,
Но теперь узнали: нет его —
Ныне, присно и во век веков!

1966

В далеком созвездии Тау Кита

В далеком созвездии Тау Кита
Все стало для нас непонятно, —
Сигнал посылаем: «Вы что это там?» —
А нас посылают обратно.

На Тау Ките
Живут в тесноте —
Живут, между прочим, по-разному —
Товарищи наши по разуму.

Вот, двигаясь по световому лучу
Без помощи, но при посредстве,
Я к Тау Кита этой самой лечу,
Чтоб с ней разобраться на месте.

На Тау Кита
Чегой-то не так —
Там таукитайская братия
Свихнулась, – по нашим понятиям.

Покамест я в анабиозе лежу,
Те таукитяне буянят, —
Все реже я с ними на связь выхожу:
Уж очень они хулиганят.

У таукитов
В алфавите слов —
Немного, и строй – буржуазный,
И юмор у них – безобразный.

Корабль посадил я как собственный зад,
Слегка покривив отражатель.
Я крикнул по-таукитянски: «Виват!» —
Что значит по-нашему – «Здрасьте!».

У таукитян
Вся внешность – обман, —
Тут с ними нельзя состязаться:
То явятся, то растворятся...

Мне таукитянин – как вам папуас, —
Мне вкратце об них намекнули.
Я крикнул: «Галактике стыдно за вас!» —
В ответ они чем-то мигнули.

На Тау Ките
Условия не те:
Тут нет атмосферы, тут душно, —
Но таукитяне радушны.

В запале я крикнул им: мать вашу, мол!..
Но кибернетический гид мой
Настолько буквально меня перевел,
Что мне за себя стало стыдно.

Но таукиты —
Такие скоты —
Наверно, успели набраться:
То явятся, то растворятся...

«Вы, братья по полу, – кричу, – мужики!
Ну что...» – тут мой голос сорвался, —
Я таукитянку схватил за грудки:
«А ну, – говорю, – признавайся!..»

Она мне: «Уйди!» —
Мол, мы впереди —
Не хотим с мужчинами знаться, —
А будем теперь почковаться!

Не помню, как поднял я свой звездолет, —
Лечу в настроенье питейном:
Земля ведь ушла лет на триста вперед,
По гнусной теории Эйнштейна!

Что, если и там,
Как на Тау Кита,
Ужасно повысилось знание, —

Что, если и там – почкованье?!

1966

Про дикого вепря

В королевстве, где все тихо и складно,
Где ни войн, ни катаклизмов, ни бурь,
Появился дикий вепрь огромный —
То ли буйвол, то ли бык, то ли тур.

Сам король страдал желудком и астмой,
Только кашлем сильный страх наводил, —
А тем временем зверюга ужасный
Коих ел, а коих в лес волочил.

И король тотчас издал три декрета:
«Зверя надо одолеть наконец!
Вот кто отчаётся на это, на это,
Тот принцессу поведет под венец».

А в отчаявшемся том государстве —
Как войдешь, так прямо наискосок —
В беспыльной жил тоске и гусарстве
Бывший лучший, но опальный стрелок.

На полу лежали люди и шкуры,
Пели песни, пили меды – и тут
Протрубили во дворце трубадуры,
Хватъ стрелка – и во дворец волокут.

И король ему прокашлял: «Не буду
Я читать тебе морали, юнец, —
Но если завтра победишь чуду-юду,
То принцессу поведешь под венец».

А стрелок: «Да это что за награда?!
Мне бы – выкатить портвейна бадью!»
Мол, принцессу мне и даром не надо, —
Чуду-юду я и так победю!

А король: «Возьмешь принцессу – и точка!
А не то тебя раз-два – и в тюрьму!
Ведь это все же королевская дочка!..»
А стрелок: «Ну хоть убей – не возьму!»

И пока король с ним так препирался,
Съел уже почти всех женщин и кур

И возле самого дворца ошивался
Этот самый то ли бык, то ли тур.

Делать нечего – портвейн он отспорил, —
Чуду-юду уложил – и убег...
Вот так принцессу с королем опозорил
Бывший лучший, но опальный стрелок.

1966

«При всякой погоде...»

При всякой погоде —
Раз надо, так надо —
Мы в море уходим
Не на день, не на два.

А на суше – ромашка и клевер,
А на суше – поля залило, —
Но и птицы летят на Север,
Если им надоест тепло.

Не заходим мы в порты —
Раз надо, так надо, —
Не увидишь Босфор ты,
Не увидишь Канады.

Море бурное режет наш сейнер,
И подчас без земли тяжело, —
Но и птицы летят на Север,
Если им надоест тепло.

По дому скучаешь —
Не надо, не надо, —
Зачем уплываешь
Не на день, не на два!

Ведь на суше – ромашка и клевер,
Ведь на суше – поля залило...
Но и птицы летят на Север,
Если им надоест тепло.

1966

«Один музыкант объяснил мне пространно...»

Один музыкант объяснил мне пространно,

Что будто гитара свой век отжила, —
Заменят гитару электроорганы,
Электророяль и электропила...

Гитара опять
Не хочет молчать —
Поет ночами лунными,
Как в юность мою,
Своими семью
Серебряными струнами!..

Я слышал вчера – кто-то пел на бульваре:
Был голос уверен, был голос красив, —
Но кажется мне – надоело гитаре
Звенеть под его залихватский мотив.

И все же опять
Не хочет молчать —
Поет ночами лунными,
Как в юность мою,
Своими семью
Серебряными струнами!..

Электророяль мне, конечно, не пара —
Другие появятся с песней другой, —
Но кажется мне – не уйдем мы с гитарой
В заслуженный и нежеланный покой.

Гитара опять
Не хочет молчать —
Поет ночами лунными,
Как в юность мою,
Своими семью
Серебряными струнами!..

«У домашних и хищных зверей...»

У домашних и хищных зверей
Есть человеческий вкус и запах.
А целый век ходить на задних лапах —
Это грустная участь людей.

Сегодня зрители, сегодня зрители
Не желают больше видеть укротителей.
А если хочется поукрощать —
Работай в розыске, – там благодать!

У немногих приличных людей
Есть человеческий вкус и запах,
А каждый день ходить на задних лапах —
Это грустная участь зверей.

Сегодня жители, сегодня жители
Не желают больше видеть укротителей.
А если хочется поукрощать —
Работай в цирке, – там благодать!

1966

«А люди все роптали и роптали...»

А люди все роптали и роптали,
А люди справедливости хотят:
«Мы в очереди первыми стояли, —
А те, кто сзади нас, уже едят!»

Им объяснили, чтобы не ругаться:
«Мы просим вас, уйдите, дорогие!
Те, кто едят – ведь это иностранцы,
А вы, прошу прощенья, кто такие?»

Но люди все роптали и роптали,
Но люди справедливости хотят:
«Мы в очереди первыми стояли, —
А те, кто сзади нас, уже едят!»

Им снова объяснил администратор:
«Я вас прошу, уйдите, дорогие!
Те, кто едят, – ведь это ж делегаты,
А вы, прошу прощенья, кто такие?»

А люди все роптали и роптали,
Но люди справедливости хотят:
«Мы в очереди первыми стояли, —
А те, кто сзади, нас уже едят...»

1966

Дела

В. Абдулову

Дела!
Меня замучили дела – каждый миг, каждый час,

каждый день, —
Дотла
Сгорело время, да и я – нет меня, – только тень,
только тень!

Ты ждешь...
А может, ждать уже устал – и ушел или спишь, —
Ну что ж, —
Быть может, мысленно со мною говоришь...

Теперь
Ты должен вечер мне один подарить, подарить, —
Поверь,
Мы будем только говорить!

Опять!
Все время новые дела у меня, все дела и дела...
Догнать,
Или успеть, или найти... Нет, опять не нашла, не нашла!

Беда!
Теперь мне кажется, что мне не успеть за судьбой —
Всегда
Последний в очереди ты, дорогой!

Теперь
Ты должен вечер мне один подарить, подарить, —
Поверь,
Мы будем только говорить!

Подруг
Давно не вижу – все дела у меня, без конца все дела, —
И вдруг
Сгорели пламенем дотла все дела, – не дела, а зола!

Весь год
Он ждал, но дольше ждать и дня не хотел, не хотел, —
И вот
Не стало вовсе у меня больше дел.

Теперь
Ты должен вечер мне один подарить, подарить, —
Поверь,
Что мы не будем говорить!

1966, ред. 1971

Песня о друге

Если друг
оказался вдруг
И не друг, и не враг,
а так;
Если сразу не разберешь,
Плох он или хорош, —
Парня в горы тани —
рискни! —
Не бросай одного
его:
Пусть он в связке в одной
с тобой —
Там поймешь, кто такой.
Если парень в горах —
не ах,
Если сразу раскис
и вниз,
Шаг ступил на ледник —
и сник,
Оступился – и в крик, —
Значит, рядом с тобой —
чужой,
Ты его не брани —
гони.
Вверх таких не берут
и тут
Про таких не поют.
Если ж он не скулил,
не ныл,
Пусть он хмур был и зол,
но шел.
А когда ты упал
со скал,
Он стонал,
но держал;
Если шел он с тобой
как в бой,
На вершине стоял – хмельной, —
Значит, как на себя самого
Положись на него!

1966

Здесь вам не равнина

Здесь вам не равнина, здесь климат иной —
Идут лавины одна за одной.
И здесь за камнепадом ревет камнепад, —
И можно свернуть, обрыв обогнуть, —
Но мы выбираем трудный путь,
Опасный, как военная тропа.

Кто здесь не бывал, кто не рисковал —
Тот сам себя не испытал,
Пусть даже внизу он звезды хватал с небес:
Внизу не встретишь, как ни тянись,
За всю свою счастливую жизнь
Десятой доли таких красот и чудес.

Нет алых роз и траурных лент,
И не похож на монумент
Тот камень, что покой тебе подарил, —
Как Вечным огнем, сверкает днем
Вершина изумрудным льдом —
Которую ты так и не покорил.

И пусть говорят, да, пусть говорят,
Но – нет, никто не гибнет зря!
Так лучше – чем от водки и от простуд.
Другие придут, сменив уют
На риск и непомерный труд, —
Пройдут тобой не пройденный маршрут.

Отвесные стены... А ну – не зевай!
Ты здесь на везение не уповай —
В горах не надежны ни камень, ни лед, ни скала, —
Надеемся только на крепость рук,
На руки друга и вбитый крюк —
И молимся, чтобы страховка не подвела.

Мы рубим ступени... Ни шагу назад!
И от напряженья колени дрожат,
И сердце готово к вершине бежать из груди.
Весь мир на ладони – ты счастлив и нем
И только немного завидуешь тем,
Другим – у которых вершина еще впереди.

1966

Военная песня

Мерцал закат, как сталь клинка.
Свою добычу смерть считала.
Бой будет завтра, а пока
Взвод зарывался в облака
И уходил по перевалу.

Отставить разговоры!
Вперед и вверх, а там...
Ведь это наши горы —
Они помогут нам!

А до войны — вот этот склон
Немецкий парень брал с тобою,
Он падал вниз, но был спасен, —
А вот теперь, быть может, он
Свой автомат готовит к бою.

Отставить разговоры!
Вперед и вверх, а там...
Ведь это наши горы —
Они помогут нам!

Ты снова здесь, ты собран весь —
Ты ждешь заветного сигнала.
А парень тот — он тоже здесь.
Среди стрелков из «Эдельвейс», —
Их надо сбросить с перевала!

Отставить разговоры!
Вперед и вверх, а там...
Ведь это наши горы —
Они помогут нам!

Взвод лезет вверх, а у реки —
Тот, с кем ходил ты раньше в паре.
Мы ждем атаки до тоски,
А вот альпийские стрелки
Сегодня что-то не в ударе...

Отставить разговоры!
Вперед и вверх, а там...
Ведь это наши горы —
Они помогут нам!

1966

Скалолазка

Я спросил тебя: «Зачем идете в горы вы? —
А ты к вершине шла, а ты рвалась в бой, —
Ведь Эльбрус и с самолета видно здорово...»
Рассмеялась ты – и взяла с собой.

И с тех пор ты стала близкая и ласковая,
Альпинистка моя, скалолазка моя, —
Первый раз меня из пропасти вытаскивая,
Улыбалась ты, скалолазка моя!

А потом за эти проклятые трещины,
Когда ужин твой я нахваливал,
Получил я две короткие затрещины —
Но не обиделся, а приговаривал:

«Ох, какая же ты близкая и ласковая,
Альпинистка моя, скалолазка моя!...»
Каждый раз меня по трещинам выискивая,
Ты бранила меня, альпинистка моя!

А потом на каждом нашем восхождении —
Но почему ты ко мне недоверчивая?! —
Страховала ты меня с наслаждением,
Альпинистка моя, гуттаперчевая!

Ох, какая ты не близкая, не ласковая,
Альпинистка моя, скалолазка моя!
Каждый раз меня из пропасти вытаскивая,
Ты учила меня, скалолазка моя.

За тобой тянулся из последней силы я —
До тебя уже мне рукой подать, —
Вот долезу и скажу: «Довольно, милая!»
Тут сорвался вниз, но успел сказать:

«Ох, какая ты близкая и ласковая,
Альпинистка моя, скалоласковая!...»
Мы теперь одной веревкой связаны —
Стали оба мы скалолазами!

Прощание с горами

В суету городов и в потоки машин

Возвращаемся мы – просто некуда деться! —
И спускаемся вниз с покоренных вершин,
Оставляя в горах свое сердце.

Так оставьте ненужные споры —
Я себе уже все доказал:
Лучше гор могут быть только горы,
На которых еще не бывал.

Кто захочет в беде оставаться один,
Кто захочет уйти, зову сердца не внемля?!
Но спускаемся мы с покоренных вершин, —
Что же делать – и боги спускались на землю.

Так оставьте ненужные споры —
Я себе уже все доказал:
Лучше гор могут быть только горы,
На которых еще не бывал.

Сколько слов и надежд, сколько песен и тем
Горы будят у нас – и зовут нас остаться! —
Но спускаемся мы – кто на год, кто совсем, —
Потому что всегда мы должны возвращаться.

Так оставьте ненужные споры —
Я себе уже все доказал:
Лучше гор могут быть только горы,
На которых никто не бывал!

1966

«Свои обиды каждый человек...»

Свои обиды каждый человек —
Проходит время – и забывает.
А моя печаль – как вечный снег:
Не тает, не тает.

Не тает она и летом
В полуденный зной, —
И знаю я: печаль-тоску мне эту
Век носить с собой.

1966

Она была в Париже

Л. Лужинной

Наверно, я погиб: глаза закрою – вижу.
Наверно, я погиб: робею, а потом —
Куда мне до нее – она была в Париже,
И я вчера узнал – не только в нем одном!

Какие песни пел я ей про Север дальний! —
Я думал: вот чуть-чуть – и будем мы на «ты», —
Но я напрасно пел о полосе нейтральной —
Ей глубоко плевать, какие там цветы.

Я спел тогда еще – я думал, это ближе —
«Про счетчик», «Про того, кто раньше с нею был»...
Но что ей до меня – она была в Париже, —
Ей сам Марсель Марсо чевой-то говорил!

Я бросил свой завод, хоть, в общем, был не вправе, —
Засел за словари на совесть и на страх...
Но что ей оттого – она уже в Варшаве, —
Мы снова говорим на разных языках...

Приедет – я скажу по-польски: «Прошу пани,
Прими таким, как есть, не буду больше петь...»
Но что ей до меня – она уже в Иране, —
Я понял: мне за ней, конечно, не успеть!

Она сегодня здесь, а завтра будет в Осле, —
Да, я попал впросак, да, я попал в беду!..
Кто раньше с нею был, и тот, кто будет после, —
Пусть пробуют они – я лучше пережду!

1966

«Возле города Пекина...»

Возле города Пекина
Ходят-бродят хунвэйбины,
И старинные картины
Ищут-рыщут хунвэйбины, —
И не то чтоб хунвэйбины
Любят статуи, картины:
Вместо статуй будут урны
«Революции культурной».

И ведь главное, знаю отлично я,
Как они произносятся, —
Но чтой-то весьма неприличное
На язык ко мне просится:
Хун-вэй-бины...

Вот придумал им забаву
Ихний вождь товарищ Мао:
Не ходите, дети, в школу,
Приходите бить крамолу!
И не то чтоб эти детки
Были вовсе – малолетки, —
Изрубили эти детки
Очень многих на котлетки!

И ведь главное, знаю отлично я,
Как они произносятся, —
Но чтой-то весьма неприличное
На язык ко мне просится:
Хун-вэй-бины...

Вот немного посидели,
А теперь похулиганим —
Что-то тихо, в самом деле, —
Думал Мао с Ляо Бянем, —
Чем еще уконтрапупишь
Мировую атмосферу:
Вот еще покажем крупный кукиш
СэШэА и эСэСэРу!

И ведь главное, знаю отлично я,
Как они произносятся, —
Но чтой-то весьма неприличное
На язык ко мне просится:
Хун-вэй-бины...

1966

Песня-сказка о нечисти

В заповедных и дремучих,
страшных Муромских лесах
Всяка нечисть бродит тучей
и в проезжих сеет страх:
Воет воем, что твои упокойники,
Если есть там соловьи – то разбойники.

Страшно, аж жуть!

В заколдованных болотах
там кикиморы живут, —
Защекочут до икоты
и на дно уволокут.
Будь ты пеший, будь ты конный —
заграбастают,
А уж лешие – так по лесу и шастают.

Страшно, аж жуть!

А мужик, купец и воин —
попадал в дремучий лес, —
Кто зачем: кто с перепоя,
а кто сдуру в чашу лез.
По причине пропадали, без причины ли, —
Только всех их и видали – словно сгинули.

Страшно, аж жуть!

Из заморского из лесу
где и вовсе сущий ад,
Где такие злые бесы —
чуть друг друга не едят, —
Чтоб творить им совместное зло потом,
Поделиться приехали опытом.

Страшно, аж жуть!

Соловей-разбойник главный
им устроил буйный пир,
А от них был Змей трехглавый
и слуга его – Вампир, —
Пили зелье в черепах, ели бульники,
Танцевали на гробах, богохульники!

Страшно, аж жуть!

Змей Горыныч взмыл на дерево,
ну – раскачивать его:
«Выводи, Разбойник, девок, —
пусть покажут кой-чего!
Пусть нам лешие попляшут, попоют!
А не то я, мать вашу, всех сгною!»

Страшно, аж жуть!

Все взревели, как медведи:

«Натерпелись – сколько лет!
Ведьмы мы али не ведьмы,
Патриоты али нет?!
Налил бельма, ишь ты, клещ, – отоварился!
А еще на наших женщин позарился!...»

Страшно, аж жуть!

Соловей-разбойник тоже
был не только лыком шит, —
Гикнул, свистнул, крикнул: «Рожа,
ты, заморский, паразит!
Убирайся без боя, уматывай
И Вампира с собою прихватывай!»

Страшно, аж жуть!

...А теперь седые люди
помнят прежние дела:
Билась нечисть грудью в груди
и друг друга извела, —
Прекратилось навек безобразие —
Ходит в лес человек безбоязненно,
И не страшно ничуть!

1966

Песня о новом времени

Как призывный набат, прозвучали в ночи тяжело шаги, —
Значит, скоро и нам – уходить и прощаться без слов.
По нехоженным тропам протопали лошади, лошади,
Неизвестно к какому концу унося седоков.

Значит, время иное, лихое, но счастье, как встарь, ищи!
И в погоню за ним мы летим, убегающим, вслед.
Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей,
На скаку не заметив, что рядом – товарищей нет.

И еще будем долго огни принимать за пожары мы,
Будет долго зловещим казаться нам скрип сапогов,
О войне будут детские игры с названиями старыми,
И людей будем долго делить на своих и врагов.

Но когда отгрохочет, когда отгорит и отплатится,
И когда наши кони устанут под нами скакать,
И когда наши девушки сменят шинели на платья, —
Не забыть бы тогда, не простить бы и не потерять!..

1966

Песни 1967–1970 годов

«Корабли постоят – и ложатся на курс...»

Корабли постоят – и ложатся на курс,
Но они возвращаются сквозь непогоду...
Не пройдет и полгода – и я появлюсь,
Чтобы снова уйти,
чтобы снова уйти на полгода.

Возвращаются все, кроме лучших друзей,
Кроме самых любимых и преданных женщин.
Возвращаются все, кроме тех, кто нужней.
Я не верю судьбе,
я не верю судьбе, а себе – еще меньше.

И мне хочется верить, что это не так,
Что сжигать корабли скоро выйдет из моды.
Я, конечно, вернусь – весь в друзьях и в мечтах,
Я, конечно, спою – не пройдет и полгода.

Я, конечно, вернусь – весь в друзьях и в делах,
Я, конечно, спою – не пройдет и полгода.

1966

Случай в ресторане

В ресторане по стенкам висят тут и там
«Три медведя», «Заколотый витязь»...
За столом одиноко сидит капитан.
«Разрешите?» – спросил я. «Садитесь!

...Закури!» – «Извините, „Казбек“ не курю...»
«Ладно, выпей, – давай-ка посуду!..
Да пока принесут... Пей, кому говорю!
Будь здоров!» – «Обязательно буду!»

«Ну, так что же, – сказал, захмелев, капитан, —
Водку пьешь ты красиво, однако.
А видал ты вблизи пулемет или танк?
А ходил ли ты, скажем, в атаку?

В сорок третьем под Курском я был старшиной, —
За мою спиной – такое...

Много всякого, брат, за моею спиной,
Чтоб жилось тебе, парень, спокойно!»

Он ругался и пил, он спросил про отца,
И кричал он, уставясь на блюдо:
«Я полжизни отдал за тебя, подлеца, —
А ты жизнь прожигаешь, иуда!

А винтовку тебе, а послать тебя в бой?!
А ты водку тут хлещешь со мною!..»
Я сидел как в окопе под Курской дугой —
Там, где был капитан старшиною.

Он все больше хмелел, я – за ним по пятам, —
Только в самом конце разговора
Я обидел его – я сказал: «Капитан,
Никогда ты не будешь майором!..»

1966

Пародия на плохой детектив

Опасаясь контрразведки,
избегая жизни светской,
Под английским псевдонимом «мистер Джон
Ланкастер Пек»,
Вечно в кожаных перчатках —
чтоб не делать отпечатков, —
Жил в гостинице «Советской» несоветский человек.

Джон Ланкастер в одиночку,
преимущественно ночью,
Щелкал носом – в ем был спрятан
инфракрасный объектив, —
А потом в нормальном свете
представало в черном цвете
То, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив:

Клуб на улице Нагорной —
стал общественной уборной,
Наш родной Центральный рынок – стал похож
на грязный склад,
Искаженный микропленкой,
ГУМ – стал маленькой избенкой,
И уж вспомнить неприлично, чем предстал театр МХАТ.

Но работать без подручных —
может, грустно, а может, скучно, —

Враг подумал – враг был дока, —
написал фиктивный чек,
И где-то в дебрях ресторана
гражданина Епифана
Сбил с пути и с панталыку несоветский человек.
Епифан казался жадным,
хитрым, умным, плотоядным,
Меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел.
В общем так: подручный Джона
был находкой для шпиона, —
Так случиться может с каждым – если пьян и мягкотел!

«Вот и первое задание:
в три пятнадцать возле бани —
Может, раньше, а может, позже —
остановится такси, —
Надо сесть, связать шофера,
разыграть простого вора, —
А потом про этот случай растрелят по «Би-би-си».

И еще. Побрейтесь свеже,
и на выставке в Манеже
К вам приблизится мужчина с чемоданом – скажет он:
«Не хотите ли черешни?»
Вы ответите: «Конечно», —
Он вам даст батон с взрывчаткой —
принесете мне батон.

А за это, друг мой пьяный, —
говорил он Епифану, —
Будут деньги, дом в Чикаго,
много женщин и машин!»
...Враг не ведал, дурачина:
тот, кому все поручил он,
Был – чекист, майор разведки и прекрасный семьянин.

Да, до этих штучек мастер
этот самый Джон Ланкастер!..
Но жестоко просчитался пресловутый мистер Пек —
Обезврежен он, и даже
он пострижен и посажен, —
А в гостинице «Советской» поселился мирный грек.

1966

Профессионалы

Профессионалам —

зарплата навалом, —
Плевать, что на лед они зубы плюют.
Им платят деньжищи —
огромные тыщи, —
И даже за проигрыш, и за ничью.

Игрок хитер – пусть
берет на корпус,
Бьет в зуб ногой и – ни в зуб ногой, —
А сам в итоге
калечит ноги —
И вместо клюшки идет с клюкой.

Профессионалам,
отчаянным малым,
Игра – лотерея, – кому повезет.
Играют с партнером —
как бык с матадором, —
Хоть, кажется, принято – наоборот.

Как будто мертвый
лежит партнер твой.
И ладно, черт с ним – пускай лежит.
Не оплошай, бык, —
бог хочет шайбы,
Бог на трибуне – он не простит!

Профессионалам
судья криминалом
Ни бокс не считает, ни злой мордобой, —
И с ними лет двадцать
кто мог потягаться —
Как школьнику драться с отборной шпаной?!

Но вот недавно
их козырь главный —
Уже не козырь, а так, – пустяк, —
И их оружием
теперь не хуже
Их бьют, к тому же – на скоростях.

Профессионалы
в своем Монреале
Пускай разбивают друг другу носы, —
Но их представитель
(хотите – спросите!)
Недавно заклеен был в две полосы.

Сперва распластан,

а после – пластырь...
А ихний пастор – ну как назло! —
Он перед боем
знал, что слабо им, —
Молились строем – не помогло.

Профессионалам
по разным каналам —
То много, то мало – на банковский счет, —
А наши ребята
за ту же зарплату
Уже пятикратно уходят вперед!

Пусть в высшей лиге
плетут интриги
И пусть канадским зовут хоккей —
За нами слово, —
до встречи снова!
А футболисты – до лучших дней...

1967

Песенка про йогов

Чем славится индийская культура?
Ну, скажем, – Шива – многорук, клыкаст...
Еще артиста знаем – Радж Капура,
И касту йогов – странную из каст.

Говорят, что раньше йог
мог
Ни черта не бравши в рот —
год, —
А теперь они рекорд
бьют —
Все едят и целый год
пьют!

А что же мы? И мы не хуже многих —
Мы тоже можем много выпивать, —
И бродят многочисленные йоги —
Их, правда, очень трудно распознать.

Очень много может йог
штук:
Вот один недавно лег
вдруг,
Третий день уже летит, —

стыд! —
Ну, а он себе лежит
спит.

Я знаю, что у них секретов много, —
Поговорить бы с йогом тет-на-тет, —
Ведь даже яд не действует на його:
На яды у него иммунитет.

Под водой не дышит час —
раз,
Не обидчив на слова —
два,
Если чует, что старик
вдруг —
Скажет: «стоп!», и в тот же миг —
труп!

Я попросил подвыпившего його
(Он бритвы, гвозди ел, как колбасу):
«Послушай, друг, откройся мне – ей-бога,
С собой в могилу тайну унесу!»

Был ответ на мой вопрос
прост,
Но поссорились мы с ним
в дым, —
Я бы мог открыть ответ
тот,
Но йог велел хранить секрет,
вот...

1967

Песня-сказка про джинна

У вина достоинства, говорят, целебные, —
Я решил попробовать – бутылку взял, открыл...
Вдруг оттуда вылезло чтой-то непотребное:
Может быть, зеленый змий, а может – крокодил!

Если я чего решил – я выпью обязательно, —
Но к этим шуткам отношусь очень отрицательно!

А оно – зеленое, пахучее, противное —
Прыгало по комнате, ходило ходуном, —
А потом послышалось пенье заунывное —
И виденье оказалось грубым мужиком!

Если я чего решил – я выпью обязательно, —
Но к этим шуткам отношусь очень отрицательно!

И если б было у меня времени хотя бы час —
Я бы дворников позвал бы с метлами, а тут
Вспомнил детский детектив – «Старика Хоттабыча» —
И спросил: «Товарищ ибн, как тебя зовут?»

Если я чего решил – я выпью обязательно, —
Но к этим шуткам отношусь очень отрицательно!

«Так что хитрость, – говорю, – брось свою иудину —
Прямо, значит, отвечай: кто тебя послал,
Кто загнал тебя сюда, в винную посудину,
От кого скрывался ты и чего скрывал?»

Тот мужик поклоны бьет, отвечает вежливо:
«Я не вор, я не шпион, я вообще-то – дух, —
За свободу за мою – захотите ежели вы —
Изобью за вас любого, можно даже двух!»

Тут я понял: это – джин, – он ведь может многое —
Он ведь может мне сказать: «Враз озолочу!»...
«Ваше предложение, – говорю, – убогое.
Морды будем после бить – я вина хочу!

Ну а после – чудеса по такому случаю:
Я до небес дворец хочу – ты на то и бес!...»
А он мне: «Мы таким делам вовсе не обучены, —
Кроме мордобитиев – никаких чудес!»

«Врешь!» – кричу. «Шалишь!» – кричу. Но и дух – в амбицию, —
Стукнул раз – специалист! – видно по нему.
Я, конечно, побежал – позвонил в милицию.
«Убивают, – говорю, – прямо на дому!»

Вот они подъехали – показали аспиду!
Супротив милиции он ничего не смог:
Вывели болезного, руки ему – за спину
И с размаху кинули в черный воронок.

... Что с ним стало? Может быть, он в тюрьме мается, —
Чем в бутылке, лучше уж в Бутырке посидеть!
Ну а может, он теперь боксом занимается, —
Если будет выступать – я пойду смотреть!

1967

Песня о вещем Олеге

Как ныне собирается вещий Олег
Щита прибавать на ворота,
Как вдруг подбегает к нему человек —
И ну шепелявить чего-то.
«Эй, князь, — говорит ни с того ни с сего, —
Ведь примешь ты смерть от коня своего!»

Но только собрался идти он на вы —
Отмщать неразумным хазарам,
Как вдруг прибежали седые волхвы,
К тому же разя перегаром, —
И говорят ни с того ни с сего,
Что примет он смерть от коня своего.

«Да кто вы такие, откуда взялись?! —
Дружина взялась за нагайки, —
Напился, старик, — так пойдите похмелись,
И неча рассказывать байки
И говорить ни с того ни с сего,
Что примет он смерть от коня своего!»

Ну, в общем, они не сносили голов, —
Шутить не можете с князьями! —
И долго дружина топтала волхвов
Своими гнедыми конями:
Ишь, говорят ни с того ни с сего,
Что примет он смерть от коня своего!

А вещий Олег свою линию гнул,
Да так, что никто и не пикнул, —
Он только однажды волхвов вспомянул,
И то — саркастически хмыкнул:
Ну надо ж болтать ни с того ни с сего,
Что примет он смерть от коня своего!

«А вот он, мой конь — на века опочил, —
Один только череп остался!..»
Олег преспокойно стопу возложил —
И тут же на месте скончался:
Злая гадюка кусила его —
И принял он смерть от коня своего.

...Каждый волхвов покарать норовит, —
А нет бы — послушаться, правда?
Олег бы послушал — еще один щит

Прибил бы к воротам Цареграда.
Волхвы-то сказали с того и с сего,
Что примет он смерть от коня своего!

1967

Два письма

I

Здравствуй, Коля, милый мой, друг мой ненаглядный!
Во первых строках письма шлю тебе привет.
Вот приедешь ты, боюсь, занятой, нарядный —
Не заглянешь и домой, — сразу в сельсовет.

Как уехал ты — я в крик, — бабы прибежали.
«Ой, разлуки, — говорят, — ей не перенести».
Так скучала за тобой, что меня держали, —
Хоть причины не скучать очень даже есть.

Тута Пашка приходил — кум твой окаянный, —
Еле-еле не далась — даже щас дрожу.
Он три дня уж, почитай, ходит злой и пьяный —
Перед тем как приставать, пьет для куражу.

Ты, болтают, получил премию большую;
Будто Борька, наш бугай, — первый чемпион...
К злыдню этому быку я тебя ревную
И люблю тебя сильнее, нежели чем он.

Ты приснился мне во сне — пьяный, злой, угрюмый, —
Если думаешь чего — так не мучь себя:
С агрономом я прошла, — только ты не думай —
Говорили мы весь час только про тебя.

Я-то ладно, а вот ты — страшно за тебя-то:
Тут недавно приезжал очень важный чин, —
Так в столице, говорит, всякие развраты,
Да и женщин, говорит, больше, чем мужчин.

Ты уж Коля, там не пей — потерпи до дому, —
Дома можно хоть чего: можешь — хоть в запой!
Мне не надо никого — даже агроному, —
Хоть культурный человек — не сравню с тобой.

Наш амбар в дожди течет — прохудился, верно, —
Без тебя немоготу — кто создаст уют?!

Хоть какой, но приезжай – жду тебя безмерно!
Если можешь, напиши – что там продают.

1967

II

Не пиши мне про любовь – не поверю я:
Мне вот тут уже дела твои прошлые.
Слушай лучше: тут – с лавсаном материя, —
Если хочешь, я куплю – вещь хорошая.

Водки я пока не пью – ну ни стопочки!
Экономлю и не ем даже супу я, —
Потому что я куплю тебе кофточку,
Потому что я люблю тебя, глупая.

Был в балете, – мужики девок лапают.
Девки – все как на подбор – в белых тапочках.
Вот пишу, а слезы душат и капают:
Не давай себя хватать, моя лапочка!

Наш бугай – один из первых на выставке.
А сперва кричали – будто бракованный, —
Но очухались – и вот дали приз-таки:
Весь в медалях он лежит, запакованный.

Председателю скажи, пусть избу мою
Кроет нынче же, и пусть травку выкосют, —
А не то я телок крыть – не подумаю:
Рекордсмена портить мне – на-кось, выкуси!

Пусть починют наш амбар – ведь не гнить зерну!
Будет Пашка приставать – с им как с предателем!
С агрономом не гуляй, – ноги выдерну, —
Можешь раза два пройтись с председателем.

До свидания, я – в ГУМ, за покупками:
Это – вроде наш лабаз, но – со стеклами...
Ты мне можешь надоесть с полушубками,
В сером платице с узорами блеклыми.

...Тут стоит культурный парк по-над речкою,
В ем гуляю – и плюю только в урны я.
Но ты, конечно, не поймешь – там, за печкою, —
Потому – ты темнота некультурная.

1966

Ой, где был я вчера

Ой, где был я вчера – не найду, хоть убей!
Только помню, что стены – с обоями,
Помню – Клавка была, и подруга при ей, —
Целовался на кухне с обоими.

А наутро я встал —
Мне давай сообщать,
Что хозяйку ругал,
Всех хотел застращать,
Будто голым скакал,
Будто песни орал,
А отец, говорил,
У меня – генерал!

А потом рвал рубаху и бил себя в грудь,
Говорил, будто все меня продали,
И гостям, говорят, не давал продыхнуть —
Донимал их блатными аккордами.

А потом кончил пить —
Потому что устал, —
Начал об пол крушить
Благородный хрусталь,
Лил на стены вино,
А кофейный сервиз,
Растворивши окно,
Взял да выбросил вниз.

И никто мне не мог даже слова сказать.
Но потом потихоньку оправились, —
Навалились гурьбой, стали руки вязать,
А потом уже – все позабавились.

Кто – плевал мне в лицо,
А кто – водку лил в рот,
А какой-то танцор
Бил ногами в живот...
Молодая вдова,
Верность мужу храня, —
Ведь живем снова —
Пожалела меня.

И бледнел я на кухне разбитым лицом,
Делал вид, что пошел на попятную,
«Развяжите, – кричал, – да и дело с концом!»

Развязали, – но вилки попрятали.

Тут вообще началось —
Не опишешь в словах, —
И откуда взялось
Столько силы в руках! —
Я как раненый зверь
Напоследок чудил:
Выбил окна и дверь
И балкон уронил.

Ой, где был я вчера – не найду днем с огнем!
Только помню, что стены – с обоями, —
И осталось лицо – и побои на нем, —
Ну куда теперь выйти с побоями!

...Если правда оно —
Ну, хотя бы на треть, —
Остается одно:
Только лечь помереть!
Хорошо, что вдова
Все смогла пережить,
Пожалела меня —
И взяла к себе жить.

1967

Лукоморья больше нет

Антисказка

Лукоморья больше нет,
От дубов простыл и след, —
Дуб годится на паркет —
так ведь нет:
Выходили из избы
Здоровенные жлобы —
Порубили все дубы
на гробы.

Ты уймись, уймись, тоска
У меня в груди!
Это – только присказка,
Сказка – впереди.

Распрекрасно жить в домах
На куриных на ногах,
Но явился всем на страх

вертопрах, —
Добрый молодец он был —
Бабку Ведьму подпоил,
Ратный подвиг совершил,
дом спалил.

Тридцать три богатыря
Порешили, что зазря
Берегли они царя
и моря, —
Каждый взял себе надел —
Кур завел – и в ем сидел,

Охраняя свой удел
не у дел.
Ободрав зеленый дуб,
Дядька ихний сделал сруб,
С окружающими туп
стал и груб, —
И ругался день-деньской
Бывший дядька их морской,
Хоть имел участок свой
под Москвой.

Здесь и вправду ходит Кот, —
Как направо – так поет,
Как налево – так загнет
анекдот, —
Но, ученый сукин сын,
Цепь златую снес в торгсин,
И на выручку – один —
в магазин.

Как-то раз за божий дар
Получил он гонорар, —
В Лукоморье перегар —
на гектар!
Но хватил его удар, —
Чтоб избежать больших кар,
Кот диктует про татар
мемуар.

И Русалка – вот дела! —
Честь недолго берегла —
И однажды, как могла,
родила, —
Тридцать три же мужука
Не желают знать сынка, —
Пусть считается пока —

сын полка.

Как-то раз один Колдун —
Врун, болтун и хохотун —
Предложил ей как знаток
дамских струн:
Мол, Русалка, все пойму
И с дитем тебя возьму, —
И пошла она к ему
как в тюрьму.

Бородатый Черномор —
Лукоморский первый вор
Он давно Людмилу спер, —
ох хитер!
Ловко пользуется, тать,
Тем, что может он летать:
Зазеваешься – он хват! —
и тикать.

А коверный самолет
Сдан в музей в запрошлый год —
Любознательный народ
так и прет!
Без опаски старый хрыч
Баб ворует, хнычь не хнычь, —
Ох, скорей ему накличь
паралич!

Нету мочи, нету сил, —
Леший как-то недопил —
Лешачиху свою бил
и вопил:
«Дай рубля, прибью а то, —
Я добытчик али кто?!
А не дашь – тады пропью
долото!»

«Я ли ягод не носил?! —
Снова Леший голосил. —
А коры по сколько кил
приносил!
Надрывался – издаля,
Все твоей забавы для, —
Ты ж жалеешь мне рубля —
ах ты тля!»

И невиданных зверей,
Дичи всякой – нету ей:

Понаехало за ей
егерей...
В общем, значит, не секрет:
Лукоморья больше нет, —
Все, про что писал поэт,
это – бред.

Ты уймись, уймись, тоска, —
Душу мне не рань!
Раз уж это присказка —
Значит, сказка – дрянь.

1967

Сказка о несчастных сказочных персонажах

На краю края земли, где небо ясное
Как бы вроде даже сходит за кордон,
На горе стояло здание ужасное,
Издаля напоминавшее ООН.

Все сверкает как зарница —
Красота, – но только вот
В этом здании царица
В заточении живет.

И Кощей Бессмертный грубую животную
Это здание поставил охранять, —
Но по-своему несчастное и кроткое,
Может, было то животное – как знать!

От большой тоски по маме
Вечно чудище в слезах, —
Ведь оно с семьёю главами,
О пятнадцати глазах.

Сам Кащей (он мог бы раньше – врукопашную)
От любви к царице высох и увял —
Стал по-своему несчастным старикашкой, —
Ну а зверь – его к царице не пускал.

«Пропусти меня, чего там.
Я ж от страсти трепещу!..»
«Хоть снимай меня с работы —
Ни за что не пропущу!»

Добрый молодец Иван решил попасть туда:
Мол, видали мы кощеев, так-растак!

Он все время: где чего – так сразу шась туда, —
Он по-своему несчастный был – дурак!

То ли выпь захохотала,
То ли филин заикал, —
На душе тоскливо стало
У Ивана-дурака.

Начались его подвиги напрасные,
С баб-ягами никчемушная борьба, —
Тоже ведь она по-своему несчастная —
Эта самая лесная голытьба.

Сколько ведьмочек пошибнул! —
Двух молоденьких, в соку, —
Как увидел утром – всхлипнул:
Жалко стало, дураку!

Но, однако же, приблизился, дремотное
Состоянье превозмог свое Иван, —
В уголку лежало бедное животное,
Все главы свои склонившее в фонтан.

Тут Иван к нему сигает —
Рубит головы спеша, —
И к Кощею подступает,
Кладенцом своим маша.

И грозит он старику двухтыщелетнему.
«Щас, – говорит, – бороду-то мигом обстригу!
Так умри ты, сгинь, Кощей!» А тот в ответ ему:
«Я бы – рад, но я бессмертный – не могу!»

Но Иван себя не помнит:
«Ах ты, гнусный фабрикант!
Вон настроил сколько комнат, —
Девку спрятал, интриган!

Я dokonчу дело, взявши обязательство!...»
И от этих-то несслыханных речей
Умер сам Кощей, без всякого вмешательства, —
Он неграмотный, отсталый был Кощей.

А Иван, от гнева красный,
Пнул Кощея, плюнул в пол —
И к по-своему несчастной
Бедной узнице взошел!..

1967

Спасите наши души

Уходим под воду
В нейтральной воде.
Мы можем по году
Плывать на погоду, —
А если накроют —
Локаторы взвоят
О нашей беде.

Спасите наши души!
Мы бредим от удушья.
Спасите наши души!
Спешите к нам!
Услышьте нас на суше —
Наш SOS все глуше, глуше, —
И ужас режет души
Напополам...

И рвутся аорты,
Но наверх — не смей!
Там слева по борту,
Там справа по борту,
Там прямо по ходу —
Мешает проходу
Рогатая смерть!

Спасите наши души!
Мы бредим от удушья.
Спасите наши души!
Спешите к нам!
Услышьте нас на суше —
Наш SOS все глуше, глуше, —
И ужас режет души
Напополам...

Но здесь мы — на воле, —
Ведь это наш мир!
Свихнулись мы, что ли, —
Всплывать в минном поле!
«А ну, без истерик!
Мы врежемся в берег», —
Сказал командир.

Спасите наши души!
Мы бредим от удушья.
Спасите наши души!

Спешите к нам!
Услышьте нас на суше —
Наш SOS все глуше, глуше, —
И ужас режет души
Напополам...

Всплывем на рассвете —
Приказ есть приказ!
Погибнуть во цвете —
Уж лучше при свете!
Наш путь не отмечен...
Нам нечем... Нам нечем!..
Но помните нас!

Спасите наши души!
Мы бредим от удушья.
Спасите наши души!
Спешите к нам!
Услышьте нас на суше —
Наш SOS все глуше, глуше, —
И ужас режет души
Напополам...

Вот вышли наверх мы.
Но выхода нет!
Вот – полный на верфи!
Натянуты нервы.
Конец всем печалям,
Концам и началам —
Мы рвемся к причалам
Заместо торпед!

Спасите наши души!
Мы бредим от удушья.
Спасите наши души!
Спешите к нам!
Услышьте нас на суше —
Наш SOS все глуше, глуше, —
И ужас режет души
Напополам...

Спасите наши души!
Спасите наши души...

1967

Невидимка

Сижу ли я, пишу ли я, пью кофе или чай,
Приходит ли знакомая блондинка —
Я чувствую, что на меня глядит соглядатай,
Но только не простой, а – невидимка.

Иногда срываюсь с места
Будто тронутый я,
До сих пор моя невеста —
Мной не тронутая!

Про погоду мы с невестой
Ночью диспуты ведем,
Ну, а что другое если —
Мы стесняемся при ем.

Обидно мне,
Досадно мне, —
Ну ладно!

Однажды выпиваю – да и кто сейчас не пьет! —
Нейдет она: как рюмка – так в отрыжку, —
Я чувствую – сидит, подлец, и выпитому счет
Ведет в свою невидимую книжку.

Иногда срываюсь с места
Как напудренный я,
До сих пор моя невеста —
Целомудренная!

Про погоду мы с невестой
Ночью диспуты ведем,
Ну, а что другое если —
Мы стесняемся при ем.

Обидно мне,
Досадно мне, —
Ну ладно!

Я дергался, я нервничал – на хитрости пошел:
Вот лягу спать и поднимаю храп; ну,
Коньяк открытый ставлю и – закусочку на стол, —
Вот сядет он – тут я его и хапну!

Иногда срываюсь с места
Будто тронутый я,
До сих пор моя невеста —
Мной не тронутая!

Про погоду мы с невестой

Ночью диспуты ведем,
Ну, а что другое если —
Мы стесняемся при ем.

Обидно мне,
Досадно мне, —
Ну ладно!

К тому ж он мне вредит, – да вот не дале, как вчера —
Поймаю, так убью его на месте! —
Сижу, а мой партнер подряд играет «мизера»,
А у меня «гора» – три тыщи двести!

Побледнев, срываюсь с места
Как напудренный я,
До сих пор моя невеста —
Целомудренная!

Про погоду мы с невестой
Ночью диспуты ведем,
Ну, а что другое если —
Мы стесняемся при ем.

Обидно мне,
Досадно мне, —
Ну ладно!

А вот он мне недавно на работу написал
Чудовищно тупую анонимку, —
Начальник прочитал, мне показал, – а я узнал
По почерку – родную невидимку.

Оказалась невидимкой —
Нет, не тронутый я —
Эта самая блондинка,
Мной не тронутая!

Эта самая блондинка...
У меня весь лоб горит!
Я спросил: «Зачем ты, Нинка?»
«Чтоб женился», – говорит.

Обидно мне,
Досадно мне, —
Ну ладно!

1967

Песня про плотника Иосифа, деву Марию, Святого Духа и непорочное зачатие

Возвращаюсь с работы,
Рашпиль ставлю у стены,
Вдруг в окно порхает кто-то
Из постели от жены!

Я, конечно, вопрошаю:
«Кто такой?»
А она мне отвечает:
«Дух святой!»

Ох, я встречу того Духа —
Ох, отмечу его в ухо!
Дух он тоже Духу рознь:
Коль святой – так Машку брось!

Хоть ты – кровь голубая,
Хоть ты – белая кость, —
Ведь родится Он, и знаю —
Не пожалует Христос!

Машка – вредная натура —
Так и лезет на скандал, —
Разобиделась, дура:
Вроде, значит, помешал!

Я сперва-сначала с лаской:
То да се...
А она – к стене с опаской:
«Нет, и все!»

Я тогда цежу сквозь зубы,
Но уже, конечно, грубо:
«Хоть он возрастом и древний,
Хоть годов ему тыщ шесть, —
У него в любой деревне
Две-три бабы точно есть!»

Я – к Марии с предложеньем, —
Я на выдумки мастак! —
Мол, в другое воскресенье
Ты, Мария, сделай так:

Я потопаю под утро —
Мол, пошел, —

А ты прими его как будто,
Хорошо?

Ты накрой его периной —
И запой, – тут я с дубиной!
Он – крылом, а я – колом,
Он – псалмом, а я – кайлом!

Тут, конечно, он сдается —
Честь Марии спасена, —
Потому что мне сдается,
Этот Ангел – Сатана!

...Вот влетаю с криком, с дровом,
Весь в надежде на испуг...
Машка плачет. «Машка, где он?»
«Улетел, желанный Дух!»

«Как же это, я не знаю,
Как успел?»
«Да вот так вот, – отвечает, —
Улетел!
Он псалом мне прочитал
И крылом пощекотал...»
«Так шутить с живым-то мужем!
Ах ты скверная жена!...»
Я взмахнул своим оружием...
Смейся, смейся, Сатана!

1967

Дайте собакам мяса

Дайте собакам мяса —
Может, они подерутся.
Дайте похмельным кваса —
Авось они перебудутся.

Чтоб не жиреть воронам
Ставьте побольше пугал.
Чтобы любить, влюбленным
Дайте укромный угол.

В землю бросайте зерна —
Может, появятся всходы.
Ладно, я буду покорным —
Дайте же мне свободу!

Псам мясные ошметки
Дали – а псы не подрались.
Дали пьяницам водки —
А они отказались.

Люди ворон пугают —
Но воронье не боится.
Пары соединяют —
А им бы разъединиться.

Лили на землю воду —
Нету колосьев, – чудо!
Мне вчера дали свободу —
Что я с ней делать буду?!

1965

Моя цыганская

В сон мне – желтые огни,
И хриплю во сне я:
«Повремени, повремени —
Утро мудренее!»
Но и утром все не так,
Нет того веселья:
Или куришь натошак,
Или пьешь с похмеля.

В кабаках – зеленый штоф,
Белые салфетки, —
Рай для нищих и шутов,
Мне ж – как птице в клетке.
В церкви – смрад и полумрак,
Дьяки курят ладан...
Нет и в церкви все не так,
Все не так, как надо!

Я – на гору впопыхах,
Чтоб чего не вышло, —
На горе стоит ольха,
А под горою – вишня.
Хоть бы склон увит плющом —
Мне б и то отрада,
Хоть бы что-нибудь еще...
Все не так, как надо!

Я – по полю вдоль реки:
Света – тьма, нет Бога!

В чистом поле – васильки,
Дальняя дорога.
Вдоль дороги – лес густой
С бабами-ягами,
А в конце дороги той —
Плаха с топорами.

Где-то кони пляшут в такт,
Нехотя и плавно.
Вдоль дороги все не так,
А в конце – подавно.
И ни церковь, ни кабак —
Ничего не свято!
Нет, ребята, все не так!
Все не так, ребята...

1967

«На стол колоду, господа...»

«На стол колоду, господа, —
Крапленая колода!
Он подменил ее». – «Когда?»
«Барон, вы пили воду...

Валет наколот, так и есть!
Барон, ваш долг погашен!
Вы проходимец, ваша честь, —
И я к услугам вашим!

Что? Я не слышу ваш апарт...
О нет, так не годится!»
...А в это время Бонапарт
Переходил границу.

«Закончить не смогли вы кон —
Верните бриллианты!
А вы, барон, и вы, виконт,
Пожалте в секунданты!

Ответьте, если я не прав, —
Но наперед все лживо!
Итак, оружие ваше, граф?!
За вами выбор – живо!

Вы не получите инфаркт,
Вам не попасть в больницу!»
...А в это время Бонапарт

Переходил границу.

«Да полно, назначаю сам:
На шпагах, пистолетах,
Хотя сподручней было б вам —
На дамских амулетах.

Кинжал... — ах, если б вы смогли!.. —
Я дрался им в походах!
Но вы б, конечно, предпочли —
На шулерских колодах!

Вам скоро будет не до карт —
Вам предстоит сразиться!»
...А в это время Бонапарт
Переходил границу.

«Не поднимайте, ничего, —
Я встану сам, сумею!
И снова вызову его,
Пусть даже протрезвею.

Барон, молчать! Виконт, не хнычь!
Плевать, что тьма народу!
Пусть он расскажет, старый хрыч,
Чем он крапил колоду!

Когда откроет тайну карт —
Дуэль не состоится!»
...А в это время Бонапарт
Переходил границу.

«А коль откажется сказать —
Клянусь своей главою:
Графиню можете считать
Сегодня же вдовою.

И хоть я шуток не терплю,
Но я могу взбеситься, —
Тогда я графу прострелю,
Эскюз ми, ягодицу!»

Стоял июль, а может — март...
Летели с юга птицы...
А в это время Бонапарт
Переходил границу.

«...Ах, граф, прошу меня простить —
Я вел себя бестактно, —

Я в долг хотел у вас просить,
Но не решился как-то.

Хотел просить наедине —
Мне на людях неловко —
И вот пришлось затеять мне
Дебош и потасовку.

О да, я выпил целый штоф —
И сразу вышел червой...
Дурак?! Вот как! Что ж, я готов!
Итак, ваш выстрел первый...»

Стоял весенний месяц март,
Летели с юга птицы...
А в это время Бонапарт
Переходил границу.

1968

«Сколько чудес за туманами кроется...»

Сколько чудес за туманами кроется —
Ни подойти, ни увидеть, ни взять, —
Дважды пытались, но Бог любит троицу —
Глупо опять поворачивать вспять.

Выучи намертво, не забывай
И повторяй как заклинанье:
«Не потеряй веру в тумане,
Да и себя не потеряй!»

Было когда-то – тревожили беды нас, —
Многих туман укрывал от врагов.
Нынче, туман, не нужна твоя преданность —
Хватит тайгу запираť на засов!

Выучи намертво, не забывай
И повторяй как заклинанье:
«Не потеряй веру в тумане,
Да и себя не потеряй!»

Тайной покрыто, молчанием скелето —
Заколдовала природа-шаман.
Черное золото, белое золото
Сторож седой охраняет – туман.

Только ты выучи, не забывай

И повторяй как заклинанье:
«Не потеряй веру в тумане,
Да и себя не потеряй!»

Что же выходит – и пробовать нечего,
Перед туманом ничто человек?
Но от тепла, от тепла человеческого
Даже туман поднимается вверх!

Выучи, вызубри, не забывай
И повторяй как заклинанье:
«Не потеряй веру в тумане,
Да и себя не потеряй!»
Не потеряй!

Я уехал в Магадан

Ты думаешь, что мне – не по годам,
Я очень редко раскрываю душу, —
Я расскажу тебе про Магадан —
Слушай!

Как я видел Нагайскую бухту
да тракты, —
Улетел я туда не с бухты —
барахты.

Однажды я уехал в Магадан —
Я от себя бежал, как от чахотки.
Я сразу там напился вдрабадан
Водки!

Но я видел Нагайскую бухту
да тракты, —
Улетел я туда не с бухты —
барахты.

За мной летели слухи по следам,
Опережая самолет и вьюгу, —
Я все-таки уехал в Магадан
К другу!

И я видел Нагайскую бухту
да тракты, —
Улетел я туда не с бухты —
барахты.

Я повода врагам своим не дал —
Не взрезал вену, не порвал аорту, —
Я взял да как уехал в Магадан,
К черту!

Я увидел Нагайскую бухту
да тракты, —
Улетел я туда не с бухты —
барахты.

Я, правда, здесь оставил много дам, —
Писали мне: «Все ваши дамы биты!» —
Ну что ж – а я уехал в Магадан, —
Квиты!

И я видел Нагайскую бухту
да тракты, —
Улетел я туда не с бухты —
барахты.

Когда подходит дело к холодам, —
Пусть это далеко, да и накладно, —
Могу уехать к другу в Магадан —
Ладно!

Ты не видел Нагайскую бухту
да тракты, —
Улетел я туда не с бухты —
барахты.

1968

«Жил-был добрый дурачина-простофиля...»

Н. С. Хрущеву

Жил-был добрый дурачина-простофиля.
Куда только его черти не носили!
Но однажды, как назло,
Повезло —
И в совсем чужое царство занесло.

Слезы градом – так и надо
Простофиле:
Не усаживайся задом
На кобыле.
Ду-ра-чи-на!

Посреди большого поля – глядь – три стула, —
Дурачину в область печени кольнуло, —
Сверху – надпись: «Для гостей»,
«Для князей»,
А на третьем – «Стул для царских кровей».

Вот на первый стул уселся
Простофиля,
Потому что он у сердца
Обессилел,
Ду-ра-чи-на!

Только к стулу примостился дурачина —
Сразу слуги принесли хмельные вина, —
Дурачина ощутил
Много сил —
Элегантно ел, кутил и шутил.

Погляди-ка, поглазей —
В буйной силе
Влез на стул для князей
Простофиля,
Ду-ра-чи-на!

И сейчас же бывший добрый дурачина
Ощутил, что он – ответственный мужчина, —
Стал советы отдавать,
Кликнул рать
И почти уже решил воевать.

Дальше – больше руки грей,
Ежли в силе! —
Влез на стул для королей
Простофиля,
Ду-ра-чи-на!

Сразу руки потянулись к печати,
Сразу топтать стал ногами и кричати:
«Будь ты князь, будь ты хоть
Сам господь —
Вот возьму и прикажу запороть!»

Если б люди в сей момент
Рядом были —
Не сказали б комплимент
Простофиле,
Ду-ра-чи-не!

Но был добрый этот самый простофиля —

Захотел издать Указ про изобилье...
Только стул подобных дел
Не терпел:
Как тряхнет – и, ясно, тот не усидел...

И очнулся добрый малый
Простофиля
У себя на сеновале
В чем родили, —
Ду-ра-чи-на!

1968

«Красивых любят чаще и прилежней...»

Красивых любят чаще и прилежней,
Веселых любят меньше, но быстрее, —
И молчаливых любят, только реже,
Зато уж если любят, то сильнее.

Не кричи нежных слов, не кричи,
До поры поддержи их в неволе, —
Пусть кричат пароходы в ночи,
Ну а ты промолчи, промолчи, —
Поспешишь – и ищи ветра в поле.

Она читает грустные романы, —
Ну пусть сравнит, и ты доверься ей, —
Ведь появились черные тюльпаны —
Чтобы казались белые белей.

Не кричи нежных слов, не кричи,
До поры поддержи их в неволе, —
Пусть кричат пароходы в ночи,
Ну а ты промолчи, промолчи, —
Поспешишь – и ищи ветра в поле.

Слова бегут, им тесно – ну и что же! —
Ты никогда не бойся опоздать.
Их много – слов, но все же если можешь —
Скажи, когда не можешь не сказать.

Не кричи нежных слов, не кричи,
До поры поддержи их в неволе, —
Пусть кричат пароходы в ночи,
Ну а ты промолчи, промолчи, —
Поспешишь – и ищи ветра в поле.

1968

«Вот и разошлись пути-дороги вдруг...»

В. Абрамову

Вот и разошлись пути-дороги вдруг:
Один – на север, другой – на запад,
Грустно мне, когда уходит друг
Внезапно, внезапно.

Ушел, – невелика потеря
Для многих людей.
Не знаю, как другие, а я верю,
Верю в друзей.

Наступило время неудач,
Следы и души заносит выюга,
Все из рук плохо – плач не плач, —
Нет друга, нет друга.

Ушел, – невелика потеря
Для многих людей.
Не знаю, как другие, а я верю,
Верю в друзей.

А когда вернется друг назад
И скажет: «Ссора была ошибкой»,
Бросим на минувшее мы взгляд
С улыбкой, с улыбкой.

Ушло, – невелика потеря
Для многих людей...
Не знаю, как другие, а я верю,
Верю в друзей.

1968

Две песни об одном воздушном бое

I. Песня летчика

Их восемь – нас двое, – расклад перед боем
Не наш, но мы будем играть!
Сережа, держись! Нам не светит с тобою,
Но козыри надо равнять.

Я этот небесный квадрат не покину —
Мне цифры сейчас не важны:
Сегодня мой друг защищает мне спину,
А значит – и шансы равны.

Мне в хвост вышел «мессер», но вот задымил он,
Надсадно завывли винты, —
Им даже не надо крестов на могилы —
Сойдут и на крыльях кресты!

Я – «Первый», я – «Первый», – они под тобою!
Я вышел им наперерез!
Сбей пламя, уйди в облака – я прикрою!
В бою не бывает чудес.

Сергей, ты горишь! Уповай, человек,
Теперь на надежность строп!
Нет, поздно – и мне вышел «мессер» навстречу, —
Прощай, я приму его в лоб!..

Я знаю – другие сведут с ними счеты, —
Но, по облакам скользя,
Взлетят наши души, как два самолета, —
Ведь им друг без друга нельзя.

Архангел нам скажет: «В раю будет туго!»
Но только ворота – щелк, —
Мы Бога попросим: «Впишите нас с другом
В какой-нибудь ангельский полк!»

И я попрошу Бога, Духа и Сына, —
Чтоб выполнил волю мою:
Пусть вечно мой друг защищает мне спину,
Как в этом последнем бою!

Мы крылья и стрелы попросим у Бога, —
Ведь нужен им ангел-ас, —
А если у них истребителей много —
Пусть примут в хранители нас!

Хранить – это дело почетное тоже, —
Удачу нести на крыле
Таким, как при жизни мы были с Сережей,
И в воздухе и на земле.

II. Песня самолета-истребителя

Ю. Любимову

Я – «Як», истребитель, – мотор мой звенит,
Небо – моя обитель, —
А тот, который во мне сидит,
Считает, что он – истребитель.

В этом бою мною «юнкерс» сбит —
Я сделал с ним, что хотел, —
А тот, который во мне сидит,
Изрядно мне надоел!

Я в прошлом бою навывлет прошил,
Меня механик заштопал, —
А тот, который во мне сидит,
Опять заставляет – в штопор!

Из бомбардировщика бомба несет
Смерть аэродрому, —
А кажется – стабилизатор поет:
«Мир вашему дому!»

Вот сзади заходит ко мне «мессершмитт», —
Уйду – я устал от ран!..
Но тот, который во мне сидит,
Я вижу, решил – на таран!

Что делает он?! Вот сейчас будет взрыв!..
Но мне не гореть на песке, —
Запреты и скорости все перекрыв,
Я выхожу из пике!

Я – главный, а сзади... Ну, чтоб я сгорел! —
Где же он, мой ведомый?
Вот он задымился, кивнул – и запел:
«Мир вашему дому!»

И тот, который в моем черепке,
Остался один – и влип, —
Меня в заблужденье он ввел – и в пике
Прямо из мертвой петли.

Он рвет на себя – и нагрузки вдвойне, —
Эх, тоже мне – летчик-ас!..
Но снова приходится слушаться мне, —
Но это – в последний раз!

Я больше не буду покорным – клянусь! —
Уж лучше лежать на земле...
Но что ж он не слышит, как бесится пульс:
Бензин – моя кровь – на нуле!

Терпению машины бывает предел,
И время его истекло, —
И тот, который во мне сидел,
Вдруг ткнулся лицом в стекло.

Убит! Наконец-то лечу налегке,
Последние силы жгу...
Но что это, что?! Я – в глубоком пике, —
И выйти никак не могу!

Досадно, что сам я не много успел, —
Но пусть повезет другому!
Выходит, и я напоследок спел:
«Мир вашему дому!»

1968

«Давно смолкли залпы орудий...»

Давно смолкли залпы орудий,
Над нами лишь солнечный свет, —
На чем проверяются люди,
Если войны уже нет?

Приходится слышать нередко
Сейчас, как тогда:
«Ты бы пошел с ним в разведку?
Нет или да?»

Не ухнет уже бронебойный,
Не быть похоронной под дверь,
И кажется – все так спокойно,
Негде раскрыться теперь...

Но все-таки слышим нередко
Сейчас, как тогда:
«Ты бы пошел с ним в разведку?
Нет или да?»

Покой только снится, я знаю, —
Готовься, держись и дерись! —
Есть мирная передовая —

Беда, и опасность, и риск.

Поэтому слышим нередко
Сейчас, как тогда:
«Ты бы пошел с ним в разведку?
Нет или да?»

В полях обезврежены мины,
Но мы не на поле цветов, —
Вы поиски, звезды, глубины
Не сбрасывайте со счетов.

Поэтому слышим нередко
Сейчас, как тогда:
«Ты бы пошел с ним в разведку?
Нет или да?»

1968

Еще не вечер

К четырехлетию Таганки, Ю. Любимову

Четыре года рыскал в море наш корсар, —
В боях и штормах не поблекло наше знамя,
Мы научились штопать паруса
И затыкать пробойны телами.

За нами гонится эскадра по пятам, —
На море штиль – и не избегнуть встречи!
Но нам сказал спокойно капитан:
«Еще не вечер, еще не вечер!»

Вот развернулся боком флагманский фрегат —
И левый борт окрасился дымами, —
Ответный залп – на глаз и наугад —
Вдали пожар и смерть! Удача с нами!

Из худших выбирались передряг,
Но с ветром худо, и в трюме течи, —
А капитан нам шлет привычный знак:
Еще не вечер, еще не вечер!

На нас глядят в бинокли, в трубы сотни глаз —
И видят нас от дыма злых и серых, —
Но никогда им не увидеть нас
Прикованными к веслам на галерах!

Неравный бой – корабль кренится наш, —
Спасите наши души человечьи!
Но крикнул капитан: «На abordаж!
Еще не вечер, еще не вечер!»

Кто хочет жить, кто весел, кто не тля, —
Готовьте ваши руки к рукопашной!
А крысы – пусть уходят с корабля, —
Они мешают схватке бесшабашной.

И крысы думали: а чем не шутит черт, —
И тупо прыгали, спасаясь от картечи.
А мы с фрегатом становились к борту борт, —
Еще не вечер, еще не вечер!

Лицо в лицо, ножи в ножи, глаза в глаза, —
Чтоб не достаться спрутам или крабам —
Кто с кольцом, кто с кинжалом, кто в слезах, —
Мы покидали тонущий корабль.

Но нет, им не послать его на дно —
Поможет океан, взвалив на плечи, —
Ведь океан-то с нами заодно.
И прав был капитан: еще не вечер!

1968

Песенка ни про что, или Что случилось в Африке

Одна семейная хроника

В желтой жаркой Африке,
В центральной ее части,
Как-то вдруг вне графика
Случилось несчастье, —
Слон сказал, не разобрав:
«Видно, быть потопу!...»
В общем, так: один Жираф
Влюбился – в Антилопу!

Тут поднялся галдеж и лай, —
Только старый Попугай
Громко крикнул из ветвей:
«Жираф большой – ему видней!»

«Что же что рога у ней, —
Кричал Жираф любовно, —
Нынче в нашей фауне

Равны все пороговно!
Если вся моя родня
Будет ей не рада —
Не пеняйте на меня, —
Я уйду из стада!»

Тут поднялся галдеж и лай, —
Только старый Попугай
Громко крикнул из ветвей:
«Жираф большой – ему видней!»

Папе Антилопье
Зачем такого сына:
Все равно – что в лоб ему,
Что по лбу – все едино!
И Жирафов зять брюзжит:
«Видали остолопа?!»
И ушли к Бизонам жить
С Жирафом Антилопа.

Тут поднялся галдеж и лай, —
Только старый Попугай
Громко крикнул из ветвей:
«Жираф большой – ему видней!»

В желтой жаркой Африке
Не видать идиллий —
Льют Жираф с Жирафихой
Слезы крокодилы, —
Только горю не помочь —
Нет теперь закона:
У Жирафов вышла дочь
Замуж – за Бизона!

...Пусть Жираф был не прав, —
Но виновен не Жираф,
А тот, кто крикнул из ветвей:
«Жираф большой – ему видней!»

1968

«Наши предки – люди темные и грубые...»

Наши предки – люди темные и грубые, —
Кулаками друг на дружку помахав,
Вдруг увидели: громадное и круглое
Пролетело, всем загадку загадав.

А в спорах, догадках, дебатах
Вменяют тарелкам в вину
Утечку энергии в Штатах
И горькую нашу слюну.

Ой, вон блюдце пролетело над Флоренцией! —
И святая инквизиция под страх
Очень бойко продавала индульгенции,
Очень шибко жгла ученых на кострах.

А в спорах, догадках, дебатах
Вменяют тарелкам в вину
Утечку энергии в Штатах
И горькую нашу слюну.

Нашу жизнь не назовешь ты скучной, серенькой —
Тем не менее не радуется сейчас:
Кто-то видел пару блюдец над Америкой,
Кто-то видел две тарелки и у нас.

И в спорах, догадках, дебатах
Вменяют тарелкам в вину
Утечку энергии в Штатах
И горькую нашу слюну.

1967, ред. 1968

Банька по-белому

Протопи ты мне баньку, хозяйюшка,
Раскалю я себя, распалю,
На полоке, у самого краюшка,
Я сомненья в себе истреблю.

Разомлею я до неприличности,
Ковш холодной – и все позади, —
И наколка времен культа личности
Засинеет на левой груди.

Протопи ты мне баньку по-белому, —
Я от белого свету отвык, —
Угорю я – и мне, угорелому,
Пар горячий развяжет язык.

Сколько веры и лесу повалено,
Сколь изведено горя и трасс!
А на левой груди – профиль Сталина,
А на правой – Маринка анфас.

Эх, за веру мою беззаветную
Сколько лет отдыхал я в раю!
Променял я на жизнь беспросветную
Несусветную глупость мою.

Протопи ты мне баньку по-белому, —
Я от белого свету отвык, —
Угорю я – и мне, угорелому,
Пар горячий развяжет язык.

Вспоминаю, как утречком раненько
Брату крикнуть успел: «Пособи!» —
И меня два красивых охранника
Повезли из Сибири в Сибирь.

А потом на карьере ли, в топи ли,
Наглотавшись слезы и сырца,
Ближе к сердцу кололи мы профили,
Чтоб он слышал, как рвутся сердца.

Протопи ты мне баньку по-белому, —
Я от белого свету отвык, —
Угорю я – и мне, угорелому,
Пар горячий развяжет язык.

Ох, знобит от рассказа дотошного!
Пар мне мысли прогнал от ума.
Из тумана холодного прошлого
Окунаюсь в горячий туман.

Застучали мне мысли под темечком:
Получилось – я зря им клеймен, —
И хлещу я березовым веничком
По наследию мрачных времен.

Протопи ты мне баньку по-белому, —
Чтоб я к белому свету привык, —
Угорю я – и мне, угорелому,
Ковш холодной развяжет язык.
Протопи!..
Не топи!..
Протопи!..

1968

Охота на волков

Рвусь из сил – и из всех сухожилий,
Но сегодня – опять как вчера:
Обложили меня, обложили —
Гонят весело на номера!

Из-за елей хлопочут двустволки —
Там охотники прячутся в тень, —
На снегу кувьркаются волки,
Превратившись в живую мишень.

Идет охота на волков, идет охота —
На серых хищников, матерых и щенков!
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты,
Кровь на снегу – и пятна красные флажков.

Не на равных играют с волками
Егеря – но не дрогнет рука, —
Оградив нам свободу флажками,
Бьют уверенно, наверняка.

Волк не может нарушить традиций, —
Видно, в детстве – слепые щенки —
Мы, волчата, сосали волчицу
И всосали: нельзя за флажки!

И вот – охота на волков, идет охота —
На серых хищников, матерых и щенков!
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты,
Кровь на снегу – и пятна красные флажков.

Наши ноги и челюсти быстры, —
Почему же, вожак, – дай ответ —
Мы затравленно мчимся на выстрел
И не пробуем – через запрет?!

Волк не может, не должен иначе.
Вот кончается время мое:
Тот, которому я предназначен,
Улыбнулся – и поднял ружье.

Идет охота на волков, идет охота —
На серых хищников, матерых и щенков!
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты,
Кровь на снегу – и пятна красные флажков.

Я из повиновения вышел —
За флажки, – жажда жизни сильней!
Только сзади я с радостью слышал
Удивленные крики людей.

Рвусь из сил – и из всех сухожилий,
Но сегодня не так, как вчера:
Обложили меня, обложили —
Но остались ни с чем егеря!

Идет охота на волков, идет охота —
На серых хищников, матерых и щенков!
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты,
Кровь на снегу – и пятна красные флажков.

1968

Песня о двух красивых автомобилях

Без запретов и следов,
Об асфальт сжигая шины,
Из кошмара городов
Рвутся за город машины, —
И громоздкие, как танки,
«Форды», «линкольны», «селены»,
Элегантные «мустанги»,
«Мерседесы», «ситроены».

Будто знают – игра стоит свеч, —
Это будет как кровная месть городам!
Поскорей – только б свечи не сжечь,
Карбюратор... и что у них есть еще там...

И не видно полотна —
Лимузины, лимузины...
Среди них – как два пятна —
Две красивые машины, —
Будто связанные тросом
(А где тонко, там и рвется).
Акселераторам, подсосам
Больше дела не найдется.

Будто знают – игра стоит свеч, —
Только вырваться – выплатят все по счетам!
Ну а может, он скажет ей речь
На клаксоне... и что у них есть еще там...

Это скопище машин
На тебя таит обиду, —
Светло-серый лимузин,
Не теряй ее из виду!
Впереди, гляди, разъезд, —

Больше риску, больше веры!
Опоздаешь!.. Так и есть —
Ты промедлил, светло-серый!

Они знали – игра стоит свеч, —
А теперь – что ж сигналить рекламным щитам?!
Ну а может, гора ему с плеч, —
И с капота... и что у них есть еще там...

Нет, развилка – как беда,
Стрелки врозь – и вот не здесь ты!
Неужели никогда
Не сближают нас разъезды?
Этот – сходится, один!
И, врубив седьмую скорость,
Светло-серый лимузин
Позабыл нажать на тормоз...

Что ж съезжаться – пустые мечты?
Или это есть кровная месть городам?..
Покатались колеса, мосты, —
И сердца... или что у них есть еще там...

1968

«То ли – в избу и запеть...»

Марине

То ли – в избу и запеть,
Просто так, с морозу,
То ли взять и помереть
От туберкулезу.

То ли выстонать без слов,
А может – под гитару?..
Лучше – в сани рысаков
И уехать к «Яру»!

Вот напасть! – то не всласть,
То не в масть карту класть, —
То ли счастье украсть,
То ли просто упасть
В грязь...

Навсегда в никуда —
Вечное стремленье.
То ли – с неба вода,

То ль – разлив весенний...

Может, эта песня – без конца,
А может – без идеи...
А я строю печку в изразцах
Или просто сею.

Сколько лет счастья нет,
Впереди – все красный свет...
Недопетый куплет,
Недодаренный букет...
Бред!

Назло всем – насовсем
Со звездой в лапах,
Без реклам, без эмблем,
В пимах косолапых...

Не догнал бы кто-нибудь,
Не почуял запах, —
Отдохнуть бы, продыхнуть
Со звездой в лапах!

Без нее, вне ее —
Ничего не мое,
Невеселое житье, —
И былье – и то ее...
Е-мое!

1968

«Мне каждый вечер зажигают свечи...»

Мне каждый вечер зажигают свечи,
И образ твой окуривает дым, —
И не хочу я знать, что время лечит,
Что все проходит вместе с ним.

Я больше не избавлюсь от покоя:
Ведь все, что было на душе на год вперед,
Не ведая, она взяла с собою —
Сначала в порт, а после – в самолет.

Мне каждый вечер зажигают свечи,
И образ твой окуривает дым, —
И не хочу я знать, что время лечит,
Что все проходит вместе с ним.

В душе моей – пустынная пустыня, —
Так что ж стоите над пустой моей душой!
Обрывки песен там и паутина, —
А остальное все она взяла с собой.

Теперь мне вечер зажигает свечи,
И образ твой окуривает дым, —
И не хочу я знать, что время лечит,
Что все проходит вместе с ним.

В душе моей – все цели без дороги, —
Поройтесь в ней – и вы найдете лишь
Две полуфразы, полудиалоги, —
А остальное – Франция, Париж...

И пусть мне вечер зажигает свечи,
И образ твой окуривает дым, —
Но не хочу я знать, что время лечит,
Что все проходит вместе с ним.

1967, ред. 1968

Песенка про метателя молота

I

Я раззудил плечо – трибуны замерли,
Молчанье в ожидании храня.
Эх, что мне мой соперник – Джон ли, Крамер ли, —
Рекорд уже в кармане у меня!

Заметано, заказано, заколото, —
Мне кажется – я следом полечу.
Но мне нельзя, ведь я – метатель молота:
Приказано метать – и я мечу.

Эх, жаль, что я мечу его в Италии:
Я б дома кинул молот без труда, —
Ужасно далеко, куда подальше,
И лучше – если б враз и навсегда.

Я против восхищения повального,
Но я надеюсь: года не пройдет —
Я все же зашвырну в такую даль его,
Что и судья с ищейкой не найдет...

Вокруг меня корреспонденты бесятся.

«Мне помогли, – им отвечаю я, —
Подняться по крутой спортивной лестнице
Мой коллектив, мой тренер и – семья».

II

Два пижона из «Креста и полумесяца»
И еще один из «Дейли телеграф» —
Передали ахинею с околесицей,
Обзывая меня «Русский Голиаф».

Два приятеля моих – копьеметатели —
И еще один товарищ-дискобол —
Показали неплохие показатели...
Я – в гостинице позвал их в нижний холл.

И сказал я им: «Товарищи, внимание!
Взявши в руки копья, диски всех систем, —
При метаньи культивируйте желание
Позакидывать их к черту насовсем!»

1968

Оловянные солдатики

Н. Высоцкому

Будут и стихи, и математика,
Почести, долги, неравный бой, —
Нынче ж оловянные солдатики
Здесь, на старой карте, стали в строй.

Лучше бы уж он держал в казарме их,
Только – на войне как на войне —
Падают бойцы в обеих армиях,
Поровну на каждой стороне.

Может быть – пробелы в воспитании
И в образование слабина, —
Но не может выиграть кампании
Та или другая сторона.

Совести проблемы окаянные —
Как перед собой не согрешить?
Тут и там – солдаты оловянные, —
Как решить, кто должен победить?

И какая, к дьяволу, стратегия,
И какая тактика, к чертям!
Вот сдалась нейтральная Норвегия.
Ордам оловянных египтян.

Левою рукою Скандинавия
Лишена престижа своего, —
Но рука решительная правая
Вмиг восстановила статус-кво.

Где вы, легкомысленные гении,
Или вам являться недосуг?
Где вы, проигравшие сражения
Просто, не испытывая мук?

Или вы, несущие в венце зарю
Битв, побед, триумфов и могил, —
Где вы, уподобленные Цезарю,
Что пришел, увидел, победил?

Нервничает полководец маленький,
Непосильной ношей отягчен,
Вышедший в громадные начальники,
Шестилетний мой Наполеон.

Чтобы прекратить его мучения,
Ровно половину тех солдат
Я покрасил синим – шутка гения, —
Утром вижу – синие лежат.

Я горжусь успехами такими, но
Мысль одна с тех пор меня гнетет:
Как решил он, чтоб погибли именно
Синие, а не наоборот?..

1969

Ноль семь

Для меня эта ночь – вне закона,
Я пишу – по ночам больше тем.
Я хватаюсь за диск телефона,
Набираю вечное ноль семь.

«Девушка, здравствуйте! Как вас звать?» – «Тома».
«Семьдесят вторая! Жду, дыхание затаю...
Быть не может, повторите, я уверен – дома!..
Вот уже ответили.

Ну здравствуй, это я!»

Эта ночь для меня вне закона,
Я не сплю – я кричу: «Поскорей!..»
Почему мне в кредит, по талону
Предлагают любимых людей!

«Девушка, слушайте! Семьдесят вторая!
Не могу дожидаться, и часы мои стоят...
К дьяволу все линии – я завтра улетаю!..
Вот уже ответили.
Ну здравствуй, это я!»

Телефон для меня – как икона,
Телефонная книга – триптих,
Стала телефонистка мадонной,
Расстояние на миг сократив.

«Девушка, милая! Я прошу – продлите!
Вы теперь как ангел – не сходите ж с алтаря!
Самое главное – впереди, поймите...
Вот уже ответили.
Ну здравствуй, это я!»

Что, опять повреждение на трассе?
Что, реле там с ячейкой шалят?
Мне плевать – буду ждать, – я согласен
Начинать каждый вечер с нуля!

«Ноль семь, здравствуйте! Снова я». – «Да что вам?»
«Нет, уже не нужно, – нужен город Магадан.
Не даю вам слова, что звонить не буду снова, —
Просто друг один – узнать, как он, бедняга, там...»

Эта ночь для меня вне закона,
Ночи все у меня не для сна, —
А усну – мне приснится мадонна,
На кого-то похожа она.

«Девушка, милая! Снова я, Тома!
Не могу дожидаться – жду, дыхание затаю...
Да, меня!.. Конечно, я!.. Да, я!.. Конечно, дома!»
«Вызываю... Отвечайте...» – «Здравствуй, это я!»

1969

Песенка о переселении душ

Кто верит в Магомета, кто – в Аллаха, кто – в Исуca,
Кто ни во что не верит – даже в черта, назло всем, —
Хорошую религию придумали индусы:
Что мы, отдав концы, не умираем насовсем.

Стремилась ввысь душа твоя —
Родишься вновь с мечтою,
Но если жил ты как свинья —
Останешься свиньею.

Пусть косо смотрят на тебя – привыкни к укоризне, —
Досадно – что ж, родишься вновь на колкости горазд.
А если видел смерть врага еще при этой жизни,
В другой тебе дарован будет верный зоркий глаз.

Живи себе нормальненько —
Есть повод веселиться:
Ведь, может быть, в начальника
Душа твоя вселится.

Пускай живешь ты дворником – родишься вновь прорабом,
А после из прораба до министра дорастешь, —
Но, если туп, как дерево, – родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрешь.

Досадно попугаем жить,
Гадюкой с длинным веком, —
Не лучше ли при жизни быть
Приличным человеком?!

Так кто есть кто, так кто был кем? – мы никогда
не знаем.
Кто был никем, тот станет всем – задумайся о том!
Быть может, тот облезлый кот – был раньше негодяем,
А этот милый человек – был раньше добрым псом.

Я от восторга прыгаю,
Я обхожу искусства, —
Удобную религию
Придумали индусы!

1969

«И душа и голова, кажись, болит...»

И душа и голова, кажись, болит, —
Верьте мне, что я не притворяюсь.
Двести тыщ – тому, кто меня вызволит!

Ну и я, конечно, постараюсь.

Нужно мне туда, где ветер с соснами, —
Нужно мне, и все, – там интереснее!
Поделюсь хоть всеми папиросами
И еще вдобавок тоже – песнями.

Дайте мне глоток другого воздуха!
Смею ли роптать? Наверно, смею.
Запах здесь... А может быть, вопрос в духах?..
Отблагодарю, когда сумею.

Нервы у меня хотя луженые,
Кончилось спокойствие навеки.
Эх вы мои нервы обнаженные!
Ожили б – ходили б как калеки.

Не глядите на меня, что губы сжал, —
Если слово вылетит, то – злое.
Я б отсюда в тапочках в тайгу сбежал, —
Где-нибудь зароюсь – и завою!

1969

К вершине

Памяти Михаила Хергиани

Ты идешь по кромке ледника,
Взгляд не отрывая от вершины.
Горы спят, вдыхая облака,
Выдыхая снежные лавины.

Но они с тебя не сводят глаз —
Будто бы тебе покой обещан,
Предостерегая всякий раз
Камнепадом и оскалом трещин.

Горы знают – к ним пришла беда, —
Дымом затянуло перевалы.
Ты не отличал еще тогда
От разрывов горные обвалы.

Если ты о помощи просил —
Громким эхом отзывались скалы,
Ветер по ущельям разносил
Эхо гор, как радиосигналы.

И когда шел бой за перевал, —
Чтобы не был ты врагом замечен,
Каждый камень грудью прикрывал,
Скалы сами подставляли плечи.

Ложь, что умный в горы не пойдет!
Ты пошел — ты не поверил слухам, —
И мягчал гранит, и таял лед,
И туман у ног стелился пухом...

Если в вечный снег навеки ты
Ляжешь — над тобою, как над близким,
Наклонятся горные хребты
Самым прочным в мире обелиском.

1969

Я не люблю

Я не люблю фатального исхода,
От жизни никогда не устаю.
Я не люблю любое время года,
Когда веселых песен не пою.

Я не люблю открытого цинизма,
В восторженность не верю, и еще —
Когда чужой мои читает письма,
Заглядывая мне через плечо.

Я не люблю, когда — наполовину
Или когда прервали разговор.
Я не люблю, когда стреляют в спину,
Я также против выстрелов в упор.

Я ненавижу сплетни в виде версий,
Червей сомненья, почестей иглу,
Или — когда все время против шерсти,
Или — когда железом по стеклу.

Я не люблю уверенности сытой, —
Уж лучше пусть откажут тормоза.
Досадно мне, что слово «честь» забыто
И что в чести наветы за глаза.

Когда я вижу сломанные крылья —
Нет жалости во мне, и неспроста:
Я не люблю насилие и бессилие, —
Вот только жаль распятого Христа.

Я не люблю себя, когда я трушу,
Обидно мне, когда невинных бьют.
Я не люблю, когда мне лезут в душу,
Тем более – когда в нее плюют.

Я не люблю манежи и арены:
На них мильон меняют по рублю,
Пусть впереди большие перемены —
Я это никогда не полюблю!

1968

«Ну вот, исчезла дрожь в руках...»

Ну вот, исчезла дрожь в руках,
Теперь – наверх!
Ну вот, сорвался в пропасть страх
Навек, навек, —
Для остановки нет причин —
Иду, скользя...
И в мире нет таких вершин,
Что взять нельзя!

Среди нехоженных путей
Один – пусть мой,
Среди невзятых рубежей
Один – за мной!
А имена тех, кто здесь лег,
Снега таят...
Среди непройденных дорог
Одна – моя!

Здесь голубым сияньем льдов
Весь склон облит,
И тайну чьих-нибудь следов
Гранит хранит...
И я гляжу в свою мечту
Поверх голов
И свято верю в чистоту
Снегов и слов!

И пусть пройдет немалый срок —
Мне не забыть,
Как здесь сомнения я смог
В себе убить,
В тот день шептала мне вода:
Удач – всегда!..

А день... какой был день тогда?
Ах да – среда!..

1969

Песенка о слухах

Сколько слухов наши уши поражает,
Сколько сплетен разъедает, словно моль!
Ходят слухи, будто все подорожает —
абсолютно, —
А особенно – штаны и алкоголь!

Словно мухи, тут и там
Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи
Их разносят по умам!

– Слушай, слышал? Под землю город строят, —
Говорят – на случай ядерной войны!
– Вы слышали? Скоро бани все закроют —
повсеместно —
Навсегда, – и эти сведения верны!

Словно мухи, тут и там
Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи
Их разносят по умам!

– А вы знаете? Мамыкина снимают —
За разврат его, за пьянство, за дебош!
– Кстати, вашего соседа забирают,
негодяя, —
Потому что он на Берию похож!

Словно мухи, тут и там
Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи
Их разносят по умам!

– Ой, что делается! Вчерась траншею рыли —
Так откопали две коньячные струи!
– Говорят, шпионы воду отравили
самогоном.
Ну а хлеб теперь – из рыбной чешуи!

Словно мухи, тут и там
Ходят слухи по домам,

А беззубые старухи
Их разносят по умам!

Закаленные во многих заварухах,
Слухи ширятся, не ведая преград, —
Ходят сплетни, что не будет больше слухов
абсолютно.
Ходят слухи, будто сплетни запретят!

Словно мухи, тут и там
Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи
Их разносят по умам!

1969

«„Рядовой Борисов!“ – „Я!“ – „Давай, как было дело!“...»

«Рядовой Борисов!» – «Я!» – «Давай, как было дело!»
«Я держался из последних сил:
Дождь хлестал, потом устал, потом уже стемнело...
Только я его предупредил!

На первый окрик: «Кто идет?» он стал шутить,
На выстрел в воздух закричал: «Кончай дурить!»
Я чуть замешкался и, не вступая в спор,
Чинарик выплюнул – и выстрелил в упор».

«Бросьте, рядовой, давайте правду, – вам же лучше!
Вы б его узнали за версту...»
«Был туман – узнать не мог – темно, на небе тучи, —
Кто-то шел – я крикнул в темноту.

На первый окрик: «Кто идет?» он стал шутить,
На выстрел в воздух закричал: «Кончай дурить!»
Я чуть замешкался и, не вступая в спор,
Чинарик выплюнул – и выстрелил в упор».

«Рядовой Борисов, – снова следователь мучил, —
Попадете вы под трибунал!»
«Я был на посту – был дождь, туман, и были тучи, —
Снова я устало повторял. —

На первый окрик: «Кто идет?» он стал шутить,
На выстрел в воздух закричал: «Кончай дурить!»
Я чуть замешкался и, не вступая в спор,
Чинарик выплюнул – и выстрелил в упор».

...Год назад – а я обид не забываю скоро —
В шахте мы повздорили чуток, —
Правда, по душам не получилось разговора:
Нам мешал отбойный молоток.

На крик души: «Оставь ее!» он стал шутить,
На мой удар он закричал: «Кончай дурить!»
Я чуть замешкался – я был обижен, зол, —
Чинарик выплюнул, нож бросил и ушел.

Счастье мое, что оказался он живучим!..
Ну а я – я долг свой выполнял.
Правда ведь, – был дождь, туман, по небу плыли тучи...
По уставу – правильно стрелял!

На первый окрик: «Кто идет?» он стал шутить,
На выстрел в воздух закричал: «Кончай дурить!»
Я чуть замешкался и, не вступая в спор,
Чинарик выплюнул – и выстрелил в упор.

1969

«Подумаешь – с женой не очень ладно...»

Подумаешь – с женой не очень ладно,
Подумаешь – неважно с головой,
Подумаешь – ограбили в парадном, —
Скажи еще спасибо, что – живой!

Ну что ж такого – мучает саркома,
Ну что ж такого – начался запой,
Ну что ж такого – выгнали из дома, —
Скажи еще спасибо, что – живой!

Плевать – партнер по покеру дал дуба,
Плевать, что снится ночью домовой,
Плевать – в «Софии» выбили два зуба, —
Скажи еще спасибо, что – живой!

Да ладно – ну уснул вчера в опилках,
Да ладно – в челюсть врезали ногой,
Да ладно – потащили на носилках, —
Скажи еще спасибо, что – живой!

Да, правда – тот, кто хочет, тот и может,
Да, правда – сам виновен, бог со мной,
Да, правда, – но одно меня тревожит:
Кому сказать спасибо, что – живой!

1969

Старательская (Письмо друга)

Игорю Кохановскому

Друг в порядке – он, словом, при деле, —
Завязал он с газетой тесьмой:
Друг мой золото моет в артели, —
Получил я сегодня письмо.

Пишет он, что работа – не слишком...
Словно лозунги клеит на дом:
«Государство будет с золотишком,
А старатель будет – с трудоднем!»

Говорит: «Не хочу отпираться,
Что поехал сюда за рублем...»
Говорит: «Если чуть постараться,
То вернуться могу королем!»

Написал, что становится злее.
«Друг, – он пишет, – запомни одно:
Золотишко всегда тяжелее
И всегда оседает на дно.

Тонет золото – хоть с топориком.
Что ж ты скис, захандрил и поник?
Не бойсь: если тонешь, дружище, —
Значит, есть и в тебе золотник!»

Пишет он второпях, без запинки:
«Если грязь и песок над тобой —
Знай: то жизнь золотые песчинки
Отмывает живящей водой...»

Он ругает меня: «Что ж не пишешь?!
Знаю – тонешь, и знаю – хандра, —
Все же золото – золото, слышишь! —
Люди бережно снимут с ковра...»

Друг стоит на насосе и в метку
Отбивает от золота муть.
...Я письмо проглотил как таблетку —
И теперь не боюсь утонуть!

Становлюсь я упрямей, прямее, —
Пусть бежит по колоде вода, —
У старателей – все лотерея,
Но старатели будут всегда!

1969

Посещение Музы, или Песенка плагиатора

Я щас взорвусь, как триста тонн тротила, —
Во мне заряд нетворческого зла:
Меня сегодня Муза посетила —
Немного посидела и ушла!

У ней имелись веские причины —
Я не имею права на нытье, —
Представьте: Муза... ночью... у мужчины! —
Бог весть что люди скажут про нее.

И все же мне досадно, одиноко:
Ведь эта Муза – люди подтвердят! —
Засиживалась сутками у Блока,
У Пушкина жила не выходя.

Я бросился к столу, весь нетерпенье,
Но – господи помилуй и спаси —
Она ушла, – исчезло вдохновенье
И – три рубля: должно быть, на такси.

Я в бешенстве мечусь, как зверь, по дому,
Но бог с ней, с Музой, – я ее простил.
Она ушла к кому-нибудь другому:
Я, видно, ее плохо угостил.

Огромный торт, утыканный свечами,
Запах от горя, да и я иссяк.
С соседями я допил, сволочами,
Для Музы предназначенный коньяк.

...Ушли года, как люди в черном списке, —
Все в прошлом, я зеваю от тоски.
Она ушла безмолвно, по-английски,
Но от нее остались две строки.

Вот две строки – я гений, прочь сомненья,
Дашь восторги, лавры и цветы:
«Я помню это чудное мгновенье,
Когда передо мной явилась ты»!

1970

Он не вернулся из боя

Почему все не так? Вроде – все как всегда:
То же небо – опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода...
Только – он не вернулся из боя.

Мне теперь не понять, кто же прав был из нас
В наших спорах без сна и покоя.
Мне не стало хватать его только сейчас —
Когда он не вернулся из боя.

Он молчал невпопад и не в такт подпевал,
Он всегда говорил про другое,
Он мне спать не давал, он с восходом вставал, —
А вчера не вернулся из боя.

То, что пусто теперь, – не про то разговор:
Вдруг заметил я – нас было двое...
Для меня – будто ветром задуло костер,
Когда он не вернулся из боя.

Нынче вырвалась, словно из плена, весна,
По ошибке окликнул его я:
«Друг, оставь прикурить!» – а в ответ – тишина...
Он вчера не вернулся из боя.

Наши мертвые нас не оставят в беде,
Наши павшие – как часовые...
Отражается небо в лесу, как в воде, —
И деревья стоят голубые.

Нам и места в землянке хватало вполне,
Нам и время текло – для обоих...
Все теперь – одному, – только кажется мне —
Это я не вернулся из боя.

1969

Песня о Земле

Кто сказал: «Все сгорело дотла,
Больше в землю не бросите семя!»?
Кто сказал, что Земля умерла?

Нет, она затаилась на время!

Материнства не взять у Земли,
Не отнять, как не вычерпать моря.
Кто поверил, что Землю сожгли?
Нет, она почернела от горя.

Как разрезы, траншеи легли,
И воронки – как раны зияют.
Обнаженные нервы Земли
Неземное страдание знают.

Она вынесет все, переждет, —
Не записывай Землю в калеки!
Кто сказал, что Земля не поет,
Что она замолчала навеки?!

Нет! Звенит она, стоны глуша,
Изо всех своих ран, из отдушин,
Ведь Земля – это наша душа, —
Сапогами не вытоптать душу!

Кто поверил, что Землю сожгли?!
Нет, она затаилась на время...

1969

Сыновья уходят в бой

Сегодня не слышно биенье сердец —
Оно для аллей и беседок.
Я падаю, грудью хватая свинец,
Подумать успев напоследок:

«На этот раз мне не вернуться,
Я уйду – придет другой».
Мы не успели оглянуться —
А сыновья уходят в бой!

Вот кто-то решил: после нас – хоть потоп,
Как в пропасть шагнул из окопа.
А я для того свой покинул окоп,
Чтоб не было вовсе потопа.

Сейчас глаза мои сомкнутся,
Я крепко обнимусь с землей.
Мы не успели оглянуться —
А сыновья уходят в бой!

Кто сменит меня, кто в атаку пойдет?
Кто выйдет к заветному мосту?
И мне захотелось – пусть будет вон тот,
Одетый во все не по росту.

Я успеваю улыбнуться,
Я видел, кто придет за мной.
Мы не успели оглянуться —
А сыновья уходят в бой!

Разрывы глушили биенье сердец,
Мое же – мне громко стучало,
Что все же конец мой – еще не конец:
Конец – это чье-то начало.

Сейчас глаза мои сомкнутся,
Я крепко обнимусь с землей.
Мы не успели оглянуться —
А сыновья уходят в бой!

1969

Темнота

Темнота впереди, подожди!
Там стеною – закаты багровые,
Встречный ветер, косые дожди
И дороги, дороги неровные.

Там чужие слова,
Там дурная молва,
Там ненужные встречи случаются,
Там сгорела, пожухла трава,
И следы не читаются
в темноте...

Там проверка на прочность – бои,
И туманы, и ветры с прибоями.
Сердце путает ритмы свои
И стучит с перебоями.

Там чужие слова,
Там дурная молва,
Там ненужные встречи случаются,
Там сгорела, пожухла трава,
И следы не читаются
в темноте...

Там и звуки, и краски не те,
Только мне выбирать не приходится,
Очень нужен я там, в темноте!
Ничего, распогодится.

Там чужие слова,
Там дурная молва,
Там ненужные встречи случаются,
Там сгорела, пожухла трава,
И следы не читаются
в темноте...

1969

Песня о нотах

Я изучил все ноты от и до,
Но кто мне на вопрос ответит прямо? —
Ведь начинают гаммы с ноты «до»
И ею же заканчивают гаммы.

Пляшут ноты врозь и с толком,
Ждут «до», «ре», «ми», «фа», «соль», «ля» и «си», пока
Разбросает их по полкам
Чья-то дерзкая рука.

Известно музыкальной детворе —
Я впасть в тенденциозность не рискую, —
Что занимает место нота «ре»
На целый такт и на одну восьмую.

Какую ты тональность ни возьми —
Неравенством от звуков так и пышет:
Одна и та же нота – скажем, «ми», —
Одна внизу, другая – рангом выше.

Пляшут ноты врозь и с толком,
Ждут «до», «ре», «ми», «фа», «соль», «ля» и «си», пока
Разбросает их по полкам
Чья-то дерзкая рука.

За строфами всегда идет строфа —
Как прежние, проходит перед взглядом, —
А вот бывает, скажем, нота «фа»
Звучит сильнее, чем та же нота рядом.

Вот затесался где-нибудь «бемоль» —

И в тот же миг, как влез он беспардонно,
Внушавшая доверье нота «соль»
Себе же изменяет на полтона.

Пляшут ноты врозь и с толком,
Ждут «до», «ре», «ми», «фа», «соль», «ля» и «си», пока
Разбросает их по полкам
Чья-то дерзкая рука.

Сел композитор, жажду утоля,
И грубым знаком музыку прорезал, —
И нежная как бархат нота «ля»
Свой голос повышает до «диеза».

И наконец – Бетховена спроси —
Без ноты «си» нет ни игры, ни пенья, —
Возносится над всеми нота «си»
И с высоты взирает положенья.

Пляшут ноты врозь и с толком,
Ждут «до», «ре», «ми», «фа», «соль», «ля» и «си», пока
Разбросает их по полкам
Чья-то дерзкая рука.

Напрасно затевать о нотах спор:
Есть и у них тузы и секретарши, —
Считается, что в «си-бемоль минор»
Звучат прекрасно траурные марши.

А кроме этих подневольных нот,
Еще бывают ноты-паразиты, —
Кто их сыграет, кто их пропоет?..
Но с нами – бог, а с ними – композитор!

Пляшут ноты врозь и с толком,
Ждут «до», «ре», «ми», «фа», «соль», «ля» и «си», пока
Разбросает их по полкам
Чья-то дерзкая рука.

1969

Человек за бортом

Анатолию Гарагуле

Был шторм – канаты рвали кожу с рук,
И якорная цепь визжала чертом,
Пел ветер песню грубую, – и вдруг

Раздался голос: «Человек за бортом!»

И сразу – «Полный назад! Стоп машина!
На воду шлюпки, помочь —
Вытащить сукина сына
Или, там, сукину дочь!»

Я пожалел, что обречен шагать
По суше, – значит, мне не ждать подмоги —
Никто меня не бросится спасать
И не объявит шлюпочной тревоги.

А скажут: «Полный вперед! Ветер в спину!
Будем в порту по часам.
Так ему, сукину сыну, —
Пусть выбирается сам!»

И мой корабль от меня уйдет —
На нем, должно быть, люди выше сортом.
Впередсмотрящий смотрит лишь вперед —
Не видит он, что человек за бортом.

Я вижу – мимо суда проплывают,
Ждет их приветливый порт, —
Мало ли кто выпадает
С главной дороги за борт!

Пусть в море меня вынесет, а там —
Шторм девять баллов новыми деньгами, —
За мною спустит шлюпку капитан —
И обрету я почву под ногами.

Они зацепят меня за одежду, —
Значит, падать одетому – плюс, —
В шлюпочный борт, как в надежду,
Мертвою хваткой вцеплюсь.

Я на борту, курс прежний, прежний путь —
Мне тянут руки, души, папиросы, —
И я уверен: если что-нибудь —
Мне бросят круг спасательный матросы.

Правда, с качкой у них перебои там,
В штормы от вахт не вздохнуть, —
Но человеку за бортом
Здесь не дадут утонуть!

1969

Пиратская

На судне бунт, над нами чайки реют!
Вчера из-за дублона золотых
Двух негодяев вздернули на рею, —
Но мало – нужно было четверых.

Ловите ветер всеми парусами!
К чему гадать, любой корабль – враг!
Удача – миф, но эту веру сами
Мы создали, поднявши черный флаг!

Катился ком по кораблю от бака,
Забыто все – и честь, и кутежи, —
И, подвывая, может быть, от страха,
Они достали длинные ножи.

Ловите ветер всеми парусами!
К чему гадать, любой корабль – враг!
Удача – миф, но эту веру сами
Мы создали, поднявши черный флаг!

Вот двое в капитана пальцем тычут:
Достать его – и им не страшен черт!
Но капитан вчерашнюю добычу
При всей команде выбросил за борт.

Ловите ветер всеми парусами!
К чему гадать, любой корабль – враг!
Удача – миф, но эту веру сами
Мы создали, поднявши черный флаг!

И вот волна, подобная надгробью,
Все смыла, с горла сброшена рука...
Бросайте ж за борт все, что пахнет кровью, —
Поверьте, что цена невысока!

Ловите ветер всеми парусами!
К чему гадать, любой корабль – враг!
Удача – здесь, и эту веру сами
Мы создали, поднявши черный флаг!

1969

«Долго же шел ты в конверте, листок...»

Долго же шел ты в конверте, листок, —
Вышли последние сроки!
Но потому он и Дальний Восток,
Что – далеко на востоке...

Ждешь с нетерпением ответ ты —
Весточку в несколько слов...
Мы здесь встречаем рассветы
Раньше на восемь часов.

Здесь до утра пароходы режут
Средь океанской шумихи —
Не потому его Тихим зовут,
Что он действительно тихий.

Ждешь с нетерпением ответ ты —
Весточку в несколько слов...
Мы здесь встречаем рассветы
Раньше на восемь часов.

Ты не пугайся рассказов о том,
Будто здесь самый край света, —
Сзади еще Сахалин, а потом —
Круглая наша планета.

Ждешь с нетерпением ответ ты —
Весточку в несколько слов...
Мы здесь встречаем рассветы
Раньше на восемь часов.

Что говорить – здесь, конечно, не рай,
Но не вмоготу переписка, —
Знаешь что, милая, ты приезжай:
Дальний Восток – это близко!

Скоро получишь ответ ты —
Весточку в несколько слов!
Вместе бы встретить рассветы
Раньше на восемь часов!

1969

Цунами

Пословица звучит витиевато:
Не восхищайся прошлогодним небом, —
Не возвращайся – где был рай когда-то,
И брось дурить – иди туда, где не был!

Там что творит одна природа с нами!
Туда добраться трудно и молве.
Там каждый встречный – что ему цунами! —
Со штормами в душе и в голове!

Покой здесь, правда, ни за что не купишь —
Но ты вернешься, говорят ребята,
Наперекор пословице поступишь —
Придешь туда, где встретил их когда-то!

Здесь что творит одна природа с нами!
Сюда добраться трудно и молве.
Здесь иногда рождаются цунами
И рушат все в душе и в голове!

На море штиль, но в мире нет покоя —
Локатор ищет цель за облаками.
Тревога – если что-нибудь такое —
Или сигнал: внимание – цунами!

Я нынче поднимаю тост с друзьями!
Цунами – равнодушная волна.
Бывают беды страшней цунами
И – радости сильнее, чем она!

1969

«Теперь я буду сохнуть от тоски...»

Теперь я буду сохнуть от тоски
И сожалеть, проглатывая слюни,
Что не доел в Батуми шашлыки
И глупо отказался от сулугуни.

Пусть много говорил белиберды
Наш тамада – вы тамаду не троньте, —
За Родину был тост алаверды,
За Сталина, – я думал – я на фронте.

И вот уж за столом никто не ест
И тамада над всем царит шерифом, —
Как будто бы двадцатый с чем-то съезд
Другой – двадцатый – объявляет мифом.

Пил тамада за город, за аул
И всех подряд хвалил с остервененьем, —
При этом он ни разу не икнул —

И я к нему проникся уваженьем.

Правда, был у тамады
Длинный тост алаверды
За него – вождя народов,
И за все его труды.

Мне тамада сказал, что я – родной,
Что если плохо мне – ему не спится, —
Потом спросил меня: «Ты кто такой?»
А я сказал: «Бандит и кровопийца».

В умах царил шашлык и алкоголь, —
Вот кто-то крикнул, что не любит прозы,
Что в море не поваренная соль —
Что в море человеческие слезы.

И вот конец – уже из рога пьют,
Уже едят инжир и мандаринки,
Которые здесь запросто растут,
Точь-точь как те, которые на рынке.

Обхвалены все гости, и пока
Они не окончательно уснули —
Хозяина привычная рука
Толкает вверх бокал «Киндзмараули»...

О как мне жаль, что я и сам такой:
Пусть я молчал, но я ведь пил – не реже, —
Что не могу я моря взять с собой
И захватить все солнце побережья.

1969

«Нет меня – я покинул Расею...»

Нет меня – я покинул Расею, —
Мои девочки ходят в соплях!
Я теперь свои семечки сею
На чужих Елисейских Полях.

Кто-то вякнул в трамвае на Пресне:
«Нет его – умотал наконец!
Вот и пусть свои чуждые песни
Пишет там про Версальский дворец».

Слышу сзади – обмен новостями:
«Да не тот! Тот уехал – спроси!...»

«Ах не тот?!» – и толкают локтями,
И сидят на коленях в такси.

Тот, с которым сидел в Магадане,
Мой дружок по гражданской войне —
Говорит, что пишу я ему: «Ваня!
Скучно, Ваня, – давай, брат, ко мне!»

Я уже попросился обратно —
Унижался, юлил, умолял...
Ерунда! Не вернусь, вероятно, —
Потому что я не уезжал!

Кто поверил – тому по подарку, —
Чтоб хороший конец, как в кино:
Забирай Триумфальную арку,
Налетай на заводы Рено!

Я смеюсь, умираю от смеха:
Как поверили этому бреду?!
Не волнуйтесь – я не уехал,
И не надейтесь – я не уеду!

1970

«Переворот в мозгах из края в край...»

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве – масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Для собственных грядущих поколений.

Известный черт с фамилией Черток —
Агент из Рая – ночью, внеурочно
Отстукал в Рай: в Аду черт знает что, —
Что точно – он, Черток, не знает точно.

Еще ввернул тревожную строку
Для шефа всех лазутчиков Амура:
«Я в ужасе, – сам Дьявол начеку,
И крайне ненадежна агентура».

Тем временем в Аду сам Вельзевул
Потребовал военного парада, —
Влез на трибуну, плакал и загнул:
«Рай, только рай – спасение для Ада!»

Рыдали черти и кричали: «Да!

Мы рай в родной построим Преисподней!
Даешь производительность труда!
Пять грешников на нос уже сегодня!»

«Ну что ж, вперед! А я вас поведу! —
Закончил Дьявол. — С богом! Побежали!»
И задрожали грешники в Аду,
И ангелы в Раю затрепетали.

И ангелы толпой пошли к Нему —
К тому, который видит все и знает, —
А он сказал: «Мне плевать на тьму!» —
И заявил, что многих расстреляет.

Что Дьявол — провокатор и кретин,
Его возня и крики — все не ново, —
Что ангелы — ублюдки как один
И что Черток давно перевербован.

«Не Рай кругом, а подлинный бедлам, —
Спущусь на землю — там хоть уважают!
Уйду от вас к людям ко всем чертям —
Пускай меня вторично распинают!..»

И он спустился. Кто он? Где живет?..
Но как-то раз узрели прихожане —
На паперти у церкви нищий пьет,
«Я Бог, — кричит, — даешь на пропитанье!»

Конец печален (плачьте, стар и млад, —
Что перед этим всем сожженье Трои?)
Давно уже в Раю не рай, а ад, —
Но рай чертей в Аду зато построен!

1970

Разведка боем

Я стою, стою спиною к строю,
Только добровольцы — шаг вперед!
Нужно провести разведку боем,
Для чего — да кто ж там разберет...

Кто со мной? С кем идти?
Так, Борисов... Так, Леонов...
И еще этот тип
Из второго батальона!

Мы ползем, к ромашкам припадая,
Ну-ка, старшина, не отставай!
Ведь на фронте два передних края:
Наш, а вот он – их передний край.

Кто со мной? С кем идти?
Так, Борисов... Так, Леонов...
И еще этот тип
Из второго батальона!

Проволоку грызли без опаски:
Ночь – темно, и не видать ни зги.
В двадцати шагах – чужие каски,
С той же целью – защитить мозги.

Кто со мной? С кем идти?
Так, Борисов... Так, Леонов...
Ой!.. Еще этот тип
Из второго батальона.

Скоро будет «Надя с шоколадом» —
В шесть они подавят нас огнем,
Хорошо, нам этого и надо —
С Богом, потихонечку начнем!

С кем обратно идти?
Так, Борисов... Где Леонов?!
Эй ты, жив? Эй ты, тип
Из второго батальона!

Пулю для себя не оставляю,
Дзот накрыт и рассекречен дот...
А этот тип, которого не знаю,
Очень хорошо себя ведет.

С кем в другой раз идти?
Где Борисов? Где Леонов?..
Правда жив этот тип
Из второго батальона.

...Я стою спокойно перед строем —
В этот раз стою к нему лицом,
Кажется, чего-то удостоен,
Награжден и назван молодцом.

С кем в другой раз ползти?
Где Борисов? Где Леонов?
И парнишка затих
Из второго батальона...

1970

«Запомню, оставлю в душе этот вечер...»

Запомню, оставлю в душе этот вечер —
Не встречу с друзьями, не праздничный стол:
Сегодня я сам – самый главный диспетчер,
И стрелки сегодня я сам перевел.

И пусть отправляю составы в пустыни,
Где только барханы в горячих лучах, —
Мои поезда не вернутся пустыми,
Пока мой оазис еще не зачах.

Свое я отъездил, и даже сверх нормы, —
Стою, вспоминаю, сжимая флажок,
Как мимо меня проносились платформы
И реки – с мостами, которые сжег.

Теперь отправляю составы в пустыни,
Где только барханы в горячих лучах, —
Мои поезда не вернутся пустыми,
Пока мой оазис еще не зачах.

Они без меня понесутся по миру —
Я рук не ломаю, навзрыд не кричу, —
А то мне навяжут еще пассажиров —
Которых я вовсе сажать не хочу.

Итак, я отправил составы в пустыни,
Где только барханы в горячих лучах, —
Мои поезда не вернутся пустыми,
Пока мой оазис еще не зачах.

Растаяли льды, километры и годы —
Мой первый состав возвратился назад, —
Он мне не привез драгоценной породы,
Но он – возвратился, и рельсы гудят.

Давай постоим и немного остынем:
Ты весь раскален – ты не встретил реки.
Я сам не поехал с тобой по пустыням —
И вот мой оазис убили пески.

1970

Про двух громилов – братьев Прова и Николая

Как в селе Большие Вилы,
Где еще сгорел сарай,
Жили-были два громилы
Огромной жуткой силы —
Братья Пров и Николай.

Николай – что понахальней —
По ошибке лес скосил,
Ну а Пров – в опочивальни
Рушил стены – и входил.

Как братья не вяжут лыка,
Пьют отвар из чаги —
Все от мала до велика
Прячутся в овраге.

В общем, лопнуло терпенье, —
Ведь добро – свое, не чье, —
И идти на усмиренье
Порешило мужичье.

Николай – что понахальней, —
В тот момент быка ломал,
Ну а Пров в какой-то спальне
С маху стену прошибал.

«Эй, братан, гляди – ватага, —
С кольями, да слышь ли, —
Чтой-то нынче из оврага
Рановато вышли!»

Неудобно сразу драться —
Наш мужик так не привык, —
Стали прежде задираться:
«Для чего, скажите, братцы,
Нужен вам безрогий бык?!»

Николаю это странно:
«Если жалко вам быка —
С удовольствием с братаном
Можем вам намять бока!»

Где-то в поле замер заяц,
Постоял – и ходу...
Пров ломается, мерзавец,

Сотворивши шкоду.

«Ну-ка, кто попробуй вылезь —
Вмиг разделаюсь с врагом!»
Мужики перекрестились —
Всей ватагой навалились:
Кто – багром, кто – батогом.

Николай, печась о брате,
Первый натиск отражал,
Ну а Пров укрылся в хате
И оттуда хохотал.

От могучего напора
Развалилась хата, —
Пров оттяпал ползабора
Для спасенья брата.

«Хватит, брат, обороняться —
Пропадать так пропадать!
Коля, нечего стесняться, —
Колья начали ломаться, —
Надо, Коля, нападать!»

По мужьям да по ребятам
Будут бабы слезы лить...
Но решили оба брата
С наступленьем погодить.

«Гляди в оба, братень, —
Со спины заходят!»
«Может, оборотень?»
«Не похоже вроде!»

Дело в том, что к нам в селенье
Напросился на ночлег —
И остался до Успенья,
А потом – на поселенье
Никчемушный человек.

И сейчас вот из-за крика
Ни один не услышал:
Этот самый горемыка
Чтой-то братьям приказал.

Кровь уже лилась ручьями, —
Так о чем же речь-то?
«Бей братьев!» – Но вдруг с братьями
Сотворилось нечто:

Братьев как бы подкосило —
Стали братья отступать —
Будто вмиг лишились силы...
Мужичье их попросило
Больше бед не сотворять.

...Долго думали-гадали,
Что блаженный им сказал, —
Как затылков ни чесали —
Ни один не угадал.

И решили: он заклатьем
Обладает, видно...
Ну а он сказал лишь: «Братья,
Как же вам не стыдно!»

1971

Странная сказка

В Тридевятом государстве
(Трижды девять – двадцать семь)
Все держалось на коварстве —
Без проблем и без систем.

Нет того чтоб сам – воевать, —
Стал король втихаря попивать,
Расплевался с королевой,
Дочь оставил старой девой, —
А наследник пошел воровать.

В Тридесятом королевстве
(Трижды десять – тридцать, что ль?)
В добром дружеском соседстве
Жил еще один король.

Тишь да гладь, да спокойствие там, —
Хоть король был отъявленный хам,
Он прогнал министров с кресел,
Оппозицию повесил —
И скучал от тоски по делам.

В Триединнадцатом царстве
(То бишь – в царстве Тридцать три)
Царь держался на лекарстве:
Воспалились пузыри.

Был он – милитарист и вандал, —
Двух соседей зазря оскорблял —
Слал им каждую субботу
Оскорбительную ноту, —
Шел на международный скандал.

В Тридцать третьем царь сказался:
Не хватает, мол, земли, —
На соседей покусился —
И взбесились короли:

«Обуздать его, смять!» – только глядь —
Нечем в Двадцать седьмом воевать,
А в Тридцатом – полководцы
Все утоплены в колодце,
И вассалы восстать норовят...

1969–1970

Бег иноходца

Я скачу, но я скачу иначе, —
По камням, по лужам, по росе.
Бег мой назван иноходью – значит:
По-другому, то есть – не как все.

Мне набили раны на спине,
Я дрожу боками у воды.
Я согласен бегать в табуне —
Но не под седлом и без узды!

Мне сегодня предстоит бороться, —
Скачки! – я сегодня фаворит.
Знаю, ставят все на иноходца, —
Но не я – жокей на мне хрипит!

Он вонзает шпоры в ребра мне,
Зубоскалят первые ряды...
Я согласен бегать в табуне,
Но не под седлом и без узды!

Нет, не будут золотыми горы —
Я последним цель пересеку:
Я ему припомню эти шпоры —
Засбою, отстану на скаку!..

Колокол! Жокей мой «на коне» —
Он смеется в предвкушение мзды.

Ох, как я бы бегал в табуне, —
Но не под седлом и без узды!

Что со мной, что делаю, как смею —
Потакаю своему врагу!
Я собою просто не владею —
Я прийти не первым не могу!

Что же делать? Остается мне —
Вышвырнуть жокея моего
И бежать, как будто в табуне, —
Под седлом, в узде, но – без него!

Я пришел, а он в хвосте плетется —
По камням, по лужам, по росе...
Я впервые не был иноходцем —
Я стремился выиграть, как все!

1970

«Я несла свою Беду...»

Я несла свою Беду
по весеннему по льду, —
Обломился лед – душа оборвалась —
Камнем под воду пошла, —
а Беда – хоть тяжела,
А за острые края задержалась.

И Беда с того вот дня
ищет по свету меня, —
Слухи ходят – вместе с ней – с Кривотолками.
А что я не умерла —
знала голая ветла
И еще – перепела с перепелками.

Кто ж из них сказал ему,
господину моему, —
Только – выдали меня, проболтались, —
И, от страсти сам не свой,
он отправился за мной,
Ну а с ним – Беда с Молвой увязались.

Он настиг меня, догнал —
обнял, на руки поднял, —
Рядом с ним в седле Беда ухмылялась.
Но остаться он не мог —
был всего один денек, —

А Беда – на вечный срок задержалась...

1971

Банька по-черному

Копи!
Ладно, мысли свои вздорные
копи!
Топи!
Ладно, баню мне по-черному
топи!
Вопи!
Все равно меня утопишь,
но – вопи!..
Топи!
Только баню мне как хочешь
натопи.
Ох, сегодня я отмоюсь,
эх, освоюсь!
Но сомневаюсь,
что отмоюсь!
Не спи!
Где рубаху мне по пояс
добыла?!
Топи!
Ох, сегодня я отмоюсь
добела!
Кропи!
В бане стены закопченные
кропи!
Топи!
Слышишь, баню мне по-черному
топи!
Ох, сегодня я отмоюсь,
эх, освоюсь!
Но сомневаюсь,
что отмоюсь!
Кричи!
Загнан в угол зельем, словно
гончей – лось.
Молчи!
У меня уже похмелье
кончилось.
Терпи!
Ты ж сама по дури
продала меня!
Топи!

Чтоб я чист был, как щенок,
к исходу дня!
Ох, сегодня я отмоюсь,
эх, освоюсь!
Но сомневаюсь,
что отмоюсь!
Купи!
Хоть кого-то из охранников
купи!
Топи!
Слышишь, баню ты мне раненько

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.